

Stanisław Lem ∞ Станислав Лем

ЛЕМ



ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР

Annotation

Ранние рассказы, стихи и пьесы Станислава Лема, опубликованные с 1946 по 1955 год, на заре его писательской карьеры.

Многие из них относятся к фантастике.

Другие – реалистические – посвящены Второй мировой войне и трагедии оккупации Польши, вечным проблемам интеллигенции на переломе эпох, нравственному выбору, который необходимо рано или поздно сделать каждому человеку.

Это – непривычный Станислав Лем. Однако даже самые ранние произведения этого потрясающего автора уже носят черты его неординарного таланта, проникнутого гуманизмом и верой в будущее человечества.

-
- [Станислав Лем](#)
 -
 - [Предисловие автора](#)
 - [Часть 1](#)
 - [День седьмой](#)
 - [Укромное место](#)
 - [Операция «Рейнгард»](#)
 - [Гауптштурмфюрер Кестниц](#)
 - [План «Анти-“Фау”»](#)
 - [Решение полковника Мерчисона](#)
 - [Возвращение](#)
 - [В лоне «отчизны»](#)
 - [Два визита](#)
 - [На грани...](#)
 - [День Д\[110\]](#)
 - [«Фау» над Лондоном](#)
 - [Чужой](#)
 - [КВ-1](#)
 - [Новый](#)
 - [Встреча в Колобжеге](#)
 - [Атомный город](#)
 -
 - [I](#)

- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [Человек из Хиросимы](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
- [Конец света в восемь часов](#)
 - [Раутон из «Ивнинг стар»](#)
 - [Первый удар](#)
 - [Под столом](#)
 - [Начало конца](#)
 - [Паника](#)
 - [Один на один](#)
- [Трест твоих грез](#)
 - [I. Приключение Тома Трайсена](#)
 - [II. Раутон действует](#)
 - [III. Красная картина](#)
 - [IV. Бой](#)
 - [V](#)
 - [VI. Бетси Гиннс](#)
 - [VII. Победа](#)
 - [VIII. У миллионеров](#)
 - [IX. Том и Бетси](#)
- [История о высоком напряжении](#)
 - [Путешествие в неизвестное](#)
 - [В Млынуве](#)
 - [Тайна будильника](#)
 - [Искушение Мисько](#)
 - [Банкет с препятствиями](#)
 - [Вечерний разговор](#)
 - [Нападение](#)

- [Последнее слово Мисько](#)
- [История одного открытия](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
- [Сад тьмы](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
- [Дежурство доктора Тшинецкого](#)
- [Сестра Барбара](#)
- [Топольный и Чвартек](#)
 - [I. Очарование Топольного](#)
 - [II. Чудо Чвартека](#)
- [Хрустальный шар](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
- [Часть 2](#)
 - [Трамваем номер пять через Краков](#)
 - [Ночь](#)
 - [Любовь](#)
 - [Кафедральный собор](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [Триолет](#)
 - [На орлиных тропах](#)
 - [Голуби вписывали в пурпур поднебесья...](#)
 - [Полевое кладбище](#)
 - [Знать бы – пальцы слепца, мимоза ли слизня...](#)
 - [Из цикла «Насекомые»](#)
 - [I. Ночная бабочка](#)
 - [II. Бабочка](#)
 - [III. Гусеница](#)

- [IV. Пчела](#)
 - [V. Жук-могильщик](#)
 - [Кода](#)
 - [* * *](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [Любовное письмо](#)
 - [Короткие стихи](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [Valse triste\[175\]](#)
 - [Мертвым](#)
 - [Я тот, кто видит сосуд, воздвигающийся...](#)
 - [Бетховен, Пятая симфония](#)
 - [Что внутри воображенья? Лица и пальцы](#)
- [Часть 3](#)
 - [Баллада, снабженная моралью?](#)
 - [Подлинное описание судьбы граждан, охочих до наживы и буквы закона не соблюдающих](#)
 - [Ловко изложенная в рифму повесть об ужасном преступнике](#)
 - [Искусно сложенная песнь о последствиях мужской неводержанности](#)
 - [Низкопоклонство](#)
 - [Действующие лица](#)
 - [Действие первое](#)
 - [Действие второе](#)
 - [Сон президента](#)
 - [Около мегаломана](#)
 - [Язневич В.И](#)
 - [Примечания](#)
 -
 - [Часть 1. Рассказы](#)
 - [Часть 2. Юношеские стихи](#)
 - [Часть 3. Сатира](#)
 - [Список цитируемой литературы](#)
 -
 - [1. Книги](#)
 - [2. Статьи и интервью С. Лемма в периодических изданиях](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)

- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)

- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)

- [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
 - [166](#)
 - [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
 - [172](#)
 - [173](#)
 - [174](#)
 - [175](#)
 - [176](#)
 - [177](#)
 - [178](#)
 - [179](#)
 - [180](#)
 - [181](#)
 - [182](#)
 - [183](#)
 - [184](#)
 - [185](#)
 - [186](#)
-

Станислав Лем
Хрустальный шар (сборник)

Предисловие автора

Рассказы, вошедшие в сборник^[1], в основном были написаны в 1946 и 1947 годах. Они являются не только моими первыми шагами на литературном пути, но также свидетельствуют о блуждании между жанрами, практически неизбежном для двадцатипятилетнего автора. Ведь молодые авторы еще, возможно, не знают, а скорее и не могут знать своих слабых и сильных сторон. В двух рассказах сборника, «Сад тьмы» и «Чужой», речь идет о достижении некоего идеала, что, впрочем, является основой и для всех остальных рассказов. Что касается первого рассказа, то все объясняют строки Рильке уже в эпиграфе. В то время я любил Рильке, и сорок лет ничего не изменили в моем восхищении этим поэтом. У меня до сих пор хранятся его книги стихов, опубликованные в 1942 году в Лейпциге в самый разгар войны.

Еще один рассказ в сборнике был написан под впечатлением «Хиросимы» Джона Херси. В наши дни этот текст вряд ли еще кто-то помнит. В свое же время ужасающий репортаж Херси, привезенный им из Японии, занял целый номер журнала «Нью-йоркер»^[2]. Херси рассказал о судьбах конкретных людей, которые пережили атомную бомбардировку и испытали на себе значение фразы «в один миг город был стерт с лица Земли».

Сегодня мне не хватает мужества писать рассказы на основе тех страшных событий, у меня просто не поднимается рука. Но тогда мне, писателю-дебютанту, еще полному иллюзий, казалось, что я избран судьбой и могу стать певцом катастрофы, аналогов которой не знала история.

Мотивы создания литературных произведений нередко туманны, они не обязательно благородны и возвышенны. Некоторые рассказы я написал, будучи бедным студентом-медиком, которого война, отняв родину и дом, закинула за сотни километров на запад. Только нужда в деньгах вызвала появление этих юношеских попыток обратиться к писательству. Это не высокая литература со своими моральными установками: речь идет о шпионских историях с легким налетом фантастики (как в рассказе «План “Анти-Фау”»). Я пробовал свои силы на этих текстах без малейшего предчувствия того, что некоторые из этих литературных троп так никуда и не приведут, зато другие непостижимым для меня образом укажут мне творческий путь на все следующие сорок лет.

Кроме сборника рассказов, есть еще «Человек с Марса» – небольшой роман, который я писал во время войны исключительно для себя самого – для того, чтобы на несколько часов забыть о войне, о том геноциде, что царил в Генерал-губернаторстве^[3]. Об этой работе периода *primum iuveniliūm*^[4] я вспоминаю потому, что недавно неизвестные поклонники нелегально, подпольно этот роман издали, поставив меня перед свершившимся фактом^[5]. Я вспоминаю эту книжечку еще и потому, что сейчас читаю ее с точно такими же смешанными чувствами, как и другие свои рассказы того периода. Я перечитал эти вещи как что-то совершенно чужое, полностью забытое, и был отчасти удивлен этой своей отстраненностью, а отчасти поражен, что некоторые сюжетные линии и лейтмотивы, которые неоднократно повторяются в моих зрелых работах, сначала появились в виде крохотных, еще не проросших семян уже в том незамысловатом прологе к моей литературе, а значит, и ко всей моей жизни. Я упоминаю об этом, так как при встрече 67-летнего автора со студентом 24 лет – в независимом от наших желаний выборе тем и проблем – возникли непреодолимые границы.

Я не знаю, каждый ли писатель с самого начала несет в себе свое творческое предназначение, в молодости скрытое как орех в скорлупе, который, будучи посаженным в землю, может вырасти в большое дерево, но при этом это будет именно ореховое дерево. Я не знаю, как это было у других. По крайней мере в моем случае это было так, и это является причиной или оправданием того, почему я все-таки осмелился доверить мои первые литературные опыты книгопечатному станку. Голос мой был еще не окрепшим, стиль – неуверенным, почерк – неуклюжим, но казалось, что в этих историях что-то должно вот-вот появиться; это развивалась способность писать, как у ребенка – способность ходить: это то, что дается свыше в виде задатков потенциальных навыков и что будет – или что может быть – воплощено: в вещах хороших или, наоборот, плохих, безвкусных, дешевых или драгоценных. В общем, можно сказать словами римского поэта: «*Nos erat in votis*»^[6]. В этом высказывании я и вижу основной аргумент в пользу издания данной книги. Вполне возможно, что я пребываю в плену сентиментальных иллюзий, но если мне и есть в чем позавидовать автору этих рассказов, то позавидую только одному – его молодости.

Вена, апрель 1988 г.

Часть 1

Рассказы

День седьмой

Когда уже было создано множество цветных и выпуклых вещей, а также холодных и звонких, Бог подумал, что хорошо было бы их оживить, чтобы земной шар знал, что является пространственной полнотой, а его тональность – дрожью ожидания.

Но когда он посмотрел с высоты на плоскость времени, испещренную морщинками мгновений, шелестевших как трава, он подумал, что в созданном мире уже не может изменить ни блеска капель росы, ни размеров скал, ибо тогда его Творение впало бы в неопиcуемый хаос.

Поэтому он создал человека.

И сказал, что всякая вещь меж небом и землей в свете человеческих глаз будет отбрасывать тень, и это будет слово. А слова были большие и мясистые, как мезозойские бабочки, они летали, тяжело содрогаясь, и были темными от крови. Когда они садились рядом с человеком, позволяя взять себя в руки, то разбухали и надувались, и были они сильными, и благоухали, как настоящие цветы. Их можно было приколоть к папирусу и вырезать в камне, и они не менялись.

Но вскоре люди открыли, что слова – это только тени вещей, и презрели их. Потом они пытались отвергнуть тени и пренебречь словами. Они посылали свои чувства в кончики пальцев, в отверстия ушей и глаз и там расставляли силки, в которые должны были попасться Вещи.

Однако же это им не удалось, потому что они все время наталкивались на преграды, и это их очень сердило. И тогда они пробили потолок данного им мира и докопались до его дна, проникнув тем самым за пределы неба и под землю.

Наверху были мириады пылающих миров и их отражения в вогнутом зеркале времени. Поэтому они создали учение о Страшном суде, представили себе бесконечность и испугались в первый раз.

А под землей они натолкнулись на ее горячее, слепое ядро, на следы погибших животных и кости, которые противоречили акту Творения, – и они испугались во второй раз. Тогда они сказали так:

- Вначале была туманность без предела и дна, без границы и знания.
- Неправда, что начало и конец переплетаются, как человеческие руки: это не нужно. Время – это змея, которая пожирает собственный хвост.
- Пространство было вырвано из рамок порядка и сворачивает в никуда сразу же за ближайшей звездой, оседлав верхом световой луч.

– Материя – это волна, а волна – это материя, но это не достоверно, а только вероятно.

– Достоверно ничего не известно, однако, возможно, что-то существует.

Говоря так, они боялись, поэтому бросали в трясину смех, как плоские булыжники, по которым можно будет преодолеть пропасть.

Меня, когда я их встретил и услышал, огорчили эти слова, потому что, сжатые в ладонях, они хрустели, как скорлупа, некоторые же были червивыми.

И я уже видел сияние, которое было перед Творением, свет смерти: темноту.

Она не страшная, ее не надо бояться.

Так же долго я плыл по ночи в лодке сна, подобного умиранию, и это не было страшно.

Я смотрел в человеческие лица, видя, как по мере сползания с них мускулов и сала выплывает их костный скелет, похожий на известковую скалу, и это не было страшно.

Единственно важным является игра, это сияние, и для меня, и для тебя, и всякой живности.

Прозрачные амебы с блестящими ядрами высовывают ложноножки, оставляя на дороге серебряный шнурочек слюны.

Так астроном касается звезд присоской своего телескопа.

Так ребенок гладит мех, покрывающий толстую ногу великана эдакого зеленого лохмача, живущего в приливе и отливе дней (некоторые называют его деревом).

Я хотел успокоить людей, которые трепыхались, нанизанные на остроконечные углы улиц. Я спел им:

Террасы скал нисходят к морю каменистым смехом.

И облака – не мрамор, а лишь вздох отшедшего ребенка.

Неспелый взмах руки, взывающей к тиши во имя

Созерцанья, оставит радужный свой след, подобный

Кармина пламени и лилии, зажатым между двух

Воздушных стен: мы их творим, поскольку так прекрасней^[7].

Но каждый уходил, унося с собой небо, как улиточный домик, и я даже не знал, шумело ли море в голубой раковине?

А когда я звал их, они смотрели на меня, как жесткокрылые жуки,

выглядывающие из глазниц черепа фараона.

Тогда я вспомнил слова апостола Павла^[8], а я не знаю более великих слов.

Поэтому я побежал за ними, крича: «Слушайте, я дам вам...» – но уже никого не было.

Я остался наедине с любовью, и было мне стыдно, хотя не надо этого стыдиться.

Я думал, что любовь бесполезна, когда ты один, и хотел ее оставить под опавшей листвой, как божью коровку.

Но я не сделал этого, и мне кажется, что поступил правильно.

Потому что не надо от нее отказываться.

Перевод Язневича В.И.

Укромное место

Молодой Шломо узнал об этом первым. Каким образом – неизвестно и по сей день. Было еще темно, когда он замолотил кулаками в кривую деревянную дверь, которая быстро открылась и поглотила его темную худую фигуру.

Он о чем-то там пошептался с отцом, и в комнатке, провонявшей испарениями тел и остатками прокисших блюд, началось движение. Старый Гринберг вскочил с кровати, быстро надел штаны, а оба его сына уже застегивали пуговицы на одежде, и все это происходило в сосредоточенном молчании, потому что каждое шумное движение или слово старик обрывал разъяренным шиканьем и резким взмахом узловатой лапы.

Когда старик оделся, а его жена положила в ручную корзинку немного еды, Гринберг осторожно выглянул в коридор. За боковым, высоко расположенным окошком снаружи переливалась синева встающего дня. Коридор был серый, запыленный и тихий.

– Можно, – прошипел старик.

Они гуськом двинулись в направлении противоположной квартиры на этом же этаже.

Гринберг осторожно и тихо постучал в дверь, неумело сбитую из шероховатых досок. Потом второй раз, громче и нетерпеливей.

Двери заскрипели, приоткрылись, и из темнеющей щели высунулась взлохмаченная голова старого переплетчика Вайнштейна. Глаза у него были еще затуманенные и теплые со сна, он быстро заморгал красными веками.

– Что случилось?!

– Тихо, ша! – Старик отодвинул Вайнштейна и протиснулся внутрь, за ним проскочили его сыновья.

Переплетчик все время жался к Гринбергу, хватал его за рукав сюртука, а в это время в помещении, плотно заставленном кроватями, началось движение, разбуженные дети запищали и заскулили, но Гринберг осаживал всех острым взглядом своих голубых глаз.

– Облава началась! – сказал он, и сдавленный плач взорвался с новой силой. Люди выскакивали из кроватей, трясущимися руками хватали ненужные лохмотья, бессмысленно закутывались в одеяла, жена переплетчика схватила самого младшего ребенка и каким-то звериным,

судорожным движением прижала к груди.

В это время Гринберг подошел к большому шкафу, стоявшему в углу комнаты, открыл его и начал выкидывать на пол одежду, тюки, смятое белье, пока не достиг дна. Тогда он повернулся, посмотрел искоса на пятна склоненных лиц, окружавших его тесным кольцом, и нажал на доску. Деревянное дно шкафа сдвинулось вбок, посыпались камешки, и показался черный прямоугольник пустоты, от которой веяло сырым, подвальным холодом.

Старик наполовину втиснулся в отверстие, вслепую нащупал ногами ступеньки приставленной лестницы и начал спускаться. Ступеньки скрипели и гнулись; наконец ноги коснулись грунта. Чиркнул кремень зажигалки.

Желтоватое пламя осветило четыре кирпичных стены, обозначивших небольшое пространство. Это была угловая часть подвала, отрезанная от его остальной части искусственно возведенной стеной, глухо закрытая со всех сторон. В подвальном своде, который одновременно являлся полом квартиры Вайнштейна, виднелось неровное, выбитое неумелой рукой отверстие с крошащимся по краям красным кирпичом.

Теперь сверху начали подавать какие-то тюки, свертки, узелки, несколько стульев. Гринберг зажег прикрепленную к столу толстую свечу и хозяйничал внизу, аккуратно все укладывая, в то время как сыновья и переплетчик помогали ему, просовывая через лаз отдельные предметы.

Но как-то неожиданно эта работа нарушилась и прекратилась – старик поднял голову, над отверстием никого не было. В то же время оно не зияло пустотой: было видно закрытое доской дно шкафа. Он услышал доносящиеся сверху невыразительные голоса, потом послышалось что-то вроде возни и сдавленный крик.

Он стал на первую ступеньку лестницы. Дно шкафа неожиданно отскочило, и бешеное, сверкавшее искрами отраженного света потное лицо толстой жены пекаря с первого этажа заплясало у него перед глазами.

– Ах вы, воры! Ах вы, бандиты! Бандиты! – заходила она криком, вырываясь из рук людей, которые напрасно пытались оттянуть ее назад.

– Это вы думали, что я ничего не знаю? Пусть все знают, пусть вся улица знает, что вы сделали себе убежище, чтобы спастись, а другие пусть подышлют...

Гринберг поднимался по лестнице, выпихивая наружу жену пекаря. Наконец все собрались в комнате.

– Тихо, – начал он, но женщина не переставала кричать.

– Тихо! – рявкнул он, понимая, что иначе с ней не справиться.

Она сразу замолчала.

– В чем дело? – заговорил неестественно спокойным голосом Гринберг. – Кто сделал убежище? Я. Я соорудил стену в подвале, я выпилил пол, я сделал дыру, все я... Но сколько будет места, столько людей спрячется. Я сам хотел идти к вам, слово даю, – объяснял он, торопливо моргая маленькими голубыми глазками.

Жена пекаря сразу успокоилась.

– Так я пошла за мужем, – крикнула она и выбежала.

– Тихо, тихо, ша, ради Бога, никому не говорить, – сказал ей Гринберг, но ее уже не было.

Теперь, когда они опять остались одни, Гринберг с немой яростью смотрел на лица окружающих.

– Черт побери, кто-то разболтал. Отличное убежище: каждый о нем знает...

Все молчали.

– Пан Гринберг, – осторожно начал Вайнштейн, – может, кто-то из ваших клиентов?

– Кто из моих, что из моих? – набросился на него с хриплым криком старик.

Гринберг был вором. Своим ремеслом он занимался уже много лет. Он никогда не крал там, где жил. Со времени прихода немцев свою профессию он не скрывал, зная, что, не будучи интеллигентом, имеет больше шансов уцелеть, чем любой другой житель дома. И в этом его поддерживали «знакомые» и «коллеги» арийской крови. Стоя в дверях своей квартиры, он обычно высовывал ноги до половины коридора и в ответ на недовольные замечания жильцов, спешивших на работу, молчал, криво и иронично усмехаясь: «Зачем мне работать, если у меня есть ключи от всего Львова?» Однако теперь остроумному Гринбергу было вовсе не до шуток.

Злой и встревоженный, он метался по тесной квартире старого переплетчика, каждую минуту выглядывая в окошко, завешенное полотенцами.

Улицы еще были пусты, только редкие прохожие быстрым и громким шагом пробирались вдоль стен.

Опять кто-то постучал. В дверном проеме показалось красное толстое лицо жены пекаря, растрепанная черная голова ее мужа, а за ними... Гринберг замер.

Почти весь дом: все жители двух этажей с тюками, детьми, вещами стояли, толкаясь и пихаясь, волоча обрывки страха и ужаса в распахнутых глазах. У каждого был свой собственный, личный страх, однако,

сбравшись вместе, они объединялись в одном желании жить.

Начались препирательства, крики, проклятия и ругань.

Наконец прозвучал резкий, поющий дискант. Кто-то вопил:

– Что, ты хочешь спастись, ты, вор, а меня должны вывезти на мыло? Как бы не так! Как только придут немцы, я сразу скажу, где убежище!

В глазах Гринберга загорелся нехороший огонек. Но он был бессилён что-либо изменить: отброшенный в сторону, с яростью и отчаянием он смотрел, как люди перелезают через порог шкафа, карабкаются и забираются вовнутрь, как в ограниченном пространстве, не больше чем три шага на два, становится все тесней и людней, как выбрасывают наверх стулья, потому что уже нет места для сидящих, как за стульями вслед летят тюки, а люди толкаются и пихаются, чтобы влезло больше, чтобы было плотнее, а тут новые все идут и идут...

Старик посмотрел вниз.

Там в желтоватом свете свечек колыхалось море голов, несло резким смрадом от вспотевших, немых тел...

Когда наверху оставалось всего несколько человек, кто-то сказал:

– Ну хорошо, а кто закроет шкаф? Да, кто закроет шкаф?

Нужно было его закрыть сверху: сначала укладывался вынутый квадрат кирпичей, затем деревянное дно, и, наконец, следовало закрыть дверь.

Пустые от страха лица. Люди смотрели друг на друга в поисках поддержки и не находили ее.

– Не надо, может, удастся как-то закрыть отсюда? – сказал кто-то внизу.

– Нет! – Гринберг радовался уже и своему, и чужому несчастью. Его распирала невероятная, мстительная радость. Как это? Он сделал убежище на шесть человек, а забирается в него тридцать?.. Нет... «Получите, мерзавцы», – подумал он и со злой радостью сказал:

– Если шкаф не закроется, то все напрасно. И дно надо заложить: снизу не получится.

Наступила тишина.

– Пан Фиш, у вас хороший аусвайс, – начал кто-то, спускаясь в подвал, но тут же сник и затрясся как студень.

– Самому остаться наверху?..

Гринберг сунул голову в шкаф.

– Вылезайте, – заговорил он, – ничего из этого не получится. Некому остаться наверху, никто не хочет, а шкаф надо закрыть. Нечего давиться и делать под себя.

Люди зашевелились, задрал к потолку лоснившиеся от пота лица, но молчали. Старик впал в ярость.

– Ну что сидите, скоты, как стадо волов?

Молчание усиливалось, сгущалось. Донесся далекий и слабый выстрел. Кто-то пискнул:

– Уже началось.

– Ну? – Гринберг полоснул их сверху злым горящим взглядом. – Ну, что будем делать?

– Жребий надо тянуть, – сказал кто-то.

– Жребий? Зачем жребий? Когда его возьмут, то он и так всех нас выдаст, чтобы себя спасти, – сказала жена пекаря.

Тишина. Внезапно раздался голос из угла:

– Не надо никакого жребия... Я останусь наверху.

Все повернулись на голос.

Ах, это Хана сидела там, маленькая рыжая Хана. Хромая девушка, которая носила по улицам гетто большую корзину, полную булок, кренделей, рожков и липких цветных конфет.

– Я останусь, – сказала она.

Поднялась со стула, на краешек которого присела, и, волоча кривую ногу, вышла на середину.

Наступил момент, о котором она мечтала, когда, сидя на заляпанном грязью уличном камне, присматривала за своей корзиной, скользя взглядом по глади стеклянно-зеленых луж.

И вот теперь все оробевшие взгляды остановились на ее склоненной худой фигуре, на запавших веснушчатых щеках, и ни у кого не вызывали отвращения ни ее сухие жесткие волосы, стоявшие пламенной копной над бледным лбом, ни красные потрескавшиеся руки...

– Ну хорошо... останься, – сказал в конце концов Гринберг, не глядя на нее, и, словно все уже было договорено, подошел к лазу.

В эту минуту застрочил автомат, но так близко и громко, словно у самого дома. Люди в панике бросились к шкафу.

Рыжая Хана ждала, пока все не спустятся, потом согласно указаниям старого Гринберга заложила люк кирпичами и досками и, наконец, закрыла шкаф на ключ.

А затем она уселась на стуле напротив двери и попыталась запеть какую-то тихую еврейскую песенку, но ни один звук не вышел из пересохшего горла.

Долгое время в подвале стояла тишина. Небольшое пространство, замурованное с четырех сторон, вздымалось теплом дыхания сбитых в кучу

людей. Стоя рядом так близко, что их грудные клетки поднимались с трудом, люди не могли держаться на обеих ногах и сливались в какую-то однородную, движимую ритмом дыхания потную массу. Рты с трудом хватали густой отвратительный воздух, у стен слышались шепоты, кто-то старческим, ломким голосом жаловался, что нельзя выпрямиться, чей-то ребенок заплакал...

– Тихо! – рявкнул вдруг режущим голосом Гринберг.

Наверху что-то происходит. Сначала слышны шаги в коридоре: раскачивающаяся, тяжелая, железная поступь. Потом – резкий удар в дверь. И голоса. Высокие немецкие голоса. Все замерло. Кто-то задул свечи: может, в полу есть где-нибудь щелка? И замерли так, сдавленные, в полном напряжении всех чувств в бездонной темноте.

Наверху стучат двери, снова слышны шаги – в этот раз отдаляющиеся, они слабеют и исчезают. Шкаф, скрипя, открывается. Доска поворачивается боком, и рыжая Хана шепчет в пульсирующую внизу рассеянным дыханием темноту:

– Это были немцы. Полиция. Уже ушли.

– Не взяли меня, – добавляет она как бы с некоторым удовлетворением.

Большой, с красным лицом немец посмотрел на калеку, когда она хотела подать ему свой грязный жирный аусвайс, мелко потряс головой, окинул взглядом пустое помещение, сказал «не надо» и вышел. Горящий ледяным пламенем страх уступает место приятному теплему облегчению.

Крышка опускается. Хана медленно и осторожно закрывает шкаф, после чего подходит к окну. Девушка прижимает лицо к холодному стеклу.

По улице бегут люди. Они мечутся, кидаются то в одну сторону, то в другую, из закоулков и улочек сыплются дробные, все сильнее гремящие автоматные выстрелы, тут и там раздается резкий, рваный крик, неожиданно обрезанный как ножом. Тут же перед домом кто-то падает на четвереньки, но движется дальше: это старый темный еврей, который тащится, ползет на четвереньках, только бы вперед, только бы подальше от опасности. Растрачивая остаток жизни в резких, бессильных движениях, оставляя за собой густой след впитавшейся в сыпучий песок крови.

Улочка опустела: с тяжелым топотом ботинок пробежали два немца – в зеленых мундирах «Зондердиенст», с автоматами, низко висевшими для стрельбы от бедра. Один показал товарищу высокий белый дом: «Туда, Ганс». Крикнул еще что-то непонятное, но прогнувшийся бегущий человек мелькнул за углом, и они побежали за ним вместе, стреляя на ходу.

Хана с удивлением, забыв на минуту о страхе, смотрела на бледный

огонек и прозрачный дым, извергавшиеся из ствола.

Откуда-то доносится грохот взрыва ручной гранаты. Люди в подполе застывают, слыша далекие и нечеткие выстрелы, иногда что-то шуршит за стенами, иногда им кажется, что светлые круги появляются на стенах, в воздухе, что отсвечивают зеленоватым светом лица и кошачьи глаза, и ледяные иглы дрожи будто обдают неожиданно кипятком. Груды словно сдавлены тисками, каждый стоит в толпе как палка, воткнутая в землю, люди сливаются в шестигранную живую массу и прислушиваются. Слушают, слушают, потому что...

Вновь раздается железный шаг на крыльце и приближается по коридору.

Стук в дверь. Высоко над головами гремит бас немца. И срывается в ответ тихий, тонкий голос Ханы.

Какой-то более громкий крик или звук, двери хлопают. Тишина...

– Взял ее? Забрал ее? – раздается сдавленный шепот.

Девушка наклоняется к днищу шкафа.

– Я тут, пока еще тут... – говорит она, не осознавая в эту минуту более глубокого значения своих слов. Действительно – пока.

Кто-то тремя длинными прыжками вбегает на крыльцо. Мерный стук подкованных ботинок.

– Öffnen^[9], – рыкнул немец и с размаху ударил по двери ногой в тяжелом ботинке. Доски громко трещат. Хана закрывает шкаф и бежит открывать.

Немец подозрительно осматривает помещение. Останавливается, широко расставив ноги, покачивает понимающе головой в шлеме:

– Ah, du bist allein...^[10]

Входят второй немец и третий: оглядываются. Повеяло запахом нагретого сукна, пота и одеколona. И чем-то вроде гари.

– Где остальные? – спрашивает немец.

– Какие остальные?

– Не прикидывайся! Где все остальные из этого дома?

– Уже были ваши – их уже забрали, – начинает Хана, но высокий блондин со смуглым лицом и синими девичьими глазами широко и злорадно улыбается. Белые зубы влажно поблескивают.

– Не ври! Говори, где они спрятались! Говори сейчас же, а то... – Он снимает с плеча небрежно висевший автомат. Железное колечко дула черно и холодно заглядывает в бледное лицо Ханы. Немец зажмуривает глаза. Девушка сжимает губы.

– Но никого нет... – говорит она наконец беспомощно и по-детски.

Немец делает неуловимо быстрое движение карабином, и девушка, получив удар стволом в лицо, неловко падает на пол. Она медленно садится, плюет кровью с выбитыми зубами. Трое высоких вооруженных мужчин берут ее в грозное кольцо холодно изучающих взглядов.

– Ну, где они спрятались? Тут? – спрашивает один, наугад подходя к большой кухонной печке.

– Нет их, – бормочет Хана. Губы у нее распухают.

Немец бьет кованым прикладом в железную плиту, заглядывает через дверцы, но пачкает себе руку сажей. Взбешенный, он вытирает ее о валяющееся одеяло.

– У нас нет времени! – кричит он резко, подходя к Хане так быстро, словно хочет наступить большим ботинком ей на грудь. Девушка сжеживается. Комом к горлу подкатывает тошнотворный страх.

– Скажешь – так останешься, а нет – заберем тебя, – решает блондин.

Лицо его прекрасно, мужественное, такое, как на цветных обложках немецких журналов.

За окном мелькнуло несколько черных силуэтов. Последним бежит аптекарь с противоположной стороны улицы с поднятыми вверх руками. Перебирая ногами, он бежит быстро, очень быстро...

Немцы подбежали к двери. Загрохотали шаги по ступенькам. И сразу раздались торопливые выстрелы, словно кто поленья колет на полу.

Хана встает, в голове шумит и трещит, но она уверенно идет к шкафу.

– Ушли, – говорит она в его направлении, но понимает, что все равно ее не слышат, – ушли.

В этот момент немец опять появляется в дверном проеме. Лицо у него твердое и жесткое, под черным козырьком шлема глаза отсвечивают стальной глазурью. Голодное лицо человека, который отведал крови.

Тишина, растянутая над головами людей, сдавленная вонючей темнотой, лопается громким мертвым криком. Что-то резко ударяется о стену шкафа – и тишина. Великая тишина.

Оцепенение проходит.

– Что это, – спрашивают люди друг друга шепотом. Ждут долго, долго. Выстрелы отдаляются, затихают, исчезают. Все замолкает. Только жажда жжет губы, отвратительное чувство голода сушит рот, груди судорожно вздымаются, воздух, втягиваемый в легкие, имеет вкус помоев. Одежда, рубашки, тела – все влажное и липкое, по кирпичным стенам стекают струйки тепловатой, сконденсированной из паров дыхания воды.

Старый Гринберг, который все время стоял на самой нижней ступеньке

лестницы, поднимается выше. Медленно и осторожно приближает лицо к перекрытию и тихо зовет:

– Хана! Хана!

Никто не отвечает.

– Хана! – зовет он громче.

Тишина.

– Забрали ее, – глухо бросает старик в темноту.

По телам пробегает слабая дрожь. Но замирает и останавливается, потому что на крыльце снова звучат шаги, кто-то открывает дверь и сразу выходит. И так раз за разом: постоянно стоит в ушах грохот твердых, железных шагов, стук дверей обрывает их, иногда раздается рокошующее эхо голосов, и опять тишина, иногда издали доносится треск выстрелов.

Проходили минуты. А может, часы?.. Кто-то следит за светящимся в темноте циферблатом. Воздухом, уплывающим через небольшие щелки перекрытия, становится невозможно дышать. Многоногий и многоголовый клубок тел начинает двигаться, мучимый спазмами удушающей тошноты. В судорогах корчится, скручивается, сжимается и оседает, расширяется и дрожит, облитый холодным потом страха и яростным, обнаженным, горячим желанием жить.

Наконец кто-то взрывается криком, его подхватывают другие: «Не хочу так – не хочу – мне все равно – пусть меня заберут – я хочу выйти – выйти!»

Ему отвечает враждебная, глухая тишина. Но начинается невидимая возня, в темноте что-то бурлит, переворачивается, слышны тупые удары, борьба, кто-то вскрикнул, захрипел, и лестница начинает трещать – трещать – кирпичи грохочут – пыль и штукатурка сыплется на головы...

Днище шкафа со стуком поднимается. Молодой Гринберг, ибо он и есть тот, кто первым вырвался наверх, с силой нажимает на створку двери. Что-то тяжелое передвигается, слышно мягкое шлепанье тела, и в шкаф и внутрь подвала врывается первая волна воздуха. Настоящего, чистого воздуха. Легкие вздымаются, глаза горят. Наверху Гринберг, ослепленный светом, вылезает на четвереньках на пол и спотыкается о труп Ханы, который лежит, касаясь шкафа. Он отодвинул тело, открывая дверь.

Он поднимается – ноги у него дрожат. Девушка лежит навзничь, ее руки вытянуты в сторону шкафа в ничего уже теперь не значащем, лишенном смысла жесте.

– Хана здесь лежит, ее застрелили, – громко говорит Гринберг и осторожно подходит к окну.

Наступают сумерки. Крыши домов чернеют на фоне высокой синевы,

страшной и прекрасной, как всегда. Улица уже пуста, тут и там видны перечеркнутые белой повязкой евреи.

Гринберг высовывает голову в дверной проем.

– Что слышно? – спрашивает он молодого человека в рабочем комбинезоне, который, видимо, возвращается с работы.

– Уехали уже, – говорит тот и идет, не задерживаясь, дальше. Гринберг припадает к шкафу, с трудом выдавливая из себя слова. Как заклинания. Клубок людей в вонючей глубине начинает распутываться. Смятые, дрожащие, ослабевшие люди выползают наверх, как большие червяки, извиваются в отверстиях, некоторые не могут выползти сами, у них подгибаются колени, дрожат руки, глаза, ослепленные бледным светом сумерек, отчаянно зажмуриваются. Легкие усиленно работают, привыкая к удивительному блаженству и облегчению, к воздуху. К восхитительному, необычному воздуху.

– Мы выжили... – говорит пекарь, словно удивляясь этому факту, и смотрит на отодвинутый в сторону труп Ханы.

В ее слегка приоткрытых глазах, уже немного помутневших (день был очень жаркий), сверкает голубая искра: последний отблеск сегодняшнего дня.

Перевод Язневича В.И.

Операция «Рейнгард»

На субботу пятнадцатого октября выпадал день рождения Кремина. Вся контора заранее готовилась к этому торжеству. Нищие, бродившие по свалкам с мешками отбросов, и конторские служащие, путешествующие для безопасности на автомобиле фирмы, объединились в поисках подарков для своего директора.

С семи до одиннадцати утра жены сотрудников трудились в качестве поварих и горничных, в то время как их мужья приносили по черной лестнице корзины и сумки с провиантом. Не жалели ни сил, ни средств, чтобы из старого серебра, розенталевского фарфора, кованых столовых приборов и множества изысканных блюд сотворить стол, который радовал бы и глаз, и рот. В первые минуты двенадцатого последний раз была разглажена белоснежная скатерть, и Кремин в широком костюме светло-голубого цвета, скроенном лучшим в городе еврейским портным, громогласно приветствовал на пороге дорогих гостей. Пришло семейство Грене, через пару минут после них – семья доктора Вайссколя, но напрасно хозяин высматривал Таннхойзера. От сквозняка, возникшего при открывании дверей, над столом колыхались тонкие огоньки свечей, раскрашенных в разные цвета. Сначала в бокалы разлили мозельское, затем пошли в ход французские вина – шабли, бургундское, «Слеза Христова», которые пили беспорядочно, большими глотками. Гости раззадорились и сами потянулись к серебряным блюдам, на которых розовели куски лососины, меняющие цвет, словно припорошенные серебром, ветчина, свернутая в тюльпанчики, обрамленная белым жиром, и разноцветные колбасы. Общее восхищение вызывала искристая горка икры.

– Mensch, echter Kaviar! Woher haben Sie das?^[11] – с завистью в голосе вопрошал Кремин Вайссколь, владелец большой транспортной фирмы, думая при этом: «Это евреи постарались! Надо будет моим сказать».

Кремин загадочно улыбался, выбритый до поросычьей розовости. Он уговаривал гостей пробовать блюда, и его голос звучал чуть более хрипло, чем обычно: накануне он до поздней ночи проверял на вкус разные сорта водки.

Стены столовой покрывала цветастая обивка, которая могла бы не одну впечатлительную натуру довести до головокружения. На бледно-золотом фоне выделялись фонтаны роз, гвоздик, фиалок, сирени – вся флора Европы была представлена на красивом шелке. По углам комнаты

стояли шкафчики, один из которых был полон статуэток из слоновой кости, собиранием которых славился когда-то дядя адвоката Гельдблума.

После нескольких рюмок, когда показалось дно тарелок с колбасами, раздался звонок, и Кремин, вынужденный исполнять функцию прислуги (обычно ему прислуживали евреи, которых он не хотел показывать гостям), побежал в коридор. Появился подчиненный Таннхойзера, гауптштурмфюрер Клопотцек.

«Вот наглец, прислал заместителя!» – подумал Кремин, но изобразил хозяина, ошарашенного дорогим гостем, который после энергичного военного приветствия уселся за стол. Предусмотрительно окружив себя блюдами, гость заедал яйца под майонезом то ветчиной, то куском индейки, впихивая в себя огромное количество кроваво-красной свеклы, и хотя быстро наедался упущенное, продолжал есть и даже привставал временами, чтобы подвинуть к себе то банку с трюфелями, то французский паштетик. Когда кто-то подал ему миску, стоявшую на другом конце стола, он мельком глянул в ту сторону, с треском сдвинув ботинки под столом, ни на минуту не переставая при этом жевать.

Кремин некоторое время дискутировал с Грене о способах сокращения времени выгрузки на вокзале, учитывая высокую плату за простой (ведь «Alle Räder müssen rollen für den Sieg»^[12]), но разговор быстро перешел на более волнующую тему. Оба нанимали на работу почти исключительно евреев, а предприятие Грене могло без них стать убыточным, поэтому он первым обратился к Клопотцеку с вопросом, не ожидается ли какая-нибудь новая ликвидация.

Гауптштурмфюрер, выковыривавший в это время жареные миндалины из сливочного торта, бросил на него острый взгляд и объявил:

– Das ist Kriegsgeheimnis!^[13]

Зигфрид торопливо загнул анекдот, чтобы сгладить этот инцидент, но безмятежное настроение уже не вернулось. Когда Клопотцек не смотрел в его сторону, Кремин бросал на него явно пренебрежительные взгляды. Эсэсовец есть уже не мог и лишь ковырял вилочкой начинку шоколадного торта.

Приближался час ночи. Гости начали вставать, отряхивая одежду, женщины щебетали, госпожа Грене на прощание показывала золотые зубы, словно извлекала улыбку из футляра. Проводив гостей, Зигфрид вернулся, с тяжелым вздохом опустился в кресло и с облегчением расстегнул пуговицу рубашки. Настроение у него ухудшалось, все отчетливее давала о себе знать печень. Раздался деликатный стук.

– Herein!^[14] – прохрипел Кремин, не поворачивая головы.

В комнату вошли четверо служащих. На чем-то вроде носилок они внесли гигантский гейзер белых марципанов и шоколада, на вершине которого в сахарной корзинке лежал золотой перстень. Директор поочередно пожал руки своим подчиненным, после чего началась вторая часть приема. Чтобы не портить себе настроения, Зигфрид разрешил евреям снять повязки. Розенштерн, который принес индивидуальный подарок – портсигар с музыкальным автоматом, – демонстрировал директору его в действии, рассказывал анекдоты и тихонько, призывно смеялся, видя, что шеф явно не в своей тарелке. Остальные евреи скромно поклевывали закуски, сдержанно выпивали уголками рта и вообще старались, как обычно при немцах, ограничивать себя до крайности. Невольно заинтересовавшись перстнем, Кремин разломал сахарную корзинку и оценил бриллиант каратомером, который носил на цепочке. Камень весил почти четыре карата. Кремин выпил довольно много, шутки Розенштерна сделали свое, а перстень довершил остальное. Он повеселел и начал похлопывать подходивших к нему евреев по спине и даже, подвыпив, пару раз ткнул рукой в бок Розенштерна. Зазвонил телефон. Зигфрид поднял трубку.

– Кремин! Jawohl! Was? Was? Was?!^[15] – кричал он все громче и трезвее. Шея у него побагровела. – So was... Tannhäuser, warum haben Sie mich nicht vorher benachrichtigt? Ach was, ich konnte nicht, ich konnte nicht! Was für eine Drecksache!^[16]

Он бросил трубку на рычаг.

– Herr Direktor... e... etwas Schlimmes?..^[17]

Несколько пар глаз уставились на его потное красное лицо. Евреи помертвели, кто с рюмкой, кто с бутербродом в руке. Кремин вытер лоб платком с золотой монограммой.

– Na, ich glaube, – сказал он с бешенством, – die Judenaktion hat angefangen!^[18]

* * *

Операция продолжалась до часу. Штурмбаннфюрер Таннхойзер был доволен: количество голов росло в соответствии с планом, процент самоубийц был небольшой, а такие случаи усложняли работу, потому что за трупами приходилось ездить и при этом зря тратить бензин. Лучше было, когда евреи сами приходили на место сбора. В три часа с вокзала прибыл Клопотцек и доложил, что первый состав уже грузится. На шестом пути товарного вокзала стоят сорок вагонов. Ждали дальше. Таннхойзер,

успокоенный, как раз собирался закурить, когда зазвонил телефон. Это был комиссар Хайн из криминальной полиции.

Сначала Таннхойзер долго не мог ничего понять и все спрашивал:

– А я-то здесь при чем? Это ведь ваше дело...

Комиссар говорил, что между путями на товарном вокзале железнодорожный охранник обнаружил труп женщины.

– Quatsch^[19]. Еврейка. Вы хотите начать следствие? Не валяйте дурака! В свою очередь разозлился Хайн и начал кричать:

– Дайте же мне закончить! Это немка. Eine Reichsdeutsche!^[20]

Таннхойзер ужаснулся:

– Что-что?

По предположению комиссара, немка, труп которой был найден, являлась пассажиркой утреннего поезда из Варшавы и выпала или была выброшена на пути неподалеку от состава, в который грузили евреев.

– Я должен сейчас туда поехать, чтобы начать следствие, но вокзал охраняется вашими людьми...

– Так чего вы хотите?

Комиссар снова заорал в трубку: хотел, чтобы Таннхойзер обеспечил ему доступ на вокзал.

– Сейчас... сейчас! Отлично. Именно туда едет мой заместитель, гауптштурмфюрер Клопотцек. Клопотцек, слушай! – Таннхойзер в нескольких словах пересказал всю историю подчиненному, который стоял у стола.

Через десять минут подъехала полицейская машина, и Клопотцек сел в нее.

– Мы не сразу едем на вокзал? – обратился он к комиссару, который был в гражданской одежде, с небольшой свастикой на лацкане пиджака.

– Нет, нам нужно взять нашего доктора.

Автомобиль остановился у Клиники судебной медицины. Комиссар выскочил и исчез в здании. Вскоре он вернулся с Веленецким.

– Доктор Вайсс выехал. Ну это в принципе все равно. Ширманн, едем на вокзал.

Автомобиль стремительно миновал несколько улиц и остановился. В окно с той стороны, где сидел Веленецкий, заглянул шуцман в каске.

– Gut, gut!^[21] – махнул полицейскому рукой Клопотцек, вылезая с другой стороны.

Он провел за собой обоих гражданских, отталкивая преграждавших дорогу солдат. Как раз в это время подъезжали четыре грузовика,

заполненные евреями. Веленецкий старался на них не смотреть. Опустил глаза. Заметил разбросанные между домами, вдоль пути, по которому проводили евреев, узелки, пустые чемоданы и затоптанные пальто.

– Где этот труп? – обратился Клопотцек к комиссару, который осматривался, привставая на цыпочки.

– Тут где-то мой Bahnschutz^[22], я не знаю...

Они начали проталкиваться между солдатами, наблюдавшими за погрузкой евреев. Ближайший путь был пуст. На другом стояли вагоны для скота, в которые загоняли группы людей. Между перронными воротами и длинным складским зданием вертелись вспотевшие унтеры. Наконец нашелся дорожный охранник. Им пришлось пролезть под вагонами, в которые грузили евреев, пройти еще через два пути, и уже у семафора они увидели что-то темное, распластанное на гравии, как большой тюк.

Убитая была женщиной среднего возраста. У нее было чистое лицо, а на затылке зияла большая рана. Кость легко поддалась при нажатии пальцев. Веленецкий быстро осмотрел тело, а комиссар тем временем измерял металлическим метром расстояние от рельсов и выпытывал у охранника и начальника станции, который появился неведомо откуда, подробности о движении поездов. Начальник станции сказал, что бумаги женщины он спрятал у себя в дежурке.

– Нельзя было трогать тело! Вы не знаете таких простых вещей, безобразие! – разозлился комиссар. – Ну ладно. Нужно забрать труп.

– Наверное, лучше будет отвезти тело в клинику? – обратился он к Веленецкому и спросил у Клопотцека: – Сюда можно заехать на машине?

– Хотелось бы этого избежать. Может, занести ее туда... в контору... а?

– Хорошо. Там есть место?

Комиссар махнул рукой.

– Ну, пусть будет по-вашему. Пришлите двух человек с носилками. Остальное вы сделаете у себя, доктор, так? Тогда пойдемте к складам. Я позвоню насчет машины.

Они снова пролезли под вагонами и выбрались на перрон, по которому проводили новую группу евреев. Веленецкому показалось, что все они похожи друг на друга: белые лица, вместо глаз – неподвижные пятна. Первой шла старая женщина в шелковом незавязанном платке, который она поддерживала обеими руками, словно от этого что-то зависело. Голова у нее была высоко поднята, она старалась держаться прямо, что особенно контрастировало с ее крупным, тяжелым телом. Потом он заметил какое-то знакомое лицо. Подсознательно он попытался отвести глаза, но было уже

поздно. Он узнал адвоката Гельдблума, который также его заметил. Ближайший шуцман стоял на расстоянии трех шагов и апатично повторял каждую секунду:

– Бистро, бистро, schneller.

Адвокат, шедший в группе крайним, приближался к Веленецкому, который не мог отвести от него глаз. Когда разделявшее их расстояние сократилось до метра, адвокат шевельнул губами, словно хотел что-то сказать, но не нашел слов. Веленецкий, которому Клопотцек почти наступал на пятки, снял шляпу, как бы здороваясь, но уже не надел ее и пошел дальше с непокрытой головой.

– Was machen Sie, Doktor?^[23] – спросил Клопотцек, который не знал, что Веленецкий – поляк.

– Es ist mir heiss geworden^[24], – ответил психолог с особенной интонацией в голосе, глядя ему прямо в глаза.

«Он хочет меня обидеть?» – удивился Клопотцек, но заметил, что в уголке под забором эсэсовец отбирает что-то у невысокой еврейки, и с криком бросился туда.

Комиссар с Веленецким вошли в контору. Это был длинный и широкий зал, поделенный низкой перегородкой на две части: слева обычно сидели служащие, но сейчас там было пусто. Их столы передвинули в центр зала, так что они образовали нечто вроде пропускника с узким проходом, через который непрерывно шли евреи.

Там сидели несколько немцев, курили сигареты и проверяли документы. Пол вокруг стола был розовым от картонных удостоверений, образовавших шелестящие холмики. Из небольших окон, размещенных высоко в стенах, падал мутный свет, отсвечивая на зеленоватых касках, обозначавших евреям дорогу к столу. Слышны были короткие вопросы, шелест картона, иногда звучало более громкое слово, глухой окрик, прерывистый вздох, похожий на стон, а когда Веленецкий прислушался, то заметил, что вздохи сгрудившейся, ожидавшей в глубине зала толпы отражают все, что происходит у стола. Комиссар остановился у настенного телефона, когда в зал влетел Клопотцек.

– So eine Geschichte!^[25] – начал он, но, оглядевшись, поднял брови. – Einen Moment!^[26] – попросил комиссара и доктора. Он подошел к столам и, склонившись к сидящим немцам, спросил громким шепотом: – Was soll das bedeuten? Was ist das?^[27]

Ему ответили вполголоса.

Эта дополнительная сортировка в зале не была предусмотрена планом;

ее по телефону приказал проводить Таннхойзер, чтобы удовлетворить просьбы Кремина, Грене и пары других знакомых и спасти часть их людей. Клопотцека, с которым Таннхойзер никогда не делился подарками, обуял служебный гнев.

– Das ist verboten!^[28]

Он кричал, что этим лишь задерживают работу: сортировку положено проводить уже в сборных пунктах.

– Alle sofort in die Waggonen! Alle! Alle! Los!^[29]

Эсэсовцы встали из-за стола.

– Aber Sturmbannführer Tannhäuser...^[30]

– Hier befehle ich!^[31]

Он знал, что ему достанется от шефа, но все закончится только криком, потому что правда на его стороне, зато как будет взбешен Кремин, этот мерзавец, который на прощание подал ему два пальца, а Грене... Поймут, к кому следует обращаться в таких случаях.

Комиссар связался по телефону с несколькими железнодорожными станциями.

– Неслыханное дело, – сказал он Клопотцеку, вешая трубку. – И паскудное к тому же. В Зборове был контроль документов: эта женщина ехала в вагоне «nur für Deutsche»^[32] с каким-то офицером СС... Неужели это он выбросил ее на пути?

– Что-что?! – пронзительно вскрикнул Клопотцек. Его глаза сузились от гнева. – Что вы тут рассказываете! Офицер СС, который выбрасывает женщину на рельсы? Да как вы смее!

В гараже работа шла своим чередом. Вильк сваривал стальные поперечины, которые должны были поддерживать расширенную раму нового грузовика. В глубине темных стекол защитных очков сварка сияла как ритмично пульсирующая звезда. Обе руки паренька, левая, державшая проволоку, и правая, с горелкой, колебались в радиусе нескольких сантиметров, каждая со своей частотой. Прыская снопами искр, жидкое железо заливало стыки, а пламя вдвухало его в мельчайшие трещинки. Когда Вильк поднялся над еще дымящейся рамой, появился Полякевич с двенадцатикилограммовым молотом и парой ударов отбил все поперечины. Швы были перекалены.

– Я так вас учил?

Чертыхнувшись, пан Тадеуш послал паренька за проволокой для сварки, а сам пошел в канцелярию за папиросой. На дворе раздался шум

мотора и хлопанье досок. В цех въезжал Марцинов на грузовом «фиате». Входя в канцелярию, водитель ударился головой о низкую притолоку, чего с ним никогда не случалось. Вильк подбежал к нему.

– Ну? Что там?

Он знал, что Марцинов был у самого гетто, потому что именно там размещались склады тканей, которые они возили на вокзал.

У водителя было злое, перекошенное лицо.

– Плохо. Всех со складов забрали.

Вильк хотел его спросить еще о чем-то, но замолчал, так как подошел Полякевич.

– Больше не поедете?

– Сделал два круга. Вокзал закрыт.

– Вывозят евреев?

– Вывозят.

– На моих глазах ранили типа, который хотел взять ребенка у еврейки, – вдруг сказал Марцинов.

– Это как?

– Обыкновенно. Их везли на трамвайных платформах. Она держала маленького ребенка, а когда трамвай притормозил, какой-то тип с тротуара подошел и показывает руками вот так... – Марцинов сделал призывающий жест.

– Отдала?

– Отдала, а эсэсовец с платформы бабахнул.

– И что, убил?

– Не знаю, я поехал дальше. Народ врассыпную, а немец стал палить в воздух.

Зазвонил телефон. Полякевич медленно подошел, остановился, широко расставив ноги, прижал трубку к уху. Тут же прикрыл ее рукой и обратился к Марцинову:

– Это вас.

Марцинов подошел к телефону. Долгую минуту слушал в молчании, затянулся папиросой и, выдыхая ртом и носом дым, сказал:

– Хорошо. Буду.

Повесил трубку и посмотрел на Полякевича с Вильком.

– Пан Тадеуш, я еду... И Вилька с собой возьму. Скоро вернемся, через четверть часа.

Полякевич ни о чем не спрашивал, но выражение лица у него было такое выжидающее, что Марцинов добавил:

– Едем на сортировочную. Улица закрыта, но служебную машину

пропустят. Вывезу их под тряпками.

– Евреев?! – Тадеуш набрал воздуха в легкие и свистнул. – Как делать нечего могут грохнуть... Смертная казнь полагается.

– Смертная казнь? – протянул Марцинов. Он открыл дверь. – Кароль, крути кобылу!

Заработал мотор, пофыркивая в замкнутом пространстве. Вильк вскочил на высокую подножку, Марцинов забрался в кабину, и машина, окутавшись серым облаком выхлопных газов, с грохотом съехала по деревянному скату во двор. Полякевич, широко расставив ноги, застыл у входа, долго смотрел вслед автомобилю, потом почесал затылок и бросил в глубь цеха:

– Иду в контору. Вернусь через часик.

И пошел в трактир на углу.

Расставшись с Веленецким, Стефан раздумал идти домой. Он боялся, что отец начнет расспрашивать его о планах, о Доланце, а он еще ничего не решил и не знал. Подумал, что лучше будет прийти домой вечером, так чтобы поздороваться и сразу залечь спать. Два часа он провел у университетского коллеги, а поскольку тот жил на другом конце города, у дома отца Стефан оказался за четверть до комендантского часа. Квартира была наглухо закрыта. После долгого стука в дверь он узнал от сторожа, что отец уехал на два дня. Этого он не ожидал. Отчаявшийся и взбешенный, вышел на улицу. Сначала хотел бежать к деду по матери, но было уже поздно. Побежал к вокзалу и провел ночь в зале ожидания третьего класса. Проснулся на твердой лавке, разбитый, в помятом пальто, голодный и злой. С Доланцем он договорился встретиться в час дня, так что времени было еще много. В трактире на углу съел дрянь, как и предыдущим утром, и с испорченным настроением болтался по городу, читал афиши, пока наконец подозрительные взгляды прохожих не напомнили ему, что, несмотря на субботнее утро, он грязен и небрит. Хотел зайти в парикмахерскую, но два попавшихся заведения были закрыты. «Может быть, сегодня какой-то католический праздник?» – подумалось ему. Тогда он обратился к важно шествующему семейству: мать держала за руку одного ребенка, а под ногами у отца путался другой, поменьше.

– Извините, пожалуйста, – сказал Стефан, приподнимая шляпу, – вы не знаете, где здесь есть работающая парикмахерская?

Мужчина бросил на него сонный взгляд, который вдруг стал осмысленным. Он ничего не ответил. Семейство медленно прошло мимо, ведя за собой болтающих детей. Женщина, повернув голову, скользнула по

нему рыбьим взглядом. Стефан остался со шляпой в руке. Нахлобучил ее, пожал плечами и пошел дальше. В конце улицы блеснули каски, раздался крик. Он знал, что хватают евреев. Затем какой-то заляпанный красками молодой человек с ведром и кисточками в руках крикнул ему прямо в лицо:

– Парень, беги! Они там, за углом!

– А... но я же не... – пробормотал Стефан, одновременно смутившись и испугавшись.

Немцы вышли на улицу. За ними медленно ехал огромный крытый автомобиль.

Подросток толкнул Стефана:

– Беги же, ради Бога!

Тшинецкий так обалдел, что ссутулился и крадучись, торопливым шагом двинулся в противоположную сторону. Обошел переулками квартал и оказался на главной улице, недалеко от места, где договорился встретиться с Доланцем. Поиск нужного дома занял у него некоторое время, потому что дом был скрыт за длинным забором. Стефан вошел во двор. За дверями большого сарая сиял голубой огонь. Он прошел туда и остановился на пороге, с растущим интересом всматриваясь в темный зев помещения. Казалось, что перед ним разворачивается модель Вселенной. Посреди тьмы светило солнце: растрепанный огненный шар. Рядом кружила светящаяся красная планета. В глубине маячили другие, а очень высоко над ним желтела пара неподвижных звезд. Когда глаза привыкли к темноте, он понял, что солнце – это пламя ацетиленовой горелки, планета – железный диск, который несет рабочий, другие небесные тела – склоненные головы стоявших на коленях работающих людей, а звезды – лампочки. Он отступил на шаг, прочитал надпись на вывеске: «Rohstofffassung»^[33] – и отвернулся. Доланца придется ждать еще почти полчаса. За это время можно было бы где-нибудь поблизости побриться. Он заметил дымок под забором. Там сидели кучкой три мальчика, старший, может быть, лет четырнадцати, блондин с кукольным личиком, командовал, два других клали в огонь неровно поструганные щепочки.

– Los, Кшиштоф, los, Теось, los, schnell!^[34]

Стефан решил спросить их про парикмахерскую и подошел поближе. Мальчики замолчали.

– Что ты делаешь, мальчик? – спросил Стефан, несколько смущенный испытывающим взглядом самого младшего.

Мальчик заговорщицки подмигнул блондинчику, который медленно вставал.

– Во что вы играете? – попытал счастья Стефан у среднего.

Тот минуту таращил на него глаза, потом вдруг скосил их, выпучил губы, выворачивая их в левую сторону, и что есть силы сжал нос пальцами – это называлось «делать еврея».

– Сопляк! – гневно заорал Стефан.

Тогда старший зашипел в его сторону:

– Кыш!

– Кыш! Кыш! – эхом отзывались мальцы.

Стефан, уже порядком разозлившийся, попытался схватить блондинчика, но тот ускользнул от него, а другие по-прежнему кричали:

– Кыш! Кыш! Кыш!

– Куда девал повязку? – тонюсеньким, нарочито писклявым голосом закричал самый маленький.

Стефан только теперь понял, что они имеют в виду. Он онемел, у него на лбу выступил пот.

– Черт бы вас побрал!

Он пошел к воротам, слыша шум приближающегося мотора. Немецкий грузовик с фургоном разворачивался, на улице ему не хватало места, и он въехал в пролом в заборе. Меж деревянных столбов показался его серо-зеленый передок.

За спиной Стефана поднялся дикий галдеж:

– Жи-и-ид! Еврей! Юдэ! Юдэ убегает! Юдэ-э-э!

С подножки на землю прыгнул шуцман, высокий, загорелый до бронзы, и, широко расставив руки, загородил ему дорогу.

– Ausweis!^[35]

– Юдэ! Юдэ! Юдэ! – плясали и подпрыгивали во дворе мальцы, впавшие в настоящее исступление. Из гаража медленно выходили работяги и смотрели на них из-под руки. Полицейский проверил бумаги Стефана, пронзил его холодным взглядом и скривил губы в иронической усмешке:

– Тши-нетц-кий! На, ha, einen schönen Namen hast du dir ausgesucht!^[36]

– Wa... Was?^[37]

– So sieht ein Arzt aus? Du jüdischer Hund!^[38]

Стефан схватился за щеку: немец ударил его по лицу.

Толком не соображая, что происходит, он пытался сопротивляться и кричал:

– Sie haben kein Recht!.. Ich bin Arier... meine Papiere!!^[39]

– Hier sind deine Papiere^[40], – флегматично сказал немец и засунул аусвайс во внутренний карман мундира.

– Du bist kein Jude, was? Sehr schön^[41].

В кузове его принял другой полицейский и впихнул в толпу плотно сбившихся людей.

Машина выехала на улицу. Тощий шарфюрер СС подошел сзади и спросил:

– Wieviel haben wir jetzt?^[42]

– Zwoundvierzig Leute^[43].

– Figuren, – поправил эсэсовец. – So... na, genug. Wir fahren «nach Hause»^[44].

Когда машина тронулась, с противоположной стороны подъехал грузовой «фиат»: это Марцинов и Вильк возвращались из гетто.

В Стефане все бурлило, несколько раз он пробовал говорить, защищаться, и его ударили прикладом в грудь. Машина подпрыгивала на выбоинах. На Ткацкой остановились перед большим, с двумя фасадами зданием с надписью «Schutzpolizei». Стефана грубо вытолкнули из кузова, он спрыгнул на землю и вместе со всеми побежал по центру двойной шеренги полицейских. В последнюю минуту бросил взгляд в сторону: увидел улицу, каменный, освещенный солнцем тротуар, деревья и прохожих, шедших прогулочным шагом.

– Боже мой! – крикнул он и получил удар в лицо.

Было начало пятого, когда он оказался в толпе, заполняющей двор полицейского управления. Вокруг себя он видел море колышущихся голов и пылающих глаз. В воздухе стоял плач и крики детей. Через ворота неустанно проходили все новые евреи. Они закрывали головы от ударов и бешено толкались, чтобы спрятаться в толпе, в массе, которая обещала минутное убежище.

Площадку окружали кордоны еврейских милиционеров в фантастически скроенных псевдоанглийских жакетах из разноцветных тканей. Время от времени раздавалась команда по-немецки, и тогда милиционеры начинали теснить толпу. Задние ряды евреев сидели на вытоптанной траве. Над площадкой висел неустанный плач, иногда усиливающийся до глухого протяжного крика. Милиционеры пытались прорваться к его источнику, но безуспешно, поэтому они колотили деревянными палками тех, кого могли достать. За забором постоянно мотались шуцманы. Несмотря на это, несколько подростков все-таки пробрались к щелям между досками, предлагая людям яд в небольших конвертах. Цена одной дозы цианистого калия доходила до пятисот злотых.

Но евреи были недоверчивы: в конвертах по большей части находился толченный кирпич.

– Господин! Господин, может, у вас есть немного воды! – раздалось за спиной Стефана. – Моя жена потеряла сознание! Господин...

– Отстань, – начал Тшинецкий в бешенстве, но слова застыли у него на губах.

Он оцепенел, глядя в лицо этого человека, которое покрывала сетка красной паутины. Кровь с разбитого лба засыхала сосульками на бровях. Кожа разошлась, показывая зияющее мясо.

Стефан не хотел стоять около него. Ему показалось, что такой изуродованный человек притягивает смерть. Он рванулся в сторону, к немецким каскам, топчась по ногам, вдавливаясь в плотную массу тел локтями и проталкиваясь то передом, то боком, то задом, и вдруг вырвался туда, где было посвободнее. Он услышал разговор на польском языке. У говорящего была прекрасная дикция.

– Сейчас, господин доктор, вам представилась последняя возможность убедить меня и изложить основы своей теории бессмертия...

– Это не моя теория, – начал названный доктором седовласый худой мужчина с орлиным носом.

Вдруг он встретился глазами со Стефаном и вполголоса произнес:

– А... уважаемый коллега тоже здесь... очень приятно, то есть печально...

Потом он замолчал и, приблизившись к лицу Стефана, шепотом спросил:

– Ради Бога, что вы здесь делаете? Ведь вы не еврей?

Стефан узнал его. Это был ассистент профессора Гузицкого, семинары по терапии которого он когда-то посещал. И вдруг в нем затеплилась надежда: этот человек мог бы засвидетельствовать, что он не еврей.

– Схватили меня... идиотская ошибка... вы не могли бы... вы... – начал он, но замолчал, так как это прозвучало нелепо.

Ему невольно пришлось соблюдать рамки этикета, который как-то не предусматривал подобных встреч.

– Бросьте молоть вздор, – буркнул доктор, который никогда не грешил хорошими манерами. – Наверное, вы хотите, чтобы я вам помог? Не пытайтесь меня уверить, что нет. Сейчас вернусь, – сказал он своему собеседнику, жгучему брюнету с темными красивыми глазами. – Подожди, Сало.

Отведя Стефана в сторону, он взял его под руку и шепнул на ухо:

– Сейчас поищем шуцмана... О, там стоит один...

– А что... что вы собираетесь делать? – с трудом выдавил Стефан, так как не мог вызвать у себя ни капельки интереса к судьбе человека, который хотел его спасти.

– Я? О, я в полной бе-зо-пас-ности! Да-а-а...

– Это прекрасно!

– Да, у меня такая доза морфия, которой хватило бы на двух старых быков, – довольно произнес врач. – И вскоре я впаду в нирвану... Вы знаете, наверное, что в последнее время я стал джайнистом... Не толкайся, идиот, и так нас всех черти заберут! – резко бросил он какому-то тощему субъекту, который, дрожа, хватал за руки окружавших его людей.

– Я все-таки не советую вам слишком на меня рассчитывать, – обратился он снова к Стефану. – Такие случаи свидетельства обычны, вы меня понимаете?

– Такие? – спросил Стефан.

У него голова шла кругом от толкучки и от неустанного распахивания грязной, причитающей толпы.

– Родители иногда говорят, что их дети на самом деле не их дети, а арийцы, чтобы спасти... вы понимаете? Немцы на это не очень ведутся...

– А... но...

– О, а вот и наш шуцман, – сказал доктор и, приподнимая фуражку, обратился к огромному красному немцу, который пальцем размазывал пот, собравшийся на выбритой верхней губе: – Herr Schupo, entschuldigen Sie, bitte... [\[45\]](#)

После обеда Плювак вышел из дому. В коридоре напевал: «Черны брови подмалюю, нутая, нутая, чернявого поцелую, нутая, нутая!» – но замолчал на лестничной площадке. Поздняя осень была на удивление красивой: голубое небо, деревья шелестят, как старые книги... Однако ему было не до прелестей природы, потому что по улицам шло столько девушек... Девушек...

Они маршировали по трое и по пятеро по всей ширине тротуаров. Они прижимались друг к дружке, постукивали каблучками изящных туфель, жевали сливы, доставая их из бумажных пакетиков, и мокрыми от сока губами улыбались прохожим. Отставший от них смех обжигал и жалил, как легчайшие прикосновения листьев крапивы.

Небо было еще ясное, но над землей уже сгущались сумерки, когда он заметил одинокую, очень стройную девушку. Она шла впереди него. Он пристроился к ее шагу и почувствовал возбуждение, попав в поле исходящего от нее света. «Вот бы подойти», – сглотнул он слюну и

ускорил шаг. Вздрыгнул, удивленный: это была его недавняя ученица, еврейка.

Девушка отшатнулась в сторону при виде заглядывающего ей в лицо мужчины. На бледном лице блестели черные, охваченные ужасом глаза. Сумерки стирали цвета и размазывали контуры далеких предметов, тем выразительнее проступали близкие. Ее лицо светилось фосфорической белизной.

– А... а... это вы, господин профессор?

– Не бойтесь, милая.

Он взял ее под руку, хоть она и сопротивлялась.

– Вы не носите повязку? – Он понизил голос до шепота: – Почему? Это очень опасно...

Он расспрашивал ее, что она делает, что с родителями, так осторожно, так тепло, что она рассказала все. Отца забрали утром... Ее тоже, но она выскочила из машины. Немец стрелял... Она вернулась в гетто, переделалась в лучшее платье и пробралась на арийскую сторону города.

– Говорят, что... я не очень похожа? Господин профессор? Как вы?..

Она заглядывала ему в лицо, но в этом не было ни следа кокетства, а лишь смертельный страх.

– Ну да, да... а что вы сейчас делаете?

– Не знаю... так, хожу; может быть, к ночи акция закончится, и...

– Такая одинокая девушка, это подозрительно. Хм, рискованно. – Он ее посвящал в свои мысли: – Но вы... такая молодая... и... э... жаль, вы были такой хорошей ученицей...

– Господин профессор?.. – вскрикнула она с надеждой в голосе. Невольно прижала локтем его руку.

Сердце у него начало биться медленно и тяжело. Он облизал губы.

– Ну что ж, была не была... Вы можете переночевать у меня...

В дежурке сидел Клопотцек, у которого после обеда надолго испортилось настроение. Сначала, конечно, Таннхойзер устроил ему бурный скандал из-за вывезенных евреев Кремина. Но по крайней мере можно было с удовлетворением смотреть, как он бесился, как стучал хлыстом по столу, переживая, что не получил обещанную взятку. Потом все перестало быть забавным. Привезенные из школы на пробу резервы полиции не оправдали надежд, и Уммер, который руководил оперативной группой в городе, неустанно требовал подкрепления – видимо, там на самом деле было жарко, потому что он постоянно звонил из караульной. Клопотцек слышал раздающийся в трубке треск недалеких карабинных

выстрелов.

– Woher soll ich die Leute nehmen?^[46] – взревел он наконец.

Ничего, перебьется, Уммер и так открутился от фронта. Там отвечают на выстрелы...

Только он успел проредить охрану своего «сборного пункта» и отправил в город взвод, как телефон заверещал снова.

Несколько десятков евреев повалили забор и, прорвавшись через редкий кордон, убежали вброд через реку на кладбище. Полиция стреляла: были убитые и раненые.

– О, Sapperlot!^[47] – взревел Клопотцек, сбрасывая со стола половину бумаг, и так бухнул кулаком по крышке, что фольксдойче Финдер, вроде бы привыкший к выходкам шефа, съехался за своим столиком. – Wie kann ich mit solchen Idioten arbeiten?^[48]

Вскоре телефон зазвонил снова: лейтенант Кригель из гестапо очищал тюрьму на улице Дембицкого и хотел присоединить заключенных к еврейскому транспорту.

– Ausgeschlossen! Ich habe keine Lastwagen mehr!^[49] – кричал Клопотцек, но потом все-таки позволил себя уломать и выделил два грузовика.

– Was für eine Bande hab ich, o, du Himmelarsch!^[50] – бросил он эсэсовцу, принесшему донесение. Отлично имитируя Таннхойзера, которого замещал, он срывал злобу на других. Попытался выщелкнуть из пачки сигарету, но она была пуста.

– Du, Finder, gib mir eine Zigarette^[51].

Телефон тихонько звякнул. Клопотцек гневно зыркнул на него:

– Na, na, du Vieh, schweig doch...^[52]

Стефана доставили в дежурку около шести: это было чудо, сотворенное благодаря доброжелательному сержанту Хеннебергу. Тучный унтер-офицер терпеливо выслушал рассказанную доктором историю, которую Стефан постоянно прерывал, после чего потребовал денег: у Стефана было только двести злотых.

– Was, du hast kein Geld? Na, dann bist du wirklich kein Jude^[53], – добродушно сказал совсем уже убежденный Хеннеберг. Стефан думал, что его сейчас выпустят, но сержант вывел его из заблуждения. – Нет, так нельзя, – по-доброму объяснял он, – у нас порядок. За количество голов отвечают все... от рядового до самого группенфюрера. Ja, ja, so ist das^[54].

Он проводил Стефана к Клопотцеку и доложил, в чем дело.

Тшинецкий стоял у двери.

– Soo... Sie sind also kein Jude^[55], – сказал Клопотцек, бросив на него беглый взгляд.

Ему все было ясно: дрожащие глазные яблоки, растительность на лице, нос, – еврей, нечего и говорить.

«Сначала пусть начнет говорить, потом я его добыю, – подумал он. – Или чего я буду мучиться со скотиной, пусть с ним Финдер пачкается... А Хеннебергу пусть будет урок. Верит каждой сказке».

Он просмотрел бумаги, которые еще остались у Тшинецкого: свидетельство о прописке в Нечавах, удостоверение Врачебной коллегии.

– Die Kennkarte hat dir ein Schupo genommen? Ja, ja. Natürlich. Ich glaube dir. Ja!^[56]

– Finder, fangen Sie an^[57], – обратился он к фольксдойчу, брюнету с дергающимися губами, напоминавшими синеватых гусениц.

Тот медленно встал из-за стола:

– Прочитайте «Верую»...

Стефан машинально начал бормотать слова молитвы.

– Неплохо, неплохо, – похвалил Финдер. – Und jetzt die Schwanzvisite^[58], – перешел он на немецкий.

– Was?^[59] – не понял Стефан, но стоящий за ним Хеннеберг все ему объяснил.

Стефан начал торопливо расстегивать ширинку, когда дверь отворилась и в помещение вихрем влетел Кремин.

– Mensch, was haben Sie emir gemacht!^[60] – начал он и закончил существенно тише: – Wo ist der Tannhäuser?^[61]

– Heitla!^[62] – произнес Клопотцек, поправляя ремень. Представление начиналось.

– Herr Sturmbannführer ist abwesend. Ich vertrete ihn. Was wollen Sie, bitte, Herr Direktor?^[63]

– Weg mit ihm^[64], – бросил он Хеннебергу, который выпихнул Стефана за двери. Когда они вышли, Тшинецкий начал объяснять немцу, что тот должен его отпустить, но в ответ услышал:

– Ich kann es leider nicht tun, mein Herr...^[65]

– Sie haben ja die Papiere gesehen und... alles...^[66]

– Ja, aber einen formellen Befehl hat mir der Herr Hauptsturmführer nicht gegeben^[67], – толковал ему Хеннеберг.

Это был настолько либеральный немец, что с ним можно было

препираться часами. В конце концов Стефан вернулся во двор и чуть не расплакался от злости, когда сержант утешил его:

– Na-na, warten Sie noch ein bisserl...^[68]

Стоя у стены, Тшинецкий думал: «Эти «добрые» немцы еще хуже, ведь меня убьют из-за этих скотов...»

Вдруг постовые у ворот расступились, все пришло в движение, и во двор въехал тяжелый длинный автомобиль вермахта. Клопотцек выбежал на крылечко. Из машины вышел группенфюрер Лей, низкий, щуплый, с длинным, как у скульптуры Торака, лицом, обвел толпу взглядом бледно-голубых глаз и сказал Клопотцеку, за которым сопел возбужденный, запыхавшийся Кремин:

– Mein Junge, machen Sie das schnell... mit einem preussischen Schnitt, was?^[69] – И, поднимая палец, добавил с деликатной примесью иронии, которую мог себе позволить: – Denn alle Räder müssen rollen für den Sieg!^[70]

– Zu Befehl, Herr Gruppenführer!^[71]

Лей ступил на лесенку своего автомобиля. Он стоял на предпоследней ступеньке, глядя, как полицейские ловко грузят евреев на въезжающие задом во двор грузовики. Иногда делал легкое движение рукой. Стефан вылетел из толпы и оказался на расстоянии шага от него.

– Herr General, ich bin ein Ar...^[72]

– Weg mit dem!^[73] – легко, весело крикнул Лей.

Пять крепких рук вцепились в Стефана, подбросили, и он, перелетев через борт, кувыркаясь, упал на доски, воняющие гнилью. Из носа у него медленно текла теплыми каплями кровь и размазывалась по лицу. Он чувствовал ее соленый, неприятный вкус.

Когда машина тронулась, его охватило внезапное спокойствие.

«Конец, и какой идиотский!» – подумал он.

Мысли распадалась на кусочки, как дождевые черви под лопатой. У вокзала образовалась пробка. Тяжелые дизельные грузовики с откинутыми брезентовыми тентами, рыча, выбирались из толпы, в которой среди обнаженных голов, как черепахи, плыли немецкие каски. Грузовик, на котором был Стефан, остановился перед воротами. После короткого маневрирования задний борт машины совместился с проходом в кордонах, и через минуту всех вытолкали в переход между вокзальными строениями. Вдоль железной сетки, ограждающей перрон, стояли солдаты СД, а в самих переходах царила жуткая толчея, потому что все пихались, пытаясь уйти от ударов.

– Los! Uhren, Ringe, Goldsachen abgeben, alles abgeben, los!^[74]

Веснушчатый шарфюрер совсем охрип: кричал так с четырех часов.

По обе стороны перехода стояли большие деревянные бочки, в которые нужно было, проходя мимо, бросать золото и деньги.

– Du, und du, und du, weiter, weiter, бистро, los!^[75]

За воротами давка была поменьше. Люди веерообразно расходились к вагонам.

В центре перрона на багажном вагоне стоял механик Heereskraftpark^[76] и вылавливал своих.

– Wer arbeitet in НКР? Du? Du? Wer ist von НКР?!^[77] – кричал он, поминутно вытирая пот большим белым платком. Он сильно потел, потому что был толстый.

– Wo arbeitest du? Wo arbeitest du?^[78]

Язык у него онемел.

– Ich bin kein Ju...^[79] – пробормотал Стефан, еле ворочая пересохшим языком.

– Weg!^[80]

Стефан влился в засасывающий поток людей, текущий к загрузочной платформе. Со всех сторон его окружали сгорбленные спины и втянутые в плечи головы. В полуметре над бетоном зияли черные двери вагонов для скота... Тот, в который он попал, был уже почти полон, но в него продолжали втискиваться и карабкаться вверх новые люди.

Немцы напирали на толпу сзади, криками и ударами доводя до того, что люди продирались по телам и плечам других, лишь бы скорее уйти от прикладов.

Когда его, лежавшего на полу в стонущей, подпрыгивающей людской массе, везли в автомобиле, Стефан думал, что их сейчас расстреляют, и это уже не казалось ему таким страшным, но теперь, глядя, как большие двери медленно задвигаются на роликах с чудовищным скрежетом и в темноте звучат глухие удары молотков, он затрясся от отвращения, вызвавшего приступ тошноты.

В голове его вихрем завертелись похожие на фотографии мысли: «Это хуже, чем смерть»; «Как долго еще я буду мучиться», и в самом конце: «Хорошо, что я родился не евреем, потому что это ужасно».

Поезд стоял почти всю ночь. Вагон наполнился спертым воздухом, стонами, хрипами и бормотанием. Люди рвались к зияющим наверху щелям, через которые тонкими струйками пробивался воздух. Другие пытались их оторвать от этих щелей, и в темноте велись ожесточенные

битвы. Кто-то кричал регулярно, каждые пять минут, что его жена умирает. Иногда вдруг наступившую тишину разрывали крики из соседнего вагона, глухие, как из гроба.

Стефан застыл среди тесно спрессованных тел, не то висая, не то стоя. Наконец людская масса, залитая в черное чрево вагона, вздрогнула: поезд тронулся.

Ехали долго. Над головами светились щели, сначала серые, потом бледно-розовые. Поезд ехал, стуча колесами, иногда притормаживал, а то и вовсе останавливался в чистом поле, как говорили те, кто стоял у щелей забитых окошек. Через некоторое время Стефан, который понемногу начал различать мутные контуры лиц над и под собой, спросил:

– Куда мы едем?

Никто ему не ответил. Он повторил вопрос.

– А *myszyciener*^[81], – простонал кто-то сбоку.

Там белела длинная седая борода.

Поезд опять остановился. Спереди раздался протяжный вой локомотива, потом вагон звучно столкнулся с другим вагоном. Поезд лениво двинулся в противоположном направлении. Маневрирование продолжалось довольно долго. Стефан временами не чувствовал рук и ног. Ему казалось, что он вращается в огромный кусок полуживого мяса, которое заполняло собой все видимое пространство. Потом раздался грохот буферов, стремительной волной прокатившийся по вагонам. Остановились.

На Стефана навалилась большая горячая масса, больно придавив ему щеку. Кто-то упал, сделалось свободнее. Он рванулся вперед и припал к окну. Был рассвет: над широкими чистыми полями недвижно пламенела заря. До этого он находился в состоянии тупого оцепенения, как человек, до усталости всматривающийся в блестящую точку. Теперь прозрел. Это ощущение гигантского пространства, дышащего ветром, шумом далеких деревьев, еще темнеющего под светлой лазурью, ударило его как ножом. Кто-то снизу дергал его за ногу, чьи-то руки колотили его по спине – он воспринимал эти удары и причиняемую ими боль с радостью, потому что это была жизнь. Жизнью было пульсирование крови в одурманенной голове и ее вкус во рту. Его тело молча кричало, желая и дальше терпеть любое страдание и любую муку. Первый рассветный ветер ворвался в щели и отбросил волосы с его запотевшего лба. Он почувствовал, что природа, сделавшая ему это одолжение, с таким же равнодушием поглотит то месиво, в которое скоро расплывется он сам, и страх, какого он не знал никогда, впился в его нутро. Он с пронзительным стоном отпал от щели.

Издали донеслись команды. Вскоре поспешным, неровным стуком

отозвались молотки. Евреи встретили этот приближающийся грохот шепотом, кто-то спазматически зарыдал, и снова наступила тишина.

Молотки звенели все ближе и ближе. Потом двери их вагона загудели, как чудовищный барабан. Заскрежетали засовы, ролики отозвались протяжным скрипом, и внутрь ворвался слепящий белый свет.

– Raus! Raus! Raus!^[82]

Стефан, жмуря глаза и заслоняясь руками, слетел на землю, получил удар плетью по плечу, свернулся от боли и, не издав ни звука, побежал за остальными. Ветер обжигал легкие, опьянял как алкоголь. Последний вагон упирался в стопор с фонарем. Здесь кончался слепой тупиковый путь. Где-то далеко впереди белым пульсирующим гейзером пыхтел локомотив.

Люди в толпе, наступая друг другу на пятки и толкаясь, неслись по длинной улице среди массивных черно-зеленых стен живой изгороди. На бегу Стефан заметил, что плетень состоял из пихточек, в которые для уплотнения были проволокой подвязаны другие деревца, уже засохшие, рыжие, с осыпающимися иголками.

В воздухе, таком холодном, что выдыхаемый пар зависал в нем облаком, чувствовался какой-то неясный запах. Когда он концентрировал на нем внимание, запах исчезал, чтобы через минуту вернуться с еще большей назойливостью. Он вызывал тошноту.

В конце изгороди начиналось плоское пространство, окруженное несколькими бараками. Вдали виднелись темные ряды кустов в колышущейся серой мгле. Из-за самого большого барака торчало что-то большое, словно подъемный кран или пролет моста. Группа евреев в обычной изорванной одежде (обращал на себя внимание их высокий рост), без нашивок и повязок, катила по желтой расчищенной дорожке двухколесные тачки. Невдалеке от сторожевой будки, на высоком треножнике из сбитых деревянных свай, стояла большая эмалированная ваза с пальмой. Ее листья, побитые ранним морозом, длинной гривой опали вниз. Под пальмой стояли три немца. Самый высокий, в клеенчатом блестящем плаще, держал руки в карманах. Он был в очках, стекла которых блестели.

– Stillgestanden!^[83] – крикнул немец. Наступила тишина, в которой где-то далеко чуть пофыркивал, словно подыхающий зверь, локомотив.

В стеклах немца отражалась пурпурная заря.

– Sie sind in einem Arbeitslager! Wer anständig arbeiten wird, dem passiert nichts. Jetzt werden sie ins Bad gehen, dann in die Baracken. Jeder bekommt eine Bluse, eine Hose, 350 Gramm Brot und zwomal täglich Suppe. Und jetzt

macht, das es schnell geht!^[84]

Толпа взорвалась радостным гомоном. Раздались крики команды. Затем все начали снимать с себя одежду, десятки силуэтов задержались в спешке, по площади пробежала волна движения, даже посветлело от массы обнажающихся тел. Стефан стянул пиджак и брюки, от волнения обрывая пуговицы. Рядом с ним раздевалась молодая женщина, резко стягивая дрожащими руками через голову платье, в котором запутались толстые черные косы. Соски у нее были почти гранатового цвета. За ней стоял уже нагой высокий старик с бочковато опухшим телом и худыми как щепка руками, которые он неуклюже скрестил на сраме. К старику прижимался маленький мальчик. Везде мелькали бледные, зеленоватые, темные, небритые лица.

– Биистро! Weiber nach rechts! Loos!!^[85]

Немцы напирали на них, отделяя женщин. Раздалось несколько криков, тела перемешались, затем как из-под земли выросла длинная цепь людей в черных мундирах, которые погнали голых женщин в барак на кирпичных опорах, щелкая на бегу бичами. Мужчин направили к воротам в сером трехметровом заборе. Ропща и толкаясь, они заполнили небольшой квадратный двор, со всех сторон замкнутый стенами из досок. Восточной стеной было плоское здание из серого бетона. Над крышей здания висела зеленая железная сетка. Внизу на стене чернела большая надпись:

«BADE-UND INHALATIONSRAUME»^[86]

В узких окнах под самой крышей виднелись матовые стекла. Нагие люди поднимались по ступенькам к широко распахнутым железным дверям. Инстинктивно вскидывали ноги, потому что бетон обжигал льдом. Стефан шел среди исхудавших голых тел. Рядом с дверью стоял высокий немец в ботинках с голенищами, в наброшенной на плечи клеенчатой накидке. Он пытался раскурить сигарету, но зажигалка лишь чиркала, не давая огня. Оказавшись в трех шагах от него, Стефан неожиданно отделился от толпы. Стал нагой перед немцем, говоря необычайно медленно, выразительно и отчетливо, что произошла ошибка, что он ариец, что его многие знают, в том числе и немцы, что фатальное стечение обстоятельств...

Немец сделал движение локтем поднятой руки, словно хотел его отпихнуть, но задержался в опасении, что потеряет винтик, придерживающий камешек зажигалки. Возясь с ней, он невольно вынужден был слушать. Тшинецкий закончил. Немец посмотрел на него,

словно удивляясь, что это голое создание умеет говорить. Сердце колотилось у Стефана с такой силой, что дрожали ребра. Зажигалка наконец выдала струйку пламени. Немец со вкусом затянулся.

– Was du nicht sagst? Du bist kein Jude, was?^[87]

Стефан повторил свою историю, сказал, откуда он, как его зовут, взяли его по ошибке, знают его...

– Gut, gut, – сказал немец, пряча зажигалку. – Aber wie soll ich dir glauben? Lügst du nicht?^[88]

Чувствуя за спиной беспрестанный мягкий шорох босых ног, вступающих в бетонное чрево, Стефан прижал к груди обе руки:

– Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort!^[89]

– So! – Немец выпустил дым и, стряхивая пепел пальцем, рассудительно продолжил: – Bist du ein Jude, so hast du keine Ehre, bist du aber keener, dann hast du die Ehre. Na-na, was sagst du dazu?^[90]

Он развлекался. Вдруг за ними произошло что-то странное. Никто не отозвался – может быть, дыхание стало более громким, – кто-то зарыдал, неустанные окрики «los! los! быстро!» начали падать чаще – по идущим прошла непонятная волна. Вдруг все поняли. Толпа дернулась и на мгновение остановилась. Подбежали несколько эсэсовцев в черных мундирах, коля штыками. Раздался пронзительный визг. Стефан не смел повернуться, глянуть в сторону. Он стоял в трех шагах от толпы. Сейчас решался вопрос о его жизни или смерти. Он чувствовал это всей кожей, всем телом.

Один из бегущих наставил штык. Острые блеснуло ему прямо в глаза.

– Den nicht!^[91]

Немец Стефана резко протянул руку и остановил удар. В следующую минуту толпа, обливаясь кровью и воя, двинулась дальше. Из холодных камер, в глубине которых виднелись бетонные опоры, доносился все более громкий, низкий, горловой плач. Эсэсовец с отвращением выбросил сигарету и почесал шею. Взглянул на Стефана исподлобья, как бы размышляя, повернул голову вбок, но двор был уже пуст, только черные мундиры суетились у входа, плотно запирая двери. Пришлось бы их отпирать снова, вносить беспорядок.

– Komm!^[92] – сказал он.

Повернувшись на пятках, пошел первым. Стефан, голый, двинулся за ним. Они шли напрямик к деревянному барaku с маленькими окнами. Крыша, покрытая оцинкованной жестью, сияла на солнце как ртуть. Эсэсовец достал из кармана ключ, открыл висячий замок, концом ботинка

приоткрыл сбитую из досок дверь настолько, чтобы Стефан мог войти внутрь.

– Warte hier^[93].

Стефан задержался на пороге, хотел что-то сказать, но, получив толчок в спину дверью, сделал вслепую пару шагов, теряя равновесие. Он болезненно ударился обо что-то, нащупал доску, другую, какую-то деревянную лесенку, чуть видневшуюся в полумраке, бездумно поднялся по ней – далее белела брошенная плашмя длинная доска. Он сошел с нее, и ноги вдруг увязли в чем-то мягком, податливом, без дна. Он хотел вернуться на доску, но не смог. Он по колени провалился в пушистую массу, которая медленно и как-то мерзко расступалась под ногами. С минуту он стоял, выпрямившись, не смея шевельнуться, а глаза привыкали к рассеянному, мутному свету. Он находился высоко, почти под самыми стропилами крыши. Втягивал воздух, который был теплее, чем на дворе, насыщенный слабым, но назойливым запахом, приторным, но почти приятным, который оставлял, однако, в горле все более отчетливый, горьковатый вкус прогорклости. Он проваливался все глубже, уже до половины бедер погрузился в эту податливую, щекочущую кожу массу, от которой шло едва ощутимое тепло, и этот запах, сжимающий горло...

Он вдруг увидел, рванулся вспять, чуть не упал. Это были человеческие волосы, женские волосы, темной, спутанной массой заполнявшие барак почти полностью. Он инстинктивно вскинул руки, чтобы не касаться волос, охнул, поперхнулся. В скудном, плывущем сверху свете волосы искрились, то здесь, то там. Чтобы не смотреть на них, он обратил взгляд на пыльные стекла окна, когда со двора донесся далекий, хоровой рев.

– Что-что? – пробормотал он, ощущая собственные губы как два толстых, едва расходящихся валика. Рев продолжал звучать, протяжный, далекий, становился все выше; голоса обрывались в нем как нити, а он стоял, впившись взглядом в квадрат неба: там, в квадратной раме окна, медленно плыло в сияющей голубизне пылающее холодом белое облако.

Гауптштурмфюрер Кестниц

Казимеж откинулся к темной холодной стене и уперся в нее затылком. Вперив невидящий взгляд в узкое высокое окошко, за которым колыхались деревья сада, долгое время молчал.

– Знаете... – начал он, – во время моей «работы» за последний год я узнал много интересных людей, но такого типа, как комендант лагеря в Гросс-Эзау, думаю, не было и не будет. Это феномен. Скотина, могучая скотина. Колоссальная. И к тому же мужик интеллигентный, образованный; хо-хо, какие он устраивал шутки...

Он замолк, устроился поудобней на кровати, так что захрустел набитый соломой матрас, и продолжил:

– Я попался случайно, даже не по своей вине... Когда-нибудь вам расскажу. Но сейчас о другом. Итак, я попал в этот лагерь. У меня уже было чутье, и я вскоре сориентировался, что и как. Товарищи рассказали мне, что комендант вызывает каждого интересного для него новичка к себе, чтобы его своеобразно вымотать. Я подумал, что, может, я не такая незаурядная личность. Работалось тяжело, били часто, вши, грязь, все по плану: Arbeit macht frei... durch den Tod^[94]. Но это неинтересно. Однажды днем после переклички приходит эсэсовец Гроэхманн и говорит, что меня вызывают. Я пошел. Идем, идем – а вы должны знать, что, кроме своего барака, дороги на работу и обратно, я вообще не знал лагеря, – пока не подходим к ограде, минуем ее через маленькую калитку, и – открывается вид на рай. Чудесный сад, изящно и со вкусом посаженный, ухоженный, а в полной цветовой зелени – современный белый домик. Вилла коменданта. Меня проводили в комнату – шапки долой! Если бы я был в Варшаве и попал в такую комнату, она произвела бы на меня немалое впечатление, а в моей ситуации: уже слегка одичавший, вонючий, покрытый кровью, собственной и раздавленных паразитов, грязный, в полосатой одежде...

Странные тут, однако, были обычаи, ибо эсэсовец оставил меня одного и вышел. Пусто, оглядываюсь: вся меблировка – черное дерево, но все такое, словно мебель кто-то сделал из гробов. Огромная, массивная полированная черная мебель: стол, несколько шкафов, в том числе прекрасный книжный шкаф, – все книги в зеленом переплете, такой же плюш на столе, только эти два цвета: черный и зеленый. Я минуту постоял – глядь в окно: «Может, как-нибудь удрать?» Безумная мысль. Едва я сдвинулся с места – слышу смех. Вошел комендант, который стоял в шкафу,

то есть, собственно говоря, это был не шкаф, а рельефная дверь, отлично его имитирующая.

– Так-так, – говорит он, – так заканчиваются песни. Ну и что же, неряха, что вы скажете мне о глубоком смысле жизни?

Он удобно уселся, закурил сигарету и говорит:

– Ну, значит, зачем человек живет? Вы должны знать, что я задал этот вопрос уже несколько сотен раз, но до сих пор никто мне на него удовлетворительно не ответил. Обещание и награда всегда те же самые: кто даст мне удовлетворительный ответ, с тем попрощаюсь тотчас же. Он получит свою одежду и билет домой.

Странный это был немец. Когда он говорил, я смотрел на него и видел, что он думает об этом совершенно серьезно. Это чувствовалось. И то, как говорил этот человек, когда все, от товарища на нарах, надсмотрщика и до эсэсовцев охраны, тыкали нам, было очень непривычно. Сидя в кресле, он, казалось, в нем расплывался: голова совершенно лысая, словно раздвоенная на макушке, ибо у него был впалый, седлообразный затылок. Лицо широкое, огромное, красное, а глаза в мешочках век, таких мокро-красных, почти как щелки. Он также не смотрел в глаза, разве что очень редко. Нос раздвоенный, как картошка, губа с виду сальная. Но вы, наверное, по моему описанию судите, что это такой налитый кровью, толстый, с рыжими выгоревшими ресницами и бровями человек? Вот уж нет. Было в нем что-то, что даже сегодня я не могу определить и объяснить, но что делало его почти симпатичным, – это как-то само собой в этом человеке возникало. Просто ни эта блестящая голова, лысый шишковатый шар, ни нос, ни опухшие глаза не производили неприятного впечатления. Может, это голос? У него был чудесный голос, редко такой услышишь: просто говорящий тенор. Вы должны знать, что типичная лагерная апатия тогда еще меня не охватила, я ведь здесь был всего лишь пару дней, поэтому, хотя и чувствовал, что это абсурдное предложение, я невольно вздрогнул. Повторяю, не верил, но знал, нутром чуял: то, что он говорит, серьезно. Очевидно, я должен был обнаружить свое волнение каким-то движением, ибо этот мерзавец (Казимеж усмехнулся почти нежно) обрадовался.

– Я вижу, что вы меня порадуете, – говорит. – У меня уже был тут один философ, и представьте себе, я убедил его в полной слабости его гипотез. Ха-ха-ха! – взорвался он неожиданно громким смехом. Массивное тело в зеленом мундире дрожало и тряслось.

– Я выбил из него весь идеализм, – рычал он смеясь.

Как вдруг стал серьезным, причем так неожиданно, что это было даже

странно.

– Ну и?.. Вы уже будете говорить или, может, нужно время для раздумий? Или знаете что... – задумался он на минуту.

Комендант смотрел на машинописный листок бумаги, который держал в руках.

– Гм... Вы имеете законченное высшее образование... Даже два факультета: философия и право, – это похвально... – кивал он.

Он говорил всегда так, что было непонятно, шутит он или вполне серьезен. Впрочем, мне кажется, что он сам этого не знал. Такой, собственно говоря, он был: двуликий. Комендант посмотрел на меня, а я все больше тушевался. Этот тон, эта обстановка... Мне казалось, что я вижу сон, а он и этим забавляется.

– Не приглашаю вас сесть, – сказал он, – потому что может быть проблема с дезинсекцией... правда? Если разговор будет интересным, в другой раз вы сядете... если будет другой раз.

Окончание фраз опять его рассмешило. Но он сразу стал серьезным и, не глядя на меня, сказал медленно, спокойно, как бы самому себе:

– Прекраснейшая вещь на свете – это жизнь... Я часто думаю, что если бы было кого за нее благодарить, я бы делал это много раз в день... Также и за то, что можно чувствовать, так, как я именно в эту минуту. Но жизнь должна иметь какую-то цену, просто эта цена выше других. И все зависит от формы оплаты. Есть такие законченные глупцы, которые думают, что существуют некие добро и зло, а может, даже граница между ними... Затем, есть такие глупцы, которые вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, отказывают себе во всем во имя так называемых идеалов, они суть обычные бутылки, наполненные цветной водой с этикетками... Следом идут другие, несколько более умудренные опытом, они думают, что самая прекрасная вещь – это уничтожить немного жизни. Разумеется, не своей, – скривился он с усмешкой. – Но это все глупцы. Как можно убить человека? – склонился он в мою сторону с неожиданной плаксивостью. – Ведь, убивая его, я теряю над ним всякую власть, я не могу уже ничего, я бессилен... И это ошибка, – буркнул он печально. – Поэтому каждый случай смерти в лагере досаден и глубоко меня огорчает. Смерть – это побег от живых. Что за подлость! Интересно, – добавил он, – что глупые люди так сильно боятся смерти... Но это же, к счастью, и единственное спасение. Потому что я умею внушить отвращение к жизни... Если бы она не была для вас такой сладкой, то вы бы все друг за другом поперевешались, а так – проводятся различные эксперименты, всевозможные испытания, – растягивал он слоги. – Можно мучить и так и

сяк, резать, жечь на железных решетках и на балках индийским способом, и этот испанский сапог, и олово, и доски с резьбой, и японское туше, и бочки для замораживания зимой – что только не пожелаете. Но это все – примитив... Верьте мне, я делал это не из-за садизма, – я не садист, а из интереса. Я думал, что же может получиться из человека после таких мук и пыток? Может, какой-то святой родится? Может, чудотворец? Нет, вы не думайте, что я издеваюсь, – добавил он, – я просто не знал. Такие вот испытания. Что происходит с человеком в минуту пытки? Где его душа находится? Или он уже настолько сросся с кишками, связан так неразрывно, что если эти кишки слегка выпустить, накрутить на палку и потянуть, то человек уже не может думать о Господе Боге? А куда исчезают эти прекрасные узоры из нашего калейдоскопа – мозга? Мне было это интересно узнать, ну и ставил опыты. Но все это напрасно, – недовольно скривился он. – Чем умнее казался кто-то из людей: философ, поэт, художник, – тем быстрее у него душа переставала быть прекрасной. Та или иная косточка трескалась или какой-то чувствительный орган ему придавили, и конец свободе духа. А где же тогда обретается бесконечность, в мозге отраженная? Где идеалы? Э-э-э... – грозил он пальцем, как маленькому ребенку, – не нравится мне это...

– Интересно... – удивлялась эта глыба в кресле, – любопытно: отрезается маленький кусочек тела, не больше кулака, а человек превращается в такого барана, как если бы его разрезали пополам... И вот я придумал такое новшество: мыслящим людям задается вопрос, на который надо ответить, решить его. В случае отрицательного результата – все огорчение на вашей стороне. Я буду стараться сделать с вами все, что ввел последнее время, однако же не убивая. Может, спросишь, почему и за что? Ах Боже мой... Я ж сказал, что я не садист... Я только самый любопытный человек в мире. Как же прекрасно иметь власть, чудесную, неограниченную власть над людьми... Итак, пожалуйста, извольте мне сообщить, зачем мы живем. Ну нет, – добавил он, – вы не схватите это пресс-папье, чтобы бросить им в меня, и не броситесь к моему горлу вот из-за этого пистолета, который я держу в руке, а будете стараться ответить, удовлетворить мое любопытство во... Ох как же каждый из вас старается, как напрягается – а я тогда призываю вашего Господа Бога, чтобы как-то мне хоть помог (и вам, впрочем), чтобы показал мне хоть край, краешек чего-то иного, потому что ведь речь идет не о размозженных костях или зеленых внутренностях, а о том, чтобы выдавить из человека его суть. Ни инквизиция этого не сделала, – прервался он на минуту, барабанил пальцами по столу, – ни эти безмозглые тупицы из школы в Оберхаузене, все они –

несчастные садисты. Отщипнет кусочек мяса, хлебнет крови, и сыт... Что за святая простота... Мой голод значительно сильнее. Нет, что вы так смотрите? Я не дьявол, не Сатана, и я не глуп, – к несчастью для некоторых людей. Если бы я был глуп, то довольствовался бы малым. Но я жажду большего. Я помню, что умерший человек – это человек, который сбежал от меня. С его стороны это наглость и вызов, а я признаю коллективную ответственность. Ну, акробат, шарик на потоке, давайте. Зачем мы живем?

Я был спокоен и холоден от макушки до пят. Вот ситуация, подумалось мне. Сейчас начнется какая-то неслыханная, неопиcуемая пытка. Может, пойти на нее в молчании? Стоит ли вообще говорить или выслушивать дальше эти спокойно и методично излагаемые речи безумца?

– Не знаю, – сказал я, – зачем живу, как не знаю, зачем живете вы, зато знаю, зачем я жил до сих пор. Это я знаю точно.

– Ну-ну? – заинтересовался он.

– Затем, чтобы таких людей, как вы, не было. Чтобы их уничтожить.

– А, вы пытаетесь удивить меня? – спросил он совершенно серьезно. – Это заявление банально. Вы не решили задачу. Однако я пока не разочарован, можете идти. – Он нажал кнопку на столе.

Вошел эсэсовец.

– Еще увидимся, – сказал Кестниц, и двери закрылись.

Казимеж замолчал. Во время рассказа его лицо, налитое кровью, потемнело, глаза загорелись изнутри, время от времени он двигался и жестикулировал, но взгляд его оставался отстраненным, он видел только то, о чем говорил.

– Трудно определить состояние, в каком я находился в течение нескольких следующих дней. Знаете, это была удивительная смесь эмоций, страха, ожидания и какого-то следа, тени, намек на надежду. А может?.. Я видел, так мне тогда казалось, что это не простой, обыкновенный садист. Я старался тот наш разговор, а точнее, его монолог, проанализировать, и не смог. Он был любопытен. Не любопытный человек, а огромный, страшно любопытный зверь. Желаящий знать – любой ценой. Такой большой вивисектор.

Это было любопытство ребенка, который обрывает мухе лапки и крылышки – одно, второе – и смотрит, как черный шарик жизни смешно подпрыгивает, словно поврежденная механическая игрушка.

Я вставал каждый день утром, шел на работу, возвращался, меня грызли вши, на спине множились шрамы и, заново рассеченные плетью, превращались в раны, пока однажды во время обеденного перерыва Гроэхманн не повернул в мою сторону свою угреватую серо-красную

морду. В душных, вонючих испарениях тел в сумраке барака он посмотрел на меня, и я встал. Пошел за ним, когда он меня позвал, сразу, без лишних слов; я знал, куда мы идем. Я как будто внутренне напрягся, настроился, сделался жестким, и чувствовал только сильное и необычное волнение, но никакого страха не было.

– Потому что знаете, – добавил он неожиданно, глядя мне прямо в лицо, – что с этим страхом вообще-то происходит нечто загадочное. Вот я, например, на экзамене страшно боялся латинского языка: сердце у меня замирало, меня заливал холодный пот, когда я садился за зеленый стол напротив профессора. Страх этот был таким сильным, что после, когда я неоднократно сталкивался со смертью, когда общался с ней, а потрепала она меня изрядно, да, видя даже опасность смерти и саму смерть самых дорогих и близких мне людей, я не испытывал этого чувства настолько остро. Человек как заведенная ключом игрушка: если какая-то ситуация кажется ему как раз подходящей, чтобы бояться, то он боится. Но тут же вкладывается в это чувство целиком, и потом, когда наступают более тяжелые испытания, он уже ничего не может вложить. Однако это лишь замечание мимоходом, чтобы прояснить кое-что. Потому как при настоящей, уже за горло хватающей опасности страха я не чувствовал никогда.

Итак, я снова оказался в этой черно-зеленой комнате напротив стола, за которым никого не было. Но теперь я пытался найти какую-то подсказку, конкретный намек на сцену, которая здесь вскоре разыграется. Теперь я старался подготовиться к наихудшему, потому что это всегда лучше неизвестности. Действительно, через некоторое время появился Кестниц, в натянутом на животе зеленом мундире, на мгновение сверкнув раздвоенной лысиной; его маленькие влажные голубые глазки глядели на меня пронзительно и холодно из-под мясистых век. Он смотрел на меня как классификатор, как энтомолог на бабочку, смотрел почти бесчеловечно – и молчал. К такому я опять не был готов и начал нервничать. Он видел это, и я чувствовал, что он этим наслаждаться, что это является его целью.

– Вы меня вызывали? – в конце концов спросил я, чтобы любой ценой прервать молчание, которое становилось просто отвратительным и начинало хватать меня за горло.

– Только спокойно, молодой человек, – сказал он тихо, словно самому себе. – Вы много думали со времени нашего разговора, не правда ли? Вы пытались классифицировать меня так, как вы это делаете сейчас, поставить к перегородке с табличкой? Лицо такое... рост высокий... глаза голубые... характер такой-сякой – и все. – Неожиданно он рассмеялся. – Ан нет... со

мной не так просто. Прежде чем у вас сломается какая-нибудь кость, а эта глупость – дело нетрудное, пусть же сломается мозг. Пусть сломается! – Он проговорил эти два слова резко и со свистом, глядя на меня с затаенной в глазах угрозой.

Я молчал. Он набрал воздуха в легкие, вытянул ноги в сапогах, и их жирно блестящая чернота образовала несимметричное пятно на зеленой дорожке. Я пытался смотреть на него, но эти два цвета стали еще страшнее, и я предпочел смотреть в лицо. Это было словно заглянуть в колодец: веяло темнотой и холодом.

– Так о чем же речь, – сказал он, громко продолжая невысказанную мысль. – Дело в том, чтобы узнать что-то, не правда ли? Узнать? Или нет? Все это: и собирание цветов, и сонеты, и любовные стихи, и скульптура, и живопись, и теория относительности, и Дахау, и Оберхаузен, и газовые камеры – что это, это все? Вы не знаете? Это поиск. Вечный поиск. Это битье в стену, стучание кулаками, чтобы понять, чтобы что-то узнать. Потому что дело обстоит так, что если один человек для другого хороший или если хочет быть хорошим, то может оказаться, что он будет превратно понят. И это для него является не чем иным, как злом. Значит, такое может быть... А если он как бы плохой? Что это значит – злой? Причиняет боль, ломает кости, угнетает, уничтожает, подавляет? И отсюда в другом человеке рождается тревога, и ненависть, и страх? Значит, тогда нет противоречия – правда? Этот человек знает: он хочет творить зло. А другой знает наверняка: он познает зло. Ясно. И речь идет о том, чтобы было ясно. Потому что человек рождается заключенным, и всю жизнь является пленником, и колотит кулаками в эту страшную стену, и старается вырваться из этого порочного круга, и борется, и разбивает в кровь голову о стену – и все, все напрасно. Заключенным рождается и заключенным умирает. Что же вы так на меня смотрите? Где он заключен? Ну, в себе, в себе самом. Можно ли выйти за пределы круга собственных ощущений? Нельзя. Можно ли ценой пусть даже гибели миллионов людей, переработанных на шлак, перестать на минуту чувствовать так, как я, я, я чувствую? Нельзя...

Он наклонил голову.

– Да, это будто предел. И для меня это граница. – Он опять посмотрел мне в глаза. – Но нет! Это лишь заблуждение. Потому что я могу многое. Потому что я могу и сделаю эксперимент – большой прекрасный эксперимент, какого еще не делал никто, никогда. Хорошо?

Он усмехнулся с застывшей маской на лице, одними губами. Глаза отсвечивали стеклом и влагой. Он нажал черную кнопку звонка. Двери как

бы сами раскрылись – ввели двух женщин.

То есть в первую минут я увидел только полосатую одежду с номерами, а что это были женщины, угадал, сам не знаю как: у них не было ни грудей, ни длинных волос, а только две пары глаз горели на провалившихся, сожженных голодом и мукой лицах.

– Будете переводить, – сказал он коротко, глядя не на меня, а на эсэсовца охраны. – Это две подружки из двенадцатого, да?

Эсэсовец возле дверей распрямился и пролаял:

– Jawohl!^[95] – Как железная кукла.

– Na also!^[96] Переводи.

И я начал по кусочку переводить на польский медленные, скупо выщепиваемые предложения. Я не буду стараться повторить их вам дословно, он сказал приблизительно так: «Мои дорогие женщины, вы знаете, кто я? Я комендант всего лагеря. Следовательно, имея над вами неограниченную власть, заявляю вам: я освобожу ту из вас, которая – другую – убьет. Ну, кто из вас соглашается?»

Я прервал перевод, но он взглянул на меня только раз, и я договорил предложение до конца. Две женщины, два обвисших мешка полосатых лохмотьев с темными лицами, не дрогнули. Или не поняли? Я добавил по-польски:

– Не верьте ему. Не слушайте.

– Эй! – рыкнул он на меня, одним прыжком перекидывая массивное туловище через стол. – Молчите! Ни слова, кроме того, что я сказал. Пожалуйста, еще раз сначала: переводите.

И снова отчетливо повторил свое предложение. Женщины стояли неподвижно. Тогда он встал, подошел к ним и с трудом, страшно уродуя польский язык, стараясь их уговорить, приблизился к одной, взял ее за безвольную руку – все напрасно. Что-то в ее глазах мерцало: страх, ненависть, голод, – не знаю... Они продолжали молчать.

Кестниц встал ко мне спиной, но на мгновение его лицо мелькнуло в стекле книжного шкафа. Выглядело это так, словно позади его головы находились следившие за мной глаза. Жуткий взгляд маленьких глазок, и мятое, нервно дрожащее лицо. Он двинулся к дверям.

– Ввести, – рявкнул Кестниц.

Эсэсовцы подтолкнули женщин. Ноги мои двинулись сами, клянусь вам, что сами. Я вошел в другую комнату.

Что за картина... это была самая кошмарная явь. Не комната, а клетка, сверху донизу залитая гладким бетоном, выкрашенным в красный цвет.

Никакой мебели, ничего – только красный, матово сияющий куб помещения и кусочек закрытого решеткой неба под потолком. Пожалуй, это был лак, ибо откуда же взяться столь свежему цвету у крови?

Кестниц, высокий, толстый, в туго натянутом на животе мундире, повернулся и скомандовал что-то, чего я не понял. Один эсэсовец отклеился от двери и исчез. Воцарилась тишина, слышно было только дыхание присутствующих. Две женщины все время стояли апатично и неподвижно.

Тогда ввели третью, собственно говоря, как бы такую же самую на вид, может, только лицо у нее было более светлое, не знаю, потому что видел ее очень недолго. Широкие массивные плечи Кестница закрыли ее сразу, и он прижимал ее к красному бетону стены, когда его правая рука выхватила из кобуры револьвер. Сверкнул черный металл – женщина у стены не могла видеть оружие, но в глазах немца она разглядела, пожалуй, смерть. Потому что тонкий, беспомощный визг надорвал ей горло, потому что она заметалась под его взглядом, потому что... – Казимеж оборвал рассказ и закрыл лицо руками.

Через минуту, не отрывая их от глаз, он продолжил говорить глухо, понизив голос:

– Кестниц словно впал в экстаз или безумие, глядя на ее реакцию. Я не видел его лица, только туго обтянутую зеленым сукном страшную, ужасную на фоне красной стены спину, полусогнутую, дернувшуюся при звуке неожиданного выстрела. Вспышка, дым; мне в ноздри ударил острый запах пороховых газов. Некоторое время женщина, похожая на растянутую на стене подрагивающую тряпку, была неподвижна, а потом упала со стуком на пол, ударившись о него руками.

Кестниц повернулся к тем двум, по-прежнему так же неподвижно стоявшим узницам, и сказал:

– Ну, понимаете, женщины? Та из вас, которая прикончит вторую, получит свободу! Свободу!

Молчание.

Он впал в бешенство.

– А если нет, то прикажу обеих расстрелять! Сейчас же расстрелять.

Никакой реакции, тишина. И тогда Кестниц схватил руку одной женщины, ударил ею другую и толкнул их друг на друга. И сам не знаю, откуда что взялось, но через секунду по полу уже катался клубок сплетенных тел, и раздавались стоны, крики и хрип, и взметались в бессильной ярости кулаки. Красный туман застилал мне глаза, и я бросился вперед, получил прикладом в бок от эсэсовца и упал. Кестниц не обращал

на меня внимания. Он смотрел, как это двуглавое, живое тело переворачивалось, как давило из последних сил, скрипело суставами, пока что-то там не хрустнуло, не поднялось вверх, – и вот одна уже сидит на другой, сдавливает коленями грудную клетку, душит и бьет, бьет, бьет...

Знаю только, что вдруг опять наступила тишина, но не та, что была перед этим. Кестниц стоял, смотрел: одна из женщин встала. На полу осталась маленькая распластанная кучка лохмотьев, и больше ничего. Только беспомощно раскрытые пальцы небольшой ладони обретали покой в расслаблении смерти.

– Ну... что, – сказал Кестниц, вновь обретая довольный голос исследователя. Он был полностью спокоен, безразлично посмотрел на ту, что встала, в разорванной одежде, сквозь которую просвечивало ее удивительно белое обнаженное тело, расцарапанное, все в налившихся кровоподтеках, и бросил лаконично в сторону двери:

– Wegführen!^[97]

Тогда, словно сжигаемая огнем, она подскочила к нему:

– Как это? Но ведь я... Нет, я теперь освобожденная! Я свободна...

Град ударов прервал ее лепет. Ее схватили за руки, за складки рубы и вынесли. Мы остались одни. Я чувствовал нарастание опасности. Мое состояние я не пытаюсь даже описать. Просто повернул голову, и все закачалось, словно пол стал вдруг непрочным и мягким, но и этого еще было мало. Потому что в то же время я видел ясно и отчетливо, как Кестниц приближался, рос, надвигался, пока не вынудил меня посмотреть ему в глаза. Я боялся этого. Неимоверно боялся того, что было в этих глазах.

В них ничего не было. Спокойные голубые и влажные глаза в красных прорезях век... И он сказал, показывая желтые от табака зубы:

– Na... schön, nicht wahr?^[98]

И открыл дверь в черно-зеленый кабинет. Толстую, оснащенную специальным замком дверь.

Я пошел за ним – безвольный, апатичный, напуганный? Не знаю. Назовите это как хотите. Он уселся в кресло, устроился поудобнее.

– Ну и где эти хорошие люди? – спросил он меня с ходу. – Это были две подруги – сердечные, поддерживавшие друг друга подруги по несчастью. Ну и где же дружба? Я показал вам правду – известную мне, впрочем, уже давно: в человеке нет ни добра, ни зла. Есть только основа – и маска. Маска – это гуманизм, достоинства, религия, Христос, ближние, добро и прочие пустяки. А основа, а ядро, а правда – это зло. Точнее, не

зло, а то, что вы, глупцы, называете злом. Вам по слепоте вашей не видна суть человека. В человеке есть только одно – не добро, не зло, а то, что минуту назад я выудил экспериментом. Сейчас мы узнаем, как долго вы будете жить. Но до последнего вздоха помните, что нашелся кто-то, кто добрался в человеке до дна. До дна! И это я – тот, кто это сделал: Зигфрид Кестниц. Вы мне верите? – спрашивал он мягко, тихо. – Есть ли добро в человеке?

– Теперь я вынужден прервать повествование. – Казимеж посмотрел мне в лицо. – Если говорить кратко, то ситуация выглядела так: этот человек, который минуту назад убил двоих людей только затем, чтобы мне доказать свой безумный тезис, требовал от меня признать себя побежденным. Требовал подтверждения того, что в человеке добра нет, а если и есть, то только поверхностное и слишком слабое для того, чтобы вынести крайнее и тяжелейшее испытание, связанное с угрозой смерти. Таким образом, можно допустить, что я должен был ответить утвердительно только ради спасения жизни, оставаясь со своей верой в человека, или же не согласиться, тем самым навлекая на себя известное, не выигрывая ничего и теряя все. Кроме, может быть, некоего ореола героизма. Но это вкратце. Потому что в решающую минуту человек становится по-настоящему единым целым, монолитом и – верьте мне – действительно не может следовать ни за каким голосом: ни разума, ни самоотверженности, ни героизма; только все то, что в нем есть, что в нем живет и чувствует, срывается и взрывается, вырывается оттуда, из неких неизведанных в самом себе глубин. И поступает он не так, как хочется, а так, как должен. Так, как должен.

– И что вы ему сказали? – спросил я тихо.

– Я сказал, что он лжет... – Казимеж посмотрел мне в глаза, словно заглядывая в мои мысли. – Понимаете меня?..

– Мне кажется, что понимаю.

– Это действительно не было героизмом; героизм проявляется тогда, когда есть два пути: вперед либо назад. У меня выбора не было...

Казимеж продолжил:

– Он не сказал ничего – только как бы немного съежился, выдержал минуту, чтобы во мне поднялся страх после осознания всего того, что я сказал, и нажал на кнопку.

Вошел эсэсовец – Кестниц приказал меня проводить.

Не был ли я прав вначале? Что ж это была за мощная, великолепная скотина, что ж это был за экземпляр, этот гауптштурмфюрер Кестниц...

Он прервался, покашлял и продолжил рассказ:

– Теперь о самом худшем. Я знал, что этим не кончится, что обязательно будет продолжение, что я для него еще не разрешенная загадка, еще не сломанная игрушка, что он не пойдет на то, что сделали бы другие на его месте, что он не применит в отношении меня физические пытки, чтобы вынудить признать свою веру, или, скорее, неверие. Что он захочет меня убедить, убедить на самом деле. А убедить – это значило сломать.

Через несколько недель, когда постоянный страх и напряжение привели меня в некое отупение, эсэсовец Гроэхманн со своим бессмысленным светящимся сальным блеском лицом опять направился ко мне, и тогда мне словно сердце прошила раскаленная платиновая игла: я понял, что пришло время испытания. Я пошел за ним.

На сей раз Кестниц сидел в кресле, ожидая моего прибытия. Он сразу же спросил меня, что я думаю о его эксперименте, не является ли он для меня достаточно объективным показателем. Он говорил так холодно, так безразлично, так спокойно, что единственную страсть, какую я чувствовал в его голосе, была страсть исследователя или ученого. Жуткий стаффаж и обстановка вводили меня, может быть, в некое состояние аномального спокойствия, внутреннего холода – достаточное, чтобы я мог отвечать трезво и коротко, излагая ему свои взгляды не так, как тот, кто хочет защищаться или возражать, а словно описывая что-то, что я вижу, что могу взять в руку, что у меня находится перед глазами. Я говорил, что человек чаще бывает слабым, чем сильным, и чаще злым, чем добрым, но в нем всегда присутствует все. И добро, и зло, и слабость, и сила. Но я верю и знаю, что есть и такие люди, которые являются добрыми – до самого дна своей души, и до самого дна – сильными.

Кестниц молчал, спокойный, когда я говорил. Но когда я закончил, быть может, несколько перевозбужденный именно этими холодом и невозмутимостью, с какой он принимал мои слова, он кратко отозвался:

– Наверное, Яцек Жисневский такой человек?..

Во мне все вздрогнуло. Затрепетало. Замерло.

Яцек? Откуда этот толстый немец знал о моем самом дорогом друге? Я не ответил ничего. Кестниц нажал кнопку.

Двери, черные двери открылись, и Яцек в полосатой одежде, с эскортом из двух немцев вошел, а точнее – его втолкнули, в комнату.

Я смотрел и все еще не верил. И он смотрел. Какая-то искра пробежала между нами.

– Яцек, держись! – воскликнул я непроизвольно, но Кестниц уже встал, его огромное массивное тело двигалось легко и уверенно, глаза

прятались в нависших веках. – Maul Halten!^[99] – рыкнул он на меня, одновременно подходя к Яцеку.

И начал свою игру. Я не могу это назвать иначе: начал играть. Гибкий, быстрый, целеустремленный в словах, в движениях, в жестах, он объяснял Яцеку, который стоял неподвижно, с глубоко скрытым блеском серых глаз, что речь идет о мелочи. Что Яцек обречен на пожизненное пребывание в лагере за работу в нелегальных организациях, но он, Кестниц, возьмет это на себя. Вместо смертельной муки, вместо медленного разрушения всего человеческого, вместо руин и уничтожения всех надежд и мыслей – свобода. Жизнь. Лишь бы только он согласился. И уговаривал, и соблазнял, и объяснял, и сюсюкал, и метался перед ним, а два эсэсовца – два железных атланта – заслоняли сцену тупым взглядом никогда не думающих глаз. Яцек стоял и слушал; не знаю, знал ли он уже Кестница так же хорошо, как я. Гауптштурмфюрер махал руками и просил, грозил и заклинал, обещая все, то есть свободу, за мелочь: за согласие, кивок, обычное согласие на убийство человека, то есть меня. «Ты даже этого не увидишь, – говорил он, – впрочем, он и так погибнет здесь, раньше или позже, следовательно, в чем же тут разница? Только скажешь: да, я согласен, – и будешь свободен! Свободен!» И когда наполнился до краев горячим и бешеным, злым и безумным искушением, тогда – на одно мгновение – между черной каской эсэсовца и широкой спиной Кестница мелькнуло осунувшееся, туго обтянутое кожей лицо Яцека.

Он был намного ниже Кестница, но когда тот качнулся в сторону, наши глаза встретились. И взгляд у него был такой, как раньше, сильный, уверенный, спокойный и ясный; несмотря на все, что произошло, этот взгляд потряс меня. Ибо в ту же минуту я понял, что все это напрасно. И когда этот гигант, этот безумец говорил, кидал свои отрывистые фразы, верещал на своем грубом немецком диалекте, когда играл свою роль, он переставал быть Мефистофелем, фигурой страшной, дьявольской, вампиром и садистом, а становился мелодраматичен и смешон. И бессильны были его театральные жесты, и пусты искушающие слова, и тщетно тянул он Яцека за руку, и напрасно, напрасно выхватил из кобуры револьвер, светил ему в глаза черной пустотой ствола, приближался, прижимал к стене, а я стоял и смотрел.

Яцек тоже смотрел, но по-другому. Я – только смотрел и видел, он – смотрел и знал.

Да, вы не знали его, вы не знали Яцека... Все мои надежды, все мысли были связаны с ним. Он мог, он умел, он хотел так много, так много... Я же умел и мог только восхищаться им. И в школе, и в жизни. В одно короткое

мгновение я подумал, что если бы он согласился, то и так не изменил бы ничего, ибо я не выдержу лагеря и наверняка погибну: так или этак... Что, если бы он согласился, не было бы в этом ничего плохого. Потому что он был слишком важным, слишком нужным, слишком необходимым, чтобы умереть таким глупым и нелепым образом. Но прежде чем мысль закончилась, я уже знал, что Яцек этого не сделает. Что Яцек не скажет ничего, что не откроет рта, что даже не кивнет. Не сделает так, ибо он так сделать не может, потому что не умеет. Кестниц, доведенный до крайности, грозил и просил, ударил его, толкнул на стену, но тот поднялся с пола и снова смотрел на него сияющим взглядом, смотрел глазами, полными голодной ненависти. И тогда Кестниц... – Казимеж замолчал. Зажал лицо в ладонях судорожным и сильным движением. Скорчился, ударился головой в колени, задрожал.

– И тогда, что тогда сделал Кестниц? – повторил я за ним, наклонившись, чтобы вырвать у него слова правды.

Но он молчал.

– Пан Казимеж!

Молчание. Я потянул его за пиджак.

– Что сделал Кестниц?

– Кестниц выстрелил, – грубо, неохотно и нечетко пробормотал Казимеж из-под ладоней.

– Как? – глупо вырвалось у меня.

Руки опустились, Казимеж встал. Мокрое, дрожащее и залитое слезами лицо его белело в полумраке.

– Кестниц выстрелил, и мозг Яцека брызнул на книжный шкаф, на черную полировку и зеленые книги. Он упал как бревно. Но не это было страшно. Не это! Не это!

Меня пронзила дрожь.

– А что? – спросил я, словно зараженный его сумасшедшим возбуждением.

– Когда Кестниц выстрелил, я стоял. Смотрел и стоял. Эсэсовцы подошли, чтобы меня вывести, а я стоял. Стоял и смотрел. Ничего не делал, только стоял и смотрел! Вы понимаете это?

Исполненный бессильного, всежигающего отчаяния он бросился на кровать.

Я осторожно и тихо встал, как возле тяжелобольного. Медленно-медленно подошел к двери. Грязно-кучевые облака затянули горизонт, и их темная, влажная масса клубилась вдали, создавая в комнате беспокойный, дикий, рыжий отблеск, предвестник наступающей грозы. Где-то ударили о

стекла ветки, вихревато закрученные первым порывом холодного ветра. Я взялся за дверную ручку, нажал на нее. Закрывая дверь, я еще раз осмотрел комнату. На светлом фоне кровати изогнулась небольшая фигура. Черный, как из бумаги выкроенный, контур склоненных плеч проваливался и дрожал.

Казимеж по-прежнему плакал.

(Краков, 28–29–30.IX.45)

Перевод Язневича В.И.

План «Анти-“Фау”»

Решение полковника Мерчисона

Начальник отдела кадров полковник Мерчисон обычно говорил: «У меня здесь не место героям».

Он также часто повторял, что храбрость выигрывает битвы, а разум – войны, и очень сердился, вычеркивая из списка людей, которые гибли сражаясь.

Всякий раз, когда это происходило, по меньшей мере в течение трех следующих дней он не участвовал во всеобщем завтраке в бюро. Мерчисон был седой высокий старик, занимал свой пост с 1912 года и привык за время Первой мировой войны пользоваться естественным для «порядочного шпиона» путем доставки в Германию. Туда пробирались под видом уважаемого торговца или отца семейства, реже священника, через Испанию, Швейцарию или Голландию.

Война 1939 года разрушила все эти отлично укоренившиеся в Специальном отделе традиции. Только Мерчисон не изменился: строгий, сухой, он выглядел, как утверждали его скрытые враги (явных ввиду своего положения он не имел), словно ежедневно поступал в глажку и в химчистку вместе со своим мундиром. Стрелки его брюк, воротничок, узел галстука выглядели так же безупречно и когда он подрезал живую изгородь в своем загородном поместье, и в период немецкого «Блицкрига». Только все больше худел лицом, а зеленый воротник на шее становился все свободнее.

Сидни Хьюз, который уже второй год напрасно ожидал повышения в капитаны, проводил как инженер-механик специальные курсы повышения квалификации для агентов. Программа их была очень разнообразной. Там преподавали немецкое право, но учили также различать сорта немецких сигарет и растолковывали мельчайшие нюансы карточной игры. По вечерам в собственном кино показывали нескончаемое множество выдающихся и менее выдающихся фюреров, учили распознавать звания, рода войск и оружие, при помощи пластинок и превосходных лингвистов обучали искусству распознавать немцев по малейшим тонкостям диалекта.

Это было нелишним, потому что именно в это время раскрыли одного из главных немецких агентов только благодаря тому, что он не умел правильно открывать пачку американских сигарет.

«Агент должен быть универсально образован», – говорили в отделе.

Тем тяжелейшим ударом была потеря каждого человека. Разведывательная система была тогда, как это называли, многовалентной – это значит, что на территории Германии работали совершенно не связанные друг с другом, иногда и не знающие о подобных себе группы людей, а планы их действий пересекались только в Центральном управлении. Внедрение на территории Генерал-губернаторства нового человека после 1940 года стало почти невозможным.

Немцы лезли из кожи вон, чтобы довести свою полицейскую и контрразведывательную систему до верха совершенства, и надо признать, что они были недалеко от идеала. Многократное прочесывание личных данных каждого гражданина, партийный надзор, тайная политическая полиция и, наконец, неслыханная исполнительность населения в отношении приказов сверху позволяли работать исключительно людям, которые прибыли сюда по меньшей мере за два года до войны и стали полноправными и инициативными членами системы Третьего рейха. В каждой крупной организации, такой как СС, СА, СД, а также в ОКВ^[100], было несколько человек, контакты которых с центром не всегда выглядели полезными. Хотя это звучит парадоксально, порой они действительно работали для Германии, исходя из справедливого принципа, что кратковременный саботаж менее ценен, чем долговременно, пусть даже и редко, передаваемая информация.

Однако же эта так уже обжившаяся в Германии многослойная разведывательная сеть в 1943 году подверглась серьезному испытанию.

Началось с абсолютного прекращения притока информации из седьмого округа, который на языке отдела означал округ Гамбурга и Любека. В правлении фирмы «Блом и Фосс»^[101], производящей самые большие немецкие гидропланы, электрические торпеды и магнитные мины, сидел один английский конструктор и два техника. Доклады, весьма ценные и довольно нерегулярные, перестали приходить перед Рождеством 1943 года. Затем так же неожиданно был потерян контакт со штутгартской группой, и в течение двух месяцев все попытки сориентироваться в новой ситуации ничего не дали.

Руководство очень неохотно прибегало к использованию парашютистов, потому что в воздухе и несколько десятков часов после приземления они были практически безоружны, не вросли в местные условия и как «новые лица» подвергались самой большой опасности. Поэтому четыре человека, которых сбросили над седьмым районом с малой

полевой радиостанцией, отлично знали, что их акция является «односторонней» – термин, который кратко означал, что возврата уже нет. Быстрый, не отягощенный бомбами «веллингтон»^[102] сбросил над Гросс-Линдау пять парашютистов, и в течение недели длилось ожидание. Однако радиоприемники молчали.

Попытка вылазки чешской организации сопротивления в направлении Штутгарта не дала серьезных результатов. Удалось узнать, что с третьего декабря небольшая вилла, в которой жил отставной таможенный инспектор Виктор Плен (псевдоним Хамфри Дэви), была пуста.

Эти два явно не связанных друг с другом события были, как оказалось, только тревожным предвестием удара по разведывательной машине.

Наиболее интересовавший штаб район, Рур, замолчал накануне Нового года, и с тех пор оттуда пришла только одна весть, привезенная господином Ансельмом Паони, португальским гражданином, оптовым торговцем рыбой.

Он привез одной лондонской фирме большую партию сардин, не подозревая, что в одной из запаянных жестяных банок в масле плавает кусочек свернутой киноплёнки. Уменьшенное в двести раз подобие письма, помещенное на пленке, содержало тревожные данные. Вся «группа F» разведывательной сети в Руре прекратила существование: начиная с руководителя, члена партии с 1938 года Лейститца и вплоть до рядовых агентов, работающих на подземных фабриках по производству супертанков. Все эти люди были потеряны вследствие неожиданной волны арестов, абсолютно непредвиденной, потому что органами, выполнявшими эту Razzia^[103], были специальные иногородние отделы, подчиненные непосредственно главному командованию СС и полиции в Берлине.

Независимая подгруппа сети еще действует, но сферой ее деятельности была не военная промышленность, а информационно-пропагандистская работа, изучение настроений населения и партии, и только в качестве военного дополнения в 1941 году был создан сектор хозяйственно-экономической разведки. Ясно, что несколько полупрофессионалов за пределами заводов не могли заменить около сорока человек, которые исчезли без следа между 20 и 30 декабря.

Поэтому было понятно, что лейтенант Хьюз напрасно хлопотал в это время об отпуске по семейным делам, но он не мог знать об этих событиях. Его мать, шотландка, тяжело заболела, и он только слал одну телеграмму за другой, одновременно до тошноты повторяя свои «уроки» для продвинутых по службе агентов, подавленный к тому же отсутствием известий от друга,

Джеймса Лоувелла, пока не пришло письмо от его отца: во время патрульного полета Джеймс был сбит над Каналом.

Двадцатого января Хьюза вызвали к начальнику отдела. Поскольку это было необычно, он поспешил и прибыл раньше времени. В большом, почти пустом зале, заставленном стульями, уже сидело несколько незнакомых ему человек. Через пару минут в дверях показался легендарный Мерчисон в сопровождении капитана, который на большом столе, повернутом как кафедра к аудитории, сложил папки и фотографии.

Мерчисон, с желто-пепельным цветом лица, еще более строгий, чем обычно, несколько раз повертел шеей, на которой под кожей вырисовывались натянутые старческие сухожилия, и минуту поглядывал на капитана, который приводил в порядок черные негативы пленки. Наконец он начал.

– Здесь ли доцент мистер Стоун? – спросил он.

Лысый мужчина с бледной усмешкой на лице встал и быстро сел, застыв в ожидании, пока начальник не обратился к нему.

– Прежде чем мы объясним господам цель этого совещания, я хотел бы задать мистеру Стоуну важный вопрос. Мы просим его высказать свое мнение по следующему делу: нам донесли, что немцы во время следствия используют некий препарат, похожий на наркотик, который вынуждает человека говорить правду... Следовательно, мы хотели бы узнать, считаете ли вы это возможным.

Доцент наморщил лоб и, обеими руками держась за скамейку, как ученик, наклонившись вперед (видимо, он не мог решиться, надо ли вставать), сказал:

– Это наверняка невозможно. Конечно, существует группа алкалоидов, которая вызывает определенные изменения речи и поведения, некое блаженство, чувство уверенности в себе и пренебрежение опасностью, болтливость, но отравленный человек будет только говорить больше... проворней... невероятней, может фантазировать, но не потеряет контроля над тем, что говорит. То есть он может лгать так же хорошо, как и в нормальном состоянии.

– Так-так, но нам доложили, что существует новый препарат; вы же говорите о средствах уже существующих. А, например, нарукупон?

– В этом нет ничего нового, – прервал его доцент, слегка горячась. – Это японский заменитель морфина. Вы, возможно, имеете в виду новые, искусственные производные, барбитураты например, но невероятно, абсолютно невероятно, чтобы их действие могло вынуждать говорить правду.

Полковник наклонил голову.

– Спасибо. Значит, господа, прошу внимания, – начал он неожиданно громким голосом, – наша сеть, как это некоторые из вас уже знают, была сильно подорвана контрразведкой противника. Мы потеряли более сорока человек, в том числе несколько ключевых. Удар этот был особенно опасен по двум причинам. Во-первых, сейчас мы вступаем в новую фазу войны, и, как нам известно, немцы очень активно стараются усовершенствовать техническое оружие. Во-вторых, сам способ, каким они сумели так сильно подорвать нашу разведывательную сеть, нам неизвестен. Мы знаем, что в интервале нескольких часов произошли массовые аресты в различных областях рейха. Управляли ими из Берлина. Единственный уцелевший агент, с которым мы наладили контакт (я имею в виду человека из «группы F»), скрылся на территории Швейцарии. Он уже не может вернуться в Германию. Он утверждает, что специальные немецкие радиостанции передавали условный сигнал сбора не шифром, а в открытую, и несколько человек удалось поймать на удочку этого примитивного, глупого обмана. Их схватили и якобы при помощи специальных средств сумели добиться от них информации.

Полковник поудобнее устроился на стуле.

– Вы знаете, господа, как трудно внедрить на неприятельской территории человека, который через небольшой промежуток времени мог бы предоставлять регулярную и надежную информацию профессионального характера. Поэтому мы решили для скорейшего восстановления разведчечек создать ряд ударных групп, оснащенных полевыми радиостанциями, которые будут сбрасываться в интересующий нас район. Как у самостоятельных единиц, их целью будет информирование нас о ряде важнейших вопросов. Это, например, результаты бомбардировок, передвижения войск, места, в которых находятся подземные фабрики. Я говорю только о территории Германии, потому что разведка в оккупированной Европе благодаря движению Сопротивления имеет глубоко надежные тылы. С нашей стороны это не является легкомыслием. Несмотря на то что имеется мало шансов на сохранение ударных групп, сегодня у нас нет другого способа налаживания связи, а информация нам необходима.

Тут неожиданно Мерчисон потерял уверенность в себе.

– На самом деле это, – засомневался он, – это очень тяжело... и шаг этот... – Он посмотрел на сидящих в молчании.

При этом капитан наклонился к нему и что-то шепнул.

– Итак, я объяснил вам ситуацию, потому что считаю это

целесообразным, – сказал полковник. – Непосредственной целью нашего совещания является рассмотрение ряда снимков, присланных нам швейцарским агентом, о котором я упоминал.

Мужчины начали вставать и группироваться у стола. Там лежало несколько больших фотографий на отличной бумаге, рядом с катушкой пленки. Долгое время они передавали друг другу из рук в руки фотографии.

– Этот любительский снимок схемы, – сказал наконец капитан Стоун, пиротехнический эксперт, – представляет собой разрез бомбы, заполненной жидким газом, предположительно воздухом. Я допускаю, что это, возможно, «новое оружие», о котором немцы писали после битвы под Харьковом, весной. Я считаю, что это вещь никуда не годная, обладающая только определенным моральным воздействием, потому что образует довольно сильную ударную волну и большой шум.

На втором снимке виднелся небольшой, одноместный, танк-разрушитель, вооруженный большой ракетой.

– Это также никуда не годное оружие. Похожие модели были у нас испробованы, но их отклонили.

Там оставалось еще несколько неизвестных усовершенствований пулеметного затвора и интересная модель сигнального револьвера с барабаном.

Однако же самым удивительным оказался последний снимок.

Всю площадь фотографии занимала нижняя поверхность крыла самолета. В месте, где обычно находятся стволы пулеметов, виднелся прибор, состоявший из множества закрученных спиралью трубочек, к которому был подведен шарнирный шланг довольно значительного диаметра. Конец его терялся под кожухом мотора. Однако же нижняя половина снимка, где должна была находиться конечная часть аппаратуры, была черной: там светочувствительная эмульсия сгорела.

Второй специалист, достав из кармана маленькую лупу, внимательно осматривал каждый квадратный сантиметр снимка. В верхнем углу он заметил выцарапанные каким-то острым инструментом знаки «Фау-3» – и больше ничего не было.

Хьюз последним положил снимки на стол.

– Ваше мнение? – спросил его полковник. Лейтенант пожал плечами:

– Не знаю... это не может быть распылителем иприта, потому что трубки слишком тонкие; впрочем, конструкция другая... не знаю, что это может быть.

– Возможно, все же распылитель, но какого-то другого газа? – поддержал его Стоун. – Нет ли какой информации, сообщения,

прилагаемого к снимку?

– К сожалению... пленка была привезена «сандерлендом»^[104], который был подбит в воздухе над Каналом и доставлен в Лейдон. Кассета разбилась, но по счастливой случайности не сгорела, однако пленка большей частью была засвечена. Впрочем, это не материал швейцарского агента, а чужие данные, доставленные ему за полчаса до его бегства и ареста других.

– Что вы об этом думаете? – обратился наконец полковник к четвертому специалисту.

Тот еще раз внимательно посмотрел на снимок.

– Мне кажется, я знаю, что это... – сказал он. – Однако я не уверен. Перед войной мы делали попытки сконструировать аппарат для распространения бактериальных культур – он выглядел немного похоже. Уцелей уголок, я мог бы сказать почти наверняка, если б там были специальные воронкообразные сопла, снабженные сетчатыми вращающимися фильтрами, однако в данном случае большего я сказать не могу.

– Бактерии? – сказал Мерчисон, поднимая голову.

Все заволновались. Капитан еще раз взглянул на снимок:

– Внутри крыла помещается резервуар, разновидность обогреваемого инкубатора, а эмульсия из микроорганизмов распыляется воздушным потоком из малой турбины.

– Разумеется, на основе конструкции нельзя сказать, какие это бактерии?

– Нет, но это странно. – На мгновение он задумался. – Приводящий шланг кажется мне слишком широким, и, наконец, зачем нужен этот второй, из мотора?

– Это может быть обогреватель, – заметил химик.

– Я так не думаю, это слишком опасно, потому что температура была бы слишком высокой. Нет, не знаю, – добавил он, положив снимок на стол.

Доцент достал из кармана пачку машинописных листов и свернутую в трубку диаграмму, которую развернул.

– В ноябре у нас было пять процентов заболеваний гриппом, в декабре – девять, а в январе уже девятнадцать, – водил он карандашом вдоль красной линии диаграммы. – С другой стороны, эпидемии с подобным ростом возможны, особенно во время войны.

– Понимаю. – Полковник встал. – Исходя из ваших рассуждений, никаких конкретных планов действий мы, разумеется, составить не можем. Мы ничего не знаем о новейших исследованиях немцев. В последнее время

изучались вопросы бактериологической войны, и эксперты из Министерства здравоохранения заявили, что до сих пор не существует питательной среды, в которой можно выращивать возбудитель гриппа. Сейчас мы начнем организацию соответствующих групп, которые займутся этим делом. Прошу вас прибыть завтра в семь часов утра в департамент, в Отдел специальных исследований на втором этаже.

Мужчины поклонились.

– Останьтесь, у меня есть к вам небольшой разговор, – обратился полковник к Хьюзу, и тот, расправив плечи, подошел к окну, дожидаясь ухода коллег.

– Вы дважды подавали письменную просьбу о включении в работу на местах, не так ли? – Мерчисон просматривал лежавшую перед ним персональную папку.

Хьюз молча кивнул.

– Так вот, даю вам именно такое, особое задание. Вы будете координировать план «Анти-“Фау”», где задействованы шесть групп с целью изучения бактериологического оружия немцев. Разумеется, иногда вы сможете пользоваться их поддержкой, а также местной сетью для пересылки разведданных. Вы получите соответствующую контактную информацию.

Он откинулся в кресле и посмотрел в глаза лейтенанту:

– Я хотел бы, чтобы вы отдавали себе отчет в серьезности ситуации. Если исследования закончатся положительным результатом, на Остров будет послан условный сигнал, после которого через семьдесят шесть часов Королевские военно-воздушные силы начнут массовое рассеивание наших бактерийных культур над Германией. Это шаг небывалого значения, который был принят на специальном заседании Совета министров. Мы не можем рисковать, сбрасывая вас как члена ударных групп, потому что вы не будете диверсантом. Они должны добывать информацию силой, штурмуя немецкие фабрики как бы снаружи. А вас бы мы хотели видеть на ответственном посту как инженера-конструктора на каком-нибудь большом самолетостроительном заводе. Возможно, таким образом вы сумеете что-нибудь узнать. Только если вы не оправдаете надежд, мы будем вынуждены применить силу. Это крайнее и очень ненадежное средство. Тем более для нас очень важно, чтобы ваша миссия удалась.

Хьюз, изумленный столь высоким доверием, молчал.

– Сейчас я объясню вам причину вашего избрания для этой цели. Посмотрите на этот снимок.

Это была фотография довольно больших размеров, представляющая

мужчину среднего возраста, с узким сильным лицом и выдающейся челюстью, разделенной посредине глубокой бороздой. Чистые, как небо за его головой, глаза были направлены прямо на смотрящего.

– Мне кажется, что он похож на меня, но фотография очень часто бывает обманчивой.

– Кроме фотографии у нас есть оригинал. – Полковник достал трубку, что означало переход к более детальной фазе разговора. – Так вот, это немец, инженер, конструктор самолетов. Долгое время работал в фирме «Блом + Фосс», затем уехал в Америку, где изучал химию в университете Хопкинса. Знаете ли вы аналитическую химию? Насколько я знаю, вы закончили факультет.

– Да, но я специализировался в органической химии. Только потом перешел на машиноведение.

– Я думаю, что вы сможете сыграть роль Зейдлица. Этот немец четыре последних года находился в Южной Африке. До конца 1943 года был интернирован в Кейптауне, а сейчас находится в Лондоне. Вскоре вы сможете его увидеть. Он действительно похож на вас – даже очень. В таких случаях самым важным является форма черепа, цвет глаз и волос, потому что о гриме, разумеется, нет и речи. Он не носит усы – вы должны будете их сбрить. Единственной серьезной трудностью является то, что инженер перенес лихорадку и малокровие. Он очень бледный, ну и... – Тут Хьюзу показалось, что полковник сравнивает его лицо с фотографией. – Ну и он не веснушчатый. Вашим загаром и всеми мелочами займутся – вам сделают небольшую пластическую операцию. Я думаю, что вы согласитесь на нее? Здесь речь идет только о мелкой процедуре.

– Да, господин полковник, но семья? Есть ведь границы сходства.

– К счастью, у него нет семьи. Его мать, старушка, живет в Африке, она почти слепая и не будет репатриирована. Вас вместо него направят в лагерь на Мальте, где вы пробудете пять недель, чтобы как следует акклиматизироваться, а затем португальским кораблем, в рамках обмена интернированными, – в Гамбург.

– У него нет никаких друзей, знакомых в Германии?

– Как я вам говорил, он семь лет не был на родине. Мы проводили тщательную проверку его связей с момента, когда эта идея была принята к действию, то есть в течение двух месяцев. Начиная с сегодняшнего дня пройдете специальный четырехнедельный курс, вы будете единственным слушателем. Вы детально изучите биографию Зейдлица и все, что вам будет необходимо.

Полковник выбил пепел из трубки и встал. Взяв лейтенанта под руку,

подвел его к большой карте, висевшей на стене между шкафами.

– А теперь прошу вас, не приказываю, а прошу, чтобы вы ни на минуту не расставались с персональной капсулой. Вы ведь знаете методы гестапо, не так ли?

Он все время держал его под руку, и Хьюз удивился, какая у него сильная и теплая рука.

– Да, господин полковник, – ответил он, глядя в серые, как бы затянутые дымкой глаза Мерчисона. Так называемой персональной капсулой была ампула с цианистым калием.

– Это был частный разговор, а теперь я вынужден вас спросить, соглашаетесь ли вы на этот план. Разумеется, он очень рискованный. Мы сделаем что сможем, чтобы вас обезопасить. Зейдлица вывезли с наибольшей осторожностью, якобы с целью репатриации на Мальте, так что если даже на мысе Доброй Надежды были немецкие агенты, их обманули. Все работы этого человека, его семейные отношения, его голос, манера говорить – все это вы должны будете узнать, а помогут вам в этом наши люди.

– Остаются отпечатки пальцев, – заметил Хьюз. – Я также опасаясь, не слишком ли мало у меня времени.

– Ведь вы владеете немецким так же хорошо, как и родным языком, насколько я знаю?

– Да.

– Ну а что касается отпечатков, то... Разумеется, есть определенная трудность. Но помните: сколь долго не будет подозрений, у вас не будет необходимости прибегать к особенным приемам. Однако я дам вам сейчас маленькую игрушку, которую мы приготовили именно с этой мыслью.

Полковник достал из стола большой голубой конверт, а из него маленькую резиновую вещь, похожую на наперсток, от которого отрезали одну боковую сторону.

– Говорят, что вы неплохой престижджитатор и порой забавляете коллег своими фокусами. В соответствующую минуту, если возникнет необходимость, вы наденете этот колпачок на указательный палец и сделаете оттиск – настоящий отпечаток Зейдлица, который здесь воспроизведен как печать из резины. Таким образом, у вас впереди девять недель, включая пребывание на Мальте. Второго мая «Алькария», на которой вы переплывете Бискайский залив и Атлантику, зайдет в Гамбург. Разумеется, если вы согласитесь. Потому что это слишком серьезное дело, чтобы отдавать приказы, – нам нужно получить ваше согласие на участие в операции.

Хьюз долгое время молчал, глядя на карту.

– Итак, куда я должен явиться? – спросил он, и полковник усмехнулся.

– Сейчас мы поедem в Специальный отдел. Нас ждет машина.

Возвращение

Четыре недели лагерной жизни Хьюз провел, как ему казалось, удачно. Немцы охотно возвращались в страну; целыми днями они обсуждали планы обустройства на родине, комментировали английские военные сводки и проводили меновую торговлю с новозеландцами, которые охраняли большое кольцо из бараков, обнесенных колючей проволокой. Лейтенант подружился с соседом по нарам, старым гамбургцем Вайхертом.

Когда он утром открывал глаза, болтливый немец уже сидел на краю хрустящего матраса, обнаженный по пояс, и тщательно покрывал загорелое лицо радужно пузырящейся мыльной пеной.

– Так вы говорите, что не видели Гамбурга, да? – начинал старик. – Я покажу вам город, старый порт. Сын писал мне, что он выглядит почти так же, как в 1914 году. Мой Франц уже имеет Рыцарский крест вдобавок к Железному кресту. Я вот такого его оставил. – Здесь он рукой отмерял над полом высоту роста мальчика, глядя на Хьюза голубыми глазами.

Находившаяся за низкой перегородкой из досок женская половина лагеря однажды утром заволновалась, потому что, располагаясь над крутым обрывом берега, женщины заметили приближающийся к порту корабль.

«Алькария», тяжелый, грязный однотрубник, проплыла между серыми бетонными опорами и причалила к набережной. Началась проверка документов, и два чиновника Красного Креста проводили на палубу сто тридцать немцев. Их сопровождали англичане-конвоиры.

Оказавшись на корабле, Хьюз с нетерпением начал считать дни путешествия. Плавание проходило монотонно. Три раза в день они выходили на палубу, провожая взглядами изредка проносившиеся над ними «сандерленды», которые патрулировали Средиземное море в поисках подводных лодок. Однажды ночью, уже в Бискайском заливе, до них докатилась далекая канонада, и через круглый иллюминатор были видны вспышки взрывов на горизонте. Но потом под ослепительным солнцем они спокойно плыли по гладкому, как жидкое масло, морю, и казалось, что война – это что-то далекое и нереальное. Все свое снаряжение, помещенное в чемоданы, лейтенант переносил много раз. Самая большая проблема

была с фотографическим комплектом. Он переупаковывал свой чемодан и строил двойные планы: одни разрабатывал для Вайхерта, который хотел как можно лучше устроить нового приятеля в Германии, другие – когда оставался один.

Наконец второго мая, после прохода Па-де-Кале, на горизонте замаячили серые как туман, а затем синие контуры материка. Корабль довольно долго стоял в море. Затем достиг аванпорта, долго плыл по длинным каналам, над которыми поднимался лес низких мачт и столбы дыма, и, в конце концов, причалил к пирсу. С берега подплыла большая моторная шлюпка. Сбросили трапы.

Хьюз, небрежно опершись на леера, стоял рядом со своими свертками и, покуривая сигарету, пытался ощутить тот восторг, который проявляли его «земляки». Старый Вайхерт стоял около него.

– Вот там, видите? Это зернохранилища, но этого крана не было... А там, за складами, у моего отца была мастерская – там, где эти коричневые доски; интересно, получил ли Франц отпуск.

Хьюз не слушал. Стихийно образовалась длинная очередь. Репатрианты поочередно подходили к столу и подавали документы. Когда подошла очередь лейтенанта, он быстро поднял оба чемодана, так что заскрипели ремни, и приблизился к чиновникам. На стуле сидел высокий мужчина в кожаной куртке, с тяжелым спокойным взглядом. Поверхностно, быстро просмотрел бумаги и кивнул. Хьюзу показалось, что он переглянулся со вторым, который стоял рядом. Тот был ниже, зато шире в плечах, а на лацкане у него был маленький эмалированный значок, которого лейтенант не мог распознать.

– Инженер Хуго Зейдлиц? – сказал сидящий. – Приветствуем вас на родине. – И сильно пожал руку Хьюзу, который усмехнулся и пробормотал, что он очень тронут.

Двое мужчин некоторое время совещались шепотом. За спиной сидящего, на пирсе, колыхалась значительная толпа, было видно каре девушек из БДМ^[105], машущих флажками и что-то ритмично скандирующих.

– Извините, не расслышал? – сказал Хьюз.

– Сделайте здесь отпечаток пальца. Пожалуйста, здесь есть подушечка. Хьюз рассмеялся:

– Что, ищите уголовных преступников?

– Нет, мы только хотим упростить для вас формальности: это паспорт, который уже ждет вас здесь. Будьте добры поставить отпечаток указательного пальца – вот здесь.

Лейтенант наклонился над столом. Ветер, дувший от моря, сдувал бумаги, поэтому левой рукой он придерживал разложенную на листках картонку документа, а правой сделал быстро оттиск, сильно прижимая палец к бумаге.

– Спасибо, а теперь здесь, в этом разделе бланка.

Хьюз едва заметно поклонился, взял свои чемоданы и двинулся к месту, где шла подготовка к установке трапа. Он напомнил себе, что он немец, поэтому вынул из кармана платок, который испачкал красной краской, и помахал в направлении приветствующих гамбургцев. Из-за груды коробок вышел Вайхерт.

– Ну, теперь вы уже настоящий немец, – закричал он, размахивая влажной карточкой.

Хьюз посмотрел ему через плечо. Он хотел узнать, все ли получают документы и должны оставлять второй отпечаток пальца на бланке.

Но для других операция проходила проще: только однажды попросили какую-то девушку с пепельными волосами, чтобы она получила документы, уже сделанные для нее.

«Что-то в этом есть, но что?» – подумал лейтенант и начал оживленный разговор с Вайхертом.

Лязгнули цепи, и трап закрепили за бетонную опору.

В лоне «отчизны»

Репатрианты сходили на берег, шагая вдоль плотных шеренг кричащих, размахивающих платочками и флажками девушек. Там уже стоял большой автобус КДФ^[106], а девушки в мундирах прикалывали малышам маленькие букетики. Рядом дымились большие котлы полевой кухни. Огромные плакаты «Willst du Panzermann sein?»^[107], призывающие к освоению военной техники, виднелись на всех стенах. Из-под них выглядывали афиши третьего военного займа.

На большом газетном киоске стоял кинооператор, держась за приставленную складную лесенку, и снимал. Толпа издавала ритмичные крики.

Хьюз заметил еще, как мало вокруг молодых мужчин, когда автобус двинулся, окутывая кричащих черным дымом.

На улицах было большое движение. Несколько раз автобус останавливался, чтобы пропустить вереницы автомобилей, больших дизельных грузовиков, тянувших по несколько прицепов. Все окна были

открыты, здания сияли чистотой, и только кое-где на скорую руку загороженный и украшенный молодыми саженцами квадрат пространства показывал, что недавно на этом месте возвышался дом.

Автобус задержался перед зданием НСДАП. Его фронтон представлял собой непрерывную череду огромных зеркальных окон, бежавших от первого до пятого этажа.

– Наконец-то! Наконец-то! – сопел Вайхерт, которому Хьюз сверху подавал чемоданы. Все репатрианты, навьюченные тюками, чемоданами, коробками, двинулись в направлении монументального портала, украшенного каменным орлом, державшим в когтях свастику. В глубине, за вращающимися дверями из стекла, были видны белые блузки суетившихся девушек. Два партийных функционера, комично встав во фронт по обеим сторонам входа, подняли правые руки в фашистском приветствии. Хьюз взялся за ручки обоих чемоданов и приподнял их, когда кто-то легко тронул его за плечо.

– Инженер Зейдлиц, не так ли?

Не выпрямляясь, он медленно повернулся. Группа немцев поднималась вверх по лестнице между рядами девушек. Вайхерт стоял уже около дверей. Лейтенант видел, как он морщит короткий нос, моргая ресницами. Он хотел поднять чемоданы, но его остановил неожиданный вопрос.

В тот же момент сзади послышался резкий визг шин. К бордюру подъехала большая черная «школа». Справа и слева от лейтенанта появились двое мужчин: тот широкий в плечах чиновник, который помогал при процедуре проверки документов, и второй, неизвестный, в черном мундире, чьи знаки отличия были у него скрыты плащом – может быть, гестаповец.

– Позвольте пригласить вас в автомобиль, – сказал он.

– Как это? Куда? И что вам угодно?

– Мы вас ждали. Просим, каждая минута дорога. Мы действуем по приказу советника фон Гогенштейна.

Фамилия эта была Хьюзу неизвестна. Он не знал, что делать, однако сопротивление было лишено всякого смысла. Все время пытаясь заглянуть под лацканы плаща, чтобы определить, является ли «черный» эсэсовцем, он молча сел в машину. Мужчины спешно погрузили его чемоданы в багажник.

Автомобиль ехал недолго. Лейтенант вышел перед современным длинным зданием. И здесь над порталом также виднелся огромный каменный орел со свастикой в лапах.

– Извините за спешку, господин инженер, но мы вас уже давно ждем, – сказал человек в мундире и открыл перед ним двери.

Они поднялись по огромной лестнице, закручивающейся в форме очень плоской спирали. Сверху, сквозь стеклянный купол, вертикально падал свет. На первом этаже доски паркета были покрыты черной ворсистой дорожкой.

В огромной комнате, стены которой представляли собой плоские шкафчики, за широким столом сидел седой мужчина в золотых очках. Он поприветствовал входящего поднятием руки – лейтенант ответил тем же.

– Пожалуйста, присаживайтесь.

Оба мужчины, которые его сопровождали, исчезли. Хьюз осторожно осмотрелся. В это время гладко выбритый мужчина с огромными пепельными бровями положил руки на стеклянную столешницу и внимательно в него всмотрелся.

– Извините, что вызвали вас так срочно, но вы слишком ценны для Родины, чтобы хоть день потерять зря. Я фон Гогенштейн. Я допускаю, что моя фамилия объяснит вам цель, – он заколебался, – этого визита.

Хьюз слегка поклонился, хотя и ничего не понимал.

– Вы должны знать, что я первым заинтересовался донесением, которое вы прислали в декабре прошлого года. Я хочу сообщить вам хорошую новость: штаб очень заинтересовался вашим проектом, и сам фюрер присутствовал при первом испытании вашего средства.

Он посмотрел поверх очков на Хьюза, который пытался принять довольное выражение лица. Лейтенант понимал, что задержанный инженер сделал какое-то изобретение и, видимо, был в контакте с немецкими агентами, если сумел передать информацию о нем. Когда он услышал слова «сам фюрер», ему сделалось немного не по себе. Он решил молчать как можно дольше, а в случае, если ничего не узнает, как-то спросить о «своих» планах.

– Таким образом, мы не хотели, чтобы вы зря тратили свое ценное время. Поэтому Министерство вооружений создало для вас специальный штат и условия работы. Здоровы ли вы сейчас?

– Конечно. В лагере меня еще немного беспокоила анемия, но сейчас я чувствую себя хорошо.

– Надеюсь, что одного дня вам достаточно для решения личных дел. Насколько я знаю, у вас их не слишком много. У вас нет семьи, если не считать невесты? – Фон Гогенштейн тактично улыбнулся.

Хьюз почувствовал волнение. Действие развивалось совершенно как в кино: он мог попасть в Министерство вооружений, но тут неожиданно

всплыла новость о какой-то неизвестной невесте. Теперь он клял неточную информацию собственной разведки, которая, как оказалось, не слишком добросовестно изучила личную жизнь Зейдлица. Он решил, что как можно скорее должен связаться с гамбургской ячейкой «группы F», чтобы обсудить план ликвидации опасной для него женщины.

– Итак, если вы сумеете уладить все сегодня, завтра полетите в Леверкузен. В лабораториях уже проводили опыты с образцами, которые вы нам предоставили, а тамошние инженеры построили небольшую модель аппарата.

«Черт побери, почему он так загадочно говорит?» – подумал Хьюз и сделал пробный шаг:

– Мои бумаги находятся в Леверкузене или здесь?

– Какие бумаги?

«О, плохо дело!» – подумал лейтенант.

– Я имел в виду мой проект.

– Ах, вы называете это бумагой! Отлично, ха-ха-ха, понимаю. Первая запись была переписана. У вас нет копии? Хотя это было бы легкомысленно... Вы наверняка опасались, что англичане по приезде...

– Я уничтожил все, допуская, что хранить «это» опасно, – сказал он слегка разочарованно, потому что ничего не понимал. О какой записи говорил советник?

– Я могу дать вам пластинку, если хотите; можете сохранить на память, правда?

Хьюз поклонился.

Фон Гогенштейн подошел к одному из шкафчиков, который зазвенел при повороте ключа: покрашенные под дерево, они оказались бронированными сейфами. Из ящика он достал круглый, очень плоский, пятикратно запечатанный сургучом пакет и передал Хьюзу.

– Могу ли я поселиться в доме АО^[108] НСДАП, как нам сказали во время плавания? – спросил он. – Я хотел бы немного освежиться.

– О, это вы можете сделать и здесь. Условия наверняка будут лучше. – Фон Гогенштейн нажал кнопку на плоском распределителе телефона. – Знаете ли вы Гамбург? Мы с удовольствием дадим вам проводника. Впрочем, я допускаю, что ваша невеста, которой мы специально сообщили о вашем прибытии, явится в ближайшие часы.

Хьюз поблагодарил, мысленно кляня немецкую скрупулезность.

– Нет, спасибо... я немного знаю Гамбург... Если вы решили меня где-то разместить, то схожу сейчас в город... Не хотел бы никого затруднять.

– Об этом не может быть и речи. Мы воспринимаем это как службу, мы

должны о вас заботиться. – Что-то вроде застывшей усмешки появилось на пергаментном лице.

Разозленный Хьюз встал. Фон Гогенштейн также встал, вытянулся на прощание и проводил его до двери. За ней стоял высокий мужчина, уже без куртки, зато в мундире СД.

«А, вот так», – подумал Хьюз.

Мужчина проводил его через двор к низкому домику, стоявшему посреди миниатюрного сада, с трех сторон окруженного торцевыми стенами высоких домов, вручил ему ключ от двери с номером восемь и ушел.

Воспользовавшись ключом, лейтенант обнаружил небольшую, удобно обставленную комнату с водопроводом в соседней ванной. Едва закрыв дверь, он открыл дверцу шкафа – таким образом он заслонялся от улицы – и разорвал запечатанный коричневый конверт. В нем оказалась большая граммофонная пластинка: с одной стороны – ария Карузо из оперы «Лючия ди Ламмермур», с другой – увертюра к этой же опере.

Хьюз задумался. Немец говорил о грамзаписи. Следовательно, содержание пластинки было менее романтичным, чем утверждала круглая наклейка. Теперь нужно было постараться разыскать граммофон, и как можно быстрее. В первую минуту лейтенант хотел сделать это легальным путем, но, подумав, отказался. Такая спешка со стороны автора проекта могла показаться подозрительной. Поэтому он умылся и быстро переоделся, после чего, упаковав пластинку в папку и движением ладони (которое становилось все более автоматическим) убедившись, что ампула с цианистым калием находится у него в кармане, вышел. Во дворе никого не было.

Когда он шел по широкой лестничной клетке, придерживаясь невидимой стороны, то услышал голос на втором этаже.

– Это надо пройти через двор, в белом домике, дверь восемь, – говорил мужской голос.

– А сейчас он дома?

– Да, с ним пошел штандартенфюрер.

«Невеста», – подумал Хьюз и как можно скорее и незаметнее зашагал по коридору. Перед дверью был пост, который он миновал спокойным, медленным шагом, борясь с неприятной дрожью в руках и ногах.

Он тотчас перебежал улицу и вскочил в отъезжавший трамвай, лишь бы только как можно дальше оказаться от этого места. Выйдя на большой площади, Хьюз прочел ее название – «Герингплац» – и вошел в затененный деревьями ресторан. Только через минуту он вспомнил, что, не имея

продовольственных карточек, не может поесть, поэтому заказал чай и разложил карманный план города. Он нашел улицу, на которой размещался склад старой мебели Германа Гуттена, и наметил себе кратчайший путь.

По указанному адресу он пошел пешком. Улицы становились все более тесными, дома более низкими, зато чаще попадались карликовые, некрасивые деревья.

Наконец он остановился перед обшарпанным зданием. Из-под серой штукатурки просвечивала лиловая, а в местах, где и она разрушилась, сыпался песок прусских стен. Он еще раз посмотрел на жестяную, едва читаемую вывеску. Когда открыл дверь, в темной глубине протяжно застонал звонок.

Взгляд долгое время привыкал к мраку, господствующему на старом складе, заваленном рухлядью. Только через минуту Хьюз заметил, что за стойкой стоит маленький горбатый человечек с острыми плечами, между которыми сияла верхушка лысого черепа.

– Господин Гуттен? – спросил лейтенант.

– Да, чем могу служить, милостивый государь? Хотите комплект или же отдельный предмет?

– Я инженер Зейдлиц из Южной Африки и приехал к вам, – ответил Хьюз. – Хотел бы многое вам рассказать.

Горбун очень долго стоял без движения. Затем неожиданно наклонился, достал из-под стойки металлическую табличку с надписью «Закрыто – обеденный перерыв» и повесил ее на двери. Он повернул ключ в замке, после чего раскрыл дверки прилавка. Между пузатым черным комодом и кривым шкафом Хьюз протиснулся в комнату за магазином. Они уселись на продавленный выцветший диван.

– У меня мало времени, – сказал Хьюз. – Все ли вы обо мне знаете?

– Возможно. Что-то не в порядке было во время контроля в порту?

– Пожалуй, нет, зато внутренняя разведка все испортила. Этот Зейдлиц совершил какое-то открытие и переслал проект в Берлин, записанный на грампластинке, как мне кажется. Она у меня с собой. Это должна быть, наверное, важная вещь, потому что этим интересовался Гитлер. Мне предложили высокий пост в Леверкузене. Но есть два затруднения: первое, наиболее важное – Зейдлица, то есть меня ожидает невеста, которая приехала сегодня, а во-вторых, я должен как можно быстрее получить небольшой портативный граммофон. Может, у вас есть нечто такое? Я должен послушать с пластинки рассказы инженера, прежде чем вернуться окончательно договариваться с фон Гогенштейном.

– Это начальник Отдела изобретений в департаменте Министерства

вооружений, большая шишка, – сказал горбун. – О-го-го, вы сделали неплохое открытие. Хорошо. Граммофон будет через пятнадцать минут. А что касается женщины, у вас есть ее данные?

– Нет.

– Описание внешности, фотография?

– Нет, откуда же. Я совсем ее не видел – к счастью. Слышал только ее голос: когда я выходил, она как раз пришла и искала меня в здании.

– Но как мы тогда ее найдем?

Хьюз задумался.

– Да, я ошибся, – сказал он. – Но когда услышал, что она на соседнем этаже, я думал только о том, чтобы это расстояние увеличить. Гм-м, что теперь делать? Если она ждет меня? Наверняка ждет. Значит, я не могу вернуться, а если не вернусь, это вызовет подозрения. – Он посмотрел на часы. – Четыре, уже прошло три четверти часа, как я вышел.

Он резко встал.

– Придумал.

– Ну?

– Позвоню туда из города. Если она там, договорюсь с ней, а вы скажете мне, где и когда лучше нам с ней будет встретиться. Когда же она придет, уберете ее.

– Убрать, вам хорошо говорить, – язвительно ответил горбун. В узкой полосе света, которая падала из частично заслоненного шкафом окна, он рассматривал ногти худых длинных рук. – Земля горит у нас под ногами. Вы думаете, что мы можем устраивать гангстерские вылазки? Вся ячейка сейчас – это пара человек.

– У вас есть лучший выход? Я сам рискую – ведь в здании будут знать, что я звонил. И речи нет о каком-либо огнестрельном оружии... Я думаю, что ее следует просто где-то продержать около двух недель.

– Но Зейдлиц ведь последний раз был в Германии семь лет назад. Если бы она вас даже увидела, то думаю, что...

– Нет, это невозможно. Мне нельзя рисковать.

– Будете ждать ее в машине, – неожиданно сказал горбун, поднимая голову. Глаза его в узком луче света казались почти белыми и такими холодными, что Хьюз опустил взгляд.

– В машине, и что дальше?

– Я дам вам камбиоль. Вы отвезете ее или лучше сразу после этого высадитесь и пойдете в управление. Остальное уже не ваше дело.

– Может, поедет кто-то из ваших? А зачем камбиоль?

– Нет, она должна увидеть ваше лицо, ведь есть большое сходство. В

первую минуту она не разберется.

– Это только в кино все гладко получается, – сказал задумчиво лейтенант. – Один крик, и все полетит к черту.

– Вы поедете на машине, – повторил горбун, вставая. – Сейчас четыре десять. Позвоните с переговорного пункта. Поспешите, ибо она может уйти, если вообще ждет.

Хьюз встал.

– Потом я возвращаюсь сюда, так?

– Да, сразу же.

Найдя телефон, лейтенант позвонил в управление. Не так легко было соединиться с фон Гогенштейном, а другой фамилии он не знал.

– Господин советник, не было ли еще известий от моей невесты? – спросил он, услышав наконец сиплый голос старика. – Прошу прощения, что звоню, но я хотел бы узнать...

– Понимаю, отлично понимаю, она тут ждет вас. Хотите с ней поговорить?

– Был бы очень благодарен.

Через минуту раздался женский голос:

– Алло?

– Это ты, любимая? – спросил Хьюз, чувствуя, как трудно ему говорить.

– Да.

– Я хотел бы наконец увидеться и многое, многое рассказать. Могла бы ты прийти на Хогенштауфенштрассе? Я буду ждать тебя там в машине.

– Хорошо. – Голос был слегка запыхавшийся.

– Знаешь, но пусть это будет нашей тайной, хорошо? Не говори никому, где мы договорились встретиться. Я хотел бы, чтобы сегодня вечером ты была только моей.

– Хорошо.

– Значит, придешь, да? В половине шестого будет хорошо?

– Да.

– Ну тогда пока, любимая, до свидания, я очень по тебе скучал, – выдавил Хьюз и, не дожидаясь ответа, повесил трубку.

Он немного вспотел. Взглянув через стеклянное окно кабины, вытер лоб платком.

На складе, кроме горбуна, был водитель машины – большой, молчаливый, с бочкообразной грудью и узловатыми руками, в испачканном комбинезоне.

– Будет в половине шестого на Хогенштауфен, – сказал Хьюз, и ему

показалось, что он выдал не свою тайну. – Что это? Что вы мне даете? – спросил он, когда горбун опустил затемняющие роллеты и в свете голубой лампочки распаковал полотняный сверток.

Это была разновидность никелевой ручки, оканчивающейся очень короткой острой иглой. Ручка удобно лежала в ладони.

– Когда она сядет, машина сразу двинется. Вы обнимете ее таким образом... – Тут горбун неожиданно приблизился к Хьюзу, обнял за пояс и приставил зажатую в ладони ручку к его спине.

Хьюз почувствовал укол, дернулся и увидел кривую усмешку на узких губах карлика.

Шофер, тараща свои почти рыбы глаза, сидел на продавленном диване, положив грязные ручки на колени.

– Камбиоль ведь так не вводится?

– Я дам вам аконитин. Это лучшее средство. Без звука – результат мгновенный.

Хьюз оттолкнул протянутую ладонь.

– Я не хочу. Дайте камбиоль.

– У нас негде его прятать. Или вы считаете, что тут есть какие-то пещеры и подземелья, двери в шкафах? – усмехнулся горбун. – Что вы делаете? – добавил он писклявым голосом, потому что Хьюз повернулся к нему, сжимая кулаки.

– Я никогда не убивал женщин, и еще в таких обстоятельствах... Это подлость!

Горбун положил странный шприц на стол.

– Как хотите. Я вам не начальник. Я могу пойти вам навстречу в пределах разумного, но вы хотите следовать каким-то рыцарским обычаям во время операции. Это до добра не ведет.

– Где же ваш граммофон? – грустно спросил Хьюз. – И дайте немного водки.

Горбун вернулся через минуту с бутылкой и одним стаканом. Хьюз налил, отпил, вновь опрокинул в рот стакан с обжигающей жидкостью.

«Как бандит, для воодушевления», – подумал он.

– Итак, вы едете?

– Дайте граммофон.

Портативный патефон уже стоял на столе, горбун поднял крышку и вставил иглу. Лейтенант осторожно достал пластинку из конверта, положил на диск и запустил патефон. Раздались первые такты увертюры.

– Красивый мотив, – шепотом заметил горбун, но в этот момент что-то треснуло и раздался глухой мужской голос, говорящий очень медленно:

– Внимание, внимание. План «Фау» как «Возмездие»^[109]. Изобретенный мною катализатор, распыленный в воздухе в форме суспензии или аэрозоля, вызывает быстрое преобразование атмосферного кислорода в озон. Реакция эта является эндотермической и поглощает большое количество тепла. Начинается резкое понижение температуры. Воздух, в котором место молекулярного кислорода занимает озон, перестает быть пригодным для дыхания. Озон уже в концентрации от пяти до пятнадцати процентов мгновенно вызывает отек легких, сильное удушье и смерть от паралича сердца и остановки дыхания у всех животных и людей. Рыба, кроме донной, поддается воздействию в течение одного-двух часов. Только рыба подо льдом может пережить атаку, проводимую моим средством. Растения задыхаются и вянут в течение десяти часов, потому что действие озона блокирует их дыхательный аппарат. Катализатор – это металлический порошок, состоящий из фракций выделенных мною металлов щелочной группы и определенного, искусственного радиоактивного элемента. Один грамм суспензии, распыленный в отношении один к десяти триллионам, вызывает преобразование нескольких сот миллиардов кубических метров кислорода воздуха в озон. При использовании одной сотой грамма, выброшенной в воздух при помощи метателя, я наблюдал смерть всех птиц, пролетающих на высоте от пятидесяти до девяноста метров над зараженной территорией в радиусе двухсот метров в течение двух часов, а также падение температуры на тринадцать градусов, которое вызвало проливной дождь с наступившим после него циклоном. Действие катализатора в форме А очень долговременное. Я до сих пор не открыл способа его обезвреживания. При достаточном рассеивании он перестает быть вредным, что происходит обычно в течение двух – девяти дней в зависимости от силы ветра, осадков и солнечной активности. К этому донесению прилагаю два грамма катализатора в форме В, а также схему распыляющего аппарата. Химический и процентный состав предоставлю позже.

Пластинка минуто шипела, затем игла соскочила в канавку, и механизм остановился. Хьюз завел патефон. Перевернул пластинку, но на ней до конца было записано сольное пение. Он еще раз прослушал запись донесения. Внимательно осмотрел черный диск.

– Где же это приложение?

– Боюсь, что я уже его видел, в Англии, – буркнул сквозь зубы Хьюз.

– Вы все поняли? – спросил горбун. – Ну, значит, что сейчас делаем? В крайнем случае можно передать это донесение, а вас мы постараемся перевезти в Швейцарию.

– А откуда вы знаете, не предоставил ли им Зейдлиц уже формулы катализатора? Я должен ехать.

Шофер встал. Хьюз набросил плащ. Горбун взял шприц, брошенный на столе, и подал ему.

– Вы уже заправили аконитин?

– Да. Сейчас он закрыт этим вентилем. Возьмите.

– Не надо лишних слов! – Хьюз вырвал у него шприц, положил в карман и вышел.

На дворе стоял черный «опель». Хьюз осмотрел двор, двери, опустил стекла и расположился на левой стороне сиденья. Он старался не смотреть на маленького человечка, стоявшего в проеме грязных дверей склада. Однако когда автомобиль повернул, он увидел его еще раз: стоит опершись о притолоку, левую руку прижал к груди. Казалось, что он смотрит вверх, где между темными стенами виднелся клочок неба.

Гогенштауфенштрассе была почти пустой. Машина стояла в тени большого круглого киоска под раскидистым каштаном, который рос в середине обруча из металлических прутьев. Откуда-то издалика донесся бой башенных часов.

Шофер, склонившийся над рулем, казалось, спал. Лейтенант выглянул в окно, за которым стучали по тротуару деревянные башмаки работников, выходявших с какой-то фабрики. Затарахтел мотоцикл, затем проехала большая мотоколяска с рекламной вывеской. От стен, нагретых в течение дня, веяло удушливым мертвецким теплом.

«Если было второе донесение, то они уже массово производят это дьявольское средство. Уведомление Центрального управления мало поможет. Они будут нас травить как крыс. Однако, возможно, как главный инициатор проекта я буду иметь некий вес», – подумал Хьюз.

За машиной раздался звук легких, быстрых шагов. Он повернул голову в направлении овального окошка. Стройная девушка в маленькой, похожей на кепи, шляпке, из-под которой выглядывала каштановая прядь, подошла к киоску, неуверенно остановилась.

Он открыл дверь автомобиля.

Она постояла еще мгновение. И он молчал, опасаясь, чтобы его не выдал голос. Затем раздался один шаг, второй, загородила собой доступ воздуха и света. Тут же на уровне его глаз показалось лицо девушки, которая наклонилась вперед.

– Это... это вы? – шепнула она. – Инженер Зейдлиц?

– Это я, садись. – Голос его растворился в шуме мотора, который

неожиданно заработал.

Машина дернулась, а он потянул ее за руки, так что она упала ему на грудь, потеряв равновесие. Второй рукой, держа ее над спиной девушки, он захлопнул дверцу.

Она быстро освободилась из его рук, он не препятствовал ей в этом. Хьюз мог, собственно говоря, уже в этот момент применить шприц, но его удивили ее слова.

– Это вы? – сказала она вопросительным тоном.

Она оперлась на боковую стенку. Радужная оболочка ее больших, словно удивленных, глаз ближе к зрачкам становилась еще более голубой. Она внимательно смотрела на него.

– Я представляла себе вас иначе, – сказала она почти шепотом, так что он скорее догадался, чем услышал. – А вы, значит, такой...

До этого момента он сидел неподвижно, пораженный. Он надеялся или на возглас удивления, или на поцелуй: в обоих случаях он должен был ее убить. Она же сидела на краю кожаного сиденья, сложив белые руки на маленькой сумочке, не отрываясь смотрела на него.

– Не узнаешь меня? – сказал он наконец охрипшим голосом.

– На фотографии вы были... Ты был другой.

На фотографии. И вдруг Хьюз все понял. Значит, это была заочная помолвка; тысячи таких связей организовывала Заграничная организация НСДАП, и одним из подписчиков этой акции оказался также инженер Зейдлиц. Лейтенант почувствовал, что на лбу у него выступает пот, а руки начинают дрожать, и отодвинулся еще дальше, чтобы не выдать себя. Напряжение последних минут неожиданно покинуло его, оставив пустоту в душе, слабость и огромное облегчение.

– Хуго? Что с тобой, Хуго?

В этот момент он совершенно забыл о том, что существует некий инженер Зейдлиц. Девушка, напуганная его странным поведением, приблизилась, и тогда он неожиданно схватил ее в объятия, резко, будто искал у нее защиты от самого себя, будто боялся, что может сейчас совершить непоправимое.

Два визита

Прощавшись с Лоттой, которую он проводил на вокзал, потому что она взяла только однодневный отпуск в своем бюро, чтобы увидеться с ним, лейтенант направился в управление. Было уже довольно поздно, но

там его ждала записка от фон Гогенштейна. Поэтому он поехал на частную квартиру советника.

В гранатовом кабинете был только один источник света – большая лампочка под бледно-зеленым абажуром.

– Так, значит, завтра вы едете в Леверкузен?

– Да. Все, что требовалось, я сделал. – Хьюз закурил папиросу, наклонившись к пламени большой хрустальной зажигалки. Ему хотелось узнать, как обстоит дело с формулой. Как обычно, лучшим способом узнать что-либо было молчание.

– Испытание, как вы знаете, принципиально подтвердило ваше донесение. Я думаю, что уже вскоре начнется серийное производство этих распылителей для самолетов.

– Могу я узнать, когда на деле будет применено это средство?

– Все в руках фюрера. Возможно, что уже бы началось, если бы не ваше затянувшееся отсутствие.

Хьюз отступил в тень.

– Я хотел вас о чем-то спросить... Да, почему вы не передали полное описание нашему человеку перед отъездом на Мальту? Это было неразумно, тем более что, как я слышал, невозможно выполнить точный анализ этого порошка. Кажется, что там есть какая-то органическая примесь? Если бы вы послушали совет нашего человека, столь ценный документ уже два месяца как был бы в нашем распоряжении. Вы же, надеюсь, не боялись, что правительство вас забудет? Фюрер никогда не нарушает данного слова.

– Может, я поступил плохо... но, наверное, вы понимаете чувства человека, который достиг результата, скажем так, необычного. Я записал формулу и, впрочем, изготовил специальную ампулу, в которой ее ношу. Если ее откроет человек, не знающий системы, то это спровоцирует взрыв и уничтожение содержимого.

– Но ведь ее не было у вас в багаже? – сказал явно удивленный Гогенштейн. Одновременно он будто бы немного смутился.

«Обыскивали чемоданы, – подумал Хьюз. – Какое счастье, что я выбросил фотоаппарат! Ну-ну, не очень-то они доверяют друг другу».

– Нет, она у меня с собой.

Хьюз – возможно, под влиянием послеполуденного приключения – решил сыграть ва-банк. Нужно было блефовать: насколько долго они будут думать, что формула у него, настолько долго будут с ним считаться. Он достал из внутреннего кармана вечное перо, открутил поршень и вынул находившийся под ним черный рулончик с двумя цветными головками:

голубой и желтой.

Прежде чем советник протянул руку, он вложил рулончик в перо и закрутил поршень. Это было его собственное донесение, которое он должен был отдать по указанному Гуттенем адресу.

– Однако вы поступаете легкомысленно. А если бы вас обокрали?

Гогенштейн с трудом сдерживал желание немедленно получить формулу. Однако преимущество все время было на стороне лейтенанта, который затушил окурок сигареты и, вставая, заметил:

– Я знаю формулу на память, а на пленке она зашифрована.

Он сказал это, чтобы окончательно обезопасить себя. Даже как Зейдлиц он не слишком доверял обещаниям гитлеровского сановника.

Когда он вышел, было уже абсолютно темно. Автомобиль Гогенштейна отвез его к зданию, в котором он должен был переночевать. Когда машина отъехала, Хьюз двинулся прямо по улице. Автобусы курсировали. Он доехал до рынка, вышел и, петляя, добрался до фотомастерской на маленькой старой улочке, сужающейся высокими откосами толстостенных домов.

– Есть уже специальное сообщение для вас, – сказал мужчина в запачканной рубашке, когда Хьюза проводили в маленькую комнатку на первом этаже. – Как раз минуту назад приняли.

– Подтверждение получения, да?

Радиостанция была, с точки зрения возможности обнаружения, мобильная и находилась где-то за городом. Здесь были только аппараты, работающие на прием.

– Да. Я думаю, что, когда они прочитают ваше донесение, в министерствах немного возбудятся, – добавил он не без злорадства, глядя в лицо лейтенанту, потому что знал содержание переданного сообщения. Только информацию необычной ценности передавали таким рискованным способом.

– В пять утра я еду в Леверкузен. Там нет никого из наших, так?

– Нет. Но вы получите от нас в дорогу «бонбоньерку».

Из лежащего на полу чемодана он достал упакованную в восковую бумагу коробочку, вынул из нее серебряный массивный портсигар и подал лейтенанту.

– Что это?

– Ну, простите, даже вы этого не знаете? – Он отобрал металлическую коробочку и открыл ее, показывая Хьюзу плотно упакованную внутреннюю часть малюсенького радиоприемника. Две, не толще карандаша, батарейки

по краям замыкали позолоченные перегородки, где за тонкими экранами из алюминиевой фольги лежали, одна за другой, зеленые катушечки и серебряные лампочки.

– Аппарат работает принципиально без тока. По нашему сигналу датчик включает цепи, тогда механизм начинает передвигать под пером ленточки бумаги. Все происходит автоматически. Работает не громче часов, так что вас не выдаст. Носите в заднем кармане, только смотрите не перепутайте с портсигаром, – усмехнулся он.

– Ну хорошо, но я могу вам дать знать о себе?

– Нет. Но с завтрашнего дня каждый вечер у вокзала будет стоять наш автомобиль. Номер 678482. Запомните. Вы скажете: «Инженер Зейдлиц хотел бы прокатиться» – этого достаточно. Автомобиль будет ждать ежедневно с восьми до десяти. Вы на нас в принципе не рассчитывайте – только в случае чего-то очень важного: мы не можем без крайней необходимости выходить в эфир. Вы получите телеграмму прямо из центра, с островов.

На грани...

– Доктор Грен дал вам посмотреть проект договора?

– Да. В принципе я согласен на все условия.

– Отлично. Прежде чем вы его подпишете, приглашаем вас на двойное торжество. После обеда пройдет показ нового вооружения на местном полигоне, это в нескольких километрах за городом. Упоминал ли советник Гогенштейн о наших новых зажигательных ракетах? Не думайте, что мы тут в стране бездельничаем. Затем мы поедem сразу в наш клуб. Как я сказал, торжество двойное: мы отметим ваш приезд и одновременно будем чествовать инженера Пильнау, который получил похвальную грамоту ОКВ за свои детонаторы.

– А подписание договора?

– О, думаю, что это произойдет завтра утром. Вы же не сбежите от нас, правда? – рассмеялся главный инженер, так что даже цепочка от часов начала прыгать на его круглом животе. – Приглашаю вас на наш скромный обед.

Полигон был виден уже издали – так высоко вздымались стены из деревянных бревен с пущенными поверху кольцами колючей цинковой проволоки. Среди зеленых и желтых полей он длинным острым клином

врезался в распаханную землю. С двух сторон стояли караульные будки, а затем следовал ряд столбов и настилов. «Пожалуй, воспользуюсь здесь чем-нибудь», – подумал Хьюз, когда машина остановилась на холме, искусственно насыпанном из светлого песка. Перед маленьким деревянным строением стояли несколько высокопоставленных офицеров. При представлении Хьюз заметил, что его фамилия произвела большое впечатление. Присутствующих проводили между двумя стенами, снизу вкопанными в землю, а наверху соединенными железными трубами. За поворотом этого рва-коридора показалась куча мешков с песком, а за ней зацементированный колодец из бетонных колец. Хьюз по железной лестнице спустился вниз вслед за щуплым офицером в мундире летчика с отличительными знаками штаба. Гибкая крыша опустилась, над головами раздался скрежет подтягивающих болтов. Через минуту внутри посветлело. С трех сторон появились круглые, полные света окуляры перископов. Лейтенант приблизил глаза к оптике. Он вздрогнул, потому что над его головой раздался искаженный телефоном голос:

– Прошу внимания! Внимание! С запада приближается самолет, который сбросит зажигательные бомбы нового типа.

В окулярах был виден довольно широкий, треугольной формы отрезок луга, окруженный многосотметровым ограждением из деревянных бревен, покрытых стекловидным веществом. Все пространство между свежими досками было заполнено высокой травой, смешанной с лиловыми пятнами клевера. В каких-то двухстах метрах от наблюдательного бункера стояли деревянные и кирпичные домики, напоминающие на скорую руку возведенные виллы. Перед одним паслось несколько овец. Над столбами ограждения неожиданно показалось коричневое пятнышко. Это был истребитель «Мессершмитт-210». Он развернулся в воздухе, и его два тупых серебристых обтекателя наклонились к земле.

Темная тень стремительно пролетела над лугом, из нее брызнул длинный узкий сноп сияющих медью снарядов. Когда они достигли травы, повалил черный густой дым, а вслед за ним возник яркий пурпурный свет. И неожиданно мириады пылающих осколков рассекли пространство, которое заполнилось кривыми линиями огня. Овцы бросились в рассыпную с горячей и дымящейся шерстью. «Мессер» уже набирал высоту, поднимаясь вертикально вверх, и остались только пылающие руины домиков, град медленно падающих осколков и кружащиеся хлопья копоти. Низко опавшая трава почернела, закрытая синеватой мглой. Прошло несколько минут.

Сбоку открылись двойные ворота, висевшие на вбитых в бревна

крюках. Из них вышла колонна людей. На некоторых, кроме повязок на бедрах, ничего не было, на других была измятая рваная одежда. Почерневшие, исхудавшие, видимые с уровня земли (бункер был опущен в грунт по самый купол) на фоне голубого неба, они имели странный вид. Некоторые шатались, словно теряя сознание на ходу, другие плелись, цепляясь за товарищей закинутыми на их шеи руками, чтобы не упасть. За ними вошли несколько солдат СС с собаками. Волкодавы рвались на поводках, окропляя голых людей слюной из тяжело дышащих пастей. Видимо, раздался приказ, неслышимый через толстые стекла и сталь бункера, в который не проникал снаружи ни один звук. Люди садились на траву, с тревогой осматриваясь по сторонам, и тогда их лица, осунувшиеся и почерневшие, словно прокопченные, появлялись в окулярах. Вновь захрипел динамик. Солдаты поспешно отошли назад, за высокие ворота, и на их месте показались два человека в коричневых прорезиненных костюмах и круглых, как у водолазов, шлемах на голове. Они установили на расстоянии нескольких сотен метров от сидящих что-то вроде серебряного прута, закрепленного на треноге, после чего двинулись к забору, разматывая за собой провод, который тянули от этого приспособления. Когда за ними закрылись двери, участок луга с черным пятном выжженных позади домов и непроницаемыми для солнца досками забора представлял собой замкнутое пространство. Люди, сидевшие на земле, проявляли беспокойство. Несколько человек встали, видимо что-то говоря; неожиданно двое или трое побежали в направлении тянувшегося поодаль от них красного провода.

Но едва они его достигли, мягкая круглая радуга объяла верх серебряного прута. Бледно-зеленовато-розоватый шар, поколыхавшись минуту, исчез. Сразу за этим появились крупные, как разбитое стекло, капли дождя, хотя небо было без туч.

Двое мужчин уже стояли на коленях и рвали провод. Хьюз увидел в руках одного разорванные концы медного проводника.

Прошло несколько минут. Сидевшие на земле начали проявлять беспокойство. Одни вставали и бежали, другие падали, видимо крича, потому что их губы шевелились. Некоторые бросались в стороны, толкаясь, наступая друг на друга, падая. Через стеклянные окуляры не доходил ни один звук, видны были только извивающиеся тела и страшные, опухшие лица с широко раскрытыми ртами, которые покрывала розовая пена. Они пытались взобраться на забор, дрожавший под отчаянными бросками тел, и падали, потому что он был высоким и прочным. Потом один за другим, как охваченные огнем листья, они оседали и исчезали в высокой траве. Все

больше тел билось в конвульсиях на лугу.

Еще несколько человек бегали, поднимая руки и судорожно изгибаясь, но и они упали. В высоких зарослях овсяницы тут и там виднелись темные спины или черные лица с мертвыми глазами.

В бункер стал проникать приятный, освежающий запах озона. Одновременно Хьюз, который инстинктивно до боли в ладонях вцепился в железные поручни бронированного укрытия, почувствовал, как что-то дрожит в его кармане, – долгое время он не осознавал, где находится. Он закрыл глаза и стиснул зубы. Осторожно коснулся ладонью одежды: радиоприемник, спрятанный в кармане, работал.

– Прекрасно, прекрасно, – говорил майор, положив руку на плечо Хьюза. – Поздравляю, господин инженер, какая мощь! Колоссально, – повторял он, – колоссально.

– А не повредит ли это местному населению, если катализатор будет рассеян на поля? – неожиданно спросил Хьюз, который усиленно старался прийти в себя.

– Как это? Мы ведь применяем ваш замедлитель как пятипроцентную добавку, – сказал удивленно майор.

Хьюз прикусил язык и решил быть осторожней, задавая вопросы. В это время через калитку вытащили трехколесную тележку с авиационным мотором и четырехлопастным винтом, и люди в комбинезонах пустили струи воздуха на середину площадки, развевая искусственным ветром траву. То и дело новые трупы показывались из нее, как при спуске воды из пруда. Раздался скрежет замков. Железная крышка поднялась над крутой лестницей, и в отверстии, окаймленном небом, показалось улыбающееся лицо главного инженера.

– Вы видели? Да-да, отличные результаты, достойные высочайшей награды, господин инженер. – Он похлопал выходящего Хьюза по спине и радушно приобнял за талию.

Офицеры, которые вышли из других бункеров, также подходили к нему, чтобы с уважением пожать руку. Все были при полном параде.

– А сейчас мы поедem в наш клуб и развлечемcя в тесном кругу.

– А эти люди, кто они? – спросил Хьюз, когда они уселись на кожаных, красных, сияющих подушках «мерседеса».

– Какие люди? Ах те, на лугу? Не знаю, их чаще всего доставляют нам из Освенцима. Знаете, что я хотел сказать... Да, это будет небольшой бал. Я думаю, что вы хорошо развлечетесь.

– Господин инженер, я хотел бы действительно отдохнуть... Не мог бы я...

– Нет, вы так с нами не поступите. Это исключено. Скоро мы будем на месте, дорогой инженер, ведь все это в вашу честь. Мы должны отметить ваш приезд. Вы познакомитесь с инженером Пильнау, который сконструировал эти зажигательные снаряды... Ну вот мы и прибыли. Прошу, вы позволите, моя жена специально для вас выбрала отличный костюм: правда, я не сказал вам, что это будет такой небольшой маскарад. Бал масок, вы знаете, – быстро говорил главный инженер, открывая двери «мерседеса».

Хьюз подумал, что переодетым ему будет легче исчезнуть; впрочем, до момента прибытия автомобиля оставалось около часа.

Спускались сумерки, хотя верхняя часть неба была еще светла. Они вошли в холл, украшенный с большой пышностью. Мраморные львы стояли на страже по обеим сторонам гардероба.

– Я хотел бы воспользоваться телефоном, – обратился лейтенант к инженеру.

Тот кивнул лакею в зеленой ливрее, обшитой золотом. Камердинер проводил его через выдержанный в пурпурных тонах коридор к стеклянной двери. Слева за ней была небольшая cabina.

Хьюз вошел, зажег свет и, убедившись, что никто не может увидеть, что он делает внутри, сидя снял трубку с рычага и положил на столик. Поспешно достал из аппарата покрытую печатным текстом ленту бумаги. Положил на колени ключ к шифру и начал составлять буквы.

«Зейдлиц мертв, – гласило донесение. – Смерть вызвана сердечным приступом, подозревается отравление строфантином. Остерегайтесь доктора Мебиуса, который может быть в Леверкузене».

Дальше он не дочитал. Кто-то бежал по коридору и звал: «Господин инженер Зейдлиц!» Двери кабины затряслись, их пытались открыть снаружи.

– Вы там, господин инженер? – спросил женский голос.

Он смял бумагу, машинально положил в рот и проглотил. Захлопнув аппаратик, положил его в карман, повесил трубку на рычаг и вышел, непроизвольно тронув ладонью карман для часов, в котором лежала ампула с цианидом. В дверях стояла высокая полная госпожа фон Гогенштейн в одеянии из развевающегося зеленого и голубого тюля, среди которого поблескивали пластинки, имитирующие рыбью чешую. В руке она держала цветной клетчатый костюм, с которого свешивалась зеленоватая бахрома.

За ней стояли две молодые женщины, уже переодетые. Одна, цвета воронова крыла брюнетка с вишневой розой в волосах, окутанная снежной кружевной шалью, представляла испанку. Другая, маркиза – блондинка с

удивленными глазами, вся словно из тонкого фарфора, в огромном напудренном парике, – шелестела большим кринолином.

– Где же вы прячетесь, господин инженер? Мы приготовили специально для вас великолепный костюм. Как только вчера я узнала о вас, и подумала, что это будет замечательно. – Все окружили его и, хохоча, проводили на первый этаж.

Маркиза опустилась перед ним на колено, сменяя оборки платья, чтобы приложить к ногам клетчатый материал. Испанка, заходясь от смеха, подала ему кожаный белый мешок, из которого выглядывали костяные трубки. Жена советника надела ему на голову клетчатую шапочку. Хлопая в ладоши и смеясь, они с минуту любовались своим творением.

– Вам надо быстро переодеться, мы вас ждем, – сказала госпожа фон Гогенштейн и вышла со спутницами.

Хьюз огляделся вокруг, подошел на цыпочках к двери – женщины шептались, не отходя. Он все еще не мог понять, чья фамилия была в донесении. Но она была ему известна. Он знал это наверняка. Сидя и машинально перебирая предметы своего костюма, он впервые внимательно присмотрелся к этим суконным тряпкам. Это был народный костюм шотландского горца, в каком Хьюз часто щеголял мальчиком, а затем и во время учебы в Абердине. Он чуть не закричал. Он держал в руках белый мешок – это была волынка – и видел вересковые заросли под Данди, освещенные оранжевым закатом. Три старые легавые бежали впереди, он как раз следовал за ними, перезаряжая ружье, из ствола шел горький запах пороха. А немного сбоку на фоне лилового неба вырисовывалась темная фигура скучного гостя его отца – строгого, всегда холодного и спокойного, с лицом, загоревшим до бронзового цвета, которое освещалось каким-то злым блеском, когда сквозь облачко дыма были видны падающие в траву перепелки. Доктор Мебиус...

Какие пути привели этого космополита в Леверкузен? До этого момента Хьюз не отдавал себе даже отчета в том, что Мебиус был немцем. Но что ему было о нем известно?

Он открыл дверь. Раздался хор негодующих голосов.

– Извините, – сказал он, – вы выбрали для меня шотландский костюм. Я очень извиняюсь, но сейчас не хотел бы переодеваться в британца, когда...

– Ну что вы говорите, это ведь игра, мы просим скорее переодеться, ведь другого нет, это идеально, – кричала одна, перебивая другую, а жена советника подтолкнула его большой, унизанной перстнями ладонью:

– Ну не привередничайте, очень прошу, – и закрыла дверь у него перед

носом.

Они считали, что это каприз. Взволнованный, взбешенный, Хьюз минуту постоял за дверями. Подошел к окну – оно было слишком маленьким, чтобы можно было сквозь него протиснуться. Что делать? Он посмотрел на свой костюм, лежавший на диване. В коридоре его сторожили три глупые бабы. Какой-то злой, нервный смех сотряс его. В конце концов, доктора может не быть на этом маскараде. Откуда ж ему взяться? Он посмотрел на часы. Еще полчаса до того времени, когда прибудет машина. Он сел и стал переодеваться. Когда закончил подвертывание высоких носков, постучали: это была маркиза.

– Ну вы и копаетесь, – сказала она.

– Отлично, – взвизгнула испанка, вошедшая вслед за ней в комнату.

– Сейчас, сейчас. – Жена советника покопалась в сумочке и достала маленькие светлые усики, при виде которых Хьюз вздрогнул.

Его подвели к зеркалу. Протесты их только рассмешили, нашлась бутылочка клея, и через минуту жена советника прилепила ему под носом пучок светлых волос.

– Еще минутку, – воскликнула она, когда он хотел встать.

Достала из сумочки серебряный цилиндр, из которого выдвинулась розовая блестящая помада, и разрисовала лицо Хьюза пятнышками, похожими на веснушки.

Женщины взорвались смехом, когда рядом с выходящими показался советник.

– Узнаешь?

– Какой-то шотландец, да, совершенно не похож на Зейдлица?

Открылись большие резные двери, хлынули свет и музыка. В глубине двигалась фантастически цветная толпа, которая расступалась и сходилась, кружась в такт музыке. Маркиза легко оперлась на руку лейтенанта, и они двинулись, вовлеченные в круг танцующих.

Музыка звучала все громче. Отовсюду доносились смех, крики, визг, а сверху, из укрытой в тени черной панели галереи, постоянно сыпались приятно пахнущие ленты серпантина и конфетти, разлетаясь над головами танцоров тысячами золотых, малиновых и белых искр. Ноги заплетались в длинных цветных полосках бумаги. Из горячей толчеи вырывались лица, то полуприкрытые черной маской, то скрытые за ниспадающей вуалью, то запертые, как фруктовая косточка, в серебряных рыцарских шлемах. Какой-то бравый мексиканец в огромном сомбреро с лязгающим при ходьбе театральным «кольтом» наскочил на них, так что они едва увернулись. В другом зале, двери которого были открыты, неожиданно воцарился

пурпурный полумрак, оттуда плыла медленная, переливающаяся мелодия танго.

– Я устала, – шепнула маркиза.

В ее огромных глазах дрожали капельки света. Она сильно оперлась на плечо Хьюза, который пробирался к стене в круговороте танцующих. Оттуда, постоянно толкаемые людьми в масках, они прошли во второй зал. В его стенах, украшенных сверкающим кафелем и толстыми стружками металла, находились глубокие узкие ложи, отделенные друг от друга бархатными стенками. Они уселись, и в тот же момент в узком проходе показался смуглый официант в белой манишке. Он склонился в поклоне. В глубине мелькали тени танцующих. Невидимый оркестр на минуту умолк, и рефлектор, водивший все это время красным лучом у них над головами, вдруг вспыхнул ярко-зеленым светом. Посветлело. Маркиза что-то заказала, официант засуетился, и над головой лейтенанта загорелась розовая лампочка.

Зазвенело тонкое стекло. Густое вино тяжело лилось в конические рюмки, рассыпая в воздухе искры золота и рубина. Они чокнулись. Оркестр начал играть приятную, очень ритмичную мелодию, сопровождаемую стоном труб. Пары проплывали мимо входа в ложу, заглядывали в нее с интересом и шепотом обменивались впечатлениями. Некоторые немного задерживались, кружась в ритме музыки, и уходили. Хьюз пытался спрятать лицо в тени, но лампа над его головой не давала этого сделать. Он в молчании пил сладкое вино, когда белый арлекин словно дух, с надетым на голову муслиновым колпаком склонился перед его спутницей, которая извиняюще улыбнулась и выбежала на паркет. Он остался один. Музыка становилась все медленней.

Лейтенант налил себе вина и выпил. Голубые шали, серебряные ленты, охапки цветов сливались в лучах света с цветом старого вина. Когда он не следовал взглядом за пробегающими, цветные пятна смазывались в одно целое, будто бы перед входом в ложу извивалась кольцами пестрая змея с блестящей чешуей. Музыка играла все медленнее, что действовало усыпляюще. Его охватила апатия. Только теперь он почувствовал усталость: в предыдущую ночь он не спал, обсуждая план поездки в Гамбург. Он посмотрел на часы: оставалось еще пятнадцать минут.

Свет в зале изменился, несколько желтых плоских лучей упали на танцующих. Неожиданно ложу заслонила тень: он поднял глаза. На пороге стоял мужчина во фраке, с лицом, закрытым черной маской. Сквозь узкие прорези смотрели темные глаза.

Они обменялись взглядами. Тот, скрытый за маской, внимательно

всматривался в неприкрытое лицо Хьюза. Молчание длилось – позади смутно мелькали пары. Хьюз резко встал, и тогда тот бесшумно отступил, влился в непрерывное движение. Исчез.

Лейтенант сел. Сердце у него молотом билось в груди. Он почувствовал дрожание рук. «Я взволнован, – подумал он, – причина в вине». Он вытянул пальцы и внимательно на них посмотрел: они не дрожали. Хотел встать, но задержался еще на минуту. Теперь мелодия рвалась, звенела медными синкопами. Он старался найти взглядом мужчину во фраке, но все пары в полумраке были похожи. Станным был этот наклон головы. Как будто бы что-то напоминал. Все более нетерпеливо он изучал взглядом проходящих. Какая-то пара задержалась у входа в ложу, женщина в золотой шали, медленно кружась, мела землю тяжелыми складками шлейфа. Ее спутник – не он ли это был?

– Видишь? Посмотри, – шептала она. В прорезях черной маски блестели зрачки.

Хьюз отвернулся, хотел потушить лампу, но выключатель затерялся где-то в темном горельефе стены.

Опять этот высокий мужчина, нет, пожалуй, не он, потому что у него была другая партнерша. Нет, это кто-то другой, выше. Тот исчез в темноте. Хоровод танцующих в одном месте поредел. Далеко, у противоположной стены, в раме в форме золотой лиры сияло гладкое зеркало. Над ним сверкал букет стеклянных голубых роз. Из глубины черного стекла над консолью ложи выглянуло бледное как бумага его собственное лицо. Это продолжалось недолго, как предостережение. Голубой туман оседал в зале. Кроме танцующих, никто не приближался к ложе; ему казалось, что они смотрят на него с возрастающим удивлением. Хохочущие женщины, приближаясь, замолкали.

Он встал. «Надо потанцевать. Таким образом я выйду, дойти бы только до лестницы», – подумал он.

Он сделал шаг вперед и оказался в густой толпе. Не следуя за мелодией, он постоянно сталкивался с людьми. Толпа росла, завораживающе кружились огни.

– Посмотри, видишь? – сказал кто-то сзади. Он резко повернулся, задев какую-то женщину.

– Ну-ну, вы не в Англии, господин шотландец, – сказал кто-то хриплым мужским голосом.

Взбешенный, он двинулся вперед. Где же дверь? Он шел, все время толкаемый парами, и ему казалось, что длинный хоровод, медленно кружась, иронично движется за ним: из лилового мрака выглядывали

уроды, головы обезьян и попугаев, черные маски со светящимися за прорезями острыми взглядами, указывая на него глазами. Неожиданно он рванулся, вышел на пятачок свободного пространства и отступил так же резко: он увидел самого себя в глубине высокого зеркала, с лицом, обнаженным вертикальным светом до самых мелких морщинок. Он порывисто оперся спиной о зеркало. К нему приближался, медленно кружась, мужчина, тот самый – неужели это Мебиус? Они двигались возле него так близко, что он почувствовал тяжелый запах духов женщины. Выполняя длинное па, мужчина повернул к нему закрытое маской лицо. Наклонился к девушке, укутанной в длинные темные ленты, и что-то прошептал. Не сказал ли он «Хьюз»?

Лейтенант с трудом сдержал крик «неправда», который чуть не вырвался у него, и когда тот отступил извилистым путем среди танцующих, двинулся за ним.

«Я должен его опередить», – подумал он. Тот где-то пропал. Хьюз почти бежал, резко толкая танцующих, его тоже толкали. Он сильно споткнулся, кто-то громко рассмеялся. Запыхавшийся, он уже был недалеко от двери второго зала. Еще несколько шагов, и вдруг музыка смолкла. Сверху ударил яркий белый свет. Раздалось несколько слабых хлопков, и воцарилась тишина. Толпа постепенно распалась на пары, сиявшие всеми цветами радуги, оставив его одного на свободной зеркальной поверхности паркета. Он стоял как голый в середине большого круга окружающих его масок и с отчаянием осматривался. «Они ведь не могут знать», – подумал он.

Стоящие подвинулись, кто-то протискивался сквозь толпу – это был советник фон Гогенштейн, без маски, во фраке, а на белой груди у него посверкивали, играли огоньками бриллианты орденов. За ним шли трое мужчин: двое в мундирах, а третьим был черный в маске.

– Прощу внимания, – торжественно начал старик, выходя из круга присутствующих, – представляю вам...

– Прочь, немецкая свинья! – крикнул лейтенант, поднося ко рту сжатую ладонь. – Да, это я, я, но меня вы уже не возьмете.

Он изо всех сил стиснул зубы, и последнее, что он услышал, был еле слышный треск лопающейся стеклянной оболочки.

Перевод Язневича В.И.

В кабинах связи флагманского линкора горели все лампы. Свет падал сверху, оставляя тени на выпуклых головках заклепок. Одна стена была завешена картой Канала, в синеву которого, как коричневый гриб, вдавался полуостров Шербур. Офицеры сидели за узкими пультами аппаратов Хьюза и с наушниками на голове принимали информацию. Клавиши щелкали, белые стрелки металась по матовому стеклу, вращающиеся барабаны направляли бумажные ленты под латунные дыроколы, которые вырезали на них сложную систему отверстий. Телетайпы заполняли четко разлинованные голубые листы бумаги, которые получал лишь лейтенант Баргей. В коротких перерывах он поднимал голову, бессмысленно хлопая глазами. Миэр резко отодвинул наушники, потер припухшие уши и посмотрел на часы.

- Бал только начинается, сейчас три сорок...
- Сколько штук ведешь?
- Семьдесят, в том числе два монитора^[111].

Снова синкопами рваных звуков запели наушники. Молодой сержант, жующий резинку, скривился, расстегнул два крючка на воротнике и в пустой квадратик целлофана, наложенного на огромный лист скоросшивателя, вписал: «167-й полк морской пехоты, 3-я рота».

На востоке рыжели месторождения железных туч. В предрассветном небе, как обрывки белого меха, застыли ледяные облака. Волнение черных вод разрывало клубы тумана на свободно раскиданные завесы, между которыми сновали корабли.

Над муравейником низких десантных лодок возвышались мрачные корпуса морских гигантов, вздымающих носами высокие волны. Плоские беструбные теплоходы, веретенообразные амфибии, стальные скорлупки с малокалиберными орудиями, катера на авиационных двигателях рисовали на воде частую сетку белых пенных следов. В центре всей группы горизонтальный бег пенистых волн разрезал монитор; его покрытые ракушками бронированные борта мягко выныривали из воды.

Сквозь шум и тархтение турбин прорвались отдельные жужжащие звуки. Из-за туч начали показываться звенья самолетов, сквозь пушистые клубы пара они двигались на юг. Органный вой моторов, подкрепленный ритмичным грохотом «либерейторов»^[112], четко рассекали

«лайтнинги»^[113], большими сияющими стрекозами опускающиеся к воде. Высоко на разных уровнях лазури появлялись белые полосы: это были следы невидимых самолетов, которые обозначали свой путь водяным паром, превращенным морозом в стеклянную дорожку из ледяных иголок. Машины, ведущие на буксире длинные составы планеров, шли в трех ярусах. «Спитфайры»^[114] вылетали из-за пузатых туч, словно плоские широкие ножи, брошенные рукой жонглера. Переваливаясь на крыло, они разрезали туман и разлетались во все стороны, разрывая металлическую нить полета. От огней востока до лиловых теней запада небо дрожало от алюминиевых искр. Хоральный грохот взрывов накрывал пространство.

Лейтенант Феирфакс, стоявший на палубе, смотрел вверх. Глубина горизонта, разлинованная строем планеров, вычерчивающих сетки пространственной перспективы, тянулась до самого слияния воды и воздуха. Все новые стальные стаи гудели и уходили в полумрак скрывшегося за туманом побережья.

Вдруг отдельные звуки, перемежаемые моментами тишины, слились в оглушительный грохот. Высокая дробь материковой противовоздушной артиллерии, глухой голос тяжелейших крепостных орудий, пение фугасных бомб, дрожащий ритм ручных и танковых пулеметов слились в бурю стихий. Языки пламени вырывались из дул, оборачиваясь над головами пунктиром трасс и басом артиллерийских взрывов.

Осколки начали бить по воде металлическим дождем. Высоко висящие штурмовики неожиданно становились на крыло и, вертикально падая, высверливали в воздухе желоба, наполненные дьявольским визгом. Феирфакс посмотрел на черный циферблат часов и сбежал по трапу.

В узком коридоре столпились его люди, над головами мигали желтые пузыри ламп, отражающиеся в уменьшенном виде на выпуклостях шлемов. Канонада доходила сюда, словно голос бури, в который сливались один за другим грохотавшие бортовые залпы ближайшего монитора. Были слышны даже стоны бронированных башен, придавливаемых страшной силой отдачи к поддающемуся корпусу.

– Ребята, уже началось, – сказал лейтенант, не узнавая своих людей – в стандартных сферических шлемах все выглядели на одно лицо. – Через четыре минуты они высаживаются. Мы пойдем во второй линии, приготовьтесь.

По двойной шеренге пробежала волна дрожи. Раздался лязг поднимаемого оружия. Глубокие тени от вертикальных огней ложились на лица.

Поднявшись по трапу, лейтенант едва успел высунуть голову на уровень палубы, когда воздушная волна едва не сбила его с ног.

Монитор приблизился к ним, как черная, выросшая из темноты скала. Его вертикальная, нависающая над головой стена застыла в нескольких метрах, а над ней, как трехпалая рука, торчали дула орудий сорокового калибра.

Но их судно уже набирало ход, отдаляясь от опасного соседа. Берег, как гигантский, плашмя брошенный серп, на который накатывались длинные гребни волн, бежал навстречу. Поднимались фонтаны взрывов, по воде расходились круги клочковатой грязной пены.

Феирфакс обернулся, встретился взглядом с Хеджином.

– Пора! – закричал он, бегом двигаясь вперед.

Железо гроыхало под тяжелыми шагами моряков. Одновременно корабль споткнулся о волну, зацепился носом за невидимое дно и, оседая, тяжело зарылся в песок, и только корма его, подталкиваемая сзади работающим винтом, отчаянно рыскала вправо и влево. Загрохотали цепи, упала в воду сколоченная из досок аппарель. Люди с разбегу прыгали в воду, которая была тут по пояс, и, поднимая оружие, брели к берегу.

Черные ленты боеприпасов перекрещивались на спинах солдат с белыми полосами спасательных поясов. Фланги прикрывала дымовая завеса, но заградительный огонь прорывался сквозь нее, ослепляющими ядрами вгрызаясь в воду, рассыпаясь низко жужжащими осколками.

Лейтенант подтянул ремешок шлема и побежал. Он еще видел, как намного быстрее его плывет вперед высокий, как дом, нос корабля, пропахивая в песке глубокую колею, которую тотчас же заполняла вода, и открываются двойные ворота. Из нутра корабля выползали один за другим «шерманы»^[115], тяжело падали в воду и начинали в ней виться, как зеленые черви. Отбрасывая назад целые груды песка и ила, они цепкими гусеницами молили гравий и упорно ползли на сушу.

Первая цепь уже была не видна. После нее остались только тающие столбы черного дыма от зигзагом расставленных шашек и резкий запах тротила. Впереди вспыхнули зеленые огни, выпущенные из ракетницы. Феирфакс скрестил руки над головой, крикнул и побежал, подгоняя людей.

Однако тут же упал на песок, который брызнул, будто вспоротый прутом. Сбоку они попали в столь неожиданный фланговый автоматный огонь, что лейтенанту показалось невозможным малейшее продвижение. Тут же над головами пронеслись собственные самолеты, паля изо всех видов оружия. Пикирующие бомбардировщики стальными параболами пронзали небо, визжа и завывая на неимоверно высоких нотах, оставляя за

собой вихри песка и бетонного крошева. Но сверху земля, покрытая изогнутыми конусообразными дюнами, казалась безобидной и безлюдной. Только при приближении на расстояние нескольких десятков метров высохшие деревянные сваи показывали свои блестящие железные горловины между ячейками маскировочных сетей. Фланговый огонь оборвался так же неожиданно, как и начался. Не видя никакого противника, лейтенант бежал пригибаясь. Рядом прошмыгивали саперы, сгибаясь под тяжестью огнеметов. Расставили бронебойные орудия. Впереди вновь появились зеленые ракеты, но значительно дальше. Наступление продолжалось.

Когда они шли, увязая во влажном песке, все новые волны танков обгоняли их, оставляя за собой запах отработанного топлива и двойные колеи, выдавленные гусеницами. Как серые гиппопотамы, шли танки, мелькая высоко расположенными ведущими шестернями, и, облепленные пехотой, карабкались на дюны.

Когда Феирфакс обернулся в последний раз, берег, все еще находившийся под обстрелом невидимых пулеметных гнезд, был полон людей. Из доставленных на буксирах машин сбрасывали железные понтоны, подцепляли их к тракторам и затапливали на небольших расстояниях. Сцепленные крюками, они выдвигались далеко в море, образуя помосты, тянущиеся на целые километры. Под ними шипели ацетиленовые горелки и стучали молотки, а сверху гремел марш пехотинцев и тархтели первые колонны транспортных машин.

Эти квадратные, короткие машины становились за стенками из бронированных плит и мешками песка. А море все еще выбрасывало на берег лодки и суда, откидывались прямоугольные борта, катились орудия, противотанковые заграждения, мотоциклы, полевые радиостанции, разведывательные броневики, и весь этот поток вооружения направлялся по уже проложенным дорогам из профилированных стальных плит к соответствующим пунктам. Регулировщики движения встали на перекрестках, как только свист пуль несколько утих. Громкие, близкие взрывы говорили об отличной работе саперов, ползущих к бетонным цилиндрам немцев со связками специальных зарядов. Однако из глубины материка с певучим свистом прилетали снаряды, вздымая рыжие столбы песка.

Феирфакс, запыхавшийся и облепленный мокрым песком, добрался до первого бункера, уже помеченного их опознавательными знаками. Море еще шумело за спиной, но его уже нельзя было разглядеть. Земля вокруг бетонного купола была вытоптана, ступеньки облеплены кровью, везде

валялись раздавленные гильзы, ремни, фляжки, связки длинных гранат... Лейтенант приказал своим людям временно собраться за небольшим обрывом и начал спускаться в бетонный колодец. Нога его неожиданно наступила во что-то мягкое, податливое: это был еще не убраный труп немца.

Пройдя мимо трупа с выпученными глазами, которые, казалось, светились в темноте, он оказался у входа.

В углу врач перевязывал тихо, но сочно ругавшегося матроса. Стол был освещен ручными фонариками, потому что подача тока была прервана. Феирфакс машинально отряхивал песок и гравий с мундира, пока не заметил майора Трейси.

– Вы здесь? Это хорошо, – сказал майор, толстый, розовый и спокойный. Головы офицеров склонились над картой, образуя плотное кольцо.

– Здесь, под Карентаном, засела часть первой американской парашютной дивизии. С двух сторон, – он окружил ее красным полукругом, – их теснит местный гарнизон. С севера им досаждают мобильный танковый полк, а здесь, – он набросал длинную узкую линию, которая соединяла выдвинутую позицию с берегом, – есть перешеек, который мы можем удерживать некоторое время. Оперативные немецкие резервы на марше. До вечера с ними более-менее справится Теддер, но вечером... – Он замолчал, откашлялся, переложил карандаш. – Дорога под многосторонним обстрелом. С моря – со стороны Сен-Маркуфа – и с материка – местные укрепления. В настоящее время мы будем поддерживать главный удар по этой линии, – он начертил голубую стрелу на Изины, – а третья рота морской пехоты поддержит американцев. Это будет мнимое перемещение главного удара. – Он поискал глазами Феирфакса. – Я прошу обращать внимание на оставленные в тылу точки сопротивления. Их надо хорошо размечать для четкого взаимодействия с авиацией. Были уже взаимные жалобы, – добавил он через минуту.

Феирфакс лихорадочно думал: «И значит, Сен-Маркуф не взят». Он знал, что это была ключевая позиция на скалистом прибрежном островке. Судьба парашютных войск, сражающихся без поддержки собственной артиллерии, оставляла желать лучшего.

– Эти шоссе под нашим контролем, пока, – продолжил майор. – Все машины, которые находятся в распоряжении, мы сейчас загрузим людьми. Как только удастся, подбросим подкрепление с материка – впрочем, авиация будет постоянно нас поддерживать. – Он замолчал и схватил трубку зазвонившего телефона.

Лейтенант осмотрелся. Тесный бункер был заполнен мундирами разных родов войск. Наружу выглядывали перископы, но часть их была разбита. Один, уцелевший, показал ему в оптическом круге покатые конусы песка, поросшие редкой травой. С фланга заходил на атаку одинокий «шерман», стреляющий на большое расстояние: дуло его было круто задрано вверх.

Неожиданно он почувствовал, что кто-то трогает его за одежду.

– Я еду с вами!

Он посмотрел, но не смог различить лица. Кто-то отступил от стола, и свет яркой полосой упал на темный мундир: на левом плече – круглый знак «War Correspondent»^[116].

– Возьмете меня с собой, хорошо? Я еще сегодня должен быть под Карентаном.

– Но у вас должно быть свое подразделение, к которому вы прикомандированы, – отказался Феирфакс, думая: «Этого еще не хватало...»

Журналист вцепился в него.

– Это потерянная позиция, я должен там быть.

– Если потерянная, вы и так ничего не протелеграфируете, – злорадно усмехнулся Феирфакс.

Он был зол; ему казалось, что вокруг царит какой-то невероятный хаос.

Все вышли в коридор.

– Три эскадры на «В-135», на «В-136»! – кричал кто-то в телефон.

У входа восстановили стену из мешков. Территория за ними изредка обстреливалась по крутой траектории минами. Поблизости заревели дизельные двигатели и подъехали длинные грузовики, облепленные солдатами. Феирфакс сел в «виллис»^[117] вместе с офицером авиации, который выполнял функции связного. Когда машина двинулась, резко разбрасывая песок, кто-то вскочил в последнюю минуту: это был корреспондент.

Грузовики, следуя за двумя танками сопровождения, миновали полосу необработанной земли и помчались по дороге. Поля ржи чередовались с пышными островками садов. В отдалении ртутью блестела поверхность пруда. По обеим сторонам дороги мелькали сады с яблонями в цвету. Как зеленые пики, торчали из-за слегка наклоненных заборов высокие побеги склонившихся подсолнухов. Промелькнули гряды, засаженные капустой, вертикальный квадрат заросшей плющом стены, далекие пятна красных

крыш. И неожиданно, словно отрезанный ножом, пейзаж изменился: ряд придорожных деревьев лежал вповалку, резина колес вминала в пыль хрустящие ветки, вдоль колонны двигавшихся автомобилей лежала искромсанная и поспешно отброшенная во рвы масса тяжелых немецких грузовиков, бесполезно задирающих колеса вверх, груды посеченного пулями металла. Затем тормоза завизжали, и «виллис» осторожно переехал через наспех сколоченный мостик над огромными воронками с острыми краями. Картечь бомб, черные черепки чугуна, сиявшие белой наготой расколотые пни убегали назад, и снова пошел спокойный пейзаж в разных тонах сочной зелени.

Высокий офицер-летчик, который сидел рядом с шофером, перевесив ноги наружу, резко вертел головой, внимательно осматривая живописный городок: плотное ковровое бомбометание раздробило его в кирпичную пыль, невидимый молот разбил башни храма, и только онемелые полуарки готических контрфорсов упирались в небо, как обломанные клыки.

На каком-то километре колонна попала под обстрел. Тяжелые снаряды взрывались, сообщая о своем приближении плаксиво снижающимся тоном.

К счастью, шоссе вело в ложбину, травянистые стены которой защитили от летящих осколков. Ветер ударил в лицо, потому что водители, сжавшись, сильнее нажали на акселераторы. Машины, одна за другой, резко визжали на вираже и исчезали за поворотом. Когда очередной, очень продолжительный и давящий на уши свист известил о прилете бомбы, корреспондент, сидевший возле лейтенанта, не выдержал:

– Что это за снаряд? Можно ли сориентироваться, откуда он летит?

– Я думаю, что это семидесятка из Сен-Маркуфа. Это почти граница дальности, поэтому так долго воет.

– Как это, семидесятка? Ведь такого калибра нет?

– Конечно, есть. – Летчик, наклонившись назад, злорадно усмехнулся, не поворачивая головы. – Знаете ли вы, где эти снаряды взрываются? От восьмисот до тысячи метров от нас. Каждый весит более двух тонн.

– Но ведь это бомба.

– Нет, это снаряд из орудия, снятого с «линии Мажино». Это был настоящий феномен. – Он поднял указательный палец. Воздух враждебно зашумел, словно перемолотый железными перьями, и град камешков покатился по откосам ложбины. Изгибы крутых склонов отзывались громыхающим эхом.

– Интересно, – продолжил свою мысль журналист, – интересно, есть ли среди этих тысяч снарядов и гранат, которые сосредоточены в окрестностях, частичка свинца, предназначенная для меня?

Эти рассуждения показались лейтенанту смешными.

– Вы выбрали неудачное время для философствования. Верите в судьбу?

– Сами задумайтесь: скажем, в вас попала пуля. Так? Тогда мы можем проследить ее обратный путь до ствола, из которого она была выпущена, до завода, где ее произвели, затем до литейного производства, большой печи, и, наконец, – до залежей на руднике. И вот два осколка материи: человек и обломок стали. Пути их можно обозначить на бумаге в виде независимых линий, вплоть до точки пересечения: дороги жизни с дорогой пули... Это ли не судьба?

Лейтенанта поразила эта логическая конструкция, и он не сразу сообразил, что это только *ex post* построенный парадокс, когда шедшая впереди машина свернула, зарылась колесами в песок и остановилась. Когда мотор заглох, послышалась серия выстрелов.

Танкист в кожаном комбинезоне, с лоснящимся от пота лицом подбежал к ним:

– Дорога закрыта. Немцы.

– А далеко еще до Карентана?

– Еще несколько километров, но второй батальон американцев засел там за леском, – махнул он рукой в направлении к шоссе, – каких-то полторы мили отсюда.

– Будем пробиваться, – вздохнул летчик и соскочил с сиденья.

Здесь местность особенно хорошо подходила для партизанской войны, то есть быстрых атак и быстрых ударов. Ложбина тянулась в обе стороны, и по лугам, покрытым буйными травами, к отдаленным лесам бежали высокие волны. Выбрав направление удара и сравнив компасы с компасами младших командиров, лейтенант повернулся и отдал приказ. Цепь рассыпалась, раз и другой среди придорожных зарослей блеснули каски и пропали во ржи.

Вокруг волновалось море колосьев. Переходя на бег, лейтенант топтал податливые стебли и старался поддерживать постоянную связь со своими.

Затрещали выстрелы. Где-то разорвалась граната, раздался протяжный далекий крик. Феирфакс выпрямился. Темная полоса деревьев была уже близко.

Краем глаза он увидел плоский шлем сержанта, который бежал задыхаясь.

– Где немцы?

– Не знаю... во ржи... мы прорвались, – выдохнул тот.

Сзади подбежали солдаты. В этот момент мощный грохот потряс

воздух. Черный густой дым поднялся к небу высоким столбом.

– Это наши машины! – крикнул кто-то.

Из кустарника вырвался темный «шерман» и помчался по прямой, подсакивая. В этот момент Феирфакс увидел в первый раз немцев – они бежали через поле ржи, прижимая ладони к груди.

– Огонь! – крикнул он и сорвал с плеча автомат.

Защелкали затворы. «Шерман» свернул, замедлил ход и закрыл высокие фигуры. Кто-то ругался, лихорадочно вставляя магазин. Вновь раздался мощный грохот, пласты дерна взлетели на воздух. Танк слегка приподнялся, и из люка брызнул огонь. Плоская корма танка сдвинулась еще раз, а затем ужасный взрыв разнес броню на куски.

Лейтенант, взбешенный, двинулся прямо в направлении «шермана», который не сумел защитить их от атаки. Но когда они, запыхавшиеся, добежали, уже было тихо. От пылающего мотора ужасно било жаром. Сбоку лежал распластавшийся труп в чужом, более светлом мундире, с оторванной рукой. Он еще прижимал к животу круглую мину.

Солдаты собрались возле шоссе. Неожиданная стычка больше удивила их, чем испугала; они внимательно оглядывались вокруг, но немцы куда-то пропали. Феирфакс ждал, пока подъедут уцелевшие машины. Несколько столбов дыма указывали места, где взорвались дорожные мины.

За шеренгой тополей открылась деревня. Два американца вышли навстречу в своих глубоких шлемах. На бедрах у них болтались пистолеты в кобуре, руками они прикрывали глаза от света. Солдаты спрыгнули на землю, и Феирфакс двинулся к парашютистам.

Те уже были осведомлены об их прибытии. Трусцой направляясь к дому, в котором размещался штаб батальона, лейтенант одновременно оглядывался вокруг: деревня была пуста. Где-то, не очень далеко, монотонно стрекотал пулемет, отдельные выстрелы разрывали тишину, но в коротких интервалах между ними звучала спокойная музыка пчел, поднимающихся золотыми искрами под тенистыми стенами. За группой более крупных строений лежал огромный серый цилиндр планера. Одно его крыло поднималось высоко над фруктовыми деревьями, усыпанными розовыми цветами. У входа в желтый домик стоял пост. Феирфакс по плоским известковым плитам вошел в прохладное помещение.

Оно было покинуто в спешке. На это указывала в беспорядке разбросанная мебель, рассыпанные в углу черепки посуды и явные следы грабежа. Капитан с узким темным лицом повернулся к нему.

– Вы привезли бронебойные снаряды? – спросил он бесцеремонно.

За его головой светилося маленькое многостекольное окошко. По

улице шли солдаты.

– Мы попали под огонь за деревней. Сгорели три грузовика и сопровождающий танк... – начал лейтенант и почувствовал, как густой румянец заливает его лицо.

– Сгорели, так, – сказал деловито капитан. – Ориентируетесь ли вы в ситуации? – Только теперь он подал ему руку. – Прошу садиться. – Капитан развернул рулон карты. – С трех сторон нас здорово теснят, но это только заградительные посты. У меня люди в оврагах, сброшены кто как, и мы расположены на пространстве больше того, которым можем овладеть. Ни мы, ни они еще не имеют более тяжелого оружия, но это вопрос времени. Радиостанции у вас, наверное, есть, – наклонился он.

– Да, две переносные...

– Это хорошо, потому что наши разбиты. – Он потер рукой подбородок. – Ну что ж, надо здесь располагаться надолго. Остаток дивизии блуждает где-то в лесах; не нужно было сбрасывать людей по отдельности, – ворчал он себе под нос.

Подбежал американец с донесением. Капитан прочитал, кашлянул и посмотрел через окошко на небо. В нем еще гудели самолеты, но это был уже не ровный звук идущих в одну сторону транспортников, а свист легких бомбардировщиков.

– Вы расквартировали солдат?

– Да, в нескольких пустых домах. Не хотите ли...

Вопрос руководства был еще не ясен, но капитан махнул рукой.

– Ничего из этого не получится. Тут надо защищаться, насколько я знаю. Ваши люди помогут провести несколько фиктивных ударов.

Без стука вбежал журналист, о котором лейтенант уже успел забыть.

– Господин капитан, Гордон из «Морнинг пост», – представился он. – Я слышал, что здесь есть немецкие военнопленные; могу ли я их увидеть?

Капитан слегка поморщился.

– Ну, не до вас, – наконец-то ответил он.

Снова вбежал солдат.

– Капитан, какое-то движение со стороны шоссе. Довольно много машин.

Все вышли. Корреспондент закурил сигарету и угостил лейтенанта.

– Ну хорошо... – начал он, но в этот момент одновременно с нескольких сторон над ними раздался свист снарядов, по стенам застучали осколки.

– Начинается. – Лейтенант надел шлем и прыгнул к двери.

У корреспондента загорелись глаза.

– Гаубицы! – закричал высокий худой американец, перегибаясь через забор.

Лейтенант вывел своих людей из сада перед домом. Мимо них прошли три парашютиста, которые катили маленькое бронебойное орудие. Уже через минуту раздался его голос, как выстрел пробки из бутылки. Ведущий крикнул: «Ложись!» Снаряд срезал сверху ветку и осыпал головы листьями. От травы шел наполненный освежающей влажностью запах. В прозрачной от солнца зелени, в дуновениях мягкого ветра таился странный покой. Грохнули выстрелы.

– Примкнуть штыки! – заорал тут же кто-то рядом. – Немцы в деревне, примкнуть штыки! – Лейтенант поднялся и прыгнул вперед.

Из-за углов стреляли солдаты, пригнувшиеся к земле. На середине дороги они попали под перекрестный огонь автоматов. Неожиданной вылазкой отбросили немецкую цепь. Подбитый противотанковым гранатометом, легкий разведывательный танк поджег собственным огнем ближайший дом. Большие хлопья сажи кружились в воздухе.

– А, вы здесь... – Темнолицый капитан был на месте, устанавливая орудие. – Так это происходит целый день, – вздохнул он. – Постоянно попадаем на немцев или на своих, уже были случаи. – И он повернулся в сторону штаба.

Через широко раскрытые окна были видны установленные радиостанции. Капрал с оливковыми глазами оперировал плоскогубцами возле проводов. Медные спирали расплзлись по полу. В саду часовой ковырял в носу, а вспотевший корреспондент заряжал в «лейку»^[118] новую пленку.

– Отлично вышло с тем танком, – обратился он к лейтенанту. Лицо его сияло.

Ночью началось концентрическое наступление. Красные и зеленые ракеты постоянно висели над зарослями, освещая черные ветки. В одиннадцать капитан стал вызывать штаб. Бронебойные снаряды закончились, а наступление немцев усиливалось. В свете карбидной лампы врач оперировал постоянно прибывающих раненых. Феирфакс с перевязанной головой (его поранил обломок стены) как раз вернулся с вылазки, во время которой вытеснили неприятельскую пехоту из двух домов.

– Дивизия СС «Гитлерюгенд», – сказал сержант Хеджин, сидевший над картой, и вздохнул громко. – Ну что там?

Телеграфист отдал исписанный карандашом блокнот.

– Подкреплений не будет.

Близко разорвалась граната. Грохот еще дрожал в ушах, капитан стряхнул с рубашки известковую пыль.

– Вы отдаете себе отчет в ситуации? – спросил он. Взял лейтенанта под руку и подвел к окну. – Скоро все закончится. Не могут нам подбросить даже боеприпасов. Немцы не берут пленных.

– Операция развивается успешно, – ответил Феирфакс, несколько удивленный. – Захвачена полоса побережья длиной несколько десятков километров, потерь в тоннаже почти никаких.

– Да, – нетерпеливо оборвал его капитан, – но нам, нам конец. Мы на сто километров удалены от направления главного удара.

– Я не знаю, должен ли слушать то, что вы говорите, – покраснел лейтенант.

– Мы могли бы прорваться... на север, – сказал капитан как бы самому себе, опуская руки.

– Согласно последнему приказу, мы должны атаковать, – глухо ответил Феирфакс и, чувствуя, что дольше говорить не в состоянии, выбежал в сад.

Ночь, проколота яркими огнями, была душной. Листва тихо шелестела, трава была мокрая. Лейтенант уперся лбом в сухую кору дерева и, ослабевший, задрожал. Осветительная ракета закончила свой высокий полет, как заблудившееся солнце, опустив на крыши свой дымный хвост.

– Вы видели когда-нибудь групповые упражнения гимнастов? – спросил рядом низкий, выразительный голос. – С трибун видны белые звезды, знаки и буквы на траве, сложенные из сотен разбросанных тел. Сами они не могут их увидеть...

– Кто здесь? Что вы говорите?

– Я разговаривал с немецкими военнопленными, – прозвучал тот же голос. – Стройные длинноволосые мальчики... Говорят то же самое, что и мы: о победе. Но они не побеждают.

– Почему? – Этот вопрос вырвался у лейтенанта машинально.

– Не знаю. Но это было бы против природы, против того, кто смотрит свысока на эти наши групповые упражнения...

– Ах, это вы. – Лейтенант пришел в себя, узнавая в собеседнике корреспондента. – Душевное утешение тоже относится к вашим обязанностям? – спросил он, злой, потому что странные слова зацепили его.

– Много тысяч молодых людей пошли на войну с мыслью, что совершат героические поступки и вернутся... – невозмутимо говорил журналист. – Иногда ведь, особенно в такую минуту, может пригодиться...

Из штаба как ошпаренный выбежал сержант Хеджин.

– Прорвались! – крикнул он.

Одновременно послышался топот бегущих по дороге.

– Давай бронебойные! – раздалось из темноты.

– Кончились.

Из-за низких ветвей полыхнула красным пламенем ракетница. Совсем близко кипел пулемет, пожирая ленты, пока не осекся и не замолчал. В пурпурном блеске из-за сарая вылезла шероховатая, словно обмазанная илом броня «пантеры»^[119]. Башенное орудие ударило в находившихся в саду людей. В воздух взлетели обломки балок.

От стены штаба отделилась одинокая тень и двинулась к калитке у забора. Огонь и мрак переплелись между собой. Перед глазами двойной лентой возникли стальные челюсти гусениц. Тень бросилась вперед и согнулась, перерезанная очередью. Она лежала на белеющем песке, как на дне, плоская и черная. Руки конвульсивно сжались так, как будто не были связаны с уже онемевшим телом. Танк дернулся, встав на дыбы, и остановился в полупрыжке, разорванный мощным взрывом.

Лейтенант приподнялся над землей. Капрал наклонился к нему, лицо его было черным от крови.

– Капитан, – всхлипывал он, – капитан... телеграфисты... и все...

Вместо окна в стене чернело огромное пятно, как пустая глазница.

Корреспондент прижимал ко лбу платок. Глаза его странно блеснули.

– Вы знаете, кто это был? Это один из санитаров, поляк... Он получил ранение, прежде чем бросил мину, мог уже умереть... Но успел еще снять предохранитель.

Система обороны состояла из отдельных точек сопротивления. Телефонный провод во многих местах был оборван, связь почти прервалась. Лейтенант сидел возле телефониста, который забрался с аппаратом в противовоздушную щель.

– Лейтенант, передают: танки! – кричал он, изо всех сил прижимая трубку к уху. – Танки с севера.

– С севера? Какие танки? Чьи?

– Не видно.

Опять гроыхнул взрыв, и все рухнули в траву. Когда пыль осела, санитары начали вытаскивать из разбитого дома нескольких уцелевших раненых. Врач в своем халате маячил в углу как белое пятно.

Над деревьями вспыхнули снопы света. Показались последние носилки.

– Что толку таскать, – бурчал толстый санитар, – он сейчас кончится.

– Неси, а то в лоб получишь! – рявкнул Феирфакс.

Носилки поплыли дальше.

– Лейтенант, передают: много танков на подходе с севера, – кричал телефонист.

– А чьи? – Феирфакс невольно оглянулся на корреспондента, но не увидел его.

– Пока не видно.

Перевод Язневича В.И.

«Фау» над Лондоном

До мая 1944 года я работал в Отделе изобретений и усовершенствований при военном министерстве. Непосвященным эта моя работа могла бы показаться необычайно увлекательной и интересной: на наш адрес приходили тысячи писем из всей Англии и из самых отдаленных колоний, а отправители были уверены, что их изобретательность в наивысшей степени поспособствует победе короны. В действительности все было чертовски однообразно, и если бы не то, что материалы были полны анекдотических идей, я бы в своем бюро умер от тоски. А так, просматривая груды почтовой бумаги всех форматов и цветов, где не слишком умелые руки начертили эскизы диковинного оружия, я порой едва мог удержаться от смеха.

Вот какой-то фермер советовал использовать «консервные ножи» гигантских размеров для вспарывания танков. Адвокат из Австралии предлагал покрыть сверху танки «пружинной броней». Кое-кто требовал, чтобы наши агенты в Германии устранили всех самых важных гитлеровцев, «и будет тогда конец войне». Некоторые идеи так крепко застревают в головах, измученных пятилетней войной, что в конце концов попадают на страницы прессы. Так всплыл проект бросить в кратер Везувия достаточно большую бомбу, «чтобы вызванное этим землетрясение вынудило немцев уйти». Хуже было дело, когда изобретательством занимались высокопоставленные лица. Плоды их находчивости доходили до нас другим путем, сверху, и тогда весь интеллектуальный потенциал бюро был направлен на настойчивые и снисходительные уговоры, которые не всегда были простыми. Так, например, один из членов парламента решил, что лучшим средством передвижения для переправки армии с целью вторжения на континент станут гигантские блоки льда, выдолбленные изнутри. Специальные корабли должны будут на буксире доставить этих троянских коней к побережью. Начали даже предприниматься масштабные попытки осуществления этого проекта. Боюсь, что, если бы не энергичное вмешательство одного из членов штаба, наделенного не только званием, но и рассудком, в этой истории «замороженной армии» потонула бы солидная сумма в фунтах стерлингов.

Думаю, что я оставил после себя хорошую память, когда меня перевели в Специальный отдел, входивший в структуру военного министерства. Ему он, однако, непосредственно не подчинялся: в нем

занимались изучением секретного оружия, которым хвастались немцы.

Мне очень хотелось работать в этом отделе, поэтому я решил устроиться так, чтобы продержаться в нем до конца войны. Я сделал это с большой охотой, ибо прежняя работа часто становилась абсурдной, так как все наши организации работают по закону наибольшей доброжелательности: надо было отвечать на самые глупые письма. Очень многие присылали методики, которые должны были развить у нас силу ясновидения для предсказания, например, срока конца войны или вторжения. Много было также вопросов о «страшном оружии гуннов», потому что подобные новости просачивались в газеты под давлением нейтральной прессы, надлежащим образом обрабатываемой гитлеровскими посольствами.

Первые дни прошли у меня в неустанном просмотре пачек документов, с содержанием которых я должен был вкратце ознакомиться.

Мои предшественники не пренебрегали ничем, чтобы в девятикомнатном архиве собрать все факты, информацию, слухи и сказки о самых фантастических орудиях уничтожения, этом «Vergeltungswaffe»^[120] немцев. Если хотя бы одна десятая часть этой информации была правдива, Англия, несомненно, лежала бы в руинах и пепле. Мой шеф, которому доставляли все без исключения приходящие сообщения, считал, что нет такой чепухи, которая не могла бы фатальным образом осуществиться. На стене его комнаты были выписаны слова о танках, сказанные Людендорфом в немецком Генеральном штабе в 1917 году. Этот немецкий стратег совершил ужасную ошибку, называя гусеничные машины пугалом, не имеющим никакой ценности. Поэтому майор Клайвер просматривал все сам, отмечая разноцветными карандашами заметки, которыми я должен был заняться.

Главным направлением моей работы были немецкие ракетные снаряды. Мы знали о них с середины сорок третьего года благодаря одновременным сообщениям агентов из Германии и оккупированных стран. Несколько сот человек на территории северной Франции, Бельгии и Голландии были заняты исключительно выявлением мест, где строили наполовину подземные установки для запуска этих ракет. Соответствующие данные мы представляли в штаб, и волна за волной летели четырехмоторные самолеты, чтобы уничтожать эти катапульты из железобетона и стали, отлично замаскированные под искусственные домики с развитой системой связи. Подпольные организации из Польши донесли нам об испытаниях, проводимых с этим оружием в Прикарпатье. К сожалению, деталей все еще было слишком мало. У нас имелся целый ряд

проектов, каждый из которых стоил огромных денег и был «именно тем единственным» вариантом ракеты, предназначенной для бомбардировки островов. Шестого июня 1944 года в бюро прошло совещание, на котором шеф потребовал более интенсивной работы в связи с вторжением, потому что следовало ожидать, что именно теперь Германия откроет спрятанные до сих пор козыри.

Я принадлежал к тем людям, которых в ночь с шестнадцатого на семнадцатое июня по меньшей мере не удивил гул, доходивший с небольшой высоты и закончившийся мощным взрывом. Я вышел в парк, расположенный перед виллой, и вскоре увидел огненные линии следов полета ракет. Они шли довольно густо, и звук ракет иногда абсолютно заглушался залпами зенитной артиллерии, которая уже на значительном расстоянии начинала вести заградительный огонь неслыханной силы и плотности. Особенно неприятны были авиационные ракеты, поднимающие свои «елочные огоньки» под самые тучи, потому что осколки их снарядов не забывали о законе притяжения и возвращались на землю, засыпая ее дождем из раскаленной стали. Однако когда ракеты миновали огневой вал, наступала относительная тишина, и тогда можно было услышать характерный шум моторов, похожий на звонкий скрежет якорной цепи в клюзе.

Насмотревшись досыта, я вернулся в дом. В комнате непрерывно звонил телефон: меня вызывали в министерство.

Когда я ехал через затемненный город под монотонный грохот зенитных орудий, нарастающий, как мощная барабанная дробь, остро чувствовалась детонация. Едва я переехал мост через Темзу, как летящая бомба, подобная красной комете, перечеркнула небо над улицей, волоча за собой хвост разрывов. Наступила неожиданная тишина, а времени у меня было только на то, чтобы прибавить газу, когда раздался грохот. Штукатурка, кирпич и черепица посыпались на мостовую, со всех сторон дождем посыпались стеклянные осколки, а «форд», подталкиваемый невидимой рукой, заехал на тротуар. В министерстве царило необычайное оживление. Столы были отодвинуты к стене, и под звонки телефонов и звуки далеких разрывов проходило совещание поднятых из постелей специалистов. Его темой была организация немедленной обороны Лондона. Мой шеф открыл заседание двумя конструктивными предложениями государственной важности, после чего перешел к главной проблеме. Поскольку еще не было известно, каким вариантом своей идеи одарили нас немцы, я вскоре оказался в составе оперативной группы, которая должна была поехать и на месте взрыва изучить останки ракеты.

Весь город был на ногах. На улицах пронзительно завывали сирены пожарных машин, вдоль стен бежали члены добровольной противоракетной команды, на поворотах сияли голубые огни санитарных машин. На западном, обложенном тяжелыми тучами небе разливались светлые пятна; над Темзой вставало зарево.

Наш автомобиль был оснащен сиреной неслыханной мощности. Это нам очень пригодилось, потому что многие люди в эту ночь пытались в темноте покинуть Лондон.

В машине была радиостанция, и уже в пути нас направили точно на место одного из первых взрывов. Это был большой частный парк. Посреди поваленных на землю деревьев ракета вырыла соответствующую полутонной бомбе воронку, из которой поднималось бледно-лиловое пламя. При свете карбидных прожекторов тут уже работали команды специальной технической части. Воздух был насыщен вонью сожженного пластика и сивушного масла.

– Это скорее всего реактивный мотор, работающий на метиловом спирте, то есть В-16, – сказал один из инженеров.

В свете ацетилена лицо его было белым, как застывший парафин. В это же время волнами приближались новые ракеты, и хотя все утверждали, что снаряд два раза в одно и то же место упасть не может, невольно мы вспомнили о бетонных убежищах министерства и, погрузив остатки ракеты, двинулись в обратный путь.

На другой день утром произошло одно важнейшее событие, которое научило меня (только на пятом году войны!) тому, что называется «основами перспективного и исторического мышления». Я допускаю, что причиной его была только суматоха, охватившая умы, удерживаемые до сих пор в стальных рамках дисциплины. Начав просматривать нагроможденные на столе бумаги, я заметил большой зеленый конверт. Я знал этот цвет и формат: это был какой-то новый «образец», принесенный посыльным из отдела шифров. Такие посылки обычно получал мой шеф, но я подумал, что, собственно говоря, это только формальность и я могу его здорово выручить, тем более что этой ночью он наверняка не сомкнул глаз.

Впрочем, и у меня страшно болела голова, однако же, прочитав три первых предложения рапорта, я забыл обо всех недомоганиях. Это была уже расшифрованная копия нескольких секретных донесений, один маленький чертеж, а также четыре колонки цифр. Однако этого вполне хватило, чтобы у меня перехватило дыхание. Речь шла ни больше ни меньше о немецких разработках атомного оружия. Наш агент докладывал, что в настоящее время под Мюнхеном на своих подземных заводах немцы

строят спектрограф необычайной чувствительности и величины, а тяжелую воду, которая является незаменимым источником нейтронов, поставляет Испания. Из Вильяканаса были отправлены две цистерны такой воды.

Собственно говоря, подготовка уже закончена, и сейчас Германия переходит к технологии массового производства взрывчатого вещества. Им является уран 235. Схватив бумаги и конверт, я побежал к шефу. Сперва он выразил мне свое недовольство: «По какому праву вы открыли конверт?» – но, ознакомившись с записками, замолчал.

Когда шеф поднял голову, я увидел, что за одну минуту он постарел. Может быть, причиной этому стала последняя ночь. Впрочем, небо Лондона постоянно раздирали голоса сирен, и вслед за ними раздавался грохот разрывов снарядов «Фау-1»^[121] – этого было достаточно для того, чтобы лицо майора осунулось и заострилось.

– Значит, так, – произнес он медленно, барабанив пальцами по столу, я заметил, что перед этим он читал последнее донесение из Нормандии.

Долгое время мы молчали, наконец майор сказал:

– У меня есть для вас работа. Вы назначены в помощь летным частям, которые будут уничтожать летающие бомбы. Как эксперт в этой области, вы предоставите там всю необходимую информацию при инструктаже пилотов, а затем уже будете работать на месте. Мы будем поддерживать с вами постоянный контакт.

– Как это, господин майор? – В мыслях я уже был за сто миль от этих бомб. – Я думал... в связи с этой историей... – показал я на принесенные бумаги.

– Ничего страшного. – Он качнул головой. – Это пойдет своим путем, этим займутся наши физики. – В его голосе я почувствовал горечь.

– А может, лучше, если... – попытался я, чувствуя, что не прав.

Он посмотрел мне в глаза:

– Долг каждого из нас делать то, что он обязан делать. Наибольшую пользу вы принесете на своем новом посту. Вы хорошо знаете технические данные «Фау-1», вы также знаете все, что мы вообще можем знать о «Фау-2», и они могут появиться в любую минуту. Все предельно ясно.

Он снова посмотрел на бумаги.

– У нас всегда было много отлично говорящих политиков... Это также источник нашего преимущества, – добавил он вполголоса.

Первый раз у него вырвалось такое замечание в моем присутствии. Я молча ждал продолжения.

Майор выпрямился, снял трубку и, назвав номер внутреннего телефона, обратился ко мне:

– Пойдете к Болтону, он сообщит вам остальное.
– Господин майор, – осмелился я, – пусть мне будет позволено... знаю, что выхожу за рамки служебных предписаний... но момент исключительный...

Он отложил трубку.

– Простите, я буду говорить сумбурно. В этот момент идет гонка не на жизнь, а на смерть. Могли бы вы в нескольких словах сообщить мне, какие результаты будут получены после экспертизы наших физиков и каковы их окончательные выводы в этом деле? Когда наступит момент...

– Я понимаю вас, – отрезал он. – Хорошо. Это я могу вам обещать. Можете идти.

Обычно я способен на сильную концентрацию внимания и стараюсь все держать под контролем. Однако же с момента выхода из кабинета шефа события начали сменяться вокруг меня словно картинки в калейдоскопе, а главная мысль, донимавшая меня зубная боль, не давала покоя. Болтон – очень веселый парень и отличный товарищ в развлечениях, причем задор не покидает его и на службе. На большой карте южной Англии он показал мне радиус действия ракет и концентрически раскрашенные зоны: голубую, зеленую и красную.

– Район Канала патрулируют истребители из группы оперативных резервов и запасных соединений командования. Следующая зона – артиллерия побережья. Затем, этот красный сектор, это опять район действия истребителей, и, наконец, здесь стоят – вот эта черная сетка – заградительные аэростаты Большого Лондона. – Болтон не мог долго держаться в тоне официального доклада. – Это настоящий фимиам для покойника, эти аэростаты, а стоят страшно дорого. И масса людей при них пропадает зря. Итак, коллега, в четыре вы получите отчет об этих doodle-bugs^[122]. Будут присутствовать командиры всех истребительных и патрулирующих частей, а также наблюдатели из штаба радио и радарного перехвата. Затем вы поедете на аэродром и будете там присутствовать на испытаниях по уничтожению немецких бомб при помощи вертолетов. Это американская идея. Естественно, если кто-то сидит за рвом шириной шесть тысяч километров, заполненным вдобавок водой, он может себе позволить столь остроумные идеи.

Он заглянул в свои бумаги.

– Знаете, что этой ночью наши противовоздушные батареи использовали более трехсот пятидесяти стволов? Третья часть самоходного транспорта до Дувра была остановлена. Если бы не наш трубопровод... Но об этом молчок, – приложил он палец к губам.

Болтон не был болтуном, хотя походил на такового. Однако он никогда не говорил ничего более того, что можно было сказать. Проект трубопровода, о котором знали только три человека в нашем бюро, был особенно важным. Чтобы уменьшить нагрузку на преследуемый с воздуха и с воды следующий через Канал транспорт, наши саперы и технические войска в необычайном темпе соорудили подводный трубопровод на нормандский плацдарм. Днем и ночью качали по нему жидкое топливо для танков и самолетов.

– Скажу вам еще, что есть новая концепция обороны: кто-то из палаты лордов пожелал возвести очень высокие стальные мачты – очень высокие, следите? – и зарядить их электричеством. Такие мачты должны стоять вокруг всего Лондона. Когда какой-нибудь doodle-bug к ним приблизится, он упадет на месте, пораженный молнией. Здорово, да?

– Что за чепуха, – вырвалось у меня.

– Ну-ну, очень прошу, только без насмешек, я сообщаю тут военные тайны высокопоставленных лиц, – рассмеялся Болтон. – Впрочем, есть несколько других лиц, которые придумали намного более интересные истории.

– Я знаю все это наизусть по моей работе в Отделе изобретений. Никто до сих пор не потребовал прислать ковбоев, которые при помощи лассо могли бы стягивать бомбы на землю?

– Ей-богу, цирк. – Болтон смеялся как сумасшедший. – Инспекции, заседания, объезды, совещания – масса хлопот; у кого был собственный автомобиль, того уже давно нет в столице. Естественно, подземная дорога дешевле, но далеко по ней не уедешь. Ну столько всего.

– Говорите, коллега, что это комедия? – оборвал я его на полуслове. – Скорее трагикомедия, какая-то шутовская история, как это называется – буфф? Знаете?

– Только что прислали два новых проекта обороны, я еще не закончил, ибо было семь случаев потери истребителей из-за нашей артиллерии, когда те охотились на «Фау». Как ребята распалятся, то не придерживаются границ своего участка. Пока!

После доклада мы поехали на аэродром. Еще по пути я выразил свое пессимистическое мнение об уничтожении «Фау-1» при помощи вертолетов, несмотря на это, должен был присутствовать при испытаниях.

– Будет отлично, – убеждал американский корреспондент в форме летчика, который сидел за мной в машине. – Херст за все платит – главное, чтобы было хоть немного хороших снимков. О, посмотрите, там, за зданием, это наш вертолет.

Это была тяжелая машина без крыльев, с яйцевидной кабиной, сверху снабженной раскидистым трехлопастным винтом.

– Выглядит как задница в кустах, – отозвался вполголоса один из сопровождавших нас английских пилотов. – Жаль время терять.

Запустился двигатель, винт растворился в сияющем круге, и машина поднялась в воздух будто на невидимом подъемнике.

– Какова его максимальная скорость? – спросил я стоящего рядом капитана авиации.

– Сто восемьдесят километров в час.

– Не понимаю, зачем мы здесь находимся! Ведь это ерунда. Это все равно что установить на нем зенитные орудия.

– Хорош вам болтать, – возразил американский корреспондент. – В любом случае получится отличный фильм, который будет показан во всех киноприложениях.

Это был веснушчатый блондин, постоянно жующий жвачку. Все лицо у него при этом кривилось, как выжимаемая тряпка, а пухлый нос ходил во все стороны.

– Зачем вам нужен был чиновник министерства? – спросил я его дерзко, так как Болтон сказал, что своим присутствием я обязан вмешательству пресс-атташе американского посольства.

– Летит, летит! – закричали сразу несколько человек.

Солнце висело достаточно низко, окрашивая горизонт в контрастные насыщенные цвета. Еще выше плыли яркие облака, похожие на воздушные кусты. Из-за двух таких подсвеченных солнцем кучевых облаков выпала черная ракета. Она мчалась к нам с большой скоростью. На хвосте заостренной сигары рядом с коротенькими крылышками параллельно к корпусу была прикреплена труба, из которой било короткое бледное пламя горящего спирта. Тупой нос снаряда мягко направлялся то вниз, то вверх, контролируемый движениями гироскопов.

Откуда-то из-за ангара (это был сарай из гофрированной жести) пару раз бухнуло четырехствольное орудие и сразу же замолкло, ибо с большой высоты приближался «мустанг»^[123]. Страшно воя, он сделал «бочку» и сразу же направился к снаряду, обгоняя его благодаря преимуществу в скорости. Истребитель и снаряд приближались друг к другу, так что можно было мысленно определить точку их неминуемого столкновения. Но за какие-то восемьдесят ярдов «мустанг» открыл огонь из всех стволов (причем я четко услышал отголосок странного рикошета на крыше) и, проходя опасно низко, накрыл нас большой черной тенью. Все упали на землю. Когда самолет поворачивал, набирая скорость, ракета неожиданно

изменила плавную прямую полета, становясь почти вертикально, и вошла в невероятную «мертвую петлю». Сначала все смотрели с широко открытыми глазами, словно произошло чудо, но первым в себя пришел капитан-пилот.

– Он попал в гироскопы, – крикнул он, – теперь прячьтесь, потому что может быть беда!

Поле было такое гладкое и ровное, как газон для игры в крикет. Мы разбежались в стороны, а снаряд, постоянно издавая железное глухое грохотание, взлетал и падал, неожиданно переваливаясь на крыло, – этот безобразный робот был отлично стабилизирован. Лежа в мелком рву, я краем глаза видел, как «мустанг» два раза подходил на опасно малое расстояние и начинал бить из пушек, но снаряд кувыркнулся как акробат, и самолет был вынужден отойти. Наконец острый клюв ракеты блеснул на солнце, и она врезалась в землю. Я вжался в траву – над головой завыл воздух, я почувствовал пару упругих ударов: это падали куски земли. Затем бешеный огонь утих и можно было встать. С высоты величаво спускался наш вертолет. Перемалывая солнце в золотой песок в дисках винта, он спускался как на канате. Я посмотрел на аэродром. Из большой воронки бил огонь, стены ангара получили большие серебристые пробоины; взрывной волной вырвало двери.

Корреспондент сиял.

– Вот это будет фильм, – сказал он. – Видите, – добавил он, – чиновник министерства был необходим: как же можно без них обойтись на похоронах первого класса? – припомнил он мне мой предыдущий вопрос.

– Война помогла вам только в оттачивании каламбуров? – спросил я.

– Нет, это лишь частная точка зрения. Наша военная машина слишком ускорила, и нам грозит победа. Посмотрите, как русские разогнались. А ведь у производителей стали должно быть еще немного золотого времени. Как это хорошо, что у немцев на складе есть разные такие сюрпризы, не так ли?

– Нам грозит победа, правда? – сказал я. – Вы очень быстры в умозаключениях.

– Это только частным образом, – сказал он, – а на службе или когда пишу статью, я сама благонадежность.

Я не слушал его, потому что вертолет приземлялся. Одновременно со стороны ангара донесся треск мотоциклетного мотора: между стартовыми полосами на зеленой машине ехал Хоук. Это был наш младший чиновник из бюро.

– Привет, Хоук, – крикнул я, а он, увидев меня, помахал рукой и

подкатил на своем самоваре.

– У меня для вас письмо от майора Клайвера, – подал он мне коричневый конверт.

Я почувствовал, что на лбу у меня выступает пот. Боже мой, уже! Не в силах вымолвить ни слова, я только кивнул ему и, отступив за стену, в тень барака, разорвал бумагу.

«Ученые подтвердили, что информация не совсем верная. Немецкий метод, основанный на «графитовых стержнях», позволит производить минимальное количество необходимого известного материала не раньше чем через два года. К этому времени мы будем впереди. Не падайте духом».

Я порвал белый листок на мелкие кусочки.

Приблизился корреспондент. Его карие глазки пылали огнем профессионального интереса.

– Что скажете, сэр? – начал он уже издалека мягким голосом. За его головой заходило солнце, очень горячее и красное.

– Что мы выиграем эту войну, – ответил я.

– Только это? Однако, может, хоть пару слов?

– Это самая свежая новость, – ответил я. – Пять минут назад она еще не была столь достоверной.

Он пожал плечами, как бы говоря: «Ох уж эти англичане», – и отошел.

– Эй, корреспондент, – позвал я, – имеете ли вы намерение напечатать наш прежний разговор о войне?

Он криво усмехнулся, перекидывая жвачку из одного угла рта в другой.

– За это мне Херст не заплатит, – ответил он и двинулся вперед широким шагом.

Я чувствовал, что огромное напряжение понемногу уходит.

Значит, и в этот раз повезло старушке Англии.

Перевод Язневича В.И.

Чужой

Во второй половине июня все чаще стали говорить о планируемой эвакуации детей из столицы, днем и ночью сотрясаемой взрывами немецких ракет. Убедившись у директора колледжа в правдивости слухов, мистер Джуллинс, учитель физики и природоведения в старших классах, решил организовать экскурсию на аэродром в Кройдон, чтобы хоть издали, если не удастся получить соответствующих пропусков, показать мальчикам, как воздушные силы империи стальными стаями взлетают в небо и берут курс на юг.

Воскресный день двадцать девятого июня был прекрасным и не слишком жарким. Когда двухэтажный пригородный автобус остановился в Кингстоне, его заполнила группа мальчиков в рубашках цвета хаки, навьюченных рюкзаками, фляжками и одеялами. Через неполных полчаса экскурсия оказалась в Сурбитоне, где предприимчивый мистер Джуллинс решил сократить дорогу с помощью марша по пересеченной местности.

Ландшафт был слегка холмистый. Тропинка, по которой шагала все больше растягивающаяся колонна, поднималась на широко раскинутые пригорки, пересекала серебристые капустные поля, исчезала между двумя волнами наливающейся ржи, выплывала на опрысканные белым цветом картофельные поля и вновь впадала в черно-зеленые туннели кустов. Небо было холодным и безоблачным, только по краям горизонта поднимались двойные ряды заградительных аэростатов, издали похожие на размытые бусинки, они тянулись до самого Саттона, где стояли противовоздушные батареи, и увеличивались до размеров раздутой рыбы. Скуку четырехкилометрового марша изредка нарушали далекие сигналы сирен, во время которых мальчики начинали оживленно вертеть головами и внимательно следить за небом в юго-западном направлении. Действительно, два раза в течение часа они слышали далекие частые взрывы, а затем металлический лязг, извещающий о прилете ракетного снаряда. Вторым снаряд можно было заметить в виде стальной черточки, разрезающей воздух с невероятной скоростью, которая показывалась из-за линии холмов и исчезала в черном облаке шрапнели, чтобы через минуту возникнуть из дыма и исчезнуть в окрестностях Уимблдона, откуда вскоре с ветром донеслись глухие стоны взрыва.

Намечая дорогу через поля, мистер Джуллинс преследовал скрытую цель, а именно: он хотел зайти в Мидуэй-Хаус, удаленный на два

километра, и забрать с собой Джима, который не прибыл на утренний сбор. Местность по мере продвижения вперед становилась все более ровной, однако группы деревьев вырастали на глазах, пока не превратились в фантастически подстриженные фигуры. Тропинка вывела к асфальту автострады, плоской петлей охватывавшей большой парк со старыми лиственницами, высоко вознесшимися над стеной больших камней. Мистер Джуллинс долгое время испытывал желание закурить сигарету, но правила запрещали делать это в присутствии мальчиков. С другой стороны, он не мог отправиться сам за отсутствующим воспитанником, поэтому через несколько секунд размышлений делегировал Бена Стирлинга, который, наделенный полномочиями пригласить Джима на экскурсию, вошел в полуоткрытую калитку железных ворот и исчез в тени широкой аллеи. Учителю казалось, что таким образом он поднимет собственный авторитет и приобретет уважение одного из богатейших землевладельцев в округе.

Бен двинулся по протоптанной в траве тропинке, стегая прутиком сильно разросшиеся кусты, продрался знакомым ему коротким путем сквозь посаженную вдоль дороги живую изгородь, сильно при этом оцарапавшись, и оценивающим взглядом окинул большие клумбы перед дворцом, представляющие собой живописное, но очень хаотичное сплетение цветочных пятен. Немногочисленная после мобилизации прислуга была не в состоянии тщательно ухаживать за садом. Дом, заросший гирляндами плюща, вырастал из обступивших его старых деревьев тремя красными башенками, слегка похожими на рожки шутовского колпака, и только на подходе к подъезду заблестели большие окна. Вокруг было ни души, поэтому Бен, оглядевшись, двинулся в сторону входа для прислуги. Возле маленького крылечка, на деревянные поручни которого усердно карабкались двугубые цветки фасоли, извиваясь во все стороны беловатыми усами, сидел в плетеном кресле старый Тройл. Опершись о стену, он в ритме дыхания пропалывал рукой с заскорузлыми пальцами траву, светя в глаза подходившему Бену верхушкой розовой лысины. Бен несколько раз кашлянул, но в конце концов потянул старика за полосатую рубашку, что вызвало сильное чихание, и покрытые морщинками, темные, как шелуха маковок, веки поднялись вверх.

– А, молодой человек. – Тройл пошарил ладонью в траве и выловил из нее сильно почерневший чубук трубки.

– Здравствуйте, мистер, могу ли я увидеть Джима? – Для придания собственным словам большего веса Бен оперся на хворостину.

Старик жадно втянул первый дым из разоженной трубки, затем поднял шишковидную голову, так что Бен несколько поразился величине

его волосатых ноздрей, и произнес:

– Джима дома нет, извините. Он ушел с Джорджем.

– Далеко?

– Он взял мотоцикл из гаража, поэтому, наверное, не близко.

Посчитав свою миссию выполненной, пусть и с отрицательным результатом, Бен по-военному приложил пальцы к краю берета и повернулся на месте. Старик долго наблюдал за его мелькавшей в зарослях фигурой, а когда она растворилась и утих шум шагов, неожиданно растянул в улыбке свое тяжелое, будто из невыделанной кожи сделанное лицо и издал несколько писклявых вздохов, что было у него признаком веселья. Затем он снова запустил руку в траву и начал пальцами ритмично обрабатывать между стеблями.

Крыльцо граничило с ответвлением изгороди, за которым сад спускался широкими извилистыми линиями беленых стволов к зеленому стеклу небольшого пруда. Лежавший под старой грушей Джим слушал короткий диалог с другой стороны кустов затаив дыхание и, сурово насупив брови, всем своим видом призывал своего гостя сохранять спокойствие. Только когда дипломатическая акция старого садовника была увенчана успехом, Джим усмехнулся, лениво перевернулся на живот и, упершись локтями в раздвинутую траву, продолжил внимательно наблюдать за муравьями. Одновременно он грыз зеленоватые и розоватые стебли какого-то растения, отчего рот его наполнялся свежей терпкой горечью.

– Это был Бен Стирлинг, – заметил он, наклоняясь: один из муравьев отделился от потока насекомых и забрался на заросли травы, как в зеленый овраг, поросший серебристыми стебельками.

Товарищ его смотрел из-под выгоревших ресниц в сторону, машинально переворачивая страницы толстого тома «Физики», который утопал в траве, словно покинув пределы мира, к которому принадлежал.

– Наверняка Сухарь устроил эту свою экскурсию на аэродром и хотел взять тебя, – сказал он, и Джим выразил согласие коротким кивком.

– Славный Тройл, – добавил еще Джордж, и вопрос был исчерпан.

Визит Бена остановил его в момент решительной атаки. Промолчав минуту, он решил, что теперь ничто не мешает ему вернуться к интересовавшему его вопросу:

– Джим, так в чем заключается эта твоя большая тайна?

Он старался говорить тоном взрослым и безразличным, но получалось у него это плохо. Джим, казалось, не слышал, только быстрее зашевелил челюстями, обрабатывая новую порцию стебельков.

– Джим, ну пожалуйста!

Джим сморщил загорелый лоб, затем зажмурил глаза, как астроном, заметивший среди звезд новую комету, наконец, перевернулся в сторону Джорджа и произнес таинственным шепотом:

– Я заметил интересную вещь. Видишь этого жука в траве? Он так же о тебе заботится, как и старый Тройл, или еще меньше. Можешь быть от него на метр или на сто миль, ему все равно. Он тебя никогда не поймет. А ты – его.

– Я – жука?

– Ну или мистер Джуллинс, – потерял терпение Джим. – Это все равно. Ты хочешь понять жука, но ты только представляешь его себе, это только твое представление о жуке, а не жук. Таким образом, я подумал, что, может, все законы физики – это только то, что мы думаем по-нашему, по-человечески, о мире, но *их* это не касается.

– Кого «их»?

– Разве я знаю... Их – это значит: камни, вода, небо, воздух, звезды... все. И когда мистер Джуллинс рассказал нам о золотом правиле механики, я подумал, что если бы не тот факт, что *они* об этом знать не могут, то *они* посмеялись бы... А впрочем, может, и могут?

– Что ты говоришь? Кто может? Джим, говори ясней, я ничего не понимаю.

Джим перевернулся на локти, выплюнул остатки травы и начал издеваться над муравьем, который нес на спине короткую соломинку.

– Так с вами всегда... «Говори, говори», – а когда я что-то скажу, так никто ничего не понимает, – сказал он наконец тоном глубокого разочарования. – Разве ты никогда не искал какую-нибудь потерянную вещь? Как это происходит с этими вещами? Говорят, что прячутся, правда? Или так: вчера я целый день работал у себя, наверху. Как-то вечером прихожу в комнату сестры, а ты знаешь, что ее нет дома, и нахожу мою ручку на ее столике. Я отлично помню, что положил ее в свой стол, во второй ящик. Естественно, там ее не было, она ведь не раздвоилась. Понимаешь, что произошло?

– Нет, – честно ответил Джордж.

– Это значит, что мир как бы обманчив. Не так, как человек, а по-другому. Это не имеет ничего общего с духами. Просто *они* забыли – следишь? – что перо должно лежать в ящике. А недавно я резко обернулся во время работы, и знаешь что? Был закат, все отбрасывало тень от окна, а моя чернильница отбрасывала ее под углом в другую сторону. Естественно, когда я подошел ближе, тень легла как следует. Это случается очень редко.

Но случается. Я думаю, что это как будто в зеркале. Словно с другой стороны. Нельзя туда пройти, проникнуть. Однако я подумал: а вдруг это возможно?

Джордж сидел, повернувшись к Джиму, глаза его удивленно округлились. Если бы работающий мозг мог издавать звуки, вокруг его головы стоял бы страшный шум. Джим продолжил свою лекцию:

– Так вот, мистер Джуллинс говорит, что вечный двигатель сделать нельзя, что есть такой закон – золотое правило механики.

Джордж кивнул с видимым одобрением: эту часть он мог понять.

– Но я скажу так. – Джим приподнялся на локте. – А как с притяжением? Тоже есть закон. Каждый камень падает, а ускорение g составляет 9,81 метра в секунду в квадрате. А если камень не захочет падать, то что? Придумают другой закон и будут говорить по-другому... Они, это значит ученые, немного изменяют науку, и опять все будет соответствовать... Я знаю, – поспешил он, видя выражение лица Джорджа, который колебался между испугом и смехом, – что это, по-твоему, невозможно... Но что это значит – невозможно?

Вопрос этот поставил Джорджа в положение человека, который идет хорошо знакомой дорогой, но неожиданно убеждается, что она обрывается и перед ним пропасть без дна.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он наконец медленно.

– Ну что это – невозможно?

Вопрос этот показался Джорджу глупым.

– Невозможное – это то, чего не может быть, что никогда не произойдет...

– А откуда известно, что не произойдет?

– Это зависит от того, что...

– Вот именно. – Сейчас Джим был абсолютно доволен. – Зависит от того, что. Закон утверждает, что не может быть машины, которая будет работать без подачи энергии извне? Хорошо. Но если такая машина уже есть?

– Где?

– У меня дома... Работает со вчерашнего утра.

И после этого объяснения Джим медленно встал, старательно почистил колени и локти от следов травы (процедура эта, хотя правильно задуманная, однако увенчалась очень скромным результатом) и потянулся за своей толстой «Физикой». Джордж вышел из каталептического состояния, в которое ввели его последние слова приятеля. Наконец он взорвался, подскакивая:

– Джим! Я должен это увидеть!

Джим, худой, узкий в плечах, с бледным лицом, с прозрачными, почти что белыми глазами, смахнул со лба непокорную прядь и сказал равнодушно, почти сонно:

– Ну пошли, – после чего повернулся и направился к дому.

Медленно, не спеша, они поднялись по скрипящей лестнице на чердак. Через минуту им в лица ударила волна спертого воздуха, который скопился под нагретой крышей. Сгибаясь, чтобы не удариться о стропила, они шли по чердаку, пока узкий сноп солнечного света не высветил перед ними в небольшую дверь, сбитую из досок. Джим открыл ее при помощи загадочной манипуляции. Внутреннее помещение, которое открылось их глазам, выглядело как шестигранник, скошенный с двух сторон диагональными плоскостями крыши. В узкой стене комнаты имелось окно, которое давало достаточно света для освещения, но недостаточно, чтобы уяснить смысл загадочного содержимого комнаты. Ее характерной чертой было то, что ни один из инструментов (количество и качество которых было, впрочем, очень ограничено) не служил первоначальному назначению. На кровати лежали кипы книг и стеклянных труб, на двух столах виднелись собранные и безжалостно привинченные к столешницам тиски, сверлильный и ручной токарный станки и целый ряд других инструментов. В умывальнике, из которого выбросили таз, расположился тяжелый электрический мотор. Шкаф после открытия оказался батареей аккумуляторов. Выступающие балки крыши служили местом крепления многочисленных кабелей, проводов, летающих моделей и множества предметов с абсолютно непонятным назначением.

На прибитых к стенам полках виднелись фарфоровые и стеклянные сосуды, используемые для химического анализа. Прожженные, поколотые и поломанные столешницы указывали на то, что оборудование комнаты – это не просто декорация, а что оно служит хозяину, причем постоянно, для опытов.

Во всем этом кажущемся хаосе Джим отлично ориентировался: подойдя к столу у окна, он достал из ящика маленький молоток и что-то вроде клина, после чего подошел к внутренней стене. Здесь он вбил клин между двумя балками. Одна из них легко поддалась. От нее отстал плоский кусок дерева, а из открытого тайника донесся тихий, монотонный шум. Джордж приблизился. Внутри тщательно выдолбленной балки стояла маленькая машинка, не больше апельсина, которая мерцала в быстром движении. Ее звук напоминал ускоренное стрекотание сверчка. Джордж долгое время всматривался во вращающиеся части, даже импульсивно

протянул руку, но Джим удержал его, достал машинку из стены и поставил на стол. Затем медленно вставил рукоятку молотка в спицы колеса.

Машинка остановилась. Теперь она казалась очень простой: движок, проволочные усы, утолщенное с одной стороны колесико...

Джим вытащил молоток, и в тот же момент оно само собой продолжило вращение, быстро, монотонно, словно хотело наверстать вынужденный простой.

Джордж молча таращил глаза. Джим был спокоен. Только глаза у него сияли, но не светом выкроенного окном неба, а внутренним, переливающимся пламенем. Казалось, что машинка работает только благодаря его присутствию.

Наконец Джордж прервал молчание:

– Джим, как же это... Джим, скажи, ради Бога. – И с явной подозрительностью продолжил: – Это, должно быть, какой-то трюк; может, это что-то вроде ходячего скелета?..

Джим вовсе не был обижен этой подозрительностью.

– Нет, это не трюк... Хочешь знать, почему это работает? Но я и сам не знаю... Мне пришло в голову, что это такая проблема, которую надо решить по-другому. Что надо постараться забыть все, чему нас учили о машинах, о двигателях, – всю физику. Все, что придумали люди. О чем когда-либо они думали. В этом все дело, чтобы забыть, хотя бы на время. И вот – получите.

– Почему это работает? – спросил через минуту Джордж.

– Не знаю... Это, собственно говоря, не должно работать. По законам физики, как говорит мистер Джуллинс, не должно.

И с ноткой триумфа в голосе продолжил:

– Но, однако, работает!

Чердак был залит светом июньского полудня. Два парня стояли, склонившись над моделью, которая крутилась стрекоча.

За окном пел дрозд.

* * *

У воды, на их любимом месте, никого не было. Только мельница странной конструкции, сделанная Джимом, неустанно тарахтела, перебирая тонкими деревянными лопатками струи зеленой и серебристой воды. Джордж расположился на животе, запустил руку в пруд и попробовал схватить рыбку, которая притаилась в прибрежных водорослях, что ему, как всегда, не удалось. Подышав на стеклышко часов, осторожно вытер его и посмотрел. «Пять двадцать три!» – сказал он громко и, досадуя на непунктуальность приятеля, окинул взглядом окрестные кусты и

погрузился в раздумья.

А располагался он на животе Билла Троуга, самого толстого и самого сильного во всей школе парня, и постукивал его кулаками, когда раздавался мелодичный свист. Джордж быстро сел. Джим никогда не свистел в хорошем настроении. Вскоре показался Джим, шагавший вразвалочку. Он подошел и, не говоря ни слова, поудобнее улегся. Джордж с минуту смотрел на него молча, но в конце концов любопытство пересилило обиду.

– Ну и что сказал мистер Джуллинс?

Джим артистично сплюнул между двумя водяными лилиями, вырвал пучок травы с корнями и промолчал.

– Джим, слышишь?!

– Не создавай столько шума, а то рыбу распугаешь, – отозвался Джим. – Мистер Джуллинс? Ну что ж, расскажу тебе по порядку. Я этого терпеть не могу. Пришел к нему домой после обеда и слышу: «Что скажешь, мой мальчик?» Я показал ему машину, рассказал, а он смотрит, смотрит, смеется. Значит, я разобрал ее – ты знаешь, как это просто? – собрал, и она опять работает. А он прошелся по комнате, погладил меня по волосам и говорит таким тоном, словно заговорил Бог Отец, что нарисован на стене в часовне: «Мой мальчик, ты ведь не допускаешь, что ты, такой сопляк, можешь опровергнуть закон, на котором зиждется физика?» – «Но ведь она работает», – говорю. «Поработает и перестанет», – говорит он на это. Значит, садимся, палимся, палимся, потом он говорит: «Джим, мальчик мой, у меня нет больше времени. Это очень интересно, но я тебе вот что посоветую – занимайся больше математикой. Ведь речь не идет о том, чтобы это работало не час или день, а вечно...»

Джордж сопел, возмущенный.

– И что ты на это?

Джим лениво усмехнулся:

– А я ничего. Я знал, что этим и закончится. Мистер Джуллинс верит только в то, что говорит его жена, кроме, разумеется, учебника физики для средней школы. Если б ты не настаивал, я б к нему не пошел. Впрочем, не все ли равно? Признаюсь тебе, что меня это уже не интересует. Знаешь, теперь я думаю о немецких летающих бомбах. Это вранье, когда говорят, что это радиоуправляемые ракеты. Вчера всю ночь я высматривал на крыше: они летят вслепую. Это чувствуется сразу, надо только внимательно смотреть. Я думаю, что там есть второй цилиндр, в котором ходит поршень с углублением.

Он рисовал на песке.

– Тут находится камера сгорания, а взрывчатые газы движутся через

сопло. – Волосы упали ему на лоб.

– Джим, – произнес, заикаясь, с опаской приятель, – ты это говоришь серьезно, что вечный двигатель уже тебя совсем не интересует? Но ведь так нельзя... Надо написать в министерство. Я не знаю, – добавил он, ощущая на себе острый взгляд, – куда, но надо. Знаешь что, – неожиданно подскочил он, – ты должен идти к профессору Уайтхеду.

Джим слегка скривился.

– Должен, – горячо убеждал Джордж, – это очень мудрый человек. Я был у него, когда моя модель не хотела летать, и он все мне объяснил. Он был очень вежлив и терпелив. Он сказал, чтобы я всегда к нему приходил, когда что-то будет непонятно. У него такой огромный темный кабинет – все Королевское научное общество висит на стене, и он среди них.

– Да? – поднял брови Джим. – Я не знал об этом.

– Да-да, у меня отличное зрение, я сразу его узнал, стоит во втором ряду. Это ничего, что он известный физик, и отлично, что в Оксфорде давно уже каникулы, – сможешь пойти к нему даже утром.

Джим усмехнулся:

– Ну, если тебе это важно... Я предпочел бы никуда не ходить. Это не приносит счастья, такие дела...

– Как это?

Джим немного смутился.

– Да ничего, я просто так сказал. Лучше смотри: значит, снаряд, я отчетливо это видел, имеет воронкообразную трубу на корпусе... – рисовал он дальше деревянной палочкой.

Джордж опустил на траву в молитвенном молчании.

Профессор Уайтхед провожал лейтенанта до калитки. Сумерки смешали все краски, оседая пепельной лазурью в углублениях грунта. От низенькой ограды, в прогнившие доски которой терпеливо упирались растения, пологие склоны спускались к лежавшему в тумане аэродрому. Лейтенант в светлом мундире машинально поправил ремень и, обращаясь к хозяину, попробовал еще раз:

– В любом случае я советовал бы вам покинуть имение, хотя бы временно. Аэродром вместе с постройками является, особенно во время нападения, важной целью, а ваш дом опасно возвышается над окрестностями... Отсюда двойная опасность, ибо пригорок находится на пути к Большому Лондону.

Уайтхед пропускал мимо ушей настойчивые предостережения, внимательно глядя вниз, в направлении закручивающейся спиралью

дорожки. Неразборчиво буркнув, он пожал офицеру руку и потом еще минуту стоял, пока тот не исчез в темноте. Гравий громко зашуршал, через минуту отозвался вновь – профессор подумал, что летчик возвращается, но эти шаги были другие, намного легче и не такие четкие.

Далеко на горизонте, еще подсвеченном оранжевым пламенем заката, с механическим пофыркиванием планировали тройные огоньки, как созвездия неярких звезд: красных, зеленых и белых. Из-под склонивших тяжелые головы подсолнухов вышел кто-то высокий, худой, замедлил шаг и остановился с другой стороны забора.

– Господин профессор Уайтхед?

Это был молодой человек с небольшой коробочкой под мышкой. Уайтхед отступил, открывая калитку.

– Это я. Пожалуйста, входите.

Подав ему руку. Юноша, назвав себя, пожал ее.

– Я пришел к вам по несколько необычному делу. Не могли бы вы уделить мне немного времени?

Уайтхед кивнул и двинулся первым, проводя гостя через сад, спускающийся к вилле. Он открыл первые, стеклянные двери, вторые, зажег свет, маскируемый шторами из черной бумаги, и подождал, пока посетитель, зажмурив глаза от желтого света, войдет в кабинет. Это была большая холодная комната: стол со стеклянной панелью, электрические часы, стена книг до самого потолка, и на противоположной стене карты полуночного неба, усыпанные лимонного цвета звездами.

Профессор показал рукой на свободное место и нажал кнопку на столе. Зажглась лампа в зеленом абажуре, и мальчик с облегчением уселся в глубокое кресло, словно провалился вглубь. Теперь он весь был в темноте, только лицо его, светлое, сухое, с голубыми сияющими глазами, возвышалось над столом.

– Видите ли, господин профессор, тут такое дело... Мне трудно это объяснить, боюсь напутать, поэтому, может, вы захотите сначала посмотреть...

Тихо зашелестела разрываемая бумага, и на освещенной лампой черной стеклянной столешнице появилась маленькая машинка. Подставка из старательно отполированного дерева, годовые кольца яблони, детали из блестящего алюминия, два колесика, крючок...

Машинка работала, издавая тихое, спокойное тиканье; спицы колесиков образовывали шлифованные глянцем круги; зубцы звенели.

– Это – такая машинка. Вечный двигатель. Работает уже четвертый день. – Минута молчания. – И, – как бы со смущением или извинением, –

не хочет останавливаться.

Пожилой человек наклонился очень низко. Гротесковая тень его лица с очками, съехавшими на середину носа, качнулась на стене. Две головы: одна – покрытая редкой сединой, вторая – с песочными вихрами, пропитанными запахом нагретых на солнце трав, – сблизилась над столом. Машинка издавала торопливый, неумолимо повторяющийся стрекот. Продолжалось это долго.

Наконец старик опустил в кресло и глубоко вздохнул. Затем посмотрел на парня, все еще склоненного над машинкой. Казалось, что юноша, который пришел за похвалой или советом, забыл о нем. Смотрел на свое творение не как ребенок, но и не как взрослый человек. Смотрел – и поглощал, словно пил всем своим существом этот тонкий треск и блеск, знаменующий начало Большого Движения.

– Знаете ли вы, как это действует? – спросил Уайтхед тихим голосом, как бы опасаясь что-то спугнуть или разбудить.

Мальчик вздрогнул. Он смотрел в уставшие глаза старика отсутствующим взглядом, и в эту минуту, казалось, мог видеть нечто иное, словно он был существом с далекой звезды.

– Ах нет, не знаю, извините. Это значит, я не могу объяснить этого физически.

– Как вы до этого додумались?

Джим медленно опустился в кресло, с видимым облегчением утонул в его холодных темных объятиях и отозвался, словно из безопасного убежища:

– Именно для этого я пришел к вам, чтобы об этом рассказать, потому что меня никто не хочет понять. Значит, так: я давно думал над тем, почему считается, что определенные явления могут происходить, а другие – не могут. Если сегодня что-то происходит определенным образом, что из этого следует? Завтра может быть иначе. А в чем обусловленность? Кажется, что существует порядок, когда мы смотрим на мир человеческими глазами. А если посмотреть на это глазами лягушки? Потом я думал о физических законах, о тех, которые знаю. И подумал, что произошло бы, если бы их так друг на друга спустить, как собак с цепи? Я это понятно сказал? Значит, чтобы все таким образом между собой расположить, чтобы даже если бы оно не хотело, должно было начать двигаться. Именно должно... Не могу лучше объяснить, вы меня понимаете?

Профессор прикрыл глаза веками и усмехнулся ему из глубины своего одиночества, куда проникали теперь светлый запах травы и темный – леса.

– Да, понимаю, юноша, насколько это вообще можно понять. Ты

поставил ловушку, ловушку на Оно, как ты его называешь, и Оно в нее попало. – Он замолчал и бросил быстрый взгляд на собеседника. – Знаешь ли ты, вернее, слышали ли вы, – поправился он, – что-нибудь о теории вероятностей, о теории статистики в применении к микромеханике молекулярных движений?

– Нет... не слышал.

– Ни о постоянной Планка, ни об уравнении Шредингера и связанной с ним возможностью создания необычных вещей – в смысле классической физики?

– Нет, тоже нет... извините, то есть физика признает чудеса?

Профессор усмехнулся во второй раз. Он чувствовал, как сердце омывает спокойное теплое течение.

– Ну... не знаю, признает ли, но их нельзя исключать. Уравнение Шредингера... Но не буду мучить вас математикой. Кратко: сегодня говорят, что все необычные явления возможны, хотя бесконечно маловероятны.

– Ага, и значит, и чудеса, – поддакнул Джим серьезно, неожиданно наклонил голову и упрямо усмехнулся. – А пастор очень сердился на меня за эти последние опыты, потому что, когда я пошел к моему учителю, мистеру Джуллинсу, тот рассказал ему все, и пастор накричал на меня за то, что я хочу исправить Господа Бога...

Профессор смотрел на вращающиеся колесики так задумчиво, что казалось, что он не расслышал последних слов.

– Вечное Движение Господа Бога только прославляет, – сорвалось с его губ.

– Что, извините?

– Нет, ничего... такая моя формула. Удивляюсь только, что твой пастор так хорошо знает божеское дело.

В голове у профессора промелькнула другая мысль: spiritus flat, ubi vult^[124]. Он смотрел на юношеское лицо в спокойном свете.

– Так как ты до этого додумался?

– Ну, я подумал, что, если удастся противопоставить силе притяжения закон Ньютона, этот, о действии и противодействии, что-то из этого может получиться, и как-то это мне удалось. – Он замолчал.

Вместо остальных слов было достаточно машинки, так спокойно работающей, легко подрагивающей над своим блестящим отражением, которое, казалось, подплывало к ней из зеркальной глубины.

– Ну хорошо. Не хотите ли оставить мне этот аппаратик? Я охотно его изучу, а потом, возможно, напишу письмо в Королевское научное

общество... в Лондоне.

Голубые глаза засияли.

— А на сегодня достаточно, к тому же приближается буря — вам придется быстро бежать, ибо Мидуэй-Хаус довольно далеко.

Действительно, из-за тонких занавесок, трепетавших на сквозняке, доносились отдаленные раскаты грома.

Джим послушно поднялся и поклонился. Профессор проводил его до двери, закрыл ее с усилием, потому что воздушный поток со свистом ворвался в щель между створкой и фрамугой, и вернулся в свою комнату. Здесь он одним рывком поднял жалюзи и, немного отступив, приоткрыл створку большого венецианского окна.

Горизонт был похож на сверкающий глаз, который раз за разом закрывало черное веко. Ртутные струйки молний били из-под клубящихся туч, жемчужинами искр прошивали многоярусные слои воздуха. Верхушки деревьев замерли, словно бы вслушиваясь в раскаты накатывающегося с разных сторон грома. Профессор высунул голову в окно, за которым дрожал от первых, распыленных капель теплого ливня воздух, и, вдыхая пульсирующие целительным запахом дуновения, внимательно следил за удалявшейся маленькой фигуркой.

Мальчик с явным трудом продирался сквозь сплетение колышущихся ветвей кустарника, клубков листьев и встающих застывшими колбами вихрей пыли. Уайтхед видел в белых разрывах молний его спину, возникающую на мгновение из темноты. Он вдохнул полной грудью. Бывают минуты, которые хочется задержать любой ценой. Кажется, время тогда останавливается, внутренний покой перевешивает сильнейшие бури. Такое чувство испытал старик: крыша домика загудела от ветра и дождя, как необыкновенная арфа, вспышки все чаще возникали среди туч и обрушивались на землю скалистым грохотом. Всматриваясь во мрак охваченного хаосом парка, он прошептал:

— Ты велик.

В этот момент он думал о смешно постукивающей машинке, которая разрушила неведомые основы бытия, о глазах ясновидца, о волнах неба и земли, слившихся в сверкающий столп, и о моменте, когда доводится принимать такого гостя.

И во второй раз он прошептал:

— Ты велик.

Означало это, что есть мир, в котором форма не открывает тела, а свет — взгляда, в котором нет вещей нужных и ненужных, а есть только вещи понятые и еще не понятые, еще не объясненные, превращающие слепую

игру частиц в реальный континуум, и это хорошо.

И в третий раз он прошептал:

– Ты велик.

Под этими словами следовало понимать не руины разноцветных минут, а предчувствие всеохватывающего единства, которое не может поместиться в груди одного человека, в котором нет ни стремлений, ни достижений, ни желаний, ни осуществлений, ни результата, ни причины, а есть предчувствие Всего.

В череду туч, хлеставших пузырящимся дождем, неожиданно ворвался чуждый блеск. Расправленная цепь огненных шаров расцвела в черном поднебесье. Уайтхед, взглядевшись, увидел мрачную тень, из сопел которой извергался желтый огонь.

Еще не понимая, что происходит, он изо всех сил вцепился в деревянную доску подоконника. И тут пугающе острый клюв стальной сигары слегка наклонился, ракета устремилась вниз по опасной кривой. Старик потянул на себя подоконник, словно хотел его вырвать из креплений, и закричал:

– Беги, мальчик! Беги!

И одновременно с этим тревожным криком исчез в огненном смерче и грохоте взрыва.

Перевод Язневича В.И.

КВ-1

Снаружи КВ-1 выглядит как бронтозавр – бронированная допотопная рептилия, которая, согнув свои покрытые колючими чешуйками лапы, опустилась на колени и над землей вытянула пятиметровую шею. Впечатляющий гигант зеленоватого цвета медленно движется по ржаному полю.

А изнутри КВ-1 – это тесный железный ящик, ошестинившийся рукоятками рычагов и ручек, в котором десятки оксидированных кабелей, трубок, проводов, ползущих во всех направлениях, пересекающих выкрашенные в светлый цвет стены. Каждый из пяти членов экипажа огражден стеной приборов, которые он вынужден обслуживать в почти полной темноте, возникающей после закрытия люка.

Сейчас люк открыт. Высунувшийся по грудь старший лейтенант Симонов слегка покачивается вместе с танком, едущим по колее, проложенной идущей впереди машиной. Щурясь от полуденного солнца, он морщит брови, чтобы струйка пота не попала в глаз. Колонна со скрежетом шестерней выдвигается далеко в степь, серую и зеленую. Только командир танка может окинуть взором ее вздымающееся округлыми холмами пространство.

Старший сержант Глухов, держа руки на рычагах управления, через прицел видит подпрыгивающую черную корму впередиидущего танка, а когда дорога становится более неровной, в прямоугольник поля зрения попадает контур орудийной башни, похожей на огромную приплюснутую голову.

Танки повторяют одни и те же движения, гусеницы, придерживаемые на поворотах, скрежещут, отпечатывая в высохшей глине свои чугунные когти. Глухов медленным, почти сонным движением оттягивает рукоятку. КВ-1 скрипит шестернями и послушно поворачивает вправо. Неожиданно подадут звук наушники полевого телефона, водитель отклоняется назад и выжимает сцепление. КВ-1 останавливается, слегка подрагивая в такт работе двигателя. Заряжающий орудия, который сидит ниже уровня бронебашни за стоящим старшим лейтенантом, пытается угадать причину остановки, но снаружи уже слышен хорошо знакомый устойчивый шум и тархтение.

С боковой дороги выезжают трактора. Маскирующие их ветки с листьями уже завяли, хотя были срублены утром. «Сталинцы» переползают

через сухой ров и, поднимая свои тупые передки вверх, с треском падают на внезапно освобожденные опорные катки. За ними с кажущейся легкостью движутся гаубицы. Колонна танков терпеливо ждет – заряжающий Плевцов считает орудия вслух, но вскоре ему это надоедает. Рука привычно тянется в темноту – наталкивается на острые головки снарядов, выглядывающие из отсека боеприпасов, и касается разогретой моторной перегородки. Дизель работает медленно, каждую вспышку сопровождает сопящий выдох выхлопных газов, железная дрожь пробуждает выпуклый от заклепок корпус к жизни.

«Железное сердце», – думает Плевцов и глубоко дышит в потоке холодного воздуха, перегоняемого вентилятором. В этот момент танк трогается.

Сережа, радист, сдвинул на затылок шлем, возвращаясь тем самым к действительности. В то же мгновение он с облегчением почувствовал дуновение ветра, но исполнительность победила: он опять натянул шлем на потную голову. Шум мотора стал тише.

Высунувшийся из люка старший лейтенант уже давно наблюдал одну и ту же картину: степь, вздымающуюся низкими холмами, из-за которых долетал монотонный грохот артиллерийских взрывов. Он усилился, когда они миновали еще одну линию старых, изрытых и провалившихся полевых укреплений и проползли через руины села (действительно его сровняли с землей – даже трубы не торчали, скошенные снарядами).

Наконец показались артиллерийские позиции. Орудия, вкопанные в мелкие рвы, трудились изо всех сил. Теперь танки шли прямо в разрыв, образованный изгибом позиций. Танцующие, как на веревках, фигуры артиллеристов росли на глазах. Ближайшая гаубица через равномерные промежутки времени выбрасывала из ствола огонь и дым, отскакивая назад, комья земли вылетали из-под станин, прокопченные дымом артиллеристы бросались на орудие, заряжающий вставлял снаряд, который сжимал в объятиях, и стоявший немного позади командир орудия кричал: «Огонь!», перерубая рукой воздух.

Когда танки проезжали рядом, Симонов посмотрел в лицо этому артиллеристу. Оно было бронзовое, как у всех, выдубленное соленым потом и ветром, а когда он отдавал приказ и рассекал правой рукой воздух, его черты всякий раз искажала гримаса ярости.

Гаубица палила раз за разом так быстро, как только это было возможно при доведенном до автоматизма мастерстве и слаженном коллективе, но командир в каждый свой возглас вкладывал очередной заряд ярости, рука падала вниз, будто бы рассекая невидимого противника, судорога

исступления пробежала ото рта к окруженным морщинками глазам, и все эти движения завершались выстрелом.

Через мгновение все повторялось вновь.

Старший лейтенант некоторое время разглядывал уменьшающуюся фигуру, которая опять стала похожа на заводную куклу: махала рукой – раздавался грохот – клуб дыма, первоначально похожий на клок черной ваты, растворялся в воздухе – и опять, и опять.

Над головами проносились по своим траекториям поющие снаряды, растянутая колонна свернула, и тут неожиданно, как русло глубокой реки, показался овраг. Железные ящики спускались по обрывистому склону, опорные катки визжали, резкие удары по тормозам отзывались в стальных траках. Последний танк съехал, и наступила тишина, нарушаемая звуками взрывов.

Симонов сел. Воздух широкой волной проник в танк. Матовый блеск исходил от крашенных стенок.

Плевцов поднялся, сел, устроился поудобней на сиденье и опять встал.

– Что, уже пойдем, сейчас? – спросил он.

Старший лейтенант ответил не сразу.

– Пойдем. А вы что, Плевцов, боитесь? Не хочется умирать?

В действительности старший лейтенант хотел сказать нечто совершенно иное. Он здесь никого не знает, приехал из тыла в тот самый день, когда осколком гранаты был убит командир танка. Приняв командование, он попытался как-то сблизиться с экипажем, хотел перед лицом приближающихся боевых будней покрепче завязать узел дружбы. Люди, обслуживающие сложную машину, понемногу становились ее частью. Но они и изменяли ее, в каждое действие вкладывая что-то от себя, от своих годами накопившихся традиций, манеры поведения. Симонову было интересно с ними, но он ошибочно полагал, что его проблемы можно решить с помощью слов. Именно теперь он неумышленно попал в большое место – Плевцов сам не мог ему ответить. Его выручил радист Галышкин. Привыкший к выступлению на митингах, он растягивал слова, немного снизу глядя на старшего лейтенанта.

– Что там долго думать... я знаю, что танку ничего не будет. Тут не нужна философия. – В голосе зазвучала нотка презрения к интеллигентской болтовне.

Симонов заупрямился:

– А это почему, можно узнать? Что, только мы имеем такую броню?

Сережа, разозлившись, подумал: «Вот фрукта нам прислали!»

– Да, надо верить, – сказал он твердо. – И вообще не о чем говорить, –

продолжил почти грубо, – если человек отчаянно бьется, он в горячке боя о страхе забывает.

Симонов сконфузился. Тут надо было многое сказать, но он видел, что все напрасно: «Ничего не поймут, болваны».

Симонов никогда не жил одной минутой. Он всегда старался смотреть вперед и назад, расширяя воображаемое окно, через которое можно выглядывать в мир. Когда Плевцов или Галышкин смотрели ему в лицо, они искали только то, что могли понять. Отважен ли командир? При странном свете танка глаза у него голубые, в безмятежном состоянии имеющие ржавый отблеск бури, с радужными ободками с оттенком стали. Той самой, по которой двигаются поворотники орудия.

Но Сережа уже повидал многих людей и знал, что этого недостаточно – иметь такие глаза.

В этот момент откликнулся водитель. Он крестьянин. Крестьянин, который держит рычаги управления, как рукояти плуга. Поворачивая плоское, как щит, коричневое лицо с выпирающими скулами, он моргает желтыми ресницами.

– У каждого своя смерть, – сказал он, – и другая его не встретит.

Таким ли должен быть дальнейший ход разговора? Симонов вздрогнул. В голове мелькнула мысль: «Не надо осуждать заранее, нужно послушать, что будет дальше».

– Это будто все сверху предопределено? Так ты в Бога веришь, Глухов? – закричал с удивлением и неприязнью Сережа, он словно говорил: «Ну вот, змею пригрел». Весь вчерашний вечер он беседовал с водителем, уговаривая его принять участие в партийной жизни.

Водитель отпустил рычаги, но тут же схватил их снова, словно чувствуя, что в столь тяжелой работе, как перевод своих, за многие годы молчания возвращенных мыслей на человеческий язык, ему нужна опора.

– Нет, – кивнул он, – это не имеет ничего общего с Богом... у каждого такая смерть, какую он сам заслужил. Какая ему полагается, – объяснил он с медленно растущим нетерпением. – Смерть не стоит, не ждет тебя, а идет навстречу, понимаешь? А ты ее себе выбираешь согласно воле...

Сережа разозлился: бред какой-то, сказки.

– Темный ты мужик, Семен, не сердись.

Глухов улыбнулся легким дрожанием своего землистого в полумраке лица и не ответил.

«Человек себе жизнью смерть созидает, – мысленно перевел слова водителя на красивый интеллигентный язык старший лейтенант, добавляя вместе с тем: – Это и есть душа русская? Вот придумал».

Он высунулся из танка наружу. Дуновение степи дымное, но освежающее. Неожиданно наушники у всех загудели. Галышкин покрутил конденсатор настройки – густое пение сигналов разорвал чей-то монотонный голос: «Внимание, внимание... тридцать семь а... тридцать семь а».

Из оврага донесся топот множества ног. Симонов увидел бегущих солдат, которые скапливались возле бронемашин, влезали на покатые бока танка, тесно рассаживались, поджимая ноги. Целый батальон скрывался в лесу, желтом от засохшей глины. Сапоги пехотинцев стучали по железу. Когда десант погрузился, старший лейтенант еще раз посмотрел внутрь танка. За темной перегородкой впереди смутно маячили фигуры водителя и механика. Рядом с ними, в тесной башне, сидел заряжающий Плевцов, раскорячившись на круглой подушке. Перед ним возле радиоприемника возился Галышкин.

Опять загудели наушники, солдаты, прикрывшись плащ-палатками, выставили наружу дула автоматов. Железная дрожь прошла по колонне, и танк двинулся, разгоняясь на ходу.

Симонов стоял, пока воздух не завихрился со свистом и пением. И он продолжал бы еще стоять, чтобы приободрить этим солдат, прижавшихся снаружи к корпусу не защищающего их железа, но повсюду со стуком закрывались люки, и он нырнул в темноту танка.

Теперь все представлялось как в подводной лодке. Тусклый свет попадал через кирпичики бронестекла, вызывая рыжие отблески на орудии и матовых стенах. Симонов прильнул к резиновому наглазнику прибора наблюдения.

Танки расползлись, перестроились и широкой цепью пошли в атаку высоты. Моторы максимально набрали обороты, их оглушительное тарахтение перекрывало грохот пальбы. Глухов, наклонившись вперед, положил руки на рычаги управления, приник к смотровой щели, видя перед собой четкие очертания горизонта, который колыхался в такт движения машины. Чувствуя под ногами твердую податливость педалей, весь в напряженном ожидании, он широко раскрытыми глазами вглядывался в убегающее под машину пространство.

Плевцов неподвижно сидел в тесном углу, образованном стенкой танка, сотрясаемой дрожью, и казенной частью орудия. Он искал глазами лица товарищей, но мог разглядеть только Симонова, его сжатые губы, четкий контур подбородка. Он вглядывался в это лицо, которое было единственным его окном в мир.

В небе показались сигнальные ракеты с дымными хвостами, танк

резко замедлил ход, темные фигуры спрыгнули, стреляя на бегу. Нервный ритм автоматов отдалился – водитель опять добавил газу, и они помчались по склону. Их окружили столбы взрывов. Несколько раз снаряды рикошетили от наклонных плоскостей брони, осколки раскаленной стали разлетались в стороны со звуком разрезаемой ножницами жести. Комья земли попали в прицел, водитель машинально отдернул голову и, обозлившись, снова прижал лоб к резиновой накладке.

Симонов напрасно искал цель, как вдруг танк заколыхался, линия горизонта провалилась, одновременно черные мотки колючей проволоки оказались перед танком, машина слегка вздрогнула, вбирая их под себя, и медленно переползла через окоп.

Глухов уперся ногами в педали, выжал их, и КВ-1 развернулся на месте, давя неукрепленные стены землянок. Затем повернулся и погнал вперед.

Наушники вновь растахтелились – кто-то вызывал их быстро-быстро. Степь была безбрежна и спокойна. Взрывы ложились за ними, и когда старший лейтенант отвел взгляд от клубов белого облака, то за руинами села увидел темный выступ леса.

Танки вошли в село, которое еще тлело разбросанными головешками. Пехоты не было видно. КВ-1 свернул в сторону и остановился. Неожиданно наступила тишина, в которой за стеной отсека медленно билось железное сердце мотора. Так тихо, что Симонов снял со стопора и поднял крышку люка. Высунувшись наполовину из танка для рекогносцировки, он внезапно почувствовал, как исчезло давящее на него железное кольцо.

К селу подступал клином лес – поверху зеленоватый, внизу черный. К нему бежали волны овсяницы, искрясь на солнце. И тут же над ними, шумящие, как пламя (но не пламя пожара!), поднимались группкой маленькие березки. Между ними находится сбитая из пестрых, черно-белых, стволов скамейка. Кажется, что следы детских ножек видны еще между стеблями травы. Симонов уносится мыслями вдаль, теряя ощущение реальности, в нем растет болезненный восторг. Он делает произвольный жест, которым хочет позвать ребенка – своего ребенка, и тот клин луга, и березки с похожими на золотые монеты листьями.

Очень близкий взрыв. Осколки свистят вокруг головы. Затянутый в танк недовольным Сережей, лейтенант погружается в темноту.

– «Пантеры!» – кричит кто-то впереди чужим, громким голосом. Глухов?

Орудие приходит в движение, подшипники бесшумно вращаются,

голова башенки поворачивает влево.

Грохот выстрела. Запах горелого пороха распространился внутри, старший лейтенант на мгновение глянул вниз и при вспышке света увидел в черном обрамлении шлема лицо Плевцова, напряженное как струна.

Белый глаз прибора наблюдения легким движением накрывает далекие серые тени. Радист что-то кричит, одновременно танк содрогается, все смешалось и перепуталось, водитель выжал сцепление и хотел переключить скорость, но шестерни заело. Кусая губы, он убрал ногу. Звонящий разрыв застучал осколками по броне.

– Давай вперед! – загрохотало в наушниках.

Всеми силами призывая себя к спокойствию, он переключил скорость – представил себе капающие смазкой зубья шестерни, застигнутые врасплох, – и КВ-1 двинулся с места, окутавшись клубами выхлопных газов.

Незадействованный Сережа непроизвольно напрягся, пытаясь мысленно помочь тем, кто работал в башне, и сыпал проклятиями. Золотой ручеек света стекал по гильзе огромного снаряда, когда полусогнутый заряжающий всем телом загонял его в открытый затвор. Рукоятки ходят взад и вперед, затвор откатывается назад, и сразу же большая, как бидон, гильза выпадает в струях дыма.

Вдруг старший лейтенант закричал. Все начали кричать, невероятно запыхавшись, пот стекал по лбу, заливал глаза, воздух был сильно раскален, и машина подпрыгивала как сумасшедшая на неровностях грунта.

Но вот вдали вспыхнул огонь и начало расплзаться черное пятно дыма.

– Есть! Есть, гад, попал!

КВ-1 сворачивает, скребет гусеницами почву, съезжает сквозь ограду, какое-то строение трещит и рассыпается непрочными досками. Машина останавливается недалеко от низкой, уцелевшей хаты. Старший лейтенант прижимает глаз к прибору наблюдения. Из окна высовывается рука, кто-то размахивает красной тряпкой.

– Там кто-то есть – наши?

Симонов поворачивается к экипажу:

– Ребята, мне кажется, что там кто-то лежит, скорее всего раненый. Есть добровольцы сходить?

Двое бойцов поворачиваются к нему. Возле колен он видит лицо Плевцова, за ним чуточку раньше встает Галышкин. Галышкин подумал: «Это не имеет никакого смысла – мы под обстрелом, старший лейтенант не прав». Но он партийный организатор, активист – это обязывает. Поэтому он

встает и немного враждебно, неохотно смотрит на старшего лейтенанта.

Плевцов знает, что не пойдет. Разумеется, Галышкин вызовется первым. И сейчас надо как-то промолчать – уверенный в себе, он смотрит во мрак башни.

Но старший лейтенант командует:

– Итак, Плевцов, идите. – И думает про себя: «Если бы я его не выбрал, то он мог бы подумать, что я ему не доверяю». – Идите.

Плевцов чувствует на щеках внезапный холод. Полный изумления, он поднимается вверх. Он знает, что не пойдет. Наверняка не пойдет. Однако открывает крышку. Симонов пропускает его, и заряжающий высовывается в пьянящий насыщенный воздух. Он делает все вопреки своей воле, удивляясь этому безумному поступку, хочет вернуться назад и некоторое время сидит в люке. Но затем неуклюже перелезает на борт и соскакивает на землю.

Только теперь он видит, сколь огромен танк, сверкающий зеленоватой краской. Лицо ему заливает лиловый дым выхлопных газов. Мгновение он стоит – тихо. Плевцов двигается, сильно сжимая челюсти. Отойдя от машины, втягивает голову в плечи и, горбясь в ожидании удара, рысцой добегают до дверей. Они открываются удивительно легко.

До сидящих в танке через открытый люк доносится приглушенный стук двери и голос. Рваный крик, который раздувается кровавым пузырем и лопается. В тихом шуме мотора пульсирует тишина. Симонов, оцепенев, ждет. Ничего не происходит. Старший лейтенант хватается за плечи радиста, который пытался подняться наверх, чтобы выскочить через люк. Он уже все понял.

– Включай, Богатырев, – кричит он в переговорное устройство. – Глухов, на избу! – И уже крутит обеими руками рукоятки, башня поворачивается назад, заслоня собой орудие.

– Но, товарищ, – дребезжит приглушенный голос, – ведь Плевцов...

– Газ до упора! – кричит Симонов, и слезы ярости выступают у него на глазах.

Одновременно короткая очередь, выпущенная из избы, с бессильной злостью звенит по броне. КВ-1 приподнялся, брызнул назад комьями земли и ударил передней частью корпуса в стену. Разлетелись в реве мотора балки, полетел в разные стороны град песка, соломы, обломков. Танк, сокрушая все под собой, завертелся и встал на месте. Из руин, расплюснутых и вдавленных в землю, не доходило ни одного крика. Враждебное молчание вокруг, и такое же молчание внутри.

В этот момент страшная сила отбрасывает танк в сторону. Снаряд

разрывается под ним, машина поворачивается, куда-то летит. Танкисты бьются головами о железные стены. КВ-1 вертится как сумасшедший, катки гудят и воют, железные звенья спадают назад.

Глухов выжимает сцепление. Танк останавливается, немного криво опираясь на уцелевшую гусеницу. Все взгляды обращаются к башне. Сережа решительно кричит в микрофон, переключая контакты. Ему никто не отвечает.

– Товарищ Симонов! – зовет кто-то.

Это встает механик, карабкаясь из-за гильз; лицо его залито кровью. Струйки текут из раздробленных скул. В глазах страх.

– Спокойно, не горим, – четко произносит старший лейтенант, но Богатырев уже не слушает.

Поднеся к глазам руки, испачканные собственной кровью, он издает странный рыдающий возглас и протискивается к переднему люку. Хватается за стопор крышки.

– Стоять! – кричит старший лейтенант, спрыгивая и хватая механика за комбинезон.

Он чувствует, как вместе с этим напряжением ускользает от него власть над людьми. Богатырев, лицо которого уже виднеется возле черного круга, закрывающего небо, отталкивает старшего лейтенанта. Он уже мысленно видит эту огромную солнечную лазурь и со сдавленным криком поднимает крышку.

Раздается шипение воздуха, и лейтенант чувствует, как слабеет тело под толстым комбинезоном.

Он втягивает тело внутрь и падает, как мешок с костями. Все погружается в темноту.

– Семен Иванович, – зовет командир, – попробуй отъехать назад. («Это второй», – думает он.) Глухов осторожно включает передачу, мотор работает, железное сердце еще бьется. Танк пятится, волоча корму по земле, неуклюже поворачивает, движется все быстрее и вдруг останавливается как вкопанный.

Все падают со своих мест. Танк попал в противотанковый ров и застыл, высокий и черный на фоне лазури.

Симонов чувствует боль в левой руке. Он начинает искать выход, ладони блуждают на ощупь, но не могут найти рукоятки.

Во мраке вспыхивает голубое пламя. Грохот разрывает барабанные перепонки. Давление газов расплющивает дрожащие тела.

Когда Симонов приходит в себя в красной мгле, он лежит, уткнувшись

лицом в глину. Поодаль горит танк, без огня, дыша низким дымом. Над ним склоняется покрытое черной копотью лицо.

Радист трясет старшего лейтенанта, его голова мотается. Он боялся остаться один. Симонов застонал, все тело у него ужасно болит. Он поднес руку к лицу, оно было чем-то вроде липкой мази. Нос, щеки, лоб болели так, будто в них воткнули сотни иголок. Сережа подал ему фляжку, старший лейтенант с трудом наклонил к ней голову. Пил долго, жадно.

– Глухов? Богатырев? – спросил он наконец, откинувшись на руки радиста, который осторожно его укладывал.

– Погибли, только мы... Снаряд попал в нас со стороны переднего люка. Осколки прошли их насквозь. – Он подсунул под затылок Симонова свою левую ладонь, обвязанную испачканными тряпками.

По телу старшего лейтенанта разливалась невероятная слабость. Когда он приподнял голову, кровь отхлынула вниз, и у него потемнело в глазах. Моргнул и неожиданно сильным голосом сказал:

– Так... значит, где мы?

Сережа передвинул вперед планшет, под мутным целлулоидным окошком которого зеленели квадраты карты. Минуту искал, водя пальцем по красным горизонталям. Но небо над ними темнело все быстрее, его голубой купол маячил смутно и высоко.

– Где-то за Королевской, – сказал он наконец, закрывая большим пальцем черное кольцо, – но не видно уже, товарищ старший лейтенант...

– Сейчас, сейчас. – Симонов пытался думать четко и быстро. – Мы проехали село, затем были те противотанковые рвы, правда? А за рощей началась перестрелка с «пантерами». Если фронт стоит... – Он замолк, удерживая дыхание.

Очень большая территория, темнеющая к востоку, простиралась далеко. В тишине раздавались далекие взрывы. Огонь орудий усиливался и затухал на линии горизонта.

– Похоже, что фронт стоит; видимо, прорвались только мы. – Он упал на живот, обеспокоенный Сережа склонился к нему, но лейтенант оперся руками о траву и медленно, с усилием встал. Он слегка качался на ногах. Шум в ушах накатывал волнами.

– Нечего тут сидеть, Галышкин, нам надо идти.

Он посмотрел на компас, прикрепленный к запястью. Тот был раздавлен – черно-серебристая стрелка висела, смятая, как мушиное крылышко.

– Солнце было у нас сбоку – туда.

Галышкин, обычно столь энергичный и полный уверенности в себе,

молчал. Оба двинулись в тени пригорка, огибая его, пока не дошли до танка. Пахнуло дымом, разогретой краской и трупам.

Перед выходом на ровное пространство они осмотрелись – их фигуры должны были отчетливо чернеть на фоне неба. Не было ли здесь людских глаз?

Руины поднимались над холмом черными струпами. Не слышно было ни шороха, где-то завыл пес, и этот звук, так сильно напоминающий приволжское село, вселил в старшего лейтенанта надежду.

Они вынуждены были пройти рядом с танком. Не сумев удержаться, Симонов ухватился за ворот башни, с трудом подтянулся на руках и заглянул через брешь, которую пробил снаряд.

Дыра была черной и выглядела как паук, который распрямляет конечности: длинные царапины трещин бежали в стороны. В центре темноты сиял желтоватый, слегка поблескивающий шар. Лейтенант наклонился пониже, вздохнул и спустился на землю.

– Что там? – забеспокоился радист.

– Ничего, ничего...

В лицо ему ударил трупный, горячий запах, он увидел верхушку черепа Глухова. Водитель сидел там, упираясь сильно обожженными ногами в педали и сжимая обеими руками тормозной рычаг. Вместо лица... Старший лейтенант содрогнулся: «Это мог бы быть я», – и двинулся вперед.

Они прошли вместе несколько сот метров. Симонов хромал, несколько раз останавливался, и только когда они оказались в окружении редких деревьев, он пошел бодрее и увереннее и не обращал внимания на радиста, который с хрустом давил ветки в двух шагах позади него.

В какой-то момент Симонову почудилось что-то темное между ветвями, он хотел остановиться, но его ослепил блеск фонарика, одновременно над головами прогремел выстрел.

– Halt!^[125]

Старший лейтенант метнулся в сторону, несколько раз наткнулся на деревья, петляя между ними на полной скорости. За ним раздавались крики, пули свистели над головой, ветки хлестали по лицу. Он долго, из последних сил бежал в полумраке, пока не упал. Долгое время он хватал, задыхаясь, ртом воздух и приходил в себя, пока не начал ощущать душистые запахи леса.

Наступила темная ночь. Симонов встал и двинулся вперед, не зная направления, вытянутыми руками ощупывая стволы деревьев. Он был уверен, что Галышкин мертв, и был уверен, что подходит его очередь. Он

пытался это отбросить как чепуху, но слишком тяжелый окружал его мрак.

– Поминай как звали, кого вчера закопали, – прошептал он. На лбу у него выступил холодный липкий пот. Мрак шевелился, кишел звуками, дрожь бежала по земле.

Он шел вслепую, сжимая влажной рукой рукоятку пистолета.

Немецкие танкисты привели Галышкина в село, наградив его по дороге несколькими ударами. Они злились, что его товарищ сбежал. Спрашивали о чем-то, чего он не понимал, – среди них никто не знал русского. Впрочем, они ничего бы не узнали. Сережа не помнил, потерял ли он шлем или же его кто-то сорвал; он шел выпрямившись, окруженный черными танкистами, которые сжимали свои короткие автоматы на ремнях; он шел флотским шагом, враскачку, как моряк-революционер в пропагандистском фильме, и ветер играл его волосами. Ему вспомнился «Броненосец “Потемкин”». Глаза его в темноте были серыми и ясными. Он прошел испытание железом, пройдет и испытание кровью. Он повторял чужие слова из какого-то стихотворения, и сейчас они казались ему его собственными.

Наконец тумачами его направили к каким-то дверям, кто-то громко рапортовал внутри, лающим голосом произнося короткие слова.

Через минуту дверь открылась, оттуда хлынул свет («Откуда целая изба в этих руинах?» – мелькнула мысль у Сережи), и кто-то втолкнул его вовнутрь. В избе, освещенной карбидными лампами, сидели за столом два офицера. Вскоре прибежал переводчик. Светловолосый капитан с мягким взглядом и острым подбородком начал допрашивать Сережу. Раздались первые ворчливые, односложные ответы.

Немцы посмотрели друг на друга; капитан, словно перед нудной, но необходимой работой, встал и пересел на другую сторону стола. Более низкий широкоплечий Сережа внимательно посмотрел ему в глаза. В них не было ничего – спокойные блестящие огоньки.

– Übersetzen sie? Also wo befinden sich die Reserven?^[126] – спросил капитан и замахнулся для удара.

От пылающей боли, от налитых густой кровью сосудов, от красных и черных лоскутов, от неожиданных ослеплений и вспышек он бесконечно медленно уходил в горы. Сквозь полное, тупое оцепенение проникли блуждающие иглы, наткнулись на его тело и начали колоть, разрывая на части. Он открыл глаза. Над ним поднималась черная колонна – сапог солдата. Он так и лежал на полу, когда на него кто-то прыгнул, избив

ногами до потери сознания. Когда боль, причиняемая подкованными каблуками, стала сильнее той, которую он сам себе причинил, закусывая губы, он завыл, завыл страшно, низко, что, впрочем, на привыкших к подобным сценам офицеров не произвело никакого впечатления. Запыхавшийся капитан старательно одернул на себе мундир.

Много раз его поливали водой, ночь была бесконечно длинной. Сережа уже давно перестал повторять слова, исполненные пафоса; слова потеряли смысл, он оглох, ослеп, не было времени, чтобы думать. Он извивался как червяк от ударов, которые все время попадали в наиболее чувствительные места. В какой-то момент мучители опять выплеснули на него воду холодным потоком. Распухшие веки дрогнули, обнажая покрытые красными прожилками белки. Немецкий врач в мундире, с гладко зачесанными назад волосами склонился над ним, осторожно проверил пульс.

– Er lebt noch, – удивился. – Diese Russen – das sind aber Vieher – ja, ja, hier habe ich das schon öftere gesehen – hier, in Russland^[127].

Перевод Язневича В.И.

Новый

Выл ветер. Плотные массы снежных вихрей поднимались и сталкивались друг с другом, с шумом опадали и исчезали в темноте. Гачиньский, стоя на посту перед штабом батальона, топал ногами и ежился, напрягаясь изо всех сил. Ему чудилось, что тулуп, который в избе казался большим и теплым, под хлещущими плетями ледяного вихря уменьшился в размерах и стал ему тесен.

Подняв воротник, он изобретательно сузил щель, через которую смотрел на божий мир. Некоторое время он даже боролся с искушением отставить автомат, чтобы ту же подпоясаться, но канонада на западе усилилась и он передумал. Гачиньский только сильнее затопал ногами, которые проваливались, тонули в снежной, засыпающей все массе. В черной кутерьме сумерек свистело и гудело, на верхушках снежных холмов ветер поднимал развевающиеся гривы метелицы. Гачиньский крепким словцом благословил погоду и как раз начал обходить избу со стороны дороги, когда вдали застучало, зафыркало и уже отчетливо раздалось сильное тарахтение мотоциклетного мотора.

Солдат высунул голову из кожуха, не обращая внимания на ветер, который тотчас же ударил в лицо горстями сыпучего, колючего снега, прислушался. Он напряг зрение, но напрасно: было темно и глухо, обманчиво белел снег, создавая только видимость освещения – все равно ничего не видно. Мотор на минуту утих за холмом, затем взорвался победным тарахтением, выстрелил раз, другой, фыркнул, белым снопом света вырвал из клубящегося мрака длинную полосу дня. В прыгающей полосе света фары мотоцикла закружили миллионы бриллиантовых снежинок. Короткий конус света, смешно и быстро подрагивая, раз и другой ослепил часового, желтый ослепляющий луч остановился, и какая-то большая темная фигура побежала от наполовину засыпанной дороги к комендатуре.

В луче невыключенной фары показался высокий мужчина в кожаной куртке, на плечах которой корка льда и снега образовала фантастические налеты, подобные белым эполетам, и грудки снежной крупы лежали во всех складках его одежды. Он так и бежал, отряхиваясь, глубоко проваливаясь тяжелыми валенками в сугробы, с лицом в тени, только сверкая иголками льда.

– Пароль!

– Краков. Не узнаешь меня?

«Великан» как бы уменьшился – Гачиньский удивился: так это же капрал Жита. Как он мог его не узнать? В это время курьер направился к веранде.

– Что слышно, капрал? – спросил Гачиньский абсолютно неофициальным тоном, выпуская молочные клубы пара.

– Не твое дело, – невежливо буркнул Жита, и дверь захлопнулась.

Внутри затемненной крестьянской избы сидел капитан Тельжиньский и с яростью крутил ручку телефона. Шум открывающейся двери и облако снежинок, обдавшие неожиданным холодом, заставили его повернуться.

– Капитан! – Жита представился как положено, может даже жалея, что в валенках нельзя, согласно уставу, «ударить копытами».

Капитан поднялся.

– Ах, отлично, потому что, черт побери, уже пятнадцать минут не могу до вас дозвониться, а тут командование голову мне отрывает. Ну и что слышно? – спросил он, одновременно пробегая глазами обрывок листка из блокнота, криво исписанный карандашом.

– Как будто хорошо, – сказал нерешительно Жита, – держимся. Мы отбили три контратаки немцев...

– Как это три? Две?

Жита смешался.

– Нет, три... капитан, такое дело...

Он сам не знал, что говорить. Капитан неожиданно посмотрел ему в глаза. Капрал с широким мальчишечьим лицом избегал его взгляда. Он не по-уставному крутил головой, что-то подавлял в себе, подавлял, пока не взорвался:

– Поручик... поручик... погиб.

– Янек? – вырвалось у Тельжиньского.

Непроизвольно он схватил Житу за плечи. Снег на бровях и ресницах капрала таял, и казалось, будто он плакал. Блестевшие в свете карбидной лампы, которая воняла на столе, капли струйками стекали по этому застывшему, грубо вытесанному лицу.

– Да. Врочиньский...

Тельжиньский глубоко вздохнул, подошел к табурету и сел. Некоторое время длилось молчание, пока наконец не раздался чей-то голос, от которого Жита вздрогнул. Это был чужой голос.

– Итак, как это было... рассказывайте все по порядку, – произнес деревянным, сухим, спокойным голосом Тельжиньский, поправляя сдвинувшуюся карту.

– Когда мы при поддержке артиллерии отбили контратаку немцев, поручик сказал мне: «Жита, надо будет подскочить в штаб батальона, чтобы нам прислали противотанковые гранаты. Похоже, что немцы прокладывают тракторами дорогу». И он написал это донесение. Но едва я его взял, немцы накрыли нас, опять палит артиллерия, одни пятнадцатимиллиметровые летят, дай Бог здоровья, носа не высунуть. Я хотел бежать, выскочил, но поручик кричит: «Лежи, болван!» Говорю, что у меня приказ отнести донесение. А он мне говорит, что у меня приказ лежать. Поэтому я залез в окоп – правда, неполного профиля, потому что мы еще даже по-хорошему там еще не обустроились, землянок еще нет, потому что как только вылезем с лопатками, фрицы начинают забрасывать снарядами, поэтому лучше не двигаться.

– Насколько широк сейчас плацдарм? – спросил Тельжиньский, одновременно обращаясь за перегородку: – Гайда!

Сержант Гайда, который переписывал целый ворох бумаг, оторвался от своей работы и подошел к столу.

– Ну, будет с полкилометра... Было больше, но нас зажали. Так точно накрыли переправу, что лед стал трескаться. Второй взвод начал прыгать через реку, но поручик удержал его, чтобы огонь пошел дальше. Потому что они совершают такие вылазки и передвигают огонь все дальше, на другой берег. И как раз когда он говорил по телефону, кажется, с вами, – Тельжиньский, хмурый и молчаливый, кивнул головой, – его убило. В самую голову получил, осколок вышел у него с другой стороны... И в эту минуту немцы пошли в атаку. В третий раз. Танков, слава Богу, не было; впрочем, не представляю себе: в такую ночь? Значит, мы их как-то отбросили, и из-за того, что надо было там посуетиться возле командования, я поехал только тогда, когда немного успокоилось, ну и чтобы вам доложить...

– Кто теперь командует?

– Сержант Мигас.

– Машина у вас есть?

– Я на мотоцикле приехал.

Тельжиньский забарабанил пальцами по столу.

– У меня противотанковых уже нет, все взяла вторая рота. Поедете в полк, там вам дадут. Гайда?

– Да, капитан.

– Напишите ему там что надо. Ага, и еще одно. – Тельжиньский посмотрел на Житу. – Командование должно было мне прислать тут какого-то подпоручика в адъютанты, потому что Врочиньский неожиданно

сбежал. – Он стукнул рукой по столу, буркнул что-то невнятное и продолжил: – Ладно, я уж как-нибудь обойдусь. Возьмете его, и пусть пока будет у вас. Официально все сам улажу. Гайда, соедините меня со штабом.

Гайда прошелся солидным пресс-папье по исписанному листу бумаги, вынул из ящика печать, дунул, прищурил глаз и стукнул так, что даже стол затрещал. Он подал документ Жите и, подойдя к телефону, снял трубку, крутя ручку вызова.

Жита стоял в нерешительности.

– Так я уже могу ехать?..

Тельжиньский словно очнулся. Он весь поник и сгорбился, лицо обвисло вертикальными линиями морщин. Глаза, которые смотрели на Житу, на одно мгновение обратились в какую-то незримую даль. Капралу показалось, что они подозрительно мокры. Но капитан сказал спокойно и ровно:

– Езжайте. Чем быстрее, тем лучше. Не думаю, что они будут атаковать еще раз, если вы задали им перцу, так?..

Жита скривился.

– Дали им, капитан, но это не обычная пехота.

Капитан накинуся:

– Так почему не говоришь, болван? Подбросили резервы?!

– Это, кажется, эсэсовцы, плохо их было видно, потому что их на подходе перестреляла головная группа, до нас никто не добежал. Но в третий раз, когда зажглись прожекторы, нам показалось, будто они были какие-то другие.

Тельжиньский скривился:

– Что ты мне тут сказки рассказываешь! На расстоянии, ночью разглядели или как?

Жита смешался. Большой, закутанный в кожаную куртку, он пожал широкими плечами:

– Поклясться-то я бы не поклялся, но потом, как шли они на нас, показалось мне, что они какие-то не такие. Под огнем падали и шли. Как сумасшедшие...

– Хм, может быть... – Тельжиньский не собирался теперь пренебрегать рассказом Житы. – Ну что поделаешь, подкрепления все равно не будет. Второй взвод как лежал на этом берегу, так пусть и лежит. Впрочем, у вас будет новый командир, пусть он решает. Может, даже не возвращайся с ним сюда, а я утром пришлю бумаги с посыльным. Ну, можешь идти.

Жита сжался, развернулся и открыл дверь. Потянуло ледяным ветром

и снегом. Закрыв дверь, Жита подбежал к мотоциклу, возле которого крутился Гачиньский. Только теперь капрал спохватился, что не погасил фару, и сочно выругался.

«Черт подери, аккумулятор сядет к чертям. Это из-за поручика, голову мне задурил», – объяснял он сам себе, выводя машину на середину шоссе, где, по его расчету, было меньше снега.

– Ну как, капрал, держимся? Как там? – допытывался Гачиньский, которому страшно надоело стоять на посту. Небо на западе, закутанное в черные шкуры туч, громыхало далеко и гулко медленным, привычным отзвуком канонады.

– Держимся. Уж ты не бойся, следи лучше, чтобы тебя никто не украл, – сказал Жита и с яростью нажал на стартер мотоцикла. Мотор, еще теплый, разразился плавной серией хлопков.

Гачиньский открыл рот, но ветер кинул ему в лицо клубы снежной пыли из-под колес набирающей скорость машины. Он ничего не сказал, только следил за спускающимся в метель белым языком света, пока тот не исчез.

Жита, склонившись над рулем, совершенно ослепленный, через некоторое время с отчаянием сорвал с головы залепленные снегом защитные очки, которые только закрывали ему обзор, и прищурил усталые, болевшие от мороза и снега глаза, стараясь не вылететь из седла. Всю дорогу он видел перед собой подпрыгивающее на вырванных светом фары из ночи холмах, на придорожных, белых призраках деревьев, на кажущихся гигантскими при свете ярко-белого снега поворотах лицо Тельжиньского.

– Вот не повезло, пся крев! – сказал он, в конце концов, громко, но ветер заглушил слова, и они не принесли никакого облегчения.

В штабе он пробыл недолго. Когда солдаты присоединяли к мотоциклу прицеп, наполненный тяжелыми противотанковыми гранатами, он ковырялся в моторе, заботливо соскабливая корку льда и одновременно рассматривая своего пассажира, поручика, которого он должен был отвезти в роту.

Новый офицер был низким плечистым мужчиной. Возле штаба было постоянное движение, и каждую минуту какие-то машины то заезжали, то выезжали, и свет их фар освещал его лицо, большое, неподвижное, с загнутым носом, с пушистыми, искрящимися снегом бровями. Он ждал, пока Жита заправится, говорил мало, спрашивая только о конкретных вещах: сколько людей, сколько станковых пулеметов, как с боеприпасами, где санитарный пункт, – собственно говоря, все по существу, и Жита сам не понимал, почему в нем возникает какая-то неприязнь, пока не подумал, что,

может, просто потому, что новый – это не Врочиньский.

Наконец они уселись, мотоцикл с минуту ворчал на месте, потом его колеса беспомощно заскользили по обледеневшей площадке, снег полетел из-под забитых льдом спиц, пока мотоцикл, подталкиваемый с помощью ног, не двинулся к шоссе и не разогнался на прямой.

Обратная дорога прошла без приключений. Только когда за сожженной мельницей они свернули к переправе, раздался близкий звук канонады и кое-где темноту разорвали красные вспышки взрывов. Жита машинально посмотрел на пассажира, который сидел неподвижно, и добавил газу.

Мотор работал с натугой, когда они переваливали через холмы. Но во время спусков с горы мотоцикл ехал легко, и вскоре уже вдалеке огромными дырами прорубей, пробитыми тяжелой немецкой артиллерией, зачернела Висла.

Опять загремело, и фонтаны снежной пыли вместе с комками земли засвистели над головами ездоков. Другой берег отзывался глухим уханьем тяжелых орудий, и розовое сияние артиллерийских сполохов подсвечивало подвижную вереницу туч.

Возле переправы телефонисты соединяли провода.

– Что слышно? – спросил Жита.

Они не оторвались от работы. Один, высокий, худой, дыша на окоченевшие руки, безразлично сказал:

– А ничего. Кажется, что снова начинают.

Кто начинает и что, никто не спрашивал. У избы, в которой размещалось командование второго взвода, они оставили мотоцикл и двинулись на другой берег. Когда они были на середине, ночь неожиданно разорвал огромный длинный столб застывшего белого света: огромный луч немецкого прожектора бежал по льду. Они упали в снег. Прожектор скользнул по ним, и все опять погрузилось в полный мрак. Жита заморгал ослепленными глазами и поднялся. В это время воздух над ними стал сгущаться. Невидимые воюющие снаряды разного калибра проносились у них над головами, земля, а потом и лед задрожали от подводных взрывов, посыпался режущий град раскаленных осколков, комья снега и льда разлетались во все стороны. Несмотря на то что берег был близко, дальнейшее передвижение стало невозможным.

Жита посмотрел на лежавшего рядом офицера. В штабе поручик ему представился. Был он как бы из благородных, спокойный, уравновешенный. Может, немножко угрюмый, но вежливый. Фамилия у него была типа Рытар или что-то в этом роде. «Наверняка псевдоним со времен оккупации», – подумал Жита, но у него тут же прошла охота

размышлять, потому что несколько раз подряд снаряды легли рядом с ними, лед затрещал, черная и холодная река широко выплеснула на снег снопы ледяных брызг. Аж передернуло – такая вода холодная. Разрывы пошли ложиться дальше, поручик вскочил первым и побежал.

– Берегись! – крикнул Жита и вдруг увидел освещенное вспышкой взрыва темное и грозное лицо поручика, он мельком посмотрел на него и крикнул: – Сейчас будет атака! – Вскочил и побежал, больше не оглядываясь.

Они выбрались на крутой берег, хватаясь за кусты, накрывающие их шапками легкого снега. Жита шел первым. Наступила тревожная тишина. Проваливаясь в сугробы, тяжело дыша, с яростью проклиная это снежное месиво под ногами, капрал, несмотря на темноту, вел спутника вперед. Когда он дошел до линии холмов, белеющих на фоне черной бездны хмурого неба, потребовалось преодолеть мелкий соединительный ров. Лучи немецких прожекторов торопливо и бойко прочесывали белые долины, а вслед за этим раздавались отдельные выстрелы снайперов.

В конце концов, задыхаясь и вспотев, они дошли до окопа неполного профиля с накатом из бревен, которому еще только предстояло превратиться в землянку.

Люди, работающие в темноте, встали на звук твердого голоса Нового. В короткой речи он объяснил, кто он и зачем прибыл.

Но не закончил.

Потому что все вокруг завывало, ужасно загрохотало, посыпались комья замерзшей земли и снега, град осколков от снарядов всех калибров. Люди бросились на дно окопа, напряженно дыша в снег, который ледяным холодом сковывал тело, вжимались в него, ожидая конца этого ада.

И наконец сумерки взорвались дождем частых выстрелов.

– Атакуют! – полетело по траншее, словно искра вдоль фитиля.

Окоп в подразделении, в котором командиром был Новый, сразу вскипел хаотической стрельбой, а сам он уже с автоматом в руке напрасно пытался сориентироваться в ситуации, но вот уже затарахтели два «максима».

– Ракеты!

Снова взлетели красные звезды сигнальных выстрелов. Настойчивым языком умирающих в поднебесье огней они требовали поддержки артиллерии.

– Наверное, не видят – такая метель, что за два шага ничего не видно, – сказал Жита, выдувая снег из ствола немецкого «шмайсера». Он еще ни разу не выстрелил, потому что предпочитал бить наверняка.

Где-то взорвалась пара ручных гранат.

– Идут! Гранаты где?

У Житы был под рукой целый ящик. Их передавали по цепочке, из рук в руки. Воздух загудел и наполнился резким свистом и шипением пуль. Один «максим» умолк, словно подавился, твякнул еще раз и замолчал. Новый повернулся к солдатам.

– Похоже, подходят, – сказал он. Голос у него был низкий и ровный.

И уже снег вдаль закишел черными тенями, хаотичная стрельба стала более четкой и плотной. Единственный пулемет, уже не щадя боеприпасов, лупил в подвижную темноту сериями. «Шмайсер» Житы присоединился к общему хору резким, быстрым треском. Густо сыпались горячие гильзы. Там, где они падали, снег таял, образуя темные ямки.

Немцы залегли. Постепенно напряжение проходило. Огонь становился более редким и вместе с тем не таким нервным. «Максим», который заело при зарядании, наконец-то заработал. Подступы опустели. Немцы отступали в темноту. Только черные неподвижные пятна густо лежали здесь и там на белых дюнах.

Впереди солдаты краткими перебежками достигли окопа, раз и другой хлопнули взрывы ручных гранат, но скоро и там повисла тишина. Новый послал капрала узнать, что там происходит. По пути Жита встретил людей: они вели двух пленных.

Действительно, это были эсэсовцы из дивизии «Grossdeutschland»^[128].

Капрал Жита терпеть их не мог.

– Ах, мерзавцы! – сказал он, а когда они спустились по склону пригорка, посветил фонариком.

Две белые фигуры в длинных защитных капюшонах остановились с наполовину поднятыми руками.

– Подлецы! Это все из-за них!

Кулак Житы мелькнул в темноте. Высокий немец, получивший удар в лицо, охнул и упал в высокий снег, откуда начал неуклюже и неохотно выбираться. Жита ударил во второй раз, как молотом, уверенно держась на ногах, замахнулся и выбросил вперед большой кулак. Другого ударил наотмашь, под дых.

– Капрал, – раздался сзади резкий голос.

Жита не слышал. Опыренный огромной, священной, красной злостью, он бил фрица в морду.

– Капрал! – раздалось во второй раз, но так, что Жита отрезвел.

Новый стоял в голубом свете поблекшего фонаря и сверкал белками глаз.

– Это позор! Бить безоружных – это подлость. Пожалуйста, проводите их на другой берег, в ту избу, возле которой мы проходили.

Он назначил охранника.

– Сейчас я туда приду. А с вами я хотел бы поговорить, – обратился он к Жите.

Капрал погрозил тяжелым разбитым кулаком в сторону уходящих немцев. Не так легко было погасить в себе злость.

– Почему вы их били?

Жита переступил с ноги на ногу. Оба они стояли, укрытые от ветра низким, но крутым склоном пригорка. Воцарилась тишина. Капрал смотрел офицеру под ноги и молчал.

– Ну?

– Много я мог бы рассказать... – Жита поднял голову и с отчаянием крикнул ему в лицо: – Жену мою убили и ребенка. И все.

Поручик не дрогнул.

– Мстить надо, – сказал он, – но не так, не так...

– Это я понимаю, поручик. Но эти большие красные рожи, и эти квадратные шлемы, и квадратные головы – лупил бы их и лупил, и бил бы в эти мерзкие морды, пока меня или их кровь не зальет...

Поручик слегка пошевелился.

– Молчите, капрал, я запрещаю вам издеваться над пленными. Если это повторится, будете наказаны. Понятно?

– Так точно, поручик, – пробормотал Жита.

– Так-то!

Новый повернулся и исчез в ночи. Жита поднял руку к лицу и осмотрел пальцы – костяшки были исцарапаны, разбиты. И словно волна удовлетворения прокатилась по его телу. Внезапно на мрачно-белом фоне снежного холма показалось пустое пространство, торчавшая из еще пахнущего копотью пожарища печная труба, угли сожженного забора, одинокий раздутый труп коровы и синий дымок, который летал над всем этим, кружась медленно, медленно...

– Пся крев! – выругался Жита.

Ненависть была сильнее его; выплеснутая в вихре борьбы, она поднималась откуда-то снизу и опять заполняла его сердце.

Поручик обошел по траншеям почти весь фронт плацдарма, послал несколько человек на другой берег за боеприпасами и вернулся в землянку. Здесь он долгое время прислушивался, но, слыша только шум и шелест ветра, приказал сержанту Мигасу в случае необходимости его вызвать и пошел через реку к избе на переправе.

Маленький покосившийся домик стоял в темноте, так удачно закрытый кольцом холмов, все более низких по мере приближения к Висле, что уцелел в суматохе и кутерьме войны. По дороге поручик встретил Житу, который побывал уже на другом берегу, чтобы связаться со службой связи.

– Идите со мной, Жита, – сказал Новый. – Умеете красиво писать?

– Да, умею... поручик... – буркнул капрал и двинулся вслед за офицером.

Перед избой стоял часовой. Поручик как бы заколебался, но тут же толкнул дверь и вошел внутрь.

Окна были завешаны тряпками. Оба немца, уже освободившись от больших белых маскхалатов, сидели в своих зеленых мундирах на земле в углу. Ефрейтор Вильга подбрасывал в большую печь сырые поленья, которые дымились и шипели, не давая настоящего пламени.

Поручик осмотрелся, увидел стол с горевшей на нем маленькой керосиновой лампой без стекла и уселся на придвинутом низком чурбаке. Затем позвал Вильгу и Житу, и начался допрос пленных.

Когда поручик приказал пленным выложить на стол все имеющиеся бумаги, документы и предметы, они начали это делать медленно, нехотя. Наконец в прыгающем красноватом свете на пыльных досках образовалась кучка вещей: трое часов, платочки, перочинные ножики, портсигары, кисеты для табака или папирос.

– Это все? – спросил поручик по-немецки.

– Ja, ja^[129], – забормотали немцы.

– Ребята, общите их.

Немцы как будто вздрогнули, хотели отступить, но в мощных лапах Житы не оказали сопротивления. Вильга присматривал сзади, а Жита быстро и со знанием дела ощупывал карманы кителя, штанов, швы одежды. И вдруг что-то захрустело, показалась квадратная нетолстая пачка бумаги, которая упала на стол. Поручик наклонился, приблизился к лампе – заблестели черно-белые фотографии.

Жита первым почувствовал запах горящих волос.

– Поручик, – крикнул он, – осторожно, волосы горят.

Но тот словно не слышал. Только через секунду вздрогнул и сказал, поднимаясь на руках над столом:

– Откуда у вас эти фотографии?

Немцы съежились. Как две большие зеленые лягушки, они покрылись липкой слизью холодного пота. Глаза у них забегали, и лица стали удивительно белыми и безжизненными.

– Я нашел... это не мое... – бессмысленно бормотал один.

В это время Вильга и Жита закончили обыск второго – в этот раз на стол полетел туго набитый бумажник. Поручик еще им не занялся.

Жита наклонился, глянул на фотографии, стиснул зубы и недовольно засопел.

Фотография первая: большой перекрученный клубок человеческих тел. Женщины, мужчины, все нагие, внезапно захваченные смертью, наваленные так плотно, что ни клочка земли под ними не видно. Все пространство снимка занимает нагромождение рук, ног, животов, женских грудей, мертвых лиц, сжатых кулаков...

Фотография вторая: большая яма полна выступающих рук, ног, животов, ягодич, спутанных волос. Надо рвом – несколько стоящих голых людей. На их лицах и в глазах застыло выражение безумия. Бессильной просьбы. Крайнего, бездонного, неприкрытого и пронзительного страха. Мольба в глазах. Молитва. А рядом, живописно опершись на винтовку, стоит эсэсовец. Он слегка улыбается, игриво касаясь носком ботинка выступающих из рва мертвых конечностей.

Фотография третья: на перевернутом ящике стоит мужчина в белом плаще. На голове – цилиндр. На цилиндре стоит бутылка с отбитым выстрелом горлышком. Поодаль какой-то немецкий офицер с пистолетом в вытянутой руке прицеливается в бутылку. Лицо человека на снимке белое как бумага и пустое. Нечеловеческое, перекошенное страхом лицо.

Фотография четвертая: опять гора трупов. Несколько немцев, широко расставив ноги, позируют на первом плане...

– Откуда эти снимки? – спросил поручик тихим и будто бы спокойным голосом, но таким, что даже у Житы мурашки побежали по спине.

Капрал медленно выпрямлялся. В голове его был сумбур. Поднес руки к глазам, протер их, еще раз посмотрел на фотографии и скривился. Ему стало нехорошо.

Немцы понимали, что дело плохо. Они горбились и уменьшались, сжимались и тряслись под темным сверлящим взглядом поручика.

– Это ничего – это только – только – евреи, – начал наконец тот, у которого нашли фотографии. – Nicht Polen sondern Juden... nur Juden... ja^[130], но это не мы... не мы...

– Ах так, только евреи, – протянул поручик, – отлично, мерзавцы. – Рука у него сжалась в кулак, но он сдержался.

– Жита, пишите протокол.

Жита сел. Поручик медленно диктовал, одновременно открывая бумажник, но вдруг осекся на полуслове.

– Из сорок седьмого полка бронетанковой гренадерской дивизии «Grossdeutschland»? – повторил Жита, но, не слыша ответа, повернулся к поручику.

Тот сидел, сгорбившись над столом. Но в его силуэте появилось нечто такое, отчего у капрала ком встал в горле.

– Поручик... – начал он.

Поручик начал подниматься из-за стола. Он вставал медленно, словно никак не мог выпрямиться, и пошел от стола на немца, который отступал перед ним, пока спиной не ударился в шероховатые бревна стены.

Поручик поднес к его лицу какой-то маленький блестящий предмет, который держал в пальцах, и спросил:

– Откуда это у тебя? Говори, откуда это у тебя?! Говори!

Он не повышал голоса, но немец задрожал, и руки его, бессильно искавшие какую-то опору, спасение, шарили по дереву, и ноги подогнулись в коленях, потому что в горящих темных глазах поляка он увидел смерть.

– Nein! Nein! Gnade!^[131] – бормотал он, падая на колени.

Рука поручика сама потянулась к кобуре.

– Говори, откуда это у тебя, говори сейчас же, du Möerder!^[132]

– Я ее не убивал, она уже была мертва, когда мы пришли, – заговорил немец каким-то странно тонким, ломающимся фальцетом. Он по-прежнему стоял на коленях.

– Не убивал ее? – Это не был голос поручика. Он отпрыгнул назад, хватаясь за рукоятку пистолета, но тот застрял в тесной кобуре.

Воцарилась тишина. Немец вытаращенными, безумными глазами уставился на пригнувшегося поручика, который, полуобернувшись, возился с пистолетом. Повисла страшная тишина.

Нарушил ее сухой треск, и раздался голос Житы:

– Поручик, говорит капитан Тельжинский из штаба батальона.

Поручик замер. Чуть закачался на ногах, потом руки у него повисли, и деревянным шагом он подошел к столу. Тут он вновь, чтобы не упасть, схватился за столешницу, так что та даже затрещала. Потом опустил на чурбак, прижал трубку к уху и начал говорить. Он говорил медленно, словно сквозь сон. Наконец бросил трубку.

Повернулся лицом к стене, минуту смотрел на свою собственную огромную тень, пока не сказал:

– Вильга?

Солдат отозвался:

– Да, поручик.

– Возьмите часового со двора и проводите немцев в штаб батальона. Там есть переводчик, пусть закончат допрос. Скажешь, что я плохо себя чувствую и потому не могу закончить...

– Слушаюсь.

Немцы встали. Вильга взял автомат, щелкнул предохранителем, указал жестом на выход, жест резко подкрепил коленом, и они вышли. Дверь хлопнула, и наступила тишина.

Жита раздувал печь, стараясь не смотреть в сторону поручика.

– Капрал?

Жита вздрогнул, но не сдвинулся с места. Он усердно дул на слабые, дымящиеся огоньки.

– Жита?

– Да, поручик...

– Идите сюда...

Капрал встает и идет к столу. Он идет неловко, покачивая при ходьбе большими узловатыми лапами. Поручик Новый сидит, пряча лицо в ладонях. Перед ним на столе лежит полуоткрытый, опорожненный бумажник из сильно поврежденной коричневой кожи. На листочке бумаги – маленький золотой медальончик Непрестанной Помощи Матери Божьей. Вместо нимба весело искрятся голубым три маленьких сапфира.

Между пальцами стекает что-то и падает плоской искрой света на серую поверхность стола. Поручик не стыдится капрала Житы.

Он медленно встает, вытягивает руку. Тяжелая жилистая лапа Житы движется навстречу.

Пожатие рук их объединяет.

Они долго молча смотрят друг другу в глаза.

– Да, Жита... – говорит поручик Новый.

И по лицу его стекает крупная, тяжелая слеза.

Перевод Язневича В.И.

Встреча в Колобжеге

Ранней весной сорок пятого года буря железа и огня прошла по обдуваемым первым теплым ветром приморским землям. Днем и ночью передвигались по перемалываемым в бездонные болота дорогам перемешанные потоки отступающих немецких войск. СС-дивизии «Латвия», Десятый корпус СС, французская дивизия СС «Шарлемань», подразделения, сформированные из неоднократно разбитых частей, таких как «Шнейдемюль» и «Мэркиш Фридланд», батальоны «Мэркиш Фольксштурм», жандармерии, полиции, учебные и резервные полки – вся эта масса, разноречивая, зачастую кое-как обмундированная, дерущаяся за место на гусеничных машинах и танках (только они могли преодолевать жидкое и постоянно увеличивающееся месиво дорог), загромождала перекрестки, в конвульсивных судорогах пересекала некоторые еще не разрушенные мосты, продвигаясь по ним как по слишком узкому горлу, и стремилась на запад. Ее целью были Одер и море. Только б допрыгнуть и перепрыгнуть, ибо там было возможно какое-то спасение, какой-то берег, а может... может, в последний момент разразится огнем тайное оружие?..

Среди этих десятков тысяч человек, движущихся в направлении реки и моря на автомобилях, телегах, оружейных лафетах, пешком и на лошадях, шли также толпы беженцев: стариков, женщин и детей, движущихся со слепым исступлением, хаотично и без цели, унося на себе символические остатки бывшего благополучия, – толпы, которым происходящее на фронтах казалось концом света, рушившим установленные веками справедливые законы и превращавшим в прах и пожарища созданную многолетним трудом жизнь. Среди всеобщего отчаяния и беспрестанной тревоги, которая вынуждала остающихся позади, слабейших или переутомленных, постоянно оборачиваться, шли представители всех народов Европы. Многие же, гонимые общим потоком, загнанные отрядами патрулей и жандармерии, вопреки своей воле тащились через месиво дорог к затянутому весенними тучами Кольбергу^[133], также часто в пути останавливались, оглядываясь назад. Но они смотрели по-другому – с пылающей во взгляде надеждой они посматривали на беспокойный горизонт, над которым под высоким солнцем жужжали одиночные металлические насекомые – самолеты-разведчики. Железные клыки Гвардейской бронетанковой армии издали шли через болотистую мякоть бездорожья к морю, отделяя подвижной стеной целую территорию

Восточной Пруссии, а снизу, твердым прессом, напирала польская Первая армия, подвижным огнем перенося узкую полосу нейтральной земли все дальше на север.

Каким образом попал Олек в этот движущийся гигантский хаос, в это скопище войск, разбитых на отдельные человеческие элементы, отгороженные друг от друга и взаимно сталкивающиеся? Позже он сам не мог точно вспомнить, где и когда подхватил его все увеличивающийся и каждую минуту вязнувший в болоте поток транспорта, в котором постоянно раздавались пронзительные голоса, а обезумевшие офицеры с черными нашивками приставляли друг другу дула револьверов к груди, требуя дать дорогу.

Время, которое он, вывезенный в 1941 году, провел на работах в Рейхе, время, исполненное опасностей, неприязни и тяжелого подневольного труда, вдруг в один день закончилось в глухом грохоте тяжелой артиллерии. Словно усиленная в сто раз молния ударила в городок – улицы заполонили людские толпы, закрипели детские коляски, нагруженные чемоданами. Обезумевшие люди, охваченные паникой и страхом, двинулись на запад, и одновременно по главным улицам грохотали немецкие танки, но отнюдь не усыпанные цветами, как это бывало раньше, во время триумфальных парадов.

Олек шел в Кольберг охотно: там была Зося. Последнее ее письмо с новым адресом было у него во внутреннем кармане куртки, на груди, и этот серый листок грел его сильнее, чем полинявшая и просвечивающаяся ткань. Но городок слишком поздно был поднят по тревоге, а подводы и автомобили в первую очередь захватили местные начальники: тяжелый клин бронированных гвардейских танков, приданных как раз перед этим пехотной дивизии Первой польской армии, врезался в предместья Кольберга до отхода последней группы беженцев. Короткий обмен выстрелами с отступающим тыловым охранением немцев Олек переждал во рву, полном грязи, после чего встал – и встать уже мог во весь рост.

Когда головная группа, забрызганная комьями грязи, размахивая шапками и что-то крича, подъезжала к темнеющему городу, из которого все отчетливее доносился грохот работающей артиллерии, Олек стоял с группой людей – бывших военнопленных, заключенных, сбежавших из лагерей, работников, – а согнутые фигуры неожиданно стихших немцев растворились в темноте за приоткрытыми дверями разбитых домов. Никто из стоявших не отвечал на приветствия, какое-то небольшое смешное знамя на кривой палке, которой размахивал плечистый француз, сливалось вместе с ними с темнотой ночи. Машины, облепленные пехотой (еще были видны

конфедератки попеременно со шлемами на фоне неба) проезжали рядом, рычали моторы артиллерийских тягачей, а они все стояли. Стояли так долго с пересохшими горлами, как бы желая поглотить эту темноту с пролетающими моторами до дна, упиться этим шумом, не несущим уже никакой опасности. Потом Олек в одиночку пошел в город. Вскоре он наткнулся на солдат, они передавали его друг другу, он слышал все известные и неизвестные говоры, мягкие акценты львовян и строгую певучесть вильнян, с кем-то даже целовался, но из-за темноты не смог узнать земляка, впрочем, не все ли было равно? Какой-то сержант уже сразу хотел его обмундировать. При этом он похлопывал его так сильно, что чуть душу из него не вытряс, однако Олек, несколько смущенный таким приемом, стал искать начальство.

Офицер – о чудо! – выслушал его. Это был маленький веснушчатый поручик, словно брат-близнец того, который мучил Олека на службе в 1938 году, но теперь то «мучительство» было похоже на чудесное розовое воспоминание детства, и Олек чуть ли не на «ты» обратился к строгому блондину.

– Значит, хочешь в город? – спрашивал тот, в задумчивости покусывая мундштук папиросы.

В это время батареи в порту и какие-то корабли в море стали накрывать секторы огнем все более планомерно, ночь наполнилась грибами взрывов, все вокруг выло и трещало, а в воздухе висела кирпичная пыль.

– В город хочешь, на прогулку? Так, – сказал он, когда Олек показал письмо и фотографию. – Так.

Он уже не шутил, когда посмотрел снимок, только белые брови высоко поднялись на казавшемся маленьким под шлемом лице.

– Ну да, но это абсурд – или наши прикончат, или немцы, – в конце концов сказал он.

Олек посмотрел ему в глаза. Тот как бы устыдился – к счастью, опять прибежали курьеры. Поручик записал в блокнот приказы, потом выскочил из временного убежища, и через минуту стал слышен шум приближавшейся немецкой пехоты. За окном послышался топот сапог – пробежал какой-то солдат, – и наступила тишина. Поручик вернулся через минуту, испачканный грязью, посмотрел на Олека: «Ага, ты еще здесь», – и пожал плечами.

Однако столько странного всего происходило, что когда Олек, бормоча какие-то слова благодарности, оказался на улице между двумя солдатами, то вовсе не удивился. У себя в руках он обнаружил две коробки с пулеметными лентами, а некий Франек дал ему толстую самокрутку –

нужно было воевать.

Стены начали крошиться от попадания одиночных пуль. Они провели эту ночь в поспешно вырытом окопе за горами мусора среди отдельных домиков, планомерно разбиваемых немецким заградительным огнем. Тучи расступились: начинался рассвет, грязный, желтоватый и вымученный, словно после бессонницы, будто он целую ночь ждал этого момента. Пули били из ниоткуда, было видно только каменную грудь мостовой, вымершие улицы, согнутый фонарный столб, пустой бункер, похожий на выпуклую стену, с амбразурой – и ничего больше. Олек сжимал в ладонях тяжелые коробки с лентами, распластавшись за бетонной канализационной трубой, а сзади подбегали солдаты с автоматами. Потом раздался крик, перекрестный огонь с обеих сторон образовал над их головами густую сетку, и Олек вскочил со всеми и побежал.

Пустые улицы незнакомого города. За углом раздался треск автомата, рядом захрустело стекло под подошвами, а чуть подалее медленно поднимались клубы дыма. Вдали пылали портовые склады. Бой, наблюдаемый вблизи, представлялся чередой четких, мгновенных картинок. Когда они прошли по какой-то длинной, слабо защищаемой улице, неожиданно – сбоку – до них донесся звук приближающегося железного потока. Все упали. Тут же бессильно отозвался яростный грохот автоматов. Две тени выскочили сбоку, неся как бревно длинное и тонкое ружье – противотанковое. И тут же из-за угла выползла высокая и массивная «пантера». В панцире из серого ободранного асбеста она выглядела как обросший мамонт. Гротескно тонкое и длинное дуло пушки танка покачивалось, когда стальной гад переползал через тротуар и приближался. За ним был слышен лязг гусениц второго.

– Пся крев! – У стрелка противотанкового ружья было только два заряда.

Товарищи Олека, залегшие под стенами, упали за камни, когда первые очереди пулеметного огня полились из башни танка. Улица стихла на минуту, и этот момент крайнего напряжения навсегда остался в памяти Олека: тут же впереди над домами появились дымные хвосты ракет. Потом одна красная загорелась вверху. В воздухе послышалось звонкое зудение: летит тройка самолетов. Далеко и высоко. Олек присмотрелся: высокий звук переходит в пение, в грохот, вытье, рев. Самолет, волоча за собой легкую тень, на огромной скорости проносится над морем каменных домов. Рев двигателя даже вызывает боль в ушах. И вдруг все затряслось от мощных и частых взрывов – раз, и второй, и пятый, и вот уже далекое, поднебесное пение, а также напряженный шум удаляются.

Уже приближается второй самолет, когда за первым, как бы удерживаемый невидимым ремнем карусели, закрывается сияющий люк. Падает, как черная молния, и опять раздаются сильные, частые выстрелы. Мозг начинает работать: «Ага, это он из бортового орудия стреляет. Наверное, в «пантеру»».

И в этот момент раздается крик. Страшный человеческий крик. Олек, который до этой минуты лежал как мертвый за кучей какой-то рухляди, остатков незаконченной баррикады, теперь поднимает голову.

На углу улицы стоит «пантера» и горит. Из передней ее части клубами валит черный тяжелый дым. И кто-то кричит, кто-то открыл малый люк, откуда валит этот черный дым, без огня, только дым и дым. Черный как смола, он низко стелется. Олек забывает, что там немцы. Сукин сын, почему он не откроет главный люк? Ему кажется, что он сам сидит в закрытом стальном ящике, а огонь горит, печет, пламенем обвивает тело, разъедает лицо, мясо сочится кровью, кипит пеной и отделяется от костей... Ах...

Пролетает последний самолет. Пилот наверняка видит высокий столб дыма и поэтому не стреляет. «Пантера» ползет медленно-медленно. Освобожденная от власти человека, она лезет и лезет вперед. Стукнулась плоско срезанным, тупым передом о стену каменного откоса и остановилась. Стена немного раскрошилась, гусеницы возвращаются еще минуту – и останавливаются.

Второй танк куда-то исчез. Но сзади, за спиной, раздается железный лязг, и появляется танк, перед которым пехота торопливо расступается, прыгая под стены. Это гигант, какого Олек еще не видел. Ужасно длинный, с дулом орудия в несколько метров, спокойно перебирает полосами широких гусениц, давит брусчатку мостовой, подвигается к баррикаде и переползает через нее, громыхая многочисленными катками. На танковой броне из литой стали краснеет немного облупившаяся, затертая, но еще читаемая надпись: «МСТИТЕЛЬ».

Он заревел, взорвался клубами выхлопных газов из двух параллельных труб и обогнул «пантеру». Тотчас появилось еще больше солдат. Один из них даже сел у ворот и стал перематывать портянки...

– Ты, что с тобой? – отозвался тогда кто-то (Франек?).

– А что?

Он показал на лицо Олека. Тот коснулся лба: мокрый. В первую минуту подумал: «Ага, меня в голову ранили». Он почувствовал зияющую пустоту в области солнечного сплетения и холод. Вместе с тем отдельные капли, стекающие по лбу, загустели. Он поднялся с колен, прижал платок.

Чуть выше лба он нащупал длинную рану с неровными острыми краями.

– Счастливчик, – произнес коренастый низкий солдат, который приводил в порядок противотанковое орудие.

Теперь Олеку не нужно было носить коробки с боеприпасами, ему нужно было искать санитаря, который, впрочем, быстро нашелся. Когда он стоял на коленях на холодной мостовой, а санитар торопливо обматывал ему голову белым бинтом, откуда-то сбоку донесся победный крик.

Под жесткими пальцами солдата он повернул голову: на площадь въезжал дивизион реактивных минометов.

Санитар также был взбудоражен. ««Катюши»»! – закричал он и приблизился к расчету, который спрыгивал на землю. Сзади ехала полевая радиостанция.

К «катюше» невозможно было приблизиться. Странные контуры длинных установок, закутанные в брезент, торчали наискось в небо. Олек подошел к радиостанции.

Здесь, в хозяйстве Миши-телеграфиста, можно было узнать последние новости. Его ловкие пальцы начали вращать верньер, заставляя свистеть и петь динамик под аккомпанемент работающего генератора и грохот близких разрывов, до которых уже никому не было дела, потому что с обеих сторон войска дошли уже до моря, вся Вторая немецкая армия в котле, и потому что прибудет подкрепление, а когда точно, сказать невозможно.

– Ха, теперь все пойдет к чертовой матери! – сказал Миша, добродушно морща лицо в улыбке.

Олек с удивлением прислушивался к четырехэтажному проклятию, которым телеграфист награждал немцев, отдельно выделяя СС, и подумал: «Наши ругательства слишком слабые. Надо одолжить у русских». В это время из фортов стреляли сплошным огнем. Удивительно, что человек к этому так приспособился: ничего не было слышно. Олек вылез из пахнувшей бензином клетушки радиостанции и пошел к командованию дивизиона. Тут сидел поручик и четверо артиллеристов. Олек вместе со всеми получил черный кофе в алюминиевой кружке, обжигающей руки и губы. Когда, напившись и вспотев, он вышел на улицу, то улочка изменила свой вид. Несколько танков грозно оцетинились жерлами пушек, возникло большое движение, забегали танкисты в комбинезонах и кожаных шлемах – было очевидно, что что-то готовится.

Олек, без шапки, с головой в белом тюрбане из бинтов, смотрел издалека, как экипаж миномета стягивает с направляющих большие полотняные чехлы, как на стальные полозья ложатся округлые тяжелые

цилиндры...

Какой-то старший лейтенант, очень высокий и громкоголосый (его слышно было даже на площади), отогнал его к воротам. Затем раздались шипение и гром, словно обрушилась стена, и всеми регистрами зазвучал воздушный орган. В короткую минуту тишины прозвучал второй удар грома. «Катюши» заговорили.

В шесть часов было еще светло, хотя город, а особенно конец улиц и закоулки, уже покрыла вуаль голубой тени, только небо светлело, словно пьяное от избытка света.

На этой прекраснейшей и глубочайшей, ибо уже не освещенной солнцем лазури расцвели длинными брызгами огненных роз красные сигнальные ракеты. Десятки их в букетах опускались на крыши.

И разверзся ад. Танки загрохотали; большие зелено-бурые чудовища выползали на улицу, разворачивались в строй – и по газам!

Немцы бежали от окраин города. Еще только форты гремели с моря, длинными параболами снарядов опоясывая город. Командирский танк подъехал к дому, изрыгая горячие гильзы. Эти большие медные оболочки, обжигающие ладонь при касании, и запускали огромные, метровой длины, сигары противотанковых снарядов. Олек не успевал следить за ходом событий. То тут, то там расцветали красные ракеты, разбрызгиваясь по небу яркими каплями и требуя поддержки минометов и артиллерии. Темнота сгущалась.

Следующий позади санитарный пункт подъехал совсем близко, чтобы быстрее оказывать помощь, и замелькали тени, фигуры с носилками и люди, спотыкающиеся, иногда смешно бредущие неторопливым, пьяным шагом, как при замедленной съемке, а впереди тяжело бежали другие, и где-то заряжались диски для ППШ, и кто-то нес боеприпасы, а кто-то минометы, противотанковые ружья, гранаты. В конце концов беготня так усилилась, грохот выстрелов достиг такого напряжения, что у Олека внутри даже что-то екнуло, у него перехватило дыхание, и ему захотелось с громким криком и голыми руками бежать куда-то, лететь, и он уже собрался было покинуть свой наблюдательный пункт, разгоряченный, безудержный, когда широкая ладонь в кожаной перчатке опустилась ему на плечо.

– Ну, что с тобой, парень?

Это был поручик из блиндажа. Его некрасивое широкое лицо, сильно разрисованное уже не исчезающими морщинами, подобными тем, которые образуются при прищуривании глаз (если хочется что-то увидеть далеко через дым, ветер или снег), его глубоко и далеко посаженные на этом

темном лице глаза, голубые и детские, улыбались Олеку. И в этой улыбке растворилось все.

Потом Олек сидел в блиндаже; глухая дрожь стен и земли передавалась телу, словно волны, сотрясавшие землю, проходили над головой, – это в общем наступлении, рыча железными голосами, пролетали танки, поворачивали перед пунктом командования, и только далекие пулеметы стучали, секли и мололи воздух.

Из этого хаоса машин, людей и голосов снова появился один, вбежал в середину, раскидал фигуры в мундирах, ворвался в желтую мигающую пыль света керосиновой лампы: фигура, как из хорошо срежиссированного фильма – танкист в кожаном комбинезоне, туго перепоясанный, с перекошенным на голове шлемом, возле которого болтался внешний контакт ларингофона, опаленный и покрытый пылью. И прежде чем он передал донесение, в победном грохоте сапог, раскатах артиллерийских взрывов, в тархтении телефонов прозвучало:

– Порт взят!

Потом... Да, что же было потом? Потом был большой подвал, полный людей, вроде присевших на минуту, но уже как бы вросших в эти свои места, готовых ко всему. Кроме пения. Танкист в широко расстегнутой на груди рубашке придерживал сползающую гармонь и играл. Огонь лампы колыхался от сквозняка, качались тени, и ясный, сильный голос гармониста поднимался все выше.

Потом Олек сидел перед домом. Целую ночь он просидел так в ожидании обещанного пропуска. Время от времени он засовывал правую руку за пазуху и касался письма от Зоси, и твердый его уголок, согретый теплом собственного тела, облегчал ему ожидание. Вокруг была крошечная темнота, полная шума моторов, уже мирного, и только изредка, как крик отчаяния, падал в нее одиночный выстрел. Где-то раздавался топот множества ног, на минуту показывалась колонна военнопленных, уводимых в тыл, иногда быстрые, легкие автомобили увозили небольшие группы офицеров. Дуновения ветра, оставляющие на губах соленый вкус моря, приятно освежали голову. Она опускалась все ниже и ниже, и на краю одной из этих уплотненных темнотой, подвижных и невыразительных картин ночи Олек заснул.

Когда он проснулся, черная глазурь неба, сбрызнутая тут и там серебряными дырочками звезд, начала светлеть. Темная синь неба светлела, серела, белела. Ветер, из-за которого до сих пор невыносимо грохотал отставший лист железа на какой-то крыше, утих. Последний, утренний холод студил руки и лицо.

Вместе с рассветом на улицу вышли солдаты, а поручик, который обещал пропуск, долгое время раздумывал (он тоже рассматривал фотографию) и сказал: «Я еду в ту сторону. Могу подвезти».

Открытый «виллис» тронулся с места. Только теперь Олек почувствовал дрожь беспокойства. Он ехал улицами разбитого города, где на каждом шагу надо было объезжать трупы, кучи хлама, обугленные остатки домов, с которых еще осыпался пепел. Олек с трудом разбирал на разбитых табличках названия улиц, пытаясь рассмотреть, есть ли еще какие-нибудь люди на этих развалинах, которые были городом. Их почти не было. Наконец показалась та улица: Гнейзенау. Номер 6, 8, 10... «Это здесь». Шофер остановил машину.

Поручик слегка приподнялся, некоторое время оставаясь в этом положении, а затем опустил на сиденье. Он ничего не сказал.

Там, где был дом, зияла черная воронка с остатками свернутой рулоном жести. Обломки стен, столбы железобетона, спирали железных балок, щепки расколотого дерева – все это было присыпано мукой штукатурки, песком, красным щебнем; испепеленные огнем развалины.

Мотор заурчал, и пока Олек оглядывался, чтобы увидеть кого-нибудь и расспросить о жителях дома, они двинулись очень медленно, как за похоронной процессией, вдоль улицы. Автомобиль дрожал, ворча шестернями на малой скорости.

И тут он увидел сияние волос – сияние светлых волос, может, даже крикнул, и девушка в голубом платье обернулась. Ведро упало со звоном, а поручик, который только теперь вынырнул из глубин созерцательности, сочувственно посматривал то на улицу, то на Зосю, то на Олека. Лицо Олека было спокойно. Но когда он выскакивал из машины, а его ноги при этом подгибались в коленях, на впалой щеке что-то подозрительно блеснуло и светящейся каплей скатилось вниз.

Перевод Язневича В.И.

Атомный город

I

Через два дня после того, как русские взяли Орел, по окончании рабочего дня шеф вызвал меня к себе. Было очень жарко, август царил над пыльным городом, а вода в Темзе упала до уровня, какого не помнили самые старые лондонцы. Темп и уйма дел довели меня до такого состояния, что я невольно вздрогнул, увидев на столе майора кучу бумаг. Но когда подошел поближе, узнал папку, которая лежала сверху. Это было мое личное дело: он как раз сравнивал какой-то машинописный листок с моей характеристикой, с которой, впрочем, я не был ознакомлен.

– Как вам работается? – спросил он.

Это меня несколько удивило, поскольку вопрос явно выходил за рамки служебных отношений. Я что-то буркнул, что могло сойти за ответ, и застыл в ожидании.

– Вы ведь были в Штатах три года назад, правда?

Я подтвердил.

– Это очень хорошо. Садитесь, закуривайте, я должен ознакомить вас с необычной историей. – Майор постучал тупым концом ножа для бумаг по крышке стола.

– Какие языки вы знаете, кроме английского?

– Итальянский и немецкий.

– Вы ведь бегло говорите на них, да?

– Я знаю берлинский и венский диалекты, могу говорить также на plattdeutsch и flaemisch^[134].

– Я так и думал. – Он медленно встал из-за стола, в движениях его чувствовалась усталость. – А теперь идемте со мной. Машина нас уже ждет.

Автомобиль меня удивил. Это был не наш «кадиллак», а массивная черная машина с никелированными накладками, очень роскошная. Когда мы тронулись, я спросил:

– Что все это значит, господин майор?

Он положил руку на мою.

– Не думайте, что это отсутствие доверия. Но я не могу вам ничего

сказать, пока... – он заколебался, – пока вашу кандидатуру не одобряют. Речь идет об очень важной миссии.

Машина остановилась перед не известным мне большим домом. От улицы его отделял тронутый засухой сад.

Внутри было пусто и прохладно. По коридору нас вел сержант в мундире технических войск, шагал чуть впереди. Мы вошли в большой зал. Вдоль темных панелей стояла тяжелая, годами не передвигавшаяся мебель. Матовые зеркала, натертый паркет, фиолетовые портьеры. Серебряная люстра была снабжена огромной лампочкой. В углу стоял какой-то штатив, прикрытый черным полотном, который явно не принадлежал к мебелировке восемнадцатого века. За овальным столом с резными ножками сидели трое мужчин. Я окинул их взглядом – двое лысых, один из них курил черную сигару. Третий был худой, как англиканский пастор, но носил фиолетовые очки. Они сидели на диванчике из пурпурного плюша.

– Вы говорите по-немецки? – начал тот, который курил сигару. У него были рыбы глаза и нос в виде раздавленной луковицы.

Я лишь кивнул.

– Also was würden Sie über die heutige militärische Situation an den Fronten sagen?^[135]

Я начал, внутренне немного развеселившись, краткий обзор, который он вдруг прервал на середине фразы:

– Скажите: Fischers Fritze fischt frische Fische^[136], только быстро и трижды.

Я сказал.

Теперь настала очередь типа в фиолетовых очках, из-за которых не было видно его взгляда.

– Что такое энтропия?

Я сказал.

– А вы знаете формулу Эйнштейна об эквивалентности массы и энергии?

Я знал.

– А что вы скажете об этой депеше? – сказал третий и положил передо мной листок бумаги, на котором было что-то напечатано на пишущей машинке. Шесть строчек букв и цифр, без пробелов и знаков препинания, – похоже, это был какой-то шифр. Я разгладил немного помятый листок, сказал:

– Я не специалист по шифрам.

– Ничего, – кивнул он. – Посмотрите внимательно и скажите, не находите ли вы что-то знакомое – какие-нибудь знаки, например... Не повторяется ли там что-то? Не обязательно быть дешифровщиком, скорее тут необходима сообразительность.

Надпись содержала около ста пятидесяти знаков. Я быстро пробежал глазами буквы и числа. В сочетаниях букв я не смог обнаружить даже намека на смысловые значения, поэтому принялся за цифры. Через минуту я положил листок. Прикуривая поданную сигарету, сказал:

– Некоторые цифры повторяются... два раза рядом встречаются цифры 92 и 239. Этот комплекс я знаю. Он напоминает мне атомные данные радиоактивного элемента урана – может быть потому, что я недавно читал об этом в какой-то статье... Перрена, кажется. Есть и другие числа: 94, 239 и 235, но этих я не знаю. Нет таких элементов.

– Уже есть, – сказал он. – Теперь прошу сосредоточить внимание. Начинаете ли вы о чем-то догадываться на основе заданных вам вопросов? Все они относились к одной теме.

– Нужно было обратить внимание на это с самого начала, – вмешался молчавший до сих пор майор.

Мужчина в очках чуть улыбнулся:

– Это невозможно. Тогда бы старший лейтенант переключил внимание в нужном направлении и имел слишком много данных. В нашем деле нужно ориентироваться именно *ex post*^[137], тут мало быть просто находчивым.

Это наверняка был американец – я определил это по акценту; впрочем, англичанин никогда не стал бы подвергать риску тонкие ножки дорогого кресла, на котором раскачивался.

Я сказал:

– Атомные веса, уран, немецкий язык, Америка...

– А это вы как определили? – насторожился толстяк с сигарой, уставившись мне прямо в глаза.

– По выговору, – улыбнулся я. – Итак, поскольку я специализируюсь на новых видах оружия, речь идет, я думаю, о каком-то использовании атомного оружия, – может быть, это лучи смерти или распад элементов?

Человек с сигарой кивнул майору.

– Кажется, вы не обманули наших ожиданий, – сказал он и продолжил, обращаясь ко мне: – Значит, так. Вы получите задание необычайного значения. Его выполнение может серьезно приблизить окончание войны. Возьметесь вы за него?

Я даже не моргнул.

– Послушайте. Соединенные Штаты обладают научной концепцией, которая может в течение ближайшего времени принести союзникам победу. Это, – он выдержал короткую паузу («Толстые люди всегда любят сенсации», – подумал я), – это атомное оружие. Освобожденные силы материи. Мы собрали в одном месте лучшие умы, на нас давно уже работают большие предприятия с целью производства необходимых аппаратов и сырья. Имеется мощная система их защиты от вражеской разведки. Вы вскоре познакомитесь с ней детально. Тот, кто работает в этом направлении, лишается всех контактов с обществом. Все живут, едят, спят, развлекаются в полной изоляции. Отдельные этапы работы выполняются по конвейерной системе. Никто, кроме горстки надежных людей, не знает о производстве в целом. Мы полагали, что враг не узнает ничего, кроме некоторых данных общего характера, то есть о том, что мы строим огромные фабричные предприятия, что отрезаем их от мира. Однако в последнее время радиоперехват обнаружил два сообщения, высланные из Аргентины. Одно из них вы видели. Сейчас мы организуем компактную группу, задачей которой будет охрана секрета – действенная охрана, подчеркиваю, и прежде всего решение загадки этих двух сообщений. Пока мы не смогли их расшифровать. И вы видели, что содержание их находится в связи с нашим вопросом. Наверное, вы догадываетесь, что охранный организация, которая является автономной частью нашей контрразведки, уже существует. Для этой цели нам выделили наилучших людей. Но дело настолько серьезное, что мы не можем обойтись обычными средствами. Для нас нет ничего столь сложного, трудного, дорогого, чего мы не могли бы использовать в случае необходимости. Поэтому, предполагая, что враг – по крайней мере частично – проник сквозь наши фильтры, мы решили создать второй аппарат, такой же сильный, а может, даже и лучший, который будет работать параллельно с существующим. Эти сообщения заставили нас ускорить работу. Наш девиз: делать все, что в человеческих силах, и еще больше.

Он прервался, глубоко вздохнул и, потушив черный окурок в пепельнице, закончил:

– Теперь вы отправитесь на аэродром. Домой возвращаться вам уже нельзя. Родственников мы уведомим сами. Формальные вопросы, служебные, уже решены. Вы получите документы на имя физика, который должен был приехать в США. Об этом упоминала наша пресса. Сначала вы познакомитесь с проектом в целом, а затем начнем работать.

– Надеюсь, я полечу на «либерейторе»? – сказал я.

- Нут, у нас «лайтнинг»...
- Этого я и боялся. А нельзя на четырехмоторном?
- Я прилетел сюда на такой же машине. Вы не доверяете нашей технике? – спросил третий, низкий толстяк с полированной лысиной.
- Она немножко легковата, на мой взгляд, – сказал я, вставая. – Я смогу получить свой несессер? Он дома. Кроме того, я курю только «Филип Моррис».
- У вас будет даже птичье молоко, – серьезно сказал человек с сигарой.

II

В коридоре я попрощался с майором, поблагодарив его за доверие. Он сердечно пожал мне руку и пожелал доброго пути. На улице ждали машины. Лысый толстяк с сигарой сел со мной в «бьюик».

Как только машина тронулась, он сказал:

– Мы должны будем как следует использовать время в дороге. Вам нужно узнать все, что косвенно или непосредственно касается механизма производства. Я расскажу вам о системе работы и защитных механизмах.

Мы приехали в аэропорт Кройдон. На западе небо было стального цвета, но без туч. Я услышал, что атмосферное давление падает. Мой спутник исчез на короткое время и вернулся в обществе высокого летчика.

– Это капитан Корви, который перепрыгнет с нами Атлантику.

Мы вышли на летное поле. В воздухе было полно машин. Чумазы механики уже выдвигали «лайтнинг», длинную алюминиевую стрекозу с двумя фюзеляжами. Мы забрались в кабину, пропеллеры начали вращаться и растворились в воздухе. Мы вырулили против ветра. Дождались своей очереди, и наконец колеса мягко оторвались от травы.

– Вы помните, о чем мы говорили в машине, правда? – начал толстяк. Его звали Грэм. Усаживаясь удобнее в низком кресле, он выглядывал в окно. – Мы отправляемся прямо в Clinton Engineer Works. Это наши заводы в Теннесси. Вы там бывали?

– Конечно, в 1937 году. Помню сплошные болота и тучи пыли.

– Вы превосходно охарактеризовали эти окрестности.

– Не пойму, почему выбрали такую пустыню?

– Именно потому, что это пустыня. В процессе производства возникают радиоактивные облака, и окружающий воздух становится смертоносным для живых существ... Ну, сейчас у нас уже есть соответствующие защитные средства. Климат уже не так досаждал, как

вначале.

– Управление погодой?

Он улыбнулся:

– Нет, но уже есть постройки – одиннадцатизэтажные блоки. Наши специалисты на месте объяснят вам техническую сторону процесса, сущность открытия. Это необходимо, чтобы вы могли определить все слабые места, в которые немцы могли бы вставить свою отмычку. Я вам покажу. – Он порылся в кармане. – Это планы корпусов с учетом защитной системы. Рисунок от руки, который я уничтожу, когда вы его запомните, потому что заметки делать нельзя.

Это был карандашный эскиз в масштабе 1:400 000. На нем было восемь строений, каждое в форме прямоугольника.

– Все это занимает сейчас 137 тысяч квадратных метров. Это временные строения. Может быть, они покажутся вам огромными, но в сравнении с теми, которые мы строим сейчас, это карлики. Здесь два комплекса: внутренний – А, и внешний, Б. В Б находятся машинные отделения, турбогенераторы и трансформаторы, а с другой стороны, с юга, жилые корпуса сотрудников, кинотеатры, рестораны, парки, бассейны и теннисные корты. В комплексе А находятся собственно заводы по переработке элементов. Там же размещаются и наши отделы.

– Не вижу никаких стен, – сказал я.

– Потому что их нет. Они совершенно не нужны. Все производство замкнуто в двойной, но абсолютно невидимой оболочке, которая автоматически защищает от вторжения мельчайших элементов днем и ночью.

– Ультрафиолетовое излучение?

– Нет, кое-что получше: радар. С интервалом в сто метров стоят стальные мачты антенн, которые излучают вверх и в стороны пучки ультракоротких волн. Если вдруг появится какой-то предмет, который прервет поток излучения, в действие вступает автоматическая сигнализация...

– Которую можно отключить или повредить, – сказал я.

– Нет. Во-первых, система дублируется, а во-вторых, в ней нет никаких проводников. Вся аппаратура размещается под бетонным укрытием, из-под которого поднимается мачта антенны. Там расположен передатчик, катодные экраны, компенсаторы и аккумуляторы. Излучение, направленное под углом вверх, образует конус над всем производством. Таким образом, все закрыто очень плотно. Непосредственно за «радарным щитом» под песком находятся трансформаторы высокой частоты. В песке лежат медные

тарелки. Когда включается ток – его можно включать на любом участке, – все, что находится в непосредственной близости к катушке трансформатора, подвергается молниеносному электрическому удару. Далее находятся посты охраны – они обозначены на плане кружками. Это бункеры, наполовину всаженные в железобетонное кольцо. Такой представляется внешняя охрана... Вы все запомнили?

– Минуточку... – Я быстро просмотрел рисунок. – Теперь можете это уничтожить. Он изорвал листок, а клочки выбросил в раструб воздухозаборника. Я невольно глянул в окно – внизу шумел океан.

– Теперь вторая часть, более сложная. Как выглядит охрана производства? Система безопасности разделяется на персональную, то есть обеспечивающую охрану жизни и здоровья работников – это нас, конечно, не касается, – и общую. Речь идет о том, чтобы никто из посторонних не мог находиться за пределами своего рабочего места и чтобы соблюдались некоторые правила – например, запрет делать заметки... не говоря уже о снимках.

– Такая система требует наличия огромной армии охранников, – заметил я.

– Не столь большой, как вы думаете. Служба безопасности напрямую подчиняется автономному штабу, который имеет в своем распоряжении самолеты и танки.

– Танки?

– Нужно было сделать все, что в человеческих силах... и даже больше. Я промолчал, уже второй раз услышав эти слова.

– Итак, персональная безопасность нас интересует меньше. На всех участках производства находятся аппараты, которые автоматически регистрируют уровень радиоактивного излучения. Вы должны знать, что все находящееся вблизи определенных частей оборудования со временем приобретает способность самостоятельно излучать радиацию. Даже человеческие волосы. Каждый работник имеет при себе датчик, нечто вроде малого рентгенометра, который сигнализирует о чрезмерном росте излучения. Есть также специальные реагенты, специальная фотопленка, но это не важно. Защита от незваных гостей самая разная. Весь персонал насчитывает сейчас восемнадцать тысяч человек. Вообще над атомным оружием работает больше ста шестидесяти тысяч, но сюда входят также разбросанные по всей стране заводы и фабрики поменьше, которые производят для нас детали моторов, насосов, электромагнитов, но это нас меньше интересует. Наши люди размещаются в комплексе Б, как вы видели. Когда утром они идут на работу, то проходят через рентгеновские

камеры, то же происходит и после обеда. Это делает невозможным пронос частей фотоаппаратов или других устройств. Начальник каждого отдела встречает своих людей, которых хорошо знает лично, и удостоверяется в том, что это они, перед началом работы.

– От этого мало толку, – сказал я, – потому что практически он в скором времени будет ограничиваться более или менее учтивым приветствием. Разве что вы делаете им какую-нибудь особенную татуировку, да и это вряд ли поможет.

– Не делаем татуировку. Но структура производства зональная, и это наша наилучшая защита.

До этого времени полет проходил в отличных условиях: только западное небо набирало все более глубокие и темные тона, однако не было и следов облачности, – теперь же машина начала медленно проваливаться, опускаясь ниже. При новом сильном порыве ветра самолет легко скользнул алюминиевым животом по волне и подставил лоб следующему удару ветра. Нас мотнуло. Самолет качнулся с крыла на крыло и вернулся в состояние равновесия. Затем ветер усилился, солнце зашло, небо потемнело. Казалось, мы летим в безвоздушном пространстве. Только внизу лежал чернеющий океан.

– Никогда не любил «лайтнинги», – повторил я свои слова, сказанные перед вылетом. – Они слишком легкие.

Мы замолчали. Самолет немного снизил скорость, но это я скорее чувствовал, чем видел. С обеих сторон небо стало заполняться бурой темнотой, которая ползла к зениту. Началось шествие плотных, высоких облаков, словно нас с двух сторон зажимало в тиски. Вдруг, когда из-за берегов темноты еще падали необычно порыжевшие последние лучи солнца, по крыльям затарабанил град, и я увидел белые траектории прыгающего ледяного гороха. Потом сверху открыли водосброс. Это выглядело так, будто бы самолет нырнул под воду. В полумраке с обеих сторон светились обтекаемые водой, скользкие цилиндры фюзеляжа, а дальше, на крыльях, дрожали практически неподвижные сверкающие круги воды, рассеиваемой пропеллерами. Где-то в тучах раздался чудовищный грохот, совсем заглушая наши моторы, и просвечивающая сквозь пар молния затопила нас лиловым блеском.

Я чувствовал, как дрожит самолет. Все перемычки напрягались под внезапными ударами плотного воздуха. Листы обшивки, густо усеянные заклепками, тряслись. Потоки воды били в толстое стекло кабины и стекали вниз, искажая и так удивительные очертания ближайших туч. В какую-то минуту потемнело еще сильнее, и я заметил, что с нашей антенны

и с концов крыльев срываются фиолетовые пучки света. Весь самолет был заряжен электричеством. Грохот прокатывался волнами то над нами, то ниже нас. Наконец во мраке появился слабый свет. Тучи разошлись в стороны, и мы выпали в относительно спокойную зону пространства. Солнце висело уже низко над горизонтом, океан выглядел как котел, наполненный стынувшим металлом. На горизонте показалась бледная полоска.

– Вот и Флорида, – сказал толстяк. – Вот видите, «лайтнинги» не так уж и плохи.

III

– Знаете ли вы что-либо конкретное о сети немецкой разведки в Аргентине? – спросил я. – У нас был специалист по заморским делам...

– Вы имеете в виду Мейкинза? – усмехнулся Грэм. – Вы встретите его у нас.

– В самом деле? Он уехал месяц назад, якобы в Египет.

– А вы в Индию. Конечно же, нам приходится быть осторожными. У нас там есть еще пара отличных специалистов. У нас особенная работа, отличающаяся от обычной контрразведки. Не может быть и речи о добывании ценных планов отдельными личностями, использующими грим и чемоданы с двойным дном. Этого не допускают огромные размеры нашей системы и ее тесная взаимосвязь. Есть место лишь для мелкой, муравьиной работы, в любую минуту грозящей подвергнуть риску все, – или же для организованной, мощной атаки. Вы знаете, в нашем обществе довольно много натурализованных немцев, из которых и вербуются агенты. Эти люди работают не за деньги. Это очень опасный противник, у которого мощные тылы. Я не верю, что при таких малых шансах на выигрыш много людей согласилось бы работать только за деньги.

– Не знаю, так ли уж они малы, – заметил я.

– Значит, вы не будете их недооценивать. Это хорошо. Нанимая работников, техников, слесарей, монтеров – всю эту рабочую армию, мы руководствовались различными принципами. Досконально изучали прошлое, политические взгляды, родственников, знакомых. Те, у кого текла в жилах немецкая кровь, не могли попасть в систему производства.

– Да, такой своеобразный расизм, – сказал он, увидев, что я улыбаюсь. – Но только для обеспечения безопасности дела, а не из-за каких-то мистических предрассудков. Несмотря на все это, аргентинские

агенты должны иметь у нас информаторов. Я почти уверен в этом.

– Посмотрите, – добавил он, – это лучший случай сориентироваться в плане CEW.

Действительно, в лучах заходящего солнца лежал атомный город, к которому мы быстро приближались. Пологая впадина была покрыта длинными тенями от бетонных построек. Их крыши чернели шахматными досками окон, которые блестели в косых лучах солнца. Далеко, за порыжевшим грунтом, слабо заросшим кустами и травой, поднимались легкие скелеты стальных башен, которые двойной цепью опоясывали комплекс строений. В глубине извивались дымы высоких труб.

Самолет повернул, некоторое время мы летели вдоль южной границы города и вдруг попали в полосу тени. Солнце скрылось за горизонтом. Я увидел белую полосу, которая быстро приближалась, и вскоре колеса едва заметно соприкоснулись с металлическими плитами рукотворного посадочного поля.

Нас ожидала группа людей. Некоторые были в форме. Выходя из кабины, я с трудом разогнул затекшие ноги. Грэм, едва сошел на землю, тут же достал портсигар. Мы пошли по краю аэродрома. За стальной сеткой нас ждали машины.

– Надеюсь, теперь я смогу принять душ и вздремнуть? – тихо спросил я Грэма, потому что к нам приближались люди.

– Все, что только пожелаете. Это доцент Куэрни, доктор Гримшо, старший лейтенант Фолстоун.

Доцент был широкоплечим брюнетом с овальным лицом, на котором выделялись пушистые темные брови. Он добродушно улыбался. Я подал руку Гримшо, который выглядел так, словно его кто-то сильно вытянул в длину и оставил таким перепуганным. У него был мощный нос, все лицо складывалось исключительно из профиля, как плоский стилет, и огромные очки. В автомобиле кто-то сидел.

Я обрадовался, узнав Мейкинза, но тут же погасил улыбку: может быть, по сценарию мы не были знакомы?

Он только подмигнул мне и запустил мотор. Доцент и Грэм уселись в открытый «крайслер», я за ними. Машины тронулись. Мы проехали между двумя башнями, затем в сгущающихся сумерках выросли темные стены многоэтажных зданий. Сбоку поднималась, как обелиск, гигантская квадратная труба. Вылетающий из нее дым сиял мягким белым светом.

Мы вошли в широкий сквер и куда-то двинулись по бетонной лестнице. Я ориентировался все хуже, на меня навалилась усталость. Помню, были еще какие-то лица в полумраке. Пришлось пожимать

протягиваемые ко мне руки, бормотать свое новое имя. Потом мы поднялись на лифте, и я наконец остался один в маленькой, хорошо освещенной комнате со светлыми стенами и мебелью. Только стол был коричневый. Последнее, что я помню, был долгий, очень приглушенный, но всеохватывающий шум.

IV

– Моя работа начинается с того, что я должен подозревать всех, не так ли? – спросил я Грэма.

Мы стояли на крыше одиннадцатизэтажного здания, которое находилось в центре комплекса Б. Вокруг простиралась панорама, состоявшая из бетонных глыб; кое-где сияли, как вымытые, зеркала больших бассейнов; из торчащих труб вился легкий дымок. В отдалении, на фоне плоских травянистых склонов, виднелись колонны дистилляторов.

– Никто не будет навязывать вам свои методы. Вы будете знать все, что мог бы знать президент Штатов, если бы ему вздумалось что-либо спросить. Что касается служебных отношений, то вы являетесь членом совета.

– Кто в него входит?

– Доктор Гримшо, начальник шифровального отдела, Фолстоун из радиоперехвата, Гридли из отдела связи, майор Каннеби, командир вооруженных сил, и несколько специалистов из Чикаго и Лос-Аламоса. А также Мейкинз, вы его уже видели.

– Спасибо. Кто, кроме них, знает о моей настоящей роли? Ученые будут знать все?

– Нет, зачем? Только Куэрни. Ученые наверняка лояльны, тем не менее это ученые... Не книжные растяпы, поэтому осторожность не помешает. Во всяком случае, ни один из них не ориентируется полностью в деталях нашей системы безопасности.

– Я буду не в своей тарелке – ведь я все-таки инженер, а не физик.

– Вас будет сопровождать Куэрни, он и подстрахует. Ему по должности положено представлять всех гостей. В любом случае ученых из сферы следствия вы можете исключить. Не такие это люди, которых можно купить.

– Да, это редкий вид, – согласился я. Снизу вышел Куэрни и подошел к нам. – Кто бы мог подумать, что всего за восемь месяцев будет построен такой город и производственный гигант в мирное время, даже если бы речь

шла о так называемом благе общества или человечества? – добавил я.

Доцент улыбнулся:

– Благо человечества в нашем языке понимается как интересы нескольких людей. Но есть страны, которые руководствуются иными законами. – И продолжил в ответ на мой удивленный взгляд: – Советы, например. Вы пойдете сейчас со мной? Я покажу вам лаборатории.

Он двинулся вперед. Когда он отошел на несколько шагов, Грэм подмигнул мне и шепнул:

– Его называют «красным». Идите с ним.

– Я не буду наводить на вас скуку показом специфических деталей устройств или известных вещей, – сказал Куэрни, – хотя у нас здесь много чего замечательного. Вас, как специалиста, наверняка заинтересовали бы наши турбокомплексы. Они стоят в комплексе Б-2, их мощность составляет 280 тысяч лошадиных сил. В зданиях напротив нас, это А-1, находятся наиважнейшие устройства для производства чистого урана 235. Это атомный детонатор.

Мы прошли по мостику, переброшенному по воздуху над площадью, лежащей внизу. Раздался свист сирены: там проезжал маленький, словно игрушечный, локомотив, тянувший связку товарных вагонов. За мостиком была будочка охранников, которые пропустили нас дальше, и мы прошли через люк в крыше. По крутой лестнице в бетонном блоке спустились вниз.

Когда мы оказались в длинном коридоре, одну стену которого составляли огромные, оправленные в сталь окна, Куэрни остановился.

– Я полагаю, – сказал он, – вы слышали о взрывчатом изотопе урана?

– Да, – ответил я. – Недавно я читал, что еще в 1939 году стала известна разновидность обычного урана, который способен взрывообразно распадаться под влиянием столкновения с какими-то электронными частицами.

– В принципе так, – сказал доцент. – Есть два вида урана с одинаковыми химическими свойствами: уран 238 и 235. Этот второй и является взрывчатым изотопом, который распадается на легкие элементы. Рассчитана так называемая критическая масса U235. Это наименьшее количество данного элемента, которое самопроизвольно взрывается, будучи собрано в одном месте. Это основной принцип действия всего будущего атомного оружия. Единственным секретом, который мы охраняем, является метод получения чистого U235 из смеси обоих изотопов в урановой руде. Взрывчатый уран находится в обычном количестве – 0,7 процента, а разница атомных масс составляет всего лишь 3 единицы. Так что трудности при очистке огромные. Ничего удивительного, что мы испытали в наших

лабораториях все возможные и невозможные методы.

Он шагнул вперед и, быстро приложив карточку пропуска, потянул на себя большие белые двери, остро пахнущие лаком.

Мы оказались в длинном, очень узком зале. По обеим сторонам на выступающих из стен подставках висели связки труб, которые издавали слабый звук высокой тональности. Под сводом яростно вращались пропеллеры вентиляторов, засасывая воздух снаружи. Было видно, как на фильтрах оседает песок.

– Это одна из десятков тысяч частей аппаратуры для газовой диффузии, – сказал доцент. – Соединяя уран с фтором, мы получаем газ, почти нелетучий, ядовитый и разъедающий металлы. Частицы изотопов урана имеют разную скорость. Поэтому если разделить соответствующий резервуар пористой преградой и под давлением перекачивать газ, частички более легкого урана ^{235}U проходят через поры намного скорее, нежели частички другого изотопа.

– Это очень просто, – сказал я, – а какова производительность? Да, я хотел еще спросить, господин доцент, какова критическая масса урана?

Доцент облокотился на вибрирующую трубу, покрытую белым панцирем, и улыбнулся:

– Вы понятливый слушатель. Это так необходимо для исполнения ваших функций? Скажем, немного больше одного килограмма. Что же касается метода диффузии, то он не лучше и не хуже других. Например, есть тепловая диффузия. Там частицы газа подвергаются воздействию разных температур. Более тяжелый элемент скапливается в области низкой температуры. Можно использовать и электролиз. Рассчитано также, сколько десятков тысяч больших центрифуг следовало бы поставить, чтобы получить один атомный заряд. Но у нас используется прежде всего газовая диффузия. Чтобы открыть вам глаза на необычные условия нашей работы, приведу пару примеров. Говоря о скорости частиц изотопов, я имел в виду среднюю, ведь вы знаете, что газ состоит из молекул с различной скоростью. Так вот, сорок девять процентов более легких частиц, то есть U^{235}F_6 , имеют такую же скорость, как пятьдесят процентов частиц другого, более тяжелого изотопа. Чтобы выделить нужный уран, приходится процесс повторять тысячи и тысячи раз. Поверхность пористых фильтров измеряется в акрах. Вы слышите, как дрожат трубы? На всех этажах, днем и ночью, насосы под давлением прогоняют гексафторид урана через фильтры из цинка и серебра. Наше производство основано на принципе неслыханно маленькой разницы масс изотопов элемента. А нам

приходится спешить, потому что идет борьба за уран. В лабораториях всего мира, в немецких, итальянских, японских, ведутся исследования. Целью гонки является получение двух килограммов тяжелого металла. Пока мы находимся на первом месте. Вы видели с самолета эти чудовищные бетонные коробки? Это и есть наши камеры диффузоров. Всюду одно и то же: насосы, фильтры, трубы, камеры промывки, сушильные шкафы... Но наш запас чистого урана постоянно растет. Теперь мы перейдем на другой блок, и вы увидите монтажный зал.

Доцент проводил меня к концу помещения. В высокой нише размещались насосы, насаженные на общую ось электромотора. Там же стоял человек, у которого на шее висел противогаз. Я спросил о его предназначении, когда мы вышли.

– Газ очень ядовит. Длина труб исчисляется сотнями километров, и могут быть дефекты, иногда случается утечка. Были случаи.

Мы подошли к повороту. Здесь два гигантских здания стояли так близко друг к другу, что из окна коридора нельзя было увидеть небо. Темнотой и холодом веяло из раскрытых дверей. Воздушный стальной мостик над десятиэтажным колодцем вел к противоположному строению. Мы прошли по нему и вошли в лифт. Однако эта маленькая каморка оказалась не лифтом, а вагончиком, который покатился по скосу вниз. Мигали контрольные зеленые огоньки в туннеле, и вдруг посветлело. Доцент раздвинул стеклянные двери. Я шагнул вперед.

Мы стояли на небольшой железной галерее. Под нами находился высокий зал, накрытый сверху сводом из матового стекла на плоской стальной сетке. С зеркального гранитного пола поднимался на высоту нескольких этажей блок устройств, завершаемый массивной бетонной скобой, несколько напоминающей Триумфальную арку на площади Этуаль в Париже. Однако «проход» под этой бетонной дугой не был пустым, там стоял черный металлический цилиндр, похожий на газгольдер, которым опоясывали балюстрады. Из стали выступали столбы с изоляторами. Муравейник уменьшенных расстоянием людей окружал постройку, к которой вели тонкие подмости. Внизу сверкали сотни голубых искр. Это рабочие сваривали балки конструкции. Подсобные краны ездили по рельсам, устанавливая длинные решетки, похожие на арочные пролеты мостов, которые объединяли грушевидные основания.

– Мы строим изотрон, электромагнитный разделитель изотопов. Первый такой аппарат построил профессор Лоренс в Калифорнии. Он назвал его калутроном, это аббревиатура от выражения «Калифорнийский университетский циклотрон». У него был магнит весом четыре тысячи

тонн, наш будет еще больше. Один его полюс занимает площадь в тридцать семь квадратных метров.

– А можно произвести взрыв малого количества урана в лаборатории? – спросил я.

– В лабораторных условиях, как это делается, например, с обычными взрывчатыми материалами, нельзя. Зато нет ничего проще, чем взорвать уран, если имеется нужное его количество. Достаточно соединить друг с другом, как половинки яблока, две полусферы металлического урана. Когда половинки соединятся, сразу же начинается реакция распада. Она лавинообразно разбивает ядра атомов, за одну десятитысячную долю секунды материя превращается в энергию... Температура превышает миллион градусов, а излучаемое давление превращает в пар железо и гранит.

Я молчал. Внизу стучали сотни пневматических молотов, верещали дрели, рабочие бегали по ярусам железных строительных лесов. Большие дуговые лампы спускались сверху на проволочных тросах. Выкатывались огромные барабаны кабелей.

– Значит, достаточно, чтобы немцы узнали принцип действия изотрона... да? – спросил я.

Куэрни, неподвижно смотревший вниз, вздрогнул и повернулся ко мне:

– Да... хотя путь от познания принципа действия до получения чистого урана не близок.

Мы опять замолчали. От сотен голубых огоньков поднимались нити пара, собираясь вверху в прозрачное, легкое облако. В воздухе стоял острый запах окиси серы. Во рту возник привкус металла. Когда мы спускались по железной лесенке, по блоку, переброшенному через траверз, съехал какой-то человек в кожаной куртке, с асбестовой маской на лице.

– А что это за купола на тех зданиях за шоссе? – спросил я. – Выглядят как крышки резервуаров.

– Да, мы собирали там тяжелую воду, но сейчас мы ее не используем.

– Тяжелую воду? Ах да, Боже мой! – Я вынул из кармана бумажник. – Совсем забыл. Господин доцент, вы говорите, что тяжелая вода не нужна для производства атомного оружия?

– У нас есть более дешевые замедлители, но можно использовать и ее.

Я наконец нашел завернутую в бумагу фотографию.

– Совсем забыл об этом, – обратился я к доценту, который прикрывал глаза от вертикальных лучей солнца. – Ваши люди так быстро забрали меня из Лондона, что я даже не связался с нашим отделом Economic Warfare^[138]. У нас там есть так называемые «подрывные карты», перечень всех целей,

которые следует уничтожать на территории врага в первую очередь. В феврале этого года в Норвегии была выброшена группа парашютистов именно на одну из таких целей. Вот ее снимки. Это норвежский завод в Рьюкане, неподалеку от Осло, который производит тяжелую воду. Теперь я припоминаю, что тогда говорили что-то об атомах; это совершенно вылетело у меня из головы.

Доцент с интересом взгляделся в фотографии.

– Ну... только тяжелая вода, этого еще мало... Уничтожили этот завод?

– Да... вы знаете, наши парашютисты – это были норвежцы, специально подготовленные... Я не знаю подробностей этой истории, поскольку лишь собирал материалы, которые использовали другие...

Мы перешли широкий газон. Перед нами возвышались широкие и очень плоские здания; ближайшее, со скошенной крышей и округлыми краями, выглядело как бронированный бункер.

– Атомная гонка, как ее называют некоторые, в разгаре, – сказал Куэрни. – Поэтому город был создан не только для очистки урана 235. Работа по его добыче – это лишь одна из тайн нашего производства. А вот другая.

Мы приблизились к массивному плоскому блоку, который отбрасывал на нас прохладную тень.

– В 1940 году, – начал доцент, поднимая палец, – Макмиллан и Кеннеди с помощью циклотрона, о котором я говорил, получили в Калифорнии образцы нового элемента, который никогда не существовал на земном шаре. Его называли плутонием. В ноябре 1942 года Каннингем и Лейбор получили полмиллиграмма плутония. Я работал тогда в Лос-Аламосе, изучая его свойства. Тогда же правительство поручило Лесли Гроуверзу возглавить работы по созданию этого производства. Он не довольствовался созданием одних лишь диффузоров, и тогда под атомным городом был создан второй, подземный. А здесь находится вход в пекло.

Куэрни улыбнулся и, взяв меня под руку, сказал:

– *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*^[139].

Он провел меня через вращающуюся дверь в низкий зал, и я зажмурил глаза, ослепленный контрастом света и темноты. Потом меня втолкнули в маленькую комнату. На стойках висели черные специальные костюмы и маски.

Человек в длинном халате помог мне надеть через голову широкий прорезиненный комбинезон, на руки – плотные перчатки, а на голову цилиндрическую маску со стеклянным окошком на уровне глаз. От основания маски отходили шланги к заплечному ранцу, в котором находились баллоны со сжатым кислородом. Наконец меня вытолкнули через другие двери в округлое помещение. Под низким потолком горели три лампочки. Из других дверей вышел доцент, одетый так же, и махнул рукой.

Открылись, раздвигаясь в стороны, двери, как подводный шлюз. За ними был спуск вниз, в нише горела красная лампа. Новые двери, еще толще прежних. По пологому пандусу мы спустились в коридор, освещенный несколькими лампочками. Воздух поступал под маску хорошо, но становилось все жарче. Стекло запотевало. Расступились последние створки в холодном голубом свете. Шероховатые стены и свод: портлендский цемент.

Здесь стоял могучий шум, словно ураган валил деревья. Где-то скрежетала жель. Из бетона, наполовину утопленный в черный ров, выступал очень длинный черно-синий цилиндр, похожий на котел. С двух сторон к нему подходили веерообразные связки труб, собранные из коротких звеньев. Диаметр их фланцев превышал три метра. С потолка свисали цепи подъемников, заканчивающиеся стальными крючьями. Подземелье было пусто. Я дышал с трудом, на лбу под маской у меня выступил пот. Становилось все жарче. Я обернулся к стоявшему за мной Куэрни. Мы вернулись тем же путем, перешагивая через свинцовые пороги закрывающихся за нами шлюзов. Когда с меня сняли маску, я с облегчением втянул воздух.

– Что это, котел? – спросил я, когда Куэрни вышел из кабинки. – И что там производится, в этом подземелье? Это как-то связано с плутонием?

– Мы были у главного графитово-уранового реактора, – ответил он. – Это гигантская угольная глыба, в которой находятся продольные каналы. В них лежат цилиндрики обычного урана. Он излучает, а возникающие при распаде частицы – нейтроны, проходя через слои графита, затормаживаются и поглощаются другими атомами урана. В результате поглощения нейтронов уран переходит в новый элемент, нептуний, а тот в свою очередь – в плутоний, который тоже может взрываться, как и уран 235.

– Значит, во время работы этого графитового реактора количество содержащегося в нем плутония постоянно увеличивается?

– Да. Во время распада возникает более десятка других элементов.

Радиоактивные газы, смертельное излучение необычайной интенсивности, убийственное излучение. Поэтому применяется целый комплекс средств безопасности. Чтобы реактор мог действовать, нейтроны должны двигаться медленно. В этом весь секрет. Мы замедляем их поток, используя в качестве регулятора графит. Тяжелая вода теоретически подходит для этого даже лучше, но на практике возникает множество проблем. С графитом удастся лучше регулировать работу этой машины, которую вы видели. Конечно, все управляется дистанционно, на расстоянии, а наблюдатели сидят за экранами из бетона и свинца. По трубам, которые вы видели, нагнетаются массы холодного воздуха, потому что реактор при работе выделяет колоссальное количество тепла. Я охотно бы рассказал вам как-нибудь, сколько труда было вложено при постройке всего этого подземелья. Наш реактор сегодня самый большой в Штатах. При запуске он имел мощность пятьсот киловатт, но было решено, что этого мало. Помаленьку приближаемся к восьмистам, но трудности огромные. Вы не представляете, сколько было несчастных случаев, прежде чем мы научились как следует бронировать этот проклятый «улей» свинцом и бетоном. Алюминиевая оболочка на уране часто трескалась, тогда реактор останавливался. Нужно было входить внутрь, открывать ячейки, возиться в массе разогретого урана, который продолжает бомбардировать осколками взрывающихся атомов. Такие случаи происходили ежедневно. Сейчас мы затапливаем ячейки водой и вытягиваем под ней цилиндрики урана, когда в них собирается плутоний в значительном количестве.

Все это опускается в специальные камеры двумя этажами ниже. Вы, наверное, видели квадратную трубу у блока А-6? В нее вылетают радиоактивные облака газов и эманаций. Потом наступает очищение, растворение, осаждение, связывание – и так по кругу. Триста килограммов руды дают таким образом около саниграмма плутония в день.

– Но теперь работа безопасна? – спросил я. – Грэм говорил мне о различных предохранительных устройствах.

– Да, камера хорошо защищена. В каждой двери вмонтированы счетчики Гейгера, которые поднимают тревогу при чрезмерном росте радиоактивности. У нас также есть карманные «чихалки», которые показывают количество радиоактивной взвеси в воздухе, и «плутоны». Мы проводим постоянный врачебный контроль, которому подлежат все работники: постоянно проверяется количество лейкоцитов в крови, поскольку излучение разрушает костный мозг, вызывая злокачественное малокровие. Но мы еще не знаем как следует результаты воздействия столь мощного излучения на изоляционные материалы – на цемент, бетон,

свинец. Одна ошибка в системе слежения – и плутоний может достичь в подземелье критической массы, а тогда...

– Я не знал, что это так опасно. – Меня взволновали слова доцента.

– Население в округе было переселено. Радиоактивные облака угрожают жизни. Мы постоянно выбрасываем их в атмосферу, – ответил Куэрни. – Грэм наверняка рассказывал вам о наших жилых блоках, о театрах и кино, машинных отделениях и скверах... Но вы помните, пожалуйста, что у нас есть здесь и собственное кладбище и там наши лучшие люди.

В голосе его уже чувствовалась улыбка.

– Господин доцент, – сказал я, глядя ему в глаза. – Я хорошо знаю, что люди, которые приказали возвести эти заводы, совершенно не понимают, какую силу высвобождаете вы, ученые. Должен признаться, что я боюсь этой фабрики смерти...

– Офицер, придет время, мы направим эти силы в нужную сторону, и никто не сможет этому противостоять. Наука в который раз встала на службу войне, но мы сумеем повернуть ситуацию вспять.

– Мне кажется, вы высвободили силы, которые намного превышают человеческие. Как бы они не потянули вас за собой.

– Я вам скажу так: наука всегда запаздывала. Всякий раз, когда нужно было убивать людей, ее запрягали в военную повозку. С периодами убийств связано ее наибольшее развитие. Но это меняется. Сегодня наука тем больше обретает независимость, чем мощнее становится. Все, что мы имеем и чем являемся, произошло благодаря науке. Поверьте в нее.

– Что может сделать горстка людей? – спросил я.

– Я никто, – ответил Куэрни, – но я имею честь знать тех, кто создал новую науку об атоме. Им можно доверять. Они уже сделали больше того, что в человеческих силах... И не остановятся.

Я в третий раз услышал эти слова.

На дверях кабинета Грэма висела маленькая табличка с надписью «Главный инженер».

– Я не знал, что вы исполняете функции инженера, – сказал я, входя в помещение.

Он сидел за столом и просматривал какие-то бумаги.

– Да, официально я являюсь руководителем монтажных работ. Почти у каждого есть такая техническая функция. Ну как вам понравился наш заводик?

– Я хотел бы увидеть доктора Гримшо... – начал я, но в эту минуту кто-то постучал в дверь.

Грэм знаком показал мне, чтобы я замолчал. Вошел Мейкинз.

– Добрый день, господа, – сказал он. – Мистер Грэм, вы упоминали как-то о центральном сейфе. Есть у вас такой?

– Да. На самом верхнем этаже этого здания имеется бронированная комната, а в ней тайник со всеми ценнейшими планами.

– Под потолком?

– Как это под потолком?

– Ну, над этим сейфом уже ничего нет, никаких помещений?

– Нет.

– Грэм, – сказал я, – мне кажется, что вы неосторожны. Что это за история с сезамом? Достаточно подкупить двух людей в охране, и...

Грэм покраснел.

– Я попал в больное место.

– Вы явно не ориентируетесь в мотивах поведения наших людей, – сказал он. – Пожалуйста, не волнуйтесь, сейчас я вам кое-что покажу.

Он снял трубку телефона и набрал какой-то номер. Через долгую минуту в дверь постучали. Грэм приложил палец ко рту. В помещение вошел мужчина в сером халате. Он был высокий и широкоплечий, но когда повернулся к нам, я увидел, что вместо лица у него бледно-розовый затянувшийся шрам. У него был высокий лоб, под ним сияли светлые и интеллигентные глаза, но ниже не было ни носа, ни рта: от скул до подбородка зияла воронка с затянувшимися краями. В щели меж незакрывающихся губ белели зубы. Я изо всех напрягся, когда Грэм представлял меня.

– Доктор Зиланд из Антверпена (это был я) – инженер Лаварак.

Инженер спросил о каком-то списке, который Грэм достал ему из сейфа.

– Кто это? – спросил Мейкинз. – С ним что-то случилось не так давно, да?

– Очень интересная история, – сказал Грэм. – Десять месяцев назад здесь было еще сплошное болото. Когда первые группы приехали закладывать фундаменты, проводились исследования устойчивости грунта. Знаете, как это у нас делается? Гидравлическим прессом вбивается в землю бетонная свая на соответствующую глубину. На ее верхушке находится взрывной заряд. Эта свая нагружается стальными рельсами, и исследуется скорость ее погружения при взрыве. В том месте, где сейчас стоит здание А-6, под землей была известняковая пещера. Нужно было ее засыпать. Была сооружена штольня глубиной одиннадцать метров. Во время работ произошел обвал. Груды песка и известняка засыпали девятерых

работников и инженера, который руководил работой. Когда мы их откопали, в живых осталось только пятеро. У начальника монтажных работ было изуродовано лицо, это была одна чудовищная рана. Падающая плита перекрытия снесла ему нос, губы, часть челюсти. Но этого мало. Едва он вышел из госпиталя, его жена погибла в автомобильной катастрофе. И несмотря на это, он не сломался, а немедленно продолжил работу. Мы хотели выплатить ему высокую денежную компенсацию и назначить пенсию, но он не согласился. Он захотел остаться и работать, чтобы любой ценой построить фабричные здания в срок. Ему сделали пластическую операцию, но, несмотря на это, выглядит он страшно. Это был золотой человек, его очень любили рабочие.

– Как это «был»? – сказал я.

– Я оговорился. Это именно Лаварак, вы видели его только что. Очень хорошо держится.

Зазвонил телефон.

– Что-что?! – закричал Грэм. Бросил трубку и побежал к двери. – Господа, быстро, перехват что-то обнаружил!

Мы побежали за ним. За поворотом коридора стоял военный пост.

VI

Маленькая комната была буквально завалена аппаратурой. В углу ревел генератор. За столом, заставленным часами и катушками, от которых во все стороны бежали разноцветные провода, сидели два человека с наушниками на головах. Третий стоял рядом, вглядываясь в полукруг пеленгатора, и внимательно следил за движением стрелки, вращая верньер конденсатора.

На полке стучал аппарат Морзе, из его латунных зажимов медленно выползала лента, спускаясь на пол.

– Черт побери! – крикнул стоявший, стягивая с головы наушники. Я узнал его: это был старший лейтенант Фолстоун. – Еще чуток, и мы бы его взяли.

– Что произошло? – спросил я. – Откуда шла передача?

– Представьте себе, с завода.

– Не может быть! – Грэм, красный как помидор, подскочил к столу.

Фолстоун пожал плечами, развернул план строений и приложил к нему угломер. Карандашом начертил две красные линии, которые пересеклись на блоке А-1.

– Должен быть где-то там. Точнее не удалось запеленговать, потому что сообщение было очень коротким. Около тридцати знаков.

Я остался в комнате перехвата, а Грэм и несколько людей из охраны отправились в блок А-1. Вскоре они вернулись.

– Вот этот проклятый передатчик, – сказал Грэм и положил на стол плоский сверток величиной с портсигар, завернутый в промасленную бумагу.

Я взял его в руки, он легко открылся. Это был шедевр. Лампы величиной с пальчик младенца, миниатюрные конденсаторы, катушечки.

– Какой-то новый тип, – сказал Фолстоун. – Смотрите, а это что?

В аппаратуре был часовой механизм, который вдруг заработал. Фолстоун остановил его пальцем.

– Хитро придумано, черт побери, – вскрикнул он. – Здесь есть проводок с соответствующими метками. Его вставляют в отверстие, и через минуту аппарат начинает автоматически передавать азбукой Морзе текст сообщения. Тому, кто это отправляет, вовсе не нужно находиться рядом при передаче...

– Это я по крайней мере понимаю, – сказал Грэм. Он тяжело дышал и вытирал лоб большим платком.

– Где вы нашли аппарат?

– Он был в распределительном щите, представьте. Какая наглость! Попросту на глазах у всех. Мы поочередно осмотрели все щиты, но аппарат был лишь в одном. Но как он туда попал, минуя наши посты?

– Как-то его протащили. Сообщение зашифровано так же, как и предыдущее?

– Да, – сказал старший лейтенант, – но, видимо, прервано на половине. Наверное, часовой механизм подвел. Это настоящее чудо, что мы его услышали. В соседнем зале находится бетатрон, который во время работы так искрит, что заглушает абсолютно все. Сигнал можно запеленговать на расстоянии ста километров, не меньше.

– Бетатрон перестал работать, потому что из-за перенагрузки сработал главный предохранитель, – сказал Мейкинз. – Я уже узнавал у дежурного электротехника.

Я всматривался в знаки, которые телеграфист записывал на листке бумаги, и меня вдруг озарило.

– Грэм, – крикнул я, – мне нужны ваши люди из шифровального отдела.

Толстяк выглядел расстроенным, но резвости не потерял. Мы вернулись в кабинет, а по дороге Мейкинз спросил меня:

– Думаешь, двойная система?

– Именно, – ответил я.

Не зря я считал его одной из самых светлых голов в министерстве.

В комнате был Гримшо с двумя помощниками. Один из них, с ястребиным носом, в очках с толстыми стеклами, был известным математиком.

– Господа, вы уже пробовали использовать метод подстановки при расшифровке сообщения? – спросил я. – Например, таких слов: изотрон, бетатрон, негатрон, циклотрон, кенотрон...

Гримшо самодовольно кивнул.

– Конечно, пробовали... Окончание «трон» легко удалось бы идентифицировать. К сожалению, попытки ничего не дали. Правда, в первом сообщении два раза встречается сочетание TVC, которое на худой конец можно было бы принять за «тро» или «рон», но четвертая буква отсутствует.

– Те два сообщения передавались через короткий промежуток времени?

– Да. Не знаю в точности, это не наш перехват...

– Этого достаточно, – сказал я. – Думаю, можно попытаться расшифровать. Вы, наверное, не знаете о новом немецком методе параллельной передачи?

Мои слова взбудоражили их. Сидевший Гримшо встал, а Грэм беспокойно заерзал.

– Принцип прост, – сказал я. – Передают на двух разных частотах. Шифровку разбивают определенным способом на две группы букв. Часть передают на одной частоте, остальное – на другой. Таким образом, сообщение, полученное на одной частоте, никак нельзя расшифровать. А вот имея обе части, можно это сделать, даже не зная ключа, хотя это и трудоемкий процесс. Особенно если имеем в распоряжении такое коварное слово, как этот «трон».

– Черт побери, – вырвалось у Гримшо, – это в самом деле новость. Откуда вы это привезли?

– Действительно привез. Вот видите, и в нашем старом Лондоне царит трудовой энтузиазм. Это совсем новая система, о которой мы узнали от виртуозного агента в Германии дней десять назад. Мы не сообщали вам об этом, потому что не предполагали, что нечто подобное будем использовать и у вас...

Специалисты буквально бросились на шифровку. Перья выскочили из карманов и заскрипели по бумаге.

– Пошло, пошло! – закричал математик.

Действительно, не прошло и четверти часа, а сообщение было прочитано.

– Какая наглость, на английском! – проворчал Грэм.

Текст гласил:

«Строится изотрон W235. Фактор разделения r неизвестен. Внутренние лаборатории приступили к изготовлению новых графитовых стержней. Изолирующий замедлитель неизвестен. Коэффициент умножения k больше 1, но все-таки мал. Ежедневно производится, вероятно, 1/200 мг плутония».

Грэм, который, опираясь руками о стол, стоял с открытым ртом, словно хотел проглотить листок с записью, взорвался.

– Неизвестный замедлитель! Неизвестный коэффициент! Радуйся, проклятый англичанин, слава Богу, все еще можно спасти!

– Советовал бы вам отказаться от дурацких шуток, – сказал я. – Мне хотелось бы посмотреть тот сейф, о котором вы так подробно рассказывали.

– Что, сейчас? – спросил Грэм. – Но это же глупо.

– Нет, – ответил я, – это важно. Правда, Том?

Мейкинз улыбнулся. Мы вышли вместе с Гримшо, который отправился в комнату радиоперехвата за следующим сообщением. Грэм пропустил меня и Мейкинза в лифт и зашел последним. Наверху был настоящий лабиринт из коридоров и пандусов, пересекающихся под разными углами. Везде светились большие табло автоматических путеводителей, а когда мы проходили мимо некоторых дверей, раздавался сигнал и охранник выглядывал в окошко. Мы поднялись на самый верхний уровень здания. Двери здесь были такие массивные, что один человек не смог бы их сдвинуть. Они ходили на роликах. В центре округлого помещения со стальными стенами стоял сейф, похожий на серую каменную глыбу.

– Так, значит, здесь, как вы утверждаете, хранятся планы и чертежи всех важнейших аппаратов? – спросил я.

Грэм кивнул с растерянным видом. Я внимательно осмотрел комнату. Мейкинз постучал пальцем по стали и сказал:

– Дорогой мистер Грэм. Вы тащите людей за семь тысяч километров, чтобы рассказывать им сказочки. Когда я только услышал об этом центральном сейфе, то сразу пришел к соответствующему выводу. Позволю себе воспроизвести ваши мысли: немцы хотят любой ценой добыть планы.

Значит, нужно им их выдать. Вы создаете под стеклянной крышей наивысшего здания настоящую сокровищницу, набиваете бумагами древний сейф и ждете немецкого визита. Если здесь есть шпион, думали вы, он сообщит своим, и вскоре подводный крейсер со свастикой завернет в Мексиканский залив, а с его палубы стартует вертолет... например, АФ 233, так? Таким образом немцы прорвутся сюда и получат искомый план, а вы сможете спокойно расщеплять атомы. Правда? Любопытно, что вы засунули в этот сейф?

Грэм сопел все сильнее, наконец упал на лавку. В руках он по-прежнему держал платок. Он вытаращил на нас глаза, с минуту молча двигал губами, а потом взорвался громким смехом.

– Великолепно! – закричал он. – Сдаюсь. Что я туда засунул? Планы нашего электролитического сепаратора. С его помощью можно получить один грамм урана за девяносто лет...

– Вы их недооценили. Немцев не поймать на эту удочку. Я бы не стал гордиться такой идеей, – отозвался я.

– Я тоже... Это сенатор, – начал Грэм и осекся. Он встал и достал портсигар. – Не обижайтесь на меня за эту историю, господа. Я считал это маловажным, у нас нет от вас никаких тайн.

– Но вам хотелось иметь в кармане пару козырей, так? – сказал я.

Мы вернулись другой дорогой. В одном месте коридор сужался, а в стене было большое стеклянное окно. За ним виднелась мрачная шахта. Когда мы проходили мимо, за стеклом блеснуло ослепительное ртутное сияние, залило коридор и погасло. Я невольно вздрогнул.

– Ничего страшного, это разряд коллекторов генератора Ван де Графа, – сказал Грэм. – Здесь много таких неожиданностей.

VII

– Господа, – сказал Грэм, – пора приступать к наступательным действиям.

Мы сидели в его кабинете. Кроме членов совета, здесь присутствовал и Куэрни.

– У нас есть передатчик, и мы знаем, что среди персонала находится по крайней мере один шпион. Думаю, однако, что их больше. Второе перехваченное сообщение не удалось прочитать, поскольку там отсутствует часть букв. Возможно, они попробуют с помощью другого средства связи выслать следующую часть, необходимую для расшифровки, но мы не

можем ограничиваться ожиданием. Когда они совершат какую-нибудь неосторожность, может быть уже поздно. Не хочу пугать вас страшилками, но вы сами понимаете всю важность сложившейся ситуации. Мы должны перейти в наступление и накрыть всю организацию любой ценой. Наш проигрыш был бы не обычным военным поражением, а, во-первых, крушением цивилизации и, во-вторых, передачей мира в немецкое рабство. Таковы перспективы.

– Сколько человек сейчас занято на производстве? – спросил я.

– Семнадцать тысяч.

Я скривился в недовольной улыбке.

– Значит, невозможно быстро изучить все персональные дела.

– Да, но это не может быть рабочий. Рабочий мог бы даже в лучшем случае знать лишь участок своей деятельности. Даже если бы он был профессором физики, не узнал бы в монтажном зале о графитовых стержнях, а в подzemелье – о новом изотроне.

– Может быть, их несколько и они в сговоре?

– Рабочие из разных отделов не могут общаться. У них отдельные столовые, клубы, даже кинотеатры.

– А сколько людей на таких должностях, которые позволяют им свободное перемещение из одного отдела в другой?

– Таких всего лишь семьдесят. Но есть прорабы и наладчики, которые иногда получают пропуск. Таких наберется около трехсот.

Я вздохнул.

– Значит, мы с Мейкинзом возьмем эти триста семьдесят папок в мою комнату. Кроме того, прошу прислать нам побольше кофе и таблетки психедрина. Если случится что-то важное, прошу нас уведомить.

– Как, вы уходите уже сейчас? – спросил Грэм, когда я и Мейкинз поднялись с кресел.

– Нужно заняться этим как можно скорее.

Я поклонился и вышел.

– У тебя есть какой-нибудь план? – спросил меня Мейкинз, когда два человека принесли огромную кипу желтых и зеленых папок.

– Им нужно было провести своего человека через очень чувствительную фильтрационную систему, так? Его следовало наделить характеристиками, которые попросту сделали бы невозможными какие-либо подозрения. Это может быть какой-то уважаемый, награжденный орденами ветеран войны или человек, известный по радикальной политической деятельности или же преследовавшийся немцами. Таких людей мы должны найти.

Началась работа. После четырех часов просматривания старых анкет и заметок у меня начали сверкать искры перед глазами. Тогда я принял холодный душ и позвонил Гримшо, чтобы тот прислал нам двух своих людей. Вчетвером мы занялись дальнейшей сортировкой папок. Когда работа была почти закончена и сорок шесть папок отложены в сторону, раздался звонок. Звонил Грэм.

– Ну, как вы там развлекаетесь, господин офицер? – спросил он. – Интересно, вы его уже нашли? А то мы его поймали.

Я затаил дыхание.

– Он сам попал нам в руки, понимаете? Спускайтесь вниз, будете присутствовать при допросе.

– Том, – позвал я. – Грэм говорит, что они его поймали. Идем со мной, а вы, господа, продолжайте работать. Мы скоро вернемся.

Шесть солдат охраняли двух рабочих, которые стояли у стены. Грэм сидел на столе и курил сигару.

– А, вот и вы, – сказал он, когда мы вошли.

Один из рабочих был немолодым негром атлетического сложения.

– В одиннадцать приходит третья смена, – рассказал Грэм. – Этот негр был из этой смены, он монтер-электрик. В зале произошло какое-то замыкание, и его послали наверх, чтобы нашел соответствующий предохранитель. Повсюду были расставлены мои люди, и они заметили, что он вынул что-то из кармана комбинезона и положил в распределительную коробку. Задержали его. Оказалось, что в коробке был новый передатчик, идентичный образец. Вот он лежит. Когда негра прижали, он сказал, что один из рабочих, некий Маллиган со второй смены, дал ему пакет и попросил положить в распределительную коробку. Обещал ему за это десять долларов. А вот и Маллиган.

Это был ширококостный сухощавый парень. На лице у него виднелась небольшая рыжеватая щетина, голубые глаза смотрели жестко. Он крепко сжимал кулаки, кадык у него судорожно дергался.

Начался допрос. Маллиган поначалу отпирался, но когда ему показали аппарат и негр повторил свои показания, обмяк. Его настоящее имя – Томас Кроэне, он был родом из Восточной Пруссии. Стал гражданином США несколько лет назад. Документы у него были настоящие – видимо, купленные у какого-то портового рабочего. Его завербовал некий тип, которого он называл доктором Литтоном. До того он шесть месяцев работал в Ок-Ридже сварщиком. Перед тем как перейти на новую должность, проходил специальный курс в Алабаме. Его и вел этот «доктор Литтон». На курсе было еще шестнадцать человек, с которыми он не был

знаком. Литтон преподавал им основы атомной физики и методы пересылки сообщений с помощью новой системы передатчиков. Перед отправкой в Ок-Ридж он получил два передатчика, запаянные в консервные банки.

– Можно задать пару вопросов? – вмешался я. – Каким образом вы пронесли в зал аппарат, минуя рентгеновский контроль?

– Контроль был тщательным лишь в самом начале, – сказал мнимый Маллиган. – Тогда нужно было выкладывать все из карманов, а потом можно было оставлять всякие мелочи – например, авторучку. Аппарат я перенес в авторучке.

– Как это – в авторучке?

– Аппарат разбирается, – объяснил он, – и можно было перенести его маленькими частями внутри корпуса авторучки, из которого я вынул баллончик с чернилами.

– Ну хорошо, а какой в этом смысл? Зачем вы это делали? Вместо того чтобы подвергать себя опасности, могли бы передавать из жилого помещения.

Маллиган потряс головой:

– Нет, оттуда я не мог – там случаются проверки, а кроме того, в комнате живут несколько человек. Я хотел, чтобы аппарат был за пределами комнаты, так было лучше.

– Тогда его можно было разместить где-нибудь в жилом здании, вне комнаты, а не здесь.

Маллиган явно смешался. Пытаясь меня переубедить, он сжимал кулаки и старался говорить быстрее:

– Здесь все заглушал искровой разрядник. Я думал, что нельзя будет перехватить передачу.

– Кто вы на самом деле по образованию? – спросил я.

– Техник-электрик, – буркнул он.

Я покачал головой:

– Вы отважный человек, но импровизация была устроена слишком поспешно. Ну и кто вам приказал все это сделать?

– Я уже говорил. Доктор Литтон.

– Нет, не прикидывайтесь. Кто приказал вам разыграть историю с негром здесь, на производстве?

Он молчал.

– Не будете говорить?

Он не отвечал.

– Мистер Грэм, – сказал я, – у меня больше вопросов нет.

– Уведите их, – сказал Грэм. – Так вы считаете, что?..

– Я ничего не считаю. Тот, кто разместил аппарат, решил, что пришла пора действовать. Что нужно нас дезориентировать. Лучше всего усыпить нашу бдительность, отдав нам в руки агента. И поэтому он приказал своему помощнику – именно этому, – чтобы он разыграл комедию «провала». Но это не удалось. Конечно, этот шаг показывает, что мы имеем дело с противником высокого класса, но у него начинают сдавать нервы. Ведь это полная глупость, с этим аппаратом. Зачем его понадобилось пронести сквозь контроль? Так что, возможно, я не зря отложил эти сорок шесть папок. Если мы не идентифицируем его за два дня, нужно будет удалить всех подозреваемых. Незаменимых людей нет.

– Придется нажать на Маллигана.

– Боюсь, что он ничего не скажет. Для такого задания выбирают не обычных людей. Дали то, что было из лучшего.

– Но вы его переиграли, – сказал Грэм. – Пойдемте, покажете мне эти папки.

– Это не очень нам поможет. Я уверен, что, когда мы его схватим, вы будете удивлены еще больше, чем я.

Когда мы вышли, я спросил Мейкинза, что он обо всем этом думает. Том очень молчаливый человек, но когда говорит, его стоит послушать.

– Я думаю, – сказал он, – что это какая-то шишка. Аппарат был здесь потому, что этот человек или вообще не живет в рабочих зданиях, или бывает там редко. Нужно узнать, кто имеет право постоянного пребывания в корпусе.

Я спросил Грэма.

– Таких можно посчитать по пальцам. Человек двадцать. Даже меньше. Я дам вам список. В нем весь совет – я, вы и пара ученых.

– Вас я давно уже подозреваю, – сказал я и рассмеялся, когда Грэм вытаращил на меня глаза.

Когда Мейкинз засел над принесенным списком, я решил провести еще один эксперимент. Выписал адреса людей, чьи личные дела отложил, и в сопровождении двух солдат отправился в жилые блоки. Шел второй час ночи, и все, кто не работал в третьей смене, спали. Мы входили в каждую комнату, не зажигая света. Я измерял пульс лежащих, чтобы проверить, спят ли они. Потом внезапно светил им фонарем в глаза.

– Mensch, wie heissen Sie? – кричал я как можно громче. – Sagen Sie sofort, los! [\[140\]](#)

Я предполагал, что разбуженный немец произвольно ответит на родном языке. К сожалению, семь человек проснулось при нашем входе,

четверо были на работе, а из остальных никто не ответил по-немецки. Зато некоторые чудовищно ругались. Измотанный, я вернулся к себе. Ложась в кровать, приказал, чтобы меня ни под каким предлогом не будили до шести утра. Я был совершенно разбит.

– Не очень умно, – сказал Мейкинз, когда я пожелал ему спокойной ночи. – Теперь он предупрежден, что трюк не удался. Надеюсь, что это не помешает нам его поймать. – И с этими словами удалился в свою комнату.

VIII

– Парень, – сказал мне Мейкинз, едва я открыл глаза, – ты знаешь, что мы не получили папки наших бонз?

– Я знаю об этом, но...

– Я хотел бы получить эти папки, – настойчиво сказал Мейкинз, глядя в окно. – А особенно данные, касающиеся инженера Лаварака.

Я молча начал одеваться. Когда я выходил из комнаты, Мейкинз добавил:

– Не говори всего Грэму – я не хотел бы задеть его патриотизм.

Грэм сначала рассмеялся, когда я попросил у него папки, но затем насторожился.

– И Лаварака тоже? – спросил он. – Да я скорее ему поверю, если он скажет, что вы немецкий шпион. Вы хоть знаете, что это за фамилия? Лавараки приехали в Штаты в 1760 году. Четверо из них были в конгрессе, а отец нашего занимал пост мэра Чикаго.

– Я хотел бы посмотреть его папку совершенно частным порядком. Просто хочется узнать его биографию.

– Ладно.

Вернувшись к Мейкинзу, я выложил на стол папки.

– Томми, – сказал я, – кажется, чутье на этот раз тебе изменило. Это благородное старинное семейство вне всяких подозрений, и вдобавок весьма богатое. Тем более наш Лаварак три года работал в бюро департамента морского флота, а там очень внимательно смотрят людям в глаза и на их руки.

Мейкинз не отозвался и вышел из комнаты. Он вернулся к ленчу.

– Парень, – сказал он, – у меня любопытные новости. – Он закрыл двери, улыбаясь.

– Я познакомился с одним из рабочих, который был засыпан вместе с Лавараком, и он рассказал мне подробности катастрофы. Они были таковы,

что я постарался получить оттиск пальца инженера. Вот мой портсигар. – Он подал мне гладкую серебряную коробку, завернутую в платок. – Сделай, пожалуйста, что нужно, ты умеешь это лучше меня.

Я без слов открыл несессер и с помощью баллончика с лycopодимной пудрой опылил портсигар. На зеркальной поверхности проявилось несколько пятен.

– Я видел в папке его старый паспорт, – сказал Мейкинз.

На американских паспортах под фотографией находится квадратик с отпечатками обоих указательных пальцев. Некоторое время я не слышал дыхания Мейкинза, потом он отложил портсигар и лупу.

– Так я и предполагал. Черт побери, мы нашли его, понимаешь?

Глаза у него сияли. Я с недоверием схватил лупу. Да, не было никаких сомнений.

– А здорово сделано, не правда ли? – сказал Мейкинз. – Их засыпало, и инженер погиб. Размозжило ему голову. Когда они пришли в себя, – они ведь сидели там три часа, – единственным, кто оказался с фонарем, был шпион. Сориентировался в ситуации. Был обычным рабочим. А теперь появился единственный, необычайный шанс, понимаешь? Инженер был изуродован до неузнаваемости. Все были в комбинезонах. Из девяти – четверо без сознания, а может, уже убитых. И там, в этой темноте, когда в любую минуту остатки кровли могли обрушиться на голову, он сам ножом или лопатой отсек себе пол-лица. Возможно, перед тем переложил себе документы, но это уже мелочи. Таким образом он стал инженером Лаваракom!

– Как ты на это вышел? – спросил я.

– Это его жена... помнишь, что говорил Грэм? Когда ехала к нему на машине, произошла катастрофа. Опасались, что она его не признает: может, другая форма руки, цвет глаз, – поэтому ее ликвидировали. Уж слишком библейская получалась история, слишком много в ней было от Иова.

– Начинаем представление, – добавил он. – Иди к Грэму.

Толстяк принял меня, развалившись в кресле. Пачка пирамидона лежала на столе. Когда я рассказал ему все, он ошолбенел: изумленно хлопал глазами, тер руками щеки, – наконец взорвался:

– Неслыханно! Это бесчеловечно! Я просто не могу понять – ну да, можно отдать жизнь. Но так?.. Ведь вы видели, видели, как он... И это собственными руками. Боже!

Открылись двери. Вошли Лаварак и Мейкинз. Инженер заканчивал какой-то рассказ, живо жестикулируя.

– Присаживайтесь, господин инженер, – сказал я, подав знак Грэму. Я

боялся, как бы он не утратил самообладания. – Мы пригласили вас по очень важному делу.

Лаварак, удивленный, приподнял брови.

– Слушаю вас.

– К сожалению, уловка не удалась, – начал я по-немецки. – Кропф нам все рассказал.

Инженер холодно посмотрел на меня.

– Я знаю немецкий язык, – сказал он, – но не понимаю, почему вы на нем говорите? И при чем тут какой-то Кропф?

– Может быть, вы согласитесь сделать отпечаток пальца вот на этом листке? – сказал я. – Один оттиск у нас уже есть – вы сделали его до катастрофы.

Я говорил по-прежнему на немецком языке. Свет заблестел в глазах Лаварака. Он сидел окаменев, только глаза все сильнее пылали на иссеченном шрамами лице, которое медленно синело. В незакрывающемся рту белели зубы.

– Вы проиграли, – сказал я. – Но это было сильно.

Он по-прежнему сидел неподвижно. Была такая тишина, что каждый звук слышался как усиленный в сто раз. Вдруг белое, словно неумело высеченное из дерева, лицо дрогнуло. Раздался глухой стон. Инженер упал лицом на стол, рыдая.

– Страшно, – пробормотал Грэм. Сигара у него погасла. С открытым ртом он смотрел то на меня, то на Мейкинза. – До самой последней минуты я не мог поверить!

Он подошел к Лавараку:

– Успокойтесь. Вы сражались прекрасно. Я сделаю все для того, чтобы... чтобы облегчить вашу участь.

Тот рывком поднял голову. Глаза у него были сухие. В глубине его лица что-то происходило, словно его настоящие, утраченные черты пытались пробиться на застывшую поверхность.

– Ничего мне не нужно! – сказал он. – Ничего!

Голос был другой. Более глухой, горловой. Настоящий.

Грэм подал сигнал, и вошли четыре охранника. Они увели инженера.

– Я не знаю, кто из вас это сделал, – отозвался через минуту Грэм, снова прикурив сигару, – но это было, о, это было... – Он выпустил большое облако дыма.

– Это Мейкинз, – сказал я. – Боюсь, мне эта мысль не пришла бы в голову.

– Но каким образом?

Мейкинз подошел к окну. Приближался вечер, и далекие дымы, тени башен, поблескивающие бока хранилищ погружались в ночь, как в большую воду. Я видел, как он смотрит во тьму.

– Видите ли, – сказал я, – я действовал методично и искал в соответствии с планом. А Мейкинз действовал иначе. Я не думаю, что это было случайно. – И добавил тише: – Он поймал немца, потому что в такой же миг, если бы этого требовали обстоятельства, сделал бы то же самое.

– Слушай, парень! – отозвался Мейкинз. Он подошел к нам, и глаза горели на его бледном лице. – Слушай, а как ты думаешь, когда их засыпало землей, там, в темноте без воздуха, знаешь, а не сам ли он убил этого инженера?

Перевод Борисова В.И.

Человек из Хиросимы

I

– Грэм, а кто, собственно, этот Трумэн?

Мой гость, сидевший боком на застланном кресле, как раз выуживал из алюминиевой коробки роняющую оливковые слезы селедку, когда я помешал ему своим вопросом. Он сверкнул на меня глазами, скривился, потому что хвост селедки оставил жирный след на скатерти, и, поспешно глотая, пожал плечами.

– Вы не знаете? Это никто.

– Действительно, я никогда о нем не слышал, но почему именно...

– Это никто, – повторил Грэм, макая кусок хлеба в масло. Круговым движением очистил сияющие борта банки, громко чавкнул, проглотил мякиш и, довольный, придвинул к себе сифон.

– Это, мой молодой коллега, такой воздушный шарик, который можно наполнить чем угодно и нарисовать на нем тоже что угодно. Понимаете, он именно в самый раз такой, какой сейчас нужен.

Грэм сидел у меня уже больше недели. Он прилетел, как это было принято у американцев, непосредственно из Штатов в Лондон. Через несколько дней после него прибыл его автомобиль, великолепный «крайслер», похожий на застывшую каплю матового серебра. Толстяк поселился у меня, конечно, он мог найти другое жилище, но возжелал «семейного тепла», а уютность лондонских отелей ужасно ухудшилась. С тех пор как армия вторжения прорвала немецкие фронты и продвинулась в глубь Франции, Лондон вновь начал заполняться людьми, вдобавок разные штабы и штабики размещались в центре. Тщетно я пытался прощупать таинственного Грэма. Его автомобиль постоянно стоял у военного департамента, а однажды я увидел его самого в служебное время, когда он, сверкая своей монументальной лысиной, мелькнул в проеме открытой двери моей комнаты, шагая по коридору, и исчез в кабинете шефа. Но на мои тактичные намеки на наше давнее сотрудничество он неизменно отвечал холодным молчанием.

«Напыжился и важничает», – подумал я.

По вечерам Грэм ловил по радиоприемнику Америку и под

деревянные звуки негритянского джаза опустошал мой скромный буфет. Маленьким полуботинком он негромко притопывал в такт музыке, лысый, круглый и лоснящийся от пота, пока наконец не пересаживался из-за стола на диван, потому что у него уже начинал болеть живот.

– Ой, сейчас сердце выскочит, – жаловался он, глядя помутневшими глазами на свою коробку с «дважды очищенной» содой.

– Не ешьте столько, – неизменно отвечал я.

– Хорошо, хорошо. – Грэм обижался, немного прохаживался по комнате, чтобы там «все осело», и снова выискивал какую-нибудь закуску.

Времена становились все менее лирическими. Война, которая вяло велась столько лет, будто пытаясь наверстать бесполезно упущенное время, ринулась во все тяжкие.

Каждую ночь, когда я возвращался из кинотеатра или Гайд-парка, тысячи бомбардировщиков пролетали над городом, направляясь в сторону Германии, а это была лишь часть потока самолетов, стартующих с баз на островах. Воздух сотрясался от железного карканья моторов. В других министерствах все хлопотали, ходили какие-то процессии с прошениями, чиновники готовились к оккупации, печатавая необходимые и вовсе не нужные (и такое случалось) бумаги, выискивали синекуру, и наивысшим козырем в этом было умение говорить и писать по-немецки. Великая Германия разваливалась на кусочки, словно повторяя процесс прирастания чужой землей, но в пущенном задом наперед фильме. Танковые плуги глубоко вспахивали живое тело Германии, а еще не занятые земли из ночи в ночь утюжили недавно запущенные в серию восьмитонники. Все это я наблюдал лично в кинохрониках или на фронтовых снимках в журналах, потому что в нашем отделе царило полное спокойствие, позевывание, курьеры величаво разносили чай, а шеф приносил в свой кабинет очередные тома Хемингуэя.

Германия рухнула окончательно, и мой рапорт с просьбой об увольнении с одобрительной резолюцией шефа уже четыре недели лежал в министерстве. Военные сводки выглядели так, что я утратил остатки интереса к загадочной роли безустанно совещавшегося где-то Грэма. Последний раз мы виделись с ним в Нью-Мексико, в Аламогордо. Как сейчас помню ту холодную ночь в горах, проведенную в смрадной лачуге, оставленной пастухами. Когда старый Бейнбридж из Массачусетского университета нажал кнопку и уран, размещенный на стальной вышке в пятнадцати километрах от нас, взорвался, темнота разорвалась жутким светом. Окаменевший горизонт, выхваченный из мрака, был как на ладони, с центральным серебряным пламенем в глубине. Мы лежали тогда

навзничь за углом домика так, как велели нам специалисты: ногами по направлению к взрыву. Я помню, как черные полосы прорезали побелевший небосвод. Рядом со мной тогда лежал Грэм; он что-то тихонько пробормотал, а когда я его спросил, что-то ответил, но одновременно с этим до нас дошла волна грохота и жара, словно кто-то пронес рядом с лицом невидимый огонь. Потом все угасло, мы встали, только далеко на фоне пепельного неба вздымался белый столб, поднимавшийся вверх, как гигантское растение, окруженное радужными облаками.

– Что вы сказали? – переспросил я Грэма.

– Два миллиарда долларов стерты в порошок, – сказал он, вытираясь большим платком, – но это того стоит.

Сначала я думал, что прибытие Грэма в Лондон означает скорое испытание атомной бомбы – все-таки это он, как я сказал ему когда-то, «высидел атомное яйцо» в Ок-Ридже и, как добрая старая квочка, охранял его от немецких агентов, – но отсутствие штаба технических специалистов (по крайней мере я ничего не знал об их присутствии в столице), а теперь приближающийся крах Германии заставили меня перечеркнуть эту мысль. Атом уже был не нужен.

Шестого мая я задержался в бюро дольше, чем обычно. Берлин был уже взят, а фронты смыкались, русский и англо-американский плотно сложились, как ладони, и лишь отдельные фрагменты Великой Германии, словно кусочки змеи, лихорадочно трепетали в железной сети. В бюро прошла маленькая конференция, шеф улыбался, и все располагало к покою: самые прекрасные минуты перед окончанием войны, когда кажется, что все трудности исчезли и можно будет наконец начать спокойную жизнь.

Грэма дома не было. Я включил радиоприемник, проехал белым указателем диапазона по станциям Европы – большинство говорило уже на своих языках. На долгую минуту задержался на Варшаве, потом Прага взорвалась боевым маршем, и наконец нашел, может быть, последнюю немецкую передачу, Soldatensender^[141], которая что-то несла на захлебывающемся от волнения диалекте, – я с любопытством вслушивался в эти остатки умирающей ярости.

Я с улыбкой припомнил не очень давнюю беду: немецкая контрразведка перехватила большую партию взрывчатых материалов для наших саботажников в Германии. Это был тринитротолуол, замаскированный под уголь; несколько тонн такого «угля», великолепная имитация. Но потом фронты тронулись и ринулись вперед, особой надобности в помощи изнутри уже не было, к тому же мы утратили связь почти со всеми нашими агентами.

Сгустились сумерки, но мне не хотелось вставать с кресла. Шкала радиоприемника светилась розовым и зеленым. «А ведь это в самом деле конец, – думал я, – и что теперь будет?» Вернутся наши люди – конечно, не все, но агенты не пойдут на гражданку, часть будет занята поиском гитлеровцев, это уже новая задача, которая меня не будет интересовать. Значительно увеличится также разведка у наших друзей, то есть тактическая работа во Франции, Америке, Восточной Европе. Боже мой, об этом обычно не говорят, но фанфары, парады, возложение венков на Могилу Неизвестного Солдата – это лишь наиболее видимая часть межгосударственных отношений.

В ту ночь все это показалось мне глупым и ненужным, если бы все сейчас настроились так... чтобы уже «никогда не было войны»? Но... так было, так есть – значит, так должно быть.

Я перешел на короткие волны; в глубине магического ока индикатора затрепетал и расправил крылья зеленый мотылек, а из динамика донесся грудной женский голос:

– Тэйсин ^[142] Киото – Токио...

Япония. Первая мысль была: что сейчас делает Сато Уиттен? Нужно будет посетить его отца; как давно я там не был. Война кончается, Япония долго в одиночку не протянет. Воюя с Германией, бедные промышленники вынуждены были рвать чувствительные нервы, связывающие обе страны: разве не болело у них сердце, когда американские инвестиции превращались в дым в Гамбурге или Кельне? С японцами не было таких угрызений совести; правда, и там было немного американского капитала, но каучуковая резина, Малайя – это увеличивало силу наступления. США начали, США и закончат, тем более что японцы – мужественные люди, но не более того. «Железный кулак, упрятанный в цветке вишни». Их религия более приближена к загробным делам, нежели к земным, – это мировоззрение, которое облагораживает индивидуумы, но сильно вредит народам. Они великолепно умели приносить себя в жертву во имя императора путем дзибаку – броневого самоубийства, когда таранили американские крейсера своими самолетами или живыми торпедами, но самоубийц нельзя принимать в расчет как реальную силу. Японцы верили в мужество больше, чем в разум, но когда в лабораториях Лос-Аламоса или Принстона стремительными темпами шли ядерные исследования, их отчаянного мужества уже не хватало для победы.

Я снова подумал о Сато Уиттене. Нужно будет завтра спросить, когда от него пришло последнее сообщение. Иногда это были листочки промокательной бумаги, пропитанной хинином, прекрасно

флюоресцирующем в ультрафиолетовых лучах, иногда просто соответственно приготовленные открытки, отправляемые в Португалию, – шли они очень долго. Кто знает, захочет ли начальство отказаться от его услуг: надежных, идейно работающих японских агентов найти нелегко.

Я услышал скрежет ключа в двери. Грэм снова забыл о второй задвижке и усердно возился с замком.

II

Я познакомился с Уиттенем в Гейдельберге, где изучал машиностроение. На политехническом отделении тогда было три или четыре азиата, и меня поразило, что он никогда не ходил с ними. Те держались вместе, вместе сидели на лекциях, а когда поворачивали к нам свои немного треугольные лимонные лица, делали это, словно преодолевая невидимое сопротивление. Я ближе сошелся с ним в чертежной мастерской. Мне почти никогда не удавалось исполнить технический чертеж с первого раза. То я разливал тушь, то начинало брызгать перо, и мне приходилось все начинать сначала. Сато помог мне раз и другой, я одолжил ему какую-то книжку, и постепенно я узнал его удивительную историю.

Он был сыном англичанина и японки, родился в Асамаяме на острове Эдзо^[143]. Первые годы провел на родине матери. Когда она умерла, ему было шестнадцать лет, и отец, инженер-строитель, забрал его в Англию. Здесь он окончил среднюю школу, начатую в Японии, и понял, что значит иметь желтую кожу. Поразительным в нем было распределение свойств: внешне он был японцем – маленький, щуплый, словно высушенный, почти без растительности на лице, в никелированных очках; черная гладкая шевелюра не скрывала черепа, а, наоборот, будто приклеенная, подчеркивала ее шаровидную форму. Но он считал себя англичанином. Английский был его родным языком. И эти два унаследованных механизма жизни существовали рядом, с виду не сливаясь воедино. Лишь изредка я мог догадываться, как тяжело приходится ему жить в стране, которая считала его чужим. Но это не было исключительно виной лишь окружения, потому что непонятные черты восточного склада ума также присутствовали в нем, только глубоко упрятанные, и из этой глубины восходил рациональный, трезвый интеллект, близкий к европейским образцам. Способ его мышления действительно был – я так думаю – европейский, а эмоциональность – чужая. Его скрытность не имела ничего общего с

самообладанием, поскольку сквозь выдержку иногда может прорваться эхо сильнейших переживаний; для него же это было, казалось, невозможным. Я хорошо запомнил историю одного развлечения.

Происходило это во время карнавала. Поздним вечером, часов в одиннадцать, мы, пятеро англичан и трое немцев, сидели в нашем любимом ресторанчике у хромого Сэттлера, веселясь на студенческо-гейдельбергский манер. В воздухе витали запахи кориандра, конфетти, звучали пьяные упреки и выкрики, а вокруг в густом сигаретном дыму покачивалась, словно ринг, заполненный борцами, или палуба безумного корабля, площадка, на которой толпились танцующие. Зал у этого Сэттлера был маленький, позолота на стенах почернела, но мы считали этот стиль достойным, хорошо соответствующим нашим фуражкам. Около двенадцати Уиттен, который пришел со мной, извинился и собрался уйти. Мы, естественно, не хотели его отпускать; может быть, никто и не нуждался в его присутствии, но все знали, как следует развлекаться и поддерживать настроение, к тому же это послужило бы плохим примером для остальных. Поэтому он в ответ на попытки толстяка Медоуза удержать его был вынужден пообещать, что вернется.

После его ухода кто-то бросил на заляпанную скатерть пачку снимков. Вы знаете, конечно, как происходит рассматривание и комментирование фотографий в такие минуты. Пробегавшие в танце мимо нашего (крайнего) столика время от времени вырывались из зачарованного круга и присоединялись со своими замечаниями к нашим смешкам и крикам. В какой-то момент веселый настрой, казалось, начал спадать, и я, сам не знаю почему, вдруг решил шутки ради принести в жертву Уиттена. За несколько дней до этого он показал мне фотографию своей невесты. На желтоватом квадратике глянцевой бумаги виднелось размытое изображение щуплой задумчивой девушки с прозрачными волосами и глазами.

– Она немного больна, что-то с легкими, – добавил он, когда я вернул ему снимок, и аккуратно спрятал его в самодельный конвертик из мягкой голубой бумаги.

– Парни, – крикнул я, – а вы знаете, у Сато есть невеста в Англии!

– Желтенькая? – спросил Медоуз. От него пахло вином, в глазах отражался качавшийся зал.

– Нет, с какой стати? Ее звать Эллен.

– Не нравится мне это, – бросил кто-то.

– Но он англичанин! – защищал я Сато.

– Может быть, – ответили мне сомневающимся тоном.

Больше я не затрагивал эту тему, потому что, живя близко с Уиттеном,

не раз мог почувствовать, как сдержанно относятся к нему его «настоящие» английские коллеги.

Когда Сато показался на лесенке, ведущей в зал, толстый потный Медоуз подошел к нему, сильно покачиваясь, и взял его на руки. Дико ухая, он принес Сато к столу. И здесь начал выдавать какую-то сумасшедшую свадебную речь, обращая то к Уиттену, то к его воображаемой невесте, называя ее по имени. Мы разразились смехом. Это странный, известный каждому факт, что бывают минуты, когда все покатывается от хохота над какой-то дурацкой шуткой, а как вспомнишь на трезвую голову, остается только недоумение.

Уиттен все время стоял неподвижно со спокойной, словно примерзшей к лицу улыбкой.

Месяца через два я заметил у Уиттена на столе конверт с черной каймой и невольно взял его в руки.

Он увидел это. Сразу не отозвался, но, когда я уже выходил, сказал, что Эллен умерла.

– Мне очень жаль. Когда это произошло?

– Когда мы были у Сэттлера – на карнавале.

– Что, когда Медоуз... – начал было я и замолк.

– Да, – сказал он. – Я выходил тогда позвонить, помнишь?

– Позвонить...

– Да, потому что состояние было тяжелое и отец должен был мне сообщить.

– Но... и именно тогда... ты узнал?

Он кивнул.

– Боже мой, почему ты ничего не сказал?

– Не хотел портить настроение, – коротко ответил он, и больше мы об этом не говорили.

Во второй раз я встретил Уиттена в 1939 году, уже в Лондоне. Я как раз улаживал последние формальности в связи с началом работы в Специальном отделе, когда случайно увидел его на улице. Видимо, он запал мне в сердце крепче, чем я думал, поскольку я выскочил из отходившего автобуса.

Мы очень сердечно поздоровались. В какой-то миг, шагая рядом с ним, я подумал, что он идеально подходит на роль агента в Японии. Как любой молодой адепт искусства, я был полон святого энтузиазма и убежден, что в мои обязанности входит также открытие новых талантов и увеличение армии разведчиков. Это следует понимать так, что я был уверен в своем наметанном глазе и психологической интуиции. В тот же день я поговорил

с моим шефом, который, естественно, был воплощением флегматического скептицизма. Но, видимо, на самом деле очень не хватало агентов в Японии с соответствующей внешностью, поэтому прошло несколько встреч Сато со спецами, осторожное расследование его семейных отношений, и, наконец, ему было сделано предложение, которое и было передано через меня.

Он работал на нас уже шестой год. В Японии было три больших провала наших людей: в 1940, 1942 и 1943 годах, – но все они счастливо миновали Уиттена. В качестве технического контролера большой фирмы «Хасэгава», работающей на армию, он был освобожден от службы (конечно же, он считался японцем) и мог свободно передвигаться по всей стране. Его донесения часто были очень ценными; сам я не имел с ними ничего общего, но мимоходом слышал об этом от коллег из Восточного отдела. Однако следует заметить, что наиболее тревожные донесения агентов, даже подкрепленные убедительным документальным и вещественным материалом, чаще всего игнорируются штабами. Например, один из подчиненных Сато сообщил нам о намечающемся нападении на Перл-Харбор незадолго до этого, потом замолчал так внезапно, что мы утратили с ним все связи. Мы переслали это сообщение в Америку с известным результатом. Это сочетание недоброжелательности, тупости и невежества уже освящено традицией. Может быть, нигде нельзя встретить такого окаменевшего консерватизма, как в армейском командовании.

Седьмого мая я с утра печатывал лиловые, черные и розовые папки с документами, обвязывал пачки крепким шнуром и с неподдельным удовольствием относил их в архив. В промежутке между этими походами я нашел минутку, чтобы заглянуть к Старроу.

Поскольку из Японии в последнее время не было никаких вестей, я попросил его дать мне знать, если что-нибудь случится, и вернулся к себе. Входя в кабинет шефа, я заметил Грэма, который, увидев меня, легко приподнял брови и улыбнулся. В последнее время он с особым пристрастием разыгрывал таинственность.

III

Два месяца спустя, наводя порядок в своем домашнем столе, я с удивлением обнаружил в самом нижнем ящике какие-то старые документы, относившиеся к делу восьми немецких диверсантов, которых удалось раскрыть благодаря сотрудничеству с американским ФБР. Их взяли, когда они начали строительство маленькой пиротехнической фабрики в подвале

своей виллы. Это было немного неприятно, тем более что я не мог припомнить, каким образом бумаги попали ко мне, конечно же, хранение таких документов дома было строжайше запрещено. Но война уже закончилась, мой рапорт на увольнение уже лежал на столе у начальства, поэтому я решил отнести уже несущественные бумаги на службу. Вскоре мне предстояло покинуть бюро, поэтому я не без волнения вошел в кабинет, где проработал шесть лет. Я принадлежал к счастливчикам, которые кровавую бойню наблюдали из кресла, в некотором панорамном сокращении, хотя не единожды мог воздействовать на ход войны интенсивнее, чем самый доблестный воюющий солдат.

Возвращаясь из архива, я заглянул к Старроу.

– Замечательно, что ты пришел, – воскликнул он, завидев меня. – Есть кое-что для тебя.

– Сообщение от UTU?

Это был криптоним Уиттена.

– Да, и даже не через Португалию, представь себе, через Данию, и очень свежее: отправлено девятнадцатого июля.

– Можно узнать, откуда?

Старроу замялся на минутку, но потом рассмеялся и похлопал меня по плечу.

– Ну, ты нам не навредишь, – сказал он, довольный собственной шуткой. – Из Хиросимы. Он находится сейчас там и работает на заводе «Маомото-Низасака». Знаешь, это там, где производят реактивные авиадвигатели.

– Хиросима? Где это?

– Не знаю, но кажется, что на Хондо^[144]. Это портовый город.

– Спасибо большое.

Я попрощался и вышел, думая, что старый Уиттен обрадуется весточке о сыне. Официально Сато был торжественно похоронен как жертва налета во время немецкого блица.

Дома уже был Грэм, которого я пригласил на более роскошный, чем обычно, обед по случаю подписания предварительного контракта с акционерным обществом «Райт и Карелл», куда я поступал в качестве инженера-конструктора. Толстяк сиял сегодня даже сильнее, чем обычно. Его глаза, словно вставленные в розовый глобус драгоценные камни, вращались, полные лучезарного удовольствия. Придвигая к себе после десерта сахарницу, он начал:

– Слушайте, молодой человек.

Мне очень не нравилось это паясничанье.

– Вы будете в восторге, – сказал он, надуваясь еще больше.

Но вдруг сдулся и, старательно помешивая кофе, сказал:

– Завтра наступит первый день новой эры. Атомной эры.

– Что вы говорите?

– Завтра, шестого августа, закончится старая эпоха, – повторил он, поднимая чашку. Прервался на глоток кофе. И, отставив чашку, закончил: – Уже решено... организовано... уже произошло. Мои атомы взойдут над Японией.

– В самом деле?! – почти закричал я. – Над Токио?

– Нет, над Хиросимой.

– Что?

Грэм наслаждался выражением моего лица. Он важно отодвинулся от столика, достал пузатый портфель и, отыскав зеленую карточку, сложенную книжечкой, подписал ее и вручил мне:

– А это вам бесплатный билет на представление.

– Как это, мы туда летим?

– Никуда не летим. Вы все сможете наблюдать здесь, в Лондоне, через авиационный телевизор.

Я овладел собой.

– Это невозможно, – сказал я, – это исключено.

– Что невозможно?

– Нельзя это бросать на Хиросиму, это...

– О, в самом деле? А почему? Вы стали вегетарианцем? – Грэм пребывал в прекрасном настроении.

– Потому что там наш человек, – гневно закричал я.

– Как это – наш?

– Наш агент; как раз сегодня пришло от него сообщение; нужно его как-то предупредить.

– Эй-эй, вы с ума сошли? Хотите предупредить японцев?

– Не японцев. – Я встал, потому что уже попросту не мог дальше разговаривать с этим самодовольным счастливецом. – Когда это должно произойти?

– Завтра, в районе полудня, но нужно прийти до одиннадцати; адрес там указан.

– А мой полковник знает об этом? Он там будет?

– Да. Вы ведь не единожды видели меня у него. – Он многозначительно подмигнул мне.

Я выбежал из комнаты. Автобус ехал слишком медленно, я выскочил из него и взял такси. Я был словно в трансе – душевно страшно

возбужденный, внешне совершенно спокойный. Полковника в бюро уже не было; хорошо, что я задержал такси.

Я поехал к нему в Лейтон. Уже издалека я увидел его голову над живой изгородью – большими ножницами он подрезал ветки, и те сыпались на песок.

Я заплатил таксисту и пошел по гравийной дорожке.

– Добрый вечер, господин полковник, – начал я. – Я был в бюро, но мне сказали, что вы уже ушли.

– Как видите, перестраиваюсь на мирную службу.

Его голова показалась мне удивительно светлой и чуждой на фоне заросших зеленью стен виллы. У него были гладкие волосы, словно отлитые из металла пепельного цвета, в которых посверкивали нити цвета старого серебра.

– Господин полковник...

– Прошу вас, проходите. – Он проводил меня в открытые стеклянные двери веранды, над которой шлейфом нависали листья.

Мы уселись в пахучей тени.

– Господин полковник, Грэм, который живет у меня... вы ведь знаете об этом, правда? Так вот, он наконец выдал свою великую тайну. Вы, наверное, уже знали об этом раньше. Они собираются бросить атомную бомбу на Хиросиму, а там наш человек, вы его знаете, Сато Уиттен – UTU.

– Да, я знаю об этом. – Полковник угостил меня сигаретой, поднес огонек.

– Так вот... господин полковник, я уже все сказал. Нужно что-то сделать. Я понимаю, что отменить бомбардировку невозможно, потому что один человек в такой ситуации ничего не значит, но это моя обязанность.

– Вы наверняка ориентируетесь в деле так же хорошо, как я. У нас в запасе неполных сорок часов, не так ли?

– Да, действительно, я попытался разработать план, но тут возникают большие трудности. У него нет радиостанции – точнее, у него нет ее при себе, – и использует он ее редко, чтобы не засветиться. А предупредить его можно, видимо, лишь по радио.

– Существует какая-то односторонняя связь, мне кажется, на определенной волне?

– Да, Старроу сказал мне, что два раза в месяц, причем дни меняются по календарному ключу, и ближайшая передача выпадает на утро шестого августа...

– Так-так, извините, я отлучусь на минутку.

Полковник ушел в дом. Я долгую минуту сидел в одиночестве,

наблюдая за тем, как растет валик пепла на сигарете. Наконец выбросил окурок за балюстраду, когда раздали шаги.

– Боюсь, мы не сможем дать радиограмму, – сказал он, садясь.

Он снова подвинул мне сигаретницу.

– Вообще нельзя посылать никакие радиограммы в Японию, до того момента...

– Ах, даже так...

– Да.

– Конечно, и речи не может быть о том, чтобы отправить туда человека, я имею в виду парашютиста?

– Официального запрета нет, но вы сами, наверное, понимаете...

– Значит, и командировка?..

– Да, вы же понимаете.

Наступило долгое молчание.

– Это вы нашли... Уиттена?

– Да. И... вчера был у его отца.

Полковник отодвинулся в глубь плетеного кресла.

– Грэм дал вам пропуск на шестое?

– Да.

Он снова замолчал на минуту.

– Вы знаете, выполняя нашу работу, мы часто, казалось бы, поступали в соответствии с собственными убеждениями. Вам повезло больше, чем мне, и вам не требовалось принимать немедленных решений, в результате которых приходилось жертвовать некоторым количеством людей... для проведения необходимого тактического начинания. Если вы поразмышляете, то придете к выводу, что существуют жесткие законы, которые обязывают нас выполнять их. Каждое действие множества людей, особенно во время войны, создает что-то, что я назвал бы большой, медленнодвигающейся машиной. Когда же она разгонится, отдельные личности не смогут задержать ее, а иногда, как бы странно это ни звучало, вообще никто не сможет этого сделать. Я скажу вам, что думаю о Хиросиме. Это часть американского плана. Но не тактического плана, плана войны с Японией, потому что – хоть атомная бомба, несомненно, ускорит конец этой борьбы – речь здесь идет не об этом. Это не только атака на японский город, но эксперимент, который является частью уже начинающегося развития послевоенной стратегии. Это должно стать угрозой для других – отсюда двойная необходимость проведения этого удара для Америки. Мы же являемся только наблюдателями. Это во-первых. А во-вторых, речь идет об уничтожении большого города. Вы

наверняка можете лучше представить себе это – ведь вы видели действие такого оружия в Штатах. Будет снесен город с населением в четверть миллиона. Думаю, что еще одна несправедливая смерть ничего не добавит к этой катастрофе.

– Но это ведь не математика! А кроме того, это наша бомба, и он должен погибнуть от нее... Наконец, ждать эти два дня, не имея возможности ничего сделать, и еще смотреть на это – нет, это слишком похоже...

– Я прекрасно вас понимаю. Вы считаете себя ответственным, потому что именно вы направили Уиттена на этот путь. Но вы ошибаетесь. Это фиктивная ответственность. Ни в ваших, ни в чьих-либо других силах что-то сделать. Изменить. Подумайте об этом, и я уверен, что вы согласитесь со мной. Вы прекрасно знаете, сколько наших солдат было убито именно нашими бомбами и снарядами, а что касается агентов, напомним только историю с восемью...

– Да, но я предупреждал вас тогда, что считаю это плохим планом. Мы тогда принесли в жертву человека в Германии. Но это был приказ сверху.

– Вы предупреждали, но я не мог с вами согласиться. Потому что был приказ. А сейчас, как ваш начальник, – полковник встал, – я приказываю вам спокойно обдумать все это дело и не предпринимать никаких шагов без обсуждения со мной.

Я кивнул, вставая.

– Да, господин полковник, к сожалению, чем правильнее ваши слова, тем хуже для меня и для всех.

Он проводил меня к выходу.

– А вы знаете, – сказал он, задержав меня у калитки, – я хотел предложить вам очень интересное дело... Нам понадобятся в Германии люди наблюдательные, лучшие специалисты, причем именно теперь, когда началась оккупация.

Я покачал головой:

– Вы сами понимаете, что меня это уже не интересует.

Он молча пожал мне руку.

IV

Перед зданием стояло уже несколько десятков автомобилей – одного взгляда было достаточно, чтобы понять: это элита изысканных машин. Больше всего было американских – последние модели «бьюиков» и

«шевроле». «Крайслер» Грэма, на котором он приехал, казался скромным на фоне этих сияющих, как майолика, гигантов из стекла и стали. Документ мой был учтено, но внимательно проверен. Я прошел вслед за Грэмом по длинному, устланному пурпурным ковром коридору. За поворотом находились большие белые двери, перед которыми дежурили несколько джентльменов с мощными челюстями. Нас попросили немного подождать. Какой-то смущенный механик в халате, со стеклянной банкой в руках, скрылся за портьерой. Наконец наспустили.

Небольшой зал был уставлен креслами, которые подковой спускались к экрану пепельного цвета. Его матовая прямоугольная плита занимала всю стену. За нами вошли несколько высших офицеров – даже в глазах зарябило от орденов и погон. Я заметил сидящих в первых рядах министров правительства, и мне показалось, что узнаю тучную фигуру Черчилля, склонившегося к какому-то генералу. Но нас уже заботливо усаживали в кресла, обтянутые красным плюшем; таким же материалом был задрапирован весь интерьер. Свет погас, только зеленые трубки неона мерцали вверху, а над экраном вспыхнул красный треугольник. Заскрипели кресла, в которые поспешно усаживались припоздавшие, а на подиум под экраном вышел офицер.

– Прошу вашего внимания, – сказал он. – Бомбардировщик, который сбросит бомбу, через несколько секунд после этого сбросит также передающую телевизионную аппаратуру на двух парашютах. Так что можно будет наблюдать детали взрыва по мере того, как аппарат будет спускаться на землю. Однако не исключена такая возможность, что взрыв уничтожит его слишком быстро, так как он неуправляемый. В этом случае, конечно, передача прервется.

Он поднес к глазам часы и отступил к стене. Последняя лампочка над экраном покраснела и погасла. Наступила полная тишина. Через минуту экран засветился очень бледным, фиолетовым светом. Отдельные узкие полосыплыли вниз. Потом они начали расщепляться, они рвались, но под ними показывались новые слои пара: это были высокие клубящиеся дождевые тучи, медленно меняющие свою форму. Вдруг картинка на экране дрогнула, закрутилась, и облака разошлись. Внизу лежало море, черное и гладкое, как плита порфира. Над ним расположились низко летящие облака, растянутые ветром, как кисти странных цветов.

В верхнем углу экрана показалась изрезанная береговой линией суша, желто-бурая, очерченная беловатым контуром. Изображение ненадолго задрожало, и берег поплыл по середине экрана, разделяя его поверхность на две части. До этой минуты стояла полная тишина: я слышал лишь

непрерывное покашливание соседа, который жарко дышал мне в шею, – но тут раздался треск как бы включения исполинского контакта, и весь зал заполнил плывущий из невидимых динамиков мягкий, глухой звук моторов. Усилился, затем ослаб. И появился город.

На черной поверхности моря показалось три длинных, грязно-белых полуострова, прямоугольных, как раздвинутые клавиши. Дальше, уже на суше, виднелась густо расчерченная извивающимися белыми трещинами поверхность города. Тонкие улицы делили серый улей построек на густо заполненные зданиями соты. Кое-где по крышам скользили небольшие тени облаков, которые плыли на значительной высоте, но под самолетом. Теперь изображение начало вращаться: залив с выдвинутыми в океан молами медленно уходил в сторону, все большая часть города оказывалась под самолетом. В однотонный колорит строений глубоко проникали извилистые черные змейки заливов, охваченные с двух сторон белесыми губами бетона. Гул, наполнявший зал, усилился и сделался тоньше. Вдруг раздался сильный треск, и очень рельефно, словно перед экраном, полетел черный пузатый предмет, который несколько раз кувыркнулся и мгновенно оказался внизу. Я почти потерял его из виду, а он вдруг распустился рядом с перистым облачком белым шаром. Это был парашют с бомбой.

И вдруг город резко качнулся, земля дрогнула и исчезла, уходя в сторону, а вместо нее показались широкие желтоватые животы облаков. Через минуту машина вышла из виража, и вот изображение закачалось и прыгнуло вперед. Краткий миг продолжалось вертикальное падение с такой скоростью, что я слышал чье-то беспокойное сопение за спиной. Потом земля и небо закружились в бешеном хороводе, но тут раздался глухой, медленный треск. «Видимо, – подумал я, – раскрылся парашют». В поле зрения вновь вплыл город, но выглядел он уже крупнее и темнее. Середину изображения занимала его центральная часть, с двух сторон окаймленная заливами, похожая на длинный изогнутый лист.

Над водой виднелись бурые, как плесень, длинные помосты, и все в целом: ряды улиц, густо застроенных домами, многоугольники скверов, маленькие пруды, как осколки тусклого зеркальца, – все это было залито солнцем. Я пытался найти на этом фоне белое пятнышко парашюта с бомбой, и мне показалось, что я вижу его над широкой, изогнутой в виде буквы «S» улицей, когда это произошло.

Внизу веером полыхнуло пламя. Потом раздулся световой шар, и глаза залила волна неимоверной белизны. Динамики задрожали, в них что-то судорожно затрещало, настала глухая тишина. Весь экран пылал, как раскаленная вспышка магния, и из ее середины начала расползаться в

стороны огромная паукообразная клякса, словно туда вылили бак туши.

– Черного пятна в действительности не существует, это лишь результат воздействия на фотоэлементы света, более яркого, чем солнечный, – сказал кто-то со стороны экрана громко и спокойно.

Пятно начало бледнеть, наконец исчезло. Изображение на экране увеличивалось, аппарат опускался вниз. Город был покрыт зеленоватой мглой с рыжими уплотнениями, через которую просвечивали лишь большие комплексы кварталов. В центре горел белый диск, шарообразно набухающий, словно пузырь лавы, вытекающий из кратера. От него медленно отрывались круги белого дыма, чудовищно большие, диаметром в несколько километров, как кольца папиросного дыма, и, легко подрагивая, рассеиваясь, плыли в стороны и вверх. Самое широкое кольцо ушло за пределы экрана.

Сияющий нарост, который расходился в стороны, вдруг лопнул, и из голубой горловины вверх хлынуло нечто вроде гейзера черной пены. Он пробивал облака, мчась ввысь с необыкновенной скоростью, вибрировал как струна, разбухал и сжимался наподобие змеи, а от его основания разбегались чудовищные круги белого дыма. То, что взорвалось в центре, выглядело как неизвестное людям живое создание, корчившееся от ударов, которые сотрясали его изнутри, и с каждым ударом пульсировавшее все выше, словно через разрушенную оболочку Земли вываливались ее пылающие, стальные внутренности. Вертикальный шпиль дыма закручивался по краям, разбухал и утолщался. Его верхушка раскрывалась широким синеватым веером, раскаленным пурпурным куполом, размякающим грибом, в котором мелькали молнии. Насквозь пробитые облака кружились, покачиваясь, разлетались в стороны, как раскидываемые клочки ваты, а сверху на них падала увеличивающаяся тень, отбрасываемая грибообразным наростом.

Тем временем телекамера опускалась ниже. Основание многокилометровой колонны дыма исчезло, скрытое тучами черной и бурой пыли, какие-то пылающие клочья и пучки резко мерцали, изображение конвульсивно дергалось, вращалось и колебалось, временами показывая в чудовищном ракурсе все еще растущую колоннаду дымов, увенчанную на фоне неподвижного неба медузообразной шапкой.

Потом все утонуло в чернильной темноте, изредка пересекаемой молниеносными вспышками, которые сопровождались хриплым карканьем динамиков. Струя горячего воздуха еще раз приподняла аппарат вбок, и сплетение дымов вдруг разорвалось. Я увидел западный район города. Внизу лежал прямоугольник суши, с двух сторон обьятый гладкой черной

водой залива. Откуда-то из глубины kloкочущей черным, золотым и рыжим цветами панорамы бежал крутой вал, как волна прибоя, с чудовищной скоростью догоняя уходившее назад изображение. Там, где край этой волны касался домов, растянутых каменными вереницами вдоль улиц, взрывались короткие проблески, оранжевые и зеленые огоньки, зигзагообразные искры, фонтаны вспененного дыма. Потом черная масса наваливалась на все это, затопляла последний проблеск пожара и двигалась дальше.

Вдруг возник поразительный образ: порыв воздуха перебросил аппарат над крышами раздавленных домов к водам залива. В их еще неподвижном зеркале на одну минуту блеснуло отраженное изображение аппарата: серебристая блестящая камера с лупоглазыми линзами объективов, над которой фоном расходился полосатый веер парашюта. Это длилось один миг: изображение вдруг приблизилось, потом половину экрана залило яркое сияние, в центре его взорвалась струя черного дыма, в динамиках раздался последний скрежет, и наступила тьма.

Мы долго сидели в молчании, пока не запылали зеленые и белые огни неоновых ламп.

V

Все попытки выехать в Японию, которые я предпринимал, заканчивались ничем. Даже вмешательство шефа не помогло: дорога была перекрыта американцами. Наконец за день до капитуляции я узнал, что первые спасательные отряды вернулись из Хиросимы в Осаку, где жертв, переживших взрыв, разместили в клиниках Императорского университета. Я нажал на Грэма, который для поддержания своей репутации всемогущего существа буквально вылез из кожи и предпринял соответствующие шаги. Мне снова понадобились рекомендательные письма из отдела специальной службы. По счастливой случайности еще со времен совместной работы в Ок-Ридже у меня был коллега из ФБР, с помощью которого я наконец оформил все бумаги и заполучил место в четырехмоторном самолете. Необычайно учтивый офицер авиации предложил мне даже перелет через Россию – благодаря этому я мог бы принять участие в Параде Победы в Москве вместе с нашим посольством, – но я жаждал как можно скорее оказаться на Хондо.

Мы вылетели из Лондона двадцать второго августа в четыре часа ночи и еще в тот же день приземлились в Каире. В городе стояла жара, словно в

адском котле со смолой. Послушавшись совета «специалистов», я летел в мундире, поскольку, как уверял меня мой американский приятель, меня сразу же определят в какой-нибудь лагерь для интернированных, если я буду в гражданском. Благодаря этому я не слишком отличался от товарищей по путешествию, которые ехали по служебным делам. После проверки моторов и скромного завтрака в аэропорту в четыре часа дня мы полетели дальше.

Погода во время полета была прекрасная, жаркая. На другой день утром показались подернутые дымкой горы над Осакой.

Мы приземлились на военном аэродроме. Это был счастливый случай, что мой самолет сел именно там, где я мог получить наиболее точную информацию о Хиросиме. Однако сначала меня самого не хотели выпускать из аэропорта. Территория плоского, искусственно выровненного холма была со всех сторон окружена колючей проволокой. Обслуживание и охрану здесь осуществляли американские десантники, вид которых не предвещал ничего хорошего. Комендант, грубиян и пьяница, который четыре года воевал в Малайе («Мы спали на крокодилах», – рассказывал он), все время лечился от малярии араком и джином, утверждая при этом, что, кроме японской дивизии, он также победил и чуму. Мне снова пришлось вытащить документы сотрудника спецслужбы, что я делаю крайне неохотно, поскольку известно отношение строевых войск к нашей организации, которую обидно и несправедливо называют гнездом уклонистов. Тем, кому приходилось в собственной стране во время немецкой оккупации участвовать в невидимой войне с противником, легче понять, что немалой отваги требует борьба с врагом уже в его собственном государстве, среди внимательного и бдительного населения, когда не только сбор информации, ее пересылка или акт саботажа, но и малейший недочет, глупость, утрата хладнокровия могут привести к провалу.

Так что в порту мне пришлось использовать неслужебные аргументы: у меня с собой была плоская карманная фляжка с вермутом. Тот факт, что над этой жидкостью находился глоток воздуха еще из старого Лондона, растрогал каменного коменданта порта. Я получил маленький джип и водителя, живописно украшенного лентами от ручного пулемета. Нужно было принять во внимание, что еще несколько дней до того вся эта братия сидела в кустах и лианах на Гвадалканале и не освоилась пока со своей новой высокой общественной позицией. Дорога на Осаку шла серпантином – издали был виден порт и еще дымящиеся остатки какой-то фабрики, взорванной «невзначай» уже после капитуляции японцев.

Туземцев на дороге я не заметил, вдали кое-где белели дома. Зато с

прекрасно зацементированной автострады я видел подходящие к побережью корабли и десантные баржи американцев. Не подлежит сомнению, что они очень серьезно готовились к вторжению на японские острова, и кто знает, может быть, это было представление красивее нормандского; во всяком случае, в глаза бросалось обилие техники. Мой водитель, бойкий на язык выходец из Нью-Йорка, заметил, что великодушный американский обычай заключается в том, чтобы сначала превратить противника в зубной порошок, а уж потом можно высаживаться в парадном мундире. Первым препятствием в моем путешествии стали часовые портовой территории, которые не хотели нас пропускать. Как обычно в начале оккупации, все слишком держали фасон, и добрых полчаса мне пришлось, находясь меж двух стен, выложенных из ящиков, наблюдать выгрузку оружия, прежде чем появился разбуженный, замотанный старший лейтенант, начальник караула. Масса блестящих, как с иголки, «шерманов» и «грантов» проползла под стрелой крана на сушу; здесь же я впервые увидел используемые на восточном театре военных действий реактивные минометы, построенные по образцу русских, но более мощные, двенадцатиствольные, на танковых шасси. Наконец «крутые яйца», то есть американские жандармы в своих округлых шлемах, пропустили нас, и мы поехали по широкой, прекрасно оборудованной улице прямо к комендатуре города.

Мой водитель, которого я оставил в скопище машин перед воротами, имел недвусмысленное намерение начать охоту на японок. Признался мне, что их не пускают в город, и хотел воспользоваться случаем. Я же тем временем двинулся по огромной лестнице, расспрашивая пробежавших мимо солдат о санитарном отделе. Тут царила сплошная неразбериха. Никто не слышал о таком отделе; наконец оказалось, что размещается он в другом месте, но адреса никто не знал.

Совершенно случайно, болтаясь по коридорам, я наткнулся на офицера, который по делам ехал к полковнику Келлеру, шефу Medical Corps^[145], пребывающего со специальной миссией (исследование пораженных атомной энергией) в Клинике Императорского университета.

Так что мы поехали на моем джипе в клинику, которая располагалась в приморском предместье, в огромном парке.

Весь японский санитарно-врачебный персонал работал нормально, все шло здесь так размеренно и четко, что, проходя по коридору и минуя невысоких, одетых в белое японцев, можно было забыть о внезапных переменах, которым в последние дни война подвергла город.

Конечно, у меня не было особой надежды получить какую-либо

конкретную информацию об Уиттене – скорее я хотел узнать, как можно попасть в Хиросиму, поскольку эта территория была эвакуирована и даже армейские части не имели туда доступа за исключением научных исследовательских экспедиций, которые не пользовались кораблями, а имели собственную, прямую авиационную связь с базой в Штатах. После долгого ожидания я наконец был допущен к полковнику П. Келлеру.

Мне снова пришлось предъявлять документы, подтверждающие мои полномочия, и просить его объяснить, каким образом я могу попасть на территорию Хиросимы.

– Это невозможно, – улыбнулся он. – Попасть туда нельзя, тем более что почва там радиоактивна и пребывание там опасно для жизни. Но здесь у нас есть около двухсот пациентов, которых японцы эвакуировали из города еще до капитуляции, так что если вы захотите их увидеть, то пройдите с доктором Макатавой.

Я согласился и отправился с маленьким врачом-японцем, решив про себя, что следует изменить направление атаки. «Санитарные службы слишком слабы, нужно добраться до штаба ученых...» – подумал я. К счастью, я знал выдающихся физиков-атомщиков со времен Ок-Риджа.

Надежды увидеть Сато после того, что я читал в газетах, уже совсем не было, но нужно было сделать все до конца.

В первой же палате меня удивил относительно нормальный вид жертв катастрофы.

– Это люди из отдаленных предместий? – спросил я сопровождающего меня врача. Он знал английский язык.

– Нет, – ответил он, – это преимущественно жители из центра.

– Как это, ведь я читал...

Он кивнул.

– Здесь у нас есть два человека, которые остались живы, несмотря на то что бомба взорвалась на расстоянии ста шестидесяти ярдов от здания, в котором они находились.

– Но это исключено; я читал, что там плавилось железо...

– Не знаю, – ответил он, по-прежнему вежливо и тихо, – но они живы. Один из них – христианский священник. Это тот, что лежит у окна, фатер Кляйнзорге.

Это был пожилой, совсем белый человек с забинтованной головой, укрытый одеялом до подбородка. Глаза у него были закрыты.

– Они в сознании? Нормальные? Что они говорят? – спросил я.

– Большинство – да. Например, этот священник утверждает, что слышал гром и видел яркий зеленый свет.

– Он был в убежище?

– Нет, никто не пошел, ведь не было никакой тревоги. Он находился в каменном здании, которое развалилось и... – врач поискал в памяти соответствующее слово и продолжил: – и раздавило всех жителей. Он один, как сам говорит, спасся чудом. Только немного поранился стеклом.

– Значит, он скоро выйдет. А другие? – спросил я. Мне вдруг показалось, что бомба была изрядно разрекламирована; впрочем, ведь я сам наблюдал этот чудовищный взрыв...

Врач покачал головой. Мы прошли между двумя рядами кроватей, с которых поднимались черные холодные взгляды. Больные провожали молчаливым взглядом мой мундир, словно передавали меня друг другу из рук в руки. Открывая вторые двери, покрашенные в белый цвет, врач задержался и впервые посмотрел мне в лицо, но так, будто оно было из прозрачного стекла.

– Нет, – сказал он, – ни он не выйдет, ни другие. Все они должны умереть.

– Как это?

– Их тела с виду уцелели, – объяснил он, – но все внутренние органы, а особенно печень, костный мозг, который создает кровь, и другие важные органы, так тяжело повреждены, что они все равно умрут. Это результат излучения.

– Излучения? Значит, умрут?

– Умрут, – подтвердил он.

У меня не было сил смотреть ему в лицо.

– Это уже выход? – спросил я, потому что мы все еще стояли в дверях.

– Нет, есть еще один зал, – сказал японец и пропустил меня вперед.

На второй же кровати в этом большом и светлом, как стеклянная веранда, помещении лежал Уиттен.

Я сразу узнал его и подбежал к кровати. Он очень медленно открыл глаза и с трудом сосредоточил на мне взгляд.

– Сато, это я, – тихо сказал я, наклоняясь над ним. – Как ты себя чувствуешь?

Он шевельнул бровями.

– Благодарю, хорошо. – Он с минуту тяжело дышал, а потом сказал сильным, нормальным голосом: – Ты на службе?

Я удивился.

– Это именно тот человек, которого я искал, – повернулся я к врачу, который тоже легко поднял брови, как-то удивительно серьезно и глубоко поклонился и вышел...

Я придвинул табуретку и уселся у изголовья, внимательно вглядываясь в такое, как, может, никогда раньше, японское лицо Сато: оно ничем не отличалось от десятков иных, которые были видны всюду – и слева, и справа – в белоснежном обрамлении простыней и бинтов. Он был очень бледен, как и все, кожа отсвечивала легким восковым блеском.

– Я не на службе, – сказал я, – прилетел сегодня утром, потому что хотел найти тебя.

Это прозвучало довольно неуклюже – впрочем, вполне типично для разговоров после долгой разлуки, за время которой произошло множество необычных событий.

– Ты прилетел... из Англии?

– Да. Как ты себя чувствуешь? – повторил я и сразу же вспомнил слова врача: «Все они должны умереть». Я смутился. Знают ли они об этом? Существует ли в Японии понятие врачебной тайны?

– Благодарю, – повторил он. – У меня бывает тошнота и кружится голова, но я не чувствую себя слишком слабым.

– Где ты был... тогда? – спросил я очень тихо.

– А... – Он с минуту помолчал.

Потом вдруг приподнялся, что меня даже испугало. Я смотрел на этих людей как на мумии, которые могут рассыпаться в пыль при неосторожном движении. Но Сато сел на кровати и посмотрел мне в глаза.

– Я жил, – сказал он, – на улице Цветущего неба.

И улыбнулся.

– Цветущего неба, – пробормотал я. – А далеко это?..

Он понял меня.

– Это было, может быть, в трехстах ярдах от моего дома, но я был дальше: как раз покупал мясо в магазине, когда это произошло.

– Тебя не ранило?

– Уже все зажило. – Он говорил, думая о чем-то другом. Потом медленно обвел палату взглядом и остановил его на своей ладони – плоской, желтой, неподвижно лежащей на белой простыне.

– Я увидел зеленый свет, и что-то ударило меня так, что я потерял сознание. Но потом очнулся; там было полно стекла, дерева и мяса – ведь я был в магазине. Доски горели, ничего не видно от дыма. Тогда я вышел на улицу, у меня ничего не болело, и я чувствовал себя удивительно легко. Я вышел вовремя и смог увидеть, как умирал город. В центре стоял черный дым, словно высохшая рука с черным кулаком в небе. Горело дерево, даже каменные стены раскалились и лопались, а все пылающие кровли плавали в воздухе, как летающие драконы. Везде лежали люди: на земле, на

тротуарах, женщины навзничь, в совершенно расплюсненном трамвае, в сгоревших автомобилях и тележках; у домов лежали голые и сгоревшие трупы, а деревянные дома давали все больше красного света. Может быть, ты не знаешь, что там было очень много деревянных домов... Потом стало совершенно тихо и сверху начал падать дождь – совершенно черный. Это возвращались все те, кого взрыв поднял в воздух, – и этот дождь падал так долго, что все стало черным. Кроме огня. Я пошел наугад, встречал сгоревших людей и собак, несколько раз натыкался на людей, которые бежали по улице и вокруг горящих домов, потом вбегали в огонь и не возвращались. Но они были не сумасшедшие... Потом наступила ночь. Всю ночь город горел и не было воды. Я шел по улицам огня – жар был такой, что трескали волосы, – а дорогу заграждали целые груды, упавшие сверху, и стены летели раскаленные... Падали кирпичи и крыши... Стены трескались.

Он выпрямился, рука на одеяле плотно сжалась в кулак.

– А те, кто еще жил, без рук и без ног, и без детей, старики и маленькие девочки, сидели перед своими домами или на больших площадях, а вокруг было кольцо из огня, и дыма, и пыли, – и молчали. Я не услышал ни криков, ни единого стога. Ни стога, – повторил он. – Всю ночь город горел, дома от домов, улицы от улиц были отгорожены жаром и огнем. Не было ни воды, ни врачей, ни сильных мужчин. И всю ночь, и следующий день, и следующую ночь люди задыхались и горели, и гибли, засыпанные обломками, и от жара. Все колодцы были засыпаны. А вода в порту была покрыта нефтью, которая тоже горела. Там, где были парки и храмы, лежал щебень высотой в три человеческих роста, такой мелкий, как просеянный сквозь решето. А там, куда упала бомба, мостовая превратилась в бирюзовую плиту... Я видел ее, – добавил он через минуту. – И видел людей, которые летали, да, летали, их очень высоко подняло в воздух, и они были там. И видел таких, которые были словно из дерева: твердые, сухие как кость. Множество крыс пришло из порта – они разрывали трупы, но потом умирали. А ты знаешь, что делали японцы? Все время, день и ночь, день и ночь, молчали. Ходили по тем местам, которые назывались улицей Цветущего неба... Спелой вишни... Голубого цветка, – и доставали из-под руин людей, рыли длинные ходы, и не нужно было света, ночью все было в красном свете, как и днем. И падал черный дождь, пока не пришла спасательная экспедиция...

– Постарайся не думать об этом, – тихо сказал я. – Попробую как можно скорее забрать тебя домой, к отцу. Ты скоро уже будешь здоров.

– Домой? – сказал он с удивлением. – Что ты говоришь? Здесь мой

дом. Я благодарен тебе, что ты приехал. Но я хорошо знаю, и те, что здесь лежат, тоже все знают это...

Он поднял руку и, выпрямившись, что-то сказал по-японски. Тогда палата ожила на одну минуту, раздался короткий, горловой хор голосов, которые четко сказали что-то.

– Видишь, все знают, что каждый несет в себе смерть, – сказал Сато. – Я думаю, что мы с тобой больше уже не увидимся, поэтому скажу тебе: речь шла не о городе. Все это было для вас не важно. Даже тот великий американский ученый, который изобрел бомбу и помогал собирать ее на аэродроме, несмотря на свою мудрость, не мог увидеть и понять того, что я там видел. Один человек в одну минуту убил целый город, который четыре тысячи лет прирастал камнем к камню... медленно поднимались храмы... сколько фресок в каждом, столько художников. А неисчислимые труды и любовь – разве можно в течение одной человеческой жизни познать все это? Улицы от улиц разрастались как ветви. И вот один человек за одну минуту смог уничтожить в миллион раз больше, чем когда-либо сможет охватить своим разумом. Американские и английские газеты пишут о новой эре – значит, ее первый день был в Хиросиме? Кто отыскал этот город на карте? Кто поставил красный крест на бумаге, кто осмелился сказать: это здесь? Ваши летчики приходили сюда и говорили: мы сделали яичницу! Немцев нельзя было убивать так, потому что это люди. А мы – что? Косоглазые.

– Сато, прошу тебя, успокойся. Я понимаю, ты долго жил здесь, привык к людям. Это было ужасно, знаю. Ты понимаешь также, что я в одиночку ничего не мог сделать, не знал даже и...

– Подожди, а если бы это зависело от тебя, разве ты не отдал бы приказ сбросить бомбу на Хиросиму?

– Но я знал, что ты там, конечно же...

– Речь не обо мне. Почему один человек, которого ты знаешь, для тебя имеет большее значение, чем четверть миллиона других?

– Ты взволнован, – сказал я, – но меня удивляет, что ты по-прежнему отождествляешь себя с японцами. Мне очень жаль, но это были враги, а война...

– Я не взволнован, – сказал он, – я умер. Во мне живет только моя смерть, которая становится все сильнее. Из людей, которые были в городе, никто не выживет, а женщины с окраин будут рожать чудовищ и калек. Американцы уже допытываются о беременных женщинах.

– Я пойду, Сато, может, ты устал? Я верю, что ты одумаешься и вернешься со мной к отцу, в Англию. Я завтра приду к тебе, утром...

– Нет, не нужно, – возразил он. – Будет лучше, если мы больше не увидимся. Хорошо, что ты помог мне вернуться в Японию, и я хотел поблагодарить тебя за это. Нет, я говорю совершенно серьезно, это не ирония. А поскольку я уже умер, скажу тебе, ты должен это знать – я не работал на вас. Кто вы такие? Разве вы умеете умирать так, как японцы? Все, что мог, я делал для моей матери, и хотя этого было мало, я все равно очень тебе благодарен.

– Что ты говоришь. Сато?!

– Я работал на Японию, – повторил он. – А теперь можешь идти.

Больные на других кроватях, словно понимая наш разговор, обращали ко мне тяжелые черные взгляды, а Сато, закрыв глаза, лежал неподвижно, дышал медленно и глубоко. Я еще постоял с минуту, а затем вышел украдкой, как преступник.

По коридору шел полковник Келлер с офицером, который привез меня в клинику. Из-под белого халата были видны полы мундира.

– Проклятая история, – сказал он, – что за нечеловеческая страна. Ну что, вы нашли своего человека?

– Да. Это правда, что все они должны умереть?

– Боюсь, что так. Вы знаете, какую новость мне сообщили только что? Мы пытались собрать беременных женщин, которые были в окрестностях Хиросимы, особенно тех, которые вскоре должны родить. Понимаете, дети могут родиться нормальными, но под воздействием излучения могли произойти изменения, мутации – это имело бы необычайное научное значение. Но японские женщины, вы не поверите, убивают своих детей после рождения. Все, как одна. Тут явно замешаны японские врачи, иначе откуда бы эти дикари узнали про это?

– Да, это удивительно, – сказал я. – Бывайте здоровы, полковник.

– Как, разве вы не пойдете с нами на обед?

– К сожалению, не могу: в четыре часа у меня самолет. Я уже сегодня улетаю в Лондон.

Перевод Борисова В.И.

Конец света в восемь часов

Раутон из «Ивнинг стар»

Редактор «Ивнинг стар» просматривал еще влажный от типографской краски номер своей газеты. С немалым удовольствием он прочитал вступительную статью, которую сам и произвел на свет, неплохим получился также спортивный раздел. Вот только последняя страница ему не понравилась. Снимок, изображавший собрание Клуба бывших сенаторов, выглядел как семейка раздавленных на бумаге тараканов.

– Черт побери, что за клише! – рявкнул редактор.

Но окончательно испортил ему настроение раздел «Сенсации». Была в его газете такая рубрика, в которой размещали самые интересные криминальные новости дня. На этот раз здесь была заметка на две колонки. Редактор припомнил, что Раутон давал ему эту «сенсацию» прочитать, но у него, как всегда, на это не было времени. Только сейчас он увидел эти черные печатные строчки. Он читал минуту, две, потом ударил кулаком по столу, взревел, подпрыгнул, наклонился и, прочитав еще десяток строк, всем телом навалился на внутренний телефон.

– Алло! Секретариат? – крикнул он. – Мисс Эйлин, пусть Раутон немедленно явится ко мне. Нет-нет, не говорите мне, что его там нет. Я знаю, что он целыми днями сидит у вас и заигрывает с вами, вместо того чтоб работать. Пусть немедленно явится ко мне, вам понятно?

Не дожидаясь ответа, он бросил трубку и вернулся к статье.

Затем подбежал к окну.

– И что тут делать, черт возьми? Он меня с ума сведет!

Раздался стук в дверь.

– Слава Богу, Раутон, наконец-то! Меня когда-нибудь из-за вас посадят! – рявкнул шеф.

Вошел человек среднего возраста, с лицом, напоминающим хорошо засушенную сливу. Под морщинистым лбом светились пара маленьких холодных глаз, взгляд которых, казалось, мгновенно прилипал к каждому встреченному предмету. Их хозяин был в сером костюме, на голове была – также серая – шляпа, которая выглядела так, словно являлась частью волосяного покрова. И весь Раутон тоже был серым, только галстук пылал яркой зеленью.

– Шеф? Что случилось?

– Вы еще спрашиваете? Зачем вы в статье о краже трупа написали, что эта женщина пускала в комнату кого попало?

– Вы же сами сказали мне, что в последнее время не хватает пикантных подробностей.

– Лучше молчите, пока меня не хватил удар. А зачем вы сделали из восьмидесятилетней старушки любовницу этого убийцы?

– А кому это повредит? Его все равно повесят, а она скоро помрет, так что жаловаться на нас никто не будет.

– А то, что я председатель секции Клуба друзей Младенца Христа, вас не волнует?

– Поздравляю вас, но что я мог сделать? Вы сказали: полить все соусом и добавить маслица, – вот вам и соус с маслицем. Я еще сделал это деликатно: написал, что этот Джефферс любил ее по-настоящему.

– Довольно! Немедленно замолчите! Скажу лишь, – редактор начал ритмично шлепать ладонью по столу, подкрепляя этим свои слова, – что если вы еще раз так впутаете газету, ведь судья Джосс прекрасно разбирается в ситуации и может прислать нам опровержение, то, поверьте мне, у вас мгновенно вырастут крылья! Вылетите отсюда в течение двадцати четырех секунд. Да. Как же вы меня утомили!

Большим платком редактор принялся вытирать пот, обильно выступивший на лице.

– Ну ладно. У меня к вам есть дело.

Самый оплачиваемый репортер «Ивнинг стар» изящным пируэтом переместился в кресло. Напрасно редактор пытался убрать со стола коробку своих дорогих сигар. Делая вид, что не замечает сигар «для гостей», Раутон молниеносно схватил редакторскую «вирджинию», откусил кончик, ловко выплюнул его и щелкнул зажигалкой в форме «браунинга».

– Итак, слушайте. Даю вам шанс. Большой шанс. Мне стало известно об очень интересном деле. Оно может стать для нас золотой жилой. Сделаем вечерний выпуск, увеличим тираж, но все должно быть как следует. И без этих ваших выдумок! Вы меня слышите? – спросил он, потому что репортер, закрыв глаза, выдыхал дым с таким блаженным и безучастным выражением лица, словно сидел на прогулочной палубе собственной яхты. – Так вот, через несколько дней должна состояться конференция ученых-физиков по случаю какого-то открытия профессора Фаррагуса. Речь идет о чем-то неслыханном. Какие-то лучи смерти, торпеды или радиоуправляемые ракеты – что-то в этом роде. Точно ничего не известно, потому что конференция строго секретная. На ней будет около тридцати ученых, и только. Прессу не пустят, вы слышите?

– Слышу.

– Вы должны каким-то образом туда попасть. Только без глупых шуточек.

Он сурово посмотрел в глаза репортеру, однако тот не дрогнул.

– Во время войны я два раза вытягивал вас за уши, когда вы вляпывались в секреты атомного производства. Так что тут вы должны действовать ловко и умно.

Репортер артистически перебросил сигару языком из одного угла рта в другой.

– А если они спустят меня с лестницы?

– Тогда вы влезете в окно!

– Олл райт.

Раутон аккуратно погасил сигару, положил ее в жестяную коробку, которая специально для этого служила, и, спрятав ее в заднем кармане, протянул редактору руку. Тот попробовал ее сердечно пожать, но этот акт доброжелательности был принят весьма холодно.

– Глупая шутка, – сказал репортер. – Где деньги? Или вы думаете, что я сиамский брат оборванца и поеду на самокате?

Редактор тяжело вздохнул:

– Вы же еще не знаете, где это будет. Идите сюда!

Он подвел Раутона к большой карте на стене и показал обведенный красным карандашом кружок.

– Вы едете в Лос-Анджелес. В восточном районе города находится Центральная опытная станция университета, там вы должны выяснить, где и когда пройдет конференция.

– А платить кто будет? Мормоны?

После долгих поисков редактор достал засаленную чековую книжку и начал выписывать чек.

– Смелее, смелее, – поощрял его Раутон, – вы хоть имеете понятие о том, сколько стоит билет на самолет? Мне ведь не придется бежать за паровозом, чтобы сэкономить несчастные пару долларов?

Взглянув на поданный чек, он печально свистнул и почесал затылок, не снимая шляпы.

– Этого мне не хватит даже на аптеку, если меня сбросят со второго этажа, – заметил он. – Ну хорошо: скажем, что это на дорогу. А теперь дайте мне гонорар.

Редактор Салливан, казалось, был поражен этой неслыханной наглостью.

– Какой гонорар? За что? Откуда я знаю, не придется ли мне

вытаскивать вас из какой-нибудь заварушки с полицией? Газета разоряется, вы пишете какие-то бредни...

– Я должен убивать богатых миллионеров, чтобы был материал? – холодно спросил репортер. – Если ничего не происходит...

– Именно происходит. Вам выпадает замечательный шанс! – Салливан постучал пальцем по карте. – Сделайте из этого сенсацию, и вы получите... Вы получите...

– Пять кусков, – подсказал репортер.

Его шеф поперхнулся. Не обращая на это внимания, мило улыбающийся Раутон взялся за дверную ручку.

– Впрочем, – добавил он как бы после глубокого раздумья, – «Чикаго таймс» дала бы мне еще больше...

И, окончательно размозжив редактора этими страшными словами, осторожно закрыл за собой дверь.

На третий день утром редактор Салливан, просматривая почту, увидел депешу, подписанную буквой Р, и поспешно разорвал конверт.

«Приехал темно болото дождь большие расходы пришлите денег», – сообщал с помощью электрических сигналов даровитый репортер.

Салливан поднял трубку внутреннего телефона.

– Алло! Мисс Эйлин, отправьте телеграмму: «Раутон, Лос-Анджелес, 15-я авеню, 1, кв. 5. Как себя чувствует тетка за чем деньги Салливан». Записали? Так. Отправьте молнией.

Редактор заехал в редакцию еще раз после обеда: его уже ждал серый бланк депеши. Конечно, снова Раутон! Как оказалось, секретарша, которая питала к репортеру слабость, отправила телеграмму с оплаченным ответом. Ответ состоял из десяти слов и звучал так: «Тетка угасает деньги деньги деньги деньги деньги необходимы Раутон».

Редактор застонал, хватаясь за сердце, рядом с которым лежала чековая книжка.

Первый удар

Раутон, поселившись в маленькой гостинице, начал кружить окрест научного центра как лис. Переодевшись в «нерепортерский» костюм (был у него такой специальный), заводил разговоры со студентами, а приколотая к лацкану орденская планка, что было явным злоупотреблением, потому что в армии он никогда не служил, помогала ему налаживать добрые отношения со старыми швейцарами.

Следует признать, что репортер весьма пренебрежительно относился к клану людей науки.

– Эти рассеянные бедолаги просто должны вывесить где-нибудь объявление: «Тайное заседание состоится там-то и тогда-то».

Как раз начинался учебный год, и студенты широкой волной заполняли комплекс старых кирпичных зданий, окруженных буйной зеленью. Особое внимание репортер уделил зданию физического факультета. Он решил изучить все объявления, вывешенные там на стенах; это было непросто, потому что в основном он вынужден был читать о поисках жилья молодыми одинокими студентами и о потерянных на лекциях авторучках. Он добыл расписание лекций и даже – вы не поверите – собрался записаться на обучение на математическом факультете. Прошло уже три дня, а он все еще не взял след. Потный и злой, но все равно не отчаивающийся, поздним вечером он слонялся перед университетом, когда в его голове метеором вспыхнула прекрасная мысль.

«На время конференции могут быть отменены лекции, – подумал он. – Ведь профессора не смогут быть одновременно и там и там, на лекциях и на заседании!»

Конечно, заседание могло быть назначено на поздний вечер или на воскресенье, но шанс упускать не стоило. Он вбежал в здание и еще раз, с новой точки зрения, изучил список лекций.

Ему стало веселей: со вторника по пятницу лекции проходили по утрам и по вечерам. Если конференция состоится в один из этих дней, удастся вычислить время.

Салливан бешено бомбардировал его телеграммами, на которые Раутон отвечал сонно и флегматично, не обращая внимания на то, что шеф был близок к апоплексическому удару. На стенде в холле обнаружилось маленькое объявление.

Преподаватель курса теоретической физики профессор Фаррагус уведомлял своих слушателей, что пятничные лекции и семинары отменяются. Они будут перенесены на субботу.

«Или это конференция, или я ни на что не способен, – подумал Раутон. – Но все-таки нужно проверить...»

Он кометой облетел все здание: объявления с подобным содержанием нашлись почти всюду. «Профессора, то есть люди науки, наделены разумом сверх человеческой меры...» – размышлял он, возвращаясь в свое пристанище, роль которого исполняла теперь темная маленькая гостиница. Ночью он мог разработать план кампании, потому что огромное количество клопов, которые находились в мебели, великодушно лишали его сна.

Неустанно почесываясь, он бурчал себе под нос:

– Два математика, семь физиков и один химик. Кроме того, какие-то спецы приедут из других городов. Теперь подумаем, как же их атаковать...

Сначала у него было серьезное намерение явить себя почтенному собранию в образе седого лауреата Нобелевской премии, с ухоженной белой бородой, в золотых очках, но это была скорее глупая идея, по его собственному определению. Клопы интенсивно помогали ему думать: он даже глаз не мог сомкнуть, – и поэтому, может быть, в три часа ночи выскочил из постели, чтобы троекратным воплем констатировать: план битвы составлен.

Оставалось лишь дать сам бой, но это представлялось Раутону уже сущим пустяком. Он уже знал более-менее привычки любых профессоров. Знал, что самый старший из них именно профессор Фаррагус, объявление которого он прочел первым. Профессор, старый холостяк, жил вместе со своим слугой, тоже преклонного возраста, в маленьком розовом домике под большими каштанами, который располагался примерно в километре от здания физического факультета.

Раутон появился в окрестностях этого домика в шесть утра, в «антирепортерском» наряде, с портфелем, в котором были собраны самые необычные предметы. Не подлежит ни малейшему сомнению, что если бы кто-нибудь нашел этот портфель и обозрел его содержимое, то счел бы его хозяина явным психопатом. Там в полном беспорядке размещались рядом: томик стихов Лонгфелло, справочник «Как разводить кур», мешочек мексиканского табака для жевания, страховой полис, удостоверение сотрудника водопроводной фабрики в Милуоки, три карты, кусочек мела, платок, деревянное яйцо и механическая канарейка, которая, если ее завести, весьма искусно клевала хлебные крошки и весело пела. С таким запасом Раутон прибыл на место и невооруженным, но очень быстрым взглядом убедился, что шторы в домике профессора еще опущены, после чего притаился в зарослях кустарника и принялся грызть яблоки, которые собрал по дороге с веток, неосторожно выступавших из-за заборов. Он всегда это делал, опасаясь, как бы ценные деревья не поломались из-за обилия плодов.

Он уже закончил здоровый завтрак, когда показался профессор, направлявшийся к зданию физического факультета, как обычно, в семь тридцать. Это был старец, а не старичок: весьма высокий и худой, очень сутулый, с широким синеватым лицом и обвисшей на подбородке кожей. Профессор продефилировал мимо, не заметив спрятавшегося у дороги репортера. Когда он исчез из поля зрения, Раутон потер руки, плюнул на

них, пригладил волосы и отправился на поле битвы.

«Сражаться» ему предстояло всего лишь со старым слугой. Этот, как казалось, добродушный старичок с большими седыми бакенбардами, словно клубы белейшей ваты роскошно украшавшими его щеки, медленно прохаживался в небольшом садике у дома и поливал цветы.

Раутон, у которого уже сложилось в голове начало разговора, яростно постучал по калитке, словно крейсер под парами.

– Добрый день, – сказал он, склоняясь через забор.

Он был похож на серого худого кота, который ластится.

– Добрый день.

Голубые глаза старого слуги с удивлением смотрели на чужака.

– Господин профессор? – спросил Раутон.

– Нет, он пошел на лекцию. Он всегда в это время читает лекции.

– Так я имею честь говорить с его братом?

Слуга проглотил наживку. Раутон видел, что старичок доволен.

– Нет... я веду домашнее хозяйство господина профессора. А что вас интересует?

Раутон уже знал, что старый слуга до прошлого года работал лаборантом на кафедре физики, но из-за преклонного возраста уже не мог переносить тяжелые аппараты и помогать при демонстрации опытов. Профессор Фаррагус, который двадцать семь лет читал лекции в городском университете, взял его к себе, после большого скандала выгнав свою экономку.

«Профессор – холерик, – подумал Раутон, – а этот старичок – мазь для заживления ран».

– Это дело государственной важности, – ответил репортер. И добавил: – Я из Федерального бюро расследований, откомандирован Департаментом науки из Нью-Йорка.

Слуга поспешил предложить высокому гостю войти. Через минуту, сидя в маленькой уютной беседке среди цветов, Раутон, как и пристало настоящему демократу, не погнушался разговором со слугой. По всей видимости, общение со старым лаборантом ничуть не унижало достоинства посланника правительства.

– Я, собственно, по вопросу того мероприятия, которое состоится завтра, – сказал Раутон. – Не знаю, в курсе ли вы, – осторожно добавил он, изображая опасение, что проболтался.

Старый лаборант погладил бакенбарды.

– В курсе, не беспокойтесь. Я знаю обо всем. У господина профессора нет от меня никаких секретов. Мы живем вместе семнадцать лет, – добавил

он конфиденциально.

Это «живем вместе» очень понравилось репортеру.

– Прекрасно. И вы знаете, где состоится заседание?

– А как же.

Репортер изобразил недоверие.

– И об этом вам сказал профессор? Боже мой, ведь это практически государственная тайна. Разве вы можете ориентироваться в таких сложных вопросах? – спросил он. – Хотя, наверное, если вы ведете хозяйство такого знаменитого ученого, как Фаррагус...

Слуга еще нежнее погладил седые бакенбарды.

– Ну да, наверное, знаю кое-что. При покойном господине ректоре Хоуверии, который преподавал математику, я был младшим, потом, когда пришел доцент Тарлтон, я был уже при кафедре, а через девять лет приехал мой профессор – он поначалу был ассистентом. Всегда был такой нервный. Очень способный, так быстро защитил диссертацию, а как читал лекции! Когда рассказывал о множествах или операциях с матрицами, приходили студенты даже с других курсов. А когда мы демонстрировали опыты, таких вообще никогда не было.

– Ну да... – сказал репортер, с трудом воспринимая не всегда понятные слова.

– А это изобретение профессора, а? – сказал он.

Рыбка клюнула.

– Это великое, просто великое открытие...

– Что, вы знаете и о изобретении? Нет, я не могу в это поверить? Ведь это очень сложная проблема!

Старичок улыбнулся.

– А интегральное и дифференциальное исчисления, вы думаете, просты? А ведь я знаю их в совершенстве. На экзаменах меня всегда просили студенты: «Джон, – говорили они, – встань поближе к двери и, пока профессор раздает билеты, подскажи, помоги сделать задание...», а то, а это... Хи-хи-хи-хи, да, так было, извините... Но, но, а зачем вы приехали, можно узнать? Вы будете ждать господина профессора? Он вернется только после двенадцати.

– Нет-нет. Я приехал, понимаете, потому что есть подозрение, что профессору угрожает некоторая опасность.

– Что вы говорите? – испугался старый лаборант.

– К сожалению, так! Этим заинтересовались разведки некоторых стран, понимаете? На конференции, кроме ученых, никого не должно быть, так? – вдруг резко спросил он.

– Нет. Профессор мне говорил – только одни специалисты.

– Из прессы тоже, надеюсь? Этот сброд даже близко нельзя подпускать.

– Конечно, так.

– Речь идет именно о том, – сказал репортер, – что следует обеспечить охрану профессора. Он возьмет с собой какой-нибудь портфель на это заседание или что-то в этом роде?

– Да... бумаги... наверное... свою работу.

– А где автомобиль профессора? Не пойдет же он пешком в такую даль?

– В какую даль? Или вы не знаете города, действительно, вы же только что приехали. Нет, у нас нет автомобиля, потому что профессор не любит машин.

– Надо внимательно изучить эту дорогу... – сказал репортер как бы сам себе. – Так как туда можно пройти?

– Куда?

«Вот болван!» – подумал репортер.

– Ну, на конференцию... завтра.

– Вы не знаете, где находится факультет физики? – с искренним удивлением спросил слуга.

«Это твой шанс», – подумал репортер.

– Знаю, что где-то в той стороне, но как к нему пройти? Я прибыл к вам сразу с аэродрома.

Слуга объяснял долго и подробно, а репортер лихорадочно размышлял: «Что же делать? Сам не знаю, как мне пришла мысль про этот Департамент науки. Может, ехать на этом коне так долго, как получится?»

– Извините, – сказал он, – я вижу, что вы человек мудрый и прекрасно понимаете, кем является профессор Фаррагус для нашей страны. Поэтому скажу вам все. В наш департамент поступили сведения, что шпионы чужих государств попытаются стибр... то есть выкрасть результаты трудов профессора. Наибольшую опасность представляет именно завтрашний день, когда профессор пойдет на эту конференцию. Они могут установить в помещении микрофон, или подложить часовую бомбу, или же по водопроводным трубам запустить такой... – Репортер на минуту замолчал, потому что болтал что в голову взбредет, но вдруг сообразил, что человек, которому он впаривает эту чепуху, разбирается в физике. – Поэтому, – поспешил он быстро покинуть небезопасную территорию, – наш департамент дал об этом знать господину профессору и предложил прислать на несколько критических дней агента для охраны. Но профессор

оставил это без внимания и отказался от помощи. Однако мы не можем допустить, чтобы такой ценный труд пропал, поэтому я был отправлен с чрезвычайными полномочиями. Мне повезло, что я встретил вас. Господин профессор великий человек, но очень нервный, не так ли?

– Ох, так, – вздохнул старичок. – Он очень добрый, но когда разгневается, то и не знаю, что делать.

– Вот именно. Мы об этом знаем. Поэтому нужно, чтобы я смог присутствовать на конференции и опекать профессора. Но он не должен об этом знать. Вы понимаете?

– Понимаю! – Лаборант запустил руку в бакенбарды и принялся накручивать их на палец. – Конечно, это нужно, но...

– Никаких «но». Когда профессор выйдет завтра из дому?

– В шесть часов вечера.

– Ага. А конференция должна начаться в шесть тридцать.

– Нет, в шесть сорок пять.

– Да, действительно. Я оговорился. А поскольку профессор знает своих коллег, значит, я должен укрыться в зале так, чтобы меня никто не видел, понимаете? Я возьму с собой специальный аппарат, что-то вроде автоматического револьвера. – Репортер шлепнул себя по оттопыренному заднему карману, в котором лежал футляр из-под зубной щетки.

– Как же это сделать?

– Вы, случайно, не знаете кого-нибудь, кто мог бы впустить меня в зал?

– А правда! А действительно, – обрадовался слуга. – Конечно же, знаю. Стивенс. Он сейчас работает главным лаборантом, и у него есть ключи от всего здания.

Репортер встал.

– Профессор после обеда будет весь день дома?

– Нет... Он будет у своей сестры, в городе. Он говорил мне, что уйдет в пять часов и вернется поздно вечером.

– Прекрасно. Около шести я приеду сюда на машине и отвезу вас на факультет физики. Там поговорим с этим... как вы сказали? Сти...

– Стивенс, Стивенс. Он был помощником при кафедре, еще год назад.

– Он был вашим подчиненным?

– Ну да.

– Значит, я приеду на машине в шесть часов и заберу вас, – повторил репортер, встал, небрежно приложил два пальца к краю шляпы и быстро вышел на улицу.

Слуга долго смотрел ему вслед с восхищением – подобное случилось с

ним впервые в жизни.

Весело насвистывая, в весеннем настроении, репортер оставил в гараже залог за нанятый на два часа автомобиль, удобно устроился за рулем огромного «бьюика» и что есть мочи погнал за город.

Было шесть часов с минутами, когда резко нажатые тормоза взвизгнули у калитки укромного садика. Воодушевленный необычайным приключением, старый лаборант сидел, надев свой лучший костюм, на лавочке перед домом. У репортера в зубах была дорогая «вирджиния». Он сидел в автомобиле, ожидая, пока слуга закроет все двери в доме и выйдет к нему. Наконец тронулись. Встреча со Стивенсом прошла гладко. Он с большим уважением смотрел на настоящего представителя правительства по политическим делам.

Когда они сидели в маленькой комнатке, которая была служебным помещением лаборанта, во время представления (старый слуга профессора объяснял Стивенсу, о чем идет речь) молчаливый джентльмен с сигарой в нужный момент открыл портфель, выхватил из него большое удостоверение с золотым львом на корочках – такие прекрасные удостоверения использовала водопроводная фабрика в Милуоки – и, молниеносно раскрыв его, сунул под нос ошеломленному Стивенсу.

Если какая-то тень недоверия и гнездилась в сердце добросовестного человека, то теперь она исчезла окончательно. Отыскав в большом застекленном шкафу нужный ключ, он показал его представителю правительства.

– Я приду за час до начала, – сказал репортер, – то есть завтра, а сейчас покажите мне зал, чтобы я мог сориентироваться. Я должен установить там комприматор.

Наглость его просто окрыляла. Он обращался к Стивенсу на «вы» и бросал время от времени непонятные слова вроде «комприматор». Здание было в это время почти пустым. Длинными мрачными коридорами три заговорщика прошли в боковое крыло, где остановились перед большими бронзовыми дверями.

Стивенс, чувствуя ответственность момента, нарочито долго возился ключом в замке. Наконец двери раскрылись. Это был небольшой зал, уставленный стульями; в первом ряду стояли кресла. Перед ними возвышался невысокий подиум, на нем стоял стол, накрытый зеленым, спадающим на доски пола сукном. Репортер детально осмотрел всю обстановку. Он приподнял сукно, которое закрывало стол, и внимательно изучил внутренности. Проверка, казалось, его вполне удовлетворила.

– Буду сидеть здесь, – сказал он. – Да, еще одно! – добавил он,

обращаясь к неподвижно стоявшим лаборантам. – Какие у вас инструкции по пропуску приглашенных?

– Каждый должен показать приглашение... Такие карточки, которые выдает деканат факультета физики. Извините, а что будет, если господин профессор или кто-нибудь еще заметит вас? Меня не выгонят с работы? – вдруг забеспокоился Стивенс, у которого в голове не укладывалась мысль, что особе, делегированной правительством, придется два часа просидеть под столом.

– Не бойтесь. Не выгонят вас, а даже если что-то случится, то заверяю, – репортер улыбнулся добродушно, как Рокфеллер, – что мы предоставим вам такую должность, по сравнению с которой нынешняя – пустяковина.

– Я хотел бы работать здесь, в университете.

– А что, вы думаете, что на Лос-Анджелесе свет клином сошелся? Ну, мы все решили. Завтра вечером я буду здесь!

Репортер кивнул Стивенсу и быстро вышел, увлекая за собой ошеломленного темпом старого слугу.

– И постарайтесь, чтобы профессор ни о чем не узнал, – сказал он на прощание старичку. – Мы не хотим, чтобы он нервничал. Это может навредить его здоровью. Благодаря вам все пойдет как следует: вы сослужили добрую службу Соединенным Штатам.

Он дал газу, и темно-синий автомобиль вихрем исчез в вечернем полумраке. Слуга долго еще стоял, глядя, как исчезают красные огоньки. Слова репортера растрогали его до глубины души.

Под столом

Раутон вспотел: под скатертью было чертовски душно, а температура в заполненном зале была высокой. Словно из бочки, до него доносился гул многочисленных голосов. Это продолжалось так долго, что ему несколько раз пришлось сменить позу из-за непривычного сидения «по-турецки» – ноги начинали затекать.

Наконец заседание началось.

Приглушенный звон колокольчика прозвучал прямо над его головой. Он даже вздрогнул, потому что под скатертью, в пяти сантиметрах от его колена, появился черный мысок ботинка.

– Уважаемые коллеги, – раздался над столом отчетливый старческий голос, – я открываю специальное секретное заседание, посвященное

реферату коллеги Фаррагуса. Слово предоставляется коллеге Фаррагусу!

Послышалось сильное шарканье, доски пола заскрипели, оратор выкладывал что-то – наверное, папки с документами – на стол. Из зала доносились покашливания и шмыганье носом.

– Дistinguished colleagues!

У Раутона под столом имелся маленький блокнот для стенографирования и специальная авторучка со встроенной под пером лампочкой, которая позволяла писать в темноте. Едва профессор начал говорить, перо полетело вприпрыжку, оставляя острые закорючки на белом листке. Но, о ужас! Профессор вдруг перестал говорить и перешел к формулам. Он повернулся, отошел от стола, и раздался скрип мела.

Раутон, по природе склонный к риску, не смог усидеть на месте. Невзирая на то что его арифметические познания ограничивались десятичной системой, а таблицей умножения служили долларовые банкноты Государственного федерального банка, он захотел увидеть то, что пишет Фаррагус. Поэтому он попытался приподнять краешек скатерти. Когда он выглядывал в маленькую щель, мел вдруг треснул, сломался, и его кусочек попал через эту малюсенькую щель прямо ему в глаз. Он едва удержался от громких проклятий. Вытер платком слезившийся глаз и, уже не пытаясь выглядывать, замер, как подводная лодка в пучине океана, накрытый волнами зеленого сукна.

Из ужасно сложных рассуждений профессора вытекало, насколько об этом мог судить репортер, что в своих исследованиях он вывел некое математическое выражение, реализация которого «могла бы вызвать конец света». Репортер записал это слово в слово так, как сказал профессор, совершенно не понимая, впрочем, как математическая формула может иметь влияние на судьбы человечества. Однако из дальнейшего выступления оказалось, что такое возможно.

– Я искал условия, – говорил профессор, – при которых эта теоретически выведенная программа могла бы исполниться. Поначалу мне казалось, что это невозможно, но кропотливые двадцатисемилетние поиски увенчались положительным результатом. Уважаемые коллеги! – Голос Фаррагуса сорвался. – Мне удалось создать то химическое соединение, существование которого предсказывала вот эта формула, написанная на доске. И это химическое соединение, которое является самой могущественной, самой страшной силой, когда-либо переданной человеку в руки природой... И это химическое соединение, которое может уничтожить все живущее на нашей планете, и даже земной шар уничтожить, превратить его в облако раскаленных газов... Это соединение

находится вот здесь!

Фаррагус стукнул чем-то твердым по столу так, что репортер подпрыгнул, подумав, что горячий экспериментатор собирается здесь и сейчас доказать правильность своих ужасных пророчеств.

– В этой пробирке находится вот этот белый порошок, который совершенно безвреден и может сколь угодно долго храниться при низких температурах; более того, он не вступает ни в какие химические реакции: его не возьмут ни кислоты, ни щелочи, ни любое другое химическое тело!

Профессор повысил голос:

– Но если его нагреть до температуры в восемьдесят градусов по Цельсию, до этой относительно незначительной температуры, он чудовищным образом преобразуется. Это не будет взрыв, уважаемые коллеги, как в снаряде, заполненном динамитом... это не будет цепная реакция, коллеги, как в атомной бомбе... ведь там мы имеем дело с детонацией ограниченного характера... даже если разрушительное действие распространяется на несколько километров, это пустяки в сравнении с размерами материков и океанов. Мой препарат, который здесь представлен в виде невинного белого порошка, нагретый всего лишь до восьмидесяти градусов, становится детонатором материи! Что это значит – «взрыватель материи»? Это значит, что если в атомной бомбе превращается в энергию взрыва лишь сотая часть массы, то мой препарат зажигает материю! Он реагирует, выбрасывая из своих частиц мезоны, разогнанные до миллиардов электрон-вольт... он сокрушает вокруг себя все другие атомы, вызывая их распад! Их разрушение! Их уничтожение! Их полное исчезновение! – кричал профессор тонким прерывающимся голосом. – И когда страшная энергия, сжатая в материи, высвобождается, температура поднимается до миллионов градусов... и благодаря этому действию щепотка порошка, не бóльшая, чем та, которую вы видите вот в этой пробирке, может вызвать распад и исчезновение всего земного шара. А если ее бросить на Солнце, оно тотчас распалось бы... и исчезло, как пылинка!

«Неплохо говорит». Перо репортера летало как сумасшедшее, а стопка исписанных листков росла. Раутон радовался так, как если бы профессор предсказывал вечный рай на земле.

– Мое изобретение... мой препарат я называл генетоном, то есть создателем... Почему создателем? Потому, уважаемые коллеги, что с этой поры больше не будет войн, ибо любая война означала бы полный, дословный и окончательный конец света, ибо любая война привела бы к крушению нашей планеты, к исчезновению той Земли, по которой мы

ходим, и воздуха, которым мы дышим. Я верю, что мой генетон сделает возможным приход вечного мира!

Слышен был шелест бумаг в зале, скрип стульев, покашливание, кто-то поблизости высморкался так продолжительно и громко, что репортер даже вздрогнул, словно услышал звук труб Страшного суда.

«Вот тебе и крикливый старик», – подумал он, когда зазвенел колокольчик и раздался голос председательствующего:

– Кто хочет выступить?

– Прошу слова.

– Дорогие коллеги, – зазвучал над репортером такой низкий бас, что он даже съежился, – профессор Фаррагус представил здесь нам некую гипотезу. Она, признаю, довольно интересна, но слишком смела. Я считаю, что ученому не следует высказывать утверждения, которые не подтверждены экспериментально. Я вижу эту формулу. И утверждаю, что она не может быть реализована, поскольку показатели уравнения определены не столь точно, как это должно быть! Поскольку эта формула является лишь иллюзией в некотором смысле...

– Как вы смеете! – раздался вспльчивый, близкий крик Фаррагуса.

Его оппонент продолжал, будто ничего не слышал:

– Из теоретических предположений сделан слишком поспешный вывод...

В зале раздался ропот.

– Такое тело, – было слышно постукивание пальцем по доске, – не в состоянии обеспечить объявленную энергию. Здесь перепутано количество тепла и величина температуры. Но это разные вещи! А второй закон термодинамики? Полагаю, коллеги, что дело ясное: для меня проблемы генетона не существует.

– Вы считаете, что это шарлатанство? – закричал, стараясь перекрыть шум зала, Фаррагус. – Двадцать семь лет исследований были одной большой ошибкой? А чем в таком случае является то, что находится в этой пробирке? Этот препарат, который вы видите?

– Если вы действительно его синтезировали, – с некоторым сладострастием и изысканной вежливостью прозвучал сокрушительный до сей поры бас, – то это еще одно из пятнадцати тысяч новых химических соединений, о которых ежегодно сообщают журналы химии...

Он начал сходить с подиума. Были слышны громкие выкрики.

– Значит, мои расчеты для вас – ничто! – кричал Фаррагус, уже совсем утративший самообладание. – Как я могу вас убедить? Разве лишь поместив эту пробирку в пламя свечи? Только такая катастрофа смогла бы

доказать, что большая часть моей жизни не прошла даром?..

– Да, только такой эксперимент... опасаясь, однако, что мой уважаемый коллега существенно переоценивает опасность взрыва этого порошка... Вам одолжить зажигалку?

Раздался общий смех. Зал гудел.

– Немедленно требую отпустить меня сейчас же! – закричал кому-то Фаррагус тонким срывающимся голосом. – Я докажу вам, что был прав, чего бы это мне ни стоило!

Раздался грохот падающего кресла, а затем стук захлопнутой двери.

Начало конца

Доктор Грей, ассистент Опытной станции университета в Лос-Анджелесе, первый помощник профессора Фаррагуса, в среду утром опаздывал на работу. Ускоряя шаги, он двигался по направлению к университету, скрытому за высокими кронами старых деревьев. Когда он вышел на Криктри, то на углу увидел толпу людей, собравшихся у ограждения. Некоторые стояли спокойно, другие же грозили кулаками в сторону темных окон университета. Ассистент удивился.

«Демонстрация? Здесь?» – думал он, прибавляя ходу.

Он подумал, что все складывается прекрасно, в надежде, что профессор, который обычно часами пилил его за опоздания, сегодня, пожалуй, не обратит на это внимания, поскольку происходит нечто совершенно необычное.

С большим трудом он протолкался к высоким воротам с острыми позолоченными прутьями. За ними стоял лаборант Стивенс и еще четыре человека, среди которых, ассистент даже моргнул от удивления, был офицер полиции в форме.

Привратник сказал:

– Добрый день, господин доктор. Сейчас откроем, только не очень широко, чтобы не вошел никто лишний.

Открыли тяжелую решетчатую створку ворот, и под неприязненные крики толпы ассистент проскользнул внутрь. Люди, стоявшие у ворот, вели себя в общем тихо, лишь хмуро смотрели на него, а сзади долетали грозные проклятия, даже камень просвистел мимо, но, к счастью, за ним не последовали другие.

– Что это? Безработные? Чего они хотят? – начал доктор Грей, обращаясь к офицеру.

– Вы, наверное, доктор Грей? – спросил офицер. – Это хорошо, что вы пришли.

– Господин инспектор, что тут происходит? Чего хотят эти люди? Что-то случилось? – спрашивал перепуганный доктор.

Инспектор, казалось, немного смутился.

– Да нет... Понимаете, это все из-за проклятой статьи.

– Какой статьи?

– Вы не видели сегодняшнюю утреннюю газету?

– Нет.

Офицер достал из кармана помятый экземпляр «Ивнинг стар». Доктор Грей взглянул на первую страницу. Там было написано огромными буквами:

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ ПРОФЕССОР ВЗОРВЕТ АМЕРИКУ!

И пониже, чуть меньшим шрифтом:

**ГЕНЕТОН, УЖАСНЫЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ,
В ТЫСЯЧУ РАЗ СИЛЬНЕЕ АТОМНОЙ БОМБЫ.**

А потом:

**СЕНСАЦИОННЫЙ РЕПОРТАЖ С ТАЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВЕТИЛ МИРОВОЙ НАУКИ.**

Вся эта великолепная история была обильно снабжена множеством цифр и неизвестно откуда добытыми снимками участников собрания, которое было описано устрашающим образом. Следует признать, что Раутон знал свое дело. Он создал полнокровную, художественную эпопею. Профессор Фаррагус и его оппонент (репортер сумел разузнать его фамилию) были представлены как противоборствующие фанатики, которые для доказательства правильности своих взглядов способны уничтожить весь мир. Слова, которые произнес Фаррагус, выбегая с конференции, показались способному журналисту недостаточно насыщенными трагизмом и не слишком выразительными. Поэтому он с чистой совестью написал:

«...Профессор Фаррагус бросился к двери, выкрикивая на ходу:

“Скоро свет убедится, что мой препарат – это самый страшный РАЗРУШИТЕЛЬ, какой знала история!!!”»

Конечно, текст не был совершенным, но у Раутона имелись смягчающие обстоятельства. Он каким-то чудом молниеносно обеспечил междугородний ночной разговор со своей редакцией, остановил печать уже набранного номера и до двенадцати ночи непосредственно со стенограммы надиктовал всю статью. Нужно сказать, что тираж газеты резко пошел в гору. В восемь утра типография печатала пятый миллион.

– Ах, генетон, – ужаснулся Грей.

– Это может быть правдой? Я разговаривал с профессором, но он утверждает, что таких слов не говорил. Вы были на том собрании?

– Что? А, нет, я не мог... Боже мой, что же будет? Значит, эти люди...

– Послушайте, господин доктор, этот препарат действительно чего-то стоит? – спросил инспектор, конфиденциально взяв его за руку.

– Что? Как это?

– Ну, он действительно взорвется, если поместить его в огонь? Вы это видели?

– Да хранит нас Господь Бог от этого! Не видел, потому что после этого я не увидел бы вообще ничего и никогда. Что он там понаписал, этот репортер? Этот препарат вызывает возгорание материи – понимаете вы это или нет? Возгорание материи, как искра в бочке с порохом, создает все больший и больший пожар, пока все не взлетит на воздух. Достаточно одного грамма этого порошка, коробки спичек и огрызка свечи, чтобы покончить с миром.

Грея трясло от волнения.

– Где Фаррагус? Где профессор? – Он вдруг обратился к офицеру: – Боже мой, он не мог говорить это всерьез.

– Профессор? Его хотели линчевать, когда он пришел утром в университет. Все из-за этого проклятого репортера, который обо всем раструбил.

– Я сам работал над этим вместе с профессором, – бормотал Грей, – это ведь страшно...

Толпа напирала на решетку. Кто-то возбужденно кричал:

– Эй, расступитесь!

В узком проходе показались три подозрительно выглядевших типа, которые несли большой телеграфный столб.

Инспектор бросился к воротам, хватаясь за рукоять пистолета.

– Не смейте бить по воротам! – рявкнул он. – Слышите? Гопкинс, – сказал он полицейскому, который паялся на толпу, опираясь на карабин, –

беги к телефону, скажи, чтобы нам прислали пару констеблей, а может, и целый взвод!

Грей, так и не пришедший в себя, направился к зданию.

В кабинете профессора было тихо. Он постучал в дверь – ответа не последовало. Вошел в кабинет. Профессор сидел с опущенной головой в кресле и постукивал пальцами правой руки по столу. Стопки исписанных листков валялись в беспорядке. Он поднял на вошедшего близорукие опухшие глаза и моргнул.

– А, Грей? Вы не были вчера на совещании, да?

– Господин профессор, – начал Грей, – я не мог... Моя тетка...

– Ах, оставьте. А вы знаете, что Кунор назвал мою работу дешевым балаганом, мои данные – фальшивыми, а благородное собрание высмеяло меня?..

– Все великие изобретатели... – начал Грей.

– Да, знаю, знаю. Помирали от голода в нищете. Ну и что с того?

– Полемика, господин профессор, это глупость...

– Как это глупость? – подпрыгнул профессор. – Если Кунор оскорбляет меня, то это глупость?! Если называет мой препарат безвредным, это глупость?!

Профессор оперся о стол, побледнел и вдруг схватился за сердце.

Грей испугался.

– Где же нитроглицерин, Боже! – Он подал старцу стеклянную пробирку, побежал за водой и вернулся со склянкой.

Фаррагус беспомощно сидел в кресле, на желтых щеках у него выступили коричневые пятна.

– Сердце... сердце... – тихо шепнул он.

Махнул рукой, когда Грей хотел подать ему воду. Он пришел в себя, подошел к окну и посмотрел вдаль, где за завесой листьев раздавались глухие крики.

– Что за хамство! – проворчал он. – С ума можно сойти. Меня утром чуть не забили, когда я пришел. Я хотел сделать из генетона символ и гарантию мира, а какой-то Кунор, который дал науке, с вашего позволения, сами знаете, что он дал, осмеливается, лишь потому, что его жена – дочь ректора, говорить мне, мне! – Он ударил кулаком в грудь.

В эту минуту раздалось деликатное постукивание, и в кабинет проскользнул человек среднего возраста, глаза которого молниеносно обшарили все вокруг. Из заднего кармана потрепанных серых брюк он достал стенографический блокнот внушительного вида и, вооруженный им и авторучкой, приблизился к профессору, словно балерина, выполняющая

свои pas de ballet^[146].

Профессор заметил незваного гостя, лишь когда поднял на него глаза.

– Кто вы? Чего вы хотите?

– Раутон из «Ивнинг стар», – сказал пришелец, поклонившись еще раз. – Репортер по вопросам чрезвычайной важности, – добавил он, стараясь деликатно улыбаться. – Господин профессор, я позволил себе разместить вчера небольшую заметку...

– А, так это вы заварили эту чудовищную кашу, – взорвался Фаррагус, подскакивая в кресле. – И вы еще смеее ко мне обращаться?

– Выслушайте меня. Дело вот в чем: вы изволили сказать, что этот препарат... генетон... если его поместить в огонь или как-то иначе нагреть до температуры в восемьдесят градусов, вызовет, скажем, взрыв мира. Я позволил себе в связи с этим взять интервью у профессора Кунора... сегодня утром, у него дома... Я спросил его, что может произойти, если препарат господина профессора Фаррагуса окажется в огне.

– Ага? И что он сказал? – спросил Фаррагус, даже перегибаясь через стол, чтобы лучше слышать.

– Господин профессор Кунор, – репортер чуть ли не пропел ответ, впившись глазами в свой блокнот, словно это был молитвенник, – сказал мне, что результат будет таким же, как если бы в огонь бросили щепотку табака... В связи с этим я хотел бы спросить, как к этому относится уважаемый господин профессор.

Фаррагус весь посинел.

– Щепотку табака, щепотку табака... – Он нервно сжал руку в кулак. – Вы хотите знать мое отношение? – спросил он. Голос его хрипло дрожал. – Скажите своим читателям... да, скажите этим тупицам, этим медным лбам, этим хамам, что сегодня в восемь часов вечера, с последним ударом часов, я брошу мой препарат в огонь... и пусть тогда Господь сжалится над профессором Кунором... над всеми людьми... и над этими надутыми спесивцами, которые меня высмеяли... выставили... выгнали... да!

Секунду стояла мертвая тишина, затем профессор чудовищно скривился, схватил ключ и выбежал из кабинета. Проскрежетал замок замыкаемых снаружи дверей. Грей минуту стоял, словно мужское pendant^[147] жены Лота, затем оглянулся.

– Го... го... господин профессор! – вдруг завопил он.

Репортер еще писал. Затем аккуратно закрыл авторучку, положил блокнот в карман, словно это было нечто драгоценное, и, даже не пробуя выбить дверь, ловко вскочил на парпет. От земли его отделяло четыре

метра. Он свесил ноги вниз и, триумфально улыбаясь Грею, вскричал:

– Экстренный выпуск!

После чего исчез.

Грей заметался по комнате, издавая пискливые крики, потом схватил стул и попытался выбить им дверь. Это ему, конечно, не удалось, но шум привлек внимание инспектора. Поскольку профессор оставил ключ в замке, полицейский открыл замок и вошел, но тут же отскочил, потому что Грей замахивался на него кочергой.

– Что тут происходит? Что вы делаете? – строго спросил страж порядка, глядя на растрепанные волосы и бледное потное лицо ассистента, мечущегося среди разбросанных бумаг, заляпанных чернилами из перевернутой чернильницы.

– Этот репортер... профессор... Фаррагус... генетон, – бормотал Грей.

– Ну успокойтесь же. Где профессор?

– Боже мой, что же будет?

– Да говорите же наконец!

Грей упал в кресло.

– Репортер пришел от Кунора, рассердил профессора, потому что Кунор сказал, что генетон никогда не взорвется, что от него никакого толку... Профессор сказал, что в восемь часов вечера бросит генетон в огонь!

Инспектор протяжно свистнул и торопливо огляделся по сторонам:

– Где профессор?

– Убежал куда-то – может, домой.

– Где этот порошок?

– Он был в стеклянной пробирке.

– И где эта трубка?

– Была здесь, в ящике письменного стола.

Инспектор бросился к столу. Ящик был пуст.

Теперь закричал инспектор:

– Боже мой! Где этот репортер?

– Выскочил в окно.

Инспектор захлебнулся воздухом.

– Ну, – сказал он, – теперь точно будет конец света.

Он выбежал в коридор. Слышно было, как он набирает телефонный номер и кричит в трубку, поднимая на ноги весь свой комиссариат:

– Арестуйте его, если увидите! Что? Что? Хорошо!

Он уже собирался повесить трубку, когда вдруг кое-что вспомнил.

– Алло, Брэдли? Слушай, если к вам в руки попадет Раутон, этот

репортер из «Ивнинг стар», дайте ему пару раз дубинкой и посадите в камеру, чтобы остыл... Он так же опасен, как и профессор.

Грей сидел на лестнице, вертя в руках ключ.

– А вы чего тут сидите? – спросил инспектор, который словно ракета мчался вверх.

Ассистент бросил на него безучастный взор.

– Я собирался идти пообедать, но стоит ли?

– Почему?

– Ну, после восьми есть больше не понадобится.

– Черт бы вас всех побрал! – рыкнул инспектор и поспешил дальше.

Паника

Государственный секретарь поставил пресс-папье слева от серебряной статуэтки Свободы, потом – справа, наконец – перед собой, и долго всматривался в его хрустальный набалдашник.

Поднял голову.

– И что?

– Мы сделали все, что было можно, господин премьер.

– Нет, не сделали.

– С двух часов расставлены посты на всех станциях метро и железной дороги, на улицах и площадях. Многочисленные патрули с фотографиями Фаррагуса ходят по городу... Наблюдаем за зданием университета... проведен обыск в доме профессора... у его знакомых... в три часа развешаны объявления о награде в пять тысяч долларов за информацию о местонахождении профессора. Ни одна машина, ни один человек, ни один самолет не покинут Лос-Анджелес так, чтобы мы об этом не знали.

Госсекретарь стукнул линейкой по пресс-папье с такой силой, словно этот предмет был ему особенно ненавистен.

– И что с того, – взорвался он, – какие результаты... никаких!

Начальник полиции потер нос.

– В любую минуту нам могут сообщить... – начал он.

Зазвонил телефон. Госсекретарь поднял трубку.

– Что? Как? Это вас, – сказал он, отдавая трубку.

Начальник полиции склонился над столом.

– Что? Фолстон из Лос-Анджелеса? Что? Что?? Что??? Не разрешать! Возвращать!! Возьмите все резервы из казарм! – Он прикрыл трубку рукой. – Господин госсекретарь, – сказал он, – это было неизбежно: в

городе началась паника, то есть волнения, – поправил себя он, кусая губы. – Толпы народа хотят выйти из города во всех направлениях.

– Какое мне до этого дело! – взорвался госсекретарь.

Хрустальное пресс-папье закончило свое существование, разбившись под столом на тысячи осколков.

– Господин госсекретарь... трудно... сил полиции не хватает, я вынужден просить о помощи армию.

Госсекретарь достал из кармана платок.

– Армию? Но это невозможно!

Он вдруг встал и начал бегать по комнате.

– Это безобразие! Два звонка из английского посольства... это может вызвать кризис, а еще переговоры о займе! Нет, вы должны собственными силами...

Начальник полиции вернулся к трубке.

– Фолстон? Это вы? Слушайте, что я говорю. Вызовите городскую полицию из Пасадены и Сан-Диего, вообще со всего округа, можете реквизировать несколько автобусов. Что? Что? – Он стал еще более лиловым, чем раньше. – Там то же самое? – пробормотал он. – Тогда пусть проверяют, надо поставить кордоны, проверять документы. Тех, кто на машинах, пропускайте, пусть едут к черто... то есть... что? Он может быть переодетым?!

Он бросил трубку на телефон.

– Ну? – Госсекретарь задержал на начальнике полиции вопрошающий взор.

– С утра задержано триста сорок человек, – начал начальник.

– Ах, помолчите. Триста сорок Фаррагусов. Хорошо. Чем все это закончится?

Зазвонил другой телефон. Госсекретарь поднял трубку:

– Да-да. Канцелярия президента? Жду.

С минуту молчал.

– Господин президент? Да, это я. Надеемся, что удастся поймать его до семи часов, наверное, да. – Он прикрыл трубку ладонью. – Из Белого дома. Подумайте, четвертый звонок. Это кончится моей отставкой. Такой срам! Люди безумствуют на улицах. Английское посольство, – начал он, но умолк, потому что начальник полиции смотрел на него странным взглядом. – Почему вы так на меня смотрите?

– Извините, господин госсекретарь... но если... не дай Бог... не удастся его задержать, то речь будет не об отставке, а о... смерти?

– Что? – Госсекретарь остановился как громом пораженный. – Это мне

даже в голову не пришло, – наконец признался он. И вдруг неприятно рассмеялся. – Сорок тысяч полицейских, включая резервы, все экипажи специальных бригад не в состоянии найти одного человека? Притом старика, у которого нет машины... которого все знают!

Зазвонил телефон.

Начальник полиции вертелся на стуле, ежеминутно прижимая трубку рукой, словно хотел впихнуть в нее плохие вести.

– Господин госсекретарь, – сказал он. – Ничего не поделаешь! Вы должны дать мне армию, иначе я ни за что не отвечаю.

Государственный секретарь сел в кресло и опустил руки.

– Делайте что хотите. Мне все равно. – Он невольно склонился над столом, который был покрыт пестревшими черным и красным свежими газетами. Везде были видны огромные заголовки экстренных выпусков.

– Алло? – Начальник полиции накручивал один номер за другим. – Генерал Уилби? Господин генерал, я говорю из кабинета государственного секретаря... вы ведь ориентируетесь в ситуации, не так ли... возникла паника... могут быть беспорядки... грабежи... пожары... мне не хватает людей, чтобы справиться с ситуацией. Нам нужно... да, да, вы меня прекрасно понимаете. Нет, не пехота. Я предпочел бы моторизованные подразделения... так будет лучше, правда ведь? Что вы говорите? Хорошо.

– Боже мой, – госсекретарь вдруг посмотрел на часы, – еще полтора часа. Уже половина седьмого.

Он открыл ящик стола и нашел пачку аспирина.

– Вы можете подать мне графин с водой? Спасибо. Какой идиотизм: два ученых повздорили, и один, чтобы убедить другого, хочет взорвать мир... Слушайте, а может быть, объявить по радио, что мы предадим всю эту историю забвению, если он сдастся добровольно?

Начальник полиции пожал плечами.

– Это не поможет, он же сумасшедший. Но я позвоню, пусть объявят, теперь уже все равно.

И он снова начал набирать номер.

Один на один

Свои первые шаги Раутон направил, естественно, в переговорный пункт. Через двенадцать минут он уже связался с редакцией. И когда он сбросил весь балласт сообщения ротационным машинам, то почувствовал, что ему стало намного легче. Он был исполнен бодрости и добрых надежд.

«Прежде всего, – сказал он себе, – нужно будет где-то отыскать профессора. Можно было бы сделать неплохое интервью, а кроме того, эта история со взрывом действительно была бы неплохой сенсацией, но если она закончится концом света, некому будет об этом читать».

Придя к этому здравому заключению, Раутон внимательно осмотрелся. Прошло всего лишь тридцать минут с момента бегства профессора, а в город уже входили многочисленные пешие и моторизованные колонны. На каждом углу проверяли документы у людей, которые выглядели старше сорока лет.

Репортер зашел в небольшое кафе. Ему всегда лучше думалось под фисташковое мороженое. Поэтому, заказав тройную порцию со взбитыми сливками, он начал размышлять.

«Жаль, что не побежал за Фаррагусом: я бы легко его догнал, когда выскочил в окно, – думал он. – Нет, репортаж был важнее. Нужно было дозвониться до редакции. Значит, поставим себе задание: установить, где находится профессор!»

«Да, где?» – Раутон внимательно облизал ложечку и потребовал маленькую сливочную бомбочку.

«Прежде всего ему понадобятся спички и свечи. Эврика!» – крикнул он и полетел к буфету, словно стартующий истребитель «харрикейн».

– Девушка, у вас есть телефон?

– Вон в той кабинке.

Раутон развернулся на месте и бросился к телефону. Молниеносно набрал домашний номер доктора Грея, но ему никто не ответил.

Он позвонил домой профессору, кто-то ответил глуховатым басом – видимо, полицейский. Очень хотел узнать, кто звонит профессору и зачем.

– Любовница! И отцепись, чертов коп, – сказал Раутон, бросая трубку. Наконец третий звонок оказался счастливым: он связался с университетом. Там не было никого, кроме секретарши и ректора.

– Дайте мне ректора.

– А кто говорит?

– Заместитель шефа полиции.

Ректор мгновенно оказался у аппарата.

– Господин ректор, профессор Фаррагус курит сигареты?

– Да... а в чем...

– Ол райт!

Раутон повесил трубку и вернулся к мороженому. Оно уже растаяло, поэтому он его просто выпил.

– Сделайте еще фисташкового и положите сверху клубнику.

Так, спички у профессора есть. Но этого мало, ему еще понадобится свеча. Раутон посмотрел на часы:

– Сейчас начало третьего... у меня еще масса времени.

Он съел мороженое, заплатил, чувствуя в области желудка нечто вроде сенсации, словно там появился маленький альпийский ледник, и направился в сторону здания университета. Относительно молодой возраст избавлял его от постоянных остановок и проверки документов. Весь город был оккупирован полицейскими. Уже появились первые, доверху загруженные баулами и чемоданами автомобили беглецов. Движение на улице с минуты на минуту становилось все более интенсивным.

«Нужно спешить, а то магазины закроются», – подумал шустрый репортер и пустился типичным для него спринтом в направлении университетского района.

По дороге он посетил десяток магазинов, спрашивая, не покупал ли там два часа назад свечи высокий сутулый старик.

Уже в седьмом ему ответили, что там побывал похожий клиент. Но осторожный репортер не удовлетворился этим и обошел еще три необследованных магазина, находившихся поблизости. В десятом тоже был какой-то старик. Вялая продавщица не смогла его толково описать.

– Он был седой? У него была бородавка на левой щеке? Бледный? Глаза водянистые? – сыпал репортер как из автомата.

– Да... да... не помню, – отвечала рыжеватая женщина, заливаясь слезами.

– Куда он пошел? – спросил репортер, совершенно не надеясь, что эта глупая баба что-то знает.

– Этот старик? Не знаю. Он спросил меня, где тут поблизости книжный магазин.

«Магазин, магазин? Зачем ему теперь книжный магазин? Гомера хочет перед смертью почитать, что ли? А может, купить молитвенник?» – размышлял репортер и при этом думал так интенсивно, что у него гудело в голове.

– Телефон у вас есть? – спросил он наконец.

– Вон там.

Репортер уже вложил палец в телефонный диск.

– Алло, это доктор Грей? Хорошо, что я вас нашел. С вами говорит профессор Хампти из Техаса. Уважаемый коллега, я прилетел по делу этого рокового генетона. Что? Да. Скажите мне, как выглядела та трубка, в которой старик... то есть профессор Фаррагус хранил этот порошок. Что? Да, это важно. Ага... стеклянная... а какого размера? А, хорошо. А какого

цвета был этот порошок? Абсолютно белый? Благодарю вас.

Теперь Грей начал что-то быстро говорить.

– К сожалению, я не смогу увидаться с вами, коллега, – сказал Раутон. – Я сам потрясен. Но мои пожилые годы... нет, нет.

Удивленная лавочница вытаращила глаза на репортера, который не обратил на это ни малейшего внимания.

– Дайте мне немножечко соли, – сказал он, – заверните в бумажку. Этого достаточно, хорошо.

Он бросил монетку и вышел, но тотчас вернулся.

– Так где этот ближайший магазин?

– Третий дом за углом.

– А аптека тут есть поблизости?

– На следующей улице.

Репортер купил два пакетика жевательной резинки и отправился на поиски книжного магазина. Однако он чувствовал себя слишком «гражданским», поэтому по дороге заскочил в маленькую лавку, где за двенадцать центов приобрел значок Клуба курильщиков. Это был позолоченный, жутко блестящий эмалированный диск, который он счел подходящим для его целей. Прицепил его к внутренней стороне лацкана и пошел в книжный магазин.

– Заходил сюда высокий сгорбленный старик два часа назад, так?

Высокий, веснушчатый и уже начинающий лысеть юноша за прилавком не спешил с ответом.

– А вам зачем?

– Быстро отвечайте, у меня нет времени.

Репортер так нахально выставил челюсть, что худощавый рыжий человек ответил:

– Ищете дядю? Так спросите тетю.

Репортер напыжился и слегка отвернул лацкан. Сверкнул золотом значок.

– Вы будете отвечать, или мне применить другие средства?

– Был такой старик, – очень охотно ответил субъект.

– Что он купил?

– План города.

«Теперь я такой же мудрый, как и начальник полиции, – подумал Раутон. – То, что он в городе, а не в деревне, я знал и раньше».

– Он хотел купить еще что-то? – спросил он по внезапному наитию.

– Да, план побережья, но у нас его не было.

Репортер величественно поднял вверх палец.

– Молодой человек, – сказал он, – желаю, чтобы у тебя выросло на голове много новых волос: отчизна может тобой гордиться!

И выскочил на улицу.

В аптеке он не задержался надолго. Купил там маленькую стеклянную пробирку с крышкой и, всыпав в нее один грамм соли, остаток вместе с бумажкой выбросил в ближайшую урну.

– А теперь начинаем действовать, – сказал он и пошел прямо в порт.

«Что бы я сделал, если бы собирался устроить конец света? – размышлял он. – Конечно, первым делом выпустил бы два чрезвычайных издания. Но у этого профессора на такое не хватит изобретательности».

Он был уже рядом с портом. Пришлось пройти через кордон полиции. В доках было огромное движение: люди, навьюченные чемоданами и пакетами, бегали в разные стороны. Выли сирены, от малого, бокового мола отходили две частные яхты.

«Миллионеры драпают, – подумал репортер. – Надеются, что вода им поможет».

Он медленно шел вдоль берега под большими башнями кранов, наконец уперся в стену портовых складов.

«Если бы я был Фаррагусом, – размышлял он, – то сказал бы себе: старина, здесь слишком много людей, они не дадут спокойно зажечь свечу. И что дальше? Может быть, у профессора есть какая-нибудь лодка или моторка? Нет, это плохая идея, – сказал он сам себе, – в качающейся лодке неудобно устраивать конец света. Что бы там ни было, для этого необходим хоть какой-то уровень комфорта, по крайней мере нужно одиночество. Где тут можно остаться в одиночестве?»

Он посмотрел на часы. Было семь тридцать. Время поджимало, но умные мысли приходили ему в голову обычно в последние минуты. Паника в порту увеличивалась. Отходили от берега перегруженные баржи, многие люди на малых суденышках убегали в открытое море. К счастью, оно было совершенно спокойным. Один за другим загорались сигнальные огни, разноцветные и яркие; вдали над городом горело зарево от электрического освещения. Небо было темно-голубым.

Где-то рядом запела сирена паровоза.

– Сирена, – сказал Раутон, – ты богиня воды; мне кажется, я спас мир от гибели.

Он рысью пустился в сторону железнодорожных путей. Там стояли длинные вереницы товарных вагонов, было темно, портовые огни остались далеко позади, лишь изредка у железнодорожных стрелок слабо светились бледные лампочки. Ему пришлось замедлить шаг.

«Где может быть еще безлюдней, как не тут?» – спросил сам себя репортер и поспешил вдоль ряда черных молчаливых вагонов. Тут не было ни души. Он, как кот, таращил глаза. Ни один лучик света не ускользнул бы от его внимания.

Вдруг он заметил полоску света, падающую на гравий. Двери одного из вагонов были закрыты неплотно – именно оттуда падал желтый отсвет.

«Свеча!» – сказал себе Раутон, и на душе у него стало так приятно, словно она была обложена стодолларовыми купюрами.

На цыпочках он подкрался к вагону и посмотрел сквозь щель в досках. У большого ящика сидел профессор. На краю ящика стояла горящая толстая восковая свеча («громница...» – подумал репортер), рядом с ней стоял будильник, тиканье которого, усиленное резонансом пустого ящика, было хорошо слышно. Фаррагус, откинувшись на край ящика, сидел на грязном полу и тяжело дышал. В руке он держал стеклянную трубочку.

Быстрый взгляд на часы подсказал репортеру, что у него есть еще пятнадцать минут.

«Это немало, – подумал он, – но если бы на моем месте был какой-нибудь полицейский, он с криками бросился бы на дверь, профессор сунул бы пробирку в огонь, и адью, Маша! Нет, нужно придумать что-нибудь получше. Только бы его, упаси Бог, не напугать, – размышлял он. – Эх, жаль, у меня нет шприца с водой. Можно было бы погасить свечу».

Но шприца не было, а будильник тикал. Чертовски быстро, как заметил Раутон. Он заметил также, что на противоположной стороне вагона, на высоте ящика, в полуметре от него, чернеет прямоугольная щель, такая широкая, что в нее можно просунуть руку.

Он на четвереньках пролез под вагоном. Поднявшись с другой стороны вагона, он увидел, что находится в полуметре от головы профессора, сидевшего спиной к нему. Свечу, к сожалению, загорала выступающая доска, задуть ее не получится. Вдруг что-то деликатно прикоснулось к ноге репортера. Он вздрогнул от неожиданности, потом наклонился: это был маленький худой котенок, который терся спинкой о его ногу, тихонько урча.

Раутон поднял котенка, взял его на руки и ласково погладил.

«Что любят старые, траченные молью книжники? – подумал он. – Котов любят. Что ж, пусть золото идет к золоту!»

Он осторожно поставил котенка на край щели и слегка подтолкнул его сзади. Котенок тихо мяукнул и прыгнул в вагон, а репортер прильнул к отверстию, наблюдая за тем, что происходит внутри.

Профессор вздрогнул и поднял руку с порошком, но, увидев, что

причиной шума является кот, успокоился. Что-то похожее на смутную, очень вымученную улыбку появилось на его сжатых, сухих губах.

– Кот... – шепнул он. – Кис... кс... котик.

Кот подошел к профессору, и тот протянул руку. Трубка с порошком мешала ему, поэтому он положил ее на ящик. Она поблескивала на расстоянии двух ладоней от глаз репортера, которые при этом чуть было не вылезли из орбит, словно желая к ней приблизиться. Раутон вынул из кармана пробирку с солью и приготовился к решающему удару. В левую руку он взял маленький камешек и перебросил его через вагон так, как учил это делать покойный писатель Карл Май. Раздался короткий, легкий стук, и профессор отпустил кота, невольно повернув голову в сторону источника звука. Продолжалось это меньше секунды.

Профессор успокоился. Снова посмотрел на часы: увидев, что до восьми часов осталось всего три минуты, он опустил кота на пол и протянул руку к пробирке.

– Добрый вечер, – сказал Раутон.

Профессор вздрогнул, схватился за сердце и попятился к стене, но мгновенно овладел собой. Он взял пробирку и поднес ее к пламени.

– Фи, вы хотите нарушить свое слово? – сказал репортер. – Ведь до восьми осталось еще три минуты.

Профессор недоуменно посмотрел в темноту. Это должен был быть какой-то до безумия отважный человек, раз он говорит таким тоном. А может быть, у него есть оружие и он целится в него?

– Револьвер вам ничем не поможет, – сказал он на всякий случай. – Вы видите, что дно пробирки находится в двух сантиметрах от пламени. Даже если вы в меня попадете, я успею сунуть ее в огонь.

– Вижу, – сказал Раутон, – но у меня нет никакого револьвера.

– Кто вы? Чего вы хотите? Уходите отсюда!

– Разве не все равно, где умирать? Я хотел поговорить с вами.

– Вы с ума сошли? Идите отсюда! Через две с половиной минуты произойдет что-то чудовищное, что-то страшное – такой катаклизм, которого не знало человечество.

– Хорошо, – сказал репортер, – на человечество я согласен, но чего вы хотите от котенка?

– Что? Как?

– Чем перед вами провинился кот, за что вы хотите его убить?

– Я – кота?

– Профессор, а такой непонятливый, – материнским тоном сказал Раутон, – ведь, устраивая конец света, вы также убьете и кота.

– Прочь! – закричал профессор, а рука с трубкой задрожала. – Уходите! Через две минуты... через две минуты... – Он тяжело дышал, как безумный глядя на часы.

Большие капли пота выступали у него на лбу и стекали по лицу.

– А может, еще не поздно остановиться? – мягко сказал Раутон. – Вот подумайте. Столько прекрасных вещей есть на свете: птицы, цветы, женщины. Огромное большинство из них даже не знает, что должно сейчас умереть. Это не очень-то красиво – из частных соображений устраивать публичный конец света.

– Да что вы знаете! – рявкнул профессор.

– Я знаю не столько, сколько вы, но все-таки кое-что знаю. Подумайте о звездах. Тысячи людей смотрят на них в ночи: мужчины, которые стоят на кораблях в океане; эскимосы в полярных льдах; негры... Почему вы хотите все это у них отнять? Отобрать можно лишь то, что давал, да и это не очень красиво.

– Подите прочь со своей моралью, – выдохнул профессор, – а то... а то...

– А то – что? Вы и так собираетесь сотворить самое наихудшее, так что пугать меня вам нечем. Вы в самом деле хотите поднести пробирку к огню? Но зачем? Ведь если все погибнет, вы даже не получите никакого удовлетворения...

– Прочь! – крикнул Фаррагус.

Оставалось еще шестьдесят секунд.

– Успокойтесь, пожалуйста. Я должен сказать вам кое-что очень неприятное.

Профессор язвительно рассмеялся:

– Интересно, что может быть для меня неприятным. Но поторопитесь, осталось сорок секунд!

– Не спешите, пожалуйста. У нас есть время. Понимаете... приготовьтесь к плохому известию.

– Идиотизм... вы меня не обманете, – буркнул Фаррагус.

– Я вас не собираюсь обманывать. Я Раутон из «Ивнинг стар», тот, который написал о вас статью, помните?

– Ну и что с того? Вы хотите, чтобы я по этой причине не поместил пробирку в огонь?

– Нет... но понимаете, порошок в вашей пробирке – это не совсем генетон.

Профессор быстро приблизил пробирку к глазам.

– Вы лжете... Что это значит – не совсем?

– Я не хотел бы, чтобы вы волновались... Говорят, что у вас больное сердце. Понимаете, я забрал этот порошок.

– А что здесь? Может быть, сахар? – язвительно спросил Фаррагус. – Ну, довольно. У вас есть время, чтобы быстренько помолиться, если вы верующий. Мне это не нужно.

Стрелка часов почти дошла до края. Оставалось десять секунд.

– Нет, это не сахар, это соль, – пояснил репортер. – Пожалуйста, будьте осторожны с пробиркой: в огне сухая соль лопается, не обожгитесь...

Фаррагус рывкнул и сунул пробирку в огонь.

– Только спокойно, спокойно, – говорил репортер как ребенку. – Все будет хорошо... вот видите.

Пошел девятый час. Пламя объело стекло, порошок в пробирке действительно затрещал. И это все.

– Не взрывается, – простонал профессор. – Негодяй, что вы сделали?

– Я ведь вам сказал. Я подменил эти пробирки.

– Это правда? Когда?

– Минуту назад, когда вы отвернулись. Это я бросил камешек. Вы не беспокойтесь. Генетон наверняка является замечательным открытием, но лучше этого не пробовать.

– Действительно, не взрывается. – Профессор сунул пробирку в самое пламя.

– Никогда не видел, чтобы соль взрывалась, да еще и не очень чистая.

Профессор дышал все громче. Вдруг трубка выпала из его рук и разбилась.

– Вам плохо? – сказал репортер. Он быстро пролез под вагоном на другую сторону путей, изо всех сил толкнул дверь и вскочил внутрь.

Фаррагус издал глухой стон, пошатнулся и упал. Рука его инстинктивно потянулась к карману. Репортер подхватил его, засунул руку в карман профессора и, достав пузырек с лекарством, силой влил ему в рот несколько капель. Через минуту профессор начал дышать спокойнее.

Когда он открыл глаза, то увидел, что рубашка у него расстегнута, а под голову подложено что-то мягкое – пиджак Раутона. Что-то теплое лежало у него на груди. Он всмотрелся: это был котенок. Его положил репортер.

– Ужасно нервный вы народ, ученые, – сказал Раутон. – Ну что, легче стало? Пойдем потихоньку? А может быть, вы расскажете что-нибудь интересное для наших читателей? А потом я сразу к телефону, будет экстренный выпуск. Впрочем, это не обязательно, я что-нибудь за вас придумаю.

– Обокрали вы меня, обокрали вы меня, – шептал профессор, не имея сил подняться. – Уходите... уходите... Какой позор!

Он закрыл глаза и лежал как мертвый. Маленькая слеза показалась в уголке глаза и скатилась на грязный пол.

– Да, обокрал, – деловито сказал репортер, – но мне сдается, что я поступил правильно. Вы это признаете позже.

Он встал.

– Теперь пойдем потихоньку к ближайшей остановке такси, – сказал он. – А этого кота я советую вам забрать. Я бы сам охотно его взял, но у меня уже есть рыбки, а моя жена очень хорошая женщина, но любит немного побраниться и может разозлиться.

– Куда вы дели мой генетон? Что вы с ним сделали? – прошептал профессор, когда репортер помогал ему встать.

– Этот порошок? Никуда я его не девал. Что мне с ним делать? Наверное, подарю моему редактору. Это должно его обрадовать.

Перевод Борисова В.И.

Трест твоих грез

I. Приключение Тома Трайсена

– Так вы не напишете? – твердым голосом спросил главный редактор.
– Откуда я могу знать, что там происходит? Наймите ясновидца.
– Здесь есть множество сообщений комиссий и сенаторов, есть и репортажи людей Херста.

– Я не умею писать репортажи по репортажам. Если вы предоставите мне визу и самолет...

– Большевики могут вас убить.

– Я не боюсь. К тому же если меня убьют, вы сможете выпустить экстренный выпуск, а может быть, и интервью со мной на смертном одре.

– Раутон, вы напишете о Югославии так, как я вам говорю.

– Не напишу.

– Нет?

– Нет.

Через четыре дня Раутон получил трехмесячное жалование и прекрасное рекомендательное письмо. Как оказалось, Херст купил именно «Ивнинг стар».

– Сложное дело – политика, – сказал репортер и купил себе книгу «Конструкция атомной бомбы» профессора Джона Квайта.

Продавец утверждал, что, следуя ее указаниям, каждый сможет приготовить у себя дома маленькую атомную бомбочку.

– Рассчитанную на одну или на две семьи? – спросил репортер.

Месяц он жил как раньше, затем начался период кредитов. В принципе он не был таким предприимчивым, как думали его читатели. Несмотря на великолепные рекомендации, на работу устроиться ему не удалось. Он чувствовал в этом руки людей Херста. У них была хорошая память. Когда Раутон действовал или расследовал какое-то происшествие, ни одна стена не была для него слишком высокой, ни одна крыша – скользкой, ни одно препятствие – таким большим, чтобы он не смог его преодолеть. Но перед лицом рутины ежедневного поиска работы его энергия, казалось, тает вместе с наличными. Он был человеком общительным и думал, что не имеет иллюзий, но ошибся. Коллеги после скоропостижного изменения служебного статуса стали его избегать. Но так уж он был устроен, что не мог радоваться или огорчаться, когда был один. Собой, Раутоном из

«Ивнинг стар», он становился лишь в окружении людей или неожиданных событий. Он жил глазами и ушами, он привык действовать, и роскошь одиночества не приносила ему никакого удовольствия. В первые дни июля он еще ходил к буфету-автомату на углу улицы, чтобы утолить голод отваром из зерен кукурузы и помидоров (более дешевых продуктов в автоматах не было). Потом он сошел с рельсов: с «Честерфилда» перешел на сигары за один цент, наконец стал наполнять комнату едким дымом сладкого трубочного табака. Лежа одетым на кровати, он просматривал старые подшивки иллюстрированных газет, рассыпая на не слишком чистую уже постель ослепительные улыбки кинозвезд и рекламы автомобилей, раскрашенных в чрезмерно яркие цвета.

На последний доллар он решил устроить себе вечером пир, а сейчас, окруженный роскошными цветными изображениями, пускал изо рта клубы фиолетового дыма.

Эту сиесту неожиданно нарушил звонок – явление в последние дни крайне редкое, если не считать настойчивых паломничеств администратора дома. Раутон подождал, не позвонит ли пришелец второй раз. Если кто-то настроен не очень решительно и сам не знает, зачем пришел, то уйдет после первого оставленного без внимания звонка. Но неизвестный гость повторил во второй раз, так что Раутон бросил газеты под кровать, после чего неспешно направился в крохотную прихожую.

Открытие двери не сделало более светлым темное помещение. Серый свет лишь приобрел мертвенный оттенок: именно такие участки солнечного спектра пропускали окна лестничной клетки.

– Том Трайсен? – спросил удивленный репортер, после чего быстро попятился. – Заходи, парень.

Ушедшего было темное лицо, резко сужавшееся от скул к подбородку, некрасивое и грубое.

– Принимаю тебя дарами духа, потому что телу нечего предложить, – сказал репортер, усаживая гостя в единственное кожаное кресло, изрядно потертое. – Что делал с тех пор, как мы последний раз виделись? Слава, ага, слава, а?

– Немного рисовал, – сказал гость, осматриваясь в комнате. Небольшое окно, из которого виден был какой-то холм, было расположено над крышами соседних домов. Этот негородской вид отвлекал от деталей интерьера комнаты. У дверей стоял черный, как пианино, стол, приставленный к стене, а толстый слой пыли покрывал разбросанные листы машинописной бумаги.

Раутон пробил брешь в железном рационе чая и сахара, хлопоча у

электрического чайника. Подал старому товарищу бледно-лимонную жидкость.

– Скверное зелье, – сказал он. – Ну, как живешь, парень?

Трайсен мешал чай так, словно хотел пробить дырку в чашке.

– Ты художник, властитель толпы, а я, чего там, его слуга, – сказал репортер и добавил меланхолично: – Паскудное дело, брат, – репортерство.

Он немного боялся, что Трайсен нуждается в деньгах.

– Раутон, я... хотел бы тебе кое-что рассказать.

Художник сидел в кресле так, словно ему было очень неудобно. Несколько раз он принимался мешать чай, вдруг заметил это и положил ложечку на блюдце.

– Дело вот в чем. Когда я встал сегодня утром, мне захотелось пойти к кому-нибудь, чтобы все это рассказать. Знаю, что это звучит по-детски и все такое, но я убедил себя, что это мне поможет. Но я никого не нашел. Ты их не знаешь, я думаю, моих коллег. Живопись – это не то, что сближает людей. Впрочем, я даже не смог бы это рассказать тому, кто знает меня лишь последние три года моей жизни. То, что я хочу рассказать, нехарактерно для меня, я имею в виду эти три года. А с тобой мы учились вместе в школе, знаем друг друга так, как знают дети.

Он посмотрел на холм за окном.

– Я бродил сегодня по городу и не знал, что с собой делать. Было такое ощущение, что если я не пойду куда-нибудь, если у меня не будет хоть маленькой цели, то я вообще не смогу вернуться домой. Может быть, случайно забрел в твой район, не знаю. Но мне вспомнился наш разговор в седьмом классе, когда Ролленби всех спрашивал, сколько они стоят.

– Я хотел тогда его побить, – тихо сказал Раутон.

– Да, и ты сказал, что Федеральный банк еще не напечатал такого количества долларов. Я хорошо помню.

– Думаю, да. Видишь ли, я художник. Может быть, ты не знаешь, что это значит. Поэт, художник, вообще человек искусства не воспринимается у нас серьезно. Серьезный человек – это тот, кто работает в банке, продает автомобили или является агентом какой-нибудь фирмы; в общем, как говорится, что-то делает. А художник ничего не делает. Сидит дома и бездельничает. Непонятно, что это за тип. Правда?

Репортер ничего не сказал.

– Картины рассматривают чаще всего влюбленные парочки, потому что в музее и тепло, и такие есть там плюшевые диванчики, и пусто. А покупают живопись снобы. Я лично предпочитаю таких, которых ничто не интересует. Посредственность, которая считает себя выше всех, это хуже,

чем глупость. «Хорошая картинка» говорят так же, как «хорошая котлетка». Сидит такой тип шесть часов в конторе, а потом отдыхает в кругу семьи. А ты такой человек, что, когда тебе приснится какая-то картина, не находишь покоя ни днем ни ночью. Десять и сто раз начинаю, бросаю все к чертям и снова принимаюсь. Иногда удается наконец выразить в красках часть тех мыслей, которые бродили в голове и не давали ни есть, ни спать. Тогда приходит такой господин в набитом ватой пиджаке и говорит: «Хорошая картинка».

Трайсен содрогнулся и сел прямее.

– Я тебе это рассказал, чтобы, как в романах, набросать фон. Два месяца назад я получил премию. Понимаешь, я рисую не лучше и не хуже, чем раньше, но после этого я стал «бывать в салонах». Наверняка с удовольствием меня бы и не пускали, но премия – это обязывает, понимаешь? Я был у судьи Тернера, у Тимминза, который на покойниках уже второй небоскреб строит, даже у сенатора Граапа. Вот там это и случилось. Такой обычный прием: ужасные комнаты, украшенные золоченым гипсом, масса молодых идиотов во фраках, вечерние туалеты и холодные закуски. Вот я сидел и спокойно жрал эти закуски. Нет, не ел, именно жрал. Налопался до отвала. Надо отдать справедливость, еда была прекрасная. От нашего брата, награжденного, что все ожидают чего-то особенного, чтобы он что-то сделал или сказал, о чем можно будет потом всю неделю говорить, а потому, спровоцированный этим, и жрал. Пил с Гурвицким, это поэт, может, знаешь его?

– Знаю, выглядит как горбун, но не такой интеллигентный.

– Да. Мы сидели, это была такая охотничья комната, зеленая с бронзовым, единственная, в которой не делалось дурно, если взглянуть на обои. Вошел какой-то очень толстый мужчина с усиками как зубная щеточка и привел девушку. Трудно, но я должен тебе ее как-то описать, потому что это важно. Она была прекрасна. Но это ничего не значит. Прекрасным может быть человек, или дерево, или облако. Она была прекрасна как облако. Как золотое облако. Это ощущение шло за нею и перед нею. Не запоминался ни цвет ее глаз, ни контур лица, как если бы тебе вдруг остановили дыхание: острая, жгучая боль. Человек попросту не может это перенести – так сильно переживает. А когда она смотрела на меня, мне казалось, что нас двое, словно мы совершенно одни. Потом я танцевал с нею. Я боялся что-нибудь сказать, это страшно разделяет людей. Когда молчишь с кем-нибудь совсем чужим, то иногда может восприниматься так, словно ты с ним прожил целые годы. Мы вышли на террасу. Снова танцевали, кто-то что-то говорил, но я не помню что. Потом

мы снова были на террасе. Ночь была как из черных цветов. Я боялся посмотреть на ее лицо. Она была слишком близко. «Вы так хорошо молчите», – сказала она. Потом мы снова танцевали. Ее лицо было словно песнопения в церкви, с органом. Это человека и возвышает, и ломает, и бросает куда-то. Да, прекрасная. При этом... – Он заколебался.

– Говори, – сказал Раутон.

– При этом она вовсе не была красивой. Трудно понять, да? Но это так. Впрочем, может быть, кто-то и сказал бы, что она хорошенькая, из тех, кто говорит в таких случаях «хорошая картинка». А я хотел все время смотреть на нее. Только смотреть. Понимаешь, мне это можно, как бы профессионально, потому что я художник. Художник, черт побери! Потом ее куда-то увели, а я пошел домой. Я пробовал рисовать, но это все не то. Придешь – сам увидишь. Все плохо. И с того времени... – Он замолчал.

– Говори, – сказал Раутон.

– Я уже не могу рисовать. Не получается.

– Кто она?

– Дочь Гиннса.

– Этого короля жевательной резинки?

– Да.

– Ага. – И добавил через минуту: – У тебя была в последнее время какая-нибудь женщина?

– Что? Нет. То есть уже давно была одна модель. Я даже собирался на ней жениться. Но это что-то другое. Все из-за того, что я художник.

– А ее, ты видел ее потом?

– Да. Я снова получил приглашение – наверное, в последний раз, потому что все уже на меня насмотрелись досыта. Так что смогу вернуться к обычной жизни. Значит, я пошел к Хайду. Это юрист, который работает у Гиннса. Но я уже был осторожен. Сначала не хотел идти. Даже не стал одеваться. И лишь в десятом часу полетел сломя голову. Я не хотел, даю тебе слово.

– Понимаю, – сказал Раутон.

– Я подумал так: когда войду, сразу пойду к ней. Такой лакомый кусочек! Или нет, буду внимательно за ней наблюдать. Стану расспрашивать. Наверняка окажется, что это глупая гусыня. Уж я хорошенько присмотрюсь. И на солнце есть пятна. Все удастся сделать. В общем, я пошел и снова хотел приняться за закуски, чтобы было чем заняться. Только я не смог есть. Горло было словно зашнурованное. Я хотел уйти, но тут вошла она.

Ее окружили какие-то типы, но я решительно взялся за дело и мы

снова танцевали. Кажется, я кого-то обидел, так мне потом говорили. Я говорил с ней. Она не отвечала. Потом мы вышли. Там не было террасы, но эта каналья, этот юрист сделал такую «гавайскую рощу» из пальм в зеленых бочках. Там были расставлены кресла: вот, милуйтесь. Мы пошли туда. Я не знаю, как это тебе объяснить... подожди. Там висит ужасная мазня на стенах. Но когда она проходила, все исчезало. Наконец я сказал ей: «Вы так чудесно молчите». Она не улыбнулась; знаешь, и за то, что она не улыбнулась, я ей был так благодарен. Потом мы говорили об Эль Греко. Вдруг я так сказал: «Извините, но какое нам с вами дело до Эль Греко? Я скажу просто, иначе не умею: я мог бы попросить у вас разрешение сделать портрет, а вы бы согласились. Но я не хочу. Не хочу писать портрет. Я увидел вас в пятницу, четыре недели назад. С той поры я уже не могу рисовать».

– Ты ей так сказал? – чуть ли не с угрозой спросил Раутон.

– Я сказал, что будто проснулся. Все, что я делал раньше, кажется мне таким смешным. Что все вокруг стало такое цветное и какое-то... болезненное, но в этом настоящее счастье, потому что его нет в покое. Когда я это говорил, она сидела неподвижно, но словно бабочка, готовая в любую минуту исчезнуть. Может быть, потому, что я очень боялся, что она вдруг уйдет и я уже не смогу ничего сделать, я высказал все, что думаю. Что это не выразить словами. И что это кажется мне более ранним, чем самые ранние детские образы. Словно это было еще до того, как я в первый раз увидел лицо матери. Когда я говорил, ее лицо было неподвижно и становилось все бледнее. Казалось, что в ней гаснет свет. Она вдруг схватила меня за руку и сказала: «Чего вы хотите от меня? Чего вы хотите?» Я не знал, чего я хочу. Мы смотрели друг на друга, и она становилась все прекраснее. Потом она вроде успокоилась. Встала, и я пошел за нею. Мы вышли на какую-то лестницу, там горели два больших оранжевых шара. Она встала под одним и спросила меня: «Что мне делать?» Я молчал. Потом мы шли по какому-то длинному коридору, где не было людей. В самом конце была маленькая ниша со ступеньками. Мы сели на них. «Я хотела бы вам как-нибудь помочь, – сказала она, а потом шепотом: – Вы хотите меня поцеловать?» Я сказал, что не хочу ее поцеловать. «Когда ты смотришь на меня, – сказал я, – во мне словно что-то умирает». – «Расскажите о себе», – шепнула она. Я не знал, с чего начать. «Раньше я любил темную бронзу и очень легкую лазурь. Любил ходить на пленэр, когда краски перед восходом сливаются и меняются, как люди во сне. И у меня дома есть три полотна, которые я еще никому не показывал, потому что мне казалось, что они могут сказать обо мне

больше, чем я бы хотел. Если позволишь, я отдам их тебе, чтобы у тебя было что-то мое». – «Но вы, – сказала она, – но вы?» Я не знал, что ответить. Человеку иногда тяжело, у него появляются странные мысли, непохожие на то, чем он живет. Тогда ему хочется кому-нибудь об этом рассказать. Но он боится, что этот кто-то окажется не таким, каким должен быть. Мне кажется, что я такой.

Она отвернулась. Плечи ее задрожали. «Вы плачете? – сказал я. – Я огорчил вас, вы в самом деле плачете?» – «Но почему, – сказала она, – за что? Ведь вы меня совсем не знаете... И что нас объединяет?» – «Да, это правда, я вас не знаю... никого не знаю. И нас ничто не объединяет... кроме моей любви». Тогда она рассказала мне о себе все.

Трайсен продолжал смотреть в окно на голый холм, окруженный стенами домов.

– Говори, – сказал Раутон.

– Это такая смешная история, как в сказке. Но в нашей, американской. Ее отец хочет, чтобы она вышла замуж за Коллума. Это один тип, у которого семизначный счет. Это необходимо для сохранения их состояния, потому что некий Адамс, который производит имбирную жевательную резинку, в последнее время захватил рынок. Потому отец и пожелал ее выдать за Коллума. А она дала ему слово. И свадьба уже должна была состояться, но жених во время охоты упал с коня и сломал ногу. Теперь он лежит на вытяжке, а когда встанет – через какие-то семь-восемь недель, – они должны вступить в брак.

– А она? – спросил Раутон.

– Все это она рассказала мне там, на этих ступеньках. Думаю, что запомню их до конца жизни. Имитация мрамора, а поверх нее красная дорожка. Она? Она не хочет, но когда умирала мать, взяла с нее слово, что она будет делать то, что посчитает нужным отец. А кроме того, ей восемнадцать лет: еще три года до совершеннолетия, она не могла бы вступить в брак без разрешения отца. Впрочем, за ней присматривают два детектива – понимаешь, ведь это дочь миллионера.

– Чтобы не убежала?

– Да уже через неделю я сидел бы в каталажке, потому что у ее отца хорошие отношения с нашей административной властью.

– Это все? – Раутон потушил сигарету.

– Да.

Репортер встал и прошелся по комнате. Вдруг остановился перед художником.

– Два вопроса, на которые ты должен честно ответить. Я думаю,

ответишь, иначе бы ты ко мне не пришел. Во-первых: сколько денег у тебя осталось от твоей премии?

– Было двадцать пять тысяч, но я немножко промотал. Есть тысяч девятнадцать, может, немного больше...

– Это все, что у тебя есть, да?

– Кроме полотен.

– Не хочу тебя обижать, но это у нас не капитал. И во-вторых: она тебя любит?

– Я не знаю; она, наверное, тоже не знает. Во всяком случае, если бы... если бы...

– Не люблю условное наклонение, – решительно сказал репортер. Он по-прежнему расхаживал по комнате, но шаги его менялись: то замирали, то становились более широкими и легкими. Он немного сгорбился, втянул голову. – В данный момент я вижу только две возможности, – сказал он, вдруг снова остановившись перед художником. – Или немедленно пустить по миру старого Гиннса, и тогда ты станешь неплохой партией, как говорится, или сделать из тебя миллионера. Первая возможность представляется мне очень трудной.

– Зато вторая очень простая, – сказал художник. Он опустил голову. Рассказывая, заново все переживал, и сейчас напряжение его несколько ослабло.

– Ты пришел ко мне за советом, а не хныкать. Ты мужчина или кто?

Раутон продолжил хождение по комнате.

– Я немного знаю Гиннса со времен моей репортерской деятельности: при том, как обстоят дела сейчас, тебе не стоит и пытаться.

Он подошел к столику, начал быстро перебирать бумаги, листки так и мелькали в его руках. Вернулся к художнику.

– Что за проклятая страна, – сказал он. – У этого Коллума действительно семь нулей на счете. Его папаша сейчас построил новый завод по производству тяжелых бомбардировщиков, так как получил государственный заказ, хоть война уже закончилась. Похоже, он приложил руки и к атомной бомбе и в сорок третьем году облегчил бюджет на восемьдесят миллионов золотого запаса в связи с поставками урана. Подмазал это дело где следует, и контрольная комиссия сената ничего не заметила.

– Откуда ты все это знаешь?

– У меня есть специальная картотека наших, с позволения, великих людей. Чтобы жить веселее, надо быть крупным вором. Обычный жулик идет в каталажку, а если укокошит шестерых человек, то и поджарится на

электрическом стуле. Но если стащишь миллиардик или пошлешь сто тысяч парней на смерть в Индонезию, то будешь лучшим и великим – одним словом, по крайней мере сенатором.

– Хо-хо, кажется, ты коммунист?

– Не знаю, но ты будешь миллионером.

– Прекрати.

– Я говорю серьезно. Сыграем в большую игру. Мне нечего терять, потому что меня выставили с работы. Но тебе – есть чего. Ты согласен отдать мне все деньги в неограниченное распоряжение?

– Даже так? – медленно сказал Трайсен. – Слушай, Раутон, ты отдаешь себе отчет в том, что собираешься делать?

– Я все рассчитал и дальше буду рассчитывать. У нас иначе нельзя.

– Ты ведь писал стихи и никому не хотел их показывать, так? В восьмом классе?

– Писал, ну и что?

– Ничего. Я отдам тебе деньги.

II. Раутон действует

В понедельник, на следующий день после разговора, в шести местных газетах появилось объявление следующего содержания:

«ЛЮДЕЙ, способных на все, ищет новая, в будущем гигантская фирма. Зарплата небольшая, зато гарантируется доля от прибыли. В первую очередь нужны непризнанные писатели, ораторы, ловкачи и бывшие солдаты бронетанковых войск, воевавшие на фронте».

В редакциях был адрес подателя объявления, и потому уже через час после выхода газет к Раутону явился невысокий человек с голубыми, немного косящими глазами, пиджак которого растягивал на плечах плохо вшитый карман для револьвера.

– Привет, ищейка! Что, хочешь поживиться моим хлебом? – спросил репортер.

Он сидел за столиком, который выехал в центр комнаты. Вдоль стен громоздились черные ящики с карточками, а над головой Раутона висел громадного размера плакат с надписью: «ТРЕСТ ТВОИХ ГРЕЗ».

Здесь было много папок с бумагой, две пишущие машинки на двух столиках и телефон.

– Что ты делаешь, Раутон? – спросил несколько удивленный детектив, рассматривая огромную надпись за спиной репортера. – Мне пока и полицейских хлебов хватает, а вот что за объявление ты дал, сынок? Собираешься заняться нелегальным делом?

– Думаешь, что я организую шайку гангстеров? Ничего подобного, парень. Иди в бар и выпей рюмку за мое здоровье.

– Где ты взял на это денег? Ведь тебя уволили? – спросил агент.

– Бабка мне прислала загробной почтой. Прощай, благородный сыщик, у меня заказан разговор с Белым домом. Трумэн меня ждет.

– Вечно ты вывернешься, – не без восхищения сказал агент и ретировался.

В десять часов пришел Трайсен с нанятыми stenotypistkami. Через минуту появился столяр, лакировальщик и трое рабочих. За пятнадцать минут часть комнаты была выделена под «секретариат», где был установлен второй телефон. Stenotypistke был дан для переписывания второй том «Графа Монте-Кристо», поскольку «бездействие деморализует работников», как выразился репортер. Художник уселся сбоку за маленьким столиком, а Раутон, ожидая искателей приключений, клюнувших на объявление, решил немного подкрепиться. Когда раздался звонок, он спрятал хлеб с колбасой в ящик стола.

У первого посетителя, Тима Киттли, не было левой ладони, которую он потерял под Фалезом стрелком-танкистом. Мундир у него светился на коленях и локтях. Он учился в драматической школе, но увечье сделало его актерскую карьеру невозможной. Остался только голос, чудесный, гибкий и мощный.

– Вы будете работать в бюро. Левую руку будете прятать в кармане, пока не сделаете протез. Мне лично стыдно за тех, кого шокирует ваше увечье. Если бы вы не оставили свою руку под Фалезом, сейчас в Белом доме, может быть, сидели бы веснушчатые арийцы. Но ничего не поделаешь, клиент – наш бог. Впрочем, это только до времени. Вот вам десять долларов аванса и проспекты. Там все написано. Пока.

Он всунул Киттли в карман пачку бумаг и банкноту.

– Прошу следующего.

Вошел юноша с длинными волосами, печальный и растрепанный телом и – как казалось – душой. Говорил плохо (немного брызгал слюной), зато, как утверждал, писал прекрасно.

– Это мы посмотрим, – сказал репортер. – Подойдите вот к этой полке и возьмите две книги с краю. Что это? «Ромео и Джульетта» Шекспира? А вторая? «Пиквикский клуб»? Вот вам задание: написать по сто стихов в

стиле и духе Шекспира и Диккенса без всяких украшательств. Должны быть такие, будто эти оба из гроба встали, понятно? Даю вам на это пятнадцать минут.

– Мало.

– Пятнадцать минут и десять долларов аванса, если я буду доволен.

Юноша достал ручку. Тем временем Первая Секретарша позвонила шефу по телефону (для чего ей пришлось соединиться с местной телефонной станцией, хотя могла сделать это гораздо проще, через фанерную перегородку) и уведомила, что прибыли еще три человека.

– Пусть первый войдет, – решил репортер.

Волосы у визитера немного взъерошены, глаза светились как фары полицейского автомобиля. Он курил огромную инсектицидную сигару и задумчиво поглаживал телефонный аппарат. Следующий гражданин хотел всего лишь посмотреть на странного человека, который дал объявление. Он подозревал, что это жульничество, и грозил донести в полицию. Он был выпровожен без оскорблений и ругани. После него показался человек, который застрял в узких дверях, сделанных в перегородке. Под сюртуком у него была трикотажная рубашка в полоску, как у старых моряков в плохих фильмах.

– Занимали второе место в чемпионате по боксу в тяжелом весе? – спросил Раутон, с интересом рассматривая комковатый, словно раздавленный, нос и припухшие веки старого боксера. Пиджак обтягивал его, как надутый парус. – Очень хорошо. Умственный васиит, но здесь... – Раутон через стол дотянулся до жилистых бицепсов. – Чемпион, мы сегодня же подпишем с вами договор. Как вас звать?

– Бриз. Джим Бриз. Я был тренером Демпси.

– Хо-хо, а Линкольна вы помните? Превосходно. Вот вам пять долларов.

– А что я должен делать?

– Пока вы будете украшать помещение, а при случае выводить кого-нибудь на свежий воздух.

Поэт, который тем временем закончил сочинять тексты, получил деньги и был принят на работу. Снова появился коренастый человек, который хотел обругать шефа новой фирмы, обещающего плохую зарплату будущим работникам. Раутон воспользовался присутствием Бриза, который слегка напряг мускулы и выпятил грудь. Этого хватило.

Вошел сгорбленный худой мужчина с перекошенными очками на посинелом носу. Заросшие щеки покрывали коричневые пятна. Он внимательно осмотрел комнату с сонным и недовольным выражением лица.

– Без меня у вас ничего не получится, – сказал он.
– Наверняка, – согласился репортер.
– Вы знаете фирму «Гроггль, Гроггль, Гроггль и Гроггль»? Я ее мозг – точнее, был им.

– Юристы с Пятой авеню? Которым же Грогглем вы являетесь, и что привело вас в наши скромные хоромы?

– Моя фамилия Фриткин. Я сказал, что был мозгом фирмы, а не ее карманом. Вы думаете, что эти Гроггли действительно хорошие юристы? Они понятия не имеют о профессии; хороший юрист – это я.

– Доказательства, – сказал Раутон и положил часы на столик. – У вас три минуты на exposé^[148].

– Слишком много, – сказал пришедший. Он сел на стул, почесал бороду и посмотрел на потолок. – Вы знаете аферу Кормика, когда его сына взяли в морскую пехоту? Это я придумал трюк с Силами обороны государства, чтобы спасти его от фронта. Старику это обошлось в восемьдесят тысяч. Потом был фермер Раш, который приехал в Нью-Йорк, чтобы победить коррупцию? Он потратил шесть тысяч долларов на платные объявления, в которых описывал махинации при строительстве дамбы в Теннесси, и составил два списка членов конгресса, которые брали взятки. Нашими доверителями тогда были Морган, корпорация «Дженерал электрик» и куча других лиц. Это стоило им миллион, а я устроил так, что Раш сидит до сих пор.

– Как вы это сделали?

– На каждое средство можно найти другое средство. Профессор Фицджеральд построил себе домик на гонорар, который получил, а фермер сидит в его санатории. Разве он не был сумасшедшим? Утверждал, что можно быть членом конгресса и преступником одновременно. Потом была история Гиннса, этого резинщика...

– Достаточно, вы приняты. А почему вы пришли по объявлению, а? Воспылали ко мне любовью на расстоянии?

– Они наняли новый «мозг», – просто ответил человечек, – и я остался без работы. Я мог бы заработать полмиллиона и больше вымогательством, но я люблю спокойствие. Шантажисты обычно плохо кончают. К тому же мама мне наказывала, чтобы я всегда был вежливым.

– Мама вам наказывала? – сказал репортер, явно получая удовольствие от созерцания сонного выражения на лице собеседника. – Значит, дорогой мой, вы знаете все щели между статьями нашего кодекса и криминалом, так? Все выкрутасы, фокусы, извилистые тропки? Умеете придумать приличную историю, которая принесет чудовищный доход, но никто не

пойдет в каталажку?

– Я делал это всю свою жизнь, – просто сказал бывший юридический советник миллионеров. – Сколько вы положите мне ежемесячно?

– Ни цента, потомок Цицерона. Вы сами заработаете: ведь вы являетесь компаньоном и пайщиком ТРЕСТА ТВОИХ ГРЕЗ как в хорошем, так и в плохом, за пять процентов брутто.

– Только не в плохом и нетто, – поправил Фриткин.

– Шесть процентов брутто, – с выражением сказал Раутон. – Это и так будут миллионы, а сейчас сгинь и пропади, чистый призрак. Вот аванс. За каждое улучшение поднимаем участие на четверть процента.

– Из вас будет толк, – сказал Фриткин и вышел, волоча ноги.

Следующий посетитель выглядел как реклама подтяжек Милтера до внедрения изобретений ортопедов. Лицо его лоснилось как недоваренная ветчина, а шея и щеки при каждом движении складывались в морщины и морщинки, а где даже складочке не хватало места, там возникал брелочек. Руки у него были розовые, как попка новорожденного, а костюм состоял из множества поперечных складок, в которых разместились запасы телесного жира.

– Конкурс толстяков был в этом доме, но месяц назад. А может быть, вы лауреат? – спросил репортер.

– Не издевайтесь, – сказал толстяк и переступил с ноги на ногу, что вызвало такой эффект, будто бы по нему прошли волны. – Вы слышали о Дугласе Хертли? Это именно я.

– Что вы умеете?

– Рекламировать, – сопя, выдохнул толстяк, садясь на стул, словно цеппелин на башню ангара. – Я рекламировал уже все, что было создано на нашей земле, от зубочистки и бомбардировщика до отпечатков рук духов с того света. Прекрасные отпечатки в чистейшем парафине с пчелиным воском. Я сочиняю объявления ритмической и обычной прозой, белыми и рифмованными стихами, по желанию могу в виде сонетов. Сначала я интригую и привлекаю внимание, потом искушаю, удивляю, чарую, беспокою и, наконец, открываю горизонты, изумляю, опьяняю, ввожу в восторг и заставляю покупать или продавать.

– А что является решающим фактором рекламы?

– Первым делом надо принудить к ее прочтению. Публика страшно ленива. Ей не хочется читать рекламу. Но мои объявления напоминают все, что угодно, кроме рекламы.

– Здесь программа нашей деятельности. Через час вы принесете мне свои умственные выжимки по нашей теме.

- Нет проблем, но необходим аванс.
- Вот вам десять долларов, а теперь можете сбросить балласт. Толстяк поплыл, как веселый кит, а репортер обратился к Трайсену:
 - Вот наш урожай: мы собрали настоящий мозговой трест. Завтра начинаем действовать на полных оборотах.
 - И как это, собственно, будет выглядеть?
 - Ты что, не знаешь? Я ведь давал тебе свой трактат, который сочинил вчера вечером.
 - Не хотелось мне читать. Лучше расскажи.
 - Несчастье нашей богатой страны, – начал Раутон, присаживаясь на столик, – заключается в том, что большими деньгами в ней обладают люди бесчестные, или хитрые, или счастливики, а чаще всего бесчестные и хитрые счастливики. Кроме того, они обычно идиоты. Если кто-то долго собирает почтовые марки или пудреницы фараонов, он не вреден. Хуже, когда люди начинают собирать доллары, причем собирают их намного больше, чем способны потратить в течение жизни вместе со всей своей семьей. Ты слышал что-нибудь о прибавочной стоимости?
 - Прошу тебя, только не начинай лекции по социологии.
 - Это прикладная экономика. Наши миллионеры в принципе неплохие люди, которые для своих очень, ну очень больших денег создали свою этику, религию, обычаи – одним словом, церемониал священнодействия с капиталом, – но им приходилось спешить, потому что не один из них лет двадцать назад пас на себе вшей. То, что эти бедолаги вытворяют и что так интересует публику, свидетельствует о полном отсутствии воображения. Вчера, например, Томас Треверхорн, когда ему стало очень жарко, заказал десять тонн искусственного льда, который измололи в порошок и высыпали на его площадки для гольфа. С двенадцати до четырех, прежде чем все это растаяло, он с женой и знакомыми ездил на лыжах, хотя было сто десять градусов по Фаренгейту. Стоила эта глупость шесть с половиной тысяч долларов.
 - Ты говоришь как агитатор на митинге.
 - Нет, почему? Я прочитал об этом на первой странице «Санди уикли», а это вполне консервативный орган.
 - Но тон, тон. Ладно, говори дальше, только покороче.
 - Я немного знаю Гиннса со времен работы репортером, поэтому не советую тебе даже пытаться с ним познакомиться. У этих людей все перевернулось в головах. Из-за этого у нас два вида власти: правительственная и финансовая.
 - Какое отношение это имеет к нам?

– Самое непосредственное. Гиннс и является такой финансовой властью. В прошлом году он был в Европе, где нанес визит нескольким коронованным особам. Это не проходит безнаказанно. Если ты будешь добиваться девушки, старик обратит на тебя особое внимание, и вся свора его людей будет идти за тобой по пятам. Это расстроит и мои планы. Пока у нас не будет первых десяти миллионов на счете, нас легко свалить.

– Первых десяти? Ну-ну, говори дальше.

– Это неправда, что богатство у нас можно сделать честным трудом. Честным трудом можно заработать на серийный радиоприемник, автомобиль и жену. Нужно на все закрыть глаза и заглушить мораль, вот тогда можно расправить крылья. Но мы должны, то есть ты должен, получить деньги за восемь недель.

– За семь с половиной.

– Нет, за восемь. Я ежедневно утром получаю информацию из больницы, у меня там есть свой человек. Если будет нужно, он подкрутит тому типу ножку, и тот полежит еще немножко.

– Ты не можешь говорить это всерьез.

– Нет так нет. Старику действительно нужны деньги и...

– Так какие у тебя планы? Скажи в двух фразах, без политики.

– И ты, Брут, называешь это политикой. Где же коллективное сознание пролетариата? – с явным сожалением сказал репортер. – Брат, посвящая тебя в тайны первого уровня миллионерского состояния: я учредил «Трест твоих грез».

Раутон погасил сигару и добавил с отвращением:

– Все было бы хорошо, если бы не эти сигары, которые я вынужден курить в рабочие часы фирмы в представительских целях. Они вызывают у меня астму.

– Так что с этим трестом?

– А, трест? – сейчас.

Он позвонил секретарше и велел принести послеобеденные газеты. Через минуту перед ними появились: «Чикаго ньюс», «Ивнинг стар» и «Нью-Йорк геральд».

– Читай и учись, – сказал репортер, раскладывая еще влажные листы на столе.

На первой странице «Чикаго ньюс» красовалось объявление:

«ТРЕСТ ТВОИХ ГРЕЗ

10 000 человек исполнят твою самую интимную мечту.

ХОЧЕШЬ реализовать то, что представляется тебе

совершенно невозможным?

ХОЧЕШЬ сблизиться с любимой женщиной?

ХОЧЕШЬ удовлетворить самый странный каприз?

ХОЧЕШЬ осуществить самую скрытую мысль?

ХОЧЕШЬ, чтобы кто-то думал о тебе и помогал тебе советом и действием днем и ночью всю твою жизнь?

Тогда приходи к нам!!!

ТРЕСТ ТВОИХ ГРЕЗ. 16-я авеню, 77/hd65».

А в «Нью-Йорк геральд» первую колонку занимал текст, напечатанный большими красными буквами, в зеленой окантовке:

«ЕСЛИ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ, ТО МЫ ТЕБЕ ПОМОЖЕМ.

ЕСЛИ хочешь встретиться с кем-то НЕПОХОЖИМ на твоё окружение;

ЕСЛИ не знаешь, как познакомиться с особой, которая тебе нравится;

ЕСЛИ у тебя не складываются отношения с кем-либо;

ЕСЛИ ты возносишься разумом над людьми, которые этого не замечают;

ЕСЛИ у тебя плохие соседи;

ЕСЛИ книга, которая тебе нравится, заканчивается не так, как ты хотел бы;

ЕСЛИ у тебя есть скрытые желания;

ЕСЛИ хочешь быть счастливым —

приходи к нам, напиши нам, позвони нам.

ТРЕСТ ТВОИХ ГРЕЗ».

— Это выйдет в семи газетах общим тиражом полтора миллиона. Рассчитываю, что это прочитают по крайней мере пять миллионов человек, — сказал репортер и закурил сигарету.

III. Красная картина

Рекламная кампания началась. Раутон подписывал один чек за другим, а деньги на счете Трайсена таяли, как снег в лучах июльского снега. Тем временем клиенты приходили редко, и заявок было немного — до тридцати в день. Штаб, состоящий из одиннадцати человек, играл в покер, занимался

флиртом и гаданием по руке. Неутомимый репортер висел на трубке рядом с черными дисконабирателями телефонов, бросая слова в глубь электрических проводов как магические формулы.

Художник приходил почти ежедневно около одиннадцати утра, несмело смотрел на клиентов – женщин в возрасте, неохотно усаживающихся в кресла, тощих подростков с бегающими глазами, а иногда – тучных служащих из Сити.

– Центрифуга работает порожняком... нет сливок... – ворчал Раутон. – Впрочем, мы еще не идем «всей мощью вперед». Далеко нам до этого, парень.

Трайсен пробовал рисовать в мастерской. С утра до вечера делал эскизы, но чувствовал, что он совершенно пуст. По вечерам выходил из дому, с облегчением смешивался с толпой. Тогда какое-то время он мог не думать. Ноги сами непонятным образом вели его в сторону дома Гиннса. Он обходил большой желтый портал, поддерживаемый бочкообразными колоннами. В глубине темнел парк. Долго ходил там, но ни разу не встретил ее. Еще его интересовали бюллетени из больницы, при чтении которых он не знал, смеяться ему или плакать. Состояние пациента улучшалось. Через неделю с него должны были снять гипс.

Когда Трайсен сидел в мастерской и пытался рисовать, не обращая внимания на то, что сумерки гасили цвета и краски на палитре начинали сливаться в серую массу, неожиданно пришел Раутон. За две недели он похудел, но глаза под полуприкрытыми веками у него блестели еще сильнее. Трайсен оставил палитру, выжидательно глядя на друга. Репортер ходил большими шагами от окна к дверям, резко поворачивая.

– В основном я принимал во внимание два фактора, – сказал он, – публику и нас.

Он стиснул зубы.

– Сейчас появился третий, которого я опасался.

Он с минуту молчал. В мастерской сгущались сумерки, и контуры картин становились все темнее, словно на стене висели черные полотна.

– Денег почти нет. Вчера утром мне удалось вытянуть из Борстона двадцать тысяч наличными на краткий срок. Помогли объявления нашего Хертли и демонстрация поддельных благодарственных писем, которые написал наш поэт. Я взял деньги сразу же, и это было счастье, потому что сегодня утром Борстон позвонил мне. Хотя перед этим он обещал мне кредит, сейчас сказал, что, к сожалению, вынужден отказать, поскольку ему вскоре предстоит платить по обязательствам, а также напомнил, что мы не должны задерживать возврат занятых денег. Это было во-первых. Во-

вторых, – он приостановился перед художником, – во-вторых, «Ивнинг стар» и «Нью-Йорк геральд» больше не принимают от нас ни одного объявления. Понимаешь?

– Нет.

– Кому-то очень нужно, чтобы у нас ничего не получилось. Публика инертна, и можно рассчитывать на результаты по крайней мере через месяц. Тогда я собирался запустить проект на полную мощность, сделать десяток филиалов во всех крупных городах, особенно на побережьях. Специальные пункты приема с отдельными кабинками, чтобы клиенты не встречались друг с другом. Это важно. Интерьеры, нечто среднее между частным кабинетом и приемной врача. Я хотел нанять сто психологов. У меня есть эскизы меблировки, заказанные у перворазрядных архитекторов. Образцы писем осчастливленных, бюро для обслуживания провинциалов, картотеки постоянных клиентов и так далее. Но сейчас нам нужна реклама, реклама и еще раз реклама. Если мы ее лишимся, рухнем в течение пяти дней.

Он опять помолчал с минуту, затем встал, широко расставив ноги, у окна и сказал:

– Я знаю, кто нам вредит.

– И кто же?

– Джефферсон и Крейзи.

– А это кто такие?

– Они ведут «Ответы дядюшки Фредди» и «Советы бабушки Паулины» во всех газетах Херста. Имеют долю в его концерне и зарабатывают за год несколько миллионов. Они испугались нас. Херст не принимает от нас ни одного объявления. Осталась только «Чикаго ньюс», потому что независимая, но они готовы ее купить – газету или редактора, – это будет им даже дешевле. Тогда у нас останется только провинциальная пресса. Это будет конец.

– Ты так думаешь?

– Это они так думают. У нас еще есть десять тысяч. Кредитный банк нам отказал, остался только Промышленный. Его ответ у меня в кармане. – Раутон чуть смущенно улыбнулся. – Я не решился сам открыть конверт. Включи свет.

Трайсен щелкнул выключателем. Разорвав толстую бумагу, репортер расправил листок бумаги.

– Не дадут, – сказал он и засунул письмо в карман. Поднял голову и увидел висевшую на противоположной стене картину.

Это был темно-красный парк. Угольно-рубиновые деревья уходили в

глубину, становясь все мрачнее, неторопливо повторяя мотив во все более темной тональности. Слева пурпур листьев очертил верхушку неба, очень далекого и легкого. Завершала перспективу аллеи ярко-красная мгла.

Репортер некоторое время рассматривал картину, было отвернулся, но еще раз бросил взгляд на дерево, опускающее к земле красное крыло.

Это было как гаснущая мелодия.

– Когда ты это нарисовал?

– В ту ночь, когда познакомился с нею.

Раутон кивнул.

– Я должен идти, – сказал он, – а ты рисуй. Рисуй!

Том не отвечал. У двери, держа в ладони руку друга, попытался заглянуть ему в глаза.

– Раутон, спасибо тебе за все.

– Глупости. Еще сегодня, через час, я начинаю атаку на всех фронтах, – сказал репортер, и в его голосе была жестокость.

IV. Бой

С полуночи до шести утра двести уличных сорванцов и продавцов газет изукрасили весь город короткими слоганами, которые придумал Хертли. У дворников было много хлопот, потому что краска была несмываемая. Утром заказанные по телеграфу самолеты разбросали над Вашингтоном и Нью-Йорком полтора миллиона листовок. А в двенадцать Раутону пришла в голову великая идея. После обеда было изготовлено несколько сотен резиновых печатей, рекламирующих Трест Твоих Грез. Они были розданы газетчикам, которые обязались ставить эти печати на каждый номер продаваемой газеты. Получили за это по десять долларов. С этой же целью Раутон разослал своих людей в Чикаго, Буффало и Нью-Йорк. Вечером сто девушек, раздетых должным образом, пронесли по улицам транспаранты. За этот день в контору обратилось более ста сорока лиц. Почта принесла около трехсот писем. В стопке утекающей налички осталось еще четыре тысячи. Раутон потратил их на то, чтобы снять большое помещение на центральной улице, которое в тот же день было обставлено мебелью и начало действовать. Тем временем стали прибывать судебные иски газет за рекламные злоупотребления (дело с печатками) и о неправомерном размещении рекламы в недозволенных местах. В три часа, когда усталый и голодный репортер собирался пойти на обед, появился мистер Гроггль.

Услышав, кто его ожидает за тонкой стенкой, репортер поднял трубку и сделал вид, что заканчивает телефонный разговор:

– Я очень вам благодарен, – говорил он, – значит, вы переведете деньги на мой счет еще сегодня, да? Эти пятьдесят тысяч действительно были очень нужны, но сейчас у меня все в порядке. Еще раз благодарю вас. До свидания, ваш покорный слуга.

Наконец впустили мистера Гроггля. Это был седоватый мужчина с высоким лбом и мелким тиком: его узкий подбородок иногда вздрагивал. Выглядело это так, будто юрист еле удерживался от плача. Гроггль предложил четыреста тысяч долларов за сворачивание предприятия. Репортер слегка погладил телефон и отказался. Адвокат тихим голосом прибавил еще столько же. Затем предложил использование конторских помещений, нанятых работников и Раутона в качестве персонального шефа и руководителя рекламного отдела. Репортер не проявил к этому интереса. Гроггль признательно улыбнулся, поблагодарил за сигару и ушел. У двери потер ладонью лоб и вспомнил, что может предложить доленое участие в оборотах.

– И сколько предлагают уважаемые дядюшка Фредди и бабушка Паулина? – спросил Раутон.

– Пять процентов, – улыбнулся юрист.

Раутон тоже улыбнулся и сам широко раскрыл входную дверь.

На другой день вечером Том был дома и, как обычно, сидел в темной мастерской, глядя на бледные отсветы городских огней. Пришел Раутон. Том открыл ему дверь и заметил, что друг прихрамывает.

Вошли в мастерскую. Трайсен пришел в ужас.

– Что с тобой? У тебя лицо в крови. Что случилось?

– Глупости, дядюшка Фредди подослал ко мне пару людей. Дай мне немного воды и чистое полотенце, пожалуйста.

– Напали на тебя?

– Работает свободная конкуренция, – сказал репортер, смывая засохшую на бровях кровь. – К счастью, у меня был с собой кастет. Вчера у меня был Гроггль от имени Джефферсона. Хотели купить всю лавочку. Я не согласился и блефовал, что получил ссуду. Мы нежно простились. Я знал, что этим дело не кончится, но не думал, что продолжение последует так скоро. Они работают в четыре руки.

– Позвонить в полицию?

Раутон тихо рассмеялся:

– Дружище, ты с луны свалился? Полиция тоже покупается, только

чуть подороже. Буду постоянно держать при себе Бриза, этого довольно. Лучше слушай о результатах рекламной кампании. Сегодня у нас было триста клиентов из города и восемьсот писем. Чистая прибыль больше двух тысяч.

– Завтра ему должны снять гипс, – сказал Том, а репортер, который прилеплял пластырь над бровью, зажмурил глаза.

– Я согласился ввязаться во всю эту историю, – сказал Том, – но хорошо ли мы делаем, Раутон? Я не могу связать все это с девушкой.

Репортер посмотрел на картину. Она была закрыта холстом.

– Пойми меня правильно, – продолжал художник. – Ты делаешь для меня все, даже больше, но такого рода сватовство... Сегодня к тебе подослали бандитов.

– Америка, Америка, – сказал Раутон. Он прилепил себе последний кусочек пластыря. – Завтра открываем новый филиал, третий. Есть шесть спецов, главным поставлю Хертли. Он справится. Он уже «старый». А ты не мешайся. Если будешь философствовать, перестану тебе говорить правду. Понимаешь?

– Тебе нужно было продолжать писать стихи, – сказал Трайсен со вздохом.

V

В тот день, когда разбили гипсовый сапог, в который была одета нога Коллума от бедра до щиколотки, Раутон положил в филиал Федерального банка двадцать семь тысяч долларов. А на следующий день открыл в Нью-Йорке бюро Треста.

Через четыре дня, когда Коллум-младший принимал сидячую ванну, репортер переслал в банк следующие шестьдесят пять тысяч, причем текущие расходы покрывала уже фирма. Через неделю Коллум должен был покинуть больницу, но главный врач (по наущению снаружи) обнаружил в его ноге незначительную атрофию мышц, поэтому прописал пациенту комплекс массажных процедур и электризацию. Когда ему проводили пятую процедуру, счет Раутона составлял сто восемьдесят восемь тысяч долларов. К девятой процедуре счет увеличился до трехсот тридцати одной тысячи долларов. Когда не очень молодой человек принимал последнюю электризацию, Раутон открыл еще два филиала, в Лос-Анджелесе и Чикаго. Счет в банке уменьшился на сорок тысяч. Это было вызвано расходами на услуги типографии и закупку бумаги. Трест начал издавать собственную

газету с разделом коротких новостей, но большую часть ее полос занимали ответы клиентам, советы и указания, как можно воспользоваться услугами фирмы. Два частных сыскных бюро работали на репортера, контролируя каждый шаг старого Гиннса и его зятя. Наблюдали также и за дочерью миллионера, хотя Том и просил друга, чтобы этого не делали. Срок женитьбы еще не был официально назначен. Двадцать второго сентября Трайсен вечером пришел в центр, который размещался в старом жилище Раутона.

Репортер просматривал банковские бумаги.

– У нас около полумиллиона наличными, сто тысяч в бумагах, и столько же нам еще должны.

– Он был у нее сегодня.

– Слушай, Том, дружище, – медленно сказал репортер, отодвигая от себя бумаги. – У меня есть для тебя предложение. Если согласишься, уверяю тебя, ты станешь миллионером и победишь. Но выслушай меня молча, а потом скажешь свое решение. Хорошо?

– Согласен.

– Младший Коллум исчезнет. Потом он появится целый и невредимый, но у тебя уже будут миллионы.

– Гангстеры?

Репортер не шевельнулся.

– Это плохое слово, но это так.

– Я не могу согласиться.

– Ты говорил во время нашего первого разговора, что согласился бы на все.

– Наверное, ты неправильно меня понял. На все, если речь идет обо мне, но не о судьбе другого человека.

– Ничего бы с ним не случилось...

– Нет-нет. Ты должен меня понять. Ты ужасно добрый, кроме того, тебе это нравится, не трясешь головой, ты любишь именно такой образ жизни. Но вспомни, что я говорил о ней. И ей – о себе. Может быть, я представил себя лучше, чем есть. Тем более я должен... Нет-нет... Не будем говорить об этом больше, хорошо?

– Ты рисуешь?

Трайсен не ответил. Репортер внимательно присмотрелся к нему. Лицо художника было, как всегда, напряжено и словно терялось среди высоких полок, заставленных папками и книгами. Взгляд у него был ясный, но какой-то стариковский.

– Ну хорошо. – Раутон посмотрел на часы. – Мне пора идти.

- Играем дальше?
- Буду поднимать ставки, – сказал репортер и улыбнулся.

VI. Бетси Гиннс

Девушка вошла в свою комнату, закрыла двери и включила голубой светильник на тумбочке. С минуту неподвижно стояла перед зеркалом, не глядя на него. Потом подошла к столику. Рука, протянутая к полке с книгами, упала.

– Извините.

Она резко повернулась, не говоря ни слова. В центре комнаты стоял худой невысокий человек в сером костюме. Руки у него были скрещены на груди.

– Что это значит?

– Вы умная девушка и не выгоните меня, – четко произнес он, – пока не услышите несколько слов. Вы знаете Тома Трайсена?

Она не дрогнула.

– Что с ним?

– Ничего. Вы не хотите присесть? Я расскажу все по порядку.

Она непринужденно села у резного секретера. Человек приблизился, придвинул стул и сел так, чтобы видеть ее лицо, залитое голубым светом.

– Моя фамилия Раутон. Я друг Тома. У него большой талант, и вы знаете об этом. Когда случилось с ним это... несчастье...

– Несчастье?

– Когда он в вас влюбился, – сухо сказал репортер, – и совсем растерялся при этом, я решил ему помочь. Но обычные способы тут не могли помочь. Нужно было придумать что-то невероятное, чтобы с Томом не случилось того, что часто случается с людьми слишком простыми и способными, но не думающими о долларах. Вы слышали о «Тресте твоих грез»?

Она кивнула.

– Это я его учредил. Сейчас на счете у нас восемьсот пятьдесят тысяч. Нам нужен месяц, чтобы сделать из этого три миллиона. Тогда у нас будет в Федеральном банке сумма, которая, как я полагаю, устроит вашего отца. Но поскольку ваше бракосочетание должно произойти, как говорят, раньше, я решил посоветоваться с вами. Если вы, конечно, захотите со мной разговаривать.

Девушка судорожно вздохнула. Огромными зелеными глазами она

всматривалась в лицо репортера.

– Захочу... – сказала она. – Так это... вы все сделали, чтобы...

– Да, но давайте поговорим о деле. Когда свадьба?

– Как вы все это... Боже мой, у меня все в голове перемешалось. Как вы сюда попали?

– Это не сложно, я был репортером. Когда свадьба?

– Что теперь будет? – шепнула она, прижимая ладони к груди.

– Все будет хорошо. Когда свадьба?

– Через две недели.

– Вы... любите Трайсена или нет?

У нее дрогнули ресницы, но она не опустила глаз.

– Извините, но у нас нет времени на застенчивость. Я лишь выдвинул идею и приложил некоторые усилия, а у него на чаше весов жизнь. Так как?

– Он знает.

– Но я не знаю.

– Я люблю его, – сказала она, глядя прямо в сияющие глаза репортера.

– Благодарю вас. Свадьба не состоится в срок, правда?

– Как это?

– Вы заболете... будете себя плохо чувствовать... правда?

– Как долго? – спросила она.

Он улыбнулся одними глазами, оценивая то, что она поняла игру. Ее глаза тоже прояснились. Ей нравился этот странный человек.

– По крайней мере полтора месяца; я сообщу вам, когда все будет готово.

– Мой отец... – сказала она, и сразу яркий румянец покрыл бледные щеки. – Вы знаете, что меня стерегут...

– Золотая клетка, знаю. Ничего, не беспокойтесь. Когда мне нужно будет переслать вам известие, я сделаю это, даже если отец упрячет вас в подземельях Федерального банка. Извините, – добавил он, увидев, что она побледнела. – Я не хотел вас обидеть.

Он долго смотрел на нее.

– Мне кажется, я понимаю, – пробормотал он. – Есть там такая картина...

– Картина?

– Он нарисовал ее в ту ночь, когда увидел вас. Нечто великое и печальное.

Он тряхнул головой.

– Вы ведь равнодушны к золоту, да? – медленно спросил он, словно думая о чем-то другом.

– Мы будем друзьями? – шепнула она.
– Думаю, да.
Он протянул руку.
– Извините...
– Что?
– Может быть, нужно... у меня... – Она показала рукой в сторону шкатулки, стоявшей на секретере.
– Что это?
– У меня здесь... – проговорила она, запыхавшись, открывая стальную крышку. Заблестели бриллианты и жемчуг на бархатных подушечках.
– Вы добрая девушка. Нет, не нужно.
– А... – начала она.
– Говорите смелее.
– У вас нет ничего от... него?
– А, письмо, – улыбнулся он. – Нет, Том не знал, что я буду здесь.
– Вы не сказали ему?..
– Том – это Том, вы же знаете.
– Но... я... я все-таки, несмотря ни на что, американка, – сказала она и покраснела до корней волос.

VII. Победа

Трайсен не застал Раутона дома, поэтому пошел в главное приемное бюро треста. За стеклянным турникетом перед ним согнулся в поклоне великолепный мужчина в белом врачебном халате, скроенном с большой фантазией.

– Господин директор с инспекцией?
– Нет, я к мистеру Раутону.
– Его сейчас нет, но скоро должен прийти. Господин директор изволит подождать?

Служащий проводил художника в узкую кабинку с алюминиевыми стенками, освещенную зеленой лампой. Здесь был столик, два телефона и кресло. Над эбонитовой табличкой находился большой микрофон.

Художник уселся и начал быстро и задумчиво чертить на столешнице какие-то невидимые контуры. Случайно нажал одну из кнопок. Включился динамик.

– Так чего вы желаете, уважаемая госпожа? – раздался носовой голос Хертли.

– Извините, господин доктор, меня интересуют «Унесенные ветром».

– Книга?

– Да, извините, да. Там такой печальный, такой ужасный конец. А если бы они поженились? А как вы думаете? Можно так сделать?

Послышались гудки, Хертли вызывал архив:

– Это комната В-8. Прошу прислать окончание к «Унесенным ветром».

– Какой формат, господин начальник? – пропищала как мышь девица из архива.

– Формат? Ага. Извините, за кого должна выйти замуж Скарлетт О'Хара?

– Ну как же, господин доктор? За этого... за Ретта Батлера.

– Окончание формата Ретт на Скарлетт, – пробурчал Хертли в трубку. И чуть громче добавил: – Прошу вас пройти с квитанцией к кассе. Там уже будет нужное окончание. А может быть, вы желаете взять абонемент? Двенадцать окончаний книг ежеквартально – три с половиной доллара.

– А детективы тоже?

– Все, что угодно.

– Ну, тогда выпишите...

Трайсен нажал кнопку, и голоса смолкли. Кто-то вошел в кабину. Повернулся: это был Киттли.

– Скажите, что это за история с окончаниями книг? – спросил несколько удивленный Том.

– А... этот отдел? Один из наиболее успешных. Понимаете, господин директор, предположим, кому-то не нравится окончание какого-то романа: он хотел бы, чтобы герои жили вместе, или кто-то в книге ему не понравился и он хотел бы его умертвить, и вот у нас есть уже пара тысяч готовых, отпечатанных окончаний, которые желают чаще всего, а если ничего готового нет, то мы исполняем заказ в течение пяти дней.

– То есть все желания?

– Нет, не все. Мы не переделываем Библию, хотя был вчера один желающий из Общества анти-Иеговы или как оно там называется.

– Ну-ну, и что он хотел изменить в Библии?

– Чтобы исключить из нее, скажем, все кровавые истории. Все эти убийства, кровосмешения, насилия, истребление хананеев, иевусеев и так далее. Мол, это тоже ведь были люди, так зачем же Господь Бог их так уничтожал?

– А вы что?

– Это не по моей части. Хертли его сплавил. Мы не хотим иметь неприятностей. Он сказал ему, что Ветхий Завет уже не такой важный,

потому что Господь Бог сделал новое издание. А... господин директор... может быть... и у вас есть какое-нибудь желание? Так я сейчас...

– Того, что я желаю, трест сделать пока не может... – сказал Трайсен, немного развеселившись. – Ну, я пойду...

– Где он? – раздался за дверями голос Раутона.

– Появился! Наконец-то.

– Появился, – сказал репортер, – но пойдем из этой норы, тут ведь не развернуться.

В кабинете Раутон бросил на столик плащ, с которого стекала вода, и уселся на краю стола.

– Слушай, парень, со времени нашего последнего разговора наш счет вырос очень неплохо. У нас уже около двух миллионов. Но ты, я слышал, вытворяешь неслыханные вещи.

Художник беспокойно заерзал в кресле.

– Вчера, например, собрал несколько десятков мальчишек с улицы и купил им велосипеды. Это так?

Трайсен опустил голову.

– Вчера дал пять тысяч нашему швейцару.

– Он говорил, что... жена...

– Прекрасно. После свадьбы можешь делать с деньгами все, что захочешь, но пока, прошу тебя, воздержись от этого. Это не благотворительность, а глупость.

– У мальчишек не было...

– Мальчишки из бедных семей, и многим сейчас тяжело, а ты своими двумя миллионами не очень-то поможешь. Но если об этом узнает Гиннс, то не отдаст тебе дочь. Первое достоинство миллионеров – это скупость.

– Свадьба еще не состоялась, но...

– Свадьба состоится, но твоя.

Репортер прыгнул со стола и подошел к Тому.

– Я был у Гиннса. Ты жених Бетси. Ну, что не радуешься?

– Ты говоришь... серьезно?

– Да.

– Он согласился?

– Ну что ты так вытаращил на меня глаза? Ты должен быть у них сегодня. У тебя хоть есть какой-нибудь приличный смокинг?

– Он согласился, правда?

– Согласился, – вздохнул Раутон. – А теперь иди, у меня встреча с двумя банкирами. Да, и еще вот что. С Гиннсом много не разговаривай. Не на нем женишься.

- Что это значит? Почему?
- Он не в восторге от тебя, понимаешь. Мне пришлось использовать... убедительные аргументы. Главное, что он согласился.
- Ты что-то скрываешь от меня.
- Да, скрываю. Но это дело мое и Гиннса. Ты и Бетси совершенно свободны.
- Боже мой, Раутон. Что ты ему мог сказать?
- Друг мой, думай о больших прекрасных картинах. А грехи пусть падут на меня, – сказал репортер и вытолкнул Тома из кабинета.

VIII. У миллионеров

Обручальный торт был бело-розовым. Над гигантским кругом стеклянистой глазури возвышались фонтаны марципана, густо обсыпанные пурпурными фруктами. Изгибы зеленого желе сползали на кружево скатерти.

Стол изгибался подковой, окружая громадную орхидею, которая цвела в похужей на перевернутый колокол чаше. Справа от Тома сидела платиновая блондинка в серебряном, плотно облегающем платье. Она казалась нагой, на ней не было никаких драгоценностей, кроме тяжелого рубина, который дрожал меж ее полуобнаженных грудей. Слева от него была пожилая седая женщина с индейским профилем и бескровными губами. Молочные волосы, гладко зачесанные, охватывал круг черно-фиолетовых камней. Бетси сидела напротив и иногда смотрела ему в глаза. Тогда ему казалось, что в груди взрывается горячая звезда.

- Извините? – сказал он соседке справа.
- Я говорю, что быть представленным английскому двору – это очень важно. Иначе сложно будет войти в общество.
- Да, это должно быть любопытно, – согласился Том.
- Я наверняка буду в этом году в списке дебютанток. Фенси Петтигру потратила на это целый миллион, но у нее ничего не получится, пусть ей так хотелось быть представленной королю.
- Зачем? – спросил Том, и прекрасная соседка посмотрела на него с удивлением.
- Король... – наконец пробормотала она.
- Я предпочитаю шведского. Он прекрасно подает, а какой у него удар слева!
- Что вы имеете в виду?

– Теннис. Король Густав в семьдесят лет играл великолепно, несмотря на возраст.

– Вы играли с королем? – Голубые глаза собеседницы наполнялись уважением.

– Да, в Италии, когда делал его портрет.

– Вы сделали портрет короля? – спросило мелодичное эхо.

– Нет, не сделал, потому что мне там встретился один рыбак. У него были прекрасные губы. Как у Аримана. Я должен был его обязательно нарисовать, а король тем временем уехал.

Рядом с Бетси сидел граф, далекий предок которого был крестоносцем. Потомок рыцаря наверняка не смог бы даже приподнять железные доспехи. Он прислушивался к словам Тома и время от времени топил иронию в бокале вина.

– Это великая вещь, двор, – возобновила свою лекцию соседка Тома, – такая презентация. – Она тряхнула светлыми локонами, украсив вздох кусочком сладкого пирожного.

– Фенси Петтигру удалили из списка, – сказала сидевшая сбоку брюнетка с татуированными вишневыми губами. Веки ее расширенных атропином глаз слегка дрожали.

– Фенси? Я думаю. Она и английский король, это надо же! Когда ее дядя был в Букингемском дворце, там пропали три золотые ложки. Наверное, к крему приклеились.

Все взорвались смехом.

– Ее дядя делает крем для обуви, – пояснила Тому соседка.

– Хорошая шутка, – согласился Том, который поклялся Бетси, что будет кротким как ягненок.

– Это не шутка. Дело не в ложках, а в монограмме: GIR – George Imperator Rex^[149]. Они в самом деле теряются. Каждый хотел бы иметь такую, правда?

– Зачем? – спросил Том и наколот на вилочку кусочек рыбки.

В эту минуту мистер Гиннс постучал по бокалу, привлекая внимание. Он поднял волосатые руки над серебром и кристаллами сервировки и начал иллюстрировать речь жестами. Он выглядел как пожилой мужчина с его же рекламы, который «сохранил зубы, потому что постоянно пользуется жевательной резинкой Гиннса».

Он говорил смутно. В конце заметил, что заработать миллион может каждый, но только мудрый человек способен его удержать. Затем был провозглашен тост, и подали черный кофе с ликером.

– Он ел рыбу ножом, я сама видела, – шепнула дама в огненном платье

своему спутнику, юноше с подкрашенными губами, который был намного младше ее.

– Наверное, его отец торговал галстуками, – шепнул красавчик.

Том посмотрел в ту сторону, и ему захотелось сделать что-нибудь скверное, но он встретил ясный взор Бетси и улыбнулся ей глазами.

– Как вам здесь нравится? – спросила Тома седая женщина.

– Очень милое общество?

– Что?

– Очень милое общество.

– Не слышу, скажите громче.

– Очень милое общество! – отчаянно рявкнул Том и покраснел, потому что все посмотрели на него.

У пожилой женщины глаза были словно из серого камня. Она смотрела на Тома с явным интересом.

– Обычно у нас соединяются примерно одинаковые количества нулей – в супружествах.

– Вы имеете в виду деньги?

– И головы тоже.

У нее был мертвенный голос. Она склонилась к уху Тома и очень громко сказала:

– Жениться по расчету, да? Вы уже состоите в нашем клубе?

– В клубе? В каком?

– В Яхт-клубе, хотя туда не принимают никого, кто не живет на Пятой авеню. А нужно состоять.

– Зачем? У меня нет на это времени.

– Нужно состоять.

Она ехидно улыбнулась.

– Слышу, что вы часто задаете этот вопрос. Вас будут принимать за дурачка, к тому же плохо воспитанного, если вы не научитесь многим вещам.

– В самом деле? – учтиво удивился Том. Интересная была эта старушка с гладким лицом.

– Не относитесь к этому пренебрежительно. Если общество вас не примет и клубы закроются перед вами...

– Это было бы неплохо, – вырвалось у Тома, и он прикусил язык, беспокойно глядя, не услышала ли Бетси его слов.

Но та разговаривала со своим соседом. Он был огромный, лысый, с грубыми чертами лица, очень бледный и тяжелый. Глаза были скрыты за черными очками.

– Это Гоулд-старший, – шепнула женщина, впервые понизив голос. В нем было уважение.

– Кто это?

– Вы никогда не видели его фотографии?

– Я не читаю газет.

– Это Гоулд, – повторила она. – Шесть или семь контрольных советов. Сделал дочь маркизой, а сына сенатором. Об «Искушении» вы тоже не слышали? Это его яхта. На ее борту бывали и кайзер, и английский король, еще до той войны.

Она покачала головой.

– Что вы тут делаете, молодой человек?

– Не знаю, – признался Том. – Интересует меня здесь лишь один человек, но он стоит того...

– Человек? Вы говорите о Бетси Гиннс? У нас не называют девушек «человеком».

Она снова улыбнулась.

– У нас – это где? – спросил Том, спровоцированный ее тоном.

– Это значит – на Пятой авеню. В нашей касте. В нашей сфере. Как пожелаете.

– То есть там, где все решают деньги?

– Вы говорите так, словно сами находитесь снаружи. Это игра, и тот, кто садится за столик, должен принимать в ней участие, хочет он этого или нет. Это игра в салоны, в изысканность, в древних предков, в титулы, замки. А есть и такая игра, которую ведет Гоулд. Он управляет транспортом и сталью, то есть вооружениями. Или армией. Это значит – Америкой. Он и несколько ему подобных.

Том присмотрелся к пепельному лицу большого человека. На его висках темнели вздувшиеся вены.

– Интересное лицо, – признал он. – Он кажется больным.

– Он действительно болен. Болен страхом. У него похитили внука. Теперь он упрятал всю семью в Хилденскурте.

– Как это? Ведь вы говорите, что он правит?

– Правит и боится. Такая уж у нас власть.

– Зачем вы это мне говорите? Хотите меня заразить властью или страхом? К счастью, у меня не так много денег – в сравнении с вами.

– Но вы сюда попали. Правила вхождения в касту различны. Но если кому-то выпал шанс...

– Жизнь дается всего лишь раз. Я не буду делать ничего, если не сочту это нужным. У меня нет времени на ошибки.

- Вы так много рисуете?
- Нет. Другие люди так много нарисовали, создали, написали, что не хватит жизни, чтобы это познать. Если бы мистер Гоулд немножко почитал об ацтеках, которые пять тысяч лет назад развлекались с золотом, или о майя, о людях Индии, он увидел бы, насколько он мал.
- Что бы вы ему посоветовали?
- Если боится, пусть откажется от богатства, оставит ровно столько, чтобы хватило на достойную старость.
- Давно я не слышала таких слов. Сама так говорила, когда мне было шестнадцать лет.
- А потом вас затянуло, да?
- Да, – сказала она, глядя ему прямо в глаза. – Вы видите эту блондинку в огненном платье? В прошлом году она пыталась покончить самоубийством, потому что ее мужа не приняли в клуб.
- Почему?
- Он был католиком. Ей пришлось развестись.
- Не понимаю.
- Вы ничего не понимаете. Кларенс Чемминг построила во Флориде виллу из белого мрамора. Тогда кузина Моргана приказала разрушить фронтон своей виллы и заменить его по египетским образцам. Купила кучу фресок, которые стоили миллионы. На балу у Фэрфаксов выступали негры, изображавшие людоедов, а две недели спустя Уэстоны устроили фейерверк, который представлял войну Севера с Югом. Я наняла на лето тенора из «Метрополитена».
- Бедные вы люди, – серьезно сказал Том. – И так все время?
- Она рассмеялась:
- Нет, вы не из золотой молодежи. Думаю, у вас все получится. Вы ведь сбежите отсюда, правда?
- Сразу же после свадьбы, – искренне пообещал Том.
- Сделайте это.
- Все встали из-за стола. Из другого зала доносились звуки вальса.
- Ах да. Вы ведь не знаете, кто я, – сказала пожилая женщина, подавая ему холодную жесткую руку. – Моя фамилия – Адамс.

IX. Том и Бетси

- Надеюсь, я не наделал никаких глупостей?
- Это уже не имеет значения, – сказал Раутон, глядя в окно

мастерской. – Сейчас будет не до того. Ты еще ничего не знаешь?

– Что случилось?

– С Гиннсом все кончено. Его банкротство – вопрос нескольких дней.

– Что ты говоришь?

– Это тебя расстроило?

– Сам не знаю. Бетси, наверное, будет тяжело...

– Поможешь ей.

– Может, ему помогут наши деньги?

– Это капля в море. Его свалили. Эта игра разыгрывалась на очень широком фронте. Речь шла и о новом кандидате в президенты, и о французских займах, и о многом другом. Он согласился на тебя, потому что Коллум пошел на попятную. Почуял, куда ветер дует.

Трайсен молчал, сбитый с толку.

– Так, значит, это не...

– Не «Трест твоих грез»? Может, немножко и мы помогли. Главное то, что ты ее любишь. А он все-таки ее отец.

– Останется совсем без гроша?

– Ну, может, что-нибудь наскребет.

– И что мне делать?

Раутон стал прохаживаться.

– Этот крах будет первым, но не последним. Это как в сообщающихся сосудах. С одной стороны имеешь грандиозное производство и гигантскую прибыль, а с другой – пустота. Такая разница давлений не может долго сохраняться естественным образом.

– Кризис?

– Боюсь, да. И нас тоже свалят, думаю. Поступления в последнее время немного уменьшились. У бастующих есть другие заботы, кроме удовлетворения желаний и грез.

– Мне жаль, если это коснется и тебя. Ты неплохо развлекся, правда?

– Действительно, я немного побезумствовал, как в лучшие времена.

– Ты в самом деле хочешь ликвидировать всю фирму?

– Деньги были твои, Том, и фирма твоя. Решай.

– Не хочу я никаких денег. Дашь мне какую-нибудь премию, чтобы хватило на пару лет. Тем более что у меня немного сдвинулось. Есть несколько заказов.

– Портреты?

– Нет, такие заказы я не беру. Я должен рисовать то, что хочу и умею.

– Советую тебе, ускори свадьбу.

– Постараюсь. Но, но, Раутон, скажи мне, кто именно разорил Гиннса?

– Это было сделано идеально. Сначала у него отобрали армейские заказы, потом опустили цены на жевательную резинку ниже себестоимости и демпинговали так долго, что у него кончились кредиты и запасы сырья. Когда он упадет, они поднимут цены. И теперь у них будет монополия.

– Но кто, кто?

– Прежде всего Эльжбета Адамс.

– Адамс? Я знаю это имя: действительно, так назвалась та пожилая дама, о которой я тебе рассказывал.

– Это именно она.

– Что ты говоришь, Раутон?!

– А что ты хочешь? Похоже, это незлая и неглупая женщина, но она находится в системе и ее деньги сами определяют направление деятельности. Мой знакомый коммунист, тот молодой парень, что работает у нас в бюро, утверждает, что все богачи – плохие. Это неправда. Неправда также, что они могут делать все, что хотят. Да, они могут иногда потратить на каприз миллион долларов. Но если ты держишь деньги в руках, то и они тебя крепко держат.

– Это она? – медленно повторил Трайсен.

– Она вынуждена была это сделать. Старый Гоулд тоже приложил к этому руки.

Том вспомнил тяжелые, синеватые руки миллиардера.

– Так ты считаешь, что все нормально?

– Я считаю, что если начал играть, то должен закончить партию независимо от того, какие идут карты.

Раздался звонок. Раутон вышел и через минуту ввел в комнату Бетси. На щеках у нее был легкий румянец.

– Я пригласил ее без твоего разрешения, – сказал Раутон, – потому что ты, такой нерешительный, еще год бы собирался это сделать. Прошу вас, вот это – именно та картина, о которой мы говорили.

Живописная аллея пересекала красный парк и уходила в цветные сумерки. В киноварно-рубиновой глубине таилась тьма. Но там, где встречались линии перспективы, на самом дне красного горизонта, сквозь марево алой листвы пробивался голубой блеск небес.

Перевод Борисова В.И.

История о высоком напряжении

Путешествие в неизвестное

Инженер Осецкий сразу был так захвачен неслыханными перспективами, которые перед ним открылись, что, вопреки обычной профессиональной добросовестности, даже не осмотрел как следует автомобиль, который ему выделили в дорогу.

«И постройте там электростанцию», – еще звучали у него в ушах последние слова старосты, а может, это был представитель Энергетического объединения? Но ведь это здорово – просто поехать и построить на месте электростанцию. Но он был так ошарашен неожиданным выпадением из колеи будничных житейских привычек, что некоторое время (правда, короткое) и ему казалось, что он в самом деле просто приедет и сделает то, чего от него ожидают. Когда старый «опель», неприятно скрежеща шестеренками и стуча жестью изношенного капота, выезжал из Катовиц, инженер пытался представить себе, из чего именно должна состоять электростанция. Однако книжные знания были слишком обширными и непонятно было, с чего начинать. Он попытался сконцентрировать внимание на турбинах, зная из опыта, что немцы, уходя, стремились их взрывать в первую очередь. Сделать турбину? Как? Из чего? Его даже дрожь пробрала. Нет, чего только не придумает такой дилетант.

Но он был жестоко вырван из размышлений.

– Господин инженер, спускает.

– Что, что случилось?

Осецкий в это время как раз мысленно соединял «чудом» найденный дизель с генераторами и с трудом сообразил, что вокруг что-то вдруг изменилось.

– Резина спускает.

Шофер вышел, обошел автомобиль и, снисходительно пнув покрышку, как старую норовистую скотинку, начал вытаскивать из-под сиденья насос.

Осецкий тоже вышел. Вокруг простирались поля, заросшие какой-то неопределенной, посаженной во время войны растительностью. Тут и там из моря желтеющих стеблей торчали землистые скелеты сожженных машин и танков.

Подкачав немного воздуха, шофер разобрался с мотором. При нажатии на педаль газа казалось, что железная коробка передач готова в любую

минуту рассыпаться. Когда сели, автомобиль издал чудовищный, рвущий сердце каждого приличного водителя скрежет и неуверенно покатился дальше.

– Как вы переключаете скорость?!

Возмущение Осецкого явно задело шофера за живое.

– А что делать, если половина зубьев стерта, как у старой коровы? Такая уж машина. Будем ехать, пока Господь Бог не остановит.

Такое полное доверие Провидению не понравилось инженеру.

– Не было другой машины?

– Почему не было? Надо было ругаться. Что у вас, языка нет? Кто громче орал, тем лучше машину и дали, а мы на этой, – закончил он, съехал на край дороги и остановился.

– А теперь что?

– Обычное дело. Спускает, зараза, а другого нипеля у меня нет. Надо качнуть раз сто.

Шофер сделал гимнастические упражнения с насосом, и скоро они поехали дальше. Путешествие, которое разнообразилось подобными остановками, продолжалось до вечера. Настроение шофера становилось все хуже, а поскольку пятна от масла на лице он старательно размазывал пальцами, о выражении его лица можно было только догадываться. Наконец у него остались сиять только белки глаз, когда он выскакивал из машины, чтобы продуть карбюратор, качнуть раз сто насос или прикрутить какую-нибудь гайку, отчаянный голос которой выделялся из всех других скрипов. К вечеру инженер уже полностью включился в этот процесс, и они оба, сопя, качая и проклиная все на свете (а словарь их выражений с течением времени набирал красок), доехали наконец до какого-то городка.

На железнодорожной станции виднелась огромная, вытравленная черным надпись «Muehlau», которую какой-то наивный славянин на скорую руку переиначил на польский лад: «Милув». Хотя вся задняя часть «опеля» была завалена жестянками с бензином, осторожный шофер раздобыл где-то еще две большие, приятно булькающие канистры, заполненные авиационкой, как он обозначил их содержимое, привязывая добычу телеграфными проводами к багажнику.

Они остановились у какого-то странного дома. Действительно, интуиция шофера не подвела – это был местный «отель».

– Клопы есть? – спросил осторожный Осецкий, с наслаждением распрямляя затекшие от сидения ноги.

– Случаются, – лаконично ответил высокий смуглый тип, занятый на пороге дома пайкой проводов разобранного радиоприемника.

– А если немного поднажмем, может, еще сегодня успеем, а? – Инженер с беспокойством посмотрел на шофера, в твердости характера которого уже успел убедиться.

– Попробовать можно.

Замурлыкал стартер, мотор пару раз фыркнул очень вонючим бензином (это была именно та авиационка), и городок остался позади.

Они как раз проезжали через небольшой лесок, когда мотор вдруг чихнул, пару раз отчаянно фыркнул, и они остановились. Тут практические знания шофера одержали победу над представляемой инженером теорией. Осецкий то предполагал, что заело поршень (а есть ли вода в радиаторе, в десятый раз спрашивал он и, сняв защитный капюшон, бросал отчаянные взгляды в непроницаемую темноту, пахнущую спиртом и – о диво – луком), то снова повторял, что расплавились втулки... Но шофер знал лучше.

– Не, мамка засорилась. Посидим до утра, у меня нет подходящего инструмента.

Осецкий бессильно выругался, по-интеллигентски, и влез в машину.

– И что теперь будет?

Шофер тем временем включил лампочку на потолке, достал из бокового кармана сверток с хлебом и колбасой, бутылку, заполненную прозрачной как вода жидкостью, создавая миниатюру домашнего настроения, затем повернулся лицом к Осецкому, уселся поудобнее на сиденье и, вытерев тряпкой горлышко бутылки, ловко и быстро ее откупорил.

Осецкий хотел сказать, что ему нельзя, потому что у него почки... но выпил.

После того как закусили раз и другой, шофер решил, что лед уже сломан.

– Так это вы будете ставить ту электростанцию, которую немцы расколошматили?

– Как это? Расколо... что вы говорите? Вы там были? Знаете, что там?

– И не раз. – Шофер потянул из бутылки. – Возил туда и первую комиссию, и вторую, и ничего. Кто те руины увидел, тотчас дал ходу; хорошо, если в Люблине затормозил. И я не удивляюсь.

– Такие разрушения?

– Ха, так нельзя сказать... пардон, – икнув, добавил он. – Немцы только котлы смогли разворотить, а как народ прошел, ну, сами понимаете.

– И что?

– Ну, растащили. Тот амперметр за пазуху, этот кабель, а кто не растерялся, тот и токарный станок домой припер.

– Так вы тамошний?

– Откуда? Я из Львова. Мисько, то есть Михал Петрус, был мобилизован. Но я знаю, везде так делалось. Я на них не злюсь, темная масса, техники не понимают. Подобрать брошенное каждый имеет право, если никто не следит, но вот то, что разрушали все, что забрать не могли, это меня бесит.

– Ну, если только распределительную аппаратуру... может... часы... того... не так уж плохо? – лихорадочно пытался разобраться в ситуации Осецкий.

– Не плохо, но и не хорошо. Да вы сами увидите. Последними там эсэсовцы стояли, когда драпали с фронта. Что они там натворили, вы и понятия не имеете. Пройти нельзя, чтобы не вляпаться.

– Это значит... – пытался понять Осецкий.

– Ну, сплошное дерьмо, честно говоря. Стоило какой-нибудь комиссии приступить к делу, так у них сразу охота пропадала. Протокол подписали, печать шлепнули, и ходу.

Осецкий почувствовал себя человеком, которому житель гор рассказывает об известном ему кладе бриллиантов.

– А трансформаторная подстанция? А... машины? А есть там турбоагрегаты?

Шоферу явно польстило то, что инженер предполагает наличие у него столь широких познаний. Но поскольку значительная часть проблемы была для него неясна, он проявил дипломатическую сдержанность:

– Все не так плохо. Немножко натворили, и только. Тут проводок, там проводок, ага, ну и аккумуляторы.

– Немцы забрали, – огорчился инженер.

– Нет. Так как-то все мимоходом поразбивали. Этот пришел, пнул, тот; вы же знаете, как у нас...

– Знаю, – вздохнул Осецкий, машинально принимая от шофера бутылку, у которой уже виднелось дно, едва прикрытое остатками жидкости.

– Но разве эти комиссии не разобрались? Ведь любой инженер...

– Да откуда инженер? Это были, извините, эти... как это... ага, оперативные группы. Мы их вообще жуликами называли. Где там вы инженеров видели? Какие-то молокососы, сопляки, передо мной выкаблучивались, чтобы я не смекнул, но разве я не знаю? Ну нет?

– Ну да, – ответил Осецкий, отдавая пустую бутылку.

– Я к правительству претензий не имею. Вообще. Только вот Стрыйский парк, ну, говорят, трудно. Но и не могли ведь каждому в

документы смотреть, нет? Этот пришел, говорит: «Я комиссия». Дурака валяет. Важная особа мне говорит: «Мисько, сбегай», «Мисько, принеси». Какой я ему Мисько? Шофер с особыми правами, двенадцать лет на машине. Ну нет?

– А вот не смогли мне другую машину взять... – проникся жалостью к самому себе Осецкий.

– Ха-ха, холодно, голодно, мокро, обидно и до дому далеко, да, господин инженер? А что я мог сделать? Эту машину реквизировала комиссия у одного прохвоста, чтоб ему, он был фольксдойч во Львове, а как удрал, так машину жене оставил. А я не поленился и говорю: это враг народа, мать его так, а машина была одного адвоката. Он его в Пяски ^[150] отправил, представляете?

Инженер многого не понимал, но из вежливости поддакнул.

– А как пришли эту машину забирать, а я был в комиссии, она ко мне кинулась: пан Михал, пан Михал, что вы делаете, мы все такие патриоты, мой Антек с газеткой всегда бегал, и муж был в АК ^[151], а вы теперь так. А я ей на то: говорил тебе, баба, что будешь реветь, а как смеялась, что муж получает масло и белый хлеб? Говорил. Так пусть теперь тебе этот хлеб немецкий в горле комом станет. А ее любовник хватя меня за лацканы. Тогда мне пришлось немножко поднапрячься, потому что он высокий, но зубы у него изо рта выскакивали, как пассажиры из трамвая.

– А что с автомобилем? – спросил Осецкий, уже немного сонный и обеспокоенный тем, что драматически представленная история может затянуться сверх меры.

– С автомобилем? Так плакали, шум подняли, а потом открутили все, что могли, всякие штанги, колпаки, зеркала, ну все, не знаю, как это вместе держалось. А в конце еще этот Хрыцюк, ну, этот ее любовник, так по багажнику приложился, что след до сих пор остался. Так уж он бесился. Но это ничего, хоть какая-то компенсация за наши обиды, разве нет?

Петрус вздохнул и добавил тише:

– Этот Хрыцюк был прохвост, но его брат, о Боже! Он в полиции служил, мучил наших и пытал, и даже в «Галичину», это такая эсэсовская дивизия была, из одних украинцев, добровольцем записался. Может, мне Господь Бог даст, я его встречу, так я уж с ним поговорю.

Он вздохнул набожно и добавил шепотом:

– А теперь я лампочку погашу, потому что наш аккумулятор если разрядится, то обратно его уже не подзарядить.

Помолчал с минуту.

– Господин инженер, а вы откуда, можно спросить?

– Из Ченстоховы.

– Посмотрите, посмотрите на эту электростанцию. Я, по правде говоря, никогда из Львова за Зимне Воды не выезжал, а как меня война пнула, так до Одры летел. Здорово бывало. Один наш сержант...

– Вы были в этой Второй армии? – спросил Осецкий, чувствуя, что засыпает.

– Был. И Грюнвальдский крест у меня есть, только я его не ношу, чтоб не потерять. Так вот, знаете, как этот сержант немцев по морде бил, так у меня словно нутро медом смазывалось.

– Люби ближнего... – пробормотал Осецкий, погружаясь в блаженные грезы.

– Это да, это так.

Вдруг Мисько зашевелился в темноте.

– Что, это вы про немца, что он ближний? Вы мне так больше не говорите, хоть вы и инженер. Вы – мой ближний, и мой шеф тоже, и даже те сопляки, которые вчера у меня из машины пассатижи стянули, но не немец. Что это за ближний, если его нужно сразу же изо всех сил по морде музуть, чтобы он тебя не убил? Что, нет?

Инженер звучно посапывал носом. Быть может, ему снилось открытие электростанции. Его электростанции.

В Млынуве

Злополучную засорившуюся мамку, так водитель называл бензонасос, удалось прочистить под утро благодаря помощи русских. Остановив их грузовик, Мисько одолжил плоскогубцы и несколько ключей. Сноровисто разбирая больной бензопровод, он одновременно разговаривал с русскими, и хотя ни один лингвист не смог бы признать русским язык, на котором он с ними общался, понимали они друг друга прекрасно.

– Ты откуда такую машину взял, ведь ана на швейную пахожа, – говорил высокий блондин в кожаной куртке, добродушно улыбаясь при внимательном осмотре старого «опеля».

– Но-но, машина вполне хорошая, не балакай зря.

Мисько лично был оскорблен сравнением.

– Я тебе совет дам. Ты эту черепаху брось. За лесом, панимаешь, стоят немецкие машины, сколько угодно бери. Не будь дураком.

Эти слова подействовали. Шофер, который уже собрал мамку и отдал

инструменты, закурил.

– Спасибо, спасибо. – Произошел обмен папирос на сигареты, после чего большой «додж» рывкнул, обдал стоящих облаком пыли и исчез за поворотом.

– Господин инженер, вы слышали? Вы слышали? Говорят, что там машины стоят, остается только взять.

– Нет, так нельзя.

– Да что вы говорите?

Они выехали из леса, и действительно: в поле стояло несколько легковых машин, увидев которые Мисько остановил автомобиль и, не обращая внимания на протесты инженера, перепрыгнул через кювет и в три прыжка оказался среди машин. Через полчаса Осецкий с трудом оторвал его от большого «мерседеса». Глаза шофера горели, черными пальцами он гладил блестящую эмаль капота.

– Черт побери, что за машина. Даже динамо есть, даже карбюратор. Только сидений нет и одной резины. Ну что? Возьмем на прицеп?

– Нет, это будет кража.

– Как это? У кого украдем? У немцев?

– Немцев нет. Теперь это все государственное.

Осецкий почувствовал, что заронил в шофера хоть маленькое, но сомнение, и принялся его усердно раздувать.

– Что вы хотели делать с этой машиной?

Об этом, как оказалось, Мисько не подумал. Хотел ехать.

– Это было бы нехорошо. Подумайте сами. Да мы и не утянем ее никак.

Последний аргумент, кажется, убедил Петруса.

– Значит, так. Ну, я сюда еще вернусь.

Он осмотрелся, мысленно уже считая все разбросанные в высокой траве автомобили своими.

– Вместе вернемся. Вы знаете...

Вид брошенных прекрасных машин, как наркотик, начал действовать и на инженера.

– Знаете что? Возьмем пару машин для электростанции. И... и вас приглашаю к нам в качестве шофера. Хорошо?

– К кому? – удивился Мисько.

– К нам... ну, на электростанцию. Ведь нужна будет пара грузовиков, гараж построим... мастерские... – наяву грезил Осецкий, веря в то, что говорит.

– Можно и мастерские. Почему нет? Смотрите, смотрите. – Мисько

протянул руку.

Из-за леса выехал тяжелый блестящий лимузин, чуть притормозил при виде стоявшего автомобиля, но через минуту увеличил скорость и, оставляя за собой лиловый хвост дыма, ушел вперед.

– Может, какая-то комиссия? – громко предположил шофер.

Инженер вдруг заторопился и вернулся к машине, уговаривая Мисько ехать дальше. Шофер очень неохотно расстался с найденным эльдорадо.

– Слушайте, а далеко до этого городка? Как его... Милув, да?

– Было Muehlau, теперь Милув. Еще километров двадцать будет. Дорога хорошая, ничего не скажешь. У нас бы давно уже по каменюкам скакали.

Он добавил газу, так что все движущиеся части машины завибрировали, издавая визжащие звуки.

– О, о, смотрите, там машина, что нас обогнала. Вон стоит.

Действительно, рядом с высокой стеной, нависавшей над дорогой слева, стоял тот черный «бьюик», а рядом со снятым колесом шофер делал утреннюю гимнастику. Двое мужчин в серых плащах стояли рядом, глядя на трубы фабрики вдалеке.

Мисько притормозил.

– Помощь нужна?

Тот шофер даже не повернулся, лишь кивнул, что ничего не нужно. А вот оба мужчины подошли и, увидев лежащий рядом с инженером толстый набитый портфель, сняли шляпы.

– Вы не в Милув едете? – спросил Осецкий.

– Такого города нет. Может быть, вы имеете в виду Млынув?

Осецкий смешался.

– Мне говорили... немецкое название... кажется, Muehlau.

– Да. Именно так. Это Млынув.

– Самоуправство низших административных чиновников не знает границ, – добавил второй, в светлых роговых очках.

Мисько уже собрался уезжать, но инженер высунулся из машины. «Может, это комиссия?» – промелькнуло у него в голове.

– Так вы едете в Млынув?

– Объезжаем все воеводство, – сказал тот, что в очках.

А второй добавил:

– Мы топонимисты.

Услышав это необычное слово, обеспокоенный инженер открыл дверцу, поклонился и представился:

– Осецкий.

– Шимковский.

– Негло.

– А что вы будете... э-э-э... то есть какие у вас планы? – вопрошал инженер. «Что за странное слово?» – удивлялся он.

– В связи с царящим в местной ономастике хаосом мы делегированы из министерства для сбора информации.

Осецкий до такой степени терялся в догадках, что решил отказаться от дипломатии.

– А может быть... вы... то есть... по делам электростанции в Милуве, то есть в Млынуве, – поправил себя он, поймав испепеляющий взгляд типа в очках, – или в каком качестве?..

– Почему нас должна интересовать какая-то электростанция? – с бесконечным презрением изрек тот, что пониже. – Ведь доктор Негло ясно сказал вам, что мы занимаемся исключительно топонимикой.

– А, я не расслышал; если так, извините. Удачи вам! – Осецкий сел, Мисько дал газу, и они поехали.

Долгое время царило молчание. Они миновали руины фабрики, свалку гигантских труб, обломки которых валялись по полям, замедлили ход на объездном пути, машина подпрыгивала на выбоинах, а затем снова выехала на дорогу.

– Я знаю этих типов, – сказал шофер.

Осецкий постыдился признаться, что не понял, чем занимаются встреченные господа, а потому промолчал.

– Везде головы дурят. Те уж напишут все названия, бургомистр уже таблички вывесит, вот, мол, Милув, а эти приезжают, бумагу везут с печатью, и превращается в Млынув.

– Так они устанавливают названия населенных пунктов? – догадался наконец Осецкий.

– Ну да. Но машина у них, холера ясна! – добавил он, потому что как раз сзади раздался протяжный сигнал и «бьюик» топономистов пролетел мимо них, засвистел шинами на повороте и исчез из виду.

В полдень они въехали в Млынув. Впрочем, некоторые информационные таблички называли город Милувом, а несколько старых объявлений именовали населенный пункт Милувкой. Осецкий пошел чего-нибудь перекусить и привести себя в порядок после путешествия. Мисько, верный друг автомобиля, сначала напоил мотор, а потом уже удовлетворил потребности собственного тела. Встретились они, когда уже начало смеркаться. У Осецкого был деловой вид. За ним шел высокий мужчина в военном шлеме, еще один с маленькой трубочкой и – чуть позади –

молодой, очень словоохотливый человек с белеющим пробором на голове и толстым блокнотом в руке.

– Поедем до электростанции – это ведь рядом, за городом, не так ли? – обратился инженер к мужчине с трубочкой, который поддакнул, выпустив большой клуб дыма.

Рессоры закрипели, когда все уселись. Мисько осторожно завел мотор, и машина тронулась.

Вскоре «опель» остановился перед низкой стеной. У распахнутых ворот, створки которых вросли в землю, лежала полосатая караульная будка. Дальше тянулись плоские низкие строения из красного кирпича, груды вырванных толстых кабелей, какие-то башенки и столбы, а над всем этим возвышалась высокая коническая труба с выщербленной снарядом верхушкой.

Мисько выкурил три сигареты, продул бензопровод и два раза приложился к новой, полной бутылке, которой затарился в Млынуве, пока дожидался возвращения группы. Теперь первым шел мужчина с трубочкой, за ним тот, что в шлеме, а инженер ступал в задумчивости, иногда спотыкаясь, и, сунув одну руку в карман, размахивал большим листом и вообще словно света белого не видел.

– Так как вы считаете, господин инженер, можно рассчитывать, что станция будет восстановлена к началу года? – вопрошал третий, прижимая к груди толстый блокнот.

У него была патентованная немецкая авторучка, которая отказывалась писать; он ее постоянно слюнил и в результате выглядел так, будто наелся ежевики.

– Откуда я могу знать? О, люди, люди, – качал головой Осецкий, рассеянно пытаясь открыть левую дверцу автомобиля, которая (и он об этом хорошо знал) была закрыта «навсегда». Наконец с помощью шофера он забрался в машину.

– Но пресса должна быть проинформирована, – сетовал юноша с блокнотом. – Пресса, – добавил он, – необычайно важна.

Это оригинальное утверждение не возбудило интереса у Осецкого.

– Все хорошо, – говорил он, пытаясь пристроить портфель за спиной, – но где эти главные рубильники? Не понимаю, кому они могли понадобиться. Ну ладно предохранители... или эти лампы. Но рубильники... нельзя ли выяснить, кто их мог забрать?

Блондин в шлеме ловко плюнул через дырку в окне.

– Видимо, кому-то понадобились.

– Не говорите глупостей. Переключатели на шесть тысяч вольт?

– Вся коммутаторная... это чистая могила, – согласился мужчина с трубочкой. – Но я вам скажу, что половина всего находится здесь, в округе.

– Не успели вывезти, да?

– Куда?

– А эти немцы тоже... нет, запором они не страдали, – сказал Осецкий с юмором висельника. – Что они там натворили... Kulturvolk^[152], черт побери! – Он тоже попытался сплюнуть в дырку, но это ему не удалось. Не попал.

– В любом случае пусть все, о ком вы мне говорили, завтра утром придут в магистрат. Или это муниципалитет, этот желтый дом на рынке, а?

– Еще неизвестно, как будет называться. Вы сами обязательно приходите.

– Я сегодня позвоню. Некоторые вещи должны вернуть. Я перед отъездом из Катовиц узнавал. Если бы эти щиты... По крайней мере хоть распределительный нашелся бы... потому что если что-то такое заново делать сейчас в стране, это потребует очень много времени. Нужно специально заказывать, а вещи очень важные. – Осецкий снова начал рыться в своих бумагах.

– Планы... нет планов... пока сделать хотя бы эскиз...

– Так когда, вы считаете, можно будет дать ток? Эти тридцать тысяч киловатт. Пресса...

– Оставьте меня в покое со своей прессой! Нужно будет запустить этот резервный дизель. Не дай бог, он подведет, тогда не скоро сдвинемся...

На углу главной улицы, по которой как раз двигалась колонна грузовиков, пассажиры вышли, а Осецкий пересел к шоферу.

– Вы тут знаете кого-то, да? Можно будет как-то раздобыть или хотя бы узнать, кто стащил важнейшие части распределительной аппаратуры? Как вы думаете?

– Это жлобы, – сказал Мисько, – трудно будет. Кто-то упер, а сам не знает, что это такое; спрячет на чердаке и будет сидеть тихо. Думает, фраер, что у него миллионы над головой и можно сладко дрыхнуть. Но осторожненько можно будет попробовать... скажем, мол, есть тут один тип, который хочет купить для частной фирмы... Как вы считаете?

– Замечательно, я постараюсь вас отблагодарить. Мне завтра утром обещали прислать джип. Может, вы мне отбуксируете в город тот «фиат», а?

– Это вы про тот грузовик, что стоял там сбоку? Да кому такая машина нужна! За «мерседес» вы получите в два раза больше, тем более что этот «фиат» не такой уж новый. У меня глаз наметанный на такие вещи.

– Дело не в деньгах. Понимаете, поначалу у нас будут трудности со всем, а с грузовиком можно многое сделать: инструменты привезти... людей на работу... ну, сами понимаете.

– Так вы не для себя?

Осецкий невольно улыбнулся, потому что в голосе Петруса почувствовал тень удивления.

– Если эта электростанция заработает, это будет для меня распрекраснее любого «мерседеса».

– Вы правы. Дай вам Бог здоровья! Ну что, вы будете здесь ночевать?

– Да. Идемте со мной. Мне там обещали кровать, а вас устроят внизу – там еще одно место свободное есть.

Тайна будильника

Необычный инцидент, который повлек за собой лавину случайностей, что, в свою очередь, помешало инженеру осуществить на следующий день важный разговор с Варшавой, начался с невинной прелюдии. Когда инженер пил пиво в задымленном зале, он заметил протискивавшегося между столиками смуглого офицера в мундире с погонами танкиста. Осецкий машинально отметил, что это старший лейтенант, и хотел уже отвести взгляд, когда какой-то жест или движение этого офицера привлекло его внимание. Минуту он всматривался в загорелое лицо, а потом вскочил, чуть не опрокинув стул.

– Юрек, это ты?!

– Старина! – рявкнул тот и с силой стал продираться в его направлении, используя чемодан в качестве тарана.

– Привет, Болек! Что ты тут делаешь?

– А тебя откуда сюда принесло?! И мундир? Служишь в танковых войсках?

– Служил. Только что демобилизовался. Каким ветром тебя сюда занесло? Всю войну из Ченстоховы шагу не сделал. Неужели землетрясение?

Оба, говоря одновременно и немного хаотично, пробрались к столику инженера. Сразу же заказали пива, и за кружками потекла быстрая беседа.

– Так, так, будешь строить электростанцию? Это сейчас называется «общественный заказ». Поздравляю. Ты доволен?

– А ты, Юрек, женился? – с явным ужасом в голосе вскричал Осецкий, заметив золотое кольцо на пальце старого друга.

– Да, немножко. Знаешь, такой военный брак. Присмотрел домик под Еленей-Гурой. Как устроюсь, ты должен ко мне приехать.

– А где твоя жена?

– Пока у родителей в Кракове. Там такие домоседы. Не то что я, варшавянин, у которого небо вместо крыши, а из всей мебели остались только две руки. Но я их расшевелю.

– А когда ты пошел в армию?

– В январе. Как увидел, что фрицы драпают, сначала покрутился, а потом сразу – в танкисты. Первая армия, знаешь. Колобжег и дальше.

Осецкий присмотрелся к орденским планкам друга и немного смешался.

– Так у тебя вон что... а это? И ранение было? – спросил, показывая на звездочку, светящуюся на голубой ленточке.

– Зацепило голову. Поморский Вал. Скажу тебе коротко: болото, лед, снег, холодно, и тут нас вдруг как давай лупить. Мы на это встаем, забираемся в танки и так даем газу, что потом их можно было лопатой собирать. Что ты так смотришь? Я в своем уме. Это был панцерфауст, в мотор нам попали. Водителя нашего убило.

Он помолчал с минуту, вглядываясь в глубину янтарной жидкости, и добавил:

– Хороший был парень, веселый. Из Вильнюса. Так чудесно ругался! Поэт.

Помолчали вместе.

– А сейчас ты что делаешь?

– Еду к жене. Переночую здесь, а завтра в полдень будет машина до Кракова. Прямое сообщение. Один мужик меня подвезет.

Они встали и пошли наверх. Еще немножко болтали, но Осецкому уже чудовищно хотелось спать. Он едва видел – так мгла застилала глаза.

Но все-таки зашел в комнату друга. Когда офицер открыл чемодан, чтобы достать полотенце и мыло, Осецкий заметил что-то округлое и блестящее.

– А это у тебя что? Юрек, умоляю, одолжи мне этот будильник. На эту ночь. Мне обязательно нужно встать в шесть утра, а чувствую, буду спать как убитый.

– Бери.

Осецкий взял будильник, поставил его на шесть, но потом передвинул стрелку звонка пораньше, на всякий случай.

– Ну, пока, старик, еще увидимся.

Маленькая гостиница была страшно переполнена. Летные экипажи,

только что принятые на работу служащие, проезжие и целая толпа мародеров заполнили все номера. В столовой даже накрыли простынями оба бильярдных стола.

Войдя в свой номер, инженер увидел, что вторая и третья кровати уже заняты.

Когда он поставил будильник на стол, раздался хор протестующих голосов.

– Я больной, – жаловался мужчина в шерстяной шапочке на голове, пряча при виде Осецкого ногу в грязном носке под одеяло. – Не ставьте будильник. На шесть?! Боже, я принял две таблетки, чтобы заснуть. Побойтесь Бога!

– Да, я тоже всю прошлую ночь не спал!

Инженер боялся Бога, поэтому спустился вниз и постучал в маленькую комнатку, в которой расположился шофер. Это было что-то вроде дыры правильной формы в стене. Там едва помещалась раскладушка.

– Пан Михал, у меня к вам просьба. Я обязательно должен встать завтра в шесть часов, потому что у меня междугородный разговор, с Варшавой. Вот будильник. Я не могу воспользоваться им в номере, потому что мои соседи по номеру болеют или что-то вроде этого. Вы меня разбудите, хорошо?

– Запросто. Идите спать.

– Спокойной ночи!

Инженер пошел наверх. Через минуту в «номер» шофера постучал молодой солдат, ординарец офицера штаба, который остановился в этой же гостинице. Мисько, добрая душа, обещал поделиться с парнем своей раскладушкой. Теперь же он решил хоть немного использовать свое положение хозяина комнаты.

– Слушай, вот будильник. В шесть утра зазвонит. Тогда ты пойдешь наверх, в одиннадцатый номер, и разбудишь инженера Осецкого.

– Да я же его не знаю.

– Ничего, узнаешь. Такой худой блондин с черными глазами. Очень черными.

– Но если он будет спать, как я увижу, какие у него глаза?

Поскольку замечание имело деловой характер, Мисько разнервничался.

– Что ты отговорки ищешь? Лежит у окна, на стуле желтый портфель. Все, спокойной ночи.

Солдат поставил будильник на пол со своей стороны, сбросил ботинки и рубашку, после чего выключил свет.

Когда Мисько проснулся, в гостинице был слышен звук шагов, звяканье стекла и голоса. Он почувствовал, что ему стало удобно лежать, повернулся и понял, что ординарца нет. Включил свет. В комнате было пусто.

Стибрил будильник и удрал! «Что за люди, Боже ты мой!» – подумал шофер, накинул комбинезон и выбежал в коридор.

На больших часах в холле было восемь часов. Мигом сообразив, что будить Осецкого уже поздно, шофер пошел во двор, где стоял «опель». Он сакраментальным жестом поднял капот и погрузился в созерцание железных внутренностей мотора. Когда он прикручивал большим ключом почищенные свечи, сбоку мелькнуло что-то зеленое. Он посмотрел и онемел. Молодой солдатик чистил там ботинки, как ни в чем не бывало разговаривая и смеясь с хорошенькой горничной.

– Ах ты, жулик, отдай будильник! – крикнул Мисько, бросаясь к нему.

– Какой будильник?

– Украл будильник, прохвост, а теперь будешь валять дурака? А ну отдавай, а не то как дам по шее, позабудешь про романсы!

Оскорбленный в лучших чувствах ординарец оттолкнул руку шофера, слишком близко придвинувшуюся, по его мнению, к его носу. Мисько замахнулся другой, в которой держал ключ (он забыл о нем). Солдат заорал, кровь полилась у него из уха, и он выбежал на улицу.

– Ворюга чертов! – негодовал Мисько.

Горничная с писком убежала, а он вернулся к автомобилю. Через пару минут во двор вошли два мужчины в рабочей одежде. Низенький нес под мышкой три больших листа стекла. Они принялись вставлять их на кухне в венецианское окно с видом на крыльцо.

Мисько закрыл капот и пошел на завтрак. Было половина девятого.

«Пусть поспит, бедолага, – подумал он об инженере, – ему еще придется побегать».

Тем временем стекольщики закончили работу и присели на ступеньки крыльца. Низенький достал из кармана хлеб и поделился с товарищем.

– А это у тебя что?

– Будильник купил у немца. Отличный будильник. Ходит изумительно точно.

К окончанию разговора внимательно прислушивался прибывший с черного хода высокий мужчина в куртке, перепоясанной ремнем. Вдруг он достал из кармана длинный пистолет Штейера и закричал:

– Руки вверх!

Оба стекольщика подпрыгнули и при виде нацеленного на них оружия

быстро повиновались приказу.

– Что это значит?

– Ну, ну, не прикидывайтесь. Украли будильник! Было донесение.

Он наклонился, чтобы поднять будильник с земли. В тот же миг высокий стекольщик подмигнул низенькому. Они бросились на чужака и после короткой борьбы отобрали будильник.

– Соппротивление властям! В тюрьму!!! – рычал мужчина в куртке.

Стекольщики скрупулезно перетрясали его большой потрепанный портфель. Их глазам поочередно предстали: удостоверение милиционера, хлебные карточки, служебная книжка...

– Господин комиссар, извините! Мы не знали, что вы настоящий милиционер, – говорил низенький, всовывая мягким, стыдливым движением пистолет в руку агента. – Ей-богу, мы думали, что... Мы ведь вас не знаем. Это ошибка.

– Мерзавцы! Руки вверх! – снова рывкнул уже вооруженный агент. Стекольщики послушно исполнили приказ.

– Номер одиннадцатый... Осецкий... – с трудом прочитал на бумажке милиционер. – Пойдем наверх, уж этот господин опознает свой будильник. А за эту драку вам еще достанется.

– Какую драку? Мы же извинились.

– Уж я вам извинюсь! Негодяи! Кончился Дикий Запад.

Они поднялись на этаж. Стекольщики дефилировали с поднятыми руками, а за ними шумно ступал милиционер. Вдруг дверь одиннадцатого номера приоткрылась.

– Где Петрус? Боже правый, уже десять! Почему меня никто не разбудил? Где будильник? – кричал Осецкий, в пижаме высовываясь в коридор.

И тут он увидел направленное ему прямо в грудь дуло револьвера, который держал высокий мужчина в куртке.

«Дикий Запад, бандиты!» – промелькнуло у него в голове.

– Это вы... – начал человек с пистолетом, но Осецкий, не дожидаясь, захлопнул дверь.

Раздалось лязганье ключа и топот босых ног, панические крики, а затем глухие, резкие звуки оповестили о том, что жители номера спасаются бегством через окно на газон, – к счастью, этаж был очень низкий.

– Вы стойте здесь, надо отдать будильник, это наверняка он, – закричал сбитый с толку милиционер и в три прыжка исчез на лестничной клетке.

Через четверть часа патруль милиции обнаружил в здании трех

полуодетых жильцов, которые пытались убежать, заведя нацеленное на них оружие. Это были инженер и два его соседа по номеру. Был составлен протокол следующего содержания: о сопротивлении властям, о разоружении милиционера при исполнении обязанностей, об оскорблении государственных служащих и еще о массе подобных нарушений. Следует заметить, что стражи порядка, занятые составлением важных бумаг, совсем забыли о несчастном будильнике, от которого не осталось никаких следов. На Мисько тоже составили протокол. Но Осецкий встал на его защиту, и это спасло шофера. Наконец инженер, уже одетый и побритый, встретился с другом.

– Юрек, если б ты знал, что тут было. Милиция, обыск, я думал, что это бандиты.

– А зачем приходили?

– Понятия не имею. Я проспал телефонный разговор. Кстати... ты знаешь, мне очень жаль, но твой будильник исчез. Попросту потерялся в этой суматохе или кто его украл, не знаю. Я куплю тебе другой.

– А, глупости. Не стоит, – ответил офицер, – он и так не ходил.

– Что?!

– Нет, не ходил.

На этом закончилось дело о будильнике. Главный свидетель по обвинению шофера в нанесении легких телесных повреждений, ординарец майора, а это именно он вызвал милицию, уехал в тот же день, так что все это было предано забвению.

Искушение Мисько

– Оставьте меня в покое, – сказал Осецкий повышенным тоном репортеру, который выскочил из-за угла как раз в тот момент, когда инженер садился в автомобиль. – У вас есть сенсация, была милиция, обыск, протоколы; напишите об этом и успокойтесь.

Молодой человек слегка обиделся.

– Демократическая пресса не занимается распространением бульварных сообщений. А впрочем, ничего особенного и не случилось. Ваш шофер – дебошир, ударил солдата и...

– Кто дебошир, кто? – вмешался в разговор Мисько, высовывая голову в окно. – Вали отсюда, борзописец, а то как добавлю тебе газа, так будешь носом тормозить.

Репортер презрительно пожал плечами и удалился с

величественностью августейшей особы.

– Что за непоседа! Сам ничего не делает и другим не дает, – ворчал Осецкий, усаживаясь в машину.

– Пан Мисько, едем на электростанцию.

Проехали несколько улиц, прежде чем инженер отважился начать:

– Ну как там... вы спрашивали? И что?

– Насчет этого электричества? Конечно. Есть тут два деловых типа, посредники в распродаже мародерских вещей. Знаете, они сидят на бриллиантах как курица на яйцах. Один вытащил портфель, чтоб расплатиться, так там, чтоб мне провалиться, было столько денег, сколько я никогда не видел.

– Это не важно.

Осецкий лихорадочно записывал что-то в блокноте, потом положил на колени чертеж дизеля и стал рисовать на нем красным карандашом.

– Так что с этими посредниками?

– Господин инженер, я вот не знаю, мы будем с ними в открытую вести переговоры или нет?

– Что это значит?

– Ну, если договоримся с теми, у кого есть эти вещи, то заплатим или оставим его с носом?

– Где я возьму деньги? Заплатить? Никогда не думал об этом. Может, просто показать бумаги? У меня есть полномочия от Энергетической централи, я главный руководитель работ, и только. А если они не согласятся, то нужно будет обратиться в милицию. Но это лишь в крайнем случае, как вы думаете?

Осецкий все больше проникался уважением к ненаучным психо- и социологическим познаниям шофера.

– Нет, вы знаете, обманывать даже и вора некрасиво. Уж лучше в морду, и всех делов. А что касается бумаг, то вы что, с луны свалились? Кто же испугается ваших полномочий?

– Так что же делать?

На этот раз Мисько не мог удержаться от поучений:

– Сидеть у чертежной доски и мелом рисовать – это одно. А нужное оборудование, спрятанное у людей, раздобыть – совсем другое дело. А, господин инженер? Тут надо хитрость применить, чтобы они не сообразили, что их дурят. Я скажу, что знаю специалиста по таким вещам. Приведу вас, водки выпьем, потом вы посмотрите и скажете так: «Так это же рухлядь, все сгорело, никуда не годится. Только на свалку». Они в расстройстве, а вы идете к дверям: ауфвидерзеен – и будто уходите. Тогда я

хватая вас за рукав и говорю: «Господин директор, а может, вы все-таки что-нибудь возьмете, может, пригодится». А вы – нет. И так мы, и этак; наконец, как бы из милости, нехотя что-нибудь им заплатим, и ходу.

– Но это что-нибудь должно быть очень небольшой суммой. Впрочем, не знаю, смогу ли я разыграть такое представление. – Осецкий улыбнулся, ему понравилась эта история.

Он уже видел в своем воображении щиты, указатели, переключатели, распределители, шины и весь этот распрекрасный комплект встроенным в мраморные плиты.

– И еще... Они могут и не поверить... Эти устройства красиво выглядят, знаете. Такие щитки, там много меди, контактов, никеля...

– Чтоб их черти взяли, – согласился Мисько.

Они подъехали к электростанции. Навстречу им выехал грузовой «фиат», который вывозил мусор со двора. Инженер оставил «опель» у ворот и побежал внутрь. Мисько видел, как его потрепанное пальтишко развевается уже на внутренней лестнице зала.

– Господин шофер...

Довольно грязный субъект в надвинутой на глаза фуражке приблизился к «опелю», некоторое время критически изучал восстановленный и отремонтированный автомобиль, затем оперся о крыло.

– Чего это? Это тебе что, трамвайная остановка? – деловито спросил Мисько. – Обопрись о свою тетку, а еще лучше купи себе палку.

– Господин шофер, – произнес субъект тихим и кротким голосом. При этом ветер принес крепкий запах самогонного перегара.

– Чего?

– Запчасти к машине нужны... я хорошо заплачу, – бурчал мужчина, и из-за поднятого воротника на Мисько глянул большой, светящийся глаз.

– Ну-ка отвали вприпрыжку от приличного человека, а то я тебя так поглажу рукояткой, что у тебя и дух через абшпервентиль^[153] вылетит!

– А может, самогонки?.. А?..

Мисько долго смотрел на говорящего, потом очень изящно сплюнул и сказал:

– Я пью монопольку.

Но оборванец не отставал.

– Есть тут одна машина, – начал он как бы сам себе, – «вандерер», чистое золото, сорок четвертый год, прекрасные бумаги, а?

– Очень рад, – сказал Мисько, но его это невольно заинтересовало. Он прислушался.

– Вы ведь неплохой механик, да? – сказал тот.

– Ну, я думаю.

– Надо бы, – он понизил голос, – номерок на блоке цилиндров забить, новый красиво выбить, ну и колодку приварить.

Мисько присвистнул.

– А, вон оно как!

– Так что?.. За работу – десять кусков. Пять даю сразу.

Мисько почесал шею. На душе у него было тяжело.

Вдруг в отдалении показалось светлое, развевающееся на ветру пальто Осецкого, и сразу же ветер донес его голос.

– Туда складывайте, туда! – кричал он. – Тысячу раз говорил! А сейчас давайте все заказы, я еду на станцию получать траверсы.

И уже садясь в автомобиль, угостил Мисько сигаретой, засовывая бумаги во внутренний карман.

– Вы знаете... тут есть одна краденая машина, хотели меня втянуть, – признался Мисько шефу, переключая скорости, как прима-балерина. Инженер не слышал, потому что у него из кармана вылетела логарифмическая линейка. В погоне за этим бесценным инструментом он залез под сиденье. Через минуту появился. Глаза у него блеснули.

– Пан Мисько, я вам скажу, я вам одно скажу. Пока есть такие люди, как этот Вензек, то... я не знаю, но... – Он замолк и задумался.

– Вензек, из рабочих? Это который? Это не тот маленький, немного кривой?

– Да-да, он.

– Так что он сделал?

– Вы его все-таки знаете?

– Нет, не очень. Он водку никогда не пьет, и ни жены у него нет, ни девушки. Говорят, он в священники собирался пойти, но не вышло у него почему-то. Стал слесарем.

– Какой там священник, – махнул рукой Осецкий. – Вы представляете, что это за человек? Я не верил, ей-богу, но мне все рассказали. Он сегодня принес целую корзину еды и раздал тем парням, что нам помогают. Те, что из лагеря вернулись, вы знаете.

– Ага.

– Я хотел заметить, что не очень хорошо, если он приторговывает среди товарищей. Оказывается, он не продавал, так отдавал, угощал. Но столько? Спрашиваю, это родственники? Нет. Знакомые? Нет. Так почему? Из милости к ближнему? Представьте себе, и на это отвечает: нет. Просто, говорит, не может, если у кого-то нет, а у него есть. Только потом Конопка рассказал мне неслыханную историю. Этот Вензек был

квалифицированным слесарем-механиком и первым специалистом по сейфам еще перед войной. Такие работники получают большие деньги, но обычно пьют. Он не пьет, но даже приличного костюма у него не было. Все до копейки отдавал. Увидел, что у товарища нет, – отдавал. Не займы. Просто давал. «Я, – говорит, – не даю займы, потому что все равно не отдаст, только еще на меня обидится. Лучше так». Какого-то парня, сына своего напарника, обучал в университете и давал деньги. Но как только стал давать деньги, его начали обманывать. Поначалу. Потому что потом он стал осторожнее, и сначала присматривался к тому, кого, как ему казалось, нужно поддержать. Если решал, что заслуживает, давал.

– Да-да, я это знаю, – сказал Мисько. – У нас на Сикстусской был такой сторож, маленький, черный, с такими красными глазками. А когда наши артиллеристы из Цитадели шли в плен, то на улицах остались пушки, кони – все. Мы стояли с другом в воротах и плакали. Так слезы у нас прямо ручьем лились. Никто не стыдился. А нарядно одетые женщины снимали с коней войлочные попоны, срезали упряжь, все сдирали. Вдруг я смотрю и говорю: «Юзька, – этой мой друг, – глянь, Валентий идет». Это тот сторож. А он пошел в эту сумятицу, открывает мешки с овсом, которые в ящиках были, и дает лошадям: одной, второй, третьей. Его сын – такой маленький оторва – через минуту притащил какой-то патронташ или чего там, так он его по заднице отшлепал и приказал отнести обратно. «Не буду, – говорит, – на чужой беде наживаться».

– И что с ним стало?

– Попал на Лонцкого ^[154], там его немцы расстреляли, потому что прятал еврея в подполье.

Они замолчали, словно от этих последних слов пала какая-то холодная тень. Автомобиль свернул к вокзалу.

– Пока есть такие люди, можно жить.

– Все меньше их, потому что мрут как те куры. Как куры, – повторил Мисько и ловко остановился у самого бордюра.

Банкет с препятствиями

По случаю запуска первого генератора на электростанции состоялось «скромное торжество» в канцелярии старосты, на котором было выпито много превосходных вин и водки. Осецкий сначала отказывался, потому что это только начало, это всего лишь маленький генератор на сто киловатт, не о чем и говорить, но уступил. Всеобщая тенденция «празднования»

нашла выражение в длинных, очень нудных выступлениях, после которых провозглашались различные лозунги и тосты. Это последнее меньше всего нравилось Осецкому, у которого на самом деле болели почки. Что еще хуже, кое-кому не понравилось, что он пригласил на банкет Петруса. Второй инженер, который недавно приехал, молодой парень с послевоенным дипломом, он на всякий случай постоянно носил в карманах маленькие немецкие справочники, смеялся и даже хотел выпить с Мисько на брудершафт, но господин почтмейстер и госпожа староста (не говоря уже о начальнике станции) были несколько оскорблены. Мисько почти весь банкет вел себя вполне корректно. Лишь когда открылись двери в зал, в котором должны были состояться танцульки, – случилось страшное.

После очередной речи и ответа несчастного Осецкого, который чувствовал, как у него колет в боку (особенно ему досаждала рябиновка), наступила минутная тишина. Осецкий встал и направился к двери, чтобы заказать себе крепкий чай, когда шофер приблизился к нему, явно взволнованный.

– Господин инженер, кто это там, тот тип в углу?

Белоснежный стол после двухчасовой обработки с помощью ртов, челюстей и рук выглядел как поле битвы. Наиболее полному разгрому подвергся десерт. Госпожа староста решила, что цветы являются недостаточным украшением банкета, и представительский бюджет был потрачен на кондитерские изделия местной фабрики шоколада и кексов. Несколько прекрасных подносов, щедро заполненных сладкими, вкусными кондитерскими изделиями, было расставлено на столе в симметричном порядке. Однако странным образом, а точнее, под влиянием необычно притягательных сил, источник которых находился на другом конце стола, все вместилища сладостей (не говоря уже об изысканных винах) переместились в противоположном направлении. Вдобавок одна лампочка в люстре мигала, и темнота ежеминутно скрывала проделки тамошних участников пиршества. Только бульканье, лязг, чавканье и другие звуки поедания пищи указывали, что банкет продолжается и в этой относительной темноте. Сейчас, когда шофер обратился к инженеру, во тьме сияла чья-то превосходная золотая челюсть, ощерившаяся в хохоте, прерываемом чавканьем и икотой.

– Тот, с золотыми зубами?.. Это комендант железнодорожной охраны, а что...

От праведного гнева волосы на голове Мисько встали дыбом. Он с такой силой треснул стулом, который держал в руках, об пол, что отскочила поперечина. Воцарилась смертельная тишина.

Раздалась короткая, прерывистая дробь, выбиваемая пальцами, а затем какая-то неизвестная мелодия, которую просвистел шофер.

– Слуга милостивого государя! А что это вы не встаете по стойке «смирно», когда поют «Ще не вмерла Украина», а? Ты по-украински уже забыл, сволочь? А я тебя искал, искал и все-таки нашел. Неплохую ты себе должность подыскал, негодяй! Ты, гитлеровский гаденыш, мало тебе было среди немцев, теперь ты здесь в порядочные люди пролез? Подожди, ты отсюда так не выйдешь! Скинь этот мундир, я тебе дам кокарду с орлами, чтоб тебя черти взяли! Посмотрите на начальника! Вы его не знаете? Это обер-ефрейтор из Галичины, немцам ж... лизал, наших убивал, а теперь сразу господин комендант. погоди, я тебе дам коменданта!

Говоря это, Мисько схватил поудобнее стул, поднял его над собой и кинулся на онемевшего украинца.

Осецкий схватил своего любимца за плечи и удержал на месте; раздались возмущенные голоса, а старший лейтенант Гжендош, шеф отделения милиции, предупредительно похлопал по карману, в котором он носил элегантный «бельгиец» для особых случаев, и приблизился к коменданту железнодорожной охраны.

Тотчас их окружило несколько мужчин, и они вышли с не слишком сопротивлявшимся и побледневшим украинцем, у которого слюна стекала на серебряные пуговицы мундира. За ними потянулся и Мисько с неотлучным Осецким. В зале забурило. С волнением обсуждался факт разоблачения, но нашлись и такие особы, которые считали, что Мисько позволил себе слишком много. Мало того, что его привел инженер, мало того, что он наелся и напился, так еще и выразился при дамах неподобающим образом. Господин почтмейстер особенно преуспел в суровом осуждении невоспитанности шофера.

– Хам, он хам и есть, – приняла решение госпожа староста, мама которой по-прежнему торговала сосисками и ветчиной на главной улице в Кельце.

Мисько вскоре вернулся в отличном настроении. Но то, что он услышал в зале, сильно его рассердило.

– Уж слишком хорошо они живут, – заявил он инженеру. – А, было не было, бух бабке в рыло. Ну что, может, станцуем? – обратился он к молодой девушке в жутком зеленом платье.

Они исчезли среди пляшущих, и через минуту, когда расталкиваемые могучими плечами шофера господа начали отскакивать от него в стороны, можно было прекрасно наблюдать двойные лычаковские^[155] па,

клепаровские^[156] выкрутасы и достойное высшего света «качание» левой руки партнерши.

– Господин трубач, а может, штайерок^[157]? – предложил в подходящий момент Мисько.

Но музыканты не знали ни одного из штайеров, хотя Мисько даже попытался им насвистеть мелодию. Это его окончательно разочаровало.

– Что ж это за музыканты, которые даже штайерка не знают, – заметил он и вскоре исчез вместе со своей подружкой.

Где-то за окнами раздалась песня, что «кто над верою смеется, живо кровью обольется, а кто верит вместе с нами, счастлив, как дитя при маме», – и лишь некоторое время спустя госпожа почтмейстерша с ужасом в глазах принялась искать потерянную дочь.

– Вы не видели Ядвиню? Извините... – с сахариновой улыбкой обратилась она к Осецкому, который лечился то чаем, то пивом, то даже с отчаяния и по принципу клин клином – рябиновкой. – Вы не видели моей доченьки? Она была в зеленом платице.

– Видел, конечно, с господином Петрусом. Наверное, пошли прогуляться, – ответил вежливый инженер.

Матрона охнула и исчезла.

Осецкий улыбнулся в душе и продолжил лечение, потому что почка отзывалась все сильнее.

– Господин инженер, – обратился к нему пожилой господин с милой улыбкой, на лысине которого бушевал огонек серебристых волос, – позвольте представить вам моего шурина.

Чопорный мужчина среднего возраста с совершенно невыразительным лицом поклонился Осецкому.

«Выглядит как железобетонный столб», – подумал инженер.

Тот некоторое время нес какой-то бред о мире, Англии и электрическом токе, даже до Индии добрался, и наконец, когда решил, что для вступления хватит, конфиденциально продолжил:

– Уважаемый господин инженер, как специалист вы не могли бы оказать мне большую услугу? Дело в том, что у меня есть некоторые аппараты, которые я приобрел по случаю, оптом... потому что я, вы понимаете... то есть я был бы вам благодарен, если бы вы произвели их настоящую оценку, как вы думаете? Возможное затраченное время я бы, так сказать, с огромным удовольствием, конечно же, возместил, то есть чтобы без ущерба для вас...

«Что за липкая личность», – подумал Осецкий, с неприязнью наблюдая

за жестикуляцией говорящего.

– Так у вас оптовый склад... именно таких аппаратов?

– Нет... я... у меня, значит, склад пера и пуха... но это было с транспортом, поэтому купил на вексель, понимаете, а когда сроки выплаты были просрочены, я через суд получил, а потом на аукционе...

«Что за чушь он несет?» – подумал Осецкий, но, поскольку с юных лет чувствовал влечение ко всяким аппаратам и ему никогда не надоедало знакомство с новыми, согласился.

– Так, может быть, прямо сейчас... потому что... у меня тут машина... значит, «Фордик» мой, – говорил скользкий господин, все живее потирая руки.

Осецкий даже обрадовался, что сможет так вот, по-английски, исчезнуть. (Дома у него была книжка, которую он хотел прочитать. Он привез ее еще из Катовиц, но за последние три недели из-за отсутствия времени даже не открывал ее. Сейчас он представил свою маленькую, но уютную комнатку, ночную лампу, одеяло и раскрытый детектив. Что за роскошь после таких трудов. «Фордик» оказался великолепной современной машиной. Должен был стоить неплохих денег, если только не оказался в обладании предупредительно вежливого господина в связи с его странными сделками, во время которых, начав покупки пера и пуха, можно было дойти до приобретения электрических аппаратов.

Проехались недалеко, машина остановилась у какого-то сарая. Здесь владелец автомобиля повел себя по крайней мере странно. Он осмотрелся кругом, потом, включив фонарик, достал ключ и открыл висячий замок. Показались груды ржавой, скрипящей при прикосновении жести. Что-то в глубине посыпалось.

Отбросив несколько верхних листов, хозяин таинственных устройств добрался до слоя мешков с соломой. Когда и те были отброшены, показались перепутанные, как макароны, клубки старых диванных пружин. И это было преодолено. Наконец был убран большой лист уже совсем свежей и чистой фанеры, и округлое пятно света поплыло по темно-красному мрамору. Осецкий затаил дыхание: перед ним лежали распределительные щиты, переключатели, предохранители, счетчики; все, почти в полном составе, столь необходимое ему оборудование покоилось на толстом слое соломы.

– Вот... это... как состояние... превосходное, я думаю, не правда ли? – уже снова потирал руки торговец пером и пухом. – И хотелось бы узнать, для чего это предназначено, а также... какая могла бы быть цена... как вы считаете?

– Много вы за это не получите, – сказал Осецкий, с трудом сдерживая радостный смех. Ну, на этот раз тип нарвался.

– Неужели, как это, столько тут и... металл замечательный; все новое, превосходное.

– Вы умеете расхваливать товар, – согласился Осецкий. Он достал портсигар, закурил сигарету. – Завтра, извините, я приеду сюда с грузовиком. Потому что это из нашей электростанции. Раздобытое, как здесь говорят. А если попросту, то украденное.

– Что? Вы мне? Вы... украденное?! Мои, ведь это мои аппараты, вы что?! – пробормотал торговец. Круг света подпрыгнул. Показалось его лицо, налитое кровью, серое и липкое.

– К сожалению, в соответствии с законом украденный предмет должен быть возвращен настоящему владельцу.

– Кто? Кто этот владелец? Может быть, вы?!!

– Государство.

– Кто это? Что это значит – государство?

– Я, мой шофер, мои работники, даже вы, к сожалению. Мне жаль, что я вас так разочаровал, но другого выхода нет. Без этих аппаратов электростанция не заработает.

– Не заработает?!

Какие-то мысли отразились на ошарашенном лице торговца. Минуту он стоял неподвижно. Потом свет фонаря дрогнул и погас. Раздался шипящий голос в темноте:

– Господин инженер... будьте благоразумным человеком. Вам нужны для электростанции некоторые устройства, которые есть у меня. Я их вам продам. Продам, – протянул он явно сладкое для него слово. – Составим акт купли-продажи, все законно. Моя фирма известна...

– Что вы имеете в виду?

– Ведь это не ваши деньги... и вы могли бы, пользуясь случаем... того...

Осецкий не знал, что говорить или делать. В темноте он чувствовал себя неловко. Он вдруг ясно осознал, что стоит в полном мраке рядом с явным прохвостом и что его тело могло бы лежать под этими старыми жестяными листами веками, и никто бы его не нашел. Мурашки пробежали у него по спине.

– Я отвечу вам завтра, – сказал он и направился к выходу. Торговец остался в центре. Слышно было, как он заботливо накрывает аппаратуру и нянчится со своим оборудованием.

Вечерний разговор

Мисько помогал монтерам устанавливать распределительные щиты. Он был универсальным работником, а рабочих рук постоянно не хватало. Правда, инженер обещал ему вознаграждение за сверхурочные часы, но Мисько делал бы все и так, потому что ему нравилось, когда Осецкий радовался. Тот собственноручно протирал фланелькой медные шины, дышал на стекла и охотно остался бы ночевать в щитовой, но Мисько велел ему оставить все чертежи и повез домой.

Инженер принял в автомобиле пирамидон от головной боли насухо, потому что нечем было запить, и вздохнул:

– Ну, этот тип, специалист по перу и пуху, и бесится, вы знаете? – начал Мисько. – Ходит по городу и плюется. Нажили вы себе врага первого класса.

– Да-да, – ответил задумчивый Осецкий, но где взять подшипники? Выточить их не сможем. В нашей токарной мастерской ничего не получится.

– Что снова случилось?

Мисько исподлобья посмотрел на своего шефа.

– Я хотел бы тот дизель, что стоит в третьем отделении, соединить с генератором. Это дало бы нам пять тысяч киловатт, неплохо для начала. Мазут мне обещал дать тот полковник, который здесь сегодня был.

– И как вы это сделаете?

Инженер машинально вытащил из кармана логарифмическую линейку.

– Сам еще не знаю. Стальной вал или еще что-то, потому что никакая трансмиссия тут ничего не сделает. Черт побери! Как всегда, того, что нужно, не достать.

– Только не отчаивайтесь. Уж что-нибудь придумаете.

– Разве что из отдельных кусков и с фланцами... может, орудийный ствол как-то сварить? Это небезопасно... И подпереть чем-то нужно, но как изготовить подшипник?

Автомобиль остановился, и к нему подскочил уже хорошо знакомый инженеру репортер.

– А, господин инженер! Прекрасно. Мне как раз заказали в редакции статью. Может быть, вы дадите интервью на тему «Фронт восстановления на воссоединенных землях». И о местном обществе. Проблемы сотрудничества с коренным населением.

– Оставь инженера в покое. Он сегодня и так наработался, – вставил

Мисько свои три гроша, глядя в окно. – А о местном населении можно. Напиши, что шофер Михал Петрус впервые в жизни собственными глазами наблюдал чудо. Крутился тут один такой Герман Кнопфке, или как его там, и был немцем, уже манатки паковал, чтобы шпарить в фатерланд, а тут вдруг фокус-покус – и он превратился в фольксполяка.

– Вы не понимаете существа проблемы. Местное население, которое противостояло волне германизации, заслуживает поддержки сознательного общества.

– Чепуха! Он такой поляк, как я индус. Напиши, что тут много мародеров. Но самый большой негодяй тот поляк, что за взятку из немца поляка делает.

– Об этом не стоит писать. Господин инженер, не могли бы вы поделиться впечатлениями от работы с массами? Что вы думаете о соблюдении сроков запуска машин в действие? А молодежь, будущее народа?

– О молодежи могу сказать, – измученным голосом сказал Осецкий, доставая из автомобиля свернутые в трубку чертежи. – Напишите, будьте любезны, чтобы дети не бросали ветки и веревки на провода высокого напряжения, потому что может случиться большое несчастье.

– Но я о восстановлении.

– Если их убьет током, чего стоит все это восстановление?

– Да я же не об этом... Это неуместно, во вступительной статье нужно обозначить позитивные достижения и...

– Не делай из мамы панорамы, господин пресса. Позвони своему шефу, чтобы он выставил тебя за дверь и прислал к нам кого-нибудь поумнее, – быстро добавил шофер.

Репортер со злостью поправил кепочку и рысью побежал в направлении какого-то местного сановника.

Осецкий направился к дверям, но от голода или усталости у него закружилась голова. Мисько заметил это, а потому остановил уже начавшую двигаться машину, выскочил и поддержал инженера.

– А ведь вы за весь день ни крошки не съели, – заметил он толково и помог инженеру подняться наверх.

В квартире он тут же принялся хозяйничать. Поставил кипятиться воду на чай, нарезал хлеба и даже открыл банку с фасолью от ЮНРРА ^[158], которую инженер давно считал безвозвратно утерянной. Сдобрив аппетитное блюдо топленным салом, Мисько вернулся в комнату. Инженер сидел на стуле и мурлыкал.

«Как бы парень не свихнулся от этой работы», – мелькнуло в голове у

Мисько.

– Ну, господин инженер, перекусите?

– Что? А, хорошо, спасибо.

И опять начал мурлыкать.

– Что вы так мурлычете? – спросил обеспокоенный Мисько.

– Подшипники скольжения ни к чему, – ответил Осецкий, всматриваясь стеклянным взглядом в потолок. Вдруг подскочил и божественно улыбнулся.

– Только Митчелл. Да-да! Подушки Митчелла.

– Что?

Осецкий заметил испуганную мину шофера и вдруг рассмеялся.

– Вы подумали, что я спятил? Нет, вы знаете, этот вал ведь нужно подвесить, потому что при такой длине он не может обойтись без поддержки. Вот именно это я сейчас и обмыслил. Все сделаем своими силами, в мастерских. Вы что-то говорили о фасоле, мне сдается?

После ужина они закурили. Шофер внимательно осмотрел интерьер комнаты. Его внимание привлекли стопки книг на стульях и у стены.

– Добыча? – спросил он с пониманием, поднимая лежавшую на полу большую немецкую техническую книгу.

Инженер немного смутился.

– Столько везде лежало, а я очень люблю книги...

– Да, их полно валяется по углам. Все только ценности высматривают да сервизы на двадцать особ. Книги – хорошая вещь, – добавил он, подумав, и отложил толстый том.

На столе лежал конверт. Инженер заметил его, разорвал и прочитал письмо, написанное на превосходной тисненой бумаге.

Мисько чуть приподнял брови. Осецкий усмехнулся.

– Мой хозяин, немец, которому принадлежит дом, собирается уезжать и просит меня присмотреть за мебелью.

– Мерзавцы! Думают, что вернутся. Ох, немцы, немцы, – сентиментально изрек Мисько, – когда пришли, сразу бефель ^[159] на стенку, что можно, чего нельзя, сразу номерок, табличка, бумажки.

Он налил себе водки, выпил и меланхолично произнес:

– Даже на тот свет поставили указатели. В крематории, и там были. Брата у меня убили, мать их так.

А через минуту продолжил:

– Говорят, что в Швеции хоть бриллианты на улице рассыпь – никто не возьмет. Такая честность. Но наш народ тоже неплохой. Не люблю, когда кто-то чужих хвалит. У каждого свои тараканы в голове.

– А русских любите? – спросил Осецкий, которого выпитая водка разморила, погрузив в теплое блаженство.

– Русских я знаю. Когда шли на Львов, я как раз был в командировке. Мои фрицы сразу драпанули, потому что машина сломалась. Дифференциал полетел, отремонтировать нельзя было. Я пошел пешком и оказался на какой-то станции. Люди говорят, что это уже Советы. Я жду на станции, может, какой поезд до Львова? А на мне такой немецкий, клеенчатый плащ. Вдруг кто-то кричит сзади: «Стой!» Гляжу, а это чубарик [160]. ПТИ на меня наставил и спрашивает, откуда я. «Да откуда я могу быть, – говорю, – из Львова». А он: «Львов немецкий, а ты тут, – значит, ты шпион. Надо расстрелять». Вижу, что я попал. «Товарищ, – говорю, – да я сюда попал случайно, не хотел, я думал, может, поезд какой будет или что». А он мне: «Шпион!» – «Да я вас искал, – говорю, – а вы меня хотите укокошить?» И так мы переговариваемся: я ему «товарищ», а он мне – «шпион». Наконец я разозлился и говорю: «Что ты меня обижаешь, что я германский шпион, да чтоб этих германцев черти взяли!» А он смотрит на меня, смотрит и говорит: «А чаю хочешь?» – и сразу, как смена пришла, пошли мы к нему на чай, ну и водка была, понятно.

Закончив свой рассказ, Мисько помыл посуду и заметил, что пора уже спать.

– Пригодилась бы вам женщина в доме, – сказал он, проводя пальцем по столу, на котором осталась светлая, очищенная от пыли полоса.

– А вам? – улыбнулся инженер.

– Я помолвлен, – с напускной серьезностью сказал Мисько, стряхивая невидимую пылинку с манжеты.

– Что вы говорите? Поздравляю! А можно узнать, кто является счастливой избранницей?

– Можно. Это дочь почтмейстера; наверное, вы ее помните с того вечера, когда я этого мерзкого гада, этого Грищука в кутузку спровадил.

– Помню, помню, но... так вы уже помолвлены? А родители? – спросил любопытный Осецкий и тут же прикусил язык, но Мисько ничуть не обиделся.

– Это мама, что ли? Тут особо говорить не о чем. Я со всеми любезный, кто со мной любезный. Если мамаше что-то не нравится, пожалуйста – вот Бог, а вот порог. Зоська со мной, и старый тоже.

– И старый?

– Конечно. Вы что, думаете, что шофер как перед войной? Сирота без отца, без матери? Нет, кончились те времена.

– Я очень рад, – сказал Осецкий. – Поздно уже. Не стоит вам идти.

Переночуйте у меня, хорошо?

– Не беспокойтесь. Я возьму в прихожей сенник.

Нападение

Это были времена, когда на дальних предместьях Млынова царили странные обычаи. Уже ближе к девяти часам вечера, а в зимнюю пору и раньше, все жители спешили разойтись по домам. Со всех сторон доносился глухой стук: это хозяева запирали свою скотину в конюшнях и коровниках, укрепляя двери тяжеленными засовами и ломами, навешивая на них огромные, специально выкованные висячие замки. Затем под аккомпанемент лая и воя спускали собак с цепей.

Наконец все успокаивалось. Самые осторожные даже заводили наиболее ценный скот в дома, устраивая его в сенях или где получится. В одиноко стоящих домах на ночь оставались дежурить караульные. Иногда в глухой ночи раздавались странные, пронзительные звуки, удары в железные плиты или гонги, сооруженные из старых рельсов. Потом раздавался хор женских криков, воплей и причитаний. Эти звуки обычно прерывал звук одного, а потом и множества ружейных и пистолетных выстрелов, а иногда и глухой взрыв ручной гранаты. Это наблюдатели на чердаках забаррикадированных домов разными способами оповещали околицы о нападении особо хищных мародеров, которые не довольствовались брошенным бесхозным добром. В таких случаях весь гарнизон местного милицейского поста рысью бежал в направлении пронзительных криков и выстрелов, но результат этого вмешательства был различным. Когда число ночных налетчиков не намного превышало милицейскую команду из четырех человек, стражи порядка, как правило, побеждали. Но иногда перевес оказывался на стороне неприятеля, и тогда милиционерам приходилось, часто отстреливаясь из ППШ, баррикадироваться на посту, который иногда был осажден до рассвета. Эти банды, кочующие неизвестно где, как в Диком поле перемещались из одной местности в другую, и только усердное занятие домашними делами не позволяло жителям сравнить свою жизнь с периодом, описанным Сенкевичем в романе «Огнем и мечом». Со временем «посещения» подобных гостей становились все реже, но в те времена, когда инженер Осецкий строил электростанцию, они еще случались иногда, не вызывая, впрочем, особого интереса, потому что люди уже привыкли к ночным беспокойствам. Лишь тот, кто терял дойную корову или молодого коня,

клял все на чем свет стоит и шел в милицию, где с его участием составлялся подробный протокол. После чего он покупал новые, еще более крепкие доски и запоры, с помощью которых запирали на ночь двери и окна, – до следующего случая.

Когда придуманное инженером соединение узлов было установлено на вмурованных подставках и был запущен большой дизель, Осецкий в обществе второго инженера, мастеров и рабочих (Мисько, разумеется, тоже был там) переключил рубильник на распределительном щите, и идущая на юго-восток линия оказалась под напряжением. Пол в зале легко дрожал от работы двигателя, который хоть и был обновлен, немного скрежетал и пыхтел при выхлопах.

Долгое время все стояли в молчании, с удовольствием вслушиваясь в гудение валов. Наконец инженер отправился в контору. Здесь его встретил Мисько. Он был взволнован.

– Это правда, что вы уезжаете? – резко спросил он.

– Еще не знаю точно, но скорее всего да. Нужно запустить подстанцию, а кроме того, я получил письмо от директора объединения. Есть завод, на котором должна быть собственная силовая станция, и он считает, что я, имея некоторый опыт, мог бы...

– Так вы поедете?

– Нужно.

– А шофер вам нужен?

Осецкий улыбнулся и крепко пожал сильную руку Мисько.

– Конечно, нужен. Без шофера никуда. А сейчас, – сказал он, не давая водителю ответить, – мы должны поехать в банк. На нашем счете собралась приличная сумма. Нужно выплатить людям зарплату и премию.

К этому разговору прислушивалось несколько рабочих из неквалифицированных. Были там и каменщики-немцы.

Четыреста тысяч новыми, прекрасными банкнотами Осецкий принял незадолго до закрытия банка и только теперь подумал, что делать с этим сокровищем.

– Домой взять или завести в контору и оставить в кассе? – задумался он.

– Можно домой, а можно и в контору.

– Но в конторе касса, а я живу в предместье. Что же делать?

Поехали все-таки на электростанцию. Было уже темно. «Опель», который уже отработал свое и мог бы давно пойти на вечный покой, кряхтел и скрежетал, въезжая на пригородный холм.

– Что это за огни за нами? – поинтересовался Осецкий.

Мисько только глянул в зеркальце.

– Какой-то грузовик.

Он с минуту помолчал. Потом добавил газу и, не обращая внимания на выбоины, рванул на второй скорости, даже вода вскипела в радиаторе.

Инженеру казалось, что шофер вытягивает из мотора последние силы. Возбужденный, он обернулся и увидел неясные полосы фар чужого автомобиля, спокойно догоняющего их.

Вдруг раздался выстрел. Пуля просвистела над машиной.

Мисько выругался.

– А у вас нет пушки, а?

Осецкий не ответил. Шофер приблизил к нему вспотевшее темное лицо.

– Я сейчас приторможу, – шепнул он, – и вы прыгайте с деньгами. Сразу бегите в поле, там кусты на втором участке.

– А вы?

– Обо мне не беспокойтесь.

Он сунул в руки инженеру набитый портфель, на минуту погасил свет и открыл двери, резко тормозя. Инженер выскочил, споткнулся и, пригибаясь, побежал по склону. Через минуту его окружили заросли. Он остановился и с напряжением смотрел на шоссе.

Раздался второй выстрел. Осецкому показалось, что он видит вспышку выстрела со стороны преследовавшего их автомобиля, который приближался, рыча так громко, что мотора «опеля» уже не было слышно. На вершине холма фары убегающей машины вдруг закружились, обметая всю окolicу белым светом, как перепуганные глаза. Потом погасли.

Осецкому кровь бросилась в голову: неужели попали в Мисько и он потерял управление?

Второй автомобиль проехал мимо, громко рыча на второй скорости. Он видел смазанные тени сгрудившихся там людей. Затем с горы донеслось шипение, острое и тонкое шипение шин машины, поворачивающей на бешеной скорости. Черная масса показалась в лучах фар большого автомобиля и заслонила собой источник света. Воздух разорвал глухой, мощный треск. Как после вспышки молнии, запала тьма, в которой что-то клочкотало, какая-то большая глыба несколько раз перевернулась на шоссе, покатила по склону вниз, и все утихло. Осецкий стоял, оцепенев, не будучи в силах двинуться с места. Донеслись до него чьи-то легкие шаги, крадущиеся, осторожные. Он задержал дыхание.

Кто-то шел прямо к нему, свернув с шоссе в кусты и продираясь сквозь густые заросли.

– Господин инженер, это я, Мисько, где вы? – сказал он громким шепотом.

Осецкий выскочил так внезапно, что Мисько даже испугался.

– Что вы сделали, пан Мисько, что вы сделали?

– Тикаем, пока они лежат под машиной. Потом будем разговаривать, – ответил львовянин и пустился таким спринтом, что инженер едва поспевал за ним.

Последнее слово Мисько

– Уважаемые представители правительства, господа инженеры и вы, дорогие гости и коллеги, – начал Мисько, красный и красивый в черном двубортном костюме, опираясь на украшенную коврами трибуну. – Тут уважаемые предшествующие ораторы сказали столько патриотических и мудрых слов, что я бы до этого и слова не добавил. Но я хочу сказать кое-что с точки зрения обычной жизни и простого человека. Тут говорили о героической работе, и о противостоянии искушениям, и о честности, и про обязанности перед государством, и о добродетели, которая в итоге побеждает, и много других таких вещей. Но мне кажется, что когда мы делали эту работу, или когда Вензек отдал все, что имел, на восстановление Варшавы, или когда инженер Осецкий давал деру, извините, по полям, потому что бандюки хотели отнять у него государственную денежку, то мы это делали не от героизма и не от патриотичности, и ни у кого над головой не светилося, когда стокилограммовое оборудование по лестнице на пятый этаж таскали.

В этом месте среди собравшейся общественности прошел легкий шум – непонятно только, был это признак одобрения или осуждения. Только молодой репортер, который в первом ряду записывал слова награжденного, скривился, будто проглотил дохлую мышь.

– Любую черную работу нужно делать, – неторопливо продолжал Мисько, – и с этим ничего не поделаешь. Если кто богатый едет в Швецию, или в Америку, или в Данию, а когда возвращается, то рассказывает народу, как там чисто и ладно, как у них там всего выше крыши, и сами не знают, сволочи, как им хорошо. Так что нам теперь, вместе с ним стонать, что у них там есть, а у нас тут нет, что там культура, а тут одна грязь? Лучше, если мы сами такую Швецию тут сделаем, потому что если не сделаем, то никто ее для нас не сделает и на именины в подарок не принесет. Для тех, кто это понимает, все ясно и не о чем говорить. Потому что чем быстрее мы

это сделаем, тем будет лучше для нас. Конечно, я бы тоже хотел лежать кверху брюхом, ананасы жевать и банановую самогонку потягивать. Но сегодня это не сделаешь, если только не купишь на краденые деньги краденый товар. А еще будет стыдно перед людьми и сон потеряешь из-за того, что милиция нагрянет с визитом. Я не знаю, как другие, я говорю от себя. Меня сегодня наградили, и мне очень приятно, но должен сказать, что когда я на тех бандитов с горки на машине ехал, то не думал, что орден заработаю. Даже дрейфил, и не скрываю этого, потому что наши парни знают, что отважный не тот, кто не боится, а тот, кто боится, но дальше фасон держит. А больше всего я боялся, что они меня объедут и я понапрасну лоб разобью. Но этого не случилось, и они все вместе с этим Германом уже сидят, и это радует. Потому что теперь стало спокойно, есть деньги, электростанция дымит, и будем строить новую, еще больше. Я закончил.

Перевод Борисова В.И.

История одного открытия

*Нет, не думай, что для стиха моего нужен лишь
навык,*

Что стих ко мне выходит, как из тумана строенье

—

Как образ молитвы в паренье готических арок

Иль тяжести барокко мне на грудь давленье.

Стих мой дыханьем твоим и прикосновеньем ярок,

*Сердцем ритм отбивает, шагам дает
ускоренье^[161].*

I

Переключив рубильник, Кшиштоф прошел в угол комнаты и упал в кресло. Под закрытыми веками еще горела медленно расширяющаяся в мрачную звезду фиолетовая искра, соединившая медные контакты аппарата. Его охватила огромная, упоительная усталость. Легкими движениями тела сбрасывая остатки напряжения, он удобнее устраивался в холодном кресле, прижимаясь к ледящей коже, словно искал надежную опору. Подумал, что стоит ему открыть глаза, как он увидит то, что с таким трудом искал, но минутная неподвижность была сладостнее. Вместо чувства победы его охватило великое равнодушие. Напряжение последних минут, блестящие полукруги белых дисков, ползущие по ним красные стрелки задержались у него в голове, световые блики как-то разбежались на ниточках отдаленных звуков, и он впал в короткий бездумный сон. А когда он погружался в него, было это, как если бы он, стоя на четвереньках, с трудом разгребал завалы памяти, подобные чердаку его старого дома, заполненному детскими кошмарами и призраками. И все эти старые и ненужные вещи, когда он обращал на них взор, вдруг на мгновение вспыхивали фосфорическим сиянием, заполняли его целиком, распластанного сном на ровной поверхности. Серые комки сгорали в немой пантомиме, в ореоле света. А когда из какого-то соединения предметов в него влилась мрачная волна страха, он отбросил все и поднял лицо кверху, откуда, как светлый солнечный щит, должно было явиться лицо матери. Он оттолкнул что-то, что тянуло его вниз, магия разбросанной горстки предметов, которыми он был сам, тянула его и тревожила одновременно, —

и он проснулся, осознавая в лимонном свете послеобеденного времени смехоторность усилий стиснутых ладоней, и неосознанным рывком вытер крупную слезу, которая ползла по щеке.

Он вытер ее, виновато улыбнулся и подумал, что сейчас должен произнести сложный внутренний монолог изобретателя или же встать, подойти к окну и склониться к зеленому шуму, разлившемуся до палисадника. Да, он мог сделать это и множество других вещей, но все это было ни к чему.

Это обеспокоило его. Не здесь ли скрыт тот импульс, который двигал все колеса его сложного механизма? Он окинул взглядом свой стол – большой, заставленный аппаратами, высокими аккумуляторами остроумный механизм, автоматически переключающий ток. Керч сказал ему, что изобретение этой оригинальной игрушки из зубчатых колес доставило ему величайшее удовлетворение сущностью открытия; все эти аппараты он устанавливал, соединял, долго обдумывал, бился над ними, все это не хотело действовать, не хотело работать, словно играло с ним в прятки с насмешливой иронией мертвых вещей.

Воспоминание свело в одно целое зимние хождения в госпиталь, залы, заполненные неизлечимыми больными, окладистую бороду профессора, спадающую на накрахмаленный халат, индикатор счетчика Гейгера; все это потускнело, и только один день сверкал на узкой полосе: воскресенье, проведенное на кладбище.

Он встал, скрестил руки, подумал, что кто-нибудь может войти и застать его в этой наполеоновской позе, и опустил их безжизненно. Ему было не по себе от необычного ощущения свершения: он больше стремился к неустанной гонке, к молниеносному переходу от одной гипотезы к другой, к бесконечной цепи исследований. Он помахал руками, как ненужными инструментами, чертыхнулся, и на губах появилась у него улыбка. «Ты никогда не бываешь один. – Это снова Керч. – В тебе всегда сидит наблюдатель, который контролирует все, от амперметра до малейшего собственного жеста».

Действительно, он старался. С тех пор как разбил в детстве часы, разыскивая спрятанное в них «время». А когда мать, заливаясь слезами без особого на то повода, настигла его между комодом и огромным креслом, которое осело на пол, выцвело и трещало от старости, когда она прижала его к груди, шепча, что она такая несчастная, тогда (как гласила семейная легенда) он, щуплый и белый мальчик с очень большими глазами, расширил их еще больше и спросил: «А тебе нравится быть несчастной?»

Он еще раз машинально проверил аппаратуру, нежно скользнув

ладонью по грубым корпусам предохранителей, и выбежал в коридор. На лестничной площадке его обдало холодом, а улица была залита солнцем. Низкий жар задыхался в раскаленной пыли, отталкивался от толстых стен, дрожал в витринах магазинов. Сквозь бледные листья печальных деревьев, росших вдоль мостовой, еще контрастнее пробивались лучи и желтыми пятнами падали ему под ноги. Он шел быстро, лишь бы двигаться, совершенно бездумно. В первый раз с незапамятных времен ему не нужно было ломать голову над подобным изощренным ловушке экспериментом, который он проводил. Он мог идти куда хотел – время принадлежало ему.

И это обеспокоило его во второй раз. Как это было уже недавно, когда он с карандашом в руке проверял правильность вычислений, так и теперь он на минуту ослеп, не замечая прохожих, солнечной улицы, шума моторов, и совершенно бессознательно занялся схематичным подведением итогов.

Его жизнь была подобна ряду зигзагов, очень извилистой дороге, и если бы за ней следил какой-нибудь небесный наблюдатель, ему трудно было бы ее прочесть, а еще труднее – понять. Школа: хорошие успехи, но плохие привычки. Он поднимался все выше и выше, как на очень высокий трамплин. А когда оказался наверху и посмотрел вниз, у него перехватило дыхание. Столько вещей вращалось и проходило мимо, пятна достойных желаний предметов кружились, всего этого нужно было коснуться, проверить неизвестные впечатления, слова, людей...

В первую очередь его интересовала техника. Он долго корпел над книгами, познание дарило ему наслаждение, но в результате исчезало драгоценное время, словно утекало в какие-то невидимые щели. Как его поймать? После получения диплома ему грозил отъезд, какое-то назначение, работа ассистентом. Он испугался этого и сбежал. Еще во время учебы он раз и другой написал какое-то странное стихотворение, ему говорили, что оригинальное, и двинулся в этом направлении. Некоторое время – несколько месяцев – ему казалось, что все идет хорошо: главное, не дать себя поймать, определиться, но по-прежнему удивлять, не ради удивления, а потому, что так нужно. «Не стоит уподобляться, – решил он, – автоматическому жесту, даже чуткому и направленному на достижение общественного добра, не позволю удержать себя в определенных рамках».

Потом он ухватился за биологию. Такие уж разные таланты таились в нем, перемешанные неизвестно как. Иногда ему в голову стреляла дикая идея, он срывался с кровати, на скомканной постели которой он записывал на карточки ежегодные статистические выкладки, белые листки вычислений рассыпались по комнате, а он бежал в университет, чтобы в

какой-нибудь из сумрачных лабораторий настичь соответствующего специалиста. Когда он остро и умно выплескивал эти свои видения, протуберанцы фантазии и брызги оригинальности, люди удивлялись, качали головами, улыбались. Мало кто представлял себе всю широту гаммы его хаотичных и запутанных интересов. Наконец какой-то физик, очень скептический и осторожный, которого ему не удалось заразить своей запальчивостью при выдвижении гипотез, после долгого разговора, немного похожего на исповедь, спросил его: «А на кларнете вы не играете?»

Эти слова его отрезвили. Он ожесточился, внимательно рассмотрел несколько уже начатых работ и выбрал направление, которое казалось ему самым интересным. Стол зарос бумагами, в короткие минуты раздражения он без толку атаковал растущие горы шпаргалок: иначе он не умел. Карточки были везде: записи он делал лежа, стоя, – на улице ему случалось писать на портфеле, положенном на колено: он выхватывал из внутреннего кармана записную книжку и черкал формулы неразборчивым почерком. Он вечно спешил; пространство, отделяющие университетские строения от квартиры, было его врагом. С отчаянием он отрывал незрячие глаза от страниц книги, лежащей на библиотечном столе, оценивал взглядом еще ожидающие его стопки других, охватывал голову руками и читал дальше.

Вдруг он споткнулся о камень. Вернувшись в наш мир, огляделся: ноги сами принесли его к кладбищу. Большой парк шумел, почти пустой в это время.

Солнце ткало золотые узоры меж зеленых теней, и первые сухие листья, очень красные, легко кружились в воздухе. Изгиб покрытой толстым слоем опавших листьев аллеи привел его к скамейке, на которую он присел.

Только теперь он заметил, что на ней сидит еще кто-то, укрытый в густой тени, – вечная рассеянность сыграла с ним плохую шутку. Раскрыв глаза, он узнал сидящую женщину.

Он видел ее круглый год почти ежедневно, когда спешил, а точнее, бежал в лабораторию. Краткий миг он колебался на границе воспоминания, потому что оно было частью другого образа: запруженная улица, узкий перекресток, трамвай, большая вывеска аптеки и черная угловая пристройка. Из-за этой пристройки она и выходила чаще всего. Круглая шляпка пыталась удержать рассыпающиеся золотые волосы, обрамляющие белое лицо. Сейчас она была такой, какой он помнил ее по редким снам: глаза как два больших сапфира и красные губы красивой формы. Смешное замешательство прошло, хотя сначала он хотел отступить, но взгляд

лучистых глаз упал на него, и он заметил в них блеск узнавания. Он тотчас улыбнулся и снял шляпу, садясь рядом.

Он вовсе не жаждал этого знакомства. Для его воображения было достаточно самого незначительного импульса – в планах немедленно выстраивались очертания, уже звучали глубокие, выразительные диалоги, ситуации менялись ярким сценическим образом. И он знал, что действительность никогда еще не подтверждала его видений, потому что он не умел сблизиться с кем-либо так, чтобы не составить прежде гипотетического изображения, воображаемого образа личности. А разочарований накопилось уже много.

Сидя рядом с ней, он бросил осторожный взгляд на ее профиль и сразу же вспомнил Кристину. Это имя тогда вскружило ему голову. В нем было что-то кристаллическое: не огонь, но ясный блеск, холодный и замкнутый математической конструкцией. Лицо как на камее. Красота целого, та, которая не является поверхностной легкостью, приближенной к американскому стереотипу, а сразу гибнущая вместе с завивкой, губной помадой и мимической игрой жеманности. Разве это не могло ввести в заблуждение?

Еще как, и даже жестоко. Он хотел, чтобы его принимали всего целиком, вместе со всеми несуразностями, а его сразу же назначили гением. В этой позе он продержался четыре месяца. Ужасно долго для него. Видимо, он с самого начала встал на ложный путь и потом вынужден был его придерживаться, а от этого зависит все.

Он решил откашляться, прежде чем начать говорить, но тут вдруг, совершенно неожиданно, сказал:

– Видимо, нам нужно поговорить, правда?

Она посмотрела на него. Да, ее лицо было красивым именно той красотой, какую он ценил больше всего, – все ее горизонты, так он называл отдельные контуры при переходе от en face до профиля, были прекрасны. Они не захватывали врасплох броской игрой форм ни при каком расположении, не противоречили сами себе.

– Полезно сопоставить идеальное видение с действительностью – это поучительно, – добавил он.

Глаза девушки сказали ему, что он может так говорить.

– Полагаю, вы работаете в университете – гуманитарий?

Этот дельный ответ порадовал его.

– Вы думаете, что я один из зашуганных ассистентов какой-нибудь бумагопожирающей знаменитости? Что-то в этом есть. Нет, я не гуманитарий, – медицина.

Он чувствовал, что они уже познакомились и теперь нужно пройти через все геенны и небеса этикета. Попробовал пойти напрямик:

– Вы уже давно заметили меня, так же как я вас? Женщины умеют смотреть не глядя.

– Конечно. Вы всегда носили такой набитый портфель, вот я и подумала, что вы книжный червь.

И замолкла.

А когда смотрела на него так спокойно, его охватило нетерпение. Ему хотелось вырвать инициативу из ее рук и быстро, немедленно показаться в подлинном свете, не для того, чтобы возвыситься, а для претворения истинной пропорции. «Правда, еще раз правда, и только правда», – подумал он. И одновременно в этом было что-то возбуждающее. Никто, даже Керч, не знал еще, что ключевой эксперимент удался. Эта чужая женщина будет первой.

Он подвинулся ближе.

– Я работаю у профессора Ширло, – сказал он. – Это довольно любопытная история: я вообразил себе, что с помощью радиоактивного излучения можно вылечить рак.

Она слушала внимательно. Женщины умеют внимательно слушать, даже когда ничего не понимают, но здесь было иначе. Он хотел, чтобы так было.

– Так вот, суть моего замысла заключалась в бомбардировке ракового белка определенными электрическими частицами, обломками расщепленных атомов. В прошлом году я установил соответствующую аппаратуру и засучил рукава. Три месяца назад я приступил к опытам и для начала загубил сто двадцать морских свинок.

Выражение ее лица подзадоривало его.

– Вы знаете, я привил им рак, так называемые папилломы. Так вот, рак исчезал, но свинки гибли вскоре после этого. Я начал уменьшать дозы. Потом мне пришло в голову, что излучение не должно действовать снаружи: это как если бы мы пытались удалить ненужный нарост с человеческого тела, отстреливая его из автомата. Лечебный фактор должен быть внутри системы, в самой клетке.

– Кажется, иглы с радием вкалывают прямо в опухоль, я где-то читала об этом, – заметила она.

Он обрадовался.

– Да, это правда, но и в этом случае воздействие осуществляется снаружи. Это не естественный путь, как видите. Слепое воздействие. Я решил так изменить белок раковых клеток, чтобы они сами себя

уничтожали. Нужно было делать инъекции препарата, в которых действующим фактором является радиоактивная сера. Это такой искусственно созданный элемент, который самопроизвольно распадается. Эти опыты продолжались целый месяц, и результат был таков: из двадцати раковых свинок я совершенно вылечил шестнадцать. После чего я решил приступить к эксперименту на человеке.

Теперь она смотрела на него, только на него.

– А те четыре свинки? – тихо спросила она.

– Это нормально. Не бывает идеального лечения. Никакое лекарство и никакая прививка не излечивают заболевания в ста процентах случаев. Так вот, я решил провести эксперимент и провел его. Соответствующее количество раковой ткани я привил в икроножную мышцу человека, а через сорок восемь часов приступил к терапии. Через три дня остатки неоплазматических масс исчезли – это сегодня. Сегодня утром я установил, что от них не осталось и следов. Регенерационный процесс может продолжаться еще пару дней, но это чепуха.

Он знал вопрос, который сейчас прозвучит. Неисследованный лабиринт мегаломании...

– А кто был этот человек?

– Которому привил рак? – Он еще делал вид, будто не был уверен, что правильно понял вопрос. Проклятая игра! – Это я.

Она невольно посмотрела на его ногу, затем перевела взгляд на лицо.

– Вы знаете, вся беда в том, – признался он с глубочайшей искренностью, – что сегодня я должен еще раз сделать инъекцию этой радиоактивной серы, чтобы исследовать возможное вредоносное воздействие. Это меня не очень радует, но...

– Не делайте этого!

– Не делать? – тихо повторил он, глядя уже не на нее, а вдаль. Главное, не опуститься до бесстыдного вранья. «Ах, дорогая моя, я должен. Человечество будет обязано мне жизнью».

Ветер донес перезвон часов на ратуше. Он слушал краем уха, а тело его было наполнено упругой радостью.

– Черт возьми, уже второй час. Профессор будет в ярости. – Он вскочил со скамейки, схватил ее за руку. – Прошу меня извинить. Я прошлялся все утро и не заметил, как прошло время. В час я должен быть в клинике, у профессора, а уже второй, – откровенничал он как с кем-то близким. Ему даже в голову не пришло, что они могут пойти вместе. Он слегка пожал ее ладонь и быстро ретировался. Но до самого поворота он чувствовал ее взгляд и шагал как на пружинах. Да, это была быстрая

победа.

II

Кшиштоф расставил на стеклянной плите аппаратуру. Соединив зажимы аккумуляторов с селеноидом, включил ток. Взметнулся белый огонек, и гудение отозвалось в глубине, заставляя дрожать движущиеся части устройства. Он нашел в ящике свою тетрадь, раскрыл ее и сделал несколько записей. Потом засучил штанину брюк и начал развязывать повязку.

– Что ты делаешь, Кшись?

Керч стоял в дверях, одетый в белый халат. Прижимая большим пальцем очки к короткому носу, он подозрительно смотрел, как Кшиштоф пристраивает оловянную кассету к обнаженной ноге.

– Что ты делаешь? – повторил он. – Слушай, но ведь...

– Прошу тебя, не мешай. – Кшиштоф положил на стол секундомер, запустил его и вынул первую пластинку защиты. Стрелки секундомера пустились в путь, залипая на красных делениях.

– Слушай, но ведь опыт удался, я сам вчера проверял. И следа не осталось от правозакрученного белка, распад был полный. Беды ищешь?

Кшиштоф раздраженно махнул рукой. Склонившись над камерой, он внимательно следил за показаниями счетчика. Механические циферки выскакивали из-под крышки, мелькали за стеклышком и уходили вверх.

Керч подошел поближе.

– И зачем это тебе нужно, скажи мне, зачем?

Кшиштоф торопливо щелкнул переключателем, скривился, когда задетый амперметр повис на проводах, и быстро его подхватил. Гудение прекратилось. Выставив ногу, он торопливо накладывал повязку.

– Ты прекрасно знаешь, что это необходимо. Нужно определить максимальную дозу, без этого вся работа не представляет никакой ценности.

– Можно было ее рассчитать на основе смертельной дозы для морской свинки и собаки и соответственно экстраполировать.

– Хорошо. – Кшиштоф, хмурясь, сложил провода в ящик.

– Слушай, надеюсь, это в последний раз, хорошо? – Владислав уже не сердился. Схватил его за руку, потянул. – Прошу тебя, Кшись.

– Но все это не имеет никакого смысла. Дорогой мой, надо переписать все это набело. Думаю, уже на этой неделе пойду к Ширло.

– Но это в последний раз?

– Еще одна доза... вечером. Должен быть, ты ведь понимаешь, достаточный интервал между лечебной и смертельной дозой. Сейчас, – он посмотрел в тетрадь, – я экспонировал тридцать секунд. Такая же порция вечером.

Керч ударил кулаком по столу, готовый возразить, хотел взорваться, но только посмотрел ему в глаза и ничего не сказал.

Кто-то постучал в двери.

– Войдите! – Кшиштоф несказанно удивился при виде Ширло, отступил назад. – Вы постучали, господин профессор? Как это... но...

– Прошу меня извинить, господа, я не хочу вмешиваться в ваши дела, но Стефан сказал мне, что осталось всего четыре морских свинки... правда?

– Да, но...

– Я хотел лишь спросить, будут ли сопутствовать вашей работе подобные жертвоприношения в дальнейшем? Если так, то нужно заказать еще большее количество...

Смущенный и несчастный, Кшиштоф мял в руках резиновую трубку.

– Господин профессор, в принципе работа уже заканчивается, этой истории со свинками не удалось избежать, прошу меня извинить, если...

Ширло внимательно посмотрел на него своим ясным взглядом. Большой и тяжелый, он повернулся к двери и, шагнув, сказал:

– Не стоит извинений. – И уже мягче: – Вы всегда можете застать меня на кафедре.

Он слегка поклонился в сторону стены и вышел.

Керч машинально переставлял пробирки.

– Я говорил тебе, что нужно все ему рассказать. Это какие-то детские методы.

– В субботу все будет в порядке.

Кшиштоф подошел к окну и вдруг зашипел от боли.

– Что с тобой? – Владислав приступил вплотную.

Кшиштоф хотел вырвать руку, которую тот взял, чтобы проверить пульс, но не стал противиться.

– Да чепуха, кольнуло меня – вот здесь, – потер он болезненное место в боку.

– Ischiadicus?^[162] – Керч нажал сильнее. – Болит?

– Нет.

Керч подошел к шкафу и вернулся с механическим пинцетом для забора крови.

– Дай палец.

Он был так деловито настроен, что ему невозможно было сопротивляться. Кшиштоф послушно подставил палец, на подушечку которого Керч опустил механистическое острие. Набрал большую каплю крови в пипетку и понес в другую комнату. Кшиштоф выписывал цифры из толстого блокнота, когда он вернулся. Очки у него были подняты на лоб, но он не замечал этого. Держал в руке стеклышко, на котором виднелась тень подкрашенной анилином крови.

– У тебя заметный лейкоцитоз. Кроме того, низкий уровень эритроцитов. Нельзя тебе ни в коем случае больше облучаться, ты понял?

Кшиштоф вздохнул, кивнул и встал.

– Пойду сейчас немного пройдуся. Голова у меня болит.

Керч отрицательно помотал головой.

– Никуда ты сейчас не пойдешь. Раздевайся, я должен тебя обследовать.

Отвернувшись к раковине, он мыл руки под громкое бульканье воды. Кшиштоф, апатичный и немного сонный, сидел на стуле, дожидаясь, пока друг не повернется к нему. Керч повернул ключ в замке:

– Ну, иди сюда.

Он придвинул к себе лампу.

III

Керч постучал в дверь и вошел, услышав ответ, донесшийся из глубины комнаты. Ширло сидел за столом, откинувшись назад, с очками на лбу, и смотря на входящего ясным взглядом, словно требуя говорить по существу. Его огромное тело, казалось, было с размахом скроено по каким-то древним, уже не существующим лекалам. Керч чувствовал себя словно перед лицом существа из другого материала, и тяжеловесность профессора от этого впечатляла еще больше. Он неловко поклонился, закрыл двери и подошел к столу. Профессор едва заметно кивнул ему и застыл в ожидании.

– Господин профессор, я хотел бы рассказать вам об одном деле.

Самое трудное было начать. Керч проглотил ком в горле и продолжил:

– Но вы должны мне пообещать, что не используете это во зло.

Ширло гневно тряхнул головой:

– Что еще за условия?

– Речь идет о нашей работе, доктора Завады и моей, – продолжал Владислав, отчетливо пытаясь придерживаться плана разговора, чтобы не

потерять путеводную нить.

Ширло вдруг наклонил голову так, что его седые волосы стали особенно заметны на фоне спинки кресла. Повернувшись в сторону говорившего лицом с гигантским бугристым лбом, он замер.

– Я могу вас попросить об этом одолжении, профессор?

Тот едва заметно кивнул, не поднимая головы.

– Говорите.

– Мы давно уже хотели поделиться с вами результатами исследований, но, учитывая возможные непредвиденные последствия, коллега Завада желал дождаться полного их завершения, чтобы избежать схематичности мышления.

Керч отчаянно пытался выбраться из лабиринта риторики.

– Вы знаете о наших исследованиях с самого начала, то есть с того времени, когда доктор Завада заинтересовался удивительными случаями регрессивного развития новообразований после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Его идея заключалась в том, чтобы использовать атомы серы, которые находятся в правозакрученных аминокислотах раковых белков, для выделения и распада ядерных нейтронов. Опыты вызвали массовую гибель морских свинок, которая так удивила сотрудников клиники. Однако Завада требовал окончательной проверки достигнутых позитивных результатов... и решил, что следует провести эксперимент на человеке...

Ширло поднял голову так неожиданно, что Керч испугался.

– И?.. – спросил профессор. Его глаза сверкнули стальным блеском.

– Завада подвергся облучению быстрых электронов и ввел себе изотоп серы... – ответил Керч, ускоряя речь, словно готовясь взять барьер.

Взгляд серых глаз прояснился, и Керч, проглотив комок в горле, добавил:

– О том, чтобы это был именно он, решил жребий, случайность.

– Ясно, – нетерпеливо кивнул профессор. Глаза его исчезли под нависшими бровями.

– Действительно, та раковая ткань, которую Кшишт... Завада вколол себе в правую икру, была разрушена молниеносно... Мы решили, что эксперимент удался. Однако два дня назад доктор Завада, не поставив меня в известность, снова подвергся облучению с целью, как он сказал, определения количественного различия между лечебной и смертельной дозой...

Профессор не дрогнул. Только глубокие морщины на его лбу застыли, как трещины в камне.

– Кальций в костях, подвергшихся воздействию быстрых частиц,

приобрел свойства радиоактивного распада и продолжает распадаться, – закончил Керч, дыша, как после тяжелого бега.

– В чем это проявляется?

– Кроме побочной невралгии, костный мозг на облученном пространстве полностью утратил способность вырабатывать кровяные тельца. Это злокачественная анемия, продвигающаяся вдоль кости; единственным спасением мне представлялась ампутация.

Он снова увидел светлые глаза профессора, от взгляда которых уклонился, повернув голову в сторону.

– Представлялась... Но коллега Завада вчера отказался, а сегодня... уже были атакованы кости таза. Распад идет дальше, вызывая незначительные изменения в нервах.

Он замолчал, набрал воздуха. Обеими руками оперся о стол, край которого вдруг повлажнел под пальцами, и выдохнул:

– Это вопрос нескольких, максимум десяти, дней. – И умолк.

Ширло, сгорбившись над столом, сидел неподвижно.

– И только теперь вы мне это рассказываете? – сказал он спокойно, но с издевкой. – Да?

Керч, очень бледный, держался за стол.

– Я не мог уже... дальше один... – пробормотал он.

– Ясно. Завада все это понимает? – спросил профессор, не глядя на Керча.

– Да, последние три дня он продолжает нашу работу и возвращается по вечерам в клинику, чтобы... чтобы успеть.

– Чтобы успеть? – Профессор медленно повторил два этих слова. – Не знаю... не могу знать симптомов такой болезни, тут вы ориентируетесь лучше меня. – Он говорил спокойно, разглядывая что-то очень важное за краем стола, как если бы выдвинул ящик. – Были попытки лечения?

– Были, как только начал падать уровень эритроцитов. Камполон, конечно, не помогал... но, *ut aliquid fieri videatur*^[163], я пробовал все... вчера достал пол-литра крови. Я не мог ему дать свою, потому что у меня другая группа, – добавил он шепотом, а Ширло вдруг посмотрел ему в лицо, искривленное и потемневшее, – так много муки было в этих словах.

Подождав минуту, пока Керч, с трудом придя в себя, выпрямился и наконец оторвал руки от стола, профессор откинулся назад, словно чего-то ожидая.

– Завада хотел бы показать господину профессору результаты нашей работы, это целая теория распада... Но мне кажется, что он не знает, как это сделать. – Керч поднял руку ко лбу, посмотрел на нее с удивлением и

безотчетно опустил.

– Если меня обязываете не вмешиваться, тем более что ничего уже... – Ширло пожал плечами, встал, огромный и сутулый, и подошел к окну. – Вам известен дальнейший, предполагаемый ход болезни?

– Да, картина заболевания точно такая же, как у морской свинки. Поочередно будут атакованы длинные кости, затем плоские, наконец – костная основа черепа... Это конец...

Ширло смотрел на сумрачную зелень шумящего парка.

– Ну хорошо, идите к себе. Завада в лаборатории?

– Да.

– Лучше не оставлять его одного, – сказал Ширло таким странным тоном, что Керч, пятившийся спиной к двери, остановился.

– Господин профессор, если... если нужно... если вы возьметесь за эту работу, то я всегда готов...

– Идите уже, – со злостью сказал Ширло и отвернулся к окну.

Керч дернул дверную ручку и выбежал, обливаясь потом, в темный коридор.

IV

Кшиштоф ужасно спешил. Выглядывая из окна трамвая, он всем телом вписывался в каждый поворот, машинально напрягая при этом мышцы. В глазах у него мелькали цветные домики с опоясанными виноградной лозой стенами. Он с удивлением смотрел на хорошо знакомые улочки, старался как следует их запомнить, зафиксировать, словно должен был все это унести куда-то с собой и сохранить.

На остановке у кладбищенских ворот было пусто. На солнцепеке сидела сухонькая старушка с цветами в кувшинчиках. Кшиштоф не раздумывая купил два букетика влажных фиалок и пошел по главной аллее.

На кладбище шумел ветер. Движущиеся занавесы листьев поднимались и опадали, колыхались, словно прибой, и сквозь них пробивались лучи солнца. Внизу лежала густая тень, зеленая, темнея у стволов старых лиственниц. Кшиштоф шел по улице меж гробниц, машинально считая эти суровые строения, и свернул на узкую, поднимающуюся вверх дорожку.

От быстрой ходьбы у него на минуту перехватило дыхание, и он остановился под деревом. Это был молодой каштан. Глядя на его трепещущие листья, он дотронулся до ствола, который упруго прогибался

под ветром. Это снова напомнило ему о необходимости спешить. Тут и там из листвы выныривали бледные изваяния – печальные ангелы, изваянные кладбищенскими каменотесами. Тут и там на глаза попадались хрупкие, кружевные железные кресты, чтобы тут же исчезнуть в сумятице света и тени. Он побежал дальше.

Внезапно обрамлявший дорогу вал густого кустарника расступился, и за широкими арками кладбища Защитников открылась даль пространства.

Замкнутые дугой колоннады ряды могил каскадом уходили вниз, к городу. В небо – полоса румян и разбавленной лазурью зелени – вздымалась резная вязь крыш, серебрившихся на солнце стройных башен и золотых крестов. Там, где горизонт утонул во мгле, кружились каруселью полосатые поля. Кшиштоф набрал в легкие воздуха с горьким привкусом смолы и начал спускаться. Мраморные ступеньки звенели.

Он шел до тех пор, пока регулярные квадраты могильных плит не расступились. Две маленькие, детские тропки убегали в сторону от дороги, наверху темнел пропеллер, под углом прибитый к кресту на могиле погибших летчиков, а дальше, на изломе стежек, открывался плоский прямоугольник гранита.

Он остановился. Неподалеку мраморный блок, испещренный кристаллическими жилками, светился черным светом. Знакомая надпись:

Весны торжествуя приход,
Выковал тяжкий молот
День один, что был так молод,
И один наивысший взлет^[164].

Могила, на которую он пришел, едва поднималась над землей. Буйно разросшаяся трава покрывала ее косматой зеленью, в которой искрились серебристые волоски. Жесткие языки колосьев шелестели, задевая о края бетонной плиты, на которой рыжело круглое железное кольцо. Он неловко склонился, положил цветы и хотел их поправить, но отдернул руку. Так и осталось бедное лиловое пятно на ржавой пыли. Он смотрел на них, как на последнюю страницу книги. Потом поднял голову.

В этот миг ему показалось, что в немой невыносимой тишине, наполненной запахами и шелестом, он стоит над собственной могилой. Далекая надпись на каменной арке сама всплыла перед глазами:

MORTUI SUNT, UT NOS LIBERI VIVAMUS^[165].

Он тянул эту минуту прощания, потому что больше ему уже нечего было делать. Он устоял на плиту, мысленно поднимая ее. «Что ты там значишь?» – хотел он спросить, но испугался. «Неужели в такую минуту я уверю из одного только страха? Зачем я сюда пришел, разве рядом с гнилью и прахом я к нему ближе? Если Вацек жив, то лишь во мне». Он наклонился еще раз и встал на колени. С волнением осмотрел угол плиты и нашел затертую тень слов, которые сам усердно вырезал два года назад:

«Finis vitae, sed non amoris»^[166].

«А теперь, – подумал он, – кто о тебе еще будет помнить?»

Но тут же пришла мысль: «А ведь речь идет обо мне самом...» Фрейдовская сублимация. А к ней – третья, уже двухэтажная: «Я никогда не остаюсь один, рядом всегда есть контролер». Так в мыслях он отодвинулся от могилы, а рука легла на теплую траву. В глазах уже потемнело. Он словно погладил жесткую мальчишескую шевелюру. Он наклонился и поцеловал камень.

Камень был твердый и весь в песке. Одуревший, размякший и слабый, он встал и отряхнул колени. Сбоку густо росли цветы, самые прекрасные, потому что кладбищенские и одинокие, те, что цветут только для себя, а не для человеческих глаз. Это из него, из него растут эти цветы, подумал он и поправил себя: это он сам. Это частицы его тела цветут и пахнут, молчат и переливаются на солнце. «И я так буду?»

На его удлинненную вечерним солнцем тень пала другая: колокола юбки, скрывающего стройные ноги, – и он обернулся. Обернулся так резко, что наткнулся взглядом на женское лицо с голубыми глазами. Они были так близко, что он заглянул прямо в них. Так, как временами бывало, когда он проходил по пригородным улочкам, возвращаясь с кладбища, и миновал освещенные окна, мельком заглядывая внутрь. И не заполненное людьми пространство, пустая, но полная света и ароматов комната поражала его неожиданной грустью. Лампа с абажуром струит пастельные лучи на обои, стол накрыт белой скатертью, а стекло светится, как на картинах голландских мастеров. Нет никого, но меж кресел, на которых чьи-то руки разложили для удобства шерстяные подушечки, и тяжелой, сверкающей полировкой мебелью таится что-то, что останавливает его, одинокого пешехода. Опираясь концами пальцев на штукатурку в трещинках, он смотрит из глубины лазурного вечера. Сейчас отойдет, не вернется никогда. Но смотрит.

Так он взглянул на нее. Это был миг, когда с выражением испуга на лицах они машинально сказали в унисон: «Извините...», вместе

улыбнулись, чуть смущенные. Когда она отшатнулась, он узнал ее.

– Это вы? – удивился он, так как странным образом ему показалось, что она пришла к нему. К нему – на кладбище.

– Я прихожу иногда... Так, ни к кому, – сказала она, подавая ему холодную ладонь. Он не торопясь пожал ее.

У могилы Вацека была каменная скамейка. Девушка стояла так близко к ней, что ветер ласкал край скамейки ее юбкой. Они сели, словно сговорившись, и повернулись лицом к городу.

Кшиштоф улавливал выгнутую панораму краем глаза, поскольку общий вид города заслонял ее профиль. В нем словно закрылась трещина, через которую наружу вытекало все, что было. Он запоминал форму лба, беспокойную прядь волос, изгиб ресниц и лукавую дугу подбородка. Молчание связывало его с ней в отличие от других людей.

– Как у вас идет работа? – сказала она наконец, оторвав взгляд от лилового пламени облаков.

– Хорошо, – улыбнулся он.

Он был совершенно искренним. Все шло хорошо, не правда ли? Он посмотрел на руку и заметил божью коровку, которая ползла по фаланге указательного пальца. Красная пятнистая бусинка очень важно маршировала по большой возвышенности. Подчиняясь прихоти, он приблизил к себе ее ладонь и опустил коровку в розовую раковину. Букашка заторопилась, побежала по гладкой коже и, наконец, взобралась на кончик пальца. На выпуклом зеркале ногтя задумалась, свесив ножки в глубокую пропасть, и упала красной каплей в небо. Улетела.

Он взял ее за руку. Они снова посмотрели друг на друга, и она словно хотела заслониться какими-нибудь словами, но Кшиштоф не обратил на это внимания.

– Так можно и в Бога поверить, – сказал он тихо, исполненным глубокого удивления голосом.

Она вопросительно взглянула на него.

Он хотел объяснить, но не нашел слов. Откуда такое удивительное спокойствие? Он сидел у могилы Вацека, а девушка – чужая девушка – была рядом с ним. Только руку протянуть. Но в этом не было надобности, ему казалось, что он все уже сделал. Разве нужно говорить? Словами ничего нельзя сделать, разве только как бы рукой показать направление. Успеет ли он?

– Иногда, когда я иду по улице, – говорил он как бы сам себе, – мне вдруг кажется, что я прозрел. Все, что вокруг, вижу в первый раз. Не понимаю, как я сюда попал, что означают стены, крыши, свет, вижу

больших механических членистоногих, обрывки звуков, тела, передвигающиеся на параллельных плоскостях. Как будто все дано мне на короткое мгновение. Для временного существования. Может быть, совершенного, но совершенного по-другому. – Он запнулся от обилия переполнявших его невнятных мыслей. Посмотрел на низкие облака, сливавшиеся друг с другом, перетекавшие в различных направлениях. В них открывались и исчезали кирпично-красные и пепельные пещеры. Как будто я должен улететь, – беспомощно закончил он, потому что в этом было что-то совершенно неприемлемое. Он осмотрелся вокруг себя в поисках опоры.

– Да-да, – согласилась она.

– Вы знаете? – Он даже встревожился. – Что вы... – Хотел продолжить он, но вместо этого подумал: «Да, я люблю ее, нужно очень спешить...» Вместе с этим он почувствовал растущее в неожиданно запавшей тишине внезапное притяжение их тел, они как бы склонялись друг к другу, оставаясь в полной неподвижности. Колени их соприкоснулись, и из точки этого касания по телу поплыл обжигающий ток. Он посмотрел ей в глаза и увидел, как они округляются и добреют.

Это был момент дрожания рук, перехода через границу жеста. Но если до сих пор он не только не мог поверить в свою гибель, а даже понять ее, то сейчас вдруг почувствовал, как глубочайшую неизбежность, укрытую в себе смерть. Это она диктовала ему все поступки и слова, он не мог отступить от нее. Его охватил не страх, а глубокое сожаление, что он должен отступить в эту минуту озарения. В золотом и прозрачном сиянии вечера, которое затухало в сквозной синеве, он со всей возможной отчетливостью чувствовал бесповоротное истечение всего, чувствовал, как земля уходит у него из-под ног, а девушка, смотревшая на него в чуть удивленном ожидании, отдаляется, возвращаясь в глубинное, непонятное ей одиночество. Он сам бы не смог объяснить мотивы своего поведения в последние дни – знал лишь, что было в нем что-то от многократного бегства, последняя попытка обретения свободы.

Она не шевельнулось, но тело ее было уже чужим. Он не пересек границы, по-прежнему сидел неподвижно, всматриваясь в закатное небо. Теперь тишина стала невыносимой, мучительной. Он вскочил и готов был бежать, пробормотав несколько слов прощания. Он знал, что это последние слова; где-то глубоко в нем даже блуждала мысль, что вскоре она будет по-другому понимать его, храня каждое движение и интонацию голоса как бедную, посмертную памятку, но все это было так незначительно, что он не обнаружил в составе патетически метких выражений никакого смысла. Он

хотел как можно быстрее отделаться и убежать. Рука, которую он поцеловал, была слабая, как мертвая. Он побежал вверх по мраморным ступенькам, кратчайшим путем пересек кладбище под насмешливым взглядом спокойных могил и, наконец, чувствуя острую боль в ноге, добрался до ворот. Трамвай, бренчащая коробка, как раз отъезжал в город. Он вскочил на подножку. В последний раз замаячили за черными прутьями железной решетки листья, разметенные движением вагона, а в глубине маленький и хрупкий силуэт женщины, неподвижно стоявшей в глубине главной аллеи, как мотив цветной олеографии.

Лаборатория была пуста. Кшиштоф, склонившись над плоским щитом электрометра, сделал последнюю серию измерений и записал результаты. Отключив аккумуляторы, он спрятал все провода в ящик и старательно накрыл аппаратуру чехлом. Подойдя к шкафу с препаратами, он долго размышлял, затем выбрал стеклянную баночку и поставил ее на стол. Потом погасил свет и поискал рукой накидку, повешенную на ручку какого-то кресла. Когда он повернулся к выходу, то заметил в дверях, в глубине, высокую темную фигуру. Это был Ширло.

– Господин профессор? – спросил он со страхом, шагнув вперед. Старик тоже сделал шаг, и теперь они стояли, разделенные столом. Кшиштоф не хотел опять зажигать свет, тем более что на столе стояла баночка, и всматривался в массивное лицо, как в привидение, всплывшее из мрака.

– Не беспокойтесь. – Профессор был в плаще и своей черной шляпе. – Я заглянул сюда, проходя мимо. – И добавил: – Я вас ждал.

– Керч вам сказал?.. – спросил Кшиштоф и тотчас пожалел о произвольном вопросе.

– Да.

Кшиштоф дрогнул, но сразу же понял. Нет. Этого он, конечно же, не мог знать...

Профессор осмотрелся во мраке и поискал глазами аппараты, которые стояли в углу, как странные многоугольники черноты.

– Вы продолжаете работать?

Кшиштоф потряс головой; его обжег внезапный стыд.

– Это не то, господин профессор, это не то... Я не затем делал измерения, чтобы... – Он запнулся. – Я исследую темп распада, потому что...

Он снова запнулся. Слова, которые он хотел произнести, растаяли.

– Потому что боюсь, – добавил он тише, с полным удивления

облегчением: он и не замечал этого прежде.

– А тогда? – Голос у профессора был ровный. Мимолетный свет проник из окна и выхватил его лицо из темноты.

– В первый раз? Я думал, что все пойдет хорошо.

– Наблюдая гибель морских свинок, которую вы вызвали?

Кшиштофу показалось, что в голосе его прозвучали нотки иронии, и он опустил голову.

– И тогда боялся, – признался он глухо, внутренне убеждаясь, что это правда, что это было именно такое состояние: возбуждения и чрезмерной уверенности, – которое и вызвало поспешные, непредвиденные и не очень аккуратные эксперименты.

– Боялись? И что же?

Разговор стал мучительным. Кшиштоф старался отвечать, но в нем росло ощущение пустоты.

– Так было нужно... – шепнул он беспомощно.

Профессор поднял руку и очень медленно снял шляпу. Он не дрогнул, выпрямившись, только голова засияла белой гривой. Он медленно обошел стол и встал лицом к лицу с Кшиштофом, которому приходилось смотреть вверх, туда, где были глаза профессора.

– Я не могу понять, – шепнул Ширло сам себе, – зачем вы повторили опыт на себе? Для кого?

Эти два последних слова были нацелены так метко, что Кшиштоф невольно заслонился рукой и отшатнулся:

– Господин профессор!

И после длинной минуты быстрой передышки:

– Я... не задумывался.

– Не хотите быть откровенным? – Стол заскрипел под тяжестью тела старика, когда он оперся на него. – А вас никогда не удивляло, что я, человек столь неотзывчивый, который никому не давал возможности работать самостоятельно, открыл вам – чужому – мою лабораторию? Что дал вам все, что у меня было? Вы думаете, что меня сразу убедили ваши гипотетические рассуждения? Что я делал это во благо науки?

Он умолк. Когда давление тишины достигло наивысшего напряжения, Кшиштоф вынужден был ее прервать.

– А почему, господин профессор? – шепнул он.

– Потому что мне казалось, что я понимаю вас. Я верю только в такого человека, который не отступает, не колеблется, который не идет ни за кем, только за собой... И остается верным себе. Такие люди не от мира сего.

– И потому?... Вы думали, что я?..

– Потому, что я поверил в вас, – подтвердил Ширло.

– Если так... – лепетал Кшиштоф, – если так, господин профессор, это правда. Я делал все это не для славы, не для человечества, не для кого-либо. Только для себя. И это... потом... тоже. И сейчас. – Он подошел ближе. – Господин профессор, здесь банка с цианистым калием. Теперь я не стану его принимать. Но распад продолжается. И когда дойдет до головы, до черепа, вы понимаете? Потеря сознания, начну бредить, изменения в мозгу, конвульсии, как у моих свинок. Господин профессор, вы меня понимаете? – Он вглядывался во мрак, вслепую искал его лицо.

– Да, мой мальчик.

И оба, словно подброшенные невидимой силой, вдруг нашли друг друга и на короткий миг сошлись в неожиданных объятиях.

Перевод Борисова В.И.

Сад тьмы

*Ich habe keine Geliebte, kein Haus,
Keine Stelle, auf der ich lebe.
Alle Dinge, an die ich mich gebe,
Werden reich und geben mich aus.*

Rainer Maria Rilke. Der Dichter^[167]

I

В последние дни сентября небо было голубым, но с полосами зеленоватых теней, как бы втопленных в глубь стеклянного шара, уменьшающего солнце. Темные ночи задолго до его восхода насыщались рассветом, распространяя его по всем закуткам парка. На клумбах догорали георгины. Воздух разламывал свет на все более темные тона, и деревья, которые обмакнули в красное и коричневое золото, поднимались все выше, не поспевая за течением времени. Невидимые насекомые чертили в воздухе длинные серебряные полосы, похожие на нити. Гусеницы торопливо доедали последние зеленые черешки. Листья трепетали на изгибах ветвей, как обрывки парусов. Они отрывались и летели, несомые ветром, словно большие испуганные ночные бабочки, поднимающиеся на высохших крыльях, испещренных пятнами загадочных глаз, неслись по пустым аллеям в вихрях потревоженного воздуха и падали вниз. Уже не было видно травы, только поспешный шелест, сыпучий шорох, мелкая нервная дрожь в легком ворохе, прожилкованном тонким рисунком. Из нагретой темноты вылезали отсвечивающие синим жуки, механически перебирая лапками, и сгребали все увядшее, пожелтевшее, пожухлое, скрываясь в глубине растущих отложений, блуждая в лабиринтах своего пути и сотрясая листья мертвым движением. Потом солнце погружалось во все более густые слои воздуха, светило как из-за толстого пласта льда и, наконец, остывало, приобретая фиолетовую окраску. Сумерки – это особенная минута, когда пространство между людьми начинает расщепляться. Связанные между собой до тех пор предметы и их тени разъединяются, индивидуально для каждой пары глаз. Горизонт, освобожденный от власти перспективы, которая охватывает его невидимой конструкцией, исчезает, а близкое окружение расплывается, размножается

и преобразуется, превращая монолитную панораму дня в хоровод сменяющих друг друга образов. И темнота не единственная виновница этого изменения: она лишь вбивает клинья в щели застывшей архитектуры, проводит по глазам наблюдателя кисточкой с сепией, передвигает декорации так долго, что небо распадается на отдельные купола, принадлежащие людям, так же как раковины принадлежат садовым улиткам.

Кшиштоф выходил из мастерской, когда первые тени дали старт метаморфозе ландшафта. Чтобы свет не рассеивался слишком быстро, разгоняемый ветрами ночи, чтобы можно было хотя бы частично задержать наступление темноты, по улицам были развешаны фонари, в кругах света которых предметы трезвели, тени ложились плашмя, а ослепленные небесные созвездия пятились в пустоту. И только за границами бодрствования мрак вставал на дыбы, превращал деревья в чудовища, хозяйничал в пустых переулках, подступая к ослепшим фонарям. Кшиштоф спешил в парк, чтобы как можно скорее миновать зону враждебных влияний и оказаться среди деревьев. Он безошибочно находил нужную тропку, быстро шел по ней легким шагом, который не мнет травы, а лишь тихо шелестит в ворохе листьев, и раздвигал плотные ветви.

За барьером кустов, оцетинившихся колючками, располагался небольшой округлый участок, засеянный низкой травкой. Это было место, известное лишь садовникам: в своих зеленых шапках, с красными лицами, днем они сновали по саду, как большие усатые жуки, накалывая на палку с шипом обрывки и клочки бумаги, засоряющие дорожки, а под вечер направлялись, один за другим, к плотной стене кустарника. За хорошо укрытой маленькой калиточкой, которую пытались одолеть вьюнки, находилась большая, глубоко врытая в землю бочка, полная сладкой, холодной воды. Это был сборник дождевой воды, которую они набирали в дребезжащие лейки, медленно выходили из чащи, глядя, не подсматривает ли кто за ними, и направлялись к цветам, осторожно неся низкий, мягкий дождик. Кшиштофу удалось подсмотреть это маленькое урочище. Он появлялся в его окрестностях, когда последний садовник исчезал в отдаленном домике, задвинув зеленые занавески на маленьких окошках.

Кшиштоф осматривался вокруг, затем обходил ярко светящуюся предостерегающую табличку, словно это было огородное пугало, открывал калитку и входил внутрь. Кусты клубились темными валами, ограничивая круглую площадку. Посередине стояла бочка со скользкими толстыми стенками из всегда мокрых досок. Рядом была маленькая лавочка. Сев на нее и подняв голову, можно было смотреть в великий звездный колодец. И

достаточно было перегнуться через обод бочки, чтобы увидеть другое небо, усеянное звездами, еще пронзительнее и острее. Легчайшее дрожание воды было связано с дрожанием звезд. На этом втором небосводе виднелись бреши неожиданной темноты, как черные метеоры: это плавали опавшие листья. Кшиштоф бывал в этом месте только поздними вечерами, поэтому не замечал никаких деталей, которые могли бы омрачить общее впечатление. Он всегда видел над собой только черный круглый купол, который, когда он сидел, высоко поднимался над контурами земных предметов, оставляя взору только небо. Да и лавочку, на которой сидел, он знал только на ощупь: помнил грубую, жесткую шероховатость волокон дерева, ставших рельефными от морозов и дождей. Слабый свет если и добирался, то лишь до глаз, затапливая все, что было ниже, монолитным покоем. Последние ночи сентября были особенно прекрасны: с деревьев иногда слетали листья, пересекая небо, как клин далеких птиц. Звезды светили слабо, так что когда нетерпеливый глаз пытался рассмотреть их получше, размазывались в серебряное пятно и исчезали, появляясь только через минуту на границе поля зрения. Здесь не было ничего постоянного: даже известные созвездия, отрезанные сектором наблюдения от родственных звезд, приобретали новую, особую самостоятельность и преобразовывались так, что их невозможно было каталогизировать.

Это было особенно замечательно потому, что Кшиштоф не проводил астрономических исследований. Он вступал в темное чрево, садился, опираясь головой на край бочки, от которой веяло холодом, хотя ее стенки покрывал гладкий мех, и небо осыпало его роем бледных мерцающих искр и более темных, чем ночь, облаков.

В последний вечер сентября Кшиштоф пришел сюда еще более усталый, чем обычно. Нервозность, которую вызвали лязганье жести, отблеск пламени и запах горящего железа, успокоила темнота, как мягкая лапка обитого бархатом глушителя успокаивает дрожащие струны фортепиано. Однако усталость оставалась во всем теле, и, усевшись на лавочку, он взглянул вверх не с таким интересом, как обычно. И в этот момент услышал в темноте шелест.

Он подумал, что приближается кто-то из садовников, сжимая в узловатых пальцах дубинку, чтобы достойно приветствовать незваного гостя, и насторожился. Но калитка скрипнула очень легко, словно ее шевельнул порыв ветра, и в обрамлении черных листьев показался силуэт девушки. Кшиштоф сидел, затаив дыхание: незнакомка, продвигаясь практически вслепую, но так уверенно, словно хорошо знала местность, наткнулась руками на бочку, обошла ее и, найдя лавочку, хотела сесть, но в

этот момент наткнулась ладонью на плечо Кшиштофа. Раздался слабый возглас, который перешел во вздох. Затем наступила минута полной тишины, на фоне которой блестили зеленые и голубые звезды. Затем он отчетливо услышал ее дыхание.

– Извините, здесь кто-то есть?

– Да, – ответил Кшиштоф, не вставая с места. – Я здесь.

– Извините, пожалуйста, – повторила она, – я не знала, что здесь кто-то есть. Я пришла... пришла...

– Вы хотели посмотреть на мои звезды? – помог ей Кшиштоф. – Прошу, садитесь, пожалуйста. Если вы пожелаете, я уйду, но признаюсь, что хотел бы остаться: никогда еще не видел так ясно глубину Млечного Пути.

Девушка, как ему показалось, сместилась в сторону, потому что ее голос слышался откуда-то сбоку, – видимо, она оперлась на выступ бочки.

– Вы смотрите на свои звезды? – подчеркнула она голосом. – А я думала, что это мое место, только мое, что никто не знает о нем.

– О нем знает садовник, – строго напомнил ей Кшиштоф, а из темноты донесся короткий сдавленный смешок.

– Наверное, знает... А я знаю, что он ничего не имеет против того, чтобы я сюда приходила. Но я не знаю...

– А, так вы узаконили эту маленькую тайну? Может быть, садовник и рассердился бы на меня, но я не чувствую за собой никакой вины. Я не мусорю, не хожу по газонам, просто сижу и жду.

Необъяснимым образом он почувствовал, что девушка улыбается. Ее голова вырисовывалась на фоне неба, ее было видно благодаря тому, что она закрывала группу звезд.

– И чего же вы здесь ждете? – спросила она, и голос ее был таким проникновенным, что теперь улыбнулся и Кшиштоф, так, как можно улыбаться, только будучи невидимым, в темноте.

– Я охотно расскажу вам об этом. Но прошу вас сесть – на лавочке достаточно места, – а бочка вся мокрая и покрыта плесенью.

– Это не плесень, а мох, очень мягкий и сухой, – сказала она, и он почувствовал легкое дуновение, принесшее едва уловимый запах. Тень передвинулась перед его взором, и лавочка дрогнула.

– Вы здесь? – спросил он, невольно приглушая голос. – Не нужно трогать звезды, ни в бочке, ни на небе... Усаживайтесь поудобнее, я освободил место.

Теперь он чувствовал, что она совсем близко.

– Вы хотели мне что-то сказать?

– Да, вы ведь спросили меня, чего я здесь жду. Я нашел лавочку и эту дыру в небо сам, потому что она мне нужна. Я прихожу сюда каждый вечер и... извините, но вы сказали, кажется, что это ваш наблюдательный пункт, а мы ни разу не встречались...

– Обычно я бываю здесь позже, потому что отец не любит, когда... – Она оборвала себя на полуслове. – Впрочем, это не важно. Продолжайте.

– Так вот, я прихожу сюда, кладу голову на край бочки – вот так – и жду, когда появятся стихи.

Минута тишины.

– Ах, так вы поэт? Можно верить на слово?

– Даже нужно, потому что признаюсь вам: до сих пор я ждал напрасно. Видимо, я хороший поэт... Плохой уже насочинял бы множество рифмованной чепухи. А я только жду, иногда что-то начинает мне подсвечивать, но поймать это и унести домой – сложнейшее искусство. Стихи боятся слов и прячутся в такой темноте, из которой их невозможно достать.

– Вы так непонятно говорите...

– Нет, это действительно так. Стихи уже существуют, понимаете? Их нужно только отыскать. Хорошее стихотворение легко распознать именно по тому признаку, что оно состоит не только из слов. Оно складывается из двух частей: из той, которую удастся поймать, и той второй, которая остается неуловимой. Поэтому стишок, сколоченный только из слов, весь такой искусственный, такой скованный... что... ну, я вовсе не хочу вам читать тут лекцию.

Он задумался, передвигая мысленно перед собой в небе звезды, как костяшки счетов.

– А вы любите сказки?

Лавочка под девушкой дрогнула.

– Очень люблю, но не страшные.

– Страшные – это не сказки. Рассказать вам настоящую сказку?

Наступила тишина. Он посмотрел в темноту, где, как он думал, была ее голова, и почувствовал дрожание воздуха, согретого ее телом. Край платья касался его плеча. Устремив взор к небу, он начал:

– Сказка называется «Астронавт».

Это было в давние времена, когда печаль цвела, как маленькое растение, еще более редкое, нежели сейчас клевер с четырьмя листочками. В те странные, далекие времена Земля была намного меньше, меньше были и все другие планеты, но их можно вообразить, разглядывая в огороде

очень старую тыкву с огрубевшей, сморщенной кожурой. Конечно, и люди тогда тоже были маленькие, такие, что могли свободно жить на такой планете. Время тогда выглядело как японский сад с множеством ручейков, мостиков и миниатюрных деревьев, в котором всегда можно найти себе подходящую тропку.

Небо же совершенно отличалось от нынешнего. Оно было ярко-красного цвета, словно высеченное из рубина, но не это было самым странным. Сейчас оно представляется нам большим куполом, опирающимся на землю за пределами видимости. А тогда оно имело такую же неровную поверхность, как земля; в некоторых местах до него почти можно было дотронуться, если встать на цыпочки, а в других – поднималось высоко вверх, словно слои тяжелой прозрачной материи. Потому что оно состояло из множества этажей – далеких и странных, – а отдельные предметы и планеты блистали меж его слоев, поднимаясь все выше и дальше, становясь все меньше и более красными, а на самом большом отдалении все сливалось в один тон, который можно представить, если посмотреть после обеда на свет через банку с малиновым соком. Только он слепил в тысячу раз сильнее.

– Обязательно после обеда? – тихонько спросила она. Ей не хотелось еще поддаваться обаянию сказки.

– Да, именно после, потому что солнце в это время находится низко, – объяснил он. – В то время, о котором я рассказываю, в стране алгонков жил человек, которого звали Астронавтом. Это означает – звездный странник, – добавил он и устыдился, так как почувствовал, что в этом не было необходимости. Поэтому он поспешил продолжить: – Люди в то время очень походили на нынешних: любили хорошо поесть и выпить – и хотя ходили на двух ногах, мало кому приходило в голову смотреть на небо. Один лишь Астронавт поднимался ночью на плоскую крышу своего дома и смотрел вверх. Он пытался разглядеть миры разной величины и удаленности, разделенные красными слоями, которые не гасли во мраке, а светились вишневым цветом, как раскаленное железо. Но зря он напрягал взор: днем глаза слепли от блеска, а ночью слишком толстые пласты неба отделяли его от тамошних сущностей.

В одну ночь, более темную, чем обычно, когда небо было темно-красным, на востоке появилось светлое пятно. А когда оно приблизилось, Астронавт увидел, что это облако, на котором стоял ангел. За плечами у него трепетали крылья, длинное одеяние ниспадало на облако. Он был прекрасен.

– Астронавт, – сказал ангел, – пришло твое время. Люди думают, что

все есть лишь здесь и сейчас, а то, чего они не видят, не существует. Но ты думал иначе. Поэтому я принес тебе одну удивительную вещь. Смотри, Астронавт.

Он откинул край одеяния и достал хрустальный шар.

– Ты сможешь смотреть в небо через этот шар, и небо не будет тебя слепить. Ты увидишь другие миры, которых очень много. Однако тебе нельзя будет никому о них говорить. Ни слова. То, что ты увидишь, не изменит тебя: ты уже прошел испытание за много ночей, – но то, что хорошо для Астронавта, не является добром для других. Поэтому я не уверен, ведь знать и молчать – на это люди не способны. И если ты скажешь хотя бы шепотом, хотя бы в час кончины, произойдут страшные вещи. Небо отделится от земли, люди будут рассеяны на большом пространстве, и будущее будет темнее, чем смерть. Я вижу, ты хочешь получить этот шар, Астронавт, но взвесь все хорошенько и реши, можешь ли ты взять его у меня?

– Дай мне этот шар, – сказал Астронавт, – дай мне его, а я вырву себе язык и стану немым.

– Этого делать нельзя, – ответил ангел, – здесь важны не смелость и сила, а самопожертвование и одиночество.

– Тогда дай мне этот шар!

– Скажи мне это в третий раз.

– Дай мне шар!

Ангел вдруг исчез, небо начало дышать все глубже и глубже, красное и сверкающее. Астронавт стоял на плоской крыше своего дома, а в руках держал тяжелый хрустальный шар.

Еще в тот же день он отправился из города в далекое путешествие. Он шел вперед, нигде не задерживался надолго, опасаясь, как бы приветливость и дружелюбие не склонили его к нарушению запрета.

Только по утрам, когда выходил в дальнюю дорогу, а кроны деревьев расцветали с рассветом, он останавливался и подносил к глазам шар, который носил в дорожной суме. Тогда он видел миры и миры, все живое на них и все мертвое, и еще такое, на которое нет слов в нашем языке, и затем шел дальше. Когда же дошел до края огромной пустыни, стал жить в мазанке из глины. Он провел там несколько лет, живя в одиночестве и думая, что уже забыл звуки человеческой речи. Однажды вечером он ушел с кувшином для воды к источнику, который струился поодаль из скалы, а когда вернулся, то увидел, что на валуне сидит женщина и, прикрывая глаза от блеска, смотрит, как большое и очень яркое красное солнце скатывается в ночь.

– Что ты делаешь здесь, женщина? – спросил он со страхом.

– Я хожу по пустыне и ищу, – ответила она. – Говорят, что где-то здесь человек, у которого есть шар из хрусталя, который он никому не показывает. Я хочу его видеть.

– И зачем тебе это, если он его не покажет?

– Не знаю. Хочу только рассказать ему о моих днях, пустых и огромных, как дом умершего, о том, как я блуждаю по ночам, потому что не могу отыскать входа в сновидения, и о мыслях, которые постоянно возвращаются ко мне, потому что нигде не могут остановиться.

И тогда что-то схватило Астронавта за плечи. Он бросился в свою мазанку и принес шар из хрусталя.

– Смотри, – сказал он, – смотри, смотри... – И ничего уже больше не мог вымолвить от волнения.

Но едва взор женщины проник в стеклянный шар, тот погас и ослеп. Раздался стократный гром. Небо вздыбилось, как красный парус, в который ударил ветер, и исчезло, разорванное. На одну вечную минуту стал виден акт Творения, и оба, мужчина и женщина, сплели ладони и пали ниц, лицами в песок.

Тогда появился ангел, несущий глыбу черного льда, и метнул ее с высоты на землю. Эта глыба раскололась и поглотила планету, покрывая ее, как скорлупой, куполообразным сводом. Днем сквозь него могло пробиться лишь солнце, а ночи стали черными, и только в щелях мигали огоньки – последние следы существования других миров.

Земля вдруг стала увеличиваться и расти, и грусть охватила души людей, а будущее стало таким темным, что уже никто не мог знать, будет ли он счастливым. А те двое стояли у источника. И была ночь.

– Свершилось предсказанное, – сказал тогда Астронавт. – Горе мне! Ибо забыл я слова ангела.

И он ушел в пустыню.

Женщина очень испугалась и пошла за ним. Когда она его нашла, он сидел посреди беззвездной ночи, закрыв лицо краем одеяния.

Тогда она закричала:

– Астронавт!

Но он не отзывался.

И во второй раз закричала она:

– Астронавт!

Он молчал.

А когда в третий раз позвала его, повернулся к ней.

– Астронавт, – сказала женщина, – я вижу, что это из-за меня ты

совершил страшное деяние. Но подойди ко мне, я открою тебе удивительное.

Когда он к ней приблизился, она схватила его за руку и сказала:

– Посмотри мне в глаза.

Он посмотрел ей в глаза и прошептал изумленно:

– Вижу! Вижу тень того блеска, который я наблюдал в хрустальном шаре.

– И я его вижу, – сказала женщина.

А на востоке светало.

Наступила тишина. Воздух был тяжелым от влаги, которая оседала на лице Кшиштофа. Он долго молчал, сосредоточенно глядя в небо, потом произнес:

– Становится прохладно. Я, правда, ничего не вижу, но мне кажется, что вы легко одеты.

Она не отвечала.

– Может быть, пойдем? – предложил он.

Молчание.

– Что же вы не отвечаете? Я вас не усыпил рассказом? Если так, то это последняя сказка, которую я кому-либо рассказывал.

– Нет-нет, – быстро ответила она, – я не сплю... Я просто еще не вернулась из этой сказки.

Лавочка дрогнула, тень заслонила звезды.

– Вы правы – уже пора идти домой. Но прошу меня не провожать.

– Не бойтесь, у меня и не было такого намерения. Так значительно лучше, не правда ли? – Он встал с лавки, отряхивая сухие листочки с одежды. Теперь, когда их лица оказались освещены звездами, он увидел ее, такую светлую и спокойную, на уровне своих глаз.

– Спокойной ночи, – сказала она. И странное дело: рука ее почти мгновенно нашла его ладонь.

– Вы не замерзли, – сказал он, чувствуя ее теплые тонкие пальцы. – Это хорошо. Спокойной ночи, до завтра.

И не оглядываясь он направился к калитке.

II

На другой день Кшиштоф пришел на то же место немного раньше, чем обычно. Может быть, он сделал это для того, чтобы в последних лучах

света увидеть лицо новой знакомой. Но в наблюдательном пункте никого не было. Он уселся на лавочку и впервые с удивлением заметил, как здесь стало пусто. Не радовали его ни два неба, ни сонный шорох высохших листьев, ни заблудившиеся в кустах ветерки. Когда небо почернело и звезды расположились на своих местах, он оперся, как обычно, на край бочки и широко раскрыл глаза, чтобы в них пролился звездный дождь. И хотя внешне казалось, что он погружен в широко распростершихся пространствах, он слышал легкий шелест и скрип калитки.

– Вы здесь? – спросила она, остановившись у входа.

– Давно уже. Почему вы так долго не приходили?

– Не могла раньше. – Она приблизилась. – Добрый вечер. – Она подала руку, приближение которой он почувствовал в виде слабого прикосновения воздуха.

– Прошу. – Он подвинулся. – Снилось вам вчера что-нибудь интересное? Может быть, мои разноцветные небеса?

Она вздохнула:

– К сожалению, мне давно уже ничего не снится... А у вас наверняка бывают прекрасные сны.

Он рассмеялся.

– Да, между стихами... – ответил он, продолжая смеяться. – Не следует слишком полагаться на сны, потому что иногда они уносят нас в совершенно нежелательном направлении. Я хотел вас спросить... Вы ведь сюда приходили раньше, когда я... не знал об этом, правда?

– Да.

– А что вы делали? Смотрели на звезды?

– Да.

– И?..

Минута тишины.

– Не было никакого «и». Просто смотрела.

– Вы ни о чем не думали?

– Разве в такие минуты думается? Нет, не думала. И очень хорошо, что не нужно было думать. Просто это было – и звезды были, – вот и все.

– Да, это очень много, – сказал он, задумавшись.

Подул ветерок, а через минуту упала звезда.

– Вы видели? – шепнула она, хватая его за руку.

– Видел. И ничего себе не загадал.

– Так вы... тоже?

– Да.

– Послезавтра взойдет луна, – произнес он через минуту. – Ночи будут

все светлее.

– Да, но утром собираются тучи. Уже октябрь...

– Есть здесь один старичок, которого я встречаю, когда иду утром на работу, – сказал Кшиштоф. – Он приходит в парк кормить белок. Он маленький, в коротеньком пальто, а из кармана у него всегда торчит бумажный кулек. Он достает оттуда пару орехов и начинает постукивать ими. Белки приходят к нему, когда вокруг никого нет, запрыгивают на плечи и хрумкают орешки. Но мне некогда на это смотреть – я всегда по утрам спешу.

Он снова прислонился затылком к ребру бочки. Звезды мерцали сегодня сильнее, чем обычно.

– Вы знаете... еще какую-нибудь сказку?

– Знаю, но сегодня я хотел бы рассказать кое-что другое. Я расскажу что-нибудь об одной девушке, хорошо?

Тишина.

– Тогда начинаю.

Она всегда была одна. Люди приходили и уходили, были такие, которые вроде бы хотели помочь, были и другие, которые пытались обидеть. Когда она была маленькая, то не знала, что отличается от всех других. Но уже тогда она ни к кому не привязывалась надолго. Потому что было в ней что-то такое, что останавливало людей, заставляло отводить взгляды и отодвигаться, не заговаривать с нею, не проявлять чувств.

Так было не всегда. Когда она была маленькой, то не понимала многого, но думала, что поймет, когда подрастет. Иногда она не могла усидеть на месте – ей нужно было уходить далеко, в лес, и никто не мог ее удержать. Она думала, что когда-нибудь поймет, зачем ей это нужно. А пока знала лишь, что так ей будет лучше. Точнее, хотя бы терпимо. Потому что обычно было просто невыносимо. Бывало так, что ей хотелось поступить по-другому. Светлее? Лучше? Этого она еще не знала. Этого как бы никто не хотел знать, ни для кого это не было важно. Что же? Она не могла разобраться в этом. Когда она стала старше, начала больше думать. Но ее мысли никогда не были подобны черным силуэтам на светлом фоне или границе между небом и землей. Они всегда были туманными и неясными; может быть, и в теплых тонах, но все-таки туманными. Иногда у нее словно играла в голове музыка, и это заставляло играть ее. Долго играть на фортепиано, которое оживает под пальцами тем неожиданнее и сильнее, чем больше сгущаются сумерки. Играть с открытым окном в квартире на первом этаже, – а окно выходит в сад, – играть, но только для себя.

А разве так можно – только для себя?

Это было не так-то просто: отсюда первый конфликт. Когда она была еще очень маленькой, то знала, что быть добрым – это великое, сложное искусство, которому каждый должен учиться долго, с усилием. Потому что для этого недостаточно быть никаким и не поступать плохо. Чтобы быть добрым, нужно хотеть добра. Когда ей было четыре года, она вошла однажды в сарай, где сука, измученная родами в душный полдень, оставила своих щенят. И когда она увидела эти маленькие живые клубочки с розовыми носиками, беспомощно пищание, вдруг что-то ее заставило каким-то прутом (а может быть, это был не прут, я уже не помню) бить по дрожащему тельцу, бить так страшно, что оно прекратило двигаться и стонать. Потому что каждый удар попадал не только по этому маленькому серому созданию, которое ползало по утоптанной глине. Каждый удар попадал и в нее, страшным, болезненным наслаждением, и усиливал последующие удары.

Позднее она думала, что не знала тогда, что такое хорошо и что такое плохо. И ходила вверх по реке, к тому месту, где поток раздваивается, рассекаемый валунами. Но она никому не могла сказать, что смотреть на бурление вспененной воды лучше, чем играть, читать или развлекаться. Потому что эта вода все время становилась новой, хотя и оставалась той же самой. Как и она.

Этот уголок, в который никому, совсем никому нельзя было заглядывать, рос. Он ширился все больше и охватывал множество невысказанных вопросов. Каждый из них был как игла: колол, но при этом блестел. Нельзя было об этом говорить: сначала потому, что было неясно как, а затем потому, что стало понятно – это бессмысленно.

Она жила в снах. Когда прикладывала согретое солнцем лицо к холодной подушке, сразу попадала туда, где была она одна. А если во сне был кто-то еще, этот кто-то был частью ее самой, и уж ему-то можно было все рассказать. И повести туда, где закат самый алый. И где река бьется в порогах. И всюду.

Но чтобы навести порядок в снах, прежде следовало упорядочить свои отношения с явью. Она сказала себе, что нужно поступать ясно и просто. Меньше требовать, а больше понимать. И самое главное – быть добрым человеком.

Он кончил говорить и надолго замолчал. Потом усталым, спокойным голосом спросил:

– Не знаю, нашелся ли такой человек.

Небо над их головами преображалось. Надвигались облака,

расчесанные на длинные полосы. Звезды исчезали одна за другой.

– Откуда вы все это знаете? – спросила она. – Откуда вы знаете?

– Не знаю откуда. Так вы мне ответите?

Лавочка дрогнула.

– Я отвечу вам завтра. Поздно уже, и все холодней.

– Наступают дождливые дни, – заметил он равнодушным тоном.

– Да, но звезды будут всегда. Спокойной ночи.

Раздался слабый шелест листьев, калитка скрипнула и умолкла. Кшиштоф оперся головой о край бочки, так что видел только небо. Наступление облаков усиливалось, их становилось все больше и больше. Одна звезда, более яркая, чем другие, упорно блестела между краями темноты. Потом и она угасла.

III

На третий день Кшиштоф пришел немного позже, чем обычно. Ему пришлось помогать при ковке большого стального бруса, и руки у него еще дрожали от тяжелого молота. Поэтому он быстро шел по улицам, которые распадалась на круги света, бодрствующего вокруг фонарей, и свободного, захватывающего выси мрака. Ночь была беспокойная, исполненная порывистых ветров. Звезды ненадолго появлялись среди туч, которые быстро бежали по небу, гася и зажигая огоньки. В беседке кто-то был. Он остановился.

– Это вы, да?

– Я.

Он медленно сел, сжимая ее руку. Некоторое время молчал, успокаивая дыхание и привыкая к тишине.

– Слышишь, как листья падают с деревьев?

– Слышу.

– Позавчера я встретил старика. Я подошел к нему, когда он, стоя под деревом, постукивал орешками, а листья падали ему на голову и на руки. «Белок уже нет, – сказал я, – наверное, они спрятались, потому что холодно». «Ничего, – ответил он, – все равно здесь хорошо. Осенью в парке очень тихо. Я прихожу сюда... будто бы ищу белок, но не затем. Здесь легче всего привыкнуть». И больше я его не видел. Он уже не приходит сюда.

– Я не поняла: что он хотел сказать? Привыкнуть – к чему?

– Я не спрашивал его. Думаю, что к смерти.

– Этот старик действительно существует? – спросила она. – Я никогда его не видела.

– А ты знаешь эти стихи?

Слышал где-то, не знаю, может, у Пристли,
О двух таких бедных, измученных злодеях,
Которые всю ночь ковыряли отмычкой дверь неба.

А когда открыли, там была лишь пустота,
Как в раме разбитого зеркала,
Небытие – даже без единой падучей звезды^[168].

Так всегда, – добавил он, – со стихами и с людьми. Придумываю каких-то призраков, а потом удивляюсь, когда они расплываются у меня в руках. Это как в сумерках: кажется, что всего чересчур, все такое подвижное, произвольное, случайное... Поэтому я думаю, что все может быть по-другому, что все сущее не так уж важно, а важно лишь то, что будет. А тем временем позволяю всему ускользать из рук, хотя мне так нужна сейчас уверенность...

– А я?..

– Ты? Но ведь тебя нет, это я тебя сотворил, ты – это я.

Он поднял голову с холодной спинки лавочки и склонился в темноте к месту, где могли быть ее руки.

Ветер сорвал остатки листвы с высоких кленов, и теперь они стояли прямые и стройные, соединяя темноту неба и земли, как остовы покинутых кораблей.

Перевод Борисова В.И.

Дежурство доктора Тшинецкого

Коридоры были полны солнца, бликующего на голубых кафельных плитках. Из открытого окна плыл сильный аромат отцветающей сирени. Несколько уборщиц в белых халатах протирали влажный пол, в котором отражался ряд уменьшающихся в перспективе дверей. Из палат выходили женщины в длинных больничных халатах и медленно направлялись к террасе. Где-то далеко и монотонно звонил телефон. Стефан вышел из лифта. Лампочки за матовыми плафонами источали чайный свет. Тесную кабину еще заполняла темнота ночи и запах йодоформа.

«Наверное, ночью была операция», – подумал он, закрывая за собой двери. Инстинктивно коснулся карманов, проверил их содержимое – в левом стетоскоп, в правом резиновые перчатки. Проходя мимо палаты новорожденных, он услышал хор плачущих голосов. За поворотом коридора, выложенного оранжевым и фиолетовым кафелем, виднелись пластины шероховатого стекла в никелированной раме. Стерегли операционную. За ней продолжался длинный коридор. Стефан открыл ближайшие двери. Тихо шипели стерилизаторы. Поскольку это был первый этаж, кроны деревьев затемняли окна. Там, где сумрак сгущался до синевы, у кровати стояла группа людей. Раздался низкий стон. Две сестры придерживали на высокой кровати голое скорченное тело. Лицо у роженицы было коричневатым и словно раздутым от прилива крови. Третья сестра стояла с другой стороны кровати и держала стерильный компресс. Доктор Гомка опирался на спинку и с трудом сдерживался, чтобы не зевнуть. Его дежурство закончилось. Увидев Стефана, кивнул ему. Душный воздух был пропитан сладковатым запахом.

Глухой, медленный стон.

– Прошу не кричать, набрать побольше воздуха и тужиться, тогда будет не так больно, – острым суровым голосом сказала акушерка. На ее чепце выделялась красная бархатная ленточка.

Стефан подошел поближе.

– Плохой пульс, большие колебания, до восьмидесяти, – шепнула сестра, приподнимаясь на цыпочках к его уху.

– Давно?

– Потуги начались в десять часов.

Он посмотрел на электрические часы.

– Двенадцать часов? И что? Головка прорезалась?

Роженица дрогнула.

– Подходит, подходит, – прошипела она сквозь зубы.

Она зажмурилась, волосы, слипшиеся в черные пряди, упали на лоб. Прижимая подбородок к груди, задрожала от схваток страшной силы. Стефан почувствовал, как под приложенной к животу рукой твердеет маточная мышца. Согнутое тело напряглось, ее трясло, сухожилия выпирали, а сила схваток все росла.

– Ну-ну, тужься, не выпускай воздух, хорошо, еще одно усилие.

Лежащая словно опала. Ее ладонь свесилась с кровати. Белые зубы впились в пересохшие губы. Доктор Гомка оценил взглядом, что на этот раз головка не прорежется, и взглянул в окно. Прикидывал, какая сегодня будет погода, так как собирался выехать за город.

Стефан придерживал мокрое от пота бедро женщины, а когда под рукой почувствовал предел окончательного усилия, к которому она приближалась, сам невольно напряг мускулы.

Головка ребенка, вдавленная в кровоточащий, опухший костный канал, раздирала мышцы, прокладывая дорогу телу, подталкиваемому высоким давлением. Уже показались темные, слипшиеся волосики и снова остановились. Женщина мотала головой, зубы у нее стучали. Тяжело всхрапывая, она втягивала воздух.

– Не... мо-гу уже...

– Можете! – сурово сказал Стефан. – Слушайте нас, и сейчас все уже закончится. Кого вы хотите, – задал он стереотипный вопрос, – мальчика или девочку?

Проблеск мысли мелькнул в налившихся кровью глазах женщины.

– Мальчика...

– Начинается схватка? – спросил он, потому что та дернулась.

Она отрицательно помотала головой.

– Ну и если девочка... то... чтобы жила, – прошептала она между первым и вторым свистящими вздохами.

Он кивнул и приложил к животу широкий воронкообразный стетоскоп. Пульс плода: два далеких быстрых тона, голос маленького сердца, которое отправлялось в большое путешествие. Мышцы под стетоскопом вздулись и зашевелились. Он выпрямился. Лицо роженицы искривила гримаса, уголки губ поползли вниз. На шее пульсировала жила.

– Медленно, медленно выпустить воздух. Черт побери! Выпустить воздух, я говорю. Кричать! Прошу кричать!

Акушерка с компрессом приготовилась. Вся группа зашевелилась, приблизилась, свет никелированного рефлектора падал желтым пятном на

склоненные спины. Все четверо объединились в одно общее движение. Раздался высокий болезненный крик. Показались темные спутанные мокрые волосики, синеватый лобик, маленький приплюснутый носик и беззащитная шейка. Акушерка быстро повернула головку, вытащила одно плечо, другое.

Хлынули воды, и ребенок, весь в слизи, синий, беспорядочно дергающийся, перелетел через руки на подстеленный компресс. Акушерские щипцы перехватили пуповину. Один разрез, и акушерка побежала к столу с неуклюже трепещущим тельцем. Загудели краны, послышался шум воды в умывальнике. Акушерка, держа маленького за ноги вниз головой, легко шлепнула по ягодицам раз и другой. Ребенок издал слабенький писк, отличавшийся от других голосов.

– Промойте глаза, – сказал Стефан сестрам, а роженице: – У вас сын.

Он неловко погладил ее по плечу и посмотрел на Гомку. В прошедшую ночь дежурил старый врач, полный, с лысиной, прикрываемой отращенными на висках рыжими волосами. У него было пористое тучное лицо с маленькими глазками. Он отговаривал молодых студентов получать специальность в родильном отделении. Рассказывали о нем, что как-то во время приема он вышел к ожидающим пациентам под руку с запыхавшимся господином и сказал: «Вот, это адвокат Ф., который пришел поблагодарить меня за то, что я спас его жену от смерти». Он принципиально уклонялся от сомнительных операций, поистине мастерской консервативной терапией спихивая решение тяжелых случаев на плечи тех, кто менял его на дежурстве. Сейчас, глядя куда-то за Стефана, он ковырял в зубах зубочисткой из гусяного пера.

– Идет послед, – спокойно сказала акушерка.

В свете лампы блеснули струйки крови. Стефан нежно массировал живот женщины, теперь мягкий и бессильный. Она вдруг охнула, и в окровавленной ране показался пленочный комок, отблескивающий синим, как странная опухоль.

– Судно.

Послед вышел. Сестры обмывали тело женщины, меняли постель. Гомка спрятал зубочистку в черный чехольчик, взглянул на золотые часы и протянул Стефану на прощание четыре пальца:

– Ну, я пойду. Держитесь.

Зазвонил телефон.

– Господин доктор, вас вызывают...

Из-за двери прихожей высунулась акушерка, демонстрируя Тшинецкому свою самую красивую улыбку.

– Состояние роженицы среднее.

– Не давайте ей спать, – сказал Стефан и направился к дверям.

Он поднялся на лифте. Наверху была палата, выложенная фарфоровой плиткой, светившаяся тысячами блесков разгорающегося дня. У входа две сестры поздоровались с ним. Он невольно улыбнулся, увидев хрупкую веточку сирени в маленьком горшочке на столике. Белые квадраты умывальников словно филигранные балконы выдвигались из стены, выложенной зеленоватым кафелем. Между отдельными кроватями рожениц поднимались высокие перегородки, выложенные салатowymi изразцами.

– Где новенькая? В боксе? – спросил Стефан, затушив сигарету и выбросив ее в мусорное ведро.

В боксе было еще светлее. Весь город, словно шахматная доска из клеточек с зеленью, лежал внизу, у подножия клиники, а выше сияло майское небо, синей полоской сливаясь с горизонтом.

Он придвинул к себе столик с чистой родильной картой, поставил на краю большой стетоскоп и машинально начал писать: «18.V.1947...»

«Май кончается, – подумал он, – а я ни разу не был за городом».

– Ваш отец жив? Нет? А отчего он умер?

– Во время восстания.

У него уже был заготовлен вопрос, болел ли отец туберкулезом, но он его не задал.

– А мать?

– Тоже... во время Варшавского восстания.

– У вас есть братья или сестры?

– Был... брат, но... тоже...

– Хм, во время восстания, – закончил он тихо вместо нее. – Это у вас первая беременность?

– Нет, у меня был выкидыш... в Прушкове.

– Ага.

Больше он ничего не спрашивал. Пошел к кранам и, нажав ногой педаль, позволил шумному дождю пролиться на свои руки.

Приступил к осмотру. Ощупывая живот, который временами дергался у него под рукой, толкаемый изнутри ножкой ребенка, он направил невидящий взгляд на голубые плитки кафеля, в которых отражались высокая кровать и крест окна на фоне светящегося прямоугольника. Опустив глаза, глянул в лицо беременной. Она была молодая и старая одновременно. У нее были очень чистые и доверчивые глаза, внимательно следившие за осторожными движениями его рук, с некоторым даже удивлением направленные на живот, в котором двигалось что-то

независимое от ее воли и мыслей. Худые пальцы лежали на белой простыне. Они были не намного темнее полотна. Виски и щеки покрывали маленькие веснушки. Губы были накрашены неумело или несмело.

– Все хорошо, – послушал он пульс ребенка, – прекрасно.

Он еще раз подумал о ее Варшаве. Усаживаясь за столик, спросил, мальчика она хочет или девочку. Хотела мальчика.

– Гм... А чем вы занимаетесь?

– Я швея...

– Когда вы перестали работать?

– Вчера...

Он скривился.

– Как же это вы? Врач наверняка запретил вам шить. Вы на машинке шьете?

Веки у нее задрожали.

– Так ведь... у меня болен муж. Лечение дорого стоит...

– Он застрахован?

– Нет... он лежит со времени восстания... Легкие...

– Да-а?

Он достал из кармана спутанные змейки стетоскопа и начал слушать ее сердце. Закрыв глаза. В темноте звучали два тона, хорошо знакомый дуэт неустанной работы: первый голос – напрягающейся мышцы, и второй – эхо крови, волной бьющей в стенки сосудов. Вдруг стетоскоп наполнился тишиной, и новое сокращение, медленнее, чем другие, глухое, запоздавшее, ударило в задрожавшую грудь. Удары сердца стучали то по одному, то по два, напоминая бегуна, который спотыкается. Слушая, он направил лицо с закрытыми глазами в сторону женщины. Она видела его лоб, темный от загара, впалые виски, тонкие дрожащие веки и ладонь, держащую никелированную воронку стетоскопа. На предплечье из-под белого рукава выглядывала синяя татуировка: пятизначный номер.

Он открыл глаза, заморгал, как ослепший.

– Что-то не так, да, господин доктор?

– Ну что вы, все прекрасно, прекрасно, – повторил он и, зная, что голосом владеет лучше, чем лицом, быстро отвернулся.

– Вы очень хотите иметь ребенка? – спросил он и сразу же понял, что этого не нужно было говорить.

Она приподнялась на руках, пронзительно глядя на него, вдруг резко постарела.

– Ну, это я так спросил, – буркнул он и вышел из бокса.

– Сестра ее смотрела?
– Да... устье открыто на пяточок.
– Попрошу подготовить плазму крови, и чтобы были наготове лекарства. Сестра в курсе? Кофеин есть? Эрготамин? Строфантин?
– Строфантина нет...
– Так позаботьтесь, чтобы был. Ну, я пойду вверх. В случае чего, пусть сестра звонит...
– Господин доктор...
– Что?
– Нужно ее подготовить, что ребенок может...
– Вы сдурели! – крикнул он так резко, что сам устыдился. – Прошу ничего не говорить; все будет хорошо, сердце не такое плохое.

Он выбежал.

В его обязанности входил надзор за студентами, отрабатывающими стаж в клинике. Уже в коридоре четвертого этажа он услышал шум голосов. Когда вошел в палату, увидел взъерошенные головы в облаке табачного дыма. На ближайшей кровати сидел Смутек, бывший воспитанник монахов-доминиканцев, высокий, худой, со светло-розовым лицом, украшенным золотой шевелюрой. Он любил водку, и коллеги подпаивали его, чтобы, захмелев, он выбалтывал своим высоким голосом секреты носителей обета безбрачия. Называли его жрецом акушерства или ксендзом-недоноском.

Другой студент умывался, фыркая, под краном. Третий, Абаковский, ходил большими шагами. Из руки в руку он перебрасывал стакан кофе, просвечивавший на солнце вишневым цветом. При его виде у Стефана окончательно испортилось настроение. Он не переносил этого упитанного шатена с его бессмысленными шуточками. Абаковский держался чрезмерно просто, носил пиджак из домотканого сукна в клеточку, шляпу с узкими полями и массивные серебряные запонки в жестких манжетах. Когда он не шутил (после каждой остроты пронзительно хохотал, словно токующий глухарь, утрачивая зрение и слух), то не говорил, а изрекал истины, независимо от того, шла ли речь о том, как погладить носки, или о судьбах Польши. По любому вопросу он имел уже готовое суждение, столь неизменное, словно он с ним на свет появился. Это был глупец, но не слабовыраженный, а категорический эрудит-кретин. Стефан с ужасом думал, сколько пациентов погубит эта его железобетонная самоуверенность. Наивысшие достижения человеческой мысли и законченное тупоумие покоились в его голове рядом, как музейные экспонаты под стеклом. Когда Стефан вошел, Абаковский как раз

заканчивал речь:

– ...а на первый курс приняли законченных хамов.

Увидев Тшинецкого, он с полным присутствием духа продолжил:

– Ну валяй, Смутнистый. Что там было с попадье? Слуга господина доктора.

Стефан застыл в центре палаты. Он знал, что его еще не раскусили. Слышали, что он был в лагере. Некоторые называли его красным.

– О чем рассуждаете, коллеги? – спросил он.

– Каждый рассказывает о своей первой любви, – слащаво улыбнулся Абаковский. – Это необходимо акушерам, правда, господин доктор?

Он мило смотрел на Стефана, которого смутило такое нахальство.

– А может, споем? Сидела на липе... – затянул третий медик, высовывая голову из мохнатого полотенца.

– Пойте, господа, но тихо, потому что окна открыты, – сказал Стефан и повернулся к дверям. – Только не слишком вульгарно, – бросил он с порога.

В первой палате рожала семнадцатилетняя девушка, которая сама явилась утром в клинику, смеясь, что немедленно родит. Когда пришли первые схватки, смеяться перестала, а когда схватило серьезно, три сестры и Стефан еле смогли удержать ее на кровати.

В родильной палате верховодила госпожа Сивик, небольшая, энергичная, в обтягивающем белом халате, темноволосая и темноглазая, с пушком над губой. С виду беспечная и рассеянная, свои достоинства она проявляла лишь в критические минуты. Тогда она принимала командование не только над сестрами, но иногда и над растерявшимся врачом, действуя так искусно, что даже самые раздражительные не чувствовали себя обиженными.

На сей раз в этом не было необходимости, потому что Стефан, у которого от визита к медикам осталось неясное чувство злости, всем телом навалился на вырывающуюся девушку, а когда она попыталась укунить его за руку, так рявкнул на нее, что она расплакалась.

Госпожа Сивик молниеносным взглядом проверила, как ведут себя ее хорошо вымуштрованные помощницы, стоявшие на своих местах, и поощрительно, одними уголками губ, улыбнулась Стефану. Девушка перестала кричать, благодаря чему сила потуг значительно возросла. Несмотря на это, роды, а скорее неустанные метания, лягание босыми ногами и визг, продолжались два часа. Едва ребенок – толстая розовая девочка, перемазанная кровью и слизью, – выскочил на простыню с громким писком, малая успокоилась и, заявив, что завтра пойдет играть в футбол, задремала. Стефан погладил ее мокрые волосы, вытер лоб и,

наказав, чтобы она не спала, вышел в коридор. Посмотрев на часы – половина первого, – он с некоторым удивлением вспомнил, что еще не ел, и поехал наверх.

С трудом глотая яйца вкрутую, которыми постоянно потчевали врачей клиники, он рассматривал панораму города, открывавшуюся за большим окном. В столовую заглянул адъютант Кермала. Стефан узнал от него, что ночью вместо Галецкого будет дежурить Жемих. Это окончательно испортило ему настроение, и он всухомятку глотал яйцо, давясь от злости.

Жемих окончил медицинский курс в том же году, что и Стефан. Начиная обучение, определил себе программы минимум и максимум. Программа-минимум звучала так: получить диплом и не умереть с голоду. Он не ходил в кино, не читал никаких книг, кроме учебных, экономил на хлебе, на сигаретах, даже на дружбе. Женщин обходил издалека. Приступал к очередному экзамену как к схватке с врагом: зубрил, вбивал знания в голову, впитывал всю латинскую ученость, как одержимый носился с лекции на лекцию, делал в городе уколы, сам читал лекции, а по ночам с полотенцем на голове клевал носом над конспектами. Выжимал из собственного тела что только мог, исхудал, у него торчал кадык, зубы испортились, донимали чирьи, стал плохо видеть, но все – в том числе и лечение – он откладывал на потом. Получив диплом и поступив на работу в клинику, сразу же приступил к реализации жизненных планов. Поправлялся из месяца в месяц. Дряблая кожа на лице расправилась, его можно было увидеть в изысканных кафе, как он одиноко сидит над грудой пирожных и мизинцем отправляет в рот осыпавшиеся крошки глазури. Он приобретал себе костюм за костюмом, состоятельность пациентов оценивал по их новому радиоприемнику, тахте, столовым приборам, а недавно выплатил задаток за золотые «шаффхаузен»^[169] и теперь ожидал найти какую-нибудь богатую пациентку. И совершенно не скрывал этого. Если другие при встрече спрашивали о здоровье, то он говорил: «Ну и какая там практика?» – и сразу же начинал рассказывать, что сам делал в последнее время. «Этот косит!» – говорили врачи. Во время профессорских визитов в палаты Жемих шел в двух шагах за Чумой Пшеменецким, вытягивая шею, чтобы лучше слышать его слова; словно имея глаза на затылке, отскакивал в сторону, чтобы не толкнуть случайно Тшесновского, обменивался с гигантским доцентом репликами, улыбаясь и показывая темные зубы, на которых уже блестели золотые коронки.

У Тшесновского, бледного, потного, с носом Цезаря над синими губами, были огромные волосатые руки, которых боялись женщины. Жемиха он считал ступенькой, на которую можно встать, а Стефана вообще

не замечал.

Несмотря на голод, Стефан не смог съесть третье яйцо и позвонил обслуживающей санитарке, а когда она не пришла, направился по темному коридору в сторону кухни. Маленькая комнатка была пуста. Налил себе воды в фаянсовую кружку, выпил и приподнял крышку кастрюли, стоявшей на газовой плите.

«Опять галушки на обед, – подумал он. – И работа собачья, и есть не дают».

Он вернулся в столовую, отчетливо ощущая давление холодной воды в желудке.

«Никому бы не посоветовал такой диеты, – подумал он и усмехнулся. – И стоило пробиваться в клинику? Университетская – великое дело!»

Говорили, что уже приближается конец господства Чумы Пшеменецкого, а Стефан хотел еще поработать какое-то время с кем-либо из старой гвардии, одним из тех, после которых остаются мраморные бюсты в университетских аудиториях и золотом писанные мемориальные доски. К операционному столу Чуме уже приходилось подходить боком, потому что ему мешал живот, но голосом он еще по-прежнему властвовал над людьми. Его гулкий бас разливался в каскадах довольного гремящего смеха, когда он украшал лекцию своими пикантными историями. Хорошо известно было его потогонное воздействие на окружение во время операций. Мало того что он сам страшно потел во время процедуры, так еще и колкостями, топотом, бросанием инструментов и бранью он весь персонал доводил до седьмого пота. Добродушный в лекционном зале (описывая какой-нибудь исторический факт вроде родов княгини Х., обращался к стоявшей за ним старой акушерке: «Ведь так было, пани Рихтерова?»), в операционной он бурлил, кипел, ферментировал, а когда наконец снимал мокрую от пота маску, на его большое слюнявое лицо с трудом возвращалось довольство и выражение спокойствия. Единственной особой, которая его не боялась, была госпожа Ойчикова, безраздельно царствовавшая в главной операционной уже лет двадцать. Она обозначала берега гудящего профессорского гнева, который умело направляла туда, куда ей было выгодно. Какой-то молодой врач отважился выступить против нее, но расплатился за это скорой утратой места.

Стефан все больше разочаровывался в Пшеменецком. Казалось, что его жизнерадостность – искусственная, шутки, даже лучшие, повторяемые ежегодно в одних и тех местах лекций, скучные. И вообще Чума напоминал ему размашистую театральную декорацию, какой-нибудь исполинский лес

с замком, который не следует разглядывать вблизи. Правда, он умел выступать. Свою первую лекцию для еще не оперившихся медиков он начинал с получасовым опозданием. На дно амфитеатра вереницей входили врачи в белых халатах, занимали места у кресел и стоя ждали, когда в дверях появится Чума. Над залом пролетала короткая буря аплодисментов, как весенний ливень. Профессор, тряхнув большой головой с густо посеребренными черными волосами, закладывая большие красные руки за спину и отправляясь в путь по диаметру амфитеатра. «На других кафедрах, – произносил он, – вам рассказывают о земном существовании человека, о его перипетиях и сражениях с собственным телом, с бактериями, этими созданиями сатаны, а я расскажу вам кое-что совсем о другом. Кое-что самое важное! Я буду говорить о человеке – подводном существе. Да-да, – гудел он, как бы втягивая гигантскими ноздрями недоумение студентов, – я буду говорить о подводной жизни человека, о существе, живущем в водах, ибо девять месяцев своей жизни человек пребывает в околоплодных водах, словно водолаз, словно водолаз, – повторял он, радуясь сравнению, – связанный с матерью животворным каналом пуповины».

Стефан стоял у лифта. Самая тихая пора дня, послеобеденная, заполняла коридоры спелым янтарным светом.

«Комедиант», – неприязненно подумал он о профессоре и раздвинул стеклянные двери.

И поехал к «своей» варшавянке, чтобы еще раз послушать ее сердце. Что-то не нравилось ему – не столько аритмия, сколько чертовски глухие тона... Сделал ей укол глюкозы. В клинике царило спокойствие, изредка пролетала мохнатая ночная бабочка, беспомощно трепеща крыльями на солнце. Он зашел во вторую родильную палату. С минуту постоял там у входа, бессмысленно глядя на подносы с последами и кровью. Они стояли рядышком на полу. В нем уже поднималась усталость последних дней, он чувствовал ее в мышцах.

«Может быть, так начинается старость? – подумал он без улыбки, несмотря на свои двадцать девять лет. – Похоже, годы в лагере нужно умножить на четыре».

С приходом ночи голова станет тяжелой, и никакой, даже самый яркий, свет не поможет. Он уже знал, как это бывает.

– Боже... Боже... Боже... – доносился тяжкий, неустанный стон из бокса.

– ...купила два метра шифона в горошек и сшила себе прелестную

юбочку...

– Дорогая, ты бы принесла ее как-нибудь, – отозвался другой голос, суховатый и писклявый.

– Ох, Боже мой... Боже мой... как больно...

– С оборочками, вот так, сбоку узко, внизу распушено, как сейчас носят.

– О Боже... сестра... о Боже...

Стефан забыл об усталости и влетел в палату как бомба, так что обе акушерки, стоявшие у окна, даже перепугались.

– Святой Антоний Падуанский, что ж вы так влетели? Я даже задохнулась, – сказала Жентыцкая.

– Где у вас болит? – раздраженно спросил он роженицу, зная, что не сможет сделать им выговор: стоят рядом с кроватью, а что не обращают внимания на стоны, неудивительно – они столько их слышали...

Он с минуту размышлял, не сделать ли женщине укол новокаина в область матки. Продолжительные, но редкие боли начались у нее четырнадцать часов назад.

Тут же вспомнил кислую мину профессора. «Это потому, что у коллеги Тшинецкого мягкое сердце», – бросил тогда Жемих. «Ну-ну... коллега, – пропыхтел Чума, – ну-ну... женщины рожают сто тысяч лет подряд, и всегда в болях. Они уже успели привыкнуть! Зачем новые порядки? Можно занести инфекцию, знаете ли».

Стефан знал.

– Ничего нельзя сделать, господин доктор? Ох-ох, о Боже, Боже, никогда больше, никогда...

– Каждая так говорит, а через год снова с брюхом, – затрещала сбоку вторая акушерка. Худая была как щепка, желтая, высохшая, на носу – массивные черные очки.

– Оставьте ее в покое, сестра.

Стефан не говорил «акушерка», как другие, с особенной, подчеркивающей дистанцию интонацией.

– Ну-ну, еще немного вам придется потерпеть. Большое устье?

– С маленькую ладонь.

– Вот видите... сейчас все откроется, и родим.

Велел, чтобы были внимательны, и вышел. На повороте у операционной его встретила госпожа Сивик.

– Как наша маленькая?

– Хорошо, но... – Она бросила на него снизу вверх быстрый черный взгляд. – Но вы что-то не очень... Вам бы подняться, поспать.

– Да что вы, я...

– Пара часов вашего сна в решающую минуту могут сыграть важную роль, – сурово сказала Сивик.

Он почувствовал, что она берет его под руку, вроде бы легонько, но хватка у нее была надежная, умиряющая самых диких пациенток. Так и шли к лестнице: ее голова в маленьком чепчике едва доставала ему до плеча. Она мягко подтолкнула его, но он остановился и минуту с удовольствием смотрел на ее лицо, немножко округлое, с темными губами и черными глазами в окружении длинных и густых ресниц. «А ведь она красивая», – удивился он, потому что никогда об этом не думал. Знал, что Сивик давно уже работает в клинике. Как давно? Ей не могло быть больше чем двадцать восемь – двадцать девять лет. Столько же, сколько и ему. Она жила наверху, на вершине этого фарфорового острова, отрезанного от мира. Хотя он занимал комнату всего в нескольких метрах от нее, в другом крыле четвертого этажа, помимо работы, видел ее редко. Она не замужем. И такая одинокая... Ему стало ее жаль.

– А вы... – начал он.

– Слушаю, доктор.

Такая была трезвая, вежливая, быстрая.

– Вы умеете танцевать? – спросил он неожиданно для самого себя.

Она улыбнулась, но не так, как обычно. На правой щеке у нее была ямочка, совсем детская, а вторая, поменьше, как бы незавершенная, появилась на подбородке.

– Что за вопрос! Я умею танцевать.

Ему стало стыдно.

– Это хорошо, – сказал он и, хоть лифт был в двух шагах, побежал по лестнице. На повороте заметил, что девушка еще стояла там, где он ее оставил.

Он долго ворочался на кровати. Солнце сползло оранжевым пятном по стене, какие-то пурпурные дымки вились на небе. Где-то он видел такую картину: солнце, опускающееся все ниже, красный свет... где? Он заснул, вглядываясь в бесконечную голубизну. И увидел свой самый страшный сон. Его закрыли в камере с высокими узкими окнами, он чувствовал жар голых тел, потом раздалось чавкающее ворчание машины. Люди начали кричать все громче, все пронзительнее и тоньше. Из всех сил он пытался вырваться из объятий трупов... весь скорчился от чудовищного отвращения и страха... наконец сон прервался. Что-то настойчиво звенело: телефон. Один прыжок, и он был уже на ногах, развернулся, натягивая халат, схватил стетоскоп. Телефон все звонил. Фрамуга окна розовела в боковом мягком

свете.

– Алло? Амбулатория? Уже иду!

«Собственно, мог бы пойти и Жемих... Куда он подевался?» – думал он с неприязнью, торопливо сбегая по главной лестнице. Все было залито медовым сиянием солнечных лучей, пробивающихся сквозь оконные витражи.

«Скорая» привезла из города женщину с приступом эклампсии. Ее приходилось силой прижимать к резиновому матрасу. Стефан бился, пытаясь разжать стиснутые судорогой челюсти, сделал ей один укол, второй, сделал кровопускание. Когда приступ прошел, больная впала в беспробудный сон. Он еще раз проверил пульс и пошел вверх. Здание было совершенно пустым. На пороге дежурки столкнулся с привратником, который как раз выходил из нее.

– Я принес там господину доктору. – Он сделал неопределенный жест в сторону темного помещения.

– Что?

На столике стоял высокий белый предмет – бутылка, завернутая в бумагу. Он потряс ее, забулькало. Бумага соскользнула и полетела на пол. Это был ликер.

– Что это?

– Это... это один тут принес. Которому вы ребенка спасли.

– Не следовало принимать, – скривился Стефан.

– Так я же не знал. Нужно брать, – доверительно добавил привратник, видя смущение Стефана, – когда дают.

Он вышел. Стефан подержал в руке бутылку, поставил ее на стол и подошел к окну. Опускались сумерки, глубокие и чистые. Деревья и цветы уже теряли цвет.

История была глупая. Неделю назад во время его дежурства в третьей палате рожали две женщины. Первая была студенткой последнего курса медицины. С момента прибытия в клинику она стала любимицей врачей и сестер. Рожала она довольно легко, а причиной интереса была ее красота и капризное поведение. Ну и в некоторой степени «мерседес» ее мужа, который неустанно привозил в клинику цветы почти со всего города. Поэтому она лежала в кровати, уставленной сиренью. Стефан безуспешно пытался ее убрать. Когда было больно, она не призывала Бога, как большинство женщин, лишь тихонько постанывала, прижимаясь лбом к руке сестры. В стоне этом было что-то из певучих причитаний. При первой сильной боли она забыла всю свою медицину и стала беспомощным малым ребенком. С изумлением смотрела на то, какие странные вещи творятся с ее

телом, и не могла поверить, когда ей показали мальчика, что это ее собственный, самый настоящий сын. Отец тем временем то крутился перед родильной палатой, то сбегал во двор и давил на клаксон, давая знать, что он близко и бодрствует, вот только ему не разрешают войти в палату. Даже Жемих принес ей ветку сирени, и она смеялась в ответ сквозь слезы. В то же время на другой кровати рожала работница фабрики электроприборов. Руки у нее были темные, покореженные работой, лицо и лоб покрыты пятнами. В ее отделении было пусто. Она не стонала, только беззвучно сжимала зубы и кулаки, внимательно глядя в глаза Стефану, который краснел от злости, исследуя ее, потому что так же, как и она, прекрасно слышал разговоры и смех за стенкой из зеленого кафеля. Стефан охотно принес бы ей цветы, но стеснялся, и это еще больше распаляло его гнев. Он ничего не стал говорить сестрам, лишь поставил двух у кровати работницы и сам часто к ней заходил, минуя второй бокс, где и так не был нужен, потому что там постоянно появлялись врачи, даже те, у которых не было дежурства. Он поговорил с работницей. Она рожала в первый раз, а муж работал за городом и не мог в этот день прийти. Она очень мучилась, стараясь этого не показывать. Во время разговора минутами замолкала, и тени ложились у нее под глазами. Ночью начались собственно роды, сестра вызвала Смутека, посчитав, что в этом случае будет достаточно и медика. Лишь когда после рождения ребенка оказалось, что он не подает признаков жизни, подняли с постели Стефана.

Он прибежал в халате, наброшенном на пижаму, и, крепко обругав присутствующих, стал делать маленькому искусственное дыхание, завершившееся успехом: ребенок ожил.

Когда он, залитый потом, скользя по мокрому от воды паркету, с волосами, спадающими на лоб, издали показал ребенка, бесцветные пересохшие губы женщины задрожали в первой улыбке.

Глядя на подарок, он размышлял, сколько может стоять такой ликер. Наверное, злотых шестьсот. Разорились, глупые.

Он поехал на лифте на первый этаж, чтобы проверить женщину с больным сердцем. Очень бледная, она смотрела из синеватого полумрака глазами, которые становились такими большими, словно впитали в себя всю ночь. Ее молчание беспокоило его.

– Все будет хорошо; если будет больно, поставим капельницу... В такой большой клинике обязательно справимся, – обращался он к ней как к ребенку.

– Мама мне снилась, – сказала она вдруг тихо и отчетливо. – Знаю, что ребенок умрет...

– Глупости вы говорите. Вздор! Это всего лишь сон.

Он похлопал варшавянку по плечу, отер ее влажный лоб и направился к двери. На электрических часах было девять. У выхода его догнала сестра.

– Выпейте немного кофе, господин доктор.

Стефан сделал три больших глотка горячей горьковатой жидкости, буркнул что-то и убежал.

В коридоре его объяла холодная темнота. Он с минуту постоял в нерешительности, потом направился к лестнице. После спадающего напряжения вновь наступала усталость. Он сел в маленькое кресло и засмотрелся в темную даль, заканчивающуюся овальным окном. На фоне одиноко светящейся матовой лампы мелькнуло что-то черное: он замигал. Да, в коридоре носилась летучая мышь. Не хватало еще, чтобы залетела в палату, где лежали женщины после родов! Он быстро встал и пошел по коридору, поочередно закрывая двери. У последних ему показалось, что слышит далекий сигнал. Остановился: нет, это этажом ниже гудели водопроводные трубы. Он закурил, глубоко затягиваясь, чувствуя, как дым опускается в глубь легких и нежно их щекочет. Напротив лифта хотел выбросить окурочек в урну и вздрогнул. Красные лампочки вдоль коридора вспыхнули и погасли. Сейчас же отозвались установленные в дежурках зуммеры. Вызывали всех врачей.

Такая тревога была редкостью, ему стало жарко. «Везет же мне!» – подумал он, затушил сигарету и рысью побегал к висевшему на стене телефону. Вызывала первая родильная палата. Варшавянка!

Он не стал ждать лифта и помчался наверх, перепрыгивая через три ступеньки. Когда открыл дверь, его ослепил яркий свет: сестры устанавливали у кровати рефлектор.

– Что произошло? – спросил он, одновременно засучивая рукава и хватая поданную щипцами стерильную щетку. Он мылил руки, а акушерка лихорадочным шепотом цедила ему в ухо:

– Кровотечение, сильное кровотечение...

– Преждевременное отделение? – Он сдержал проклятие, бросил щетку и хотел бежать к кровати, когда в зал втиснулся лоснящийся от пота, запыхавшийся Жемих.

– Маску и эфир!

– И еще... – Стефан, схватив вторую щетку, до боли тер руки, с которых стекала мыльная вода. Перекрикивая шум и беготню сестер, кричал: – ...Корамин нужен, лобелин, плазму крови... аппарат для трансфузии!

– Нет донора!

– Консервированная есть?
– Нет.
– Тогда только плазму. Как пульс?
– У плода нормальный, а у нее очень нерегулярный.
– Напряжение среднее, – сказал Жемих. Он стоял у кровати и делал лежащей укол.

Часы показывали двенадцать. На полу – кровь вперемешку со слизью. Остро пахло хлором. Ежеминутно кто-нибудь пробегал перед слепящим глаза рефлектором, отбрасывая на стену большую косую тень. Звякали инструменты.

– Давайте наркоз.

Смутек, щуря водянистые, слезящиеся после сна глаза, наклонился над маской, прикрывая ею веснушчатый носик женщины. Из-под марли донесся приглушенный голос:

– Ребенка спаси... те...

Жемих пытался вставить щипцы. Пот лился с него, он дико гримасничал, выворачивая наружу губы. Правая щека инструмента два раза соскальзывала с замка. Сдвинуть рукоять не получилось, поэтому он сильнее вбил в тело блестящий стержень. Женщина застонала под маской. Стефан не мог смотреть, если что-то делал не сам, и убежал за кафельную стенку.

– Плохо с ней, господин доктор? – протяжно, как бы во сне, спросила его вторая женщина, ожидающая родов в боковом боксе. Он даже вздрогнул, напуганный этим неожиданным голосом из мрака. Смутившись, махнул рукой:

– Нет, все хорошо, – и вернулся на свет.

Жемих уперся изо всех сил, выпучил налитые кровью глаза, голову вжал в плечи и потянул.

Стон словно опухал, заполняя воздух. Кровать дрогнула.

– Медленней! – прошипел Стефан.

Три сестры придавили белеющее тело, и вслед за окровавленным никелем щипцов показалась черная головка. Затем восковое тельце упало на резиновую подстилку в потоках крови и воды.

– Вы... ребенка, а я... уж остальное, – с трудом выдавил Жемих, локтем вытирая пот и глаза. Слюна стекала у него по бороде, халат был весь в красных потеках.

Тшинецкий поспешил за акушеркой, которая змейкой извлекала слизь из ротика маленького.

– Сердце бьется?

– Слабо.

Акушерка перебрасывала ребенка из горячей воды в холодную. Длинные сверкающие брызги падали на паркет. Стефан поднял шприц, выпустил воздух, примерился и вбил иглу. Поршень легко шел вдоль фиолетовых делений. Стефан наклонился над беспомощно лежащим тельцем. На удлинённой, словно у мумий майя, головке, которая пробилась сквозь изогнутый костный канал таза, синели эллиптические отпечатки щипцов. Грудь, маленькая как кулачок, была неподвижна.

Он растолкал женщин в белых халатах. В такие минуты его всегда охватывало недоброе, как бы лунатическое спокойствие, как тогда, когда был в двух шагах от газовой камеры. Недрожащими руками он схватил катетер, потащил баллон с кислородом.

– Открутить редуктор, быстро!

Резиновая подушка наполнялась газом. Потом шипение прекратилось. Он посмотрел затуманенным взглядом на манометр. Баллон был пуст. Видимо, стрелку заклинило на ста пятидесяти атмосферах. Почувствовав жгучую ярость, он выпрямился, отбросил трубку и приложил губы ко рту ребенка. Резко выдохнул. Чувствовал, как скользкая от слизи малюсенькая грудь раздувается в его ладонях. Он ослабил напряжение рук: тоненькие ребра скользили под кончиками пальцев, что-то дрожало там, внутри, – еще не угасшая окончательно жизнь.

– Стоит ли мучиться... – шепнул кто-то сзади.

Не поворачиваясь, он рявкнул:

– Прочь!

Он не стал отпиливать шейку ампулы, попросту ударил о металлический бортик стола. Посыпались мелкие стеклянные брызги. Вставил иглу, всосал в шприц жидкость, выпустил воздух и завис над бледным тельцем. Воткнул иглу. Поршень пошел вниз. Смотрел пылающими глазами, не дыша. Если сейчас...

Пальчики с ноготками как маленькие зернышки шевельнулись. Округлый, словно рыльце снулой рыбы, ротик издал сопящий звук. Ребенок закашлял и вдохнул.

– Как кровотечение? – спросил Стефан, поворачивая голову к ближайшей сестре, которая, будто пораженная тем, что увидела в его глазах, даже не смогла сразу ответить.

– Послед отошел... матка сжалась... лед... – доносились до него отдельные слова.

– В сознании? Не спит?

– Нет.

– Скажите ей, что жив... – прохрипел он, вытер куском марли лоб и приказал подать компресс.

После холодного душа Стефан вытерся жестким полотенцем и пришел к выводу, что чувствует себя превосходно. Когда вышел из ванной, заметил далеко во мраке неровный клин света. Он пошел туда. В изоляторе лежала женщина, она была без сознания; больная эклампсией, уже после родов. Простыня была поднята с двух сторон и так привязана к ручкам кровати, что между краями полотна оставалась лишь двухсантиметровая щель, через которую можно было наблюдать лицо больной. В рот ей было вложено устройство, не позволяющее стиснуть челюсти. Веки были закрыты не до конца, белки блестели узкими полосками, из груди вырывалось медленное, мерное хрипение. По ногам пробегали волны судорог. У маленького столика сидела молодая санитарка, оперев голову на руки. У нее было молочно-белое лицо с необычайно правильными чертами, а из-под чепчика выбивался тяжелый узел золотых волос. Стефан посмотрел в ее фиолетовые глаза и подумал, что ее красота здесь, собственно, совсем не нужна. Спросил ее о состоянии больной.

– А почему вы не закрыли дверь? Оставить так?

Оказалось, что сестра немного боится женщины без сознания. То есть, собственно, совсем не боится, но...

– Как-то так жутковато. Когда она была в сознании, то была самая обыкновенная девка, а сейчас какая-то такая странная. Где она сейчас?

– Ее душа? – спросил Стефан. Ему захотелось смеяться. – Я вам дам какой-нибудь справочник по философии, – сказал он серьезно. – У людей по этому поводу весьма различаются взгляды...

Возвращаясь, заглянул к новорожденным. В белом, сиявшем глазурью стен помещении тремя рядами стояли маленькие кровати, как клетки на высоких ножках. За перегородкой находились термостаты для недоношенных, которые тихо пищали, обложенные ватой. Воздух был наполнен прерывистым плачем и писком. Щуплая санитарка девичьей красоты, губки бантиком, молниеносными движениями меняла пеленки толстенькому младенцу.

Стефан поискал взглядом другую сестру, стоявшую в проходе между кроватками.

– Как ребенок этой... – он поискал в памяти фамилию варшавянки, но не смог вспомнить, – тот ребенок, что родился последним, там были щипцы.

– Ага... я как раз собиралась звонить господину доктору...
– Ну? Что с ним? – Он сделал шаг вперед.
– У него судороги.
– Гм. Останусь здесь у вас, – сказал он, а когда она показала ему кровать, присмотрелся к белому личику, торчавшему из пеленок, подтянул к себе кресло и сел, опираясь головой на холодную латунную спинку.

В третьем часу утра Стефан возвращался по коридору первого этажа в дежурку. Последний отрезок пути был в полной темноте; он утратил ориентацию и долго кружил по какому-то закоулку, пытаясь ощупью найти дверную ручку. Наконец взял нужное направление и попал в дежурку. Споткнулся о линолеум, ударился бедром о столик, вытянул перед собой руки и уронил бутылку, которая со стуком покатилась по полу. Это его отрезвило. По-прежнему в темноте он вынул из кармана платок, обернул им дно бутылки и стукнул по паркету. Пробка выскочила, жидкость выплеснулась ему на халат и на руки. Он задрал голову и стал пить – жадно, большими глотками, от которых жгучее тепло расплывалось в груди. Потом поставил бутылку и вышел, не закрывая дверь. Попал к выходу из здания. Его охватил холод ночи. Вокруг был такой мрак, что он едва мог отличить тропки от газона. За черными кронами деревьев застыло мутное зарево города. Он шагал, опустив голову. Потом обернулся. Блок клиники состоял из двух соединяющихся под углом фасадов. Большие окна были темными, лишь в послеродовых палатах пылал ночной голубой свет. Выше, отражая мерцание звезд, темнели выпуклые стекла операционной.

Над входом, иссеченные лучами слабого фонаря, стояли на коленях каменные фигуры в складчатых одеяниях, подняв закрытые лица ввысь, где на притолоку опирался барельеф, голова женщины. Знакомое лицо, обычно спокойное и непроницаемое, сейчас, казалось, кривится в злой усмешке. Он несколько раз потер руки, было холодно. Он пошел к зданию, у входа заметил свет в проходной. Постояв у оконной ниши, наконец открыл дверь.

Всю заднюю стену комнаты занимали щиты предохранителей, от которых шли кабели к размещенным под потолком часам. Сбоку на парапете стояли два телефона, выше был нумератор со светящимися цифрами и шкаф для ключей. У столика на клеенчатом диванчике сидел ночной дежурный и читал газету. Он поднял голову на звук открываемых дверей и внимательно посмотрел на Стефана.

Это был старый человек с беззубым ртом, у которого губы смыкались так, что ястребиные челюсти доходили почти до носа. У него была блестящая, гладко выбритая голова. Его лицо ровно посередине пересекали

криво сидевшие большие очки, удерживаемые на носу с помощью бумажного жгутика.

«Это вы здесь, господин Анушко?» – хотел сказать Стефан, но не смог издать ни звука.

Старик встал. Он был ниже Стефана. На нем были старый, удивительно длинный сюртук и белые полотняные брюки, расширенные в коленях. Отложив газету на изголовье диванчика, в котором остался отпечаток головы, он смотрел на врача.

– Господин доктор?.. – тихо шепнул он.

Стефан по-прежнему стоял у дверей. Привратник снял очки, прежде вынув кусочек бумаги, и спрятал их в жестяной футляр. Потом прошлепал за шкаф и вернулся с чашкой горячего чая. Он поставил ее на столик перед Тшинецким. Стефан бездумно сделал несколько больших глотков. Обжег горло.

– Нужно будет позвонить утром в анатомичку, – сказал он, отставляя чашку. – Ребенок умер.

Анушко молчал, неподвижный, словно спал стоя, с открытыми глазами.

Стефан вышел. Лифт с тихим пением поднял его на этаж. Закрылись стеклянные двери, погас рубиновый глазок. Коридор был пуст. В оконных стеклах застыл глубокий, величественный фиолетовый цвет. Из раскрытого настежь окна плыл поток свежего воздуха. Он заглянул поочередно в послеродовые палаты. Все сестры спали, даже дежурные дремали, сидя на металлических стульях, опираясь на холодный кафель: некоторые – положив голову на ладонь, другие – склонившись к кроватям. Тишина колыхалась вместе с дыханием. Он на цыпочках вышел из палаты и тихонько по лестнице спустился в дежурку. Как был, в белом распахнутом халате, упал на кровать и под щебетание пробуждающихся птиц провалился в мертвый сон.

Перевод Борисова В.И.

Сестра Барбара

С некоторых пор в поведении Стефана что-то изменилось. Он чаще оставался на сверхурочные дежурства, стал более решительным и принципиальным, а также стал реже пользоваться лифтом, но зато, спускаясь по лестнице, иногда предпочитал прокатиться по скользкому поручню и даже подпрыгнуть на повороте. И уже пищей для размышлений должно было стать то, что сперва под душем, а потом и во время бритья он начал петь.

Когда он ловил себя на этом, то говорил, что это «весна», хотя такое объяснение, конечно же, не объясняло всего происходящего. Почему, например, он стал чаще менять халат на чистый? Почему стал обращать внимание на то, чтобы рукава халата застегивались на пуговицы, а не связывались тесемочками, которые сейчас, на третьем году работы в клинике, вдруг стали напоминать ему тесемки от кальсон?

Неведение его было, кажется, столь же искренним, сколь и притворным. Иногда возникала некая догадка, но как рыба, выпрыгивающая из темной воды, блеснув в сознании, тотчас же возвращалась в глубины, прежде чем он мог понять ее значение.

Подсказку ему могло бы дать исследование, какое имя кажется ему более звучным, чем другие, и в каком операционном зале лучше всего работается. Но ничего подобного он не предпринимал: сомнения, если они вообще были, а времени на их обдумывание ему едва хватало, исчезли только в мае, когда с наступлением сумерек все встречаемые на улице женщины стали похожи на медицинскую сестру Барбару.

Она была дочерью женщины, которой он дал кровь. Последовательный психоаналитик наверняка вцепился бы в этот поступок, стараясь добраться до его символического слоя. Может, в этом и была толика правды, но в действительности все оказалось намного сложнее. Стефан существовал в мире кафеля, стекла и никеля, среди белых халатов и чепцов с черными и пурпурными бархотками. Все были загружены непрекращающейся работой, которая, перетекая из солнечного дня в холодную светло-синюю ночь, имела свой похожий на музыкальный ритм, очень сложный и потрясающе интересный.

То, что кто-то аккомпанировавший событиям неожиданно стал главной мелодией, ускользнуло от внимания Стефана, и случилось так, что эта особа, выделившись из общего фона, изменила для него не только течение

времени в клинике, но и течение его жизни.

У Барбары были светлая челка, серые строгие глаза, трепетный нос и энергичный подбородок. Ее белый застиранный халат с короткими рукавами обнажал смуглые, почти мальчишечьи руки, а сквозь ткань порою проступали твердые соски. Прямыми и крепкими были также ее стройные ножки в старой обуви на деревянных подошвах, а ладони были маленькие, сильные, с коротко подстриженными ногтями.

У Стефана удивительно часто стали появляться дела в том отделении, где она работала. Время от времени он встречал ее, выходя из клиники. Сколько в этом было случайного, а сколько планируемого – установить невозможно.

Присутствие девушки казалось ему все более необходимым, причем как-то по-особенному. Это не имело ничего общего не только с желанием физического сближения, но и даже с желанием поговорить. Ему было достаточно знать, что, когда, склонившись над операционным столом, он зашивает рану или сидит за белым лабораторным столом, Барбара хлопочет где-то рядом. Быстрый взгляд в ее сторону, мимолетное скрещение взглядов, тень ее мелькающей фигуры обеспечивали ему спокойствие на многие часы.

В клинике следовало быть особенно осторожным, ибо малейшее проявление чувств могло вызвать настоящий град колкостей. Многие врачи изображали циников, а некоторые даже ими и были. Так было потому, что цинизм – это простейшее обезболивающее средство от чужого страдания. Поэтому днем Стефану следовало быть осторожным.

Зато образ сестры Барбары стал посещать его по вечерам перед отходом ко сну, когда он пытался думать о Халине. Но он думал о Халине как о чем-то далеком: она осталась в его прошлом, словно прекрасное экзотическое насекомое, заключенное в янтаре. Стефан был немного опечален тем, что все это останется навсегда таким незаконченным, недоговоренным, неизменным. Вероятно, из-за того, что у нее была богатая натура, сегодня Стефан знал о ней ровно столько же, сколько и в первый день знакомства. «Правда, – думал он, – мое мнение о ней может быть неверным хотя бы потому, что много раз я пытался срежиссировать встречу или разговор, но это никогда не удавалось. Но разве то, что я вообще хотел режиссировать, не было ли вызвано ею?»

Так было принято решение – впрочем, в настроении полного равнодушия. Единственную неприятность для Стефана представлял Абаковский. Он появился в клинике для прохождения трехмесячной преддипломной практики в качестве специалиста. Стефан не любил его

настолько сильно, что попустительствовал ему в выполнении обязанностей, насколько это от него зависело, ибо научился требовать от людей тем больше, чем больше он их ценил, как, например, Марцинова и Вися.

То, что было между ним и сестрой Барбарой (по сути дела, очень мало: несколько взглядов, выражение ее губ, как будто знающих слишком много, редкая улыбка), – все было неимоверно шатко, и это все надо было подтолкнуть в ту или другую сторону. И именно такое положение дел позволяло ему чувствовать спокойную и радостную уверенность, подобную земле под ногами опоры. Секрет всей этой истории состоял, пожалуй, в том, что по крайней мере в отношении Стефана все происходило вне логики и не имело словесного выражения, зато порождало довольно бесполезные вещи: мечтания и сны. Главным образом сны, потому что, прежде чем дело дошло до истории с Абаковским, они были единственным местом (если можно так сказать), где он с ней встречался – кроме часов дежурств.

Абаковский относился к врачам с дружеским уважением, за спиной же о них долго и язвительно сплетничал, сестер пощипывал так, чтобы всегда оказаться на волосок от пощечины, флиртовал с пациентками, ужасно булькал, полоща в дежурке горло, двигал лохматыми бровями, засовывал короткие большие пальцы за пояс халата, откидывал голову назад и мурлыкал экзотические мелодии из фильмов, закрывая от удовольствия глаза.

Если бы эта игра, потому что он играл, причем с явным наслаждением, была только искусством ради искусства, то это было бы полбеда, но Абаковский явно старался создать согласно своим планам новые взаимоотношения между людьми: одних нейтрализовать ссорой, других завоевать, третьих, в конце концов перетянутых на свою сторону, держать в запасе, чтобы использовать в нужную минуту. Потому он так легко менял убеждения в своих разговорах. Стефан подозревал, что, по сути дела, ему было все равно и к любой ситуации он приспособлялся так, как слизняк прилипает к поверхности, по которой ползет, одновременно делая ее отвратительной для других остающимся налетом чего-то скользкого.

На дежурствах он часто скрашивал себе и другим время разговорами. Стефана он сперва осторожно обходил. Через несколько дней рассказал ему о каком-то знакомом, которому особенно не везло. Как только тот собирался жениться, начиналась война. Сначала в 1939-м, потом, когда он опять обручился во Львове, весной 1941 года. «Это через три недели началось. А сейчас... он опять влюбился – окольцеваться хочет...» – говорил он, поглядывая на Стефана. Явно хотел прощупать его на предмет отношения к войне. Тшинецкий, однако, не отреагировал, попросив

поскорей привести в порядок истории болезней.

Через пару дней Стефан застал его между Жентыцкой и Фероновой, акушеркой с третьего этажа, рассказывающим о том, что если не сегодня, то завтра в Нью-Йорке нажмут такую кнопку – и тогда, фьють, все пойдет к чертям.

Неожиданно вынырнув из темноты, Стефан остановился на границе круга бледно-зеленого света. Весь разговор велся вполголоса, ибо за их спинами спали уставшие роженицы. Тшинецкий выразил удивление, что Абаковский, с виду цветущий и радующийся жизни, ждет гибели от рук американцев. Молодого врача в первую секунду смутило появление незваного слушателя. Но его поддержала Феронева.

– День расплаты приближается! – замахала она руками.

Стефан уже знал, что будет дальше. Женщина принадлежала к последователям Священного Писания и верила в конец света, когда будут уничтожены все паписты. Другие люди тоже погибнут, заодно, но это уже будет не важно. Последователи Писания тоже умрут, но через шесть месяцев поднимутся из могил все до одного. «Ну ладно, – говорила она не раз, – полежу себе в земле полгода, полежу и встану. Делов-то».

Увидев, с каким размахом она взялась за согласование мнений пророков Ветхого Завета с доктриной Трумэна, Стефан ушел, не дослушав ее. Эта женщина разозлила его больше, чем Абаковский, потому что напомнила ему Бужанов.

До сих пор между ним и Барбарой не было произнесено ни единого слова, которое выходило бы за рамки отношений ординатора отделения и медицинской сестры, за исключением того утра, когда она пришла к нему, чтобы передать деньги за сданную им кровь для матери, а он едва сдержался, чтобы не вышвырнуть ее за дверь.

Май все больше вступал в свои права в саду при клинике. Общие ночные дежурства, полные запахов от веток сирени, достигающих темных окон, подобно приливу, были исполнены теплящегося молчания, но после, с наступлением рассвета, Стефан, возвращаясь в свою комнату, говорил себе: «А может, ничего и нет?»

Кто знает, чем бы все закончилось, если бы совершенно неожиданным образом не вмешался Абаковский. Впрочем, Стефан так и не смог оценить размеров его помощи.

В субботу Стефан с ним дежурил. Утром он принял трудные роды на третьем этаже, где сейчас работала Барбара. Операция была сложная, с обильным кровотечением, поэтому он сменил свой обычный халат на длинный резиновый. Поскольку Абаковского не удавалось разыскать, он

попросил сестру, чтобы та позвонила на пост. После операции он вымыл руки и вышел в приемную родильного отделения. Барбара ждала телефонного звонка от дежурного.

Прислонившись к зеленой плитке, слегка склонив набок голову, она касалась висевшего рядом докторского халата Стефана только кончиками пальцев, словно бы легонько гладила. Услышав шаги, она подняла трубку с рычага. Что означал подсмотренный жест? Все или ничего.

– Хорошая спаржа, правда? – сказала в обед жадная до похвалы толстая сестра Генвефа из кухни.

– Что? Что? Какая спаржа? – Стефан ткнул вилкой остатки картошки на тарелке.

Сестра обиделась не на шутку.

– Ну вы и капризничаете. Таковую гору наложила, вы все съели, и еще мало?

Стефан глуповато усмехнулся:

– Я задумался. Отличная была спаржа, замечательная.

Он не имел понятия о том, что съел.

Поздним вечером, проходя по коридору третьего этажа, он задержался перед дежуркой сестер. Двери были приоткрыты. Возле шкафчика копошилась Барбара, набирая в шприцы жидкость. Каждый раз, когда она поднимала стеклянную трубочку, свет вспыхивал между ее пальцами. Абаковский, развалившись во вращающемся кресле, с сигаретой во рту, говорил сидевшей рядом Жентыцкой:

– ...В Литомежицах на немках наездился, в партии имеет связи, а теперь изображает монаха...

У Тшинецкого потемнело в глазах. Он ворвался внутрь, толкнув дверь. Гнев душил его так, что он не мог говорить.

– Пожалуйста... пожалуйста... в палату... – хрипло крикнул он Жентыцкой.

Акушерка, видя, что дело плохо, выскользнула так проворно, что он даже этого не заметил, не сводя глаз с Абаковского. Франт, с высоко закинутой ногой на ногу, чтобы сохранить кант брюк, имел странное выражение лица: нижняя губа заслоняла закрытые зубы, верхняя поднялась, как у собаки. Его глаза, черные, выпуклые, неподвижно смотрели ниже, на грудь или живот Стефана.

– Извините, чем заниматься... такими разговорами... – с большими паузами произнес Стефан.

Он остывал. Собственно говоря, он не имел доказательств, что Абаковский говорил о нем. Барбара отошла от шкафчика и прошла между

ними, опустив взгляд на поднос со шприцами. Стефан вышел вслед за ней.

В два часа ночи приняли последние роды. Рефлектор создавал тень между стоящими. Акушерка вышла прополоскать и исследовать послед. Локон Барбары, которая перегнулась через перила кровати, вообрал в себя свет, блеснул и погас.

Стефан приблизился к ней.

– Я не хочу, чтобы вы знали меня... по таким рассказам, – сказал он тихо.

– Я не верю... – начала она, но, не давая ей закончить, он потянул ее за собой в сторону ванной родильного отделения.

Они подошли к зеркалу, над которым горела маленькая лампочка. Девушка пыталась улыбнуться, но не могла. Она села на низкий складной стул, а он погасил свет. Она видела очертания его прямых плеч и головы, вырисовывавшихся на фоне сумрака с наступлением рассвета. Сквозь ветки деревьев иногда поблескивали огни далекого дома.

– Я не хотел бы, чтобы вы знали обо мне по рассказам Абаковского, – повторил Стефан, присев на край ванны, белеющей, как камень странной формы. – В сорок первом году немцы ликвидировали больницу, в которой я работал, убив всех больных. Я сбежал оттуда... с одним врачом, женщиной. Все вокруг рушилось, мир был столь жесток, все жаждали применения силы. Я хотел встретить того, кто бы понял слабость. Чтобы можно было сказать, что у меня уже нет сил. Чтобы ничего не надо было объяснять, пытаться изменить, а принимать все как есть ^[170].

Он замолчал. Было так темно, что он не видел ее, не слышал даже ее дыхания. В стеклах, как в черной воде, дрожало предчувствие света.

– Я не знал о ней ничего, думал, что это не нужно. Нет, это неправда. Я вообще ни о чем не думал. Не хотел ни думать, ни понимать. Я был ей очень благодарен. Она ушла не попрощавшись, только оставила письмо. Любезное письмо, такой уж она была. Год спустя, читая книги, я думал: «Что такое смерть?» – но ничего не придумал. Я поехал в город по делу одного человека, которого убили немцы. Все это не имело смысла, но я обманывал себя, что если я познакомлюсь с людьми, которые знали его прежде... Впрочем, не знаю. Тогда же я попал в лагерь. Во время облавы, совершенно случайно. Ни за что ^[171]. Я не состоял ни в организации, нигде. Я умел только говорить и читать стихи. А там, в Освенциме, был один коммунист, Марцинов.

В стеклах загорелся фиолетовый свет. Был час, когда преломляется ночь. Измученное дыхание женщин колыхалось за стеной. Иногда оттуда

доносился тихий плач ребенка.

Стефан рассказывал об Освенциме, о Литомежицах, а из-за леса поднималась красная заря. Рассвет проявлял цвета. В небо поднялись столбы света; первый луч упал из-за оконной рамы, и белая комната сразу оказалась захвачена тысячами подвижных огоньков. Золотые волосы сестры загорелись нимбом. На ее лице, как в зеркале глубоких вод, полных летящих туч, отразились все чувства. Она хотела сбросить со лба локон, но не смогла закончить движение.

Уже наступил день. Тшинецкий встал, прошелся по центру ванной комнаты и остановился перед ней, склонившейся на стульчике у его ног.

– Не знаю, собственно, зачем я вам все это говорил? – Он пожал плечами. – Извините. Разве это может интересовать... сестру?

Взглянув на него снизу, она тихо сказала:

– Меня интересует. – И с чрезмерной серьезностью ребенка добавила: – На самом деле.

Прозвучал сигнал. Стефан схватился за карман, в котором держал стетоскоп, и, ничего не говоря, выбежал. В коридор через настежь открытые окна влетал колокольный звон.

Май своими распутившимися цветами перетекал в июнь. И вскоре полные голубизны дни, окаймленные рубиновыми зорями и пронзенные солнцем, как раскаленным добела гвоздем, перевалили через горизонт.

Барбара – это влажные нецелованные губы, горькие от покусанных хвостиков листьев, тени огромных старых каштанов, трава, сверкающая под порывами ветра, подобно выглаженной ткани. Это молодость.

Их знакомство началось с промахов и ошибок. Через два дня после ночного разговора, точнее говоря – его монолога, ее взгляд изредка спрашивал: «А что теперь?» Беспомощный, он не мог придумать ничего другого и, после всего, что рассказал, пригласил ее вечером на танцы.

Они договорились встретиться на углу улицы. Она пришла, одетая как дама, с подкрашенными губами, в туфлях на деревянной подошве с двенадцатисантиметровыми каблуками. Разве она могла ему не понравиться?! Волосы ее были завиты в маленькие плотные локоны, свисающие со всех сторон. Скорее всего о ней позаботился кто-то опытный, возможно подруга, успешно приближая ее к голливудскому идеалу красоты. Танцевали мало. Барбара дала понять, что чувствует себя отлично и что любит пить через соломинку, что ей удобно на каблуках, и только слегка мизинцем пробовала, как держится помада на губах. Она чувствовала себя как мальчик, который храбрится, выбив стекло. В какой-

то момент среди танцоров появилась величественно выделяющаяся на фоне всех пара: пани Жентыцкая в лимонном платье с зелеными блестками, и в изящно подбитом ватой пиджаке франт: ее Мечо. Стефан опустил голову. Несколько секунд царило невыносимое молчание, пока Барбара, решительно схватив сумочку, не встала. Он послушно последовал за ней к выходу. На улице, взяв ее под руку, он заметил, что у нее в глазах слезы.

Барбара иногда рассказывала о своей работе на фабрике в Германии, не стыдилась признаться, что умерший отец был помощником каменщика, однако, с другой стороны, не позволяла, чтобы Стефан навестил ее на квартире, в которой она жила с матерью, а уж о брате и вовсе не вспоминала. Тшинецкий помнил его – высокого худощавого солдата – с той ночи, когда «скорая» привезла в клинику их мать.

В клинике их отношения не изменились: даже намного позже, когда они уже были на ты, официально она все время называла его паном доктором, а он ее – сестрой. Еще иногда он при ней немного чудачил, манерничал – непринужденность всегда давалась ему тяжело. Однако достаточно было плутовского выражения ее глаз, и он тут же, пристыженный, становился совершенно беспомощным.

Они никогда не разговаривали о страданиях и болезнях, которые видели в клинике. Это было настолько очевидно, что Стефан, если бы его об этом спросили, наверное, сильно бы удивился. Зато он рассказывал ей всякую всячину, интерпретированную по-своему. Дерево, как он ей объяснял, – это творение природы, промежуточное между глазом и легким животного. В легком ручеек красных телец крови питается кислородом неподвижного воздуха; дерево же, наоборот, погружает неподвижные зеленые тельца листьев в подвижные воздушные течения. Следовательно, можно считать, что дерево – это легкое, вывернутое наизнанку.

Но сравнение на этом не заканчивалось. Потому что энергию для создания питательных тел лист черпает из солнца – похожий процесс происходит... и так далее. И так далее. Посвящая Басю в тайны полной метафор биологии, он одновременно изучал все оттенки цвета ее глаз и голоса, то, как она наклоняет голову, слушая его, и он уже знал, что когда она сильнее всего старалась сосредоточить внимание, то по ее сжатым губам, как красная ящерица, проскальзывал острый кончик языка.

Попытки окунуть ее в мир литературы были напрасны. Бася предпочитала жизнь. Конечно, можно читать и романы, но только если уже совсем нечем заняться. Она предпочитала сидеть со Стефаном на садовой скамейке и парой слов, острых и метких, прищипливать прохожих.

Когда они пошли осматривать Торговый дом, она сморщила носик при

виде толчеи в отделе текстиля, а у витрины радиоприемников и фотоаппаратов не выдержала. Красный крепкий мужчина в белом шерстяном пиджаке и замшевых туфлях покупал два электрических патефона. Баська почти громко сказала Стефану: «Ух, дала бы ему по шее...»

Погода становилась все жарче. Они сидели на сырых скамейках в лесочке или как дети свешивали ноги с высокого обрыва, под которым тянулись шумящие на возвышенностях сады. Их руки, как пущенные без присмотра животные, свободно блуждали, то срывая пук травы, то замирая, обнаружив на листке божью коровку, то неожиданно соприкасались, и тогда они, как бы испуганные, замолкали.

Благодаря тому, что ее лицо все сильнее и выразительнее отпечатывалось в его памяти, он больше не возвращался в закоулки потускневших воспоминаний о времени оккупации, в которые раньше погружался с тревогой и волнением, как бы чувствуя за их выцветшими стенами смерть, которой он избежал.

Стефан менялся под влиянием Баси. Лучше всего он понял это, когда однажды попытался громко читать какие-то стихи. Через пару слов он замолчал, хотя она просила читать дальше. Но Стефан не захотел, чувствуя, как бессильны слова по сравнению с полнотой окружающего их мира.

Она всегда была рядом с ним. Делая записи, думая или работая, считая мышей в своей «научной лаборатории» и на операции, даже в критические моменты он ощущал ее присутствие. Возникающее от этого чувство легкости не покидало его даже во сне.

Как-то он упомянул ей о проблеме найти машинистку, чтобы перепечатать статью, которую хотел послать в «Медицинскую газету».

– А я немного умею, могла бы перепечатать, – заметила она вскользь.

На другой день после утреннего обхода она спросила его о рукописи, и ее явно задело, что он об этом забыл. Узнав, что он уже опубликовал другую работу, она захотела ее прочитать. Разговор велся на пустой аллее парка. Бася остановилась возле ящика с песком. Это было место для детских игр. Стефан попытался отговорить ее от неразумного, по его мнению, намерения.

– Но ведь это скучно, правда. Зачем тебе?

Сказал даже: «Не поймешь».

С опущенными глазами, копаясь носком туфли в песке, она не уступала. Шла за ним, надув губы. В конце концов он махнул рукой. Дал ей копию. Он не знал, что она читала «Химико-динамические показатели предракового периода мышей, питающихся 3:4, 5:6 дибензантраценом» как

самую прекрасную любовную лирику.

Перевод Язневича В.И.

Топольный и Чвартек

I. Очарование Топольного

Среди широкой мокотовской равнины, окруженный перелесками редких сосенок, на площади в несколько сотен гектаров расположился Институт ядерной химии Польской академии наук и Варшавского университета. Здания, разделенные живыми изгородями и островками специально посаженных лип, пятью группами подступают к берегу судоходной Вислы. Здесь начинается автострада, бегущая прибрежными бульварами, которая несколькими километрами дальше переходит в главную варшавскую артерию Север – Юг. Местность тиха и безлюдна, только с верхних этажей зданий видны разбросанные полумесяцем домики университетского городка, а дальше, над сизым краешком дыма, на горизонте виднеются стройные высоты центра города с силуэтом Дворца науки в центре.

Ближе всего к Висле, обособленно от других построек, лежит лишенная окон бетонная колода, в которой размещается главный ядерный реактор института. Приземистое строение наполовину вкопано в землю, сзади к нему подведены большие трубы. В них кружит охлаждающая реакторы вода, подаваемая под давлением с насосной станции, расположенной на склоне Вислы. За бетонной призмой реактора поднимается заметный уже издалика, похожий на мачту четырехсотметровый дымоход, поддерживаемый системой широко раскинувшихся стальных тросов. Через него подземные компрессоры выбрасывают в верхние слои атмосферы радиоактивные газы, вырабатываемые в реакторе, чтобы они не могли причинить вреда жителям окрестных селений. Там, где старые липы растут гуще всего, виднеются плоские крыши лабораторных зданий. Широкие аллеи поочередно доходят до здания Института ядерной химии, Отдела космических излучений и, наконец, до Лаборатории нуклонного синтеза. Здание лаборатории является резиденцией одного из крупнейших в мире космотронов, устройства для придания высокой энергии атомным частицам. Строение окружают открытые станции трансформаторов, к которым подведена линия высокого напряжения.

Наступило дневное послеполуденное время ранней в этом году и дождливой осени. Здания института уже опустели, в больших залах

лабораторий царила тишина. По аллее безлюдного в это время парка быстрым шагом шел один из ассистентов профессора Селло, магистр физики Топольный.

Это был двадцатичетырехлетний молодой человек с льняными волосами, ясноглазый и без растительности на лице, что его втайне огорчало, когда на это было время. По-детски голубой взгляд он пытался закрыть большими очками в черной оправе. Студенты утверждали, что в них были вставлены обычные стекла. На того, кто видел его в первый раз, он производил впечатление человека, который только минуту назад узнал о чем-то совершенно неслыханном и не может в этом разобраться, – по сути дела, это был его обычный вид.

В Топольном как бы уживались две натуры; в различные периоды то одна, то другая брала верх.

«Первый Топольный» создал для себя определенный идеал ученого и изо всех сил старался в него воплотиться. Для этого он планировал свою жизнь на многие годы вперед, составлял графики исследований, изучения иностранных языков и даже развлечений, не предпринимал ничего, не посоветовавшись наперед с толстым ежедневником, где по часам был расписан каждый день. Прочитанные книги он отмечал на специальной карточке и заносил в специально заведенную картотеку, а стены своей комнаты завесил каллиграфически написанными высказываниями великих людей и ценными лозунгами, призывающими к системности. Весь этот педантизм он воспитывал в себе, потому что считал, что у него слабая воля, и мечтал компенсировать этот недостаток «протезом характера» – так он называл свою систему. Студенты говорили, что он назначает себе время даже для болезней и однажды чуть не умер от незапланированного насморка.

Этот «первый Топольный», педантичный и несмелый, склонный к созерцательности, молчаливый и рьяно заполняющий разлинованные карточки стенографическими значками собственного изобретения, время от времени куда-то пропадал, а вместо него появлялся как бы другой человек. Происходило так всякий раз, когда молодого человека захватывала какая-то проблема. Тогда, как по мановению волшебной палочки, он менялся. Разделы ежедневника и картотеки покрывались пылью, лозунги обрастали паутиной, а он, который перед этим краснел как девушка, выступая публично, и первым извинялся, когда ему в трамвае наступали на ногу, становился суровым, слепым и глухим к окружающим. Он не отступал ни перед чем, когда речь шла об углубленном изучении захватывающей его темы, готов был посреди ночи будить телефонным звонком известных

ученых, если у него в голове возникал какой-то вопрос, и, желая купить вещь, на которую у него не было денег, распродал все, что попадало под руку: костюм, плащ, – не щадил даже бритву, которую «первый Топольный» окружал почтительной заботой в ожидании желанной минуты, когда у него начнут пробиваться усы.

Когда великая страсть угасала, Топольный переживал период острых угрызений совести, после чего вытирал пыль с картотеки, с первой зарплаты опять покупал бритву и с рвением обращенного грешника возвращался к заброшенным графикам – до следующего увлечения.

Похожие перемены случались с ним еще во время учебы. В силу обстоятельств темы, которые его тогда очаровывали, были маловажными, на первом году обучения не обошлось даже без попытки сконструировать вечный двигатель.

Последним его увлечением было приведение в движение космических ракет с помощью атомной энергии с использованием асимметрично распадающегося элемента. После пяти месяцев копания в книгах, после многих бессонных ночей и горячих диспутов с профессорами и коллегами Топольный в конце концов опубликовал в научном журнале небольшую заметку, в которой доказал, что его идея полностью нереальна.

Специалисты, которым работа понравилась четкостью рассуждений и глубоким знанием предмета, приняли ее доброжелательно, студенческое же мнение – это кривое зеркало университетской жизни – тотчас же отреагировало свойственным ему образом: Топольный был выдвинут на звание «величайшего негативного исследователя эпохи», то есть первооткрывателя всякого рода абсолютных невозможностей.

В тот хмурый, туманный субботний день Топольный спешил на научную конференцию, одну из тех, которые профессор Селло устраивал для своих сотрудников, рассказывая им о новейших результатах исследований, опубликованных в специальной литературе всего мира.

Молодой человек спокойно жил уже несколько месяцев и иногда был почти доволен собой, что с ним происходило редко. Однако близкие коллеги, особенно же второй ассистент Селло, магистр Чвартек, наблюдали образцовое поведение Тополяного со скрытой подозрительностью, чему способствовали его предыдущие метаморфозы.

Когда Топольный вошел в кабинет Селло, профессор как раз вытирал губкой установленную в углу кабинета доску, готовясь к лекции. Комната была обставлена одновременно удобно и скромно: полки с книгами, стол, заваленный горами журналов, и канцелярские лотки служили для организации научной работы наравне с мягким ковром и глубокими

креслами. На стенах между диаграммами поглощения нейтронов висели цветные репродукции картин Брейгеля и Сезанна. Едва Топольный нашел свободное место рядом с Чвартеком и уселся, Селло взял слово.

Чвартек был объектом тихой и тщательно скрываемой зависти Топольного. Уже самым своим внешним видом он, казалось, подчеркивал недостижимую высоту избранной им научной дисциплины. Очень высокий, худой, с опущенными плечами, на бледном, неподвижном лице он носил металлические очки. Темноглазый и темноволосый, одевался он тоже в черное, из-за чего как специалист по атомной энергетике заслужил у студентов прозвище Ядерный Монах. В противоположность Топольному, который постоянно утопал в разнообразных умозаключениях и сомнениях, Чвартек знал все с абсолютной уверенностью. С точки зрения математического таланта он превосходил Топольного, который, к своему стыду, на занятиях порой ошибался в простейших действиях, и студенты вынуждены были его поправлять. Также в противоположность Топольному память у Чвартека была безотказная, он не использовал никаких календарей, графиков и диаграмм, потому что системность была естественной составляющей его характера. Чвартек любил Топольного и дружил с ним, но воспринимал его с некоторой долей снисходительности. Все различия их характеров, как в линзе, отчетливо проявлялись в их отношении к физике.

Чвартек хорошо знал, почему именно физику выбрал своей специальностью. Он считал ее королевой наук, ибо она представляла собой мощнейшее орудие, созданное руками человека для обладания материальным миром. Его притягивал порядок ее основных теорий, совершенных в своей точности. Любой спор тут мог быть окончательно разрешен путем обращения к их кристальным конструкциям и экспериментам. Вместе с тем физика была источником чисто интеллектуальной радости, вытекающей из свободного охвата разумом больших запутанных совокупностей. Еще не разрешенные проблемы были для него как бы областью тьмы в противоположность области света уже открытых истин. Он был уверен, что в будущем и она подчинится разуму, но эта страна мрака не представляла для него никакого источника для волнений, не восхищала его и не казалась ему таинственной. Незвестное – всего лишь нечто еще не изученное, не более того.

Отношение Топольного к физике лучше всего можно было бы сравнить с положением постоянно отталкиваемого и неутомимо возобновляющего свои попытки несчастного влюбленного. Относительно существующих теорий он был полон подозрительности и недоверия.

Одновременное обнаружение в них слабых мест, вместо того чтобы доставлять ему удовлетворение от открытия, огорчало его как познание недостатков кого-то дорогого. Проблема же неизвестная, если он с ней встречался, притягивала его к себе и поглощала с неодолимой силой, доставляя столько же интеллектуальных усилий разуму, сколько страданий сердцу. Теоретическая физика была его частным и чрезвычайно личным делом, как каждая большая любовь. Он не мог запретить себе думать о ней, так же как невозможно убрать из воображения образ любимой. В отличие от Чвартека, который и так во всем хорошо разбирался, Топольному иногда казалось, что, собственно говоря, он не знает ничего. Были минуты, когда после бессонной ночи он сминал в комок и рвал исписанные листы бумаги, словно письма с плохими вестями, и минуты, во время которых – окончательно измученный напрасными попытками осознания и понимания, в очередной раз сбитый с пути, обманутый, отвергнутый, сидя над исписанными страницами, – он ронял на них слезы, слезы не ребенка, а мужчины. Об этом, однако, никто не знал.

В этот день Селло был более активен, чем обычно, и его темперамент блестящего преподавателя проявлялся во всей полноте. Рассказав о новых результатах французов в области изучения космических лучей, он закончил речь шуткой и, дождавшись взрыва смеха присутствующих, посмотрел на них с выражением лица одновременно как бы озабоченным и лукавым. Затем он сказал:

– У меня здесь последний номер «Физикал ревью», в котором есть новая работа Тарстона и Вринга... Как вы знаете, полгода назад Гаррахад, Томби и Зейц получили в Беркли супертяжелый элемент, который называли «синтетиум». Тарстон и Вринг занялись именно этим элементом и получили результаты, достойные внимания... Как доказали эти исследователи, из общей теории строения атомного ядра следует, что, если бы удалось соединить ядро атома синтетиума с ядром атома углерода, возник бы не известный до сих пор супертяжелый трансурановый элемент с новыми, необычайно важными свойствами. Этот гипотетический элемент, который Вринг называет стелларом, в обычных условиях является твердым телом. Зато подогретый до относительно низкой температуры, то есть до двух тысяч градусов, он начинает распадаться, выделяя ядерную энергию. Регулируя подачу тепла, этим процессом можно было бы управлять с неизвестной до сих пор точностью. Достаточно охладить стеллар ниже двух тысяч градусов, и распад остановится, чтобы начаться при новом подогреве. Трудно представить себе, какое значение имело бы создание стеллара в промышленном масштабе. Мы бы имели элемент, способный

удовлетворять энергетические потребности земного шара в течение неограниченного времени. Излучение, выделяемое распадающимся стелларом, как следует из теории, биологически относительно безвредно, а это значит, что стелларные моторы нашли бы широчайшее применение в различных областях, начиная от океанских кораблей и ракет и заканчивая швейными машинками. Достаточно было бы закладывать в эти моторы раз в два года маленькую пилюлю стеллара, чтобы обеспечить их постоянную работу...

Селло сделал паузу и быстро посмотрел на собравшихся. Видя, что они слушают его с величайшим вниманием, он усмехнулся и сказал:

– Вы, наверное, удивляетесь, как это может быть, что американцы, такие скрытные, когда речь идет об атомных секретах, неожиданно пошли на подобную откровенность? Все ясно. Тарстон и Вринг после долгого изучения вопроса пришли к выводу, подтвержденному рядом известных ученых-физиков, что в действительности создать стеллар никогда не удастся...

– Почему, профессор? – спросил кто-то охрипшим от волнения голосом.

В воцарившейся тишине Селло подошел к доске и начал писать, одновременно говоря:

– Почему? Как вы тут видите, стеллар может быть создан путем соединения карбиона, то есть ядра углерода, с ядром синтета. Так это представляется на доске, а как бы это выглядело на практике? Для того чтобы из двух сталкивающихся ядер возникло единое ядро нового элемента, необходимо некоторое время, порядка одной тысячетриллионной доли секунды. Следовательно, чтобы появился стеллар, карбион должен проникнуть в ядро синтета и находиться в нем по меньшей мере какое-то время, потому что иначе оба составляющих – синтет и углерод – попросту не смогут слиться в одно новое ядро. Далее: как известно, ядро атома окружено потенциальным барьером, отталкивающим каждую приближающуюся к нему заряженную частицу. Чтобы этот барьер пробить, чтобы пробраться к телу ядра, необходимы снаряды с очень большой энергией, каковыми являются частицы, разогнанные в больших ускорителях, таких, как наш главный космотрон. Однако именно здесь возникает скверное затруднение. А именно: эта необходимая для преодоления барьера скорость, какую надо придать карбиону, лежит в таких пределах, когда атомные ядра, как мы говорим, уже прозрачны.

В общем, картина выглядит так: если мы будем бомбардировать ядро синтета недостаточно быстрыми карбионами, то они отскочат от него как

горох от стены, в то же время если разгоним карбион до достаточной скорости, чтобы он пробил потенциальный барьер, то он прострелит целое ядро навылет и выскочит с другой стороны. Расчеты показывают, что карбион пробивает ядро за одну квадриллионную долю секунды. Это значит, что его нахождение в нем в тысячу раз короче того времени, которое необходимо для соединения обоих ядер в ядро стеллара.

Как видите, или мы не получим никакого результата, или результат, так сказать, будет слишком хорош. Несмотря на столь неблагоприятный прогноз, Тарстон и Вринг многократно предпринимали попытки синтеза стеллара классическим способом, какой используется для ядерного синтеза, а именно: разгоняли карбионы до необходимой скорости и на пути их потока устанавливали тонкую пластинку синтета. Беватрон, который они использовали, при полной нагрузке поглощает девяносто тысяч киловатт мощности, давая поток карбионов, ускоренных до шестнадцати миллиардов электроновольт, то есть немного слабее нашего. Результаты американских экспериментов полностью подтвердили теоретические предположения: медленные карбионы не проникают в ядра синтета, а быстрые пробивают их навылет. Как выразился Юри, попытка синтеза стеллара представляется так, словно бы мы пытались поймать пулю в стеклянную бутылку, стреляя в нее из револьвера.

— А нельзя ли провести синтез по-другому? — спросил кто-то из угла. — Карбион ведь состоит из протонов и нейтронов, следовательно, можно было бы ввести его в ядро синтета, предположим, так, порциями, добавляя постепенно по одной частице, пока не образуется стеллар...

— Очень правильная мысль! — сказал Селло. — Американцы тоже к ней пришли. К сожалению, уже после четвертого по очереди введенного протона все ядро разлетается на кусочки. Дело в том, что временные элементы между постоянным синтетом и постоянным стелларом непостоянны. Природа вынуждает нас к использованию довольно странных методов строительства: мы не можем класть кирпич за кирпичом, а, некоторым образом, сразу должны устанавливать целые этажи. Я не знаю, ясно ли выражаюсь. Речь идет о том, что синтез должен идти только по пути «ядро углерода плюс ядро синтета»; продвижение этапами невозможно, что, впрочем, можно легко доказать...

Селло написал несколько преобразований, стукнул мелом по доске и сказал:

— Видите, как это просто. Американцы говорят, что мы сталкиваемся тут не с какими-то временными трудностями, техническими, которые будут преодолены в будущем, а с принципиальной невозможностью синтеза,

диктуемой нам законами природы...

Когда Селло закончил, посыпались вопросы. Ассистенты подходили к доске, вырывали друг у друга мел, чертили схемы и горячо спорили с профессором, затем, качая головой, один за другим возвращались на место, как бы говоря: «Безнадежно, ничего не удастся сделать».

– Впрочем, – заметил аспирант Сикорка, – если бы была хоть самая смутная тень надежды, американцы ничего бы не опубликовали. Ведь известно, какая ужасная у них цензура. Я считаю, что жалко тратить на это время, но, черт побери, ужасно жаль!

Все время дискуссии Топольный не покинул своего кресла; неподвижный, сгорбившись, упиравсь подбородком в кулак, он слепо смотрел перед собой, а его щеки, лоб и, наконец, шею покрывал все более темный румянец. Сикорка, проходя рядом с ним, даже руками всплеснул:

– Смотрите! Чистый лабораторный препарат!

– Что, что случилось? – спросили сразу с нескольких сторон.

– Как «что», не видите? Ну так я скажу вам: у Топольного начинается новый приступ одержимости! Парень уже обречен, голову даю; с этой минуты не будет от него покоя!

Ближайшие недели показали, что Сикорка оказался ужасно прав, произнося свое пророчество. Новое увлечение Топольного оказалось более опасным, чем предыдущие. Сразу после конференции он попросил Селло одолжить все публикации, касающиеся синтета и стеллара, схватил эту толстую пачку и, едва добежав до дома, бросился к ним, как гибнущий от жажды к роднику. Студенты торжественно объявили, что «величайший негативный исследователь» своей работой решил окончательно застопорить синтез стеллара, и, когда наступил ноябрь, а с ним именины Топольного, торжественно вручили ему огромный, красочно разрисованный диплом соответствующего содержания. Топольный смеялся вместе с ними, а после веселья засел за свои исследования.

С началом декабря, когда первый снег тонким слоем припорошил парк института, ассистент вечером явился к Селло и, возвращая одолженные журналы, попросил пять минут для разговора, который затянулся до поздней ночи.

– Вы спрашиваете меня, стоит ли заниматься синтезом? – невежливо сказал Селло, поднимая глаза на молодого человека. – Отлично. А если я скажу вам, что не стоит, бросите ли вы все к черту?

Топольный минуту помолчал, посмотрел на профессора, несмело усмехнулся и сказал:

– Нет.

Селло рассмеялся басом. Смеялся он долго. Наконец, откашлявшись, машинально переставил на столе пресс-папье и сказал:

– Ну так зачем, собственно говоря, вы меня спрашиваете?

– Мне важно ваше мнение, профессор.

– Мое мнение? Гм-м, чего же стоит мое мнение по сравнению с приговором Юри, Вринга, Зейца и всех остальных? Ну, если непременно желаете знать, пожалуйста, скажу вам, что думаю об этой истории.

Топольный весь обратился в слух.

– Дела, – зычным голосом тянул профессор, – обстоят плохо. Очень, очень плохо! Все ясно как кристалл: синтез стеллара невозможен.

Он широко развел руками.

– Однако существует мелкое, хотя занимательное «но». Юри, Тарстон или Вринг – это выдающиеся специалисты. Несомненно. Очень талантливые. Никто им в этом не откажет. Они говорят, что синтез невозможен. Ну да. Но разве Гейзенберг, один из величайших физиков XX века, не заявил своим ассистентам во время последней войны, что массовый синтез плутона невозможен? А инженеры, которые в XIX веке посчитали, что невозможно будет построить летающую машину тяжелее воздуха, не были ли это известные специалисты? Самое плохое в науке – это слишком большая уверенность в себе, пусть даже основанная на самом фундаментальном знании; такая уверенность очень легко перерождается в догматизм. Прекрасно. Однако следует ли из этого, что синтез стеллара возможен? Ничуть. Существуют ли неразрешимые задачи? Несомненно, существуют. И что теперь делать?

Топольный молчал, неподвижно глядя на оживленно ораторствующего Селло.

– Я не слепой. Вижу, как вы работаете. У вас есть очень ценная черта: страсть. Только стоит ли использовать ее в решении этой проблемы? Наилучший ныряльщик не достигнет дна там, где его вообще нет. Следовательно, достигнете ли вы дна? Разве не жаль усилий? Утверждение Тарстона и Вринга получило молчаливое одобрение всей американской комиссии по атомной энергии, а там есть такие люди, как Бете, как Ферми, как Моррисон. Да, в этом случае дело выглядит плохо, еще хуже, чем пятьдесят лет назад, когда лорд Резерфорд сказал, что освобождение атомной энергии в течение ближайших веков невозможно. Ну а мое мнение? Мое мнение звучит так: я не знаю, возможен ли синтез стеллара. Не знаю, невозможен ли. Я ничего не знаю. Я удовлетворил ваше любопытство?

Профессор удивился, ибо Топольный слегка усмехнулся, но с таким восторгом, словно тут же перед глазами у него возникла какая-то необыкновенно прекрасная вещь.

– Полно, что же вас так забавляет?

Топольный вздрогнул, словно очнувшись от задумчивости, и стал серьезным.

– Я думал о том, что бы сделал, если бы мне кто-то тут, сейчас предложил решение проблемы – полностью готовый рецепт синтеза стеллара...

– И что придумал?

– Ничего необычного, – ответил Топольный и, как бы извиняясь, усмехнулся. – Не принял бы. Не хотел бы такого решения. Вы мне верите?

– Верю ли я тебе? – взорвался Селло, вставая с кресла. – Верю ли я тебе?! Иди уже, иди к своим атомам, погрузись в них и утони. Я проклиная тебя, и приговариваю к вечным поискам и преследованиям, к сомнениям и незакончивающимся размышлениям, и желаю тебе, чтобы на этом пути ты падал, набивал себе шишки и постоянно вставал, и прежде всего, чтобы ты в науке находил как можно больше проблем, принятых за неразрешимые... и как можно меньше в жизни.

Увлеченность Топольного стелларом, в этом были согласны все, приобретала более острую форму, чем все предыдущие. Особенно страдали от него ближайшие коллеги и приятели, а также множество известных ученых-физиков. Ректор Анджеевич рассказывал, как Топольный появился у него дома поздним вечером и, желая задать какой-то вопрос, преодолел общее сопротивление всей семьи, ворвался в ванную комнату, в которой ректор как раз мылся, и втянул его в двухчасовой разговор, во время которого оба рисовали схемы пальцем на запотевшем от пара зеркале. Доцент Шилинский публично жаловался, что Топольный пришел на его лекцию по физике о быстрых электронах, увел всю дискуссию от излагавшейся темы и направил ее на проблему несчастного стеллара. Наконец, библиотекарь института начал вздрагивать при одном виде молодого человека, который всегда прибежал рысью с бездонным портфелем, чтобы унести в нем десятки необходимых ему книг. Возвращал он их исчерканными на полях иероглифическими пометками. Библиотекарь стирал каракули ластиком и клялся, что не даст больше ни одной книги неряшливому читателю, но, в конце концов, уступал его настойчивым просьбам.

Разумеется, все планы занятий, графики и распределение часов давно

были заброшены в угол. Топольный или до поздней ночи просиживал в своей комнате, исписывая ворох бумаг и сжимая в зубах карандаши, погрызенными остатками которых постепенно заполнялась корзина, или же выскакивал из квартиры в криво застегнутом плаще, чтобы часами бродить по аллеям парка. Во время такой прогулки он иногда присаживался на корточки и обломком сухой веточки чертил схемы на снегу.

Регулярно, раз в несколько дней, он появлялся у кого-нибудь из коллег, чаще у Чвартека, чтобы в форме лекции, читаемой чаще всего между первым и третьим часами ночи, представить результаты своих одиноких размышлений. Приятели, конечно, не покидали его в беде. Они усердно принимались за дело и в пух и прах разбивали каждую новую идею. Особенно преуспевал в этом логически мыслящий эрудит Чвартек, который с достойным уважения терпением повторял ему, что синтез стеллара невозможен.

– Почему? – спрашивал Топольный, который сотни, если не тысячи, раз сам задавал себе этот вопрос.

– Почему? Но ведь задумайся. Если у тебя есть два атомных ядра и ты хочешь их соединить, ты должен силой вбить одно ядро в другое и, предположим, поддержать их соединенными одну тысячетриллионную долю секунды, не так ли?

– Да.

– Отлично. Теперь, почему одно ядро должно пребывать в другом по меньшей мере именно одну тысячетриллионную часть секунды?

– Ну, потому что должен наступить обмен ядерными силами между частицами, – отвечал Топольный.

– Очень хорошо, но почему этот обмен не происходит тотчас же, а продолжается какое-то время?

– Поскольку ядерные силы не действуют моментально на расстоянии, а распространяются с конечной скоростью, равной скорости света, так же как электрическое поле или гравитационное...

– Ну, значит, ты сам все видишь. Обмен силами начинается там, где одно ядро проникает в другое, и распространяется, как круги на воде от брошенного камня. Ядро синтеза имеет радиус около 10^{-12} см, и чтобы накрыть это пространство, надо совершить действие со скоростью света, а это именно одна тысячетриллионная доля секунды. За это время медленный карбион вообще не достигнет ядра, а быстрый прострелит его навылет в течение одной квадриллионной, не правда ли?

– Ну да.

– И, следовательно, я доказал тебе, что синтез стеллара невозможен.

Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, – говорил Топольный, вставая.

Затем он выходил с опущенными плечами, но уже по дороге домой у него возникала новая идея на предмет того, как перехитрить природу.

Такое положение дел сохранялось до февраля. Единственным достойным внимания в поведении Топольного в это время было то, что со своими идеями он никогда не приходил к Селло, а профессор при встречах, они происходили ежедневно, ни о чем его не спрашивал.

Наступил март, а с ним пришли большие снега, которые превратили окрестности университетского городка в пейзаж с белыми холмами. Одним особенно морозным вечером кто-то позвонил в квартиру Чвартека, расположенную в домике тут же, за парком института. Хозяин в халате, накинутом на пижаму, открыл дверь. Поздним гостем был Топольный, дрожавший от холода. Переступив порог комнаты, он зашелся кашлем. Чвартек без слов пошел на кухню и через минуту вернулся с горячим чайником, сахарницей, хлебом и маслом. Он нашел в шкафу бутылку рома, с аптекарской тщательностью отмерил рюмку, влил в чай и придвинул горячий напиток Топольному, который с бессмысленным выражением лица апатично устоялся в стол. Чвартек опять засуетился, достал откуда-то аспирин, приказал Топольному принять две таблетки и запить их чаем. Затем уселся напротив и стал изучающе его рассматривать. В конце концов спокойно заговорил:

– Ты сегодня рано. У тебя есть новости?

Топольный не ответил, даже не кивнул, только его ладонь, кончиками пальцев опирающаяся на край стола, как-то сама собой упала вниз. Этот короткий жест сказал Чвартеку больше, чем обширные рассуждения.

Опять воцарилось молчание. Топольный пил чай и согревался, на щеках у него выступил румянец.

– Знаешь что, – неожиданно сказал Чвартек, – все это давно перестало мне нравиться. Ты с упорством работаешь, этого нельзя отрицать, но ты ведь тратишь силы зря, дружище!

Топольный ничего не ответил.

– Иногда надо быть неуступчивым, – тянул Чвартек, – но сейчас? Что бы ты сказал о человеке, который посвящает жизнь созданию вечного двигателя?

Топольный резче, чем было надо, отставил стакан.

– Синтез стеллара – это не построение вечного двигателя, – сказал он и раскашлялся.

Чвартек подождал минуту и сказал:

– Но подумай. Этот синтез должен идти путем «карбион плюс синтет». Этого не избежишь. Карбион, который навывлет пробивает ядро, тоже пальцем не придержишь. Я говорю с тобой как с братом: брось это. Оставь это дело. Есть масса интересных проблем на свете.

Топольный хотел было ответить, но Чвартек быстро сказал:

– Не говори ничего. Я не буду сейчас с тобой болтать. Ты падаешь с ног. Иди домой, ложись и выпись. Если захочешь, завтра поговорим об этом еще, хотя, Бог мне свидетель, я не знаю, о чем тут еще можно говорить: идея была непроходная с самого начала. Ты знаешь, что я тебя люблю и не хочу тебя обижать, но если бы ты мог учесть объективный взгляд со стороны, сам признал бы, что это смешно: двадцати с чем-то летний ассистент против самых выдающихся американских физиков. Ну иди уже, иди. Подожди, дам тебе снотворное. Возьми.

В прихожей Топольный с такой стремительностью натянул рукав плаща, что послышался звук раздираемой подкладки. Он буркнул что-то под нос, хлопнул за собой дверью и пошел домой. Он жил всего лишь в двухстах шагах от Чвартека. Когда снял у себя плащ, то увидел торчавшие из рукава длинные куски подкладки, поэтому уселся около лампы и начал терпеливо штопать разорванное. Ему было вовсе не важно, целый ли у него плащ, но он подумал, что шитье будет неплохим способом успокоения нервов. Закончив шить, он некоторое время рассматривал свою работу, после чего тяжело вздохнул и засел за тетрадь с формулами, но уже через десять минут это занятие ему надоело. Тетрадь полетела на пол, а Топольный за несколько секунд разделся и прыгнул в кровать.

Только теперь он почувствовал, как сильно устал. Он не мог заснуть. В голове, когда он прикрывал глаза, начинали кружить квадрипольные моменты, активные сечения поглощения, спины, волновые функции и мезонные поля. Он ворочался с боку на бок, в конце концов зажег лампу возле кровати и взял с полки первую книгу, какая подвернулась. Это были «Элементы теории относительности» Вейля. Он читал невнимательно и время от времени ловил себя на том, что размышляет, слепо уставившись в какое-то место текста. «Чвартек был прав. Разве не было маньяков, которые с упорством, равным моему, да и многократно превышающим его, пытались строить какие-то вечно двигающиеся машины, тратя зря целую жизнь? Где показатель ценности усилий, где уверенность, что решение вообще существует?»

Он принудил себя к чтению, пробежал глазами несколько страниц, но ничего не понимал. «Я как машина без водителя, – думал он, – вынужден искусственно создавать себе колею, по которой могу двигаться, и время от

времени происходит катастрофа: я выскакиваю из колеи, сбиваюсь с пути, теряю землю под ногами. А Чвартек? О, ему не нужна колея, он сам водитель, рулевой собственной судьбы. Боже мой, почему у него не бывает никаких сомнений, почему он понимает, что можно, а чего нельзя?» Почти с восторгом он вспоминал достоинства приятеля: умеренность, спокойствие, душевное равновесие... «Куда уж мне до него!» – подумал он, вздохнул и опять стал читать, пока не дошел до места, в котором Вейль приводит свой известный пример относительности влияния времени:

«На Земле живут два брата-близнеца. Один из них отправляется в межзвездное путешествие на ракете, двигающейся с огромной скоростью. После возвращения на Землю он оказывается намного младше брата, который не путешествовал, потому что во всех материальных телах, а значит, и живых организмах, время течет тем медленней, чем быстрее движется работа. Таким образом, в то время, как земной брат постарел на несколько десятков лет, брат – звездный путешественник – едва успел прожить несколько лет».

Здесь внимание Топольного опять рассеялось. Он вспомнил о том, с какой уверенностью несколько месяцев назад говорил Селло, что не принял бы готового решения проблемы, и губы у него скривились в ироничной усмешке.

«Что ж за наглая самоуверенность», – подумал он.

С книжкой, опиравшейся на одеяло, он смотрел перед собой невидящими глазами. «Гм-м, если б можно было отправиться в звездное путешествие и вернуться, прожив там несколько лет, в то время как на Земле пройдет целый век, может, я бы узнал, возможен ли синтез стеллара. Может, к этому времени будут открыты какие-нибудь тайны ядра, откроются неизвестные сегодня пути...»

Потихоньку его одолевала сонливость. Он отложил книгу и погасил лампу. Свет рассеивался, мысли таяли, пропадали во всё охватывающем мраке. Вдруг он вздрогнул, словно от удара. Поднял голову. Что это было? Какое-то видение на грани сна? Опять лег, опять явь покинула его, неожиданно во второй раз этот внутренний удар: никакой не голос, не конкретная мысль, а неожиданное беспокойство. Сердце забилось сильнее. Он сел в темноте на кровати. Что это значит? Он не знал. У него было сильное, не поддающееся определению впечатление, что на границе сна и яви у него блеснула и тотчас же пропала какая-то невероятно важная мысль. Он напряг память до последнего предела, но внимание,

направленное в глубь сознания, вылавливало только обрывки, нелепых мысленных уродцев. Кружа в темном лабиринте, он каждую минуту наталкивался на тупики. Его охватило невыносимое ощущение, какое бывает у человека, который забыл какое-то слово и напрасно штурмует память в его поисках. Смирившийся, он еще раз лег отдыхать. Голова у него, собственно говоря, не болела, но была словно налита свинцом. «Эта ночь никогда не закончится. Быстрее бы уже наступил рассвет, который развеет эти обманчивые видения!» – мелькнуло у него в голове. В третий раз его охватила сонливость, и в третий раз он проснулся с громко бьющимся сердцем. Это было похоже на действие скрытого в нем существа, которое не позволяло отключиться сознанию, которое принуждало его к бодрствованию, поскольку что-то произошло.

Он зажег лампу. Взгляд упал на отложенную книгу, и он сразу вспомнил. Из распадающихся на пороге сна мыслей вылепилось нечто удивительное: если бы всю лабораторию с космотроном погрузить в ракету и отправить к звездам...

«Было же ради чего ломать себе голову! – подумал он. – Идиотизм какой-то... хотя... сейчас... сейчас!!!»

Он сел.

«Только спокойно... – шептал он одними губами! – Течение времени в быстро движущейся ракете медленнее для всех без исключения находящихся в ней тел. И вот там, в мчащейся ракете, стоит космотрон, эта огромная махина, бомбардирующая пластинку синтета карбионами. Из узкого прохода вылетает со свистом пламя частиц и ударяет в металлический синтез. Карбионы проникают в его ядра, но уже пребывают в них не в течение одной квадриллионной доли секунды. Время на ракете идет медленней, следовательно, они вынуждены пребывать в них дольше... Но ведь это очень интересно!»

Он сидел в кровати, скорчившись, обнимая колени руками, и быстро думал: «Ну хорошо, предположим, что я запустил целую лабораторию с космотроном в звездное пространство. Дало бы это что-нибудь? Ну, дало бы или нет? Рассудим логически. Значит, так: чтобы карбион соединился с ядром синтета и образовалось ядро стеллара, необходима одна тысячетриллионная доля секунды. В то же время, направленный в ядро, он пребывает в нем только одну квадриллионную долю секунды, то есть в тысячу раз меньше. А если космотрон будет мчаться со скоростью, близкой к скорости света? Тогда время в глубине атомов будет течь медленней, карбионы в ядрах стеллара будут находиться дольше... Будут находиться дольше? Это точно? Но ведь да, эйнштейновская формула ясно говорит об

этом, и, впрочем, известны опыты с мезонами: мезон,двигающийся с большой скоростью, распадается значительно медленней, существует дольше, чем мезон покоящийся. Итак, можно подобрать такую скорость ракеты, чтобы карбионы находились в ядрах синтета в течение одной тысячетриллионной доли секунды. Ну хорошо, но даст ли это что-нибудь? Пожалуй, нет, ибо тогда все физические процессы замедлятся в одинаковой степени, а следовательно, карбион на самом деле будет находиться внутри ядра синтета дольше, но вместе с тем будет с ним медленней соединяться... Ой ли, точно ли? Соединение происходит при участии ядерных сил, эти силы движутся со скоростью света... А скорость света независимо от скорости системы всегда одинакова, ибо...»

– Скорость света инвариантна!!! – страшным голосом крикнул Топольный и, как сидел, в рубашке, босыми ногами спрыгнул на пол.

Он добрался до стола, взял тетрадь, раскрыл ее, начал вычислять. На втором интеграле острый карандаш сломался. Он чертыхнулся и бросился на поиски перочинного ножика. Проходили секунды, которые казались веками. Ножика не было. Он схватил чернильницу, коробок спичек и начал писать, макая их в чернила. Интегралы, как сумасшедшие змеи, вились на бумаге. Преобразования следовали все быстрее. Последнее выражение он обвел толстой рамкой, спичка сломалась. Посмотрел на испачканные чернилами пальцы, вытер их о волосы и встал. Глубоко дыша, широкими шагами он ходил по комнате, постепенно приходя в себя, затем вернулся к столу и посмотрел на испачканные страницы.

«Ну да, – подумал он, – и что из этого? Можно ли отправить целую лабораторию к звездам? Чему ты так радуешься, идиот? Что за нонсенс – отправить космотрон к звездам...»

Он все время ходил по диагонали комнаты; ноги начали замерзать, поэтому он надел тапочки и продолжил хождение из угла в угол. «Значит, как же это? Чтобы произошел синтез, ядра синтета вместе с содержащимися в них карбионами должны двигаться с огромной скоростью. Космотрон, естественно, никуда не должен лететь. Может быть, это только место, где происходит реакция, и, следовательно, пластинка синтета должна двигаться с огромной скоростью. Нельзя ли это как-то устроить? Предположим, так: из космотрона вылетает пучок карбионов, и в том же направлении мы из пушки выстрелим снаряд, составленный из синтета. Карбионы догонят его в полете, и произойдет реакция... Неправда, не произойдет. Скорость самого быстрого пушечного снаряда может достичь двух километров в секунду, а тут нужна скорость ровно в 150 тысяч раз больше. Или хотя бы в 140 тысяч раз. Нет, это безнадежно. Есть

ли на свете способ разогнать пластинку синтета до такой скорости? Нет. Исключено. Черт бы побрал эту пластинку! Почему нельзя ее как-то так разогнать...»

Вдруг Топольный остановился на месте, словно бы натолкнулся на невидимую стену. Глаза у него расширились, горло неожиданно пересохло. Он сдавил руками виски.

– Есть! Есть!!!

Все было так просто... Не надо никакой ракеты, не надо отправлять космотрон к звездам, не надо стрелять пластинкой синтета. Почему? Надо всю реакцию перенести внутрь космотрона. Ведь это именно там, в вакуумной трубе кругообразной формы, разгоняются частицы материи до околосветовой скорости. Электрическая энергия ускоряет их полет. Они все время вращаются, все быстрее и быстрее... Надо взять синтет – не пластинку, к черту пластинку! – надо просто впрыснуть в космотрон распыленное облачко атомов синтета. А скорее, ионов. Разумеется! В космотроне уже кружат карбионы. Теперь начнут разгоняться также ионы синтета, но как более тяжелые, чем карбионы, они будут двигаться медленнее их. На каждые два круга карбионов получится приблизительно полтора круга ионов синтета, следовательно, они будут расходиться, при расхождении сталкиваться, постоянно сталкиваться, карбионы будут проникать в ядра синтета, и в них возникать новые ядра, ибо времени на это будет достаточно: синтет, в котором происходит реакция, сам будет мчаться очень быстро! И, таким образом, в глубине космотрона, в вакуумной трубе, родится супертяжелая частица – стеллар!

Топольный считал на бумаге, ломал спички, чернила текли у него по пальцам, пачкая листы, а он говорил сам с собой, совсем не отдавая себе в этом отчет. Внезапно он вскочил на ноги и резко начал одеваться. К Селло! Да, теперь наступило для этого время. Застегивая пиджак, он выбежал в коридор и только там заметил, что на ногах у него домашние тапочки. Вернулся за ботинками. Через минуту выскочил из дому, натягивая на бегу плащ, по локоть всунул руку в рукав и во второй раз разодрал подкладку сверху донизу. С развевающимися длинными лоскутьями подкладки он помчался на противоположный конец университетского городка.

Услышав протяжный звонок, который его разбудил, Селло посмотрел на часы, светящие зеленоватыми цифрами с ночного столика. Приближался пятый час.

Он набросил халат и вышел в коридор, открыл дверь и столкнулся с тяжело дышащим человеком, который запыхался, как после изнуряющего бега. Это был Топольный.

– Есть стеллар! Профессор! Есть стеллар! – дышал молодой человек, подталкивая перед собой Селло по темному коридору.

У профессора мелькнула недобрая мысль, что Топольный сошел с ума.

– Где... где стеллар? – спросил он, невольно обращая взгляд на помятый сверток, который Топольный сжимал в руках.

– Нет, стеллара еще нет, но будет, я открыл метод, – уже спокойнее сказал Топольный.

Он развернул сверток, в котором оказались вырванные из общей тетради, исписанные страницы. Профессор зажег большую лампу, увидел лицо Топольного, и глаза у него расширились от удивления.

– Что это? – сказал он. – Что вы с собой сделали?

Топольный моргал, беспомощно улыбаясь.

– Извините... Я не думал, что время такое раннее, то есть позднее, но правда...

Селло взял его за плечо и подвел к зеркалу. Топольный увидел собственное лицо ото лба до подбородка, покрытое гранатовыми и голубыми полосами.

– Ах, я испачкался, потому что без пера... писал спичками, но... но посмотрите же сюда, профессор!

В его голосе звучало такое воодушевление, что Селло против воли поддался ему. Стоя в пижаме, с наброшенным на плечи халатом, он смотрел на стремительно бегающие пальцы Топольного, который, бросая скупые объяснения, рисовал план экспериментов. Через некоторое время он положил юноше руку на плечо.

– Подождите, – сказал он.

Он пошел в другую комнату, вернулся с ручкой, сел за стол, подвинул к себе бумаги и начал писать. Расставляя знаки со свойственным ему размахом, сначала он проверил расчеты Топольного, затем ввел ряд дополнительных данных. Топольный почувствовал, что ноги в коленях у него подгибаются. В голове была абсолютная пустота. Там, в преобразованиях, которые выплывали из-под пера Селло, была заключена судьба его идеи. Он тихо сел, не смея взглянуть на расчеты профессора. Наконец тот глубоко вздохнул, отодвинул от себя листы и посмотрел на своего ассистента. Топольный, очень бледный, ждал, и уже ничего смешного не было в чернильных пятнах на его лице.

– Ну так, – раздался бас Селло, – значит, в принципе вопрос решен верно, но... Но сомнительно. Сама основа синтеза безупречна, однако есть проблемы – немалые! А именно: стеллар на самом деле образуется, но тут же будет распадаться, потому что температура уже в конце первой секунды

реакции превысит две тысячи градусов, то есть температура окружающей среды. Второй переменной является температура самого ядра, которая в момент столкновения наверняка превысит пять миллиардов градусов. Это у вас здесь, на этом графике.

Он подsunул Топольному листок.

Молодой человек минуту смотрел, ничего не понимая. Постепенно значение переплетения кривых доходило до его сознания. Неожиданно он схватил ручку и начал считать. Когда он поднял голову, глаза у него сияли.

– Ну так пусть реакция продолжается только полсекунды, – сказал он, – а затем космотрон выключится...

– Это не так просто, – буркнул нахмурившийся Селло.

Наклонив свою большую кудрявую голову, он надеялся через зажмуренные веки увидеть что-то в темноте под столом.

– Профессор...

– Что?

– Разве...

Топольный не закончил, но профессор его понял.

– Попробуем ли? Гм... Собственно говоря, наш космотрон слишком слаб, необходима установка более мощная. В нормальном режиме работы ничего не удастся сделать...

– Космотрон можно усилить... очень просто, – быстро подсказал Топольный.

– Именно об этом я думаю. Это довольно рискованно, обмотки могут сгореть. И смотрите, – поднял он голову, – еще недавно мы были убеждены, что мощность этого дракона удовлетворит наши потребности на десятки лет вперед!

Топольный не слышал его.

– Профессор, – сказал он тихо, – так а если не выключать космотрон?

– Как?

– Объясняю: если не выключать ток, а только использовать трубы с таким же диаметром, как в бетатроне, и...

– Ага, и выводить из оборота образованный стеллар вспомогательным отклоняющим полем? Если бы это удалось, было бы неплохо... Дайте ручку!

Склонившись над бумагами, они рисовали и считали, объясняясь отдельными словами. В конце концов Селло выпрямился, зашипел и скривился, потирая плечи.

– Любишь кататься, люби и саночки возить, – сказал он.

Воцарилось молчание.

– Итак, профессор?.. – осторожно спросил Топольный.

– Что?

– Когда начинаем?

Селло вздохнул. Затем – большой, пузатый, превосходящий ростом Топольного – он притянул к себе ассистента, обнял, так же сильно, как и неловко, через минуту повернулся к нему спиной и сказал:

– Пойдем в ванную. Кажется, и я испачкался в чернилах.

* * *

Потом началась работа. Призвали на помощь инженеров-электриков, которые, услышав о нагрузке, какой физики хотят подвергнуть космотрон, долго крутили головами и не хотели брать на себя ответственность за целостность обмотки. Однако же научный совет принял решение немедленно приступить к испытаниям. Попытки синтеза тянулись долго. То вспомогательная аппаратура Ван дер Граафа не давала нужного напряжения, то вакуум не был достаточным, то поток ионов синтеза был слишком незначительный; большие катушки электромагнитов чрезмерно нагревались, и надо было наспех монтировать охлаждающие установки; предохранители сгорали сериями, а когда уже все пошло на лад, едва полученный стеллар тотчас же распадался.

В течение недели коллектив Селло ел, спал, почти жил в цехе космотрона вместе с бригадой электриков, которые вместе с физиками бродили среди извивающихся по полу кабелей, передвигали трансформаторы, меняли соединения, неутомимо копошась у подножия бронированного колосса. Время от времени гул голосов, лязг и стук инструментов, наполняющих цех, стихали, и раздавалось возрастающее дребезжание. Люди, стоявшие на контрольных пунктах, не отрывали глаз от дисков часов, стрелки колебались, напряжение росло, в усиливающемся хоре искушенное ухо различало высокий свист вращающихся вакуумных насосов, дрожащее бречание железа трансформаторов и тихое, но всепроникающее шипение потока нуклонов, стреляющего белым узким пламенем из щели в толстом панцире космотрона. Селло, кривясь и морщась, вставал на двухъярусную возвышенность перед главным распределительным щитом. Все свое недовольство слишком малой мощностью космотрона он вкладывал в выражение лица – казалось, что он пробует какую-то небывало горькую жидкость. Круговыми движениями рук он давал знать электрикам, чтобы те увеличивали ток на магнитах. Когда стрелки начинали доходить до красных черточек перенапряжения, ассистенты сильнее сжимали руки на выключателях, а Селло кривился еще больше. В глубине корпуса космотрона ток гудел все громче, заглушая все

другие звуки. В конце концов движимые части аппарата, а затем и пол начинали вибрировать. Дрожь шла по несущим балкам, прошивала тела людей. Стрелки достигали красных отметок. Теперь все переносили взгляд с циферблатов часов на лицо профессора, который с высоты, как вождь на поле битвы, охватывал всю картину целиком. Неожиданно в хоре громыхающих отголосков возникали короткие, хлещущие звуки. Это соединенные с репродукторами счетчики Гейгера предостерегали, что в пространство, где находятся люди, из-за защитной стены просачивается проникающее излучение. Селло нажимал красную кнопку, за предохраняющими сетками раздавалось щелканье выключателей, стреляющих огненными зигзагами, и наступала неожиданная тишина. Потом люди снова суетились, и через какое-то время все начиналось сначала.

Результатом этой неустанной работы стал маленький кусочек субстанции, который вобрал в себя атомы искусственно созданного элемента. Эту крупинку материи, закрытую в толстостенном свинцовом ящике, торжественно вручили микрохимикам. В аналитической лаборатории ее подвергли долгой серии процедур, благодаря которым она убывала все больше, размываемая кислотами, перетапливаемая, пропускаемая в форме пара между полюсами электромагнитов, дистиллированная фракциями, пока, в конце концов, группа Селло не получила от химиков небольшую стеклянную пробирку. На ее дне находилась видимая только через микроскоп, неприметная, серая как пепел щепотка металлического теллара.

II. Чудо Чвартека

Опускался вечер последнего дня ноября. В зданиях Института термоядерной химии, Отделов космических излучений и атомных установок господствовала абсолютная тишина. Большинство работников уже покинуло стены института, направляясь или на автомобилях в близлежащую Варшаву, или в свои домики в университетском городке. Огромные лаборатории стояли, погруженные в темноту, ветер гнал тучи сухих листьев, с шелестом круживших вдоль стен зданий. Только в цехе с космотроном еще работали бригады техников-монтажников, грохотала лебедка, стреляли пневматические молотки, голубым цветом взрывались огоньки, на доли секунды освещая асбестовые маски сварщиков. Это электрики и монтеры инженера Кеча устраняли повреждения, нанесенные

космотрону во время последнего эксперимента и вызванные слишком мощным током. Кроме работающих в цехе, в институте находились еще два человека: профессор Селло и ассистент Чвартек. В партере здания, прилегающего к главному корпусу, они заканчивали начавшиеся после полудня опыты.

Ученые находились в помещении циклотрона. Большой, как самолетный ангар, зал был освещен голубым светом дневных ламп. Посередине возвышалась над полом бетонная призма, в которой – словно в каменном саркофаге – была помещена аппаратура. Стены полутораметровой толщины защищали людей от вредного излучения.

Оба ученых стояли у основания шершавой стены, за которой находился циклотрон. Перед ними виднелась доска измерительных приборов и аппаратура, называемая «механическими руками», – система манипуляторов, с помощью которых на расстоянии можно было выполнять различные операции в зоне опасного излучения. Из бетонной плиты выступали окуляры зеркальных перископов. Селло записывал результаты в толстой тетради в клеенчатом переплете, Чвартек же, наклонившись, смотрел в перископ и нажимал кнопки аппаратуры. Только что они закончили бомбардировку пластинки элемента потоком быстрых частиц. Через перископ было видно, как похожие на пальцы скелета металлические держатели берут пластинку, вынимают ее из рамки и вбрасывают в желобок, в который тут же впрыскивалась струя воды, подхватывала пластинку и уносила ее к воронкообразно расширенному входу в трубопровод. Отсюда под защитой жидкости образец достигал подземелья здания, где его ждали автоматические аппараты, выполняющие проверку на радиоактивность.

– Нужны сейчас снимки? – спросил Чвартек, не без удовольствия наблюдая, как опасный источник излучения исчезает из поля видимости, и вытирая пальцы платком скорее символически, чем по действительной необходимости.

– Нет, можно будет получить завтра, – сказал профессор. – Я считаю, что мы не увидим ничего необычного. Я хотел бы только взять немного мезонных торов –годились бы для демонстрации на лекции.

– Образец треснул, профессор, – заметил Чвартек, покидая свое место возле распределительного щита.

Профессор только махнул рукой, словно говоря: «Я это допускал», – и двинулся к выходу. Узкий коридор вывел к высокому и тесному помещению, из стены здесь выступали большие металлические «носы», которые как будто бы обнюхивали проходящих: это были аппараты,

определяющие радиоактивность одежды, тел и волос. Эти аппараты были соединены с входным замком двери таким образом, что даже кто-то проявивший легкомысленность не мог покинуть предприятие, не подвергшись процедурам очистки, потому что автомат, обнаружив «излучающего» человека, тотчас же блокировал дверь и открывал другую, ведущую в специальные душевые. Однако в этот раз огни сигналов не загорелись. Ассистент и профессор свободно прошли и отправились на первый этаж, в библиотеку. Здесь оба уселись возле большого окна, выходящего в парк. Селло угостил Чвартека сигаретой и сам с удовольствием затянулся дымом. Он любил после работы немного отдохнуть именно в этом месте, потому что ощущение особого покоя создавало у него соседство как высоких полок, заполненных темными томами, так и больших деревьев парка, гнущихся сейчас за окнами под напором ветра. Они сидели неподвижно, такое созерцание продолжалось какое-то время, наконец Селло заговорил первым. Разговор пошел, как большинство разговоров в институте, на тему стеллара.

– А этот Топольный, Топольный, – сказал профессор, – это ваш коллега, да?

– На год младше.

– Ну вот пожалуйста, даже младше. Его отец овец пас, а ему, только посмотрите, памятники будут ставить. Глаза у него как у девушки. Никогда не думал, что с такими глазами можно... Хотя это глупо.

– И подумать, как это было просто в принципе, – подхватил Чвартек. – Я столько раз проделывал эти расчеты, и нет чтобы мне в голову такое пришло! Несколько предложений – и готово! Ведь то, что пошло в заграничные журналы, я говорю об этом предварительном докладе, это какие-то полторы странички рукописи, если не считать вступления!

– Ну-ну, эти полторы странички перевернут всю энергетику! – сказал профессор и фыркнул, будто бы ему захотелось засмеяться.

– У меня впечатление, что меня что-то ослепило... Да, точно, я был слеп, – с нескрываемым сожалением продолжал Чвартек.

– То-то и оно! – пригвоздили его окончательно слова профессора. – Именно так бывает с великими открытиями. Потому что до появления Топольного все уже было готово – и космотроны, и метод получения синтета и карбиона, и теория относительности – кубики ждали, только оставалось домик построить! Пару строчек, но каких строчек! Ведь речь не идет о количестве. Нужно было увидеть в воображении, что здесь есть дорога, что туда надо идти, и знать, куда зайдешь! Возьмем такую элементарную сегодня вещь, как дифференциальное исчисление. Еще в

глухом Средневековье, где-то около 1340 года, Оресме заметил, что рост или уменьшение определенных величин медленнее вблизи максимума или минимума. Через триста лет Кеплер открыл то же самое, но и он не пошел дальше. Потом появился Ферма. Этот уже производил математические операции, которые с сегодняшней точки зрения можно назвать дифференцированием, однако, в определенном смысле, не он открыл дифференциалы, потому что не заметил, что это абсолютно новая мысль, новый путь, который принесет небывалые изменения в науке. Можно повторить за Пуанкаре, что открытие часто не основывается на переходе от полного незнания к абсолютному пониманию, от тьмы к свету, а вещи открываются в меньшей или большей степени этапами... Сначала обнаруживается какое-то второстепенное явление, которое только позже приведет наверх, как случайно обнаруженная лесная дорожка, выводящая на горную вершину... Именно так было с Топольным. Он, наверное, рассказывал вам, как к этому пришел? Это очень знаменательно! Ему ни с того ни с сего пригрезилось отправление космолетона к звездам. Девяносто девять физиков из ста отбросили бы эту мысль с пожатием плеч: нонсенс, игра мысли – и только. А он имел мужество проверить эту идею на бумаге! В момент, когда одел ее в математический наряд, он увидел, что все это путешествие в небо, этот звездный орнамент совершенно не нужен... А я скажу вам, коллега, что нет!

Чвартек с удивлением посмотрел на профессора, который от возбуждения встал и, подняв руку, продолжил:

– Как операция, как физический опыт путешествие это, естественно, было абсолютно излишне, но не как этап размышления, как определенный психологический фактор! Ибо что произошло? Топольный не мог найти решения среди существующих фактов, в плоскости обычных опытов, бросил их, полетел в небо и вернулся на Землю уже со своей великой добычей. Так это и было! Ну что ж, ему немного повезло, правда, ведь это была случайность, что именно тогда он читал Вейля. Ну что же с того? Всегда надо иметь в виду эту долю везения, разума никогда не бывает слишком много... Ведь у каждого из нас на полке есть «Теория относительности».

За окнами было уже абсолютно темно. В эту минуту раздались приглушенные, торжественные звуки: настенные часы отбивали время. Селло вздрогнуло.

– О черт, уже пять! Надо спешить! А как вы, коллега?

– Я еще останусь, профессор. Мне нужно закончить статью.

Когда профессор ушел, Чвартек еще минуту смотрел через коридорное

окно на потемневший осенний парк, затем отправился этажом выше. Здесь размещались кабинеты ассистентов; его комната находилась почти в самом конце коридора. По пути он миновал закрытый кабинет Топольного: молодой человек находился в Будапеште на съезде физиков. Чвартек вошел в свою комнату и зажег лампу. Помещение было маленькое, с закругленными стенами, тесное, но уютно устроенное. Посередине стоял небольшой стол, по бокам – полки с необходимой литературой, кроме стула здесь было кресло и даже маленький телевизор на столике в углу. После предыдущего обитателя, доктора Лончковского, который с начала учебного года переехал во Вроцлавский университет, остались расписанная драконами шелковая китайская ширма, а также экзотическое пресс-папье с ручкой в форме головки толстощекого смеющегося божка. Чвартек неприязненно глядел на эти предметы, не соответствующие серьезности его положения, но как-то до сих пор не нашел сил убрать следы увлечений своего предшественника коллекционера. Сейчас он сел за стол для записи результатов лабораторных исследований. Когда он их переписал, принялся за статью. Он должен был ее закончить еще сегодня. Это вырвало из его груди обреченный вздох, но дело было срочное – редакция ждала материал. Не оттягивая, он вставил лист бумаги в пишущую машинку и начал печатать.

Хотя в нескольких метрах отсюда за стеной коридора находилось полное грохота помещение с космотроном, сюда не доносилось ни малейшего шороха. Толстый железобетон изолировал все звуки. Чвартек печатал со знанием дела, время от времени перебирая ногами под столом, словно это облегчало ему формулировку предложений, поправляя большим пальцем спадающие очки. Иногда, когда ему удавалась важная часть, он шевелил губами, тихо перечитывал ее и находил превосходной.

«Физические законы действуют, – печатал он, – во всей Вселенной, и весь материальный мир одинаково им подчинен. Брошенный камень свободно падает в поле притяжения Земли или какой-либо другой планеты с постоянным ускорением, и обращение к квантовой статистике с попыткой отменить правила причинности является только уловкой идеалистов, которые...»

Чвартек заметил грамматическую ошибку в предыдущей строке, прочитал предложение и посмотрел на часы: скоро семь. Он вздохнул, стер ошибку ластиком и напечатал еще раз: «или какой-либо другой планеты», – после чего оттянул каретку машинки, которая толкнула пресс-папье, находившееся на ее пути.

«...свободно падает в поле притяжения Земли...» – прочитал Чвартек

и вдруг остановился, осознав, что что-то произошло, а точнее, что не произошло того, чего он ожидал: он не услышал стука падающего на пол пресс-папье.

Он повернул голову и замер.

Пресс-папье, слегка наклонившись, скользнуло по разложенным на столе бумагам, набрало скорость как стартующий самолет, прыгнуло в воздух и ткнулось в натянутый шелк ширмы, которая еще долгое время дрожала от удара. Потом все успокоилось. Пресс-папье висело, одним боком прислонившись к шелковой ткани, слегка колеблясь в воздухе. Служащая ручкой деревянная головка божка, разинутая в широкой язвительной усмешке, смотрела прямо в лицо ассистенту, как бы говоря: «Ну и что теперь скажешь?»

Чвартек раскрыл и тут же закрыл рот, издав похожий на сопенье стон.

«Слово стало те...» – мелькнуло у него в подсознании. Затянутая промокательной бумагой нижняя сторона пресс-папье, покачиваясь, демонстрировала чернильные пятна: то зеленое, то два фиолетовых.

Долгое время он пялился на пресс-папье, висевшее на расстоянии вытянутой руки от него. Однако он не осмеливался ее протянуть. Очень осторожно, словно опасаясь спугнуть призрак, он отодвинул от стола стул. Пресс-папье выполняло небольшие колебания: то осторожно напирало на шелк ширмы, то отодвигалось от него на несколько миллиметров и, легонько дрожа, застывало. Ассистент смотрел во все глаза, громко дышал и часто моргал. Он поправил очки, затем даже протер их, энергично надел на нос и на цыпочках обошел угол стола, потом заглянул за ширму, но там не было ничего: полметра пустоты отделяло натянутую на бамбуковые жерди ткань от полки с книгами. Он наклонился над пресс-папье. Теперь оно было напротив лица, так что тень его головы падала на красный тонкий слой лака, покрывающий пресс-папье сверху. Чвартек пересилил себя, вытянул палец, дотронулся. Пресс-папье закачалось, словно подвешенное на эластичной нити, опустилось на несколько сантиметров и вернулось вверх.

Чвартеку стало жарко. Он слышал пульсирующий стук в ушах. Его залил пот. Он сглотнул слюну и теперь уже с отчаянием толкнул пресс-папье вниз. Оно задрожало, оторвалось от шелковой поверхности, подпрыгнуло как мяч и прижалось к ней опять приблизительно в метре над полом. Чвартек еще раз заглянул за ширму, громко кашлянул, затем подпрыгнул и сразу же огляделся, смущенный, проверяя, не является ли кто-нибудь свидетелем его странного поведения. Но комната была пуста.

«Сейчас... только спокойно... – пытался он рассуждать. – Может, его

что-нибудь притягивает из-за стены? Но с этой стороны чердак... Склад старья... Там ничего нет. Правда, в нескольких метрах дальше за стеной космотрон, но, во-первых, за стеной противоположной, во-вторых, он неисправен, ну а в-третьих, он никогда не вызывал каких-нибудь феноменов... А впрочем, это все нонсенс, ибо какой же магнит притягивает дерево, бумагу и лак? А может, снизу, из лаборатории, исходит какое-то излучение, что-то вроде невидимого фонтана, на струе которого балансирует мячик?»

Хотя все это было абсолютно невозможным, но Чвартек находился уже в таком расположении духа, что быстро выхватил из бокового кармана похожий на ручку индикатор излучения, который, как и все работники института, постоянно носил при себе, но в стеклянном глазке было темно. В комнате не было ни следа излучения. В течение нескольких последних минут Чвартек не видел пресс-папье; теперь, когда обратил на него взгляд и увидел личико деревянного божка, разинутое в беззвучном смехе, ему сделалось нехорошо. Уродец, казалось, бесстыдно насмехался над силой притяжения. Ассистент зажмурился и, призывая себя к спокойствию, досчитал до ста, после чего осторожно открыл глаза: пресс-папье продолжало висеть.

«А может, это сон?» – пришло ему в голову.

Поэтому он с неожиданной решимостью подошел к столу, вынул из ящика циркуль и резко уколол себя в палец. Сильно заболело, он высосал каплю крови и снова посмотрел в сторону. Пресс-папье, прислонившись боком к ширме, выполняло очень мелкие, неторопливые колебания, как бы плавая по поверхности невидимой жидкости. Теперь оно боком касалось туловища нарисованного на шелке дракона, а божок, казалось, закатывался от беззвучного смеха, показывая беззубые десны. Чвартек не мог оторвать глаз от его уродливой гримасы. Он присел на корточки и, словно вспомнив, что не пробовал еще разрешить загадку с помощью обоняния, начал кошачьими движениями, все время на четвереньках, приближаться к пресс-папье. Через минуту ему показалось, что у него что-то жжет в носу, но он тут же забыл об этом, ибо случилась ужасная вещь. Пресс-папье оторвалось от ширмы, быстро проплыло по воздуху и стукнуло его меж глаз тупым углом. Чвартек крикнул, судорожно замахал руками, как ребенок, на которого напал индюк, отбросил пресс-папье, вскочил на ноги и убежал в противоположный угол комнаты. Он так испугался, что щеки у него онемели. Пресс-папье, когда он на него посмотрел, снова располагалось возле ширмы, касалось пасти нарисованного на шелке дракона и слегка дрожало. Чвартек какое-то время побыл в углу и опять

отправился на исследование. С большой осторожностью, уже не нагибаясь, он высунул из-за стола руку и коснулся головки пресс-папье. Она была теплой. Это окончательно его ошеломило.

– Господи, оно горячее... – прошептал он. – Что все это значит? У меня голова раскалывается... Почему эта ширма его притягивает? Шелк наэлектризовался статически или что? Ведь это же нонсенс! Исключено! Значит, что происходит?.. Это не материальная сила... А ведь ничего, кроме материи, нет... Я так думал, но ведь я сам читал когда-то, что есть тайное знание, движение предметов на расстояние, телекинез... Это все божок...

Решившись на многое, он взял обеими руками стул и, держа его перед собой в качестве защиты, направился в сторону пресс-папье. Миновал середину комнаты – ничего не происходило, – поэтому он набрался мужества и ступил еще два шага, двигая перед собой стул. Вдруг пресс-папье дрогнуло, прыгнуло к нему, стукнулось о подлокотник стула, отскочило и ударило его в бок. Чвартек вслепую замахнулся стулом, и этот отчаянный удар отбросил пресс-папье в сторону стола. Там оно затанцевало возле его боковой поверхности, соскользнуло и опять прилипло к ширме. Чвартек отступил в угол и заслонился креслом. Красный цвет пресс-папье казался ему все более отвратительным, а усмешка божка вызывала дрожь. Ассистент поражался, как он мог хоть минуту терпеть присутствие столь отвратительного предмета в своей комнате. Он не знал, что делать. Может, выбросить ширму из комнаты? Но для этого надо было непосредственно приблизиться к пресс-папье, а это уже слишком.

«Боже мой, люди сходят с ума по меньшим причинам! – подумал он. – Почему оно на меня прыгнуло? Кажется, мой бок, вернее, мой живот излучает какие-то силы! Рука его не притягивала... Это страшно! Правда, ведь я читал где-то о солнечном сплетении, симпатическом нервном узле – его называют брюшным мозгом... То есть я медиум? Но почему я не притягиваю другие предметы?»

Он все время стоял в углу, с беспокойством оглядываясь вокруг. Он ненавидел пресс-папье и боялся его. Вдруг вспыхнула спасительная мысль: «Профессор Селло!» Он стремительно выбежал из комнаты. Уже одетый, в плаще и шляпе, он открыл дверь и осторожно заглянул в щель. Пресс-папье дрожало, нежно прижавшись к телу зеленого дракона. Чвартек захлопнул дверь и стремительно бросился к выходу.

На улице было холодно и ветрено. Заслонив воротником лицо от редких холодных капель дождя, он почти бежал в направлении университетского городка. В сумятице одолевших его чувств также

посверкивала ничтожная искорка злорадства при мысли об оцепенении, в которое впадет Селло при виде пресс-папье. Интересно, что он скажет и как себя поведет, непосредственно лично столкнувшись с великой тайной!

Библиотека профессора была похожа на шкатулку из черного дерева, одну стену которой заменяло матовое стекло. До самого потолка поднимались заполненные книгами полки. Селло шел вдоль них с поднятой головой, высматривая какой-то том «Физического ежегодника», когда раздался приглушенный звук звонка. Он скривился, но вернулся к столу и нажал на кнопку. Через короткое время он услышал стук. Селло поднял очки на лоб и сказал:

– Войдите!

Вошел Чвартек. Он производил впечатление человека, которого крепко держит за воротник какое-то невидимое создание. Чвартек поздоровался, подавая профессору руку, вспотевшую и холодную. Извинился за неожиданный визит, покрутил шеей, подвигал плечами, словно одежда неожиданно стала ему слишком тесной. Он крепился, сдерживая слова, готовые вот-вот сорваться с губ.

– Пожалуйста, садитесь, коллега...

Чвартек сел так, словно аршин проглотил, несколько раз стиснул кулаки, так что хрустнули суставы, и, наконец, начал:

– Профессор, произошла странная вещь...

Брови Селло поднялись, но выражение лица его, казалось, говорило: «Все может быть».

Однако, когда молчание ассистента затянулось, профессор посмотрел на него и увидел, что Чвартек всматривается в одну точку профессорского стола, словно там подкрадывалась кобра. Селло проследил за его взглядом, но не увидел ничего, кроме бронзового прибора для письма и пресс-папье с головкой смеющегося божка, которое он получил когда-то в подарок от доктора Лончковского. Ассистент, пересилив себя, разразился:

– Непонятная, необыкновенная вещь произошла! И одновременно такая глупая... – Он содрогнулся. – Ах, извините, сам не знаю, что говорю...

– А что, собственно, произошло? – мягко спросил профессор.

Чвартек покраснел.

– Я как раз работал над статьей, вы знаете, той, о всеобщности законов природы и так далее, и случайно тронул пресс-папье, которое стоит у меня на столе, такое же, как это, – показал он пальцем. – Я столкнул его, и, профессор, – он открыл рот, будто невидимый демон хотел запихать ему слова назад в горло, – и оно не падало!!!

– Вы столкнули пресс-папье, и оно не упало? И это так удивительно? Явная нотка сочувствия звучала в голосе Селло.

– Вы меня не понимаете!

Чвартек все больше багровел.

– Оно не падало, только... только зависло. Зависло в воздухе. Да, зависло!

– Гм-м, зависло?

Чвартек от робости перешел к атаке.

– Зависло, да! И продолжает висеть. Я подталкивал его, пробовал опустить, оно снижается, но каждый раз возвращается. Опирается о ширму, ту ширму, что осталась после Лончковского, вы знаете, профессор, – эта китайская... И так висит.

– Может, оно зацепилось за что-нибудь?

– Нет! Так, только касается ширмы, но висит абсолютно свободно. Висит! – Со сжатыми губами он посмотрел на профессора, словно ожидая помощи.

– И вы говорите, что и теперь так висит?

– Да.

– Может, однако, какая-то нитка?.. – вполголоса заметил Селло, на что Чвартек среагировал взрывом горячих, немного слишком громко брошенных слов:

– Оно не только висит, но это... это... ну... ходит за мной. То есть не ходит, – поправился он, заметив мелкий, но красноречивый спазм, который пробежал вокруг губ профессора, – не ходило, только словно плыло. Когда я к нему приблизился, оно прыгнуло и ударило меня в бок. Вот сюда.

– Ударило в бок?..

– Да!

Ассистент почти кричал:

– Я исключил все физические факторы!.. Конвекция... Какое-то силовое поле... В комнате нет никакого излучения, ни магнита!.. Впрочем, оно не металлическое, нет, самое обычное!..

– Значит, вы тщательно его изучили? А там было светло?

– Профессор, – Чвартек опять хрустнул суставами, а голос у него задрожал от напряжения, – я делал все, что было возможно. Исследовал Гейгером со всех сторон... искал, и ничего. Оно постоянно висит возле этой ширмы, какой-то метр над полом, словно его там что-то присосало, и... и висит...

– Но вы говорили, что оно приближалось к вам, а значит, свободно двигалось в пространстве, да?

– Да, за мной. Вот здесь меня тоже ударило. В лоб. Это в первый раз. Потому что во второй – в бок. Я даже думал, что, может, это я... Что это из меня... ко мне... какая-то такая сила... оттуда... или оттуда...

– Какая сила?

Чвартек покрутил шеей, пожал плечами, сглотнул, дернулся и не нашел слов.

Профессор встал, отошел за свое кресло и, опираясь о его изголовье, деловито спросил:

– Субъективно, ибо о другом подтверждении не может быть речи, вы исключаете возможность какой-либо галлюцинации, какой-либо ошибки, какого-то, гм-м, ну, внушения или даже заблуждения, возникшего от переутомления? Понимаете, коллега, я не хочу вас обидеть, но...

Чвартек многократно кивнул головой.

– Да, я понимаю. Нет-нет, это не могла быть ни галлюцинация, ни сон. Это продолжалось долго. И в палец я себя уколол, чтобы проверить. Изучал, видел, – он поднес руку к глазам, – касался, я видел его...

Профессор серьезно кивнул.

– Ну да, свидетельство органов чувств... Мы знаем, что они не безошибочны... и всегда больше шансов на заблуждение, чем на то, чтобы такое чудо произошло...

Чвартек невольно засмотрелся на смеющуюся головку божка на профессорском пресс-папье. Не задумываясь, он сказал почти шепотом:

– А ведь это произошло. Не говорю, что чудо, но... может, это я сам... или статуэтка какая-то необычная... Похоже, что такие феномены происходят там, на Востоке. Йога... магия... какое-то духовное притяжение... что-то оттуда, – показал он пальцем на лоб, не отдавая себе отчета в том, что это имело и другое значение.

Селло, однако, не воспользовался случаем произнести язвительную шутку. Он был сердит, но совладал с собой.

– А... левитация?.. – сказал он спокойно, слегка поднимая брови, но вместе с тем смотрел на своего ассистента так, будто бы это был совершенно чужой человек, которого он видит в первый раз.

– Я не говорю, не называю, но если физически нельзя объяснить... И почему из всех предметов именно этот... И к этой китайской ширме?.. Ведь я исследовал... Может, вы сами... – выбрасывал из себя Чвартек обрывки фраз в сильнейшем замешательстве.

Некоторое время ему казалось, что взгляд профессора насмешлив и холоден, но он списал это на собственное раздражение.

Селло подошел к двери, извиняясь перед ним:

– Я пойду с вами; скажу только жене, что ухожу.

Скоро он вернулся с плащом и шляпой в руках. В дверях он остановился, изумленный. Ассистент выпрямлялся, поднимая с пола что-то не очень большое, красное...

– А это что?

Глаза их встретились. Чвартек держал в руке пресс-папье профессора, у которого теперь был отломан один угол. Этот угол он держал в другой руке и вращал его в пальцах, не зная, что делать с лакированным обломком.

– Ага... вы пытались повторить эксперимент, и не получилось?..

Чвартек, попеременно бледнея и краснея, положил несчастное пресс-папье на стол и двинулся за профессором; личико деревянного божка попрощалось с ним насмешливой улыбкой.

На улице они какое-то время шли молча.

– Вы не пьете и не курите, не так ли? – заговорил наконец Селло с ассистентом.

– Нет, не употребляю никаких... Вообще ничего не употребляю.

Чвартек сунул в карманы руки, мокрые от пота. Когда сквозь ветви деревьев стал виден свет из окна его комнаты, нечто, как бессловесная молитва, родилось у него в душе: «Чтобы это еще было!» Они поднялись по лестнице вверх, оба в плащах. Перед белой дверью своей комнаты Чвартек заколебался.

– Минуточку, успокойтесь... – уверенным голосом сказал Селло. – Прежде всего вы ученый, правда? – поддержал он Чвартека взглядом. – И скажите мне, предпочитаете ли вы, чтобы это было там или же?..

Ассистент почувствовал прилив доверия: «Селло! Благородный, добрый человек».

– Да, естественно!

Они все еще стояли под дверью. Чвартек импульсивно протянул руку.

– Сейчас, – удержал его за плечо профессор. – Понимаете ли вы, что это значит, если это действительно имеется за этой дверью?

– Да. Это значит, что проявила себя какая-то сила...

– И ничего более?

Чвартек молчал.

– Если бы это произошло, – поднял руку профессор, – то опровергло бы нашу физику. Это бы означало, что неверна термодинамика, что постоянная Планка не является постоянной... Ибо вы, наверное, хорошо знаете, что значит «бесконечно малая вероятность»?.. Бесконечно малая! – повторил он, словно говорил уже не Чвартеку, а тому, что было за закрытой дверью.

– И даже если это должно опровергнуть физику... Если это будет мир хаоса!.. То, однако, это так! – прокричал Чвартек и резко открыл дверь.

В комнате горели лампы. В их свете все оставалось таким, как оставил Чвартек: стол, несколько отодвинутый к стене, заваленный книгами, с пишущей машинкой, в которой еще торчала бумага, отброшенное в сторону кресло, стул и... пресс-папье, которое валялось на полу у ножек ширмы.

Профессор вошел, не снимая шляпы, осмотрелся в комнате и оперся рукой о подлокотник кресла.

– Итак? – сказал он.

– Это было! Клянусь, было! – крикнул Чвартек.

Глаза у него бегали. Неожиданно он подскочил к пресс-папье, набросился на него, поднял, всмотрелся в смеющееся лицо темного божка, будто бы что-то приказывал ему силой пылающего взгляда, и патетически развел руки. Пресс-папье упало, громко стукнувшись о ковер. Чвартек сел возле него, а точнее, безвольно опустился на пол.

– Нет... это невозможно... Это так долго продолжалось... – шептал он. – Мельчайшие подробности памятливы... Уколол себя в палец... О, еще есть отметина!.. Оно колыхалось тут, на этом драконе, а головка была теплая, почти горячая... – напоминал он себе ни с того ни с сего.

Селло, до этого момента неподвижный, с насупленными бровями, с лицом, укрытым в тени края надвинутой на лоб шляпы, словно устыдился чувства жалости, которое будила скорчившаяся фигура Чвартека, резко выпрямился. Обнажил голову.

– Было теплое?! – вспыхнул он. – Теплое?! Осел! Почему мне этого сразу не сказал?!

Он, слегка расставив ноги, стал на середине комнаты, со своеобразно выдвинутой челюстью. Внезапно он подошел к столу тем самым упругим шагом, которым он передвигался в лаборатории. Поднял трубку телефона.

– Центральная? Дайте мне космотрон. Да. Алло? Инженера Кеча, пожалуйста. А, это вы? Ну что там?.. Через три дня будет готов? Отлично. Но, но, скажите мне, пожалуйста, вы что-нибудь делали сегодня, так с полчаса назад... Может, три четверти?.. Что?.. Ага, подсоединяли магниты... ага...

Селло долгое время внимательно слушал. Неожиданно он оживился.

– Значит, электрики его включили?.. Ах, искали замыкание? И что, устранено?.. Спасибо, это все, что я хотел знать. Хорошо, крутитесь, взгляну завтра утром. До свидания!

Звякнула положенная на рычаг трубка. Профессор повернулся к Чвартеку, который тем временем стоял с приоткрытым ртом, словно ожидал

приговора.

– Дайте-ка ваши очки, коллега... Позвольте на минуту...

Внимательно их осмотрел.

– Стекла чистые, – пробормотал ассистент.

Профессор протестующе покачал головой:

– Я не имею в виду стекла. Ну да. Спасибо. – Он вернул ему очки. – А что у вас в карманах? Покажите. Нет, только в карманах брюк.

Чвартек вытаращил глаза, но послушно опорожнил карманы: показался платок, две эвкалиптовые конфетки и блокнот.

– Больше ничего? – удивился Селло. – Какие-нибудь ключи, перочинный ножик у вас есть?

– Нет...

– Это странно. Сейчас. А как именно вы приближались к этому пресс-папье? Каким способом?

– Обыкновенно...

– Как обыкновенно? Может, вы пробовали его пошевелить? Каким-нибудь предметом? Что? Вспоминайте! – атаковал профессор.

Чвартек отрицательно качал головой:

– Нет. Хотя... Нет. Только стул...

– Что стул?

Ассистент запнулся. Профессор, не ожидая ответа, подошел к стулу, перевернул его вверх ногами и тут же сказал:

– А! Скручен болтами! – Он быстро повернулся к Чвартеку. – Вы что-то делали со стулом?

– Ничего такого...

– Ну?!

– Двигал перед собой... – пробормотал в конце концов Чвартек.

Селло только кивнул, явно удовлетворенный ответом, и чистым, юношеским голосом сказал:

– Знаете, почему все это произошло? Из-за ректора Липневича и космотрона.

– Как это из-за Липневича?.. Ведь он умер?

– Да. Но он был жив, когда началось строительство нашего института. Ректор был сторонником экспериментов, и с его согласия при закладывании центрального отопления применили различные новые методы. Например, в этом здании установили обогреватели в виде труб, вмурованных в стены. Вашу комнату как раз огибает по периметру спиралевидная алюминиевая труба. Труба спиралевидная, понимаете?

Чвартек послушно кивнул, хотя ничего не понимал.

– Ну а другим звеном был космотрон.

– Ведь он неисправен...

– Именно поэтому. Если бы он был исправен, ничего бы вообще не произошло. А говоря конкретней, произошло потому, что они сделали траншею в фундаменте под цехом, чтобы добавить бетона.

– Как это?

– Подождите. Чтобы сделать траншею, они были вынуждены освободить от нагрузки бетонную основу, на которой располагается магнит космотрона. Для этого они подвели кран-балку... ведь вы знаете, что там есть этот огромный кран, который расположен поперек всего цеха. Они подвели кран-балку, подвесили железные цепи и подняли магнит, немного, на каких-то полсантиметра, только чтобы освободить фундамент. Так оставили до конца бетонных работ. В это время электрики устранили замыкание в намотке, включили на пробу ток полного напряжения и даже превысили его на десять процентов. И когда включили ток, электромагнит начал работать. От его полюса магнитный поток прошел через цепи, потому что они железные, на лебедку, а с нее дальше на саму кран-балку, тоже железную. Тогда весь кран стал единым огромным магнитом. Знаете, где заканчивается кран? В стене, которая отделяет это здание от цеха космотрона, на высоте пола вашей комнаты. Там, в этой стене, располагался, следовательно, уже не торцевой конец железной конструкции, а полюс мощного электромагнита, пульсирующий переменным магнитным полем. Это поле пробудило электрический ток в катушке. В какой катушке? В этом суть! Катушкой стали трубы центрального отопления, огибающие вашу комнату приблизительно на высоте метра над полом. Я не знаю точно, сколько там этих витков, но это можно увидеть на плане. Индуцированный ток свободно кружил себе, а вы не имели понятия, что сидите внутри катушки, через которую проходит сильный электрический ток. Таким образом, возникло магнитное поле. Такое поле может втянуть и поднять в воздух не слишком тяжелый предмет...

– Но ведь железный, железный предмет! – отозвался пересохшими губами Чвартек.

– Разумеется, железный, а вы думаете, что эта головка приклеена к пресс-папье, или как?

Профессор сильно ухватил пресс-папье обеими руками, покрутил раз, второй, третий – и вот в пальцах у него осталась улыбающаяся головка божка с выступающим на несколько сантиметров стальным шурупом.

– Это шуруп, а здесь – в основе – деревянная колодка, в которую этот

шуруп вкручивается. Я уже давно подозревал, что Лончковского обманул антиквар и что это вовсе «не китайская древность», а обычная серийная липа... Вот у вас железная начинка пресс-папье, вот корень вашего «висящего магнита», вот решение! – не без пафоса сказал Селло. – Магнитное поле притянуло шуруп, а вместе с ним пресс-папье, и пытались расположить его так, чтобы оно пересекло наибольшее количество силовых линий. А поэтому куда должен был переместиться шуруп? – спросил он, как на экзамене.

– Как можно ближе к виткам...

– Это значит куда?

– К стене...

– Вот именно, а путь пресс-папье к стене перегородила ширма, поэтому оно приклеилось к ее поверхности и так висело. Если еще не верите, присмотритесь к стулу: он скручен железными болтами, и ножки привинчены к сиденью, видите? Когда вы приближались со стулом к пресс-папье, болты, которые стали магнитами, начали друг друга притягивать. Стул, естественно, не двигался, потому что был для этого слишком тяжелым, поэтому пресс-папье прилетело к нему.

– Сначала я подумал, что его притягивал какой-то железный предмет в вашем кармане, и потому удивился, когда оказалось, что ничего такого у вас нет. Ну а с очками та же самая история – ведь они стальные. Но они должны были греться, и сильно. Правда, поле на высоте головы выпрямившегося человека было более слабое, катушка заканчивалась в метре над полом...

– Ах, это были вихревые токи?.. – замирающим голосом отозвался Чвартек. – Поэтому головка божка была такая теплая...

– Естественно. Но разве вы не заметили, что очки нагреваются?

– О, мне и так было жарко! – со следами прошедшего возбуждения выпалил ассистент и покраснел.

Селло сдержал улыбку.

– Я вижу, что к вам возвращается способность мыслить. Все металлические предметы нагрелись, и ничего удивительного – ведь это магнитное поле, возникшее над полом вашей комнаты, имело тысячи гауссов. Пресс-папье достаточно легкое, иначе не могло бы так свободно летать по воздуху. Таким образом, специально для вас действовал второй наибольший электромагнит мира. Сто десять тысяч киловатт – это вам не шутка!!!

Профессор бросил пресс-папье на стол, двумя пальцами взял головку смеющегося божка и продолжил:

– Но вы, коллега, думали... Эх, вы очень, очень неумно думали... Что тут говорить, вы совсем потеряли голову. Ведь можно сказать, что вы поверили в каких-то духов, спиритизм, волшебство и чудеса!

– Этого, пожалуй, в мире еще ни с кем не происходило, – начал Чвартек, такой красный, словно у него кровь должна была брызнуть из щек. – Стечение обстоятельств, необычайшее, какое можно себе... Этот проклятый божок... Эти драконы...

Он отчаянно развел руками.

– Драконы! Божок! – усмехался Селло. – Человек, а ученый в особенности, должен возвышаться над стечениями обстоятельств, чтобы их распутывать, откидывать видимость и открывать причины явлений! Я не говорю, что вы должны были сразу найти решение. Отнюдь. Дело было необычное, вдобавок вы не знали об этих трубах, да?

– Да. Ничего не знал.

– Ну а я знал. Мне было легче, естественно. Но однако... Задумайтесь над этим. Я бы сказал, что здесь всему виной ваша слишком большая уверенность в себе. Это не парадокс. Если я убежден, что знаю все, я буду не колеблясь выносить решения, какие вещи возможны, а какие нет. А когда встречу явление, которое посчитаю невозможным, то сразу потеряю голову и приду к убеждению, что не знаю вообще ничего. Это так, потому что противоположностью идеальному и абсолютному знанию есть полное незнание. В то же время, если буду скромней, тогда, по правде говоря, я не буду полностью уверен в моем знании, но также не буду уверен, что то, что мне кажется невозможным, является таким в действительности... Здесь мы доходим до интересного сходства вашего случая и дела стеллара. Здесь, как и там, мы предстали перед лицом невозможности. Невозможности мнимой, как оказалось. Но об этом мы узнали позже. Таким образом, Топольный сомневался – и выиграл, а вы знали наверняка, и поэтому проиграли. Но имеется определенное тонкое различие. Сомневаться можно по-разному. Топольный сомневался не в знании вообще, а в существующих знаниях. В то же время вы, столкнувшись с загадкой, отождествили свой авторитет с авторитетом науки и усомнились во всем знании. Ну а отсюда уже прямая дорога к признанию духов.

– Да, профессор, это так, – отозвался Чвартек. – Но простите, можете ли вы мне сказать, что бы вы сделали на моем месте?

– Что бы я сделал? Искал бы, измерял, изучал. Старался бы понять.

– А если бы это не удалось?

– Ну что ж, и это возможно. Если бы я не нашел ни одного физического фактора, ни одной причины, способной объяснить это

явление, я начал бы сомневаться, но не в науке, коллега Чвартек. Я засомневался бы скорее в себе.

Профессор взял со стола шляпу.

– Ну, мне пора... Я наговорил вам плохого, но не держите на меня зла: это по дружбе.

Уже в дверях он повернулся, посмотрел на неподвижно стоящего ассистента и сказал:

– Завтра в восемь у нас занятия. А о том, что произошло, я забуду – если таковым будет ваше желание. – И вышел.

Перевод Язневича В.И.

Хрустальный шар

I

– А здесь у нас стерилизаторы...

Генерал заглянул в зал через приоткрытую дверь. Там стоял ряд высоких, как колонны, белых блестящих аппаратов.

– Так, – наконец сказал он, – а где эти, гм, насекомые?

Профессор Шепбурн усмехнулся, показав два ряда превосходных зубов.

– Насекомые находятся в особом павильоне. Если желаете, генерал, мы можем туда пойти, но, к сожалению, после этого придется подвергнуться довольно сложной дезинфекции.

Генерал поднял брови – два рыжих пучка волос над светло-голубыми глазами.

– Да? Ну, это не обязательно...

Они медленно шли по коридору, полному солнечного света, проникающего через достигающие пола окна.

– Мой визит... Вы, наверное, в курсе, профессор, какое большое внимание уделяет штаб работе доверенного вам участка? Поэтому желал бы узнать ваше мнение... Скажем так, ваше личное... по поводу этих, гм, трудностей, с которыми столкнулось применение БО в полевых условиях.

Профессор слушал, давая понять, что ни одно слово гостя не может ускользнуть от его внимания. Он направился в боковое ответвление коридора, и сотрудники в белых халатах, следовавшие за ними в нескольких шагах позади, в нерешительности остановились. Профессор открыл двойную, обитую кожей дверь, движением руки пригласил генерала и, когда тот переступил порог, неуловимым жестом дал понять остальным, чтобы они удалились.

Генерал сел в кресло у стеклянного стола. В комнате господствовала, как и везде, приятная прохлада, которую создавала климатическая аппаратура. Из стеклянных мензурок, стоявших на столе, выглядывали головки бледных астр.

Некоторое время они молчали. Профессор придвинул к гостю коробку сигар и зажигалку. Затем сел напротив него и, сцепив руки на животе, начал вращать большими пальцами.

– Генерал, – заговорил он, глядя перед собой, – пионеры новых идей на

пути к успеху всегда встречали неудачи. С этим мы должны считаться...

– Гм, новая идея... – сказал генерал сквозь клубы выдыхаемого дыма, – хоть я, профессор, и не специалист, но, в конце концов, – он заговорил более нетерпеливо, чем собирался, – в конце концов, в Средневековые эпидемии опустошали целые государства!

– Ну, это совершенно иное.

Профессор слегка наклонился в сторону гостя и, сосредоточив на нем взгляд, произнес, как будто прочитал раздел в книге:

– Мысль о переносе бактерий в тела насекомых является совершенно новой. Для работы над этой задачей мы привлекли, кроме американских, наиболее выдающихся японских специалистов и можем уже сегодня похвастаться серьезными достижениями: взять хотя бы симбиоз холерного вибриона и домашней мухи. Нам удалось создать специальную витаминную смесь, которой мы кормим мух шесть раз в день, в результате чего их сопротивляемость неблагоприятным условиям, их биологическая выживаемость, или, говоря популярно, их... здоровье существенно улучшилось.

– Так-так... – буркнул генерал из-за облака дыма, глядя на вырастающий на сигаре столбик белого пепла. – Мне очень жаль, но полевые результаты не очень-то подтверждают ваш энтузиазм. Три года назад вы сказали: «Дайте мне необходимые материальные условия, и я создам источник неугасающих эпидемий в Азии». Неугасающих, профессор. Сорок тысяч долларов стоила только перевозка зараженных насекомых к линии фронта, на аэродромы, а потом оказалось, что корейский крестьянин за пару месяцев расправился с «неугасающей эпидемией».

Профессор сжал челюсти.

– Мы совершили определенные ошибки, которые признаем. Мы недооценили организационные и оборонные возможности противника... Да. Но сейчас ситуация представляется совершенно иначе. Раньше насекомые сбрасывались из самолетов прямо на снег. Разумеется, процент гибнувших был огромен. Отсюда большие потери. Однако с того момента, как мы создали Отдел психологии, ситуация абсолютно изменилась.

– Психологии? – удивленным тоном неохотно сказал генерал. – Мне это кажется фантастикой. При чем тут психология? Если речь идет о психологии неприятеля, то эти вопросы изложены в докладе Психологической стратегии при Штабе «холодной войны» в Пентагоне. Вы, надеюсь, не собираетесь дублировать работу наших специалистов?

– Недоразумение, дорогой генерал, – с сердечной улыбкой сказал

профессор. – Недоразумение. Я имею в виду, разумеется, отдел, занимающийся изучением психологии насекомых.

– Психология насекомых? – Трудно было сориентироваться, звучит в голосе генерала удивление или насмешка. – И какие же проблемы он решает, этот отдел, будьте добры?

– Очень важные.

Профессор Шепбурн опять стал подчеркнуто официален, словно его оскорбил тон гостя.

– Очень важные, – повторил он. – Возьмем, например, проблему блох. Ее изучал доктор Дональд Веланд, один из наших молодых, но очень способных сотрудников. Это выдающийся специалист в области психики блохи *pulex irritans*^[172]. Поскольку при обычной бактериологической бомбардировке большой процент, гм, боевой силы погибал, мы разработали план, который вкратце выглядит так: стратегическая авиация бомбардирует города, оставшиеся живыми жители прячутся в землянках, в свою очередь осуществляется сброс зачумленной блохи, причем во время холодных рассветов, лучше, когда случаются заморозки. Блохи, выбирающиеся из резервуаров, ищут теплые укрытия и массово проникают в землянки. Так как среди находящихся в них людей большинство составляют женщины и дети, то складывается очень благоприятная ситуация, потому что этот человеческий материал плохо сопротивляется чуме.

– Ну, это даже неплохо, – сказал с явным оживлением генерал. – Но что это имеет общего с психологией?

– Наш план целиком следует из серьезного изучения психики насекомых, – сказал профессор, пряча раздражение. – Я представил его в очень сильно упрощенном виде. Доктор Веланд в течение двух лет производил исследования в области сохранения боевой силы, то есть блохи, в разнообразных условиях. Изучал быстроту реакции в зависимости от температуры, освещения...

Профессор умолк, но через минуту, откашлявшись, продолжил:

– Генерал, у нас в резерве есть еще один, и немалый, козырь, но нам нужна помощь. Дело в том, что французский энтомолог, профессор Шарден, открыл метод симбиоза муравьев со многими видами бактерий. Работу на эту тему он напечатал полгода назад в «Биологическом журнале», но не привел необходимых данных, мотивируя это тем, что не хочет, чтобы их использовали в военных целях. Недавно он опубликовал открытое письмо, осуждающее БО...

– Коммунист? – заинтересовался генерал.

– Формально нет, но симпатизирует, как почти все там, во Франции.

– Это быстро распространяется, – заметил генерал.

– Но не у нас. Мы создали санитарный кордон против красной эпидемии, – сказал, весело усмехаясь, профессор. И уже серьезно добавил: – Итак, генерал, знакомство с выводами Шардена имеет для нас очень большое значение. Очень большое. Даже те общие данные, которые он опубликовал, позволяют рассчитывать на семьдесят... что я говорю, даже на восемьдесят процентов смертности. Среди детей, возможно, даже на сто...

– Ну вы и мечтатель, – слегка скептически прервал генерал. – Ну хорошо, каким образом мы можем вам помочь?

– Нам нужен этот Шарден, генерал. Не столько результаты его работы, сколько он сам, так как он продолжает исследования и, без сомнения, большинство результатов наблюдений держит только в голове. Мы пробовали пригласить его сюда, предлагая отличные условия у нас, в Принстоне. Мы спокойно сделали это, так как наш институт пользуется отличной репутацией и никто не знает...

– Это было недопустимое легкомыслие, – достаточно резко сказал генерал. – Никто вас не уполномочивал на самостоятельное налаживание контактов с иностранными учеными. Да знаю, знаю, – прервал он профессора, который хотел что-то сказать, – вы руководствовались наилучшими намерениями, но осторожность прежде всего. Шарден изучает каких-то насекомых, какие-то бактерии, вскоре после этого к нему обращается энтомологический институт в Принстоне – это может дать повод для размышлений, профессор. Прошу об этом помнить и никогда больше...

Он не закончил.

– Возвращаюсь к этому, как его там, Шардену... Итак, он не хочет приехать?

– Нет.

– Ему предлагали достаточно много?

– Наилучшие условия. Отказал.

– Он как-то это комментировал?

– Нет.

– Хорошо. Постараемся вам помочь. И все-таки я считаю, что было бы разумнее войти с ним в непосредственный контакт. По-хорошему. Это лучший метод. Вы не могли бы послать кого-либо из своих сотрудников? Суть в том, чтобы это был человек из той же отрасли, то есть я хотел сказать – той же специальности. Разумеется, он и пикнуть не смеет, что работает в Принстоне. Это должна быть серьезная сила, специалист,

внушающий доверие... Наши люди во Франции помогут ему во всем. Повторяю, этот человек должен внушать доверие.

Профессор задумался:

– Гм... эта мысль мне кажется очень хорошей... Кого бы туда послать? Он должен знать французский... Ага, ведь Веланд знает этот язык. К тому же он психолог-энтомолог. Правда, сейчас он в отпуске, но это не важно... Так, отлично. Благодарю вас, генерал. Будем ковать железо, пока горячо.

II

Доктор Веланд сидел, удобно вытянувшись и укрыв ноги пушистым пледом, у раскрытого настежь окна и читал книгу. В комнате, несмотря на ясный день, царил полумрак. Его усиливал черный, будто прокопченный, свод, на котором пересекались толстые, пропитанные смолой балки. Паркетный пол был сделан из деревянных плит, стены сложены из толстых бревен. Через окна виднелись лесистые склоны Ловца Туч, далее массив Кракаталга и отвесный обрыв самого высокого из всех пика, похожего на буйвола с отломанным рогом, который индейцы много веков назад называли Взятым В Небо Камнем. Над серой от валунов долиной поднимались широкие склоны, в тени поблескивающие льдом. За Перевалом Северного Ветра сверкала синева равнин. В большом отдалении поднималась в небо узкая струйка дыма – след действующего вулкана.

Доктор Веланд был погружен в чтение. Из глубины большого гостиничного дома не доходило ни малейшего шороха. Огоньки свечей неподвижно стояли в холодном воздухе. Их блеск гротескно удлинял контуры мебели, изготовленной по древним индейским образцам. Большое кресло в форме человеческой челюсти бросало на потолок чудовищные тени зубатых подлокотников, заканчивающихся вывернутыми клыками. Над комодом улыбались вырезанные в стене безглазые маски, а круглый стол опирался на скрученного змея, голова которого отдыхала на ковре, блестя глазами. В них красным цветом сверкали полудрагоценные камни.

Вдали прозвенел звонок. Веланд отложил книгу.

Столовая находилась этажом ниже. В широко открытых дверях стояла коляска, которой пользуются парализованные. В ней сидел полный мужчина с мясистым лицом и носом, почти утонувшим меж щек, одетый в кожаную куртку. Это был хозяин горного отеля доктор Мондиан Вантенедра.

Хозяин любезно поклонился Веланду, который ответил кивком головы,

и направился в столовую. Одновременно с ним вошла худая как палка дама с черными волосами, которые посередине разделяла седая прядь.

Стол не был накрыт скатертью. На черных досках сияло серебро и яшмовая зелень посуды. Между большими буфетами стоял массивный камин из шершавых булыжников. Когда официант в вишневой ливрее подавал первое, вошел кто-то опоздавший – седой мужчина с раздвоенным подбородком. Напротив Веланда сидел священник в высоком воротнике.

– Мистер Космо еще не вернулся с экскурсии? – спросила худая женщина.

– Сидит, вероятно, на Зубе Мазумака и смотрит в нашу сторону, – ответил Мондиан, который вкатился в коляске в специально для него оставленное пространство между стульями. Он ел быстро, с аппетитом. Если не считать этого обмена репликами, обед проходил в молчании. Когда официант подал последнюю чашку кофе, аромат которого смешался со сладковатым дымом сигар, худая женщина вновь заговорила:

– Доктор Вантенед, вы сегодня должны рассказать нам продолжение той истории о Глазе Мазумака.

– Да-да, – поддержали остальные.

Мондиан несколько надменно сплел пальцы на толстом животе и обвел взглядом присутствующих, как бы замыкая круг слушателей. Догорающее полено треснуло в камине. Кто-то отложил вилку, звякнула ложечка, и наступила тишина.

– А на чем я остановился?

– На том, как дон Эстебан и дон Гильельмо, услышав легенду о Кратапульке, отправились в горы, чтобы добраться до Долины Красных Озер...

– За все путешествие, – начал Мондиан, – оба испанца не встретили ни человека, ни зверя, только иногда слышали клекот парящих в небе орлов да однажды пролетел над ними сип. С большим трудом удалось им добраться до берега Мертвой Реки. Они увидели перед собой высокий хребет, похожий на коня, вставшего на дыбы, с бесформенной головой, поднятой к небу. Гребень хребта, похожий на лошадиную шею, окутывал туман. Тогда дон Эстебан вспомнил странные слова старого индейца из долины: «Берегитесь гривы Черного Коня». Они посоветовались, стоит ли идти дальше. У дон Гильельмо, как вы помните, на предплечье была вытатуирована схема горной цепи. Запасы еды уже заканчивались, хотя в пути они были всего шестой день. Они подкрепились остатками соленого и сухого, как веревка, мяса и утолили жажду у родника, вытекающего из-под Отрубленной Головы. Однако никак не могли сориентироваться на

местности, ибо вытатуированная карта оказалась неточной. Перед заходом солнца начал подниматься туман, как прилив в море. Они двинулись вверх, на хребет Коня, и хотя шли так быстро, что кровь шумела в голове, и ртами судорожно хватали воздух, как задыхающиеся животные, туман поднимался быстрее и догнал их как раз на самой шее Коня.

В том месте, где обьял их белый саван, гребень хребта сужался до толщины рукоятки мачете. Идти было нельзя; окруженные со всех сторон влажной белой мглой, они сели на гребень верхом, прямо как на коня, и таким образом передвигались до наступления темноты. Когда же совершенно обессилели, гребень закончился. Они не знали, был ли это обрыв в пропасть или спуск в Долину Семи Красных Озер, о котором рассказывал им старый индеец. Всю ночь просидели они, спина к спине, согревая друг друга и сопротивляясь ночному ветру, который свистел на гребне, как нож на точиле. Задремлешь – и свалишься в пропасть, поэтому семь часов они не смыкали глаз. Потом взошло солнце и туман рассеялся. Они увидели, что скала уходит из-под их ног так круто, как будто они сидели на вершине стены. Перед ними зияла восьмифутовая расселина. Туман разбивался на части о шею Коня. И тогда вдаль они узнали черную Голову Мазумака и увидели клубящиеся столбы красного дыма, смешанного с белыми облаками.

Сбивая в кровь руки о камни, они спустились по узкому ущелью и добрались до котловины Долины Семи Красных Озер. Здесь, однако, силы оставили Гильельмо. Дон Эстебан первым забрался на скальный уступ, нависавший над пропастью, и втащил товарища за руку. Они шли так, пока не набрали на осыпь, где смогли передохнуть. Солнце взошло высоко, и Голова Мазумака стала плевать в них камнями, срывающимися со скал. Они побежали вниз. Когда голова Коня стала им казаться не больше детского кулачка, они увидели первый Красный Источник, брызжащий облаками ржавой пены. Тогда дон Эстебан достал из-за пазухи связку ремешков цвета дерева аканта с бахромой из шнурочков, выкрашенных в красный цвет и завязанных на множество узелков. Он долго перебирал их, читая индейские письма, пока не нашел нужную дорогу.

Перед ними расстилалась Долина Молчания. Они шли по огромным камням, между которыми зияли бездонные провалы.

«Мы уже близко?» – спросил Гильельмо шепотом, ибо голос не шел из пересохшего горла.

Дон Эстебан сделал ему знак молчать. Вдруг Гильельмо споткнулся и толкнул камень, за которым посыпались другие. В ответ на этот звук крутые склоны Долины Молчания задымились, их покрыло серебряное

облако, и тысячи известковых глыб ринулись вниз. Дон Эстебан, проходивший именно в этот момент под сводчатой скалой, успел втащить под укрытие товарища, когда сокрушительная лавина настигла их и бурей пронеслась дальше. Через минуту наступила тишина. Дона Гильельмо ранило в голову осколком камня. Его товарищ стянул с плеч рубаху, разорвал ее на полоски и перевязал рану. Наконец, когда долина сузилась так, что полоска неба над их головами была не шире реки, они увидели бесшумно стекающий по камням поток, вода которого, светлая, как шлифованный алмаз, текла в подземелье.

Им пришлось по колено войти в быстрый и ледяной поток, сильный напор которого сбивал их с ног. Вскоре, однако, поток свернул в сторону, и они оказались на сухом желтом песке перед пещерой с множеством входов.

Обессиленный дон Гильельмо наклонился и увидел, что песок странно блестит. Горсть, которую он поднес к глазам, была необычно тяжела. Он приблизил руку к губам, попробовал то, что наполняло его ладонь, и понял: это золото.

Дон Эстебан вспомнил слова индейца и оглядел грот. В одном углу блестело как бы застывшее, неподвижное, высокое пламя. Это был кусок отполированного водой кристалла, над которым в скале зияло отверстие. Сквозь него просвечивало небо. Он подошел к прозрачной глыбе и заглянул в ее глубину. По форме она была похожа на огромный вогнанный в землю гроб. Сначала он увидел только миллиарды движущихся огоньков, ошеломляющий серебряный водоворот. Потом ему показалось, что все вокруг темнеет и появляются большие, раздвигающиеся куски березовой коры. Когда они исчезли, он увидел, что из самой глубины ледяной глыбы на него кто-то смотрит. Это было медное лицо, все в четко видимых морщинах, с узкими, как лезвие клинка, глазами. Чем дольше он смотрел, тем заметнее становилась на нем злобная улыбка. С проклятием ударил дон Эстебан по кристаллу кинжалом, но острое бессильно скользнуло по камню. В тот же миг медное лицо скривилось в гримасе смеха и исчезло. Поскольку у дон Гильельмо начался жар, его товарищ сохранил тайну своего видения.

Они пошли дальше. От грота тянулась сеть коридоров. Они выбрали самый широкий, зажгли приготовленные факелы и двинулись вглубь. В одном месте на их пути черной пастью открылся в галерее боковой коридор. Оттуда исходил воздух, горячий как огонь. Они вынуждены были перепрыгнуть это место. Дальше коридор сужал свое каменное горло. Какое-то время они двигались на четвереньках, пока наконец не добрались до такого тесного участка, что вынуждены были ползти. Потом лаз

неожиданно расширился, и они смогли продвигаться на коленях. Когда последний факел почти догорел, грунт у них под ногами стал хрустеть. Посветив себе под ноги, они увидели, что передвигаются по гравию из золотых самородков.

Но этого им было мало. Они желали, увидев Уста и Глаз Мазумака, осмотреть также и его Чрево. В какой-то момент дон Эстебан шепнул товарищу, что видит что-то.

Гильельмо напрасно выглядывал у него из-за плеча.

«Что видишь?» – спросил он.

Догорающий факел жег Эстебану пальцы. Вдруг он выпрямился – стены раздвинулись, кругом был только мрак, в котором пламя высвечивало лишь красноватый грот. Гильельмо видел, как товарищ двинулся вперед, а пламя в его руке колебалось, отбрасывая громадные тени. Вдруг в глубине показалось висевшее в воздухе призрачное огромное лицо с опущенными глазами. Дон Эстебан закричал. Это был страшный крик, но Гильельмо понял слова. Его товарищ призывал Иисуса и его Матерь, а такие люди, как дон Эстебан, произносят эти имена только перед лицом смерти. Когда раздался крик, Гильельмо закрыл глаза руками. Потом раздался грохот, его охватило пламя, и он потерял сознание.

Доктор Мондиан откинулся назад, коснувшись головой спинки, и молча смотрел куда-то между сидящими. Его темный силуэт выделялся на фоне окна, в котором виднелась зубчатая линия гор, вся лиловая в сгущавшихся сумерках.

Затаив дыхание, Веланд ждал окончания рассказа.

– В верхнем течении Араквериты индейцы, охотившиеся на оленей, выловили белого человека, к плечам которого была привязана надутая воздухом шкура буйвола. Его спина была изрезана, а ребра выломаны в стороны наподобие крыльев. Индейцы, опасаясь войск Кортеса, пытались сжечь останки, но в их селение завернул конный дозор Понтерона, прозванного Одноглазым. Труп доставили в лагерь и опознали в нем Гильельмо. Дон Эстебан исчез бесследно.

– А откуда же известна вся эта история?

Этот голос раздался как скрежет. Веланд неодобрительно взглянул на оппонента. Вошел официант со свечами. Дрожащее пламя осветило лицо спрашивающего, лимонное, с бескровными губами. Он любезно улыбался.

– Вначале я повторил рассказ старого индейца. Он говорил, что Мазумак все видит своим Глазом. Возможно, он выражался несколько метафорически, но в принципе был прав. Это было начало шестнадцатого

века, и европейцы не очень много знали о возможностях, которыми обладают шлифованные стекла. На голове Мазумака и в его Чреве стояли гигантские кристаллы горного хрусталя – правда, неизвестно, созданные силами природы или обработанные человеческой рукой, – при этом глядя в один, можно было видеть все, что делается рядом с другим. Это был своего рода телевизор, или, если хотите, перископ, составленный из двух зеркальных систем, удаленных друг от друга на тридцать три километра. Индеец, стоявший на вершине Головы, видел святотатцев, вступающих в Чрево Мазумака. Быть может, не только видел, но и мог способствовать их гибели.

Мондиан резко взмахнул рукой. На стол, в круг оранжевого света, упала связка ремней, завязанных с одного конца, как татарский бунчук, и покрытых уже совершенно облезшей краской. Кожа была вся в трещинах, видимо очень старая.

– Был кто-то, – закончил Вантенед, – следивший за этим походом и оставивший его описание.

– То есть вы знаете путь к пещерам с золотом?

– А где этот необыкновенный телевизор? – спросил Веланд.

Улыбка Мондиана становилась все безучастнее, как будто вместе с исчезающими в сумерках вершинами он уплывал в горную, ледяную, молчаливую, одинокую ночь.

– Этот дом стоит как раз у входа в Уста Мазумака. Когда там произносилось слово, Долина Молчания повторяла его мощным грохотом. Это был природный каменный рупор – в тысячи раз сильнее электрических.

– Как это?..

– Три века назад в зеркальную плиту попала молния, переплавив ее в кучку кварца. Долина Молчания – это та, на которую выходят окна дома, а дон Эстебан и дон Гильельмо пришли со стороны Ворот Ветров. Там еще можно найти остатки выветрившейся Головы Коня. Красный Источник давно уже иссяк, только рыжий песок лежит под валунами.

– Но ведь теперь громко сказанное слово уже не сдвинет валуны!

– Нет. Очевидно, долина была резонатором, и какие-то звуковые колебания способствовали расшатыванию торчавших в скалах глыб. Со временем разрушающее действие воды, ветра и мороза увеличило ее размеры, и сила резонанса угасла...

– А вход в пещеру?

– Вход этот находится в получасе ходьбы от нашего дома. Уста же замолкли навсегда – горные обвалы Ловца Туч засыпали проход... А

пещеру завалило во время землетрясения. Там был висячий камень, который, как клин, отделял одну от другой две скальных стены. Сотрясение вытолкнуло его, и скалы сомкнулись навсегда. У входа осталось немного золотого песка, но поток, который не мог уже проникнуть в подземелье, залил дно котловины, образовав Озеро Мертвой Руки. Что произошло потом, когда испанцы попытались пройти звериной тропой, кто обрушил на колонну пехотинцев Кортеса каменную лавину – индейцы или буря, – неизвестно. Думаю, что никто об этом никогда не узнает.

– Ну-ну, доктор Вантенедда, не так категорично. Озеро можно выкачать, скалы раздвинуть машинами, подъемными кранами, не правда ли? – проговорил маленький толстый господин, занимавший место в конце стола. Он курил тонкую сигару.

– Вы так думаете?

Вантенедда не скрывал презрения.

– Нет такой силы, которая бы открыла Уста Мазумака, если он этого не хочет, – сказал он, резко отталкиваясь от стола.

Движение воздуха загасило две свечи. Последняя горела неровным голубоватым пламенем, над которым, как маленькие мотыльки, летали хлопья копоти.

– Впрочем, – добавил он совершенно другим тоном, – можете попробовать.

Вантенедда сунул между головами свою волосатую руку и схватил со стола связку ремней. Затем повернул свою коляску с такой силой, что резина колес завизжала, и выехал в раскрытую дверь. Через минуту все начали вставать и выходить. Веланд все еще сидел за столом, заглядевшись на колеблющееся пламя свечи.

– Необыкновенная история, – сказал он, ни к кому не обращаясь, и поднял глаза. Перед ним стоял желтолицый человек, возражавший Вантенедде.

– И вы этому верите? – сказал он с явной насмешкой. – Уважаемый доктор Мондиан – хороший бизнесмен и заботится о развлечении постояльцев. Не зря он изображает обедневшего испанского дворянина.

– Как, – сказал, вставая Веланд, – вы думаете, что эта история?..

– Рекламная сказка, конечно. Я допускаю, что даже его коляска является частью декорации...

Кивнув Веланду, желтолицый вышел. Появился слуга и положил перед серебряной, вытравленной огнем в голубой цвет решеткой камина охапку больших поленьев. Из открытого окна тянуло ледяным воздухом. Слуга умело разворошил горящие угли, ловко сложил над пламенем поленья

шалашиком и исчез как тень. Доктор Веланд, оставшись один, вздрогнул от пронизывающего холода и пододвинул кресло к огню. И как раз тогда, когда он им манипулировал, желая поставить поудобней, открылась дверь. Веланд поднял глаза и вздрогнул от неожиданности.

– Мистер...

– Без имен, – ответил вошедший.

Воротник у него был поднят, на голове была шляпа. В знак приветствия он коснулся ее полей пальцем.

– Как вы сюда попали?

– Чертовская дыра. У меня к вам дело.

– Дело? – Веланд поморщился. – Я в отпуске, меня замещает Корделль.

– Этого Корделль не может сделать.

– Почему? Что случилось? В институте?..

– Все о'кей. Есть другое дело. Новое. Здесь я не могу говорить. Где ваша комната?

– Черт возьми! – Веланд был зол. – Что это за новая история?

Он уже направился к двери, как вдруг его осенило, и он остановился:

– Но... но как вы сюда попали? Ведь поезд приходит только раз в день, утром.

– Я прилетел на вертолете.

Веланд протяжно свистнул и молча последовал за прибывшим.

III

Доктор Веланд прилетел в Париж самолетом «Пан-Американ эйрлайнз» и поселился в «Гранд-Отеле». На следующий день после прибытия он позвонил в посольство Соединенных Штатов и часом позже встретился с агентом, который должен был помогать ему во всесторонней разработке Шардена. Договорившись с Веландом, агент исчез из Парижа. Через неделю он вернулся с весьма неутешительными вестями. Из них следовало, что профессор, проживающий в большом доме в Ла-Шапель-Неф, в двухстах тридцати километрах на северо-восток от Парижа, ведет необычайно одинокий образ жизни, не появляется в обществе, принципиально никого не принимает у себя и тем более ничего не хочет слышать о переговорах с американцами. Агент закончил свой отчет выражением уверенности, что дело все-таки еще не проиграно, и попросил Веланда быть готовым выехать из Парижа в подходящий момент. Он

наступит, пояснил агент, когда произойдет благоприятное стечение обстоятельств. Вновь исчезнув из поля зрения, агент не подавал признаков жизни целый месяц, и Веланд посвятил это время посещению ночных заведений, что улучшило его настроение, испорченное неожиданным прерыванием отпуска.

Однажды вечером агент позвонил ему из города, информируя, что плод созрел. Через четверть часа он приехал в отель. За чашкой черного кофе агент изложил доктору тщательно разработанный план операции. Он состоял из трех частей. Первая заключалась в завоевании крепости, то есть в проникновении в дом Шардена. С этой целью на следующий день после полудня Веланд должен будет выехать на автомобиле и через два километра за Ла-Шапель-Неф – в чистом поле, у группы известковых скал – остановиться якобы по причине поломки мотора. Оставив автомобиль, он пойдет искать ночлег в ближайшем поселении. «Благоприятное стечение обстоятельств» состояло в том, что единственный в радиусе тридцати километров постоянный двор, лежащий по пути к дому профессора, сгорел дотла. Посетив для отвода глаз его пепелище, Веланд направится прямо к дому Шардена и, представив свое фатальное положение, попросит ночлега. Следовало рассчитывать на то, что профессор не откажет в гостеприимстве одинокому заблудившемуся иностранцу.

Здесь начиналась вторая часть плана. В разговоре с Шарденом Веланд должен деликатным способом дать понять, что он на самом деле американец, но американец прогрессивный, с явным уклоном в левизну. Агент представил доктору точный и сжатый перечень соответствующих взглядов и убеждений, надо было также внести некоторые поправки в научную биографию Веланда. Ему нельзя, что очевидно, признаваться в своих связях с энтомологическим институтом в Принстоне, предложение которого Шарден в свое время отверг очень решительно.

Третья часть плана определяла дальнейшее поведение только в общих чертах, потому что все зависело от атмосферы приема и тона разговора. Предполагалось осторожно вытянуть из профессора желаемую информацию, избегая, однако, какого-либо насилия. Если бы Шарден стал проявлять малейшие признаки недоверия, следовало изобразить совершенное отсутствие заинтересованности в его исследованиях и, прекратив всяческие расспросы, придать разговору характер душевной беседы двух коллег по профессии. Главным пунктом третьей части плана была подготовка почвы для приглашения Шардена на конференцию энтомологов в Лос-Анджелес, которая состоится в первой половине будущего года.

Веланд добросовестно повторил все пункты плана и, когда остался один в гостиничном номере, принялся штудировать новые подробности своей биографии, в то время как агент отправился за машиной и занялся подготовкой к поездке.

На другой день после обеда доктор сел за руль просторного туристского «тальбо», из багажника которого для придания невинного характера путешествию выглядывали удочки, а сверху была привязана скатанная палатка. Стоя на тротуаре у гаража, агент едва заметным взмахом руки пожелал счастливого пути, и Веланд, заглядывая в автомобильную карту северной Франции, разложенную на пустом сиденье рядом с ним, в одиночестве двинулся в путь.

Мчась на большой скорости по асфальтированному шоссе, Веланд представлял различные детали ожидавшего его приключения, обдумывая логически связанные ответы на возможные вопросы; мысленно отработывал свою новую легенду; определял этапы действий и, готовясь к решающему моменту, не без удовольствия обнаруживал в себе способности, о наличии которых даже и не подозревал. Миновав Илли-Данкур, согласно карте он свернул на восток.

День, словно заключенный внутри матовой жемчужины, закончился, и надвигающаяся мгла переливалась все более розовым. Веланд немного уменьшил скорость, чтобы не оказаться в нужном месте дороги до наступления сумерек. Вокруг простиралось совершенное безлюдье, до самого горизонта бежали пустые, словно вымершие вересковые заросли. Он проехал через Ла-Шапель-Неф и еще сильнее замедлил ход автомобиля. Заметив глыбы известковых скал, залитых последними лучами солнца, он нажал на тормоз. Едва автомобиль остановился, Веланд вышел, отвинтил карбюратор и свечи, чтобы таким образом создать полное впечатление поломки. Ожидая темноты, он выкурил две сигареты, сидя на ступеньке машины.

Когда мотор остыл, окрестности изменились. Было безветренно. Стояла абсолютная тишина. В нескольких шагах в сторону от шоссе за группой старых деревьев тянулись легкие пряди тумана. Небо на западе нависало красной стеной. Веланд затоптал окурок, потянулся и обошел машину. Он посмотрел на лампочку, горящую над табличкой с номером, и презрительно пожал плечами, как будто произнося: «Проклятая старая развалина!» С этого момента он начинал игру, и хотя вокруг не было ни души, чтобы лучше вжиться в роль, действовал так, будто в самом деле произошла поломка. Веланд еще раз заглянул под капот, посмотрел на руки, нет ли на них следов масла, и, определив нужное направление,

решительно двинулся прямо через поля.

Было тихо. Тучи, как пылающие лилии, падали в темноту. Его окружила пустота. Раньше ее нарушал рокот мотора. Веланду показалось, что он стал первым человеком, шагавшим по этой мрачной пустоте. Где-то глухо отозвалась болотная птица. Ее голос, придавленный сырým воздухом, летел низко над землей.

Когда он отошел на несколько сотен шагов, то обернулся. Машины уже не было видно. Темнота была такая, что можно было идти с закрытыми глазами. Через четверть часа должна была взойти луна. На земле пару раз слышалось коварное шипение. Веланд направлял туда луч света от охотничьего фонаря. Очень зеленая трава густо покрывала поверхность болота. Под ногой она медленно и мягко прогибалась. Из глубины изредка доносилось бульканье. Что-то там напрягалось, переливалось. Веланду стало не по себе. Не лучше ли было идти по шоссе? Что за идиотизм – срезать путь в незнакомой местности! В мыслях он проклинал собственную глупость. Каждый шаг мог стать последним. Может, лучше вернуться к машине?..

Он шел дальше. Нужно было подняться на холм. Почва становилась суше. Грубые, жесткие стебли травы били по ногам. Он посмотрел на компас, чтобы определить, движется ли он в нужном направлении, и ускорил шаги.

Вершина холма выделялась на фоне неба, покрытого белыми ночными облаками. Вдруг тучи вспыхнули, и большой диск луны выступил из-за их краев. Длинные колеблющиеся тени побежали по траве. С вершины холма ничего не было видно, а ведь постоянный двор должен был находиться внизу. Веланд двинулся дальше.

Еще несколько раз почва издала шипение и просела, как натянутое на воде полотно, и, наконец, когда ему уже показалось, что он давно прошел постоянный двор и углубляется все больше в сторону непроходимых болот, впереди замаячило что-то более темное, чем ночь. Облака закрыли луну, и трудно было ориентироваться. Веланд вытянул руки, дотронулся до шершавой стены, обошел ее и остановился.

Перед ним дымилось серое пожарище. От обгорелых бревен поднималась тонкая струйка дыма. Отдельные искры, как бодрствующие светлячки, уносились вверх, вырисовывая золотистые параболы, и исчезали. Там, где прежде стоял большой дом, стлалось карминовое сияние. Веланд сделал два шага.

– Эй, – закричал он, – есть здесь кто-нибудь?

Что-то заскрипело у него за спиной. Он обернулся. Свет, исходивший

от пожарища, так его ослепил, что он ничего не увидел. Только через некоторое время он заметил прямоугольные очертания сарая. Большие ворота слегка приоткрылись, и над самой землей показалась голова, укутанная закопченным платком.

– Что здесь произошло? – спросил, подходя, Веланд. – Я хотел переночевать...

– Дом сгорел, – прохрипела она.

Это была очень старая женщина. Красный отсвет углей тонул в глубоких складках ее лица, сморщенного, как сухой фрукт.

– Нельзя переночевать? – разочарованным тоном спросил Веланд.

– Дом сгорел, – повторила она. – Хозяин поехал в город. Никого нет.

– А вы кто? – спросил Веланд.

Нужно было идти, но какое-то любопытство его удерживало.

– Я? – Она на минуту замолчала. Налетел ветер, и шевельнулась прядь ее седых волос. – Мать.

– Это был несчастный случай?

– Поджог, – ответила она спокойно, так спокойно, что Веланд испугался.

Молчание затянулось.

– Значит, нельзя заночевать? – пробормотал он, чтобы только что-то сказать.

– Дом сгорел, – повторила она с тем же спокойствием.

– А здесь поблизости нет другого дома? Я приехал издалека, машина моя сломалась, не знаю окрестностей, – быстро заговорил Веланд.

Теперь он не мог уже уйти, должен был дожждаться ответа.

– Нет, нету, – покачала она отрицательно головой.

Веланд остолбенел. Этого план не предвидел. Просто уйти или настаивать? Дорогу он нашел бы сам.

– Как это нет? – сказал он. – Нет ни одного дома?

– Дом?..

За ней, в глубине раздался хриплый рев. Веланд вздрогнул и тотчас тихо выругался, поняв, что это всего лишь корова.

– А... дом? – сказала старуха. – Есть дом. Там, за Скалой Епископа.

Она высунула через щель руку. Ладонь была большая, как мужская, и выглядела словно темная рукавица, надетая на тонкую светлую палку.

– А, есть дом. Так там можно переночевать? – полувопросительно бросил Веланд, с облегчением собираясь уходить.

– Там, – повторно показала направление, – но ходить туда нельзя. Там Жакоб Шарден.

– Почему? Он что, тоже сгорел? – спросил Веланд. Спокойствие старой женщины начинало его злить.

– Он никого не принимает.

– Меня примет, – бросил Веланд, все больше злясь. «Зачем я разговариваю с ней?» – возмутился он про себя, однако, подтянув ремень рюкзака, спросил: – А что за тип этот Шарден?

Ему пора было идти, но он стоял. Может, потому, что старая женщина смотрела ему в лицо. Голову она слегка наклонила. Смотрела снизу вверх так пристально, что Веланд второй раз почувствовал беспокойство. За отвернувшимся воротом показались ее плечи. Она начала дрожать. Тряслась все сильнее. Слезы блеснули в ее глазах, но это еще был не плач. Веланд оцепенел.

– Муравьи... – вымучила она наконец.

– Что?!

– Он... пасет...

– Что делает? – непослушными губами спросил Веланд.

– Муравьев. Пасет муравьев...

Веланд кашлянул, энергично поправил ремень рюкзака, кивнул старухе и спросил:

– Это там, да?

Он пошел, она ответила вслед:

– Там, за Скалой Епископа.

Она снова начала трястись, как бы сдерживая неожиданный кашель, и вышла наружу, до пят укутанная в одеяло, колющее от приставшей соломы. Веланд прошел уже несколько шагов и неожиданно понял: это был не кашель, а смех.

Он резко обернулся. Она все еще стояла на том же месте и смотрела на него. Губы ее беззвучно шевелились. Дрожь пробежала у него по спине, и он быстро зашагал прочь.

IV

Скала Епископа – это группа крутых известковых пиков. В свете луны она выглядела как беловатый и призрачный скелет летучей мыши, плотно сложившей гигантские костистые крылья. В нескольких сотнях шагов за сожженным постоянным двором дорога исчезала в тени скалы. Здесь росли низкие кусты, через которые Веланд пробрался с трудом. Его одежда намокла от упавших с листьев капель росы. Когда он миновал эту низину,

вдруг показался дом. Свет луны окрасил в белый цвет окружавшую его высокую стену. У дома были плоская широкая крыша и темные окна. Приблизившись, Веланд заметил, что над стеной натянута стальная сетка с мелкими ячейками. Кирпичи были соединены цементом и не оштукатурены. В глубине сада залаяла собака. Голос у нее был грубый, как у медведя. Доктор пошел вдоль стены. Странное дело, на четыре фута от стены трава не росла, как будто была выжжена. Мелкий щебень (или уголь) хрустел под ногами. Наконец показалось углубление, обозначенное густой тенью. В стене была калитка. Она была похожа на шлюз: массивная дубовая дверь, обитая жестью, плотно подогнанная к нише. Сбоку виднелся звонок. Веланд нажал на него раз, другой, потом третий. Собака яростно лаяла. Ни намека на движение. За спиной у Веланда была низина, наполовину залитая черной тенью, а за ней каждый стебель травы виднелся ясно, освещенный мертвенным сиянием. Там фосфоресцировали Скалы Епископа. Вдруг среди полной тишины раздался голос:

– Кто там? Что надо?

В калитке имелось круглое отверстие, закрытое шторкой. В нем блеснул глаз – неожиданно дверь как будто ожила. Веланд кашлянул.

– Я турист, – сказал он быстро, – мой автомобиль сломался и стоит на шоссе. Я пошел... Не знаю окрестностей... Еле нашел дорогу к постоялому двору, но там застал пепелище. Мне сказали, что вы здесь живете и могли бы предоставить мне приют на ночь...

Веланд опасался, не выдаст ли преждевременно его акцент. Как же он будет через дверь излагать прогрессивные взгляды? Но голос отозвался:

– Да? А вы один?

– Совсем один.

– А багаж у вас есть?

– Только рюкзак.

– Ха-ха!.. Только рюкзак, – передразнил голос. – Только рюкзак, ничего себе. Рюкзак вы должны оставить снаружи.

– У меня там только рубашка, туфли, зубная щетка и... и мыло.

– Гм, да? Это можете взять. Рюкзак же оставьте, никто его не заберет.

Веланд сделал, как ему было сказано, раздражаясь, ибо в боковом кармане рюкзака находился маленький фотоаппарат. Он побоялся его переложить в карман, оставаясь в поле зрения этого обезличенного глаза, неподвижно на него уставившегося.

Когда Веланд выпрямился, держа в обеих руках вещи, дверь приоткрылась. Он увидел голову в старой фетровой шляпе, а под ней – темное лицо с острым носом.

– Минуточку, – на входе остановил его хозяин. – А в карманах ничего у вас нет?

– В карманах, – пролепетал Веланд, не ожидавший такого приема. – Нет, ничего нет, только сигареты и бумажник...

– Ну-ну... – сказал тот и наконец впустил его.

Дверь была толстая, как будто вела в сокровищницу. Хозяин закрыл ее. При звуке защелкивающегося замка Веланд весь внутренне напрягся. Начиналась настоящая игра.

Двор был забетонирован: не было ни следа травы, деревьев или другой растительности. От стены бежал гладкий панцирь бетона вплоть до фундамента дома, построенного из огромных валунов. Окна, оснащенные ставнями, были наглухо закрыты. «Подогнано все как на подводной лодке, – подумал Веланд. – Да, старику есть что прятать от мира».

Из будки выскочила огромная собака. Ощетинившись, она молча смотрела, скаля зубы. Сверкнули клыки.

– Лежать! Лежать! – скомандовал хозяин и пошел вперед.

На нем был длинный суконный халат, очень свободный и сильно топорщившийся, стянутый широким поясным ремнем, на ногах – резиновые туфли. Когда он открыл дверь, Веланд увидел, что в комнатах горит свет, – значит, профессор еще не спал, это только ставни закрывали окна снаружи. В воздухе чувствовался едва уловимый запах каких-то химикатов.

В кирпичном камине пылали круглые поленья. Под легкой сеткой пепла крошился слоями вишневый жар. Колеблющийся свет добегал до середины комнаты, сталкиваясь со светом большой лампы под зеленым абажуром. На стенах блестели сотни стеклянных трубок и цилиндров. На всех играли красные и зеленые огоньки. Пол застилали разбросанные шкуры, недостаточно хорошо выделанные, потому что были жесткими, с торчащей космами шерстью. Самая большая, тигровая, лежала перед камином. В стеклянных глазах бестии мерцали медовые искры. Пасть была зажата, только белые клыки спускались поперек почерневшей нижней губы.

Веланд, переступив порог, в нерешительности остановился. Хозяин не обращал на него внимания. Он подошел к камину и долго поправлял поленья, распаляя огонь, потом грел возле него ладони, так что даже кожа порозовела. Привлеченный теплом, Веланд приблизился к пламени. В камине громко трещали дрова. Шарден выпрямился, снял с головы шляпу и ловко бросил ее на резной стол, она упала как раз между двумя стопками книг. Потом повернул голову в сторону гостя и с опущенными руками

посмотрел на него.

– Садитесь, – сказал он наконец, закончив его изучать.

Веланд придвинул к камину единственный стул. Он предпочитал пока молчать. Шарден перекладывал бумаги на столе, Веланд начал разглядывать стены. На них висели, прикрепленные узкими скобами, трубки и банки разного калибра, наполненные синеватой жидкостью. Внутри емкостей белело нечто неподвижно-удлиненное, вроде огромных гусениц. Веланд заложил ногу на ногу и терпеливо ждал, пока хозяин заговорит. Тепло подступало опьяняющей волной. Нежное течение горячего воздуха, пропитанного запахом смолы, плыло по комнате. Профессор открыл шкафчик в углу, вынул длинный белый батон, несколько кружек и графин. Наливая вино в фарфоровые кружки, разрисованные цветами, он несколько раз посмотрел не столько на самого Веланда, сколько в его сторону, как бы проверяя что-то вокруг него. Взгляды эти уже начали беспокоить доктора. Он проследил за взглядом Шардена, но не заметил ничего подозрительного.

– Вы приезжий? – спросил наконец профессор, жестом приглашая к столу.

Веланд поблагодарил поклоном и, намазывая маслом горбушку хлеба, ответил:

– Да, я ехал на автомобиле из Парижа, но у меня сломался мотор. Неприятная история в таком безлюдном месте, не правда ли? Вдобавок эта сгоревшая корчма...

– Да, это грустная история, – сказал Шарден. – Вы выехали на уикенд?

– На рыбную ловлю, – ответил Веланд с полным ртом.

– Гм, наверное, на форель?

– Да.

Шарден добродушно улыбнулся.

– А у вас есть опыт в этом высоком искусстве? Простите, что я так бесцеремонно спрашиваю, – добавил он, – но все рыбаки составляют одну большую семью...

На шутку Веланд ответил веселой улыбкой.

– Я начинающий, – сказал он, – но определенных успехов уже достиг...

Темное, коричневое от загара лицо хозяина оживилось. Он поднял графин к свету, узкая полоска рубинового цвета стекала по стеклу. Веланд потягивал вино, наблюдая за полетом искр, поднимавшихся над трескавшимися поленьями. Смех подступал у него к горлу и щекотал гортань. «Большое дело – Шарден. Крепость! А он уже внутри, и француз

подает ему угощения из своей кладовой».

– Вы живете совершенно один? – начал он безразличным тоном, вытирая губы салфеткой...

– Да.

Веланд вдруг оживился:

– Простите мое вторжение, но... я был так выведен из равновесия и голоден, – он улыбнулся, – что даже не представился. Прошу извинить. Моя фамилия Веланд, Дональд Веланд.

Он на мгновение остановился, ожидая вопроса: «Вы американец?» Ответ был готов, но вопрос не был задан. Вместо этого хозяин, приподнимаясь в кресле, с официальным видом подал ему руку, слегка ее пожал и сказал:

– Я рад, что могу вам помочь. Моя фамилия Шарден.

– Шарден?! – воскликнул Веланд. – Не может быть!

– Шарден!

От волнения он даже встал.

– Профессор Шарден! Что за необыкновенный случай! И пусть говорят тогда, что в цивилизованном мире нет места необыкновенным происшествиям!

– Вы меня знаете? – спросил хозяин.

Он смотрел на Веланда спокойно, как та старая женщина на пожарище. На одно мгновение Веланд как бы завис в пустоте, не находя нужных слов, пустил в ход руки, пытаясь ими выразить величайшие радость и удивление.

– Как же не... я ведь биолог...

– Передо мной действительно коллега? – спросил профессор, медленно поднимаясь с кресла.

– Ну да! Да! – воскликнул Веланд. – Господин профессор... Я говорю бессвязно, ибо сюрприз... Вы понимаете... Так вот я учился в Университете Джона Хопкинса... Там я познакомился с вашими величайшими работами... Потом я был в Гарварде...

На минуту он стал серьезным.

– Я там работал... Правда, сейчас уже не работаю.

– Ах так? – произнес профессор.

– Мне неприятно об этом говорить, потому что это личное, как бы семейное дело, – он словно пытался шутить, – но я не подписал декларацию лояльности. Я не коммунист, но это дело принципа. Это противоречит духу Конституции. Впрочем, – добавил он – это не важно.

Он встал, как бы вспоминая что-то, потом неожиданно сел, придвинул

стул к креслу Шардена и начал:

– Извините, что об этом вспомнил. Надеюсь, что все-таки что-нибудь найдется для меня. А пока... я в черном списке... Но что же это я все говорю о себе! – воскликнул он со смущением. – Я приехал во Францию, чтобы, пользуясь разницей валютного курса, пожить какое-то время, и... такой прекрасный случай!

Непроизвольно он задел колено профессора.

Веланд поднял голову. Взгляд его упал на стену. Среди узких длинных, плотно запечатанных трубок светилась широкая банка. В глубине ее, оживленные блеском, качались бледные пятнышки.

– Боже мой, таким образом встретить профессора Шардена... – как бы очнувшись от задумчивости, бросил Веланд. – Прекрасная у вас здесь коллекция...

Он подошел к стене. В банке, прикрепленной скобами к стеклянной пластине, виднелись образцы гигантских термитов. Там был термит-рабочий, не больше личинки майского жука, и несколько термитов-солдат – этих огромных, как бы искалеченных созданий. Третью часть их туловища занимал гигантский рогатый шлем, темное забрало, заканчивавшееся острыми раскрытыми клешнями. Нежные ножки и тело были придавлены массой разросшегося панциря.

– Вы так считаете? – Шарден встал и подошел к Веланду. – Вы знаете мою работу о термитах?

– Да. Знаете, уже точно не помню, это было, наверное, лет шесть назад, не так ли?

– Да. Тогда я вернулся из Африки...

Сказав это, он резко повернулся и подошел к двери. Затем раскрыл ее настежь и посмотрел в темный коридор. Дверь оставил открытой. Он взял со стола что-то розовое, резиновое – это был медицинский стетоскоп. Приложил его к стене, потом обошел по кругу всю комнату, прикладывая черную воронку ко всем предметам. Дольше всего он задержался у окна. Веланд наблюдал за всем этим с глуповатым выражением лица. Наконец Шарден бросил резиновые трубки на пол. Закрыв глаза.

– Простите, – сказал он, – нужно принять меры предосторожности...

Веланд, смущенный, поклонился. Он вспомнил, что старая женщина что-то говорила о муравьях. Что же? Ах да, что Шарден «пасет муравьев». Что значит «пасет»? Что это могло означать? Может, какое-нибудь местное выражение...

Шарден встал посередине комнаты и смотрел на неподвижных насекомых, сияющих неестественной белизной в глубине банок.

– Вы слышали, что обо мне говорят в окрестностях?
Беланд вздрогнул. Неужели профессор прочитал его мысли?
Глупости.

– Нет... – ответил он медленно.

Шарден приблизился к нему.

– Направляясь во Францию... вы хотели со мной увидеться?

– Нет. Я вообще об этом не думал, но даже и высказать не могу, как рад этому случаю...

Он замолчал, посмотрел в глаза Шардену и тихо, но отчетливо произнес:

– Ваше открытое письмо против бактериологической войны произвело на меня большое впечатление. Такие заявления сейчас очень нужны. Простите, однако, мою откровенность, но то, что вы написали о наших ученых, считаю оскорбительным. Не следует обобщать. У нас есть еще порядочные люди...

Он умолк. «Не пора ли уже упомянуть о конференции энтомологов в Лос-Анджелесе? Нет, еще рановато». С серьезным видом он ждал, не спуская глаз с профессора.

Шарден снял со стены большую банку, перенес ее на стол и поставил под лампой так, что прозрачная жидкость сконцентрировала в себе свет в виде белого конуса.

– Что это? – спросил он, усаживаясь.

Беланд, удивленный, заморгал. Что это могло означать? Может, это шутка или экзамен? Шарден сидел спокойно, ожидая ответа, поэтому доктор все-таки посмотрел на банку. Кашлянул.

– Я не мирмеколог, – сказал он, – но это, кажется, *Termes bellicosus*^[173]?

– *Termes bellicosus*? – повторил профессор с едва уловимой ноткой насмешки в голосе. – Вы неплохой классификатор. Да, любой мирмеколог сказал бы то же самое. Но...

Он не закончил. Подперев ладонями лицо, какое-то время молчал. Только огонь метался в стеклах, отражаясь в них многократно.

– Знаете ли вы, что я делал в Африке?

– Нет...

Снова наступило молчание. Тени прорезали глубокие борозды на щеках Шардена.

– Я шесть раз был в Бельгийском Конго. Вы знаете те края?

– Нет.

– А знаете, в этой работе о термитах я не все написал...

Веланд с ожиданием глядел на профессора. Тот смотрел в сторону банки, где в колышущейся жидкости тихо качалась огромная голова мертвого насекомого.

– Гм, может, рассказать вам?..

Профессор сложил руки на груди.

– На корабле до порта Бом... – начал он, опустил в кресло и прикрыл глаза. – На речном пароходе до Бангала... Там начинаются джунгли. Потом шесть недель на лошадях, больше нельзя. Даже мулы гибнут. Сонная болезнь...

Глаза у него были закрыты, как у спящего человека, но по лицу скользили подвижные тени. «Как отсвет огня, разгоревшегося в лесу», – подумал Веланд.

– Был там такой старый шаман, Нфо Туабе. – Он произнес это слово с французским ударением на последнем слоге. – Я приехал ловить бабочек. Но он показал мне дорогу...

Он опять замолчал, потом на короткое время открыл глаза.

– Вы знаете, что это такое – джунгли? Да откуда вам знать. Зеленая дикая жизнь. Все шевелится, реагирует, движется, в зарослях толчея прожорливых созданий, умопомрачительные цветы, как взрывы красок, покрытые липкой паутиной, насекомые – тысячи и тысячи неизвестных видов. Не то что у нас, в Европе. Не нужно искать. Ночью вся палатка покрывается бабочками, большими, как ладонь; настойчивые, ослепленные, они сотнями падают в огонь. По полотну движутся тени. Негры трясутся, ветер с разных сторон доносит звуки. Львы, шакалы... Но это еще ничего... Потом наступает слабость и лихорадка. Если лошади уже погибли – дальше пешком. У меня была сыворотка, германин, хинин – все, что хотите. И вот в какой-то день – а никакого счета дням не существует, и человек чувствует, что деление на недели и весь календарь является чем-то смешным и искусственным, – в какой-то из дней идти дальше было нельзя. Джунгли заканчивались. Еще одна негритянская деревня. Над самой рекой. Реки на карте нет, потому что три раза в год она исчезает под зыбучими песками. Часть русла под землей. Несколько хижин из обожженной солнцем глины и соломы. Там жил Нфо Туабе. Он не знал английского языка, откуда ему знать. У меня было два переводчика: один переводил мои слова на диалект побережья, а другой с диалекта на язык бушменов. Целым районом джунглей от шестого градуса южной широты правит старая королевская семья. Я думаю, что это потомки египтян. Они выше ростом и значительно умнее негров из центральной Африки. Нфо Туабе даже нарисовал мне карту и обозначил на ней границы королевства. Я спас его

сына от сонной болезни. И вот именно за это...

Не открывая глаз, Шарден сунул руку во внутренний карман. Достал блокнот и вынул из него лист бумаги, разрисованный красными чернилами. На нем извивались какие-то запутанные линии.

– Трудно ориентироваться... Здесь джунгли заканчивались, как ножом отрезанные. Это граница королевства. Я спросил, что там дальше. Он не хотел говорить об этом ночью. Пришлось к нему прийти днем. И вот тогда в этой своей зловонной норе без окон... Вы представить не можете, как там душно... Он сказал мне, что дальше муравьи. Белые, слепые муравьи, которые строят большие города. Их страна простирается на многие километры. Рыжие муравьи воюют с белыми. Они приходят гигантской живой рекой из джунглей. Тогда слоны стадами покидают окрестности, выламывая в кустарниках извилистые туннели. Убегают тигры. Даже змеи. Из птиц остаются только сипы. Муравьи идут по-разному, иногда неделю, иногда месяц, днем и ночью, рыжим живым потоком, а если что-то встает на их пути – уничтожают. Они доходят до края джунглей, обнаруживают муравейники белых, и начинается сражение. Нфо Туабе видел его один раз в жизни. Он показывал мне страшные шрамы, которые остались у него навсегда. Рыжие муравьи, расправившись со стражниками белых, вступают в их город. И никогда не возвращаются. Что с ними происходит – неизвестно. Но на следующий год сквозь джунгли пробираются новые полчища. Так было во времена его отца, деда и прадеда. Так было всегда.

Земля в городе белых муравьев очень плодородна. С давних времен негры пробовали использовать ее, пытались огнем уничтожить термитники, чтобы расширить свои участки. Но проиграли в этой борьбе. Посевы были уничтожены. Они строили шалаши и деревянные изгороди. Термиты пробирались к ним по подземным коридорам, проникали внутрь построек и так их подтачивали, что они неожиданно падали от прикосновения рукой. Пробовали применить глину. Тогда вместо рабочих термитов появлялись солдаты. Именно такие, – он показал на банку. – Для вас это не является чем-то новым, правда? Мы знаем, что существуют обширные территории, где царят белые муравьи – термиты. В Южной Америке, в Австралии... У них два вида солдат – что-то вроде внутренней полиции и защитников. Термитники достигают восьми метров высоты. Они сооружены из песка и выделений, образующих цемент, который тверже портлендского. Никакая сталь их не берет. Безглазые мягкие белые насекомые существуют три миллиона лет, отрезанные от света. Белых муравьев изучали Пакард, Шмельц, Кливленд и многие другие. Но никто из них даже не подозревал, не подозревал... Вы понимаете? – сказал Шарден,

придвигаясь всем телом к Веланду. – Я спас его сына и за это... О, это был мудрец! Он знал, как отблагодарить белого человека по-королевски. Такой совершенно седой, черный, даже пепельноволосый негр с лицом как закопченная маска... Он сказал мне так: «Термитники тянутся на многие мили. Вся равнина ими покрыта. Как лес, как мертвый лес, один рядом с другим, огромные каменные пни – между ними трудно пробираться. Почва везде твердая, глухо гудит под ногами, застлана как бы плетенкой из толстых серых веревок. Это ходы, по которым бегают термиты. Они построены из того же цемента, что и термитники. Они тянутся на целые километры, исчезают под землей, выходят наверх, разветвляются, пересекаются, имеют переходы внутрь термитников, а через каждые несколько десятков сантиметров образуют расширения, где расходятся термиты, бегущие в противоположных направлениях. Там, в глубине Города, среди миллионов этих каменных строений, где идет эта слепая активная жизнь, есть один, отличающийся от всех термитник. Небольшой, черный, кривой как крючок». Он показал своим коричневым большим пальцем, как он выглядит. «Там находится сердце муравьиного народа». Больше он ничего не хотел говорить.

– И вы ему поверили?.. – прошептал Веланд.

Профессор прожигал его взглядом черных глаз.

– Я возвратился в Бом. Купил пятьдесят килограммов динамита в фунтовых брусках, какие применяют в шахтах. Кирки, лопаты, заступы, разное снаряжение. Баллоны с серой, бикфордов шнур, маски, сетки – все самое лучшее, что можно было купить. Две канистры авиационного бензина и целый арсенал средств для уничтожения насекомых, какой только можно себе вообразить. Потом нанял одиннадцать носильщиков и отправился в джунгли. Вы знаете про эксперимент Колленджера? – спросил он. – Его считают сказкой. Правда, Колленджер не мирмеколог, а любитель. Он разделил весь термитник сверху донизу стальной пластиной, так чтобы обе половины совершенно не сообщались между собой. Термитник был новый, термиты его еще строили. Через шесть недель он вынул пластину, и оказалось, что насекомые так прокладывали новые коридоры, что их отверстия по обе стороны преграды в точности совпадали – ни на миллиметр отклонения по вертикали и по горизонтали, подобно тому, как люди строят туннель, начиная одновременно с двух сторон горы и встречаясь внутри ее. Каким образом общались термиты сквозь стальную плиту? Затем – утверждение Глосса. Также непроверенное. Он заявлял, что если убить царицу термитов, то насекомые, находящиеся за несколько сот метров от термитника, приходят в волнение, бросают начатую работу и

возвращаются домой. А способ, каким они подмуровывают своим цементом бревна дома, который начинают атаковать! Перегрызают все изнутри, не доходя до поверхности, потому что избегают света и воздуха. Чтобы бревно, пустое уже в середине, не переломилось, укрепляют его, подмуровывая так, что лучше этого не сделает даже инженер.

Он вновь замолчал и стал всматриваться в раскаленные угли, над которыми возникали и исчезали голубые язычки пламени.

– Дорога была... Итак. Вначале сбежал проводник, затем переводчик. Бросали вещи и исчезали. Утром, когда я просыпался под москитной сеткой, – молчание, вытаращенные глаза, перепуганные лица и перешептывание за моей спиной. Под конец я связывал их друг с другом, а конец веревки наматывал на руку. Ножи прятал, чтобы они не могли ее перерезать. От постоянного недосыпания или из-за солнца я получил воспаление глаз. Утром веки не мог разлепить, так они склеивались. А тут еще приближалось лето. Рубашка от пота была твердой, как накрахмаленная, до шлема снаружи нельзя было дотронуться пальцем, ибо на нем тут же выскакивал волдырь. Ствол карабина жег, как раскаленная болванка.

Мы прокладывали себе дорогу в течение тридцати девяти дней. Я не хотел идти через селение старого Нфо Туабе, потому что он попросил меня об этом. Конца джунглей мы достигли неожиданно. Внезапно эта адская душная, бурлящая чаща листьев, лиан, пресмыкающихся, верещавших попугаев закончилась. Насколько мог охватить взгляд – равнина, желтая, как шкура старого льва. На ней среди зарослей кактусов – конусы. Термитники. Построенные вслепую, изнутри, поэтому часто неправильной формы, шершавые. Здесь мы провели ночь.

Под утро я проснулся со страшной головной болью. Накануне неосторожно снял на некоторое время шлем. Солнце стояло высоко. Жара была такая, что воздух обжигал легкие, как огонь. Очертания предметов дрожали, как будто горел песок. Я был один. Носильщики перегрызли веревку и убежали. Остался только тринадцатилетний мальчик, Уагаду-бой.

Я пошел дальше. Вдвоем мы относили вещи на несколько десятков шагов. Затем возвращались и переносили следующие. Эти переходы нужно было повторять по пять раз под палящим как ад солнцем. Несмотря на белую рубаху, мою спину покрыли незаживающие язвы. Спать приходилось на животе. Но все это ерунда. Целый день мы углублялись в Город Термитов. Не знаю, есть ли на свете что-нибудь более ужасное. Представьте себе: со всех сторон, спереди и сзади, каменные термитники высотой с двухэтажный дом. Местами они стояли так тесно, что с трудом

можно было между ними протиснуться. Бесконечный лес серых колонн. А в середине, когда мы приостанавливались, слышался непрестанный слабый мерный шум, временами переходивший в одиночное постукивание. Когда ни прикоснешься к стене, ночью или днем, она постоянно дрожит. Несколько раз нам случалось раздавить один из туннелей, похожих на серые канаты, целыми пучками раскиданные по земле. По ним бесконечной чередой шли толстые белые насекомые. Сразу же показывались рогатые шлемы солдат, которые вслепую стригли воздух клешнями и выбрасывали липкую жгучую жидкость.

Так шли мы два дня, по-прежнему наугад, ибо не могло быть и речи о какой-либо ориентации. Два, три или четыре раза в день я забирался на самый высокий термитник из ближайших, высматривая тот единственный, о котором говорил Нфо Туабе, но видел только каменный лес. Джунгли за нами превратились в зеленую полосу, затем – в голубую линию на горизонте. Наконец исчезли совсем. Запасы воды уменьшались. А термитникам не было конца. В бинокль я видел их все дальше и дальше, до самого горизонта, где они сливались, как колосья злаков. Я удивлялся моему мальчику. Он без жалоб делал все то же, что и я, не зная, зачем и почему. Так мы шли четыре дня. Я был совершенно пьян от солнца. Защитные очки не помогали. Страшное сияние было и в небе, на которое до сумерек нельзя было даже взглянуть, и на песке, который блестел как ртуть. А кругом без конца – частоколы термитников. Ни следа живого создания. Сюда не залетали даже сипы. Только кое-где стояли одиночные кактусы.

Наконец под вечер, выделив последнюю отведенную на этот день порцию воды, я забрался на верхушку очень высокого термитника. Думаю, что он помнил еще времена Цезаря. Уже без надежды я осматривался, как вдруг в бинокль заметил черную точку. Вначале я подумал, что это соринка на стекле. Ошибался. Это был тот термитник.

На другой день я встал, когда еще солнце было за горизонтом. Еле разбудил моего мальчика. Мы начали переносить вещи в направлении, которое я определял по компасу. Я также набросал план местности. Термитники здесь были ниже, но зато стояли гораздо ближе друг к другу. Наконец они образовали такой частокол, что я уже не мог продвигаться. Негритенок еще мог, поэтому я подавал ему пакеты, стоя между двумя цементными колоннами, потом перелезал через верх. Так продолжалось пять часов. За это время мы прошли, возможно, метров сто. Я понимал, что подобным образом мы ничего не добьемся, но меня уже охватила какая-то лихорадка. Не говорю, что это было в буквальном смысле, потому что у

меня постоянно была температура около тридцати восьми градусов. Это уже вопрос климата. Возможно, он как-то влияет на мозг. Я взял пять фунтов динамита в брусках и взорвал термитник, который стоял у нас на дороге. Мы спрятались за другими, когда я поджег фитиль. Взрыв был приглушенный, взрывная волна пошла вглубь. Почва задрожала. Но другие термитники устояли. От взорванного остались только большие куски стен, шевелящиеся от белых телец.

До сих пор мы не мешали друг другу. Теперь же началась война. Через воронку, образованную взрывом, нельзя было пройти. Тысячи, десятки тысяч термитов вылезали из ямы и шли лавиной, как набегающая волна. Они ощупывали каждый кусочек земли. Я зажег серу и надел на спину баллон. Вы ведь знаете, как выглядит это приспособление. Оно напоминает разбрызгиватель, которым садовники опрыскивают деревья. Или огнемет. Едкий дым вырывался из трубки, которую я держал в руке. Я надел противогаз, другой дал мальчику. Дал ему также специально предназначенные для этой цели сапоги, оплетенные стальной сеткой. Таким способом нам удалось пройти. Я пускал струю дыма, которая разгоняла термитов. Те, которые не отступали, погибали. К вечеру за нами осталось уже шесть взорванных термитников. В одном месте я вынужден был применить бензин: я разлил его и поджег, создавая между нами и потоком термитов преграду из огня.

Оставалось еще около ста метров до черного термитника. О сне не могло быть и речи. Мы сидели у беспрерывно коптящего баллона, светя фонариками. Что за ночь! Вам когда-нибудь приходилось шесть часов сидеть в противогазе? Нет? Ну, тогда вообразите себе, что значит находиться в раскаленном резиновом рыле. Когда хотелось свободнее вздохнуть, я оттягивал маску от лица и задыхался от дыма. Но это было лучше, чем термиты. Так прошла ночь. Мальчик все время дрожал, и я боялся, не лихорадка ли у него.

Наконец наступил новый день. Мы перебрались через следующие барьеры конусов. Вода уже заканчивалась. У нас еще была только одна канистра. Ее могло хватить на два дня, в лучшем случае на три, при расчетливом удовлетворении жажды. Надо было возвращаться как можно быстрее.

Шарден прервал рассказ, открыл глаза и посмотрел в камин. Угли уже стали совсем серыми. Свет лампы наполнял комнату: мягкий зеленый свет, как бы проникающий сквозь толщу воды.

— И тогда мы дошли до черного термитника. — Он поднял руку. — Как кривой палец — так он выглядел. Поверхность гладкая, как отполированная.

Его окружали амфитеатром термитники, низкие, широкие и, что удивительно, не вертикальные, а наклоненные к нему, как уроды, окаменевшие в гротескном поклоне.

Я сложил все принесенное в одном месте этого круга, он был диаметром порядка сорока шагов, и принялся за работу. Я не хотел уничтожать черный термитник динамитом. С момента, когда мы вошли на эту территорию, термиты нас больше не преследовали. Наконец-то можно было снять с лица противогазную маску! Какое облегчение! Пять минут не было счастливее меня человека на Земле. Неопишное блаженство свободного дыхания, и этот черный термитник, странно искривленный, не похожий ни на что из того, что я знал. Как сумасшедший я пел и плясал, не замечая льющегося со лба пота. Мой Уагаду удивленно смотрел на это. Он, наверное, думал, что я поклоняюсь черному божку.

Однако я быстро успокоился. Причин для радости было не много: вода заканчивалась, сухого провианта едва хватило бы на двое суток. Правда, оставались термиты... Негры считают их лакомством. Но я не мог себя перебороть. Впрочем, голод заставляет...

Он снова замолчал. Глаза его блеснули.

– Короче говоря... я разломал этот термитник... Старый Нфо Туабе говорил правду.

Он наклонился вперед. Черты лица у него заострились. Веланд слушал затаив дыхание.

– Сначала там был слой волокон, как бы тонкая пряжа, необыкновенно ровная и прочная. Внутри – центральная камера, окруженная толстым слоем термитов. Но вообще были ли это термиты? Сколько живу, таких не видел – огромные, плоские, как ладонь, покрытые серебристыми волосками, с воронкообразными головками, оканчивающимися чем-то вроде антенны. Антенны эти упирались в серый предмет величиной не более мужского кулака. Насекомые были невероятно старые. Неподвижные, будто из дерева, они даже не пытались защищаться. Туловища их равномерно пульсировали. Когда я отрывал их от этого центрального предмета – от этой круглой и необычной вещи, – они сразу же погибали. Рассыпались в моих пальцах, как истлевшие тряпки. У меня не было ни времени, ни сил, чтобы все это исследовать. Я достал из камеры тот предмет, убрал в жестяную коробку, и сразу же вместе с моим Уагаду мы отправились в обратный путь.

Не важно, как я добрался до побережья. Мы встретили рыжих муравьев. Я был благодарен той минуте, когда решил забрать с собой канистру, полную бензина. Если бы не огонь... Но не будем об этом. Это

отдельная история. Скажу только одно: на первом же привале я внимательно осмотрел этот предмет, похищенный из черного термитника. Когда я очистил его от грязи, то увидел, что это идеально правильной формы шар из тяжелого вещества, прозрачного, как стекло, но несравнимо более сильно преломляющего свет. Именно там, в джунглях, обнаружился один феномен, на который я не сразу обратил внимание. Думал, что мне показалось. Но когда я добрался до цивилизованных мест на побережье, и еще после этого, то убедился, что не заблуждаюсь.

Он откинулся на спинку кресла, почти поглощенный тенью, только голова его выделялась на более светлом фоне, и сказал:

– Меня преследовали насекомые. Дневные и ночные бабочки, пауки, перепончатокрылые – все, каких только знаете. День и ночь они тянулись за мной гудящей тучей. А точнее, не за мной, а за моим багажом, за металлической коробкой, содержащей шар. Во время плавания на корабле было не многим лучше. При помощи радикально действующих средств против насекомых я избавился от этой напасти. Новые не появлялись, их нет в открытом море. Но зато когда я прибыл во Францию, все началось сначала. Но хуже всего – муравьи. Если я останавливался где-либо более чем на час, появлялись муравьи. Рыжие, древесные, черные, жнецы, большие и малые – все непрерывно пробирались к этому шару, накапливались на коробке, покрывали ее кишачим клубком, разрывали, перегрызали, уничтожали все препятствия, душили друг друга, погибали, выделяли кислоту, пытаясь разрушить железную оболочку...

Он умолк...

– Этот дом, в котором вы находитесь, его одинокое расположение, меры предосторожности, принятые мной, – это все следствие того, что меня непрерывно осаждают муравьи...

Шарден встал.

– Я проводил опыты... При помощи корундового напильника отделил от шара кусочек не больше макового зерна: он обладал таким же эффектом притяжения, как весь шар. Я также выявил, что если окружить шар толстой свинцовой броней, то его действие прекращается.

– Какое-то излучение?... – охрипшим голосом отозвался Веланд.

Как загипнотизированный всматривался он в едва различимое лицо старого ученого.

– Может быть. Не знаю.

Мысли вихрем кружились в голове Веланда. То, за чем он приехал, было ничем по сравнению с масштабом тайны, в которую его посвятил профессор. Шар, мельчайший кусочек которого привлекает насекомых...

Тот, кто будет держать в руках эту таинственную субстанцию, станет их абсолютным властелином! Он сможет свободно управлять их перемещениями, сможет насылать бедствия на целые континенты...

– И... у вас есть этот шар?

– Да. Хотите на него посмотреть?

Веланд вскочил на ноги. В дверях профессор пропустил его вперед, быстро вернулся к столу, что-то с него взял и поспешил за доктором в темный коридор. Они вошли в узкую каморку без окон, она была пуста. В углу стоял старинный большой бронированный сейф, в слабом свете голой лампочки, висевшей под потолком, синевато поблескивали его металлические стенки. Шарден уверенно вставил ключ в замок, повернул, раздался скрежет отодвигаемых засовов, толстые дверцы раскрылись. Он заслонил собой содержимое сейфа, затем отошел в сторону. Сдерживая дыхание, Веланд заглянул внутрь. Сейф был пуст. Так ему показалось в первый момент, затем он увидел шар. Тот лежал в глубине, у самой стены. Внутри его слабо мерцал бледный огонек. Не владея собой, Веланд протянул руку. Профессор остановил его.

– Доктор, – сказал он, – я не хочу быть хранителем сокровища, от которого не имею какой-либо пользы. У меня нет ни средств, ни возможностей, чтобы всесторонне исследовать это явление. Поэтому я решил передать этот шар какому-нибудь серьезному институту. Случай привел вас под эту крышу. Не могли бы вы мне в этом помочь?

– Конечно! Да! – выкрикнул Веланд.

Шарден вынул шар из сейфа, протянул руку в сторону Веланда, но вдруг, как бы охваченный сомнением, остановился.

– А вы с этим справитесь?

– Ручаюсь вам. Наш институт располагает самыми лучшими возможностями!

– Ваш институт?..

– Да...

Он запнулся и замолчал при виде неопишуемой перемены, которая произошла в Шардене. Старый ученый сунул шар в непослушную руку Веланда, отступил и с усмешкой посмотрел на него.

– Вы приехали сюда ловить форель? Да? – сказал он совсем иным, как бы помолодевшим голосом. Потом обернулся, захлопнул дверцу сейфа, спрятал ключи и потянул американца за собой.

Веланд поплелся сзади. На ватных ногах он вошел в комнату.

– Садитесь.

Веланд, все еще с шаром в руках, уселся на краешек кресла. Шарден

засунул руки в просторные карманы халата и стоял перед ним, спокойно его разглядывая.

– Приехали ловить форель – в эту пору, в этой местности? – повторил он. Шарден начал ходить по комнате. Расхаживая большими шагами то в одну, то в другую сторону, он говорил. – Ваш ночной визит возбудил во мне смутное подозрение. Потом я подумал, что ошибся. Даже, признаюсь, испытал к вам доверие. Молодой ученый, потерявший работу, отстраненный от своих исследований... Знаю таких. Но позже эта форель. Правда, я сам о ней спросил. Ну не может в этом быть ничего плохого. «Ну, – подумал, – поддакнули вы мне из вежливости». И все же я решил испытать вас. Прежде всего нужно было создать соответствующую атмосферу, взволновать гостя, удивить, обеспокоить, начиная с мелочей, – отсюда это прослушивание стен, особые взгляды, молчание, задумчивость... А главная тема? Это вы мне ее подсказали, обратив внимание на моих термитов. Ну и, конечно, Африка – золотая жила необычных событий, горячих снов... Так родился этот рассказ. Ну а одни слова – не слишком ли мало, чтобы убедить трезвомыслящего слушателя? Необходимо вещественное доказательство. Поэтому сначала появилась карта. Какой-то старый набросок. Почему его не мог нарисовать шаман-негр? Правда? А дальше? Все очень просто. У меня в чулане пустой старый бронированный сейф, а любимое пресс-папье – хрустальный шар. Но, правда, он все время лежал на столе. Однако я рассчитывал на настроение, ну и...

Веланд, который все еще сжимал шар в запотевших руках, с проклятием швырнул его на пол. Тот покатился по ковру к ногам Шардена.

– Истерика? – холодно спросил француз, приподнимаясь. – Даже проигрывать вы не умеете. Ну хватит. Я оплатил ложью за ложь. Конец. А теперь буду говорить то, что думаю.

Он наклонился, поднял шар, положил его на стол, подошел к Веланду и, стоя прямо перед ним, спросил:

– Какая ваша специальность?

Веланд молчал.

– Прошу ответить.

– Я энтомолог.

– Я знаю об этом. Что было темой ваших последних исследований?

– Поведение блох.

– А какая у вас была цель? Украсть мою работу о симбиозе муравьев и бактерий?

– Нет! – крикнул Веланд. – Не украсть. Речь шла только о получении

информации, подробностях...

Он замолчал. Некоторое время царило молчание. Потом, все еще стоя перед американцем, Шарден заговорил:

– Я знал тринадцатилетнего мальчика, который был величайшей надеждой французской музыки. Не сомневаюсь, что это был гений, какие рождаются раз в столетие. Этот мальчик в 1943 году попал в концентрационный лагерь «Гросс розен» и за очень короткое время потерял силы. Слабых и больных узников убивали. Вместе с партией других его привели к врачу-эсэсовцу. В глубочайшей тревоге мальчик упал перед ним на колени. Эсэсовец, казалось, заколебался. Мальчик просил о милосердии. В крике он открыл рот. Там блеснул золотой зуб. В этот момент эсэсовец увидел эту драгоценность. Судьба мальчика была решена.

Шарден замолк, подошел к столу, с минуту покопался в бумагах и возвратился к Веланду с толстой тетрадью.

– Вот золотой зуб, за которым вы пришли. Возьмите его.

Веланд, сжавшись, не дрогнул.

– Пожалуйста, смотрите, – Шарден открыл тетрадь, – это та самая работа, которая вам нужна, о симбиозе муравьев и бактерий.

Перелистывал страницы.

– Вот данные названия видов, описание опытов, выводы – все. Это единственный экземпляр. Отдаю его вам. В самом деле. Возьмите.

Он протянул руку с тетрадью. Веланд закрыл лицо ладонью.

– Не хотите? Так я и предполагал. Это не вы сожгли постоянный двор старого Шамо, правда?

– Я не имею с этим ничего общего, – сдавленным голосом отозвался Веланд, по-прежнему закрывая лицо.

– Я верю вам. Люди вашего типа не решаются сами на большую подлость, они могут ей только служить.

Он замолчал.

– А может, все-таки?.. Повторяю: я готов дать вам эту тетрадь. Более того, обо всем, что тут произошло, я буду молчать. Даю слово. Вы возьмете это, уйдете, и больше мы не увидимся. Ну?

– Позвольте мне уйти, – почти шепотом ответил Веланд.

– То есть вы не хотите? Понимаю. Остался бы неприятный осадок: угрызения совести, правда? А так вы уйдете всего лишь разоблаченным. Но я этого не хочу! Напрасно вы прячетесь в скорлупу! Это не поможет... Смотрите!

Веланд втянул голову в плечи.

– Смотри сюда! – крикнул Шарден таким голосом, что рука Веланда

упала, открыв смертельно бледное лицо.

Шарден подошел к камину, схватил двумя руками тетрадь, изо всей силы разорвал ее пополам и бросил в огонь. Угли зашуршали, как разбуженный рой ос. Пачка бумаги загорелась не сразу. Беловатый огонек сначала пробежал по краям, прикасаясь к ним и отступая, словно в нерешительности, потом огонь вспыхнул высоким пламенем. Страницы, чернея, открывались сами одна за другой, сворачивались в трубочки – рукопись исчезала; вскоре в топке лежали уже только испепеленные шелестящие остатки.

– Это был единственный экземпляр, – сказал Шарден. – Знаете ли, почему я это сделал?

Молчание.

– Отвечай!

– Чтобы... это не послужило для военных целей...

– Нет. Не только. Я сделал это для тебя!

Веланд со страхом смотрел в лицо старого ученого. Шарден подошел к нему, наклонился и сказал очень отчетливо, разделяя слова:

– Если бы ты ушел отсюда раньше, тебя бы только душила ярость, ты ненавидел бы меня за то, что я разгадал твою игру и не дал себя обмануть. Однако очень скоро рана, которую я нанес твоему самолюбию, зажила бы. Но я этого не хочу! Я хочу, чтобы ты хорошо запомнил Жакоба Шардена, французского ученого, для которого нет в жизни ничего более ценного, чем его работа, и который сжег плод своих шестилетних исследований – для тебя!

Минуту он тяжело дышал; наконец остыв, уже спокойнее продолжил:

– Я не сделал это в надежде, что ты переменишься. Люди так легко не меняются. Ты вернешься в свой институт и будешь стараться потрафить своему руководству, добросовестно выращивая зачумленных блох. Будешь иметь над собой больших негодяев, а вокруг – коллег, негодяев меньших, которые сами никого не убивают, ибо им не хватает на это мужества. Но ты не будешь уже таким спокойным, как они! Будешь думать: во имя чего он это сделал? Нет, ты не осмелишься на бунт! Для этого ты слишком труслив. Но, быть может, наступит день, когда у тебя будет возможность помочь сделать новую подлость или этого не сделать. И... может, тогда ты заколеблешься...

Он помолчал несколько секунд.

– Конечно, не обязательно будет так. Это даже не кажется правдоподобным. Но я рискнул. Почему? Это мое дело. У тебя будет достаточно времени, чтобы над этим подумать...

Через минуту он сказал уже другим голосом:

– Вы по-прежнему желаете переночевать под этой крышей или... предпочтете вернуться к автомашине?

Веланд встал как больной.

– Я хочу уйти.

– Хорошо.

Профессор пошел к двери. Веланд замер посреди комнаты, нижняя губа у него слегка дрожала.

– Вы хотите что-то сказать? – мягко спросил Шарден.

– Да.

– Это излишне. Все уже сказано. Прошу за мной.

Он открыл дверь. В глухом молчании они прошли через двор, залитый белым светом. Пес громко рычал из будки. Щелкнул замок калитки. Веланд уже переступал порог, когда его удержала твердая рука Шардена.

– Возьмите это.

Калитка захлопнулась. Американец поднял руку. Залитый лунным сиянием, в ней мерцал хрустальный шар.

Перевод Язневича В.И.

Часть 2

Юношеские стихи

Перевод Штыпеля А.М.

Трамваем номер пять через Краков

Оправленные в движение и золото, покачиваются шпильи.
Так небо голубеет, что в глубине застыли
Голуби, узорами рисующие молчанье.
Лиловой акварелью в глазах стоит закат,
Фарфоровые, лаковые сверкают изваянья,
К солнцу серебряными иглами приколоты облака.

В стеклянных розах собора пламя блеснуло,
Небо ступило в воду, кирпича отраженья снулые
Возвращает зенит, темнея,
Из глубин Вислы каменным золотоглазым строеньям.
Вдали четырехгранная башня с часами.
Там время играет черными в золоте лепестками,
Отмечая дорогу Земли, Земли, что несется
Аллеей небесных костелов в направлении Солнца.

Память мала, как звезда, и так же подслеповата,
Девушек приняла за сырые краски заката,
Бескрылых ангелов в земном заточенье,

Кого красный запад и женская улыбка печалят,
А звездистого мрака немое терпенье
Так близко поэту одиночеством и молчаньем.

Ночь

Взгляни на скульптора работу. Небо
И пруд с застывшей тучей, звезды,
Схваченные янтарем памяти,
Когда плывут в лиловой светотени
Сквозь вихри, тени и глаза,
Сквозь звездные дожди зенита,
Сквозь колоннады запахов цветочных
В каменногогорлые кувшины —
Их опечатывает ночь.

Когда втечет светило в кубок ветра,
Заря расколет грани темноты,
Настанет время тополей серебристых.

В беззвучном скерцо одиноких скрипок,
В тональности единой с дрожью
Сурдин зеленых лип.

Любовь

Мир, раздвигаемый руками,
Небо, подпертое взглядом,
И музыка из ниоткуда
Сжимали меня день за днем.

Кровеносною сетью
Слабели ветра и светила,
Сминаясь, как листья,
Измочаленные детьми.

Ночь в меня пробиралась —
Темной страны отпечаток,
Теряя воздуха звуки
И белый выдох цветов.

Из стихов моих слова выпадали.

Строфы зарастали в моих книжках.

В глазах умирали пейзажи,

В голубых и зеленых.

Цветы своими формами наделяли животных
Птицы слепли в высях
Деревья выдраны из лесной ткани
Остались лишь столбы разъединенного пространства
Бездревной грусти.
Воздух уходил из гнезд и ракушек
В красном горлышке птицы
Трели рассыпались в прах.

В фиалковых и эбеновых

Звезды стекали с неба

Светляки гасли как солнца
Снулые жабры месяца
Последние тающие облака
Вода смешалась с землей
Свет смешался с мраком
Сходя в предсветную тьму.

В моих снах увядали лица

Безымянных стихов и женщин
Аквамарин и охра
Обращались в пыль.
В глуби глаз умирали ландшафты.
Актеры покидали театр
Опускался тяжелый занавес
На сцену пустую как смерть.

Пустели склады фантазий,
Рулоны воображенья:
Шелк, бархат, муар, парча,
Серебряных кружев извивы.
Мои зеркала умолкли
Тени остолбенели
След дыханья засыпан листвой
Земля не кружит под солнцем
В жилах не кружит кровь.

Только ты оказалась
Прошедшей сквозь пламя,
Белый девичий профиль
В обугленном воображение.
Скрепленный черной печатью
Закованного в уголь
Папоротника древнего леса,
Срезанного океаном.

Кафедральный собор

Этюды

1

Алый столбик в венчике бессмертника.

2

Вскрик красных кирпичей и цинковых горгулий:
К себе потоки рос вернет небесный улей.

3

Застыл золотой перун в расщепленной лесине:
Так вспыхивает крест на туче темно-синей.

4

Хор выдувает корпус корабля,
Рвет камни-якоря — твердь пенем потрясется.
Покорный неф летит, уходит вниз земля —
Плывет ковчег даров, гремит в соборе солнце.

5

Ночь трудно отодрать от мощных стен. В орган
Вполз мрак. Одна звезда глядит в органный створ.
Отвес воздушный остекляет грань.
Вновь солнце в небесах, и на земле собор.

Триолет

Павел построил дом:
Снизу – цветы, сверху – ласточек гнезда.
Крыша крыта полетом,
Окна наполнены пеньем.
Вечерами
Собирал каштаны, колючие как звезды.
Тучи птиц
Пересказывал тучам деревьев.
Малые слова подрастали,
Менялись, как облачко:
Розовое – фиолетовое – грустное.
Укладывал их в сказки, как в постельки,
Баюкал стихами.

У неба его страны железный был парус.

У Яна не было дома.
Жил в улыбке, как на острове.
Оставленный девушками,
Как вяз птицами,
Любовь спрятал под веками,
Не изменил ей во сне.
Уступал дорогу
Деревьям и муравьям.
Не такой уж и одинокий
Водил слова
Легкой чертой лазури,
Розовыми плечами струн.

За ним пришли ночью.

Петр верил в незабудки.
У его отца
Серебряного седого старца
Была могила

Из пламени и кирпича.
У отца Петр учился молчанью.
Девушка, которую он любил,
С глазами светлее воздуха,
Получила в грудь пулю —
В золотых ресницах
Погасли два маленьких неба.
У погибшей
Петр учился любви.

На орлиных тропах

*Памяти Веслава Орловского, трагически
погибшего в августе с.г. в Татрах*

Средь троп орлиных, где в кручах мгlistых
Полет рассекает гора,
Там молнии вязли, как сбитые птицы,
В вареве серебра.

Туман расставлял свои вехи. Светали
Вершины. Их лбы лиловели, легки.
Дня полуслепое тело вздымали
Каменные быки.

В крылатых стенах дрожали жилы
Вод. Цепенел базальтовый кряж.
Внизу чернело. В долину валилась
Туча, входя в раж.

После тишина обесцветит пейзажи.
Холодные волосы – как безлюдье дюн.
Матери нет. Ночь добра, на страже
Ночь, как валун.

С горы сползают пихты с черными руками,
Порой облако дымами опадает тяжело,
Как будто Бог на сундук из камня
Черную бросил сирень.

Закопане, 1947

Голуби вписывали в пурпур поднебесья...

Голуби вписывали в пурпур поднебесья
Сетки ошалевшего Меркатора, открывши
На картах планет в ледяных завесах
Сны девушек, острова жаворонков и себя – таких же.

Земля вернула небу холодные акварели.
Взгляд, как птица, вернувшаяся в тепло гнезда,
Сбитый с высоты, замыкался в теле
И лишь сердце следило, как гасла звезда.

Полевое кладбище

В тьму вбиты гвозди белых крестов.
Березы – как траектории звезд падучих.
Мрак бесконечен, бегуч, крылат, лесист —
Хребтом бьет в застлавшую взгляд твердь тучи.
Лишь одно напомним о солнце – разбуженной иволги свист.

Пламенем сломлен хор. Запомнится только глине
Подземная форма угасших губ. На могилах мята с полынью.
На покровах, ничьих уж, трава сменяет траву.
И моя смерть настанет. И тьма. Не знаю, за что живу.

Знать бы – пальцы слепца, мимоза ли слизня...

Знать бы – пальцы слепца, мимоза ли слизня —
Вещь, замыкаясь в себе, ощущает себя ли, как я,
Когда сжимаю кулак, – так неведомой жизни
Форма внезапная осуществляется, длясь.

Знать бы, какие атомы, перелетая и вращаясь,
По проводам иннерваций разгоняют звон —
Звезд жала, птиц перелеты, железо, жалость
И великий покой. Я – сердце его.

Из цикла «Насекомые»

I. Ночная бабочка

Крылья ночницы из фиолетовой краски и грозы.
Под крыльями пушистый ветер.
Весь этот свет – это темнота, надетая на сладкий шарик света.
Это гора лилового воздуха.

II. Бабочка

Бабочка расцветает на светлом воздушном стебле.
В витраж ее крыльев вправлены зыбко
Небесная королева, лики святых, отрок со скрипкой
И самое алое сердце. Память-улыбка.

III. Гусеница

Свободно плывет гладью зеленых листьев,
Чертит карту дороги серебристой слюной.
Из головы хлещет шелк. Прежде чем кокон приснится,
Окружающий мир становится то короче вдруг, то длинней.

IV. Пчела

Несома серебряной музычкой, ты воздуха желтый взрез,
Мед вперемежку с ядом. Мак черен, а меж
Землей и воздухом – луг. В грань призматических глаз
стеклянная ворвалась лазурь.

V. Жук-могильщик

Жук – это бронзовый сгусток. Жук – это медный щит.
Это триарий, закованный в рогатые куцые латы.
Вкатывает шарик навоза, как планету в лазурь,
и заглядываясь на пыльное солнце в полуденной звени

слепляет прах с прахом. Сам Бог, что ли,
Стеснил дыханье в глине? Res ad triarios venit^[174].

Кода

Небо торчит в черноземе. Так пузырь голубой
Тем и жив в глыбе лавы, что его там нет.
Так в мире, обозначенном плоскостью световой,
Мрак – голод солнца, а жизнь – терпенье.

* * *

1

Всегда была в отдаленье. Как птицы и дети.
Отчизна была повсюду, где есть место любви.
Теперь я должен быть прям и исполнен смерти,
Как кусок железа, который ее убил.

2

Марии

Ясноглазая девочка так одиноко прекрасна,
Каждый погибший миг заново создавая,
Не улыбнешься, читая эти слова, чужая:
Ты молчанье стиха, моей крови бесстрастность.

Кто увидел тебя в вечернем саду, словно отзвук
Собственных мыслей, мечтаний безмолвных;
Темнота не погасит улыбки твоей. Не на звездах
Моя вечная родина, а в твоих ладонях.

Любовное письмо

Вечер. Ветром выдут
Горизонт стеклянный
С брюшком златым, румяным.
В окне каштан завязывает
Узелками побеги,
Чтобы запомнить: весна.
Мушка на черных ресничках
Пробегаёт листок бумаги,
За стеной играют на скрипке,
Как если б сказали: ночь.
Кто-то в доме напротив
Зажжет окно, как звезду,
Выжидающую одиноко —
Кто-то хотел бы словом,
Словно ладонью, накрыть
Весь мир, как малую мушку.
Но ближе всего шелест
Крови, она в виски,
Как за последней стеной,
Бьет, чтобы помнил.
Уже звезда моя первая
Расплылась серебряным пятнышком —
Вглядываясь, теряешь.
Коротенький сон приходит,
Словно к ребенку,
И в нем лишь одно слово:
Любовь или смерть – кто знает?
Может быть, просто сумрак,
Может быть, кровь смолкла,
Может, ладонь – как затаенное дыхание.
Был сон цвета твоих глаз.

Короткие стихи

I

Видит вечер, что дети уснули,
Подложил румяный сон под подушку,
Стал настраивать лады ульев,
Колобродить в пустых ракушках.

Сняла ночь звездочку, а та золотая,
Сменяла звездочку на трели звучные,
А сон удалился в лес, напевая,
И там подкручивал скрипичные ключики.

II

Таращился лиловый месяц
Подбитым глазом в звездный пух,
Пока вдруг, не узревши землю,
Надвинул облако на темя
И серебро развесил оплеух.
Хозяин облаков неистовый
Листву, как книги, перелистывал,
Где вписан жребий роковой.
Дорожку непрямую стлал
И звезд узоры вырезал.
А там в дубовое дупло
Животик воздуха – в тепло —
Втянулся спать и так повис,
Как нетопырь макушкой вниз.

Valse triste [\[175\]](#)

Белыми пальцами звуков
Тишины не поправишь.
Складываю из черных клавиш
Серебряное письмо.
С каждым звуком все резче
Вижу твой свет далече,
Глаз на ветру твоих след.
В танце фигурки порхают,
Но басы заедает,
Звоночки сходят на нет.
Играю полет акварелей,
Заброшенных кладбищ полынь
И вижу дорог полевую теплынь,
Мелодия – абрис твой белый.
Мне слышится голос твой.
Вечер в окнах голубое свертывает,
Смешивая музыку с каждой большой звездой.
Как сквозь стену пройду сквозь аккорды
И встречу с тишиной и тобой.

Мертвым

Не пустыня, но иссохшее лежище молний,
Свалка мертвых туч, горл клочья.
Наверху небо разодранной книгой,
Внизу – кровь и почва.

Я тот, кто видит сосуд, воздвигающийся...

Я тот, кто видит сосуд, воздвигающийся
Из ваших жестов и мыслей, а край сосуда
Бледней лепестков золота – мое одиночество.
Не могу рассказать всего, что должно быть рассказано,
Не могу писать так тонко, как по небу безлистое дерево,
Вижу лишь зеленые тропы унесенной ветром листвы,
Только касаюсь завитков рассыпанных раковин,
Слышу лишь шепот темных сердечек мака,
Но большего надо. Они этого хотят, мертвые.

В глуби жемчужных минут,
В глуби бледноцветущих дней,
В глубине лет, осыпавшихся с маятников,
Созревали камни.
Купола возникали из терпенья, как яблоки,
Каждый придел – родниковый, готичный —
В лепестках свода таил улыбку Моны Лизы.
Так века застывали в музыке под рельефами облаков,
Так любовь запечатлевала в камне образ человека:
Храм.

Потом возводились башни собора,
Неф святого Яна, плывущий сквозь огонь и время,
Разбитыми ребрами борющийся
С медленной смертью.
Тогда-то и встал погост,
Эта партитура совершеннейшего молчанья,
Сломал границу
Меж собой, и городом, и крестом,
Последнее войско, дошедшее до нынешних улиц.

Здесь, где фреска была, как сердцебиенье,
Затухающее в камне, теперь
Пятно, тяжелое и сырое, как океанский ил,
Ил, в который вошли люди, небесные птицы,

Корабли, скелеты.

Ил.

С высоты спускаются

Развалины: костяные картины на длинных золотых вожжах света.

Каждый мой шаг помнит мелодию ступеней,

Под пальцами прах: отчаянье мертвых.

Под веками тьма – задумчивость мертвых,

И птицы, как сны их, улетают отсюда.

Вдалеке выпадает рыжий сгусток бури. С воздушного дна

Бьет крик: последняя башня. И все, что вижу, —

Как недобежавший свет,

Как неубившая смерть,

Как окаменевшая звезда.

Бетховен, Пятая симфония

allegro con brio [\[176\]](#)

Близкой улыбки звезда ласковая,
Проливаешься высокими молниями: мелодия,
В тебе струны красок, костров пляски
И скелеты железа, выгнутые пожаром.
Ты меня пробудила из яви. Не чаёт
Душа припасть мрамором губ к своду,
Преступленья искуплены, земля свободна,
И могилой ангела – твоё молчанье.
Пробудила из яви. Чело венчает
Тьма. Раздвигаются хмурые своды. Бурно
День и ночь обнимают планету руками обеими:
На чёрном шаре высечена поэма,
Как на полной неназываемых горизонтов урне.

Что внутри воображенья? Лица и пальцы

Что внутри воображенья? Лица и пальцы,
И губы, что в смерти, как в коконе, слипаются.
Пенье мертвых, сны грусти, ночей страхи,
И Земля – голова, летящая с плахи.

Что там внутри тела? Пейзаж электронов —
Одиночные кванты, беззвездное движение,
Где явлено лишь слуха черное цветенье,
А сны, животные ночи, разбегаются из-под век.
А нервов леса белые, лица живые корни,
И сквозь память пробивающийся крови родник,
И кость: известняк, после меня впитавший вмиг
Мою одинокость и мой мрак...

Часть 3

Сатира

Баллада, снабженная моралью?

Подлинное описание судьбы граждан, охочих до наживы и буквы закона не соблюдающих

Хорошо живет сосед,
Он не знает наших бед.
Спиртовая монополия
Для него пустяк – не более.
Жизнь его течет роскошно —
Гонит денно, гонит ночью.
Храм мечты: куда ни ткни ты —
Бьют фонтаны аквавиты.
Котелок да медный краник —
Вот житуха! Сладкий пряник!
Результатом сражена,
Говорит ему жена:
«Прекрати сейчас же гнать и фильтровать,
За решеткой, что ли, хочешь куковать!
За тобою весь наш дом пойдет ко дну!»
Но не слушал он разумную жену.
Из картошки, жита он
Гнал отличный самогон.
Но телегу накатал какой-то гад —
Дескать, градус у продукта слабоват,
Заправляет, дескать, бимбер имбирем,
Ох потравимся, костей не соберем.
Как с утра к нему нагрянула милиция —
«Не люблю, – он произнес, – подобных лиц я».
Был сосед большой шутник,
Ну а тут и скис, и сник.
Не спасает даже взятка
От блюстителей порядка.
Тщетны слезы и мольбы,
Не уйдешь от злой судьбы.
Суд идет. Конец надежде.

А о чем ты думал прежде?

Ловко изложенная в рифму повесть об ужасном преступнике

Жил да был один маньяк —
Без покойника никак.
Был увертлив и неглуп:
Что ни вечер – новый труп.
Хоть питался всухомятку,
Нож вонзал по рукоятку.
Сядет покурить на лавку —
Раз, и выхватит удавку.
Страшен с виду – лысый черт,
Хоть в альбом злодейских морд.
А как праздник у людей,
Уж поживы ждет злодей.
Встретился ему один
Очень робкий господин.
Хвать его, а тот: «Приятель,
Ты ошибся, я издатель.
Хочешь – кошелек? Пальто?»
А убийце хоть бы что.
Как ни плакал тот, ни бился,
В грудь холодный нож вонзился.
Натекло кровищи – жуть!
А злодей продолжил путь.
Лишь остался хладный труп,
Ноги вместе, пятки врозь.
Мораль:
Читатель, по покойнику не плачь.
Бьюсь об заклад – первостатейный я рифмач.

Искусно сложенная песнь о последствиях мужской невоздержанности

Пиджаков закройщик Коля
Без ума от алкоголя.
Все, какие есть, сорта

Не проносит мимо рта.
На собрание шел к пяти,
Уж проделал полпути,
Но замешкался неожиданно
У витрины ресторана.
Загляделся на витрину,
Видит сочную свинину,
Ножку гуся и селедку,
И в тени, отдельно, водку.
Так и дразнится, близка —
Тут взяла его тоска.
Миг – и он уже внутри.
Опрокинул рюмки три
И спеша, как на трамвай,
Воскликает: «Наливай!
Что стоишь как истукан?
Наполняй живой стакан.
С головы не рухнет митра,
Коль еще нальешь пол-литра.
Я-то выпить не дурак
И притом люблю коньяк».
Все шампанским он запил,
Напоследок возопил:
«Мало мне! Давай еще!»
А ему приносят счет.
Начиналось все как в сказке,
А закончилось в участке.

Перевод Штыпеля А.М.

Низкопоклонство

Драма не одноактная

Действующие лица

ДЕМЕНТИЙ ПСИХОВ-БАРТУЛЫХТИМУШЕНКО, 42 года, директор
завода по производству гашеной соды, большевик с уклоном
АВДОТЬЯ НЕДОНОГИНА-ПРАКСИВТИХИНА, его жена
ЕГОР НЕДОВЛАЗОВ, 49 лет, продавец холодильников
ВАРФАЛАМОТВЕЙ НЕДОРАЗВИТКИН, 25 лет, литератор
ТРИЗАД ДРУМЛИШИН-МИЧУРЕНКО, советский биолог, ученик
Лысюрина
ВАЗЕЛИНАРИЙ КУПОВ, настоящий рабочий
ВАМЬЯ ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ, секретарь партийной организации
завода по производству соды
ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ собственной персоной
Занавес красный, приятный на вид
Вышеуказанные и другие.

Действие первое

ПСИХОВ (*расхаживает по своему кабинету*). Жена моя, знаешь что? Социализм – это великое дело, а коммунизм – еще более великое, а вчера я вернулся из Америки. Задумайся, партия и правительство послали меня подсмотреть империалистическо-космополитические методы производства гашеной соды, и это мне удалось. Правда, случилась одна неприятность, ибо когда я подглядывал за одним старым империалистом через замочную скважину, его секретарь ткнул мне в глаз спицей для вязания носков, но что такое один глаз по сравнению с коммунизмом? Ну что ты так молчишь, Праксивтихина моя, товарищ и в известной степени жена? Раз так молчишь, то скажу тебе о том, что меня на самом деле словно змея ужалила в сердце. Знаешь (*понижает голос до космополитического шепота*), а все-таки, наверное, хорошо иметь настоящий автомобиль, и холодильник, и даже виллу.

АВДОТЬЯ (*трагически*). Не ожидала я такого от вас, товарищ муж. Разве для того мы в 1917 году сделали революцию, чтобы разъезжать на

каких-то автомобилях? Чтобы иметь презренные холодильники? Чего тебе еще захотелось? Может, зубную щетку? А пальцем уже не хочешь? Одумайся, что ты делаешь? Уже не мило тебе трудиться для революции? Уж совершенно не волнует тебя производственный план, наша радость, наш пот, наша кровь...

ПСИХОВ. Кровь и пот, безусловно, но почему я не могу иметь холодильник?

АВДОТЬЯ. Муж, бросай это низкопоклонство, это мерзкое низкопоклонство перед Западом. Зачем тебе холодильник? Что ты будешь в нем держать, кальсоны? Перестань, а то пойду к товарищу Этонесоветидзе, он у тебя выбьет этот холодильник из головы. *(Крестится.)*

ПСИХОВ. А чего это ты, коммунистка, крестишься?

АВДОТЬЯ. С 22 ноября 1942 года^[177] уже можно. Ох, Демущка Бартулыхтимушенко, что ж с тобою произошло... Был ты безупречным, всегда первым шел в соду и последним возвращался, нельзя тебя было отмыть, а теперь... *(Раздается стук.)*

ПСИХОВ. Давай, то есть пожалуйста!

ВАЗЕЛИНАРИЙ *(входя)*. Приветствую вас, Авдотья Праксивтихина, и вас, Дементий, инженер советский наш. Страхнули уже американскую пыль с сапог? Ну как там капитализм, гниет?

ПСИХОВ. Гниет. Даже здесь воняет, не чувствуешь?

АВДОТЬЯ. Разве ж можно не почувствовать? *(Все смеются по-социалистически, то есть не для собственной выгоды.)*

ВАЗЕЛИНАРИЙ. Хорошо, что вернулись. Передаю вам крепкое соцпоздравление от парторганизации, НКВД, Соцревтрибунала и Укррайздравпомдигоспамтадеревоспитки. А вот документы и план.

АВДОТЬЯ. Говорите, говорите, дорогой Вазелинарий: перевыполнен?

ВАЗЕЛИНАРИЙ. План, что ли?

ХОРОМ. План.

ВАЗЕЛИНАРИЙ. План перевыполнен, но с содой хуже. Недавно в ней появились примеси.

ХОРОМ *(с ужасом)*. Примеси...

ВАЗЕЛИНАРИЙ. Приписывают это нашему соцкоту, Марфашу. Котяра соскользнул в котлище и до конца выпарился. Распался на котян соды.

ПСИХОВ. А что вы на это?

ВАЗЕЛИНАРИЙ. А ничего. Большевика этим не испугать. Сразу же состоялось производственное совещание.

АВДОТЬЯ. Ну и что?

ВАЗЕЛИНАРИЙ. Ваш заместитель, дорогой Дементий, Сыногарлицев,

получил несколько лет.

ПСИХОВ. А... а...

ВАЗЕЛИНАРИЙ. Ну, нужно идти. Ждет меня печь с гашеной содкой, и еще мне нужно завершить раздел моей книги «Как выводят пятна в коридор и там дают им по морде, или Молодой содовец-стахановец». Желаю вам дождаться коммунизма. (*Поет.*) Здравствуй, Саша, здравствуй, Маша, жизнь хороша, тра-ля-ля. (*Выходит.*)

Действие второе

ВАРФАЛАМОТВЕЙ. Ох, брат... И я был в Париже... Ох уж эта «Мулен Руж», ох эти продажные женщины, ох любимый загнивающий капитализм, сиси, писи, пениси, золотой мой империализм, а мы что?

ПСИХОВ. А может, мы ошибаемся, Варфаламотвей Иванович, а? А может, тебе, которому советская власть набивает брюхо икрой, не следует рыльце облизывать при мысли о разложении тела? Разве не ты написал сонеты о Сталине, поэму о Вожде, роман о Молодом Иосифе, книгу афоризмов о Солнце трудящихся масс и тэпэ? Что? А?

ВАРФАЛАМОТВЕЙ. Считаешь, это низкопоклонством? Что я низкопоклонствую? А если это так приятно, можно дышать, делать что хочешь...

Входит ВАМЬЯ.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Докатились, сукины сыны. Вот вам коробочку. Ну, товарищи-капитулянты, слышал я о вашем отклонении от генеральной линии. Я так думаю, последний час для врагов пробил. Ну, братцы, и нужно было вам отклоняться? Плохая линия, не нравится, да? (*Нервно поигрывает «наганом».*)

КАПИТУЛЯНТЫ. А... а... помилуй, Вамья Этонесоветидзе... Наш дорогой, уважаемый секретарь... Мы в вас как в солнышко... Мы вам и то, и это, и еще что-то. Только дайте нам искупить вину. Больше не будем.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Унизились до низкопоклонства, да? Я это почувствовал, как только вошел.

Быстрым шагом входит МИЧУРЕНКО, говорит Дементию.

МИЧУРЕНКО. Дядя Психов, знаете, я сделал великое изобретение?

Равное великой мечте – сплавленному кедру. Я вывел новый вид кактуса, скрещенный с коровой, у которого соски вместо шипов. Сейчас его доят здесь у ворот.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Не может быть, а что доят?

МИЧУРЕНКО. Кактусовый сок.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. А пить можно?

МИЧУРЕНКО. Ну, он еще немного воняет, но пить можно. Впрочем, это пока еще социализм. Увидите, что будет делаться при коммунизме.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. А на что вы опирались, товарищ научный работник? Не на гнилую ли буржуазную науку?

МИЧУРЕНКО. Тьфу-тьфу. Опирался на Лысюрина. О, мы, советские агробиологи, мы можем все. Все можно, что невозможно, только вместе с Марксом и Энгельсом. (*Громкие одобрительные возгласы.*) А ты, дядя Психов, что так грустно смотришь? Ах, ты, может, сомневаешься в прогрессивном кактусе?

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Ваш дядя запятнал себя низкопоклонством.

МИЧУРЕНКО. А? Что? Корнем? Кактуса^[178]? Что? Низкопоклонством? Какой дядя? Кто?

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Вот этот, Дем Психов-Бартулыхтимушенко, до сегодняшнего дня директор завода по производству гашеной соды.

МИЧУРЕНКО. Шутки. Какой дядя? Чей дядя? Может, мой? Не знаю этого господина, то есть этого товарища. И вообще я только в шутку иногда называл этого типа дядей, но мне всегда казалось, что у него во взгляде есть что-то злое, от космополита, от реакции и, спаси Господи, от контрреволюции. Ну, я пойду, а то кактус ослабеет.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Да-да, но адресок оставьте.

МИЧУРЕНКО. Я? Адресок? А... адресок. А... зачем? Может, хотите сочку кактусового? О, я вам лучше... молочка... может...

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Кактус кактусом, а мне нужна ваша адрес.

МИЧУРЕНКО. Ага. (*Медленно записывает адрес и, обрадовавшись свободе, уходит.*)

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Ну, что дальше?

ВАРФАЛАМОТВЕЙ и ПСИХОВ (*смотрят друг на друга, поднимают правые руки и говорят, обращаясь к зрителям*). О, мерзкие автомобили, противные чистые рубашки, омерзительное ароматное мыло, ненужная, вредная и развращающая зубная паста. Прочь вместе с гнилым комфортом, гадкими креслами и диванами. Мы хотим трудиться очень долго и очень тяжело. Хотим выполнять пятьсот шестьдесят процентов нормы, хотим вылезать из штанов и плевать кровью, ибо так надо. А теперь клянемся

сделать такое количество соды, что империалисты в ней размякнут и разложатся без остатка вместе с Атлантическим пактом и «Голосом Америки».

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Пожалуй что так. Но не знаю, могу ли вас простить.

Трубы, тарелки, барабаны и фанфары. Все становится более социалистическим. Пахнет коммунизмом. Сверхчеловечески открываются двери, нечеловечески входит СТАЛИН. Сверхчеловечески добрый, нечеловечески приветливый, гениально улыбающийся.

СТАЛИН (*нечеловечески добрым голосом*). Ну, чевой-то там, товарищи? Как так? Захотелось немножко понизкопоклонствовать, да?

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ (*вытянувшись в струнку*). Так точно, ТаищСталин.

СТАЛИН. Перестали уже, да? Ну да ладно.

ВСЕ (*в унисон*). Вы все знаете, ТаищСталин.

СТАЛИН. А это благодаря марксистско-ленинскому анализу ситуации. А ты, Дементий, хотел иметь холодильник, да? (*Со сверхчеловеческой усмешкой.*) О, вот именно тебе его и несут.

ЕГОР НЕДОВЛАЗОВ вносит холодильник. За ним вваливается АВДОТЬЯ, стоявшая за дверью на коленях.

ПСИХОВ и АВДОТЬЯ. О, спасибо тебе, Великий Сталин.

ВСЕ. Великий Сталин.

ПСИХОВ. Величайший Сталин.

ВСЕ. Величайший Сталин.

ПСИХОВ. И вообще.

ВСЕ. И вообще.

АВДОТЬЯ. Спасибо, что идейно укрепил моего мужа и к линии приклепал. Умоляю вас, ТаищСталин, делайте дальше этот коммунизм. Дышать без него не могу. О, делайте.

ВСЕ. О, делай с нами что хочешь, ведь это так приятно.

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Чтобы к коммунизму.

ПСИХОВ. И в коммуну.

ВСЕ. Так точно, именно так.

ПСИХОВ (*шепотом, дрожа*). А что мы тогда будем делать? Когда уже будет коммунизм?

СТАЛИН (*нечеловечески доброжелательным голосом*). Будем очень, очень тяжело работать. Только не низкопоклонствуйте. Я вам это говорю. (*Барабан, тромбон, выходит.*)

ПСИХОВ включает холодильник.

ПСИХОВ. Ой, он не морозит. Ой, он же греет. Ой, он варит. Что же это такое? (*Холодильник с грохотом взрывается, в потолке и на полу образуется по дымящейся дыре. Остатки холодильника догорают на виду у присутствующих.*)

ВАЗЕЛИНАРИЙ. Все потому, что мы спешили, ведь это сверх нормы, поэтому сборка делалась в спешке.

ПСИХОВ. Как это?

ЭТОНЕСОВЕТИДЗЕ. Молчать, коммунизм не может ждать.

ПСИХОВ. Сталинский холодильник.

ВСЕ. Дурак, это уже не соцреализм. Бей его что есть сил!

Рвут его на куски – занавес.

Перевод Язневича В.И.

Сон президента

Когда под неонами «Палладиума» стало пусто, президент, который ждал у выхода бокового коридора, осторожно вышел на улицу. Пальцы его еще раз коснулись нескольких монет в кармане: двадцать пенсов – это было все, что оставалось до конца месяца. Он специально задержался у выхода, потому что не хотел присутствовать при том, как министр просвещения отъезжает на такси. Министр давал уроки игры на фортепиано и благодаря этому мог позволить себе такую роскошь; подобные вещи были ниже достоинства президента. Впрочем, он все равно не умел играть.

«Нищета властителей, – мелькнуло у него в голове. Он подумал о Людовике XVI. – Нет ничего хуже...»

От кинотеатра до резиденции правительства было недалеко. Пробираясь в наступающих сумерках и лондонском тумане проулками было не только обидно, но и опасно: в прошлом месяце возвращавшегося после партийки в покер генерального инспектора вооруженных сил, генерала Пшеджий-Хшенцотицкого американские солдаты раздели до нитки, и шеф протокольного отдела вынужден был отдать ему собственные брюки бессрочно.

Президент шел быстро, а поторапливали его еще и мрачные мысли. В антракте он узнал от заместителя начальника департамента Министерства сельскохозяйственных реформ, что министр внутренних дел в благодарность за недельный обеденный абонемент назначил официанта «Империаала» киевским воеводой^[179]. Это в высшей степени возмутило президента. И вдобавок этот киносенс, на котором ему пришлось сидеть с лицом, прикрытым носовым платком, чтобы сохранить инкогнито! Это был фильм о восстановлении Варшавы. Он не смог воспротивиться желанию посмотреть этот фильм и теперь горько сожалел о своем легкомыслии. Наверняка по этому поводу появятся мерзкие сплетни.

Пансионат, в котором размещалось правительство, был двухэтажным зданием, а точнее, трущобой, в которой ютилось большое количество эмиграционных властей. Штукатурка отваливалась с фронтона целыми пластами, обнажая стены, покрытые лишайником и грязными потеками. Над неприкрытыми дверями слабо светила лампочка. Ложа привратника пустовала с тех пор, как миссис Бримбл, владелица пансионата, отказалась принять на это место великого князя Михаила Федоровича. Из холла к лестнице вела когда-то красная, а теперь пропитанная нечистотами

дорожка. С бельэтажа доносился повышенный, а потому более, чем обычно, носовой баритон председателя Совета министров.

«Опять какой-то конфликт!» – подумал президент, но даже не замедлил шаг. Премьер, наклонившись через балюстраду, увидел его черный замызганный плащ и выскочил навстречу.

– Господин президент, так дальше не может продолжаться!

Он энергично потянул его за локоть.

– Вы видите? Вы видите?

Коридор, едва освещенный, уходил в глубь здания. Две ближайшие комнаты были резиденцией правительства и одновременно личными апартаментами президента и министров. Напротив первой двери на потертой дорожке красовалась отвратительная лужица.

– Опять пограничный инцидент? – слабым голосом спросил президент.

Как он был измучен всем этим – лестницей, политикой, всей этой властью.

– Это не инцидент, а подлое нарушение границы! Вот смотрите: у этого бордюра начинается территория Речи Посполитой. Сто раз говорил этому пьянице, чтобы рыгал на собственную территорию. Нет, ему надо наблевать напротив резиденции нашей высшей власти!

– Колупяну?

– Нет, это юрисконсульт Министерства заграничной торговли королевства Румыния. Господин президент, чаша нашего терпения переполнилась, на этот раз правительство должно предпринять самые энергичные шаги!

– Ну хорошо, какой-нибудь демарш или, скажем, нота.

– Нет, этого мало. Необходим ультиматум!

– Ну, наверное, не будем дискутировать о государственных делах на лестнице?

– Почему нет, если здесь проходит наша граница!

Премьер, гневно ворча, расправил плечи и с выправкой, отличающей старого вояку, двинулся за президентом. Они вошли в комнату. Щелкнул выключатель, и лампочка высветила каморку, заполненную рухлядью: везде валялись стопки газет, бумаги, папки. В углу на полу стояла стальная шкатулка, в которой хранилась государственная казна, а над ней висели скрещенные штандарты, гигантский орел в короне и фотографии президента, премьера и верховного главнокомандующего.

Премьер нервно потер руки, заглянул в шкафчик, дверцы которого отворились с пронзительным скрипом, но не увидел там ничего, кроме груды грязного белья, прижатой эфесом кавалерийской сабли.

– У вас ничего нет выпить? – спросил он.

– Нет.

– Ну да, – сказал премьер, осмотрелся, убрал с железной кровати большой рулон со свисающей на шнурке печатью (это был оригинал наступательно-оборонительного договора, заключенного недавно с венгерским королевством), уселся так, что застонали пружины, и вдруг спросил шепотом: – Ну как там?

– Где? – спросил президент.

Он повесил мокрое пальто на гвоздик, пододвинул кривобокий стул и осторожно присел на него.

– Ну, этот фильм. Варшава?..

– Ничего особенного.

– Но все-таки?

– Строят, конечно.

– Строят?..

Премьер потер плохо выбритую щеку, хрустнул косточками пальцев и бросил как бы нехотя:

– Ну а так, вообще? Как люди?

– Люди как люди.

– Ну а как себя ведут? А?

– Были разные праздники... Ну, народные...

– Праздники?

– Да, в Старом городе, на Маршалковской, на площади этого... этой... – Президент поперхнулся. – ...этой их Конституции...

– Народные праздники?! Ну и что! Нагнали агентов, шпииков...

– Может, и так, – медленно сказал президент, – но...

– Но что?

– Половина Варшавы там была.

– Половина Варшавы?

– Да.

– Танцевали?

– Да.

– Пели?

– Гм...

– Весело пели?!

– Я же уже сказал! – нервно выкрикнул президент.

Премьер долго крутил ус, наконец глухо выдавил:

– Что за быдло!

Долгое время стояла тишина, потом премьер осмотрелся, выпрямился

и сказал бодрым голосом:

– Вернемся к нашим делам. Если и на этот раз святотатственное покушение на нашу суверенность, это пятно на нашей чести не будет смыто соответствующими действиями, диктуемыми высшими интересами государства, я буду вынужден, господин президент, вместе со всем кабинетом, подать в отставку!

– Третий кабинет на этой неделе?.. – сказал президент с горечью. – Ну да, так легче всего, конечно. Кабинет подает в отставку, завтра надо платить за квартиру – как она на нас уже смотрит, эта госпожа Бримбл! – а откуда? Казна пуста, на представительские расходы осталось девять пенсов, вчера еще было полтора шиллинга, но ваш любимчик, министр чрезвычайной почты и телеграфа, все забрал и все до гроша профукал в тире луна-парка. Я еще понял бы, если бы это военный министр или кто-нибудь из Генерального штаба... Конечно, мы не можем пока устраивать маневры, но почтмейстер?!

– Позволю себе заметить, что с помощью этого «почтмейстера», как вы его называете, мы получили полтонны угля на зиму, – холодно возразил премьер. – И какое это имеет отношение к конфликту с Румынией? Прошу четко ответить: господин президент возражает?.. В таком случае, как я уже имел честь заявить, кабинет подает в отставку.

– Ах так! – вскипел президент, срываясь. – Конечно! Завтра вы уже будете тем или иным министром нового кабинета и не захотите иметь никакой ответственности за деятельность предыдущего, но я, я, я! – кричал он все громче. – Что я должен делать? Мой срок полномочий заканчивается лишь через три года, и до того времени я должен терпеть склоки, раздоры, отсутствие ответственности за судьбы измученной отчизны! Отвечая перед Богом и историей за судьбу польской державы, заявляю вам, что... что...

Его пылающий взор блуждал по стенам, словно в поисках поддержки. С неожиданным вдохновением президент закончил:

– ...что можете меня, господин премьер, вместе со своим кабинетом, поцеловать вот сюда!

Премьер даже не дрогнул.

– Вы думаете, – тихо ответил он, – что никто не знает о том, как вы неделю назад вытащили в «Ритц» на ужин предыдущего президента, чтобы он выдвинул вашу кандидатуру на новый срок? А кто летал за дочерью...

– Замолчите!!!

– Конечно, я могу замолчать. Только должен предупредить, что если я подам в отставку, то половина членов моего Комитета уже не вернется назад. У нас есть возможность занять более выгодные места. Существенно

более выгодные! Я закончил.

– Знаю. Слышал. На здоровье. Отказываетесь от высоких государственных должностей для того, чтобы один стал помощником кондитера, другой – гонцом на посылках.

– И никаким не гонцом, – огрызнулся премьер, – а чиновником, ведущим корреспонденцию.

– Действительно! Да я все знаю. Будете надписывать конверты, наклеивать на них марки и относить на почту.

– Прощайте. Советую вам как следует подумать о последствиях ваших несдержанных речей, – холодно произнес премьер, вставая. – Решение президента Речи Посполитой – это не пустяки. Если с настоящей минуты, то есть с... – Он поднес руку к глазам, но не нашел на ней часов, они были в ломбарде. – Если с этой минуты, – продолжил он после досадной заминки, – в течение двадцати четырех часов вам нечего будет мне сказать и если вы по-прежнему будете настаивать на своем шутовском вето, кабинет бесповоротно подаст в отставку, а новый вам не удастся собрать. Вы останетесь один, и что вы будете делать? Разве... разве что вы объявите себя абсолютным владыкой, но, интересно, кем тогда вы будете править?

И он вышел.

Президент, который вскочил на ноги при последних словах премьера, несколько раз прошелся по комнате, отыскал в кармане помятую сигарету и, нервно затягиваясь дымом, подошел к столу. Стал разрывать конверты. Это были счета за электричество, от портного, какой-то штраф за нарушение общественного порядка («Снова этот несносный Пшеджий!» – подумал он со злостью), грубое письмо дантиста, который грозил судом, если не получит оплату за вставную челюсть для вице-министра здравоохранения, проспекты, рекламы... Отложив решение этих дел на следующий день, президент начал раздеваться. Повесил на кресло потертый пиджак, сложил брюки и положил их под матрас, чтобы они разгладились, глубоко вздохнул, натянул теплые кальсоны и забрался в кровать. Он заснул немедленно, едва коснулся подушки измученной головой. И снился ему сон.

Он поднимался высоко в небо над Европой. В блеске погожего дня проплывали под ним широкие равнины. Куда ни глянешь, нигде нет и следа крестьянских наделов. Всюду бескрайние, волнующиеся нивы, местами пересекаемые лоскутами чернеющих лесов. Селения ничем не напоминали обычные деревни – скорее это были маленькие дачные городки с беленькими домиками, утопающими в цветах, с чистыми асфальтированными улицами, по которым, как жучки, двигались

автомобили. За этими селениями тянулись поля без межей и границ. Как гусенички, ползали по ним электрические сельскохозяйственные машины. На горизонте время от времени что-то ослепительно сверкало. Пролетая над одним таким местом, президент увидел огромную башню с террасами без окон, а на ее вершине блестел, как венчик подсолнуха, пучок больших зеркал. Этот рефлектор еще и тем был подобен подсолнуху, что медленно двигался за солнцем, ловя его лучи...

«Это же коммунизм!» – подумал пораженный этим зрелищем президент и полетел дальше.

Внизу проносились белые и розовые поселки, холмы, покрытые виноградниками; над прудами, словно клубки разброшенного пуха, летали птицы. Полет продолжался уже много часов, он пролетел уже тысячу миль, и ему становилось все более грустно. Он пролетал над пригородными районами, миновал освещенные шоссе, потом тихие поселки, медленно погружающиеся в сон. Теперь полет продолжался в темноте: внизу проносились редкие россыпи огоньков – население спало; он один, пронизывая воздух, бодрствовал, исполненный душевной печали о падении мира. Наконец небо задрожало, звезды расплылись, в седой мгле вставал новый день. Край, над которым он теперь проносился, выглядел совсем по-другому, не так, как прежние места. Он весь выглядел как шахматная доска из полос и пашен, напоминал брошенный кафтан нищего, весь в заплатках: узкие кривые участки полей врезались друг в друга, словно застывшие в немой сцене борцы.

Появились селения с рассыпанными беспорядочно домишками, низкими и даже без окон, крытыми соломой. Их кровли были потрепаны бурями и ветрами. От этого вида сердце у президента остановилось, а потом начало биться громко и быстро.

Он напрягся, чтобы снизиться, и это ему удалось. Двигаясь над самой землей, он видел две длинных полосы верб, черных несуразных деревьев с обломанными ветками, стоявших по обе стороны грязной дороги, усеянной лужами, в которых отражалось дымное, затянутое облаками небо. Дорога уходила вдаль бессмысленными зигзагами.

На пашне у леса худая коровенка тянула плуг, за которым ступал парень в коротких портках и рубашке. Чуть дальше по дороге тащилась изнуренная кляча, тянувшая телегу. Возница, подбрасываемый на выбоинах, дремал, ежась от утренней прохлады. Президент летел дальше, и грудь его распирало от радости. Пролетая над этой польской дорогой и даже постанывая от восторга, он видел то ровные поля, то снова заболоченные, топкие, с купами тростника и аира, покрытые зеленоватой

плесенью заросшие старицы; миновал полуразмытые дамбы, истлевшие мостки с прогнившими досками, клонившимися до самой земли, заилившиеся речушки. На большом поле бабы выстроились шеренгой и согнулись вдвое так, словно целовали землю. Президент снова посмотрел на дорогу, и слеза умиления замутила его взор. По грязной дороге ехал полицейский на велосипеде. Темно-синий мундир тесно облегал ядреные бока и ляжки представителя власти, а лицо, схваченное ремешком от фуражки, зарумянилось от служебного рвения. Браво крутя педали, он сурово смотрел из-под козырька фуражки, взглядом удерживая весь пейзаж в государственно-творческом порядке.

От этого вида ангельские хоры запели в груди президента. С благодарственным пением на устах он проснулся, вскочил с кровати и, как был, в одном белье, побежал в коридор, чтобы рассказать свой сон всему правительству.

Перевод Борисова В.И.

Около мегаломана

С того момента, когда на двенадцатом году нашего путешествия мы превысили скорость света, явно улучшилось настроение нашего главного астромотора Йюпюгюпия. Это было ясно видно по тому, как он расчесывал свою длинную светлую бороду специальным автоматическим приспособлением.

Мы все были на большом балу, который давал Совет астромоторов. Пьянящие звуки Девятой симфонии Бетховена вызывали в душах всех пассажиров «Геи» некую астрономическую грусть, которая четко контрастировала с веселым рычанием львов, подготовленных для этого вечера командой видеопластиков. Когда одно животное с хрустом съело родившегося на «Гее» двухлетнего сына математика Рамола, многие посчитали, что иллюзия зашла слишком далеко. Однако все разъяснилось, когда через минуту мальчик появился здоровым и невредимым, восклицая: «Подставьте вместо планетоидов Магелланово облако», – и тем самым внес сумятицу.

Оркестр прервал Девятую, танцы прекратились. Сильнейшие математики заскрипели искусственными мозгами: одним этим предложением гениальный ребенок подсказал им выход из ситуации, который они безуспешно искали на протяжении нескольких миллиардов туманностей.

Искусственное солнце на экране моей души уступило место искусственной луне и настоящей хандре. Медленным шагом я покинул балльный зал и остановился на краю зарослей фикуса, отделявших ледяные вершины созданного видеопластиками Памира от не менее искусственной реальности. В покрытой льдом расщелине стояла Цепеллия, жена Джимбира. Обратив голубые глаза к Млечному Пути, она делала вид, что мы незнакомы, – таково было соглашение, которого строго придерживались все жители «Геи».

Я приблизился к ней. Слова были излишни. Стремительным движением обнял ее за талию и почувствовал, как стала резко усиливаться дрожь в теле женщины.

«А ведь не линейно», – подумал я, возбуждаясь, но тут все мое естество охватила космическая слабость. На только что ионизированном экране моего мозга появилось осознание страшного: я забыл подзарядиться.

В этот момент услышал предупредительный свист. Это Джимбир приложил ко мне необычную силу ускорения.

Перевод Язневича В.И.

Язневич В.И

Станислав Лем: начало

«Случаю, то есть особому расположению генов, было угодно одарить меня способностями, которые в двадцатом столетии соответствовали писательскому призванию. И призвание это было где-то на пограничье между искусством и наукой. Вот почему я обратился к научной фантастике, принимаемой, однако, смертельно серьезно, даже если это была фантастика на юмористический лад. Устройство моего духа мне было дано от рождения, на устройство мира я никакого влияния не имел. Таковы две random variables^[180] исходно независимые переменные; у меня была возможность в известной степени коррелировать их».

Станислав Лем родился 12 сентября 1921 года во Львове – в то время территория Польши – в семье Самуэля (1879–1954) и Сабины (1892–1979) Лем, в доме, принадлежавшем раньше родителям отца. В нем же Станислав, или, как его называли близкие, Сташек, единственный ребенок в семье, провел все детство и юность. Предками его были ассимилировавшиеся евреи. Отец, Samuel Lem, или Lehm – такой была фамилия во времена, когда Львов входил в состав Австро-Венгерской империи, – был уважаемым в городе и весьма зажиточным врачом-ларингологом, не лишенным литературного таланта: в молодости в львовской прессе печатал стихи и рассказы, а «в довоенные годы медицина исполняла функции посредника между наукой и искусством». Довелось ему поучаствовать и в Первой мировой войне – в качестве врача в австро-венгерской армии; побывал и в российском плену, в том числе в лагере в Туркестане; чудом остался жив. После возвращения из плена был награжден австро-венгерским «Золотым Крестом Заслуги» на ленте «Медали за Отвагу». Мать была домохозяйкой.

В довольно-таки бедной стране, каковой была в то время Польша, благодаря отцу Сташек ни в чем не испытывал недостатка. У него была французская гувернантка, множество игрушек и книг. Уже в четыре года он научился читать, а к десяти годам стал настоящим «пожирателем всяких книг». Имея свободный доступ к обширной домашней библиотеке, он читал все, что попадало в руки. Начинал, конечно, с детских книг, а потом, взрослея, принялся за шедевры национальной поэзии, романы, научно-

популярные книги, к которым имел явную склонность, включая работы в области астрофизики. Изучал и многочисленные анатомические атласы. Он обладал настоящим сокровищем – энциклопедией «Чудеса природы», которую ему подарил отец и продал которую в то время можно было купить хороший костюм. Наибольшее влияние на сына имел отец – «умеренный пилсудчик». (Кстати, уже с высоты прожитых лет Станислав Лем очень высоко ценил первого главу возрожденного польского государства, маршала Польши: «Величайшим поляком XX века для меня является Юзеф Пилсудский. С перспективы 1920-х годов он единственный, кто по-настоящему видел угрозы нашей стране, и он единственный, пусть и безуспешно, пытался найти способы, которые обеспечили бы действенное противодействие этим угрозам».)

Станислав Лем учился в начальной школе им. С. Жулкевского, а затем в гимназии им. К. Шайнохи во Львове. Был хорошим учеником, а уровень его интеллекта во время обследования воспитанников гимназий в 1936–1937 годах оценили в 180 пунктов, что явилось лучшим результатом во всей южной Польше. Вспоминая свои детские годы, Станислав Лем отмечал: «По-настоящему сложные времена наступили для меня только в школьные годы. Методы воспитания в то время были значительно более строгими, воспитанием в определенной степени занималось все общество, а не только семья: например, в гимназии существенно более значительным, чем сейчас, был авторитет учителя. Много элементов общественного устройства предвоенной Польши непосредственным образом реально воздействовало на стиль и смысл воспитания – результатом был даже и патриотизм. Я представлял собой типичный пример «буржуазного ребенка» и дома контролировался двусторонне: французенкой, совершенно не знавшей польского языка, которая погружала меня в язык парижан, и репетитором, студентом-юристом, следившим, чтобы я выполнял все, что было задано. Как мне, однако, в то время удавалось выполнять химические, электрические и авиационные эксперименты (летал не я сам, а мои самолетики) и к тому же еще конструировать много удивительных механизмов – не знаю».

На гимназические годы приходится и первый литературный опыт будущего писателя, о котором он так вспоминал: «Когда мне было двенадцать лет и я учился в первом классе гимназии, в подарок от отца получил первую пишущую машинку марки «Ундервуд» и на ней напечатал первые литературные произведения. На каникулах я с матерью был в Чарнохоже, в наиболее вытянувшейся на юг части Карпат. Там спиливали деревья, которые спускали в долину по узкоколейке без локомотива, для

чего усаживались на штабель бревен, был там и тормозящий, ездили по очень крутым дорогам – все это произвело на меня огромное впечатление. И я решил тогда все это описать на моей машинке и в какой-то момент открыл для себя, что, описывая, вовсе не обязан полностью придерживаться того, что было в действительности, а могу выдумывать события, которые не происходили: что вагон бежал совсем в другую сторону и вообще что это был не вагон. Я почувствовал себя окрыленным и восхищенным тем, что этими словами, выстукиваемыми на машинке, я могу создавать не существующую, выдуманную мной самим действительность. Начал писать, причем не знаю почему, но мне это показалось необычайно увлекательным, и когда отец зашел в комнату, он застал меня смеющимся над машинкой. Я был восхищен не столько собой, сколько этим моим произведением».

Впоследствии, в 1966 году, свои детские годы Станислав Лем описал в автобиографическом романе «Высокий замок». В 1939 году Станислав Лем окончил гимназию и получил аттестат зрелости. Имея склонность к науке и технике, а также получив удостоверение на право вождения автомобилем, что в то время было редкостью, он успешно сдал вступительные экзамены в Львовский политехнический институт и готов был приступить к учебе. В это же время начал писать стихи.

Но 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, и в соответствии с пактом Молотова – Риббентропа Львов оказался на территории СССР. Лем вспоминал: «Где-то около 20 сентября, находясь на улице Сикстуской во Львове, я видел падение Польши. Артиллерийский полк, который располагался в Цитадели, венчающей Сикстускую улицу, двигался вниз и занимал всю длину этой огромной артерии. Это наблюдало множество людей; уже, наверное, было известно, что Советы вошли в город... В какой-то момент я увидел, как из боковых улиц на лошадях выехали советские солдаты; у всех были монгольские лица и раскосые глаза, каждый из них держал в правой руке «наган», а в левой – гранату. Они приказали нашим солдатам слезть с лошадей и артиллерийских повозок, снять портупеи, бросить оружие и просто разойтись. Эта огромная цепь орудий, повозок, лошадей, которая была брошена, произвела на нас такое невообразимое впечатление, что все стояли и плакали. Слезы у нас текли по лицам, это было ужасно. Тогда я не думал, что все это очень символично, вообще ничего не думал, только стоял и плакал...»

Началась новая жизнь. Из-за буржуазного происхождения Станиславу Лему было отказано в праве обучаться в политехническом институте, но благодаря связям отца он начал (правда, без энтузиазма) учиться на

медицинском факультете Львовского университета, а альтернативой была служба в Красной армии. Будучи студентом, он отказался от вступления в комсомол, когда ему как отличнику это предложили, прибегнув к уловке: уверяя комиссию, что вступление в комсомол является его давнишней мечтой, он утверждал, что к вступлению еще не готов духовно и ему нужно еще подучиться, прочитать труды классиков марксизма-ленинизма. Комиссия переубедить его не смогла.

В 1941 году, после захвата Львова фашистской Германией, Станислав Лем устроился на работу в качестве помощника механика и сварщика в гараж одной немецкой фирмы, занимавшейся сбором сырья для военной промышленности путем демонтажа поврежденной в боях немецкой и советской военной техники и благодаря этому какое-то время содержал семью. Пришлось ему также под командованием немцев выносить из подвалов тюрьмы разлагающиеся трупы заключенных, расстрелянных советскими военными при отступлении. В один из моментов он фактически спас жизнь своим родителям, организовав их побег со сборного пункта, где собирали евреев для дальнейшего решения их судьбы. Благодаря фальшивым документам семье Лема удалось избежать заключения в еврейское гетто и пережить немецкую оккупацию. Во время работы Станислав Лем столкнулся с польской подпольной организацией Армии Крайовой, для которой доставал – без непосредственного вступления в нее – взрывчатые вещества для борьбы с немцами («Когда во время немецкой оккупации с территории бывшей Восточной ярмарки во Львове я выносил под комбинезоном мешочки со взрывчаткой и полные патронов плоские магазины для ручных автоматов Дегтярева, мысль о том, что вынесенное мной, возможно, укокошит кого-нибудь из немцев, доставляла мне несказанное удовольствие»). К тому же «в гараже было на редкость удобно заниматься саботажем. Засыпать в бак немного песочка, надрезать тормозные шланги». Там же он «сделал одно приспособление, чтобы машины почаще ломались». Станиславу Лему «было приятно чувствовать, что... причастен к какому-то патриотическому делу».

Он пытался также писать листовки на немецком языке, но оказалось, что в то время его знание немецкого языка было недостаточным, и текст не получался неотличимым от написанного настоящим немцем. Уже значительно позже Станислав Лем с удовлетворением писал своему американскому переводчику: «Недавно я получил в качестве авторских экземпляров два школьных учебника – хрестоматии для 6-го и 10-го классов немецких школ (в ФРГ). Уверяю вас, что, если бы в сороковые годы кто-нибудь мне сказал, что после войны я стану писателем, – я бы поверил;

если бы он мне напроорочил Нобелевскую премию – возможно, тоже поверил бы, ведь человеческое тщеславие, как говорят, границ не знает. Но если бы этот пророк заявил мне, что эти самые немцы, которые пытаются меня раздавить как таракана, будут на моих рассказах учить своих детей немецкому языку, – нет, в это, клянусь, я бы не поверил».

Летом 1942 года Станиславу Лему приходилось часто бывать в львовском гетто и непосредственно наблюдать поведение людей, которые уже знали о своей участи. Какое-то время он укрывал своего товарища еврея и поэтому в декабре 1942 года из-за угрозы разоблачения был вынужден бросить работу, срочно поменять место жительства и документы – под именем Ян Донабидович он поселился в здании Львовского ботанического сада рядом с городским кладбищем. Тогда же на старой квартире он оставил все свои ранее написанные стихи, которые, как говорил позднее, «были очень плохие, но мне очень нравились, и когда во время оккупации я оставил их в брошенной квартире, был глубоко уверен, что национальная культура понесла большую утрату. Если бы гестаповцы знали польский язык и прочитали эти черновики с патриотическими опусами, они были бы поражены!». К этому времени львовское гетто в основном было ликвидировано, неоднократно Лем слышал разрывы гранат на кладбище – это гитлеровцы уничтожали в кладбищенских склепах сбежавших из гетто и прятавшихся там евреев. Станислав Лем был вынужден жить уже на иждивении отца, занимавшегося лечебной практикой. При этом у будущего писателя появилось много свободного времени, и под впечатлением от книг Герберта Уэллса он написал свой первый роман – «Человек с Марса», который «в семье читали по вечерам, но к которому никто... не относился всерьез». За время немецкой оккупации, как позднее писал Лем, «мало кто уцелел из моей семьи, кроме отца и матери только два кузена со стороны отца и матери и одна более дальняя кровная родственница».

После изгнания немцев Станислав Лем завершил второй курс в медицинском институте, организованном из медицинского факультета университета, тогда же он попытался заняться наукой – начал работать над трудом «Теория функции мозга», и писать рассказы. В конце лета 1945 года семья Лема, не желая принимать гражданство СССР, вынуждена была уехать в Польшу, оставив во Львове два дома и почти все имущество, на приобретение которых отец работал всю жизнь («Мои родители, а особенно отец, так сильно верили в союзников, что те отстоят Львов для Польши, что ожидали этого мы слишком долго. Выехали только тогда, когда нам сказали: или уезжайте, или получайте советские паспорта»).

Семья переехала в Краков, поселилась в отдельной комнате в двухкомнатной квартире вместе с коллегой отца. Для них наступили годы борьбы с бедностью. По просьбе отца Станислав Лем возобновил учебу – на этот раз на третьем курсе медицинского факультета Ягеллонского университета. Несмотря на пенсионный возраст и болезнь сердца, отец Лема вынужден был устроиться на работу в больницу, чтобы хоть как-то содержать семью.

Поиском средств к существованию активно занялся и студент-медик Станислав Лем, в том числе обивая пороги различных редакций со своими первыми литературными произведениями. Для начала ему удалось в 1946 году опубликовать в еженедельнике «Nowy Świat Przypód» («Новый мир приключений», Катовице) привезенный из Львова роман «Человек с Марса». Это был его литературный дебют, где автор писал о непреодолимых трудностях, с которыми людям приходится сталкиваться при установлении контакта с инопланетянами, в дальнейшем эта тема явится лейтмотивом всей его научно-фантастической прозы.

В 1946–1948 годах в первую очередь с целью заработка он опубликовал стихи в юмористической газете «Kosynodr» и католическом еженедельнике «Tygodnik powszechny» («Всеобщий еженедельник», Краков, стихи в тринадцати номерах), а в различных периодических изданиях рассказы на военную тему, в том числе на основе и своего личного опыта: «Аванпост» (о ликвидации еврейского гетто), «Гауптштурмфюрер Кестниц» (о поведении людей в концлагере), «“Фау” над Лондоном» (о немецкой бомбардировке Британии), «День Д» (об открытии второго фронта в Нормандии), «Новый» (о боевых столкновениях польских соединений с немецкими), «КВ-1» (о наступательной операции с участием советского танка), «Встреча в Колобжеге» (об освобождении польских приморских земель), военно-шпионские рассказы с элементами фантастики «План “Анти-Фау”» (деятельность британских шпионов в Германии при испытании гитлеровцами фантастического оружия массового уничтожения), «Атомный город» (разоблачение немецкого шпиона в США на одном из секретных заводов по производству атомного оружия) и «Человек из Хиросимы» (о британском шпионе в Японии). В эти же годы написаны сатирические рассказы об американской действительности с элементами фантастики «Конец света в восемь часов» (не совсем нормальный ученый-изобретатель получает субстанцию, разрушающую материю, и грозит уничтожить мир) и «Трест твоих грез» (о фирме, исполняющей желания), фантастический рассказ «Чужой» (о вечном двигателе на фоне немецкой бомбардировки

Британии), рассказ поэтической прозой «День седьмой» (он же философское эссе о создании Вселенной и человеке), производственный рассказ «История о высоком напряжении» (о восстановлении электростанции на бывших немецких землях, после войны отошедших Польше), рассказ «История одного открытия» (о молодом исследователе, испытывающем на себе лекарство против рака), романтический рассказ «Сад тьмы», в котором в качестве героя вставной новеллы появляется Астронавт – звездный путешественник. Был написан еще один рассказ – «Смерть Подбипенты» (о Варшавском восстании и гибели одного из участников на сохранившейся стене разрушенного здания от пуль немецких снайперов), но он потерялся в редакторском кабинете. В газете «Tygodnik powszechny» Станислав Лем опубликовал еще две рецензии на книги стихов польских поэтов и две рецензии на польские фильмы. А также еще подрабатывал корректором, переводил с русского языка книги об откорме домашнего скота, ремонтировал автомобили.

Сыграл свою положительную роль и научный труд «Теория функции мозга», который был переработан и дописан уже в Кракове (всего получилось более двухсот машинописных страниц). Его Станислав Лем показал доктору философии Мечиславу Хойновскому. Тот работу раскритиковал: сказал, что она не имеет никакой ценности и все написанное в ней – полный вздор, – но при этом распознал у Станислава Лема задатки настоящего ученого и поэтому стал его научным наставником, начал давать читать книги из своей библиотеки, настоятельно рекомендуя изучить английский язык, ибо считал, что знания немецкого, французского и русского языков было явно недостаточно. В это же время как весьма активный организатор Хойновский основал Науковедческий лекторий ассистентов Ягеллонского университета и от его имени обращался к многочисленным научным организациям, главным образом в Северной Америке, с просьбой присылать книги для совершенно запущенной польской науки. И вскоре книги начали поступать целыми пачками. Видя такие сокровища, недоступные в языковом отношении, Лем из всех сил занялся английским. И началось изучение английского с «Кибернетики» Норберта Винера, которую он читал медленно, страница за страницей, со словарем в руках. Лем поглощал одну за другой книги, которые приходили для лектория (потом они передавались в университеты), при этом преимущественно он «изучал астрономию, кибернетику, а прежде всего – историю науки, методологию, поэтому чаще историю физики, чем саму физику. Это обеспечивало возможность обозрения с высоты птичьего полета, формировало ощущение

относительности всех знаний... Изучал также биографии людей, которые совершили перевороты в науке, например Эйнштейна, к которому испытывал особое расположение... От этого возникло и сохранилось на всю жизнь уважение к научному творчеству, выходящему за границы эрудиции...»

Одновременно Хойновский организовал издание ежемесячника «*Życie Nauki*» («Жизнь науки»), и Станислав Лем начал писать для него преимущественно аннотации и рецензии на самые разнообразные книги, как, например, на сборник выступлений и статей М.И. Калинина «О коммунистическом воспитании» или на книгу Т.А. Эдисона «Дневник и различные наблюдения». При этом Лем, тогда еще студент-медик, часто не считался с авторитетами, мог себе позволить выражения типа: «статья профессора... содержит ряд методологических неточностей», или «книжечка доктора медицины... – это сильно концентрированный экстракт чепухи, оформленный как бы в виде выполненного от руки рисунка Вселенной», или «хотя Эдисон многократно повторяет, что люди «слишком редко пользуются серой субстанцией своего мозга», сам часто своим клеткам мозга находит не лучшее применение, в своих пророчествах, должных представить будущие судьбы мира, допускает многочисленные ошибки социологической и психологической природы, часто также демонстрирует незнание элементарных вещей».

С 1947 года Станислав Лем вел в журнале постоянный обзор польской и зарубежной науковедческой прессы и книг. Особо интересовала Станислава Лема «наука о науке», что нашло свое воплощение в таких статьях, как «Из исследований психологии ученых», «Зачем занимаются наукой?», «Задачи и методы популяризации науки за рубежом», «Будущее исследований в медицинских науках», «Популяризация науки в Советском Союзе».

Кроме того, Хойновский при самом непосредственном участии Лема занялся психологическими (психометрическими) исследованиями при помощи тестирования, в первую очередь так называемых тестов Роршаха и анкетирования. Они несколько лет оценивали уровень абитуриентов и студентов, чтобы отсеивать способных от неспособных, сравнивали действительные достижения студентов медицинского факультета с успехами, предсказанными тестами, анализировали качество тестов, занимались разработкой анкет. Лем вспоминал: «Оказывается, результаты исследований следует рассматривать под знаком вопроса, потому что в большой степени они зависят от личности того, кто осуществляет такие исследования. Я пытался тогда автоматизировать обработку протоколов, но

это оказалось невозможным».

В 1948 году в одном из номеров журнала Станислав Лем опубликовал информацию о сессии «Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, на которой ее президент академик Т.Д. Лысенко говорил о ситуации в биологических науках в СССР». Лем писал, что «в своей речи академик Лысенко выступил против общепризнанной во всем мире генетики, названной им вейсманизмом-менделизмом-морганизмом, обвиняя ее в расхождении с фактами, политической реакционности, идеалистических тенденциях, а также в антинаучном представлении проблемы наследственности. Он утверждал, что история биологии – это история борьбы материализма с идеализмом на этом поле, при этом признал идеалистические теории и тенденции тождественными реакционно-капиталистическим, материалистические же – прогрессивными и научными». Далее в этой статье (основанной на опубликованных в газете «Правда» материалах сессии и последовавшей дискуссии) Лем представил основные тезисы из выступления Лысенко и основные положения дискутирующих, при этом непропорционально много места уделив представлению мнения критиков теории Мичурина – Лысенко. В одном из последующих номеров журнала в «Научоведческом обзоре иностранных изданий» также были представлены как работы сторонников Лысенко, так и такие, которые содержат «обстоятельное обсуждение современных теорий наследственности, связанных с генами (в библиографии 65 названий)».

Партийными органами все это было воспринято как поддержка противников «единственно верной материалистической теории наследственности», и в то время это не могло обойтись без последствий (первая статья не была подписана, а Хойновский автора – Лема – не выдал, приняв весь удар на себя; под второй статьей стояли подписи и Хойновского, и Лема). Были в журнале и другие «неправильные» с точки зрения руководства публикации. Не помогло даже опубликование «Плана мероприятий по популяризации науки», в соответствии с которым лекторий брал на себя функцию координации деятельности различных научных клубов по интересам. В качестве одной из тем для подробного исследования в таких клубах предлагалось «Получение вегетативных гибридов методом Мичурина», что предусматривало: а) «Ознакомление с теоретическими работами Мичурина и Лысенко (чтение избранных разделов «Агробологии» Мичурина, протоколов ВАСХНИЛ от августа 1948 года, а также соответствующих статей и переводов в польских научных изданиях); б) Проведение исследований на объекте (школьный

сад, огород, исследовательская станция). Получение вегетативных гибридов методом вегетативного сближения посредством прививки. Подбор соответствующих пар для скрещивания. Скрещивание дальнейшее (межвидовое). Технология гибридизации: кастрация цветов, изоляция, сбор и подготовка пыльцы, опыление; в) Составление таблиц, иллюстрирующих ход исследований, как научных пособий для школ».

В качестве воспитательного и образовательного значения этой работы признавалось, что

«а) Члены клуба познакомятся с новейшими прогрессивными биологическими теориями;

б) Благодаря проведенным исследованиям непосредственно сами убедятся в справедливости теоретических тезисов;

в) В дальнейшем результаты их исследований могут явиться стимулом для распространения растений, применимых в нашем садоводстве и огородничестве».

Но все равно в конце 1949 года Хойновского уволили с должности главного редактора, сам журнал перевели в Варшаву, а лекторий прекратил свое существование. Работы по тестированию абитуриентов и студентов стали восприниматься как «выдумки буржуазной науки». Последней статьей Лема в этом журнале, подготовленной еще до организационных изменений, но опубликованной уже в первом «варшавском» номере, была рецензия на изданную в СССР книгу о М.В. Ломоносове, в которой Лем о российском ученом написал: «Михаил Ломоносов всесторонностью своих научных интересов, технической изобретательностью и талантом в области искусства напоминает великих мыслителей и творцов эпохи Возрождения, а среди них более всего, возможно, Леонардо да Винчи».

Встреча с Хойновским стала переломным моментом в интеллектуальном развитии Станислава Лема, который вспоминал: «Хойновский воспитал меня, то есть так установил стрелки направления моего умственного развития, что я не поддался красной паранойе», «совершенно точно вывел меня на путь настоящей науки и настоящего видения мира, за что я остался благодарен ему на всю жизнь». При этом Мечислав Хойновский приобщил Лема к философии неопозитивизма, сторонником которой сам являлся. Это более всего соответствовало образованию и взглядам самого Лема, и он оставался приверженцем этой теории всю жизнь.

Все это происходило параллельно с занятиями медициной. Еще будучи студентом, Станислав Лем в 1947 году опубликовал в медицинском еженедельнике научную статью о злокачественных опухолях. Обучение

проходило не без приключений. Однажды студент Лем во время подготовки к экзамену по акушерству и гинекологии был задержан Управлением безопасности, когда решил на короткое время заглянуть к своему другу Ромеку Хусарскому: «Попросил мать, чтобы разогрела мне кофе, потому что скоро вернусь. Вернулся же через три с половиной недели, потому что... попал в облаву. Проблема была не в Ромеке, а в его субквартиранте, который, впрочем, ночью сбежал через окно по связанным простыням, очень уж на нас кричали за это». Поэтому и держали столь длительное время в здании Управления безопасности. При этом Лем отмечал, что «солидарность людей в то время была очень большой, ибо когда я выбросил через окно записку, адресованную моему отцу, через полчаса он ее уже получил».

В 1948 году Станислав Лем завершил учебу в университете, но не стал сдавать последние экзамены, решив избежать работы военным врачом. Не видел Станислав Лем свою жизнь в каком-нибудь удаленном от крупных городов гарнизоне без библиотек и книжных магазинов! Диплома врача он так и не получил, но по специальности все-таки поработал несколько месяцев акушером в роддоме: с его помощью появилось на свет около тридцати младенцев. Тогда еще Станислав Лем не исключал, что мог бы заниматься биологической наукой. Даже опубликовал еще две научные статьи в научно-популярном журнале: об исследованиях мозга при помощи электроэнцефалографии и о состоянии дел в лечении онкологических заболеваний, причем в первом случае в журнале автор был представлен как биолог, а во втором – как врач. Успехи на литературном поприще повлияли на решение Лема отказаться от карьеры биолога. И поэтому уже при третьей публикации в этом же журнале он был представлен как писатель.

К этому времени Станислав Лем написал реалистический роман «Больница Преображения» о немецкой оккупации Польши и ликвидации больницы для лиц с психическими отклонениями. Но если раньше начинающему писателю для публикации произведений нужно было в первую очередь обращать внимание на их художественные достоинства, то к 1949 году ситуация в Польше изменилась и в литературе уже следовало строго придерживаться метода социалистического реализма, то есть выдавать произведения реалистические по форме и социалистические по содержанию в соответствии с идеалами марксизма-ленинизма, за чем следила набравшая силу цензура (и скорее всего такой рассказ, как «КВ-1», цензура уже бы не пропустила). Поэтому, несмотря на все усилия, роман не удавалось издать до 1955 года. Признанный чиновниками от литературы идеологически ошибочным, по их настоянию роман был доработан и

дополнен автором еще двумя частями: «Среди мертвых» (события периода войны, в том числе ликвидация еврейского гетто, и хотя город не называется, но по многим признакам можно узнать родной город писателя – Львов) и «Возвращение» (события послевоенного времени). Там есть, например, такой персонаж, как коммунист, гениальный математик Вильк Карл Владимир, встречается и такой тост: «Дорогие товарищи! Давайте выпьем за исполнение наиболее частных, наиболее личных желаний всех коммунистов мира, ибо если они исполнятся, то не будет уже никаких других людей – будут только счастливые...»), все вместе это составило трилогию «Неутраченное время» (первоначальное название – «Огненная река»).

В это время Лем оказался в неопределенном положении: ни студент (ибо закончил обучение в университете), ни врач (не сдал заключительные экзамены и поэтому не получил диплом), ни писатель (не член Союза польских писателей, ибо не было изданной книги, хотя и была написана). Но все-таки он решил стать писателем, поэтому выполнил рекомендации по доработке трилогии «Неутраченное время», для чего неоднократно выезжал в издательство в Варшаву, но доработки касались только второго и третьего томов, а первый том – «Больница Преображения» – фактически не правился. Также был вынужден – «по совету» – прекратить сотрудничество с католическим еженедельником «Tygodnik powszechny», а иначе были бы большие проблемы с публикацией статей и рассказов и изданием книг.

А в 1951 году у Станислава Лема наконец-то вышла первая книга: научно-фантастический роман «Астронавты» о космической экспедиции на Венеру. Роман был написан в течение нескольких месяцев по неожиданному для самого автора заказу от варшавского издательства, который последовал после знакомства на отдыхе с главным редактором издательства и бесед с ним на литературные темы, в том числе о том, что польской фантастики не существовало в то время. В одной из бесед с издателем Лем сказал, что смог бы написать фантастический роман. В романе автор описывал прекрасное коммунистическое будущее, развитие техники для блага человека и саму экспедицию на Венеру, ибо после исследования остатков «Тунгусского метеорита» стало известно, что это был космический корабль, прибывший с Венеры с враждебными намерениями. В польской прессе появилось несколько критических статей об этом романе: как положительных, так и крайне отрицательных. В полемику с критиками вступил и Лем, отмечая, что один критик «ругает роман за то, чего в нем нет, но что, по мнению критика, присутствует (метафизическая этика, образ нашей эпохи как времени «беспорядка»)»,

другой «ругает за то, чего в романе нет принципиально (не показал жителей Венеры)», хотя «в романе наверняка есть немало ошибок – во всяком случае достаточно для критики, так что для этой цели нет необходимости выходить за рамки текста». После выхода этой книги Лем был принят в Союз польских писателей, и у него уже не было необходимости где-либо работать – он стал профессиональным писателем, живущим исключительно за счет гонораров. В 1972 году при переиздании романа автор написал: «Признаюсь, что удивился бы, если б «Астронавты» оставались постоянным источником моих заработков. Считаю, что если кто-нибудь вообще обратится к этому тому через очередные двадцать лет, то уже не затем, чтобы погрузиться в смелое фантазирование, а скорее чтобы улыбнуться над его страницами, как мы иногда улыбаемся над страницами Жюль Верна. Потому что к тому времени «Космократор» и «Маракс» покроются налетом старины. Но дождутся ли они такого почетного положения – это вопрос».

Для одного из театральных конкурсов Станислав Лем вместе со своим другом Ромеком Хусарским написали пьесу «Яхта “Парадиз”», премьера которой состоялась в Ополе в апреле 1951 года и которая была еще поставлена в Лодзи и Щецине, в последнем городе постановка выдержала более шестидесяти спектаклей. Как автору Лему пришлось присутствовать на многих из них. Для программы спектакля в Щецине авторы написали сопроводительный текст, в котором говорилось, что американское правительство «последовательно осуществляет фашизацию жизни во всех ее направлениях. Методы фашизма применяются также в мире науки. В нашей пьесе мы хотели показать судьбу одного из выдающихся ученых, которого военно-правительственные круги пытаются заставить работать над атомным оружием. Перед таким человеком стоит альтернатива: или, если у него недостаточно порядочности и мужества, идти на службу к вашингтонским хозяевам, или, если он не хочет свои знания обратить на погибель человечества, ему остается только побег или самоубийство». Рецензии в прессе были восторженные, хотя сам Лем впоследствии говорил, что «с творческой точки зрения эта вещь в любом отношении была страшной, хотя... на фоне полного энтузиазма пения радостных трактористов, раздающегося из глоток актеров под управлением иных драматургов, это выглядит не так чудовищно». В это же время Лем с этим же другом Ромеком с большим трудом получил специальное разрешение Военного округа, которое позволяло им ездить по окрестностям и собирать лом (запчасти) военной техники: они мечтали построить настоящий электромобиль, взяв за основу полусгоревший «мессершмитт». Но до

конца эту работу не довели.

В 1955 году также в виде книги вышла упомянутая выше трилогия (философско-моральный трактат) «Неутраченное время», которую писатель посвятил отцу, к сожалению, немного не дожившему до издания книги, и научно-фантастический роман о первой межзвездной экспедиции человечества в XXXII веке «Магелланово облако», в котором автор оптимистически представляет будущее, но при этом попытка контакта с жителями иных миров также заканчивается неудачей. Писатель посвятил роман жене Басе – Барбаре Лесьняк в девичестве, на которой он женился в 1953 году после нескольких лет знакомства («Моя будущая жена дала мне от ворот поворот; попытки, возобновленные через полтора года, имели лучший результат») и которая на девять лет младше писателя и тогда была студенткой-медиком. Написание романа было закончено в том же 1953 году, но публикация была более чем на год задержана цензурой главным образом из-за того, что рецензенты распознали, что в романе под названием «механоэвристика» (mechaneurystyka) скрывается «кибернетика», в то время считалась «реакционной лженаукой, возникшей в США» и «не только идеологическим оружием империалистической реакции, но и средством осуществления ее агрессивных военных планов»^[181]. В романе автор описал и некоторые технические решения, которые в большей или меньшей степени воплощены к настоящему времени, что отмечал сам писатель: «В «красной утопии»... можно найти по крайней мере два вида прогнозов, реализованных в последующие сорок лет. То, что сейчас называется data base и является основным информационным ресурсом, предназначенным для различных экспертов или «сетевиков» (я имею в виду Интернет), в «Магеллановом облаке» я назвал трионами... А так называемая видеопластика – это предвосхищение виртуальной реальности: мои астронавты, хоть и живут в замкнутом космическом корабле, могут испытывать ощущения, будто находятся в джунглях, на море и т. д.». Здесь же Альберт Эйнштейн был использован автором как прототип ученого Гообара. В 1953–1954 годах в сокращенном почти наполовину варианте роман «Магелланово облако» предварительно публиковался в еженедельнике «Przekrój», при этом журнальная версия во многом отличалась от последующей книги хотя бы тем, что для публикации в журнале автор специально так формировал небольшие фрагменты романа, чтобы они заканчивались на самом интересном месте. Публикация романа в журнале завершилась обращением к читателям, в котором Станислав Лем ответил на наиболее типичные письма, пришедшие в редакцию, и объяснил, почему не стал описывать жителей далекой планеты и, более

того, не собирается делать такие описания в будущем: «Не хотел!.. Не хотел потому, что считаю, что тогда попал бы в так называемую «*blague pure*», то есть чистую выдумку и враки. ...Если задуматься над тем, откуда можно почерпнуть знания (хотя бы даже самые начальные) о внешнем виде таких существ, то окажется, что их почерпнуть неоткуда.

...О существах с другой планеты я не пытался что-либо говорить, кроме того, что они существуют, потому что о них ни наука о развитии общества, ни какая-либо иная область знания ничего сегодня нам сообщить не может. Если бы я захотел эти существа описывать, то пришлось бы полностью положиться на воображение, причем не на восемьдесят или даже не на девяносто, а на все сто процентов – а делать это (по крайней мере всерьез) я не люблю».

В начале 1950-х годов, кроме фрагментов романов, в периодических изданиях публиковались и отдельные рассказы Станислава Лема, которые впоследствии были включены в сборники научно-фантастических рассказов «Сезам» (подготовлен к печати в марте 1954 г.) и «Звездные дневники» (подготовлен к печати в сентябре 1956 г.). В сборник «Сезам» были включены рассказы «Топольный и Чвартек» (о методах научных исследований), «Хрустальный шар» (о разработке биологического оружия), «Сезам» (о суперкомпьютере, наделенном искусственным интеллектом, впоследствии одна из основных тем в беллетристическом и научном творчестве Станислава Лема), «Electric Subversive Ideas Detector» (о детекторе лжи – машине для исследования лояльности, жертвой которой становится и сам ее создатель), «Клиент ПАНАБОГА» (о религиозных сектах; ПАНАБОГА – это Панамериканское Бюро Обслуживания Грешников-Атеистов), «Агатотропный гормон» (о субстанции для принуждения к добрым делам, об этом гормоне упоминается еще в пьесе «Яхта “Парадиз”», а развитие тема получила в некоторых более поздних произведениях писателя). Позднее о рассказе «Топольный и Чвартек» автор говорил, что «это самая соцреалистическая мерзость, которую я когда-либо написал». Но при этом в августе 1999 года, выступая с докладом «О будущем науки» на проходившем в Кракове XI Международном конгрессе логики, методологии и философии науки, Станислав Лем отметил, что «в рассказе «Топольный и Чвартек» содержалось, среди прочего, предположение о возможности существования отсутствующих в природе стабильных сверхтяжелых элементов, и даже были мною предложены методы (неверные) их синтеза. Среди прочего... высказывалось предположение о возможности существования «островов стабильности», элементов с атомной массой большей, чем у урана. Сегодня о таких

«островах» уже говорят физики, а в СССР сумели получить сверхтяжелые элементы с периодом распада, исчисляемым микросекундами». То есть опять-таки имея в виду в том числе и этот рассказ, «удачные предсказания могут скрываться в неудачных с литературной точки зрения произведениях (et vice versa)». В предисловии к первой публикации рассказа «Клиент ПАНАБОГА» автор написал: «События этого рассказа происходят в Соединенных Штатах, и потому читателю, я полагаю, сложно сориентироваться, что в нем взято из действительности, а что рождено фантазией автора, тем более что во многие представленные в нем факты невозможно поверить человеку, незнакомому со своеобразными условиями, в которых в Америке действуют многочисленные религиозные секты. Поэтому, чтобы не стирать границу между реальностью и фантазией, хочу подчеркнуть, что все детали, описывающие особенности религиозности американцев, являются полностью подлинными. Я их почерпнул исключительно из американских источников, главным образом из прессы; моей задачей было только представление их и объединение в единое целое в соответствии с первоначальным замыслом».

Кроме этого, в сборнике «Сезам» впервые появился цикл «Звездные дневники Ийона Тихого» (продолжавшийся весь творческий путь писателя цикл сатирических и гротескных рассказов, повестей и романов о жизни, деятельности, путешествиях Ийона Тихого) в следующем составе: «Предисловие» (в котором Ийон Тихий представлен как «знаменитый звездoproходец, капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь, открывший восемьдесят тысяч и три мира, почетный доктор университетов Обеих Медведиц, член Общества по опеке над малыми планетами и многих других обществ...», а также достойный последователь барона Мюнхгаузена и Гулливера), «Путешествие двадцать второе» (о невозможности жизни на Земле, а также о религиозном миссионерстве), «Путешествие двадцать третье» (о расщеплении организма на атомы и восстановлении по «атомной персонограмме»), «Путешествие двадцать четвертое» (о цивилизации Индиотов, решающей проблему перепроизводства), «Путешествие двадцать пятое» (об эволюции случайно занесенного на иную планету картофеля), «Путешествие двадцать шестое, и последнее» (об охваченной маккартизмом Америке, где герой оказывается в тюрьме).

В сборник «Звездные дневники» были включены рассказы «Существуете ли вы, мистер Джонс?» (о протезировании человека), «Крыса в лабиринте» (о пришельцах из космоса), «Конец света в восемь часов»

(упоминался выше, для сборника был фактически переписан заново), а также в полном составе рассказы цикла «Звездные дневники Ийона Тихого» из сборника «Сезам», дополненные рассказами «Путешествие двенадцатое» (испытание замедлителя, а также ускорителя, времени), «Путешествие тринадцатое» (посещение планеты, жители которой готовятся к будущему подводному существованию (аллегория тоталитаризма), а также планеты, на которой все жители занимают различные должности по лотерее на один день), «Путешествие четырнадцатое» (восстановление погибшего организма по заранее сохраненной информации о нем, а также «Охота на курдлей»). Рассказ «Существуете ли вы, мистер Джонс?» впоследствии послужил основой для авторского киносценария, по которому польский режиссер Анджей Вайда в 1968 году снял короткометражный художественный фильм «Слоеный пирог» – единственный фильм по произведениям Станислава Лема, к которому у писателя не было претензий. «Путешествие четырнадцатое» стало широко известным благодаря своим неведомым, непонятым, интригующим и по воле Лема так и оставшимся вековой тайной «сепулькам» как примером метафоры порочного круга по определению: «Нашел следующие краткие сведения: «СЕПУЛЬКИ – важный элемент цивилизации ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКАРИИ». Я последовал этому совету и прочел: «СЕПУЛЬКАРИИ – устройства для сепуления (см.)». Я поискал «Сепуление»; там значилось: «СЕПУЛЕНИЕ – занятие ардритов (см.) с планеты Энтеропия (см.). См. СЕПУЛЬКИ». Круг замкнулся, больше искать было негде». И хотя в рассказе «Путешествие четырнадцатое», а в дальнейшем и в романе «Осмотр на месте» (1982), герой Лема много времени уделил выяснению, что собой представляют эти самые «сепульки», и иногда казалось, что в следующем предложении повествования наконец-то и читатель вместе с героем узнает, что же это такое, «сепульки» так и остались «нераскрытой тайной». При описании путешествий Ийона Тихого автор стал очень широко использовать неологизмы – а как же иначе можно было описать явления, существа, предметы, отсутствующие на Земле? Тем самым писатель поставил сложные задачи своим будущим переводчикам, особенно переводчикам на не славянские языки.

К середине 1950-х годов у Станислава Лема появились первые переводы на иностранные языки: книга «Астронавты» появилась на венгерском (1954) и немецком (в ГДР; 1954, 1955), отдельные рассказы были изданы в различных иноязычных периодических изданиях, в том числе и на русском языке^[182]. Появилось первое опубликованное интервью

с писателем (точнее, запись вопросов и ответов на встрече писателя с читателями) – под достаточно символическим названием ««Сказкописатель» для взрослых», появились и статьи о его произведениях, в том числе и на русском языке^[183].

Определенное влияние на творчество Станислава Лема оказал его «заклятый друг» инженер Евстахий Бялоборский, автор нескольких научно-популярных книг, который в своих письмах в редакции газет и журналов обвинял писателя в том, что тот вводит читателей в заблуждение своими псевдонаучными рассказами, в которых представляет научные и технические достижения, которые в действительности в принципе не могут быть созданы, ибо противоречат, например, законам Ньютона и работам Циолковского. Вначале на критику своих явных ошибок, например «что такая ракета, как «Космократор», не могла бы долететь до Венеры», Лем ответил в юмористическом стиле, что, безусловно, «до сих пор большинство читателей «Астронавтов» считало, что автор этой книги разрешил все трудности, стоящие на пути осуществления космических полетов при помощи атомной энергии и тем самым стал в ряд самых выдающихся изобретателей мира», а теперь же, после критической статьи, «никто не будет пытаться конструировать ракету, основываясь на информации, содержащейся в «Астронавтах», и тем самым не обречет себя на неприятное разочарование». Но затем в качестве ответа на подобную критику (в частности, на письмо Бялоборского под красноречивым названием «Сезам Абсурдов») Станислав Лем опубликовал фактически свой «творческий манифест»: «От каждого литературного произведения, а значит, и от научно-фантастического, следует требовать обобщенной правды, представления типичных явлений, а не натуралистической копии жизни, использующей адресную книгу, персональную анкету и таблицу логарифмов». И уже в дальнейшем в своих произведениях не углублялся в научно-технические подробности используемых героями космических кораблей, различных устройств и механизмов.

Одновременно с этим в первую очередь «ради денег» Станислав Лем публиковал статьи преимущественно на научно-технические и литературные темы в еженедельниках «Nowa Kultura» («Новая культура», Варшава, восемнадцать публикаций в 1951–1956 годах: о научно-техническом прогрессе, развитии атомной энергетики, капитализме и политике США, гонке вооружений, развитии цивилизации, поэзии Гарсиа Лорки, научной фантастике, польской литературе), «Życie Literackie» («Литературная жизнь», Краков, десять публикаций в 1953–1956 годах: о писательском творчестве, польской и русской литературе, специально о Ф.

Достоевском, атомной энергетике, астронавтике) и других; неоднократно писал об угрозе Третьей мировой – уже атомной – войны; семь из этих статей впоследствии были включены в сборник «Выход на орбиту», а две даже переведены на русский язык^[184].

Станислав Лем достаточно подробно изучал вопросы, связанные с ядерными исследованиями, что нашло свое отражение как в некоторых его фантастических рассказах, так и в научно-популярных статьях, наибольшая из которых – это обзор «Десять лет атомной энергии», завершающийся словами об «атомистике»: «Это, безусловно, выросшее на почве науки огромное, великолепное дерево. Пусть, однако, нам это дерево не заслоняет леса проблем, которые мы с приложением всех сил должны разрешить, чтобы его плоды принесли человечеству не смерть, а жизнь».

Станислав Лем начал заниматься и футурологией, правда, в то время он еще не знал этого термина, который в широкий научный обиход вошел только в середине 1960-х годов. Лем вспоминал: «Когда я начал заниматься тем, «что еще возможно», ни о какой «футурологии» я ничего не знал. Не знал этого термина, и, таким образом, мне не было известно, что именно такое название придумал в 1943 году О. Флехтгейм. ...Флехтгейм делил свою «футурологию» на три части: прогностику, теорию планирования и философию будущего. Мне кажется, что я понемногу пробовал силы во всех этих разновидностях одновременно. Признаюсь, удивительно заниматься довольно долго, довольно детально и с известным невежеством чем-то, о чем вообще неизвестно, что это такое». Кроме как в своих научно-фантастических романах и рассказах, о возможном будущем Станислав Лем писал в таких статьях (с достаточно красноречивыми названиями), как «На пути будущего», «Перспективы будущего», «Перемены науки», «Об астронавтике – по существу», «Человек и техника» (другое название при публикации в сборнике «Выход на орбиту» – «О границах технического прогресса»), «Каким будет мир в 2000 году?». В этой последней статье автор осуществляет краткую дневную и ночную экскурсию на самолете с прозрачным корпусом над польской равниной. Полет проходит над пересекаемыми автострадами бескрайними обработанными полями, «по которым, как гусеницы, ползают электрические сельскохозяйственные машины», постоянно появляются поселения, «ничем не напоминающие деревни со взлохмаченными крышами, а это скорее маленькие городки с домами-виллами, утопающими в цветах, с асфальтированными улицами, по которым, как жуки, передвигаются небольшие автомобили». По пути попадаются башни с установками для регулирования климата, не загрязняющие окружающую

среди автоматизированные производства. Ночью самолет пролетает над большим сияющим городом, а вдали в черное небо поднимаются четыре параллельных столба огня. «Что это было? Да ничего особенного, это с аэродрома стартовали, как обычно в это время, ракеты, доставляющие расходные материалы и машины для одной из экспедиций, исследующих поверхность Луны...»

А статью «Об астронавтике – по существу» Станислав Лем посвятил вопросу, «что может дать человечеству освоение космоса и познание иных планет». Рассматривая предстоящие этапы освоения космического пространства: искусственные спутники Земли, достижение и изучение Луны, достижение и изучение планет нашей Солнечной системы, достижение планет других звездных систем, Станислав Лем подчеркивает, что «астронавтика поставит перед людьми новые грандиозные задачи; в зависимости от потребностей, которые сейчас невозможно предвидеть, необходимо будет создавать большое количество новых материалов, средств, устройств для исследования; флот космических кораблей потребует соответствующих кораблестроительных производств, ангаров, стартовых площадок; все это вместе создаст новые специальности инженеров, технологов, химиков, экономистов, врачей и многие другие, а также положит начало профессиям, которые сегодня мы не можем даже вообразить. Для каждого работающего на другой планете человека должны будут трудиться десятки людей на Земле, которая станет тылом нового фронта исследований. Из сказанного однозначно следует, что покорение космоса и освоение планет представляет собой проект, выполнить который сможет только все человечество; главным условием этого является его объединение. При этом условии легче всего вступить в процесс решения задач, требующих все большей концентрации умов и ресурсов. Таким образом, эпоха действительного развития астронавтики будет способствовать исчезновению земного сепаратизма и национализма; можно предположить, что ее влияние на международную жизнь окажется больше влияния какого-либо иного известного нам средства коммуникации...»

Станислав Лем в своих статьях представлял развитие не только уже зарождавшихся технологий (атомная энергетика, автоматизация производства, астронавтика, электрификация сельского хозяйства, орошение пустынь), но и предлагал темы для исследований, которыми, по его мнению, непосредственно будут заниматься ученые в ближайшие десятилетия. В частности это:

- 1) Непосредственное преобразование одного вида энергии в другой без посредства тепла;

2) Осуществление нерастительного фотосинтеза таких пищевых субстанций, как углеводороды, жиры и белки;

3) Борьба за продление человеческой жизни путем устранения заразных заболеваний и злокачественных опухолей (рака), борьба с преждевременной старостью и смертью. Писал также и о коммунизме, при этом основную проблему видел в самом человеке с его различными способностями и потребностями: «Коммунизм не может быть технологией удовлетворения желаний или суперкомфортным механизмом общественного, вечного, бесплатного потребления. Он должен создать новую общественную концепцию человека, независимую от заложенных в нем способностей, в границах, в которых это будет возможно. Он должен создать межчеловеческие нематериальные связи, то есть независимые от сферы удовлетворения жизненных потребностей связи одновременно рациональной и эмоциональной природы, признавая приоритетным развитие индивидуальности, ее неповторимость и незаменимость в отношении к другим людям, и опять же в границах, в которых это будет возможно. Это последнее – незаменимость – мне представляется наиболее существенным, так как в обществе, воспринимаемом как машина для производства благ для удовлетворения личных потребностей, человек в отношении к другим людям вне круга близких, семьи, друзей является, по сути, только функцией, колесиком, одним из множества звеньев, частицей большего, согласованно функционирующего целого, которую без труда можно заменить, ибо его исключительность, его индивидуальность не проявляется в общественной практике вообще или проявляется лишь в единичных случаях и в ничтожной степени. В этой сфере скорее всего должны произойти наибольшие изменения».

В это же время Станислав Лем опубликовал несколько «идеологически правильных» пропагандистских работ в духе марксизма-ленинизма (с цитированием работ Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина) о достижениях Советского Союза в деле построения социализма. Например, такие (в скобках приведены заключительные предложения объемных статей): «О задачах современности и методе научной фантастики» («Писатель... показывает не миражи, не фиктивные утопии, не возможные и нереальные миры для построения на Земле, а, следуя мыслям великих людей, наполняя их точные теоретические формулы воображением, интуицией, кровью – в конечном счете своим трудом подтверждает то же самое, что и миллионы его современников: веру в правильность нашего дела, в необратимость исторических процессов, в окончательную победу коммунизма») и «Техника и освобождение человека. В свете Большого Плана» («Свобода и

счастье народов рождаются в борьбе с той цивилизацией, которая, хотя и дошла до своего предела, хотя и приговорена историей к гибели, еще сильна и опасна. Великое, прекрасное, счастливое общество коммунизма рождается именно сейчас. Нельзя забывать, с кем мы должны за него сражаться. Дорога трудна, но мы дойдем наверняка. Направление указывает новый пятилетний план Советского Союза»). Последовала и первая государственная награда – «Золотой Крест Заслуги». Но тогда же Лем не поддался на уговоры руководителя Союза польских писателей Ежи Путрамента вступить в образовавшуюся в 1948 году Коммунистическую Польскую объединенную рабочую партию.

И в противовес этому – «для души» – в 1951 году (этот год по памяти однажды указал сам автор, но могло это быть и раньше) Станислав Лем написал сатирическую драму «Низкопоклонство», причем из-за неоднозначности польского названия этой работы («Korzenie») автор так объяснил его суть, в том числе и по-русски: «как поклонение или «niskopokłonstwo piered Zapadom», была тогда такая кампания» (именно так у Лема – по-русски польскими буквами). Антисоветское «Низкопоклонство» было написано в жанре, как определил сам автор, «политпорно». Причем это был период самого апогея сталинизма и наибольшей жестокости цензуры, поэтому о публикации этой «драмы» не могло быть и речи, более того, за такой текст можно было загреметь на нары («Если бы эту драму у меня нашли сотрудники Управления безопасности, было бы невесело, но я тогда этим специально не хвалился (только перед ближайшими родственниками)»). Станислав Лем говорил, что он «читал это произведение знакомым и друзьям и даже не под одеялом. Играл всех персонажей, в том числе и Авдотью Недоногину, говоря тонким голосом». Автоисполнение этой драмы Лем даже записал на магнитофон. Его жена Барбара Лем вспоминала: «Впервые я услышала это произведение еще в холостяцкие времена Сташека, где-то около 1949 года. Сташек сам воплощался во всех персонажей, а лучшим был в женской роли. Исполнял это так долго, как долго жил Сталин, – он явно нуждался в таком выражении своего отношения к происходящему». Учитывая год, указанный автором, с временем появления этого произведения, пани Барбара могла и ошибиться, тем более что до женитьбы в 1953 году они были знакомы несколько лет. «Низкопоклонство» было опубликовано только в 2008 году (драма была найдена в бумагах писателя уже после его смерти, но сам автор неоднократно о ней говорил и очень хотел ее найти).

Смерть Сталина в 1953 году и последовавшие за этим изменения в Советском Союзе вызвали изменения и в лагере социалистических стран, и

в первую очередь в Польше. Наступил 1956 год, а с ним и рост недовольства польского общества, и требование перемен. А вместе с этим произошел и перелом в сознании самого Станислава Лема, на основе критического анализа пересмотревшего свое отношение к идеологии и всей политической системе. В результате – опять-таки «для души» – была закончена первая серьезная философская книга – «Диалоги».

«Диалоги» зародились еще во время работы в Науковедческом лектории. Совместно с философом Стефаном Освецимским была организована интеллектуальная игра: Лем придумывал контуры проблемы, затем Освецимский предлагал контраргументы, которые Лем должен был опровергать, и в результате получался диалог. «Впрочем, – говорит Лем, – тогда я понятия не имел, что из этого возникнет книга. Даже сама мысль, что тогда можно будет опубликовать что-нибудь подобное, казалась безумной». Для оформления диалогов Станислав Лем позаимствовал героев у английского философа Джорджа Беркли из его трактата «Три диалога между Гиласом и Филонусом», увидевшего свет в 1713 году. Лема привлекли имена героев, ибо «Гилас» происходит от латинского *hyle* (материя; телесный, материальный, конкретный), а «Филонус» – от *phylos* (любящий мысль; духовный, интеллектуальный), именно в споре этих двух ипостасей Станислав Лем пытался найти истину. «Диалоги» были дописаны автором в 1954–1956 годах и в своем первоначальном виде состояли из восьми диалогов, которые сам Лем разбил на три части: «Первая говорит о парадоксе воскрешения... Во второй части мы находим универсальное лекарство от всех болезней философии, прописанное доктором Филонусом в виде кибернетики... Третья часть – это мое частное дополнение, которое использует понятийный аппарат для расправы с различными видами системного зла».

В Диалоге I обсуждаются парадоксы, связанные с возможностью достижения физического бессмертия посредством копирования атомной структуры живого организма. Филонус доказывает Гиласу, что такое копирование живого организма предполагает отказ от классического понятия тождественности личности, так как скопированный является таким же, как оригинал, но не тем же самым, причем даже в том случае, если оригинал прекращает свое существование в момент появления копии. В Диалоге II продолжается обсуждение темы Диалога I, но возникающие вопросы исследуются уже с точки зрения решения вековой философской проблемы – проблемы сознания и его воплощения в материи. В Диалоге III представляется подход к понятию информации как противоположности энтропии, рассматривается процесс развития плода

человека и в целом эволюции в категориях именно таким образом определенной информации. В Диалоге IV затрагиваются определенные проблемы, связанные с невозможностью локализации сознания. И, как следствие, обсуждаются огромные трудности, связанные с воспроизведением человеческого мозга и тела в механических системах. В Диалоге V продолжается размышление о сути сознания. В качестве физиологической корреляции сознания рассматривается нейронная сеть с ее входами, выходами, системой управления и обратными связями, а ведь именно такую сеть представляет собой и кибернетическая система. Здесь же Лем в категориях кибернетики пытается дать определение «вольной воле». В Диалоге VI рассматривается возможность конструирования такой сети, которая была бы точным эквивалентом человеческого мозга, а также технические подробности проекта «пересадки» живого сознания мозга в такую сеть (протез мозга). В Диалоге VII с точки зрения предлагаемой Лемом кибернетической социологии достаточно подробно анализируются капитализм и социализм, демократия и тоталитаризм (Лемом используются термины «тирания» и «автократия»), при этом в диалоге оригинальным образом критикуется существовавший в то время в Польше и СССР социалистический строй и система централизованного планирования и управления экономикой: «Централизация из-за чрезмерной концентрации обратных связей не только блокирует (то есть затрудняет прохождение) информацию, но и удлиняет ее путь. Вместо коротких обращений спроса и предложения в этой системе наблюдаются иерархически нагроможденные «пункты переключения». В результате удлинения пути информации возникает запаздывание от импульса к реакции.

...В социалистической модели наиболее существенным является запаздывание, вызванное увеличением периода обратных связей (периферия – центр – периферия). Если запаздывание реакции в ответ на импульс – того же порядка, что и промежутки времени, в которые этот импульс действует, тогда само это запаздывание становится существенным параметром системы, то есть начинает активно влиять на происходящие в системе процессы».

В Диалоге VIII делается попытка при помощи кибернетики проанализировать общественную психологию, то есть выявить влияние личных особенностей индивидуумов, составляющих общество, на деятельность этого общества, и наоборот. В завершение Лем подчеркивает свою убежденность в возможности создания оптимальной общественной системы научными (кибернетическими) методами. «Если, осознавая роль науки во всех областях, мы не будем учитывать ее разработок, понятных

всем людям, в области общественных отношений, то окажемся в эпохе, предшествующей рождению Маркса». Филонус (Лем) выражает уверенность, что «люди построят, несмотря на все промахи, катастрофы и трагические ошибки, лучший мир. Если мы не будем действовать с этой мыслью, то утратим веру в человека и его возможности, а тогда и жить не стоило бы».

Тем самым «Диалоги» представляют собой изложение взглядов Станислава Лема в области антропологии и социологии при помощи новой методологии – кибернетики, что, кстати, в то время было очень новым («Когда я писал «Диалоги», которыми горжусь хотя бы потому, что их цитируют в иностранных кибернетических библиографиях, в кибернетике существовало порядка шестидесяти книг, из которых половину, не хвалюсь, я знал; сегодня их уже целые библиотеки») и смелым.

Самый близкий друг Станислава Лема, также писатель, Ян Юзеф Щепаньский 13 апреля 1956 года записал в своем дневнике: «Был у Лема. Он сказал: «Год назад ты придерживался тех же позиций, что и сейчас, а я был слишком красным. Сегодня мы на одинаковых позициях»».

Тем самым завершился и первый период творческой деятельности Станислава Лема, который по некоторым романам, рассказам и статьям можно назвать (и называется некоторыми исследователями) соцреалистическим, но такое название очень не понравилось самому писателю, ибо все соцреалистическое – это только часть творчества, которым он вынужден был заниматься ради хлеба, ибо таковы были условия жизни в то время, а были ведь еще и другие, далекие от соцреализма произведения, в том числе и с критикой этого самого социализма. Впоследствии Станислав Лем очень критично относился к своему творчеству этого периода, категорически запрещая или с трудом разрешая переиздавать и переводить свои ранние романы, рассказы и статьи («Япония не знала коммунистического режима, и если мой роман [«Магелланово облако»] обратит в коммунизм хотя бы одного-единственного японца, мне суждено гореть в аду»), хотя в своих соцреалистических работах он не столько строил светлое коммунистическое будущее, сколько критиковал капитализм преимущественно американского образца, правда, иногда доходя до крайностей («У империализма, существующего в стадии агонии, абсолютно нет путей развития, и перенос в будущее его общественных отношений ведет в никуда... Совершенно иначе дело обстоит в обществе, строящем социализм. Из него все дороги ведут в будущее, и поэтому перед писателем – творцом научной фантастики – открываются потрясающие

своим богатством горизонты»). Следует также отметить, что иногда в своих рассказах этого периода Станислав Лем, описывая и критикуя США, имел в виду страны социалистического лагеря – это особенно отчетливо видно в «Путешествии двадцать четвертом» и «Путешествии двадцать шестом» Ийона Тихого. Поэтому более правильно назвать этот период творчества Станислава Лема утопическим, в нем писатель представлял мир утопии – мир доброжелательно-пристрастный по отношению ко всем своим жителям, «экстремум повсеместной доброты». Ранние романы писателя хорошо соответствовали своему времени, и поэтому не случайно они вскоре были экранизированы: «Астронавты» – как «Безмолвная звезда» (1960, ГДР – Польша, «Der schweigende Stern» – «Milcząca gwiazda», в англоязычном прокате как «The First Spaceship on Venus» – «Первый полет на Венеру»), «Магелланово облако» – как «Икар-1» (1963, Чехословакия, «Ikarie XB-1», в англоязычном прокате как «Voyage to the End of the Universe» – «Путешествие к краю Вселенной»), «Больница Преображения» (1978, Польша, «Szpital Przemienienia»).

Смена партийного руководства в Польше, десталинизация и либерализация политической системы привели к ослаблению цензуры, появилась возможность более открыто высказывать свои взгляды – впрочем, временно. Таким образом, с 1956 года и с публикации написанных ранее «Диалогов» начался новый период творчества писателя – антиутопический, в котором преимущественно изображался мир, недоброжелательно-пристрастный (зловещий) по отношению к его обитателям. Кстати, Станислав Лем в 1979 году очень подробно изложил теорию утопии и антиутопии, а также сказки и мифа, в большой статье «Маркиз в графе», известной также под названием «Этика зла». При этом, говоря о своих планах, Станислав Лем не оставлял мысли заняться современным романом: «Хотя бы потому, что фантастическую литературу считаю литературой второго сорта. Фантастика является очень острой приправой. Однако известно, что самую острую приправу без хлеба есть невозможно. Именно таким хлебом является современность», «как и каждого, наверное, писателя в Польше меня мучает, мне снится и не дает мне покоя идея, к сожалению, слишком туманная – современного романа. Удастся ли мне реализовать эти планы, покажет будущее». Таким будущим для писателя явился антиутопический период его творчества, который можно разбить на три этапа: литературно-философский (1957–1970 годы, еще его называют золотым в творчестве писателя), литературно-экспериментаторский (1971–1988 годы) и философско-публицистический (1989–2006 годы, RIP). Но это уже иные времена, иная история, иные

произведения, иной, уже не столь оптимистично настроенный, Станислав Лем...

Примечания

В настоящем сборнике представлен утопический период творчества Станислава Лема как писателя, а именно: все опубликованные им в 1940-х годах рассказы и стихи и некоторые рассказы начала 1950-х годов. Рассказы расположены в хронологическом порядке происходящих событий (насколько это возможно было определить), стихотворения – в основном в хронологическом порядке их опубликования, сатирические произведения – в основном в хронологическом порядке их написания.

В Польше большая часть из рассказов 1940-х годов в книжном виде была впервые опубликована только в рамках Собраний сочинений: последнего прижизненного (2005. Т. 33) и первого посмертного (2009. Т. 20). Большинство стихотворений этого же периода под заглавием «Юношеские стихи» было опубликовано в указанных томах Собраний сочинений, а еще ранее – вместе с автобиографическим романом о детстве «Высокий замок». Польские книжные издания с ранними рассказами и стихотворениями Станислава Лема приведены ниже.

1–2. Lem S. Sezam. – Warszawa: Iskry, 1954, 228 s.; 1955. [Лем С. Сезам].

3. Lem S. Dzienniki gwiazdowe. – Warszawa: Iskry, 1957. [Лем С. Звездные дневники].

4–5. Lem S. Wysoki zamek. Wiersze młodzińcze. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1975, 1991. [Лем С. Высокий замок. Юношеские стихи].

6. Lem S. Lata czterdzieste. Dyktanda; Dzieła zebrane. Tom XXXIII. – Kraków, Wydawnictwo literackie, 2005. [Лем С. Сороковые годы. Диктанты; Собрание сочинений. Т. 33].

7. Lem S. Człowiek z Marsa. Opowiadania młodzińcze. Wiersze; Dzieła. T. 20. – Warszawa: Agora SA, 2009. [Лем С. Человек с Марса. Юношеские рассказы. Стихи; Сочинения. Т. 20].

Ниже приведены библиографические данные произведений настоящего сборника в следующем виде: название в сборнике – название на языке оригинала – информация о первой публикации – информация о публикации в указанных выше польских книгах 1–7 – информация о других переводах на русский язык и комментарий.

Предисловие автора – **Vorwort** – в книге «Lem S., Irrläufer» (Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1989; Suhrkamp, 1992. S. 7–10). Это было первое книжное издание ранних произведений Станислава Лема (издано в ФРГ, составитель – сам автор, предисловие написано во время пребывания писателя в эмиграции в Австрии, название сборника (которое можно перевести как «Блуждающий») – редактора Франца Роттенштайнера), состоящее из рассказов «Сад тьмы», «Чужой», «Exodus», «Человек из Хиросимы», «День Д», «Атомный город» и «План “Анти-Фау”». («Exodus» – рассказ 1959 г., под таким же названием публикуется на русском языке с 1960 г.).

Часть 1. Рассказы

День седьмой – *Dzień siódmy* – Tygodnik Powszechny (Kraków), 1946, № 45, S. 5.

Аванпост – *Placówka* – Kuźnica (Łódź), 1946, № 6, S. 7–8.

Операция «Рейнгард» – *Operation Reinhardt* – Lem S., Czas nieutracony. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1955, S. 301–326. – Оpubл. в 6–7.

Глава из второго тома «Среди мертвых» трилогии «Неутраченное время».

Гауптштурмфюрер Кестниц – *Hauptszturmführer Koestnitz* – Odra (Katowice, Wrocław), 1946, № 11, S. 4–6.

Возможно, это самый первый из написанных в Кракове и опубликованных рассказов Станислава Лема, ибо датирован 28–30 сентября 1945 г.

План «Анти-“Фау”» – *Plan Anti-V* – Co Tydzień Powieść (Katowice), 1947, № 57, S. 2–13. – Оpubл. в 6–7.

«Фау» над Лондоном – *V nad Londynem* – Żołnierz Polski (Warszawa), 1947, № 12, S. 15–17. – Оpubл. в 6–7.

Чужой – *Obcy* – Tygodnik Powszechny, 1946, № 43, S. 5–7. – Оpubл. в 6–7.

День Д – *D-Day* – Żołnierz Polski, 1946, № 45, S. 15–17. – Оpubл. в 6–7.

KB-1 – *KW-1* – Kuźnica, 1946, № 21, S. 7–8. – Оpubл. в 6–7.

Новый – *Nowy* – Żołnierz Polski, 1946, № 11, S. 10–11.

Встреча в Колобжеге – *Spotkanie w Kołobrzegu* – Żołnierz Polski, 1946, № 47, S. 14–15.

Атомный город – *Miasto atomowe* – Żołnierz Polski, 1947, № 14, S. 15–16, № 15, S. 15–16, № 16, S. 16–17, № 17, S. 17, 20. – Оpubл. в 6–7.

Человек из Хиросимы – *Człowiek z Hiroshimy* – Żołnierz Polski, 1947, № 27, S. 10–11, № 28, S. 14, № 29, S. 14, № 30, S. 14. – Оpubл. в 6–7.

Конец света в восемь часов – *Koniec świata o ósmej* – Co Tydzień Powieść, 1947, № 67, S. 2–12. – Оpubл. в 3, 6–7.

Для публикации в сборнике 3 Станислав Лем фактически заново переписал рассказ, внося большое количество мелких и несколько существенных изменений в описываемые события. В частности, репортер с профессором-изобретателем предварительно знакомится на лекции, перед посещением дома профессора дополнительно захватывает с собой тубик с

радиоактивным изотопом йодистого калия, который подмешивает в обувной крем, а затем поиски исчезнувшего профессора осуществляет при помощи приобретенного в магазине счетчика Гейгера. А также изменил конец: в первоначальной версии рассказа порошок-генетон репортер предполагает отдать своему редактору, а в доработанной – вернуть профессору. На русском языке многократно публиковался перевод доработанного рассказа из сборника 3, первая публикация: Лем С. Конец света в восемь часов. – В кн. «Симпозиум мыслелетчиков». – М.: Мир, 1974. С. 57–107. В настоящей книге (как и в польских сборниках 6–7) публикуется первоначальная версия рассказа.

Трест твоих грез – *Trust twoich marzen* – Co Tydzień Powieść, 1948, № 5, S. 2–12. – Опубл. в 6–7.

История о высоком напряжении – *Historia o wysokim napièciu* – Co Tydzień Powieść, 1948, № 17, S. 2–12. – Опубл. в 6–7.

История одного открытия – *Dzieje jednego odkrycia* – Tygodnik Powszechny, 1946, № 51/52, S. 16–17, 19. – Опубл. в 6–7.

Сад тьмы – *Ogród ciemności* – Tygodnik Powszechny, 1947, № 14, S. 10–11.

Дежурство доктора Тшинецкого – *Dyżur doktora Trzynieckiego* – Lem S., Czas nieutracony. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1955, S. 436–457. – Опубл. в 6–7.

Глава из третьего тома «Возвращение» трилогии «Неутраченное время».

Сестра Барбара – *Siostra Barbara* – Życie Literackie (Kraków), 1953, № 5, S. 6, 9. – Опубл. в 7.

При первой публикации в журнале было указано, что этот рассказ – фрагмент романа («Неутраченное время»), но в окончательную версию романа-трилогии он не вошел (могло быть в конце третьего тома «Возвращение»). Критиками оценивается как один из лучших текстов любовной лирики Станислава Лема (следует отметить, что жену Лема также зовут Барбарой, она медик-радиолог, как раз в 1953 году они поженились). Автор изменил первоначальный замысел, но в романе появляется и Абадовский, сплетничавший в том числе и о главном герое трилогии Стефане, и пугавшая концом света Феронева (но уже как помощница отца главного героя), а сам Стефан после войны случайно встретился с доктором Носилевской, известной читателям по первому тому трилогии, «Больнице Преображения». Стефан рассказывает Барбаре о ней как о женщине, с которой расстался в 1941 году после ликвидации больницы. Встрече оба очень обрадовались, и у них бурно начинают

развиваться взаимоотношения. И уже сам Стефан – в самом конце трилогии – в библиотеке читает статью Носилевской «Изменение ритма альфа у шизофреников при ремиссии после одной и двух серий инсулинотерапии» «как самую прекрасную любовную лирику».

Топольный и Чвартек – *Topolny i Czwartek* – Poprostu (Warszawa), 1954, № 20, S. 5; № 21, S. 5 (только первая часть под названием «Инженер Топольный» («Inżynier Topolny»). – Оpubл. в 1–2.

Хрустальный шар – *Kryształowa kula* – Dookoła Świata (Warszawa), 1954, № 4, S. 7–9; № 5, S. 10–12; № 6, S. 12–13. – Оpubл. в 1–2.

Для публикации в книге писатель доработал первоначальную журнальную версию рассказа – в частности, в начале вставил фрагмент об инспекции биологического института комиссией Генерального штаба. В журнальной же версии рассказа об этой инспекции внутри текста была просто пересказана самая существенная информация, поэтому книжный текст получился больше журнального, а также внес большое количество правок редакторского характера. Для настоящей книги перевод выполнен по тексту в книгах 1–2. Содержащиеся в этом рассказе две новеллы о географическо-этнографических экспедициях в Северной Америке и Африке фактически без изменений, целыми фрагментами текста, были использованы Станиславом Лемом в своем последнем романе «Фиаско»^[185], написанном во время пребывания писателя в эмиграции в Австрии по заказу немецких издателей (и это было одним из условий финансирования пребывания Лема с семьей на Западе) и впервые изданном на немецком языке в 1986 году (на польском – в 1987 году). В этом романе во время длительного космического полета астронавты коротают время за просмотром различных видеофильмов – именно в виде таких фильмов («старых небылиц») и были представлены эти две новеллы; таким образом можно сказать, что фантастический рассказ Станислава Лема «Хрустальный шар» был экранизирован в его же фантастическом романе.

Остальные рассказы из сборника «Сезам» наследники не разрешили переводить и включать в настоящую книгу (этот запрет не касается, конечно, широко известных и очень популярных рассказов из цикла «Звездные дневники Ийона Тихого», но кроме «Путешествия двадцать шестого, и последнего», которое еще Станислав Лем с 1966 года перестал включать в польские издания), что вполне соответствует пожеланию самого писателя (в мае 2005 года автору этих строк Станислав Лем сказал, что не разрешит переводить эти рассказы). Но некоторые рассказы все-таки (уже очень давно) были переведены на русский язык, но переиздаваться скорее

всего не будут. Приведем данные о переводах на русский язык по всем рассказам сборника «Сезам» в соответствии с содержанием.

«Топольный и Чвартек» – перевод в настоящем сборнике.

«Хрустальный шар» – перевод в настоящем сборнике и сокращенный (почти наполовину): Лем С. Хрустальный шар. – Неделя (М.), 1960, № № 24–28.

«Сезам» – «Sezam» – не переводился. SEZAM – аббревиатура, в переводе означает «Стационарная электронная система автоматов математических».

«Electric Subversive Ideas Detector» – имеются переводы на русский язык: 1) Лем С. Эсид – машина по проверке лояльности. – Смена (М.), 1955, № 10. С. 18–20. 2) ЭДИП. – В кн.: Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого. – М.: Молодая гвардия, 1961. С. 106–119. (ЭДИП – это Электронный Детектор Идей Подозрительных). Название при первой публикации на польском языке: «“Эсид”. Машина для исследования лояльности».

«Клиент ПАНАБОГА» – «Klient PANABOGA» – имеется сильно сокращенный (на две трети) перевод на русский язык: Лем С. Клиент БОГА. – 1) Крокодил (М.), 1960, № 27. С. 10. 2) В кн.: Смех и юмор с разных широт. – М.: Правда, 1961. С. 17–21. 3) Комсомолец Донбасса (Донецк), 29.04.1967.

«Агатотропный гормон» – «Hormon agatotropowy» – не переводился.

«Звездные дневники Ийона Тихого» – все рассказы переведены и постоянно переиздаются, кроме «Путешествия двадцать шестого, и последнего», которое сейчас не переиздается, но на русском языке ранее было опубликовано трижды: 1) В кн.: Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого. – М.: Молодая гвардия, 1961. С. 92–105. 2) В кн.: Лем С. Возвращение со звезд. Звездные дневники Ийона Тихого. – М.: Молодая гвардия, 1965. С. 121–133. 3) В кн.: Лем С. Избранное. – Кишинев: Литература артистикэ, 1978. С. 154–163.

Часть 2. Юношеские стихи

Трамваем номер пять через Краков – *Piątką przez Kraków* – Tygodnik Powszechny (Kraków), 1947, № 20, S. 7. – Оpubл. в 4–7.

Ночь – *Noc* – там же.

Любовь – *Miłość* – там же. – Оpubл. в 4–7.

Кафедральный собор – *Katedra* – там же.

Триолет – *Triolet* – там же, № 32, S. 1. – Оpubл. в 4–7.

*** («Средь троп орлиных...») – *** («*W ścieżkach orlich...*») – там же, № 38, S. 6. – Оpubл. в 4–7.

*** («Голуби вписывали...») – *** («*Gołèbie wpisywały...*») – там же, № 43, S. 3. – Оpubл. в 4–7.

Полевое кладбище – *Cmentarz polny* – там же, № 44, S. 3. – Оpubл. в 4–7.

*** («Знать бы – пальцы слепца...») – *** («*Nie wiem czyrèkaślepca...*») – там же, 1948, № 7, S. 5. – Оpubл. в 4–7.

Из цикла «Насекомые» (Ночная бабочка, Бабочка, Гусеница, Кодя) – *Z cyklu «Owady»* (*Ćma, Motyl, Gąsienica, Coda*) – там же, № 21, S. 6. – Оpubл. в 4–7.

Из цикла «Насекомые» (Пчела, Жук-могильщик) – *Owady* (*Pszczoła, Żuk-grabarz*) – Magazyn Kulturalny (Kraków), 1973, № 4/1, S. 15.

Сначала свои первые стихотворения Станислав Лем предложил варшавскому литературному ежемесячному журналу «*Twórczość*» («Творчество»), но к публикации по каким-то причинам они не были приняты, поэтому автор предложил их краковскому еженедельнику «*Tygodnik Powszechny*», где эти и другие стихи были опубликованы в 1947–1948 годах. Но через двадцать пять лет в другом журнале с подзаголовком «Из архива журнала “*Twórczość*”» были напечатаны нигде более не публиковавшиеся стихотворения из цикла «Насекомые». При этом для публикации в еженедельнике «*Tygodnik Powszechny*» автор внес небольшие изменения в стихотворение «Бабочка»; первоначальный вариант был таким:

Мотылек расцветает на длинном стебле ветра,
В витраж его крыльев святы вправлены образа,
Там царица небес, там отроки, там сверкает гроза
И – алмазом памяти – прекраснейшие глаза^[186].

*** («Всегда была в отдаленье...») – *** («*Zawsze była daleka...*») – Tygodnik Powszechny, 1948, № 27, S. 4.

Любовное письмо – *List miłosny* – там же, № 37, S. 3. – Оpubл. в 4–7.

Короткие стихи – *Małe wiersze* – там же, № 39, S. 2. – Оpubл. в 4–7.

Valse triste – *Valse triste* – там же, № 41, S. 1. – Оpubл. в 4–7.

Мертвым – *Umarłym* – там же, № 45, s. 7.

Бетховен, Пятая симфония – *Bethoven, symfonia piąta* – там же, № 46, S. 2. – Оpubл. в 4–7.

*** («Что внутри воображенья?..») – *** («*Wnętrze mej wyobraźni?..*») – Lem S., Czas nieutracony. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1955, S. 244.

Начало главы из второго тома «Среди мертвых» трилогии «Неутраченное время» – стихотворение из архива поэта Секуловского, история и гибель которого представлена в первом томе «Больница Преображения».

Часть 3. Сатира

Баллада, снабженная моралью? – *Ballada w morał zaopatrzona?* – Kocynder (Katowice), 1946, № 15, S. 4.

Три части баллады – это первые вышедшие в печатном издании стихотворения Станислава Лема, причем опубликованные с помощью Виславы Шимборской – поэтессы, будущего лауреата Нобелевской премии (1996) в области литературы.

Низкопоклонство – *Korzenie* – Lem S., *Korzenie – drrama wieloaktowe*. – Gazeta wyborcza (Warszawa), 13.10.2008. Это же: 1) Nieopublikowany utwór Stanisława Lema o Stalinie i jego czasach. – Magazyn Polski (Grodno), 2009, № 1/2, S. 37–38. 2) *Korzenie. Drrama wieloaktowe*. – В кн.: Lem S., *Sknocony kryminał*; *Dzieła. Tom XVI*. – Warszawa: Agora SA, 2009, S. 129–140.

Драма была написана ориентировочно в 1951 году, но по понятным причинам не публиковалась. После прекращения чтения драмы «на публике» единственный экземпляр рукописи затерялся. Неоднократные с начала 1990-х годов (после возвращения Станислава Лема с семьей в Польшу из временной эмиграции в Австрии и переезда в новый дом) попытки найти ее ничего не дали. Это очень расстраивало писателя:

«Пока что поиски этой бесценной реликвии заканчиваются ничем».

«Магнитофонную ленту старого типа после длительного хранения не удалось воспроизвести, а машинописная рукопись потерялась где-то в безднах нашего дома... Не могу примириться с ее утратой».

«С женой мы перевернули вверх ногами весь дом. Мне постоянно кажется, что она где-нибудь выплывает».

Поисками рукописи много лет занимался и секретарь писателя Войцех Земек: «Регулярно пан Лем спрашивал, не нашел ли уже я ее, а я все время с сожалением отвечал, что нет. А ведь чемодан, в котором хранилось это произведение, я неоднократно держал в руках». И рукопись все-таки нашлась, но уже после смерти писателя, в 2006 году, среди страниц другой не опубликованной при жизни писателя рукописи (правда, и не завершенной) в папке, подписанной как «Неудавшийся детектив». И сразу же была опубликована, в том числе в рамках интернет-проекта «ИноСМИ» переведена на русский язык – см. <http://www.inosmi.ru/world/20081017/244711.html>.

Сон президента – *Sen prezydenta* – Przekrój (Kraków), 1955, № 539, S. 5–6.

Политическая юмореска, критикующая польское эмигрантское правительство в Лондоне. С началом Второй мировой войны и разделом Польши между Германией и СССР это правительство в конце 1939 года было сформировано в Париже, а затем переместилось в Лондон, было признано многими странами, после войны признание было аннулировано в пользу правительства на вновь образовавшейся территории Польши. В 1954 году в «правительстве в изгнании» произошел раскол, продолжавшийся до 1972 года, который и нашел свое отражение в юмореске Станислава Лема. «Правительство в изгнании» просуществовало до 1990 года – до первых свободных демократических выборов в Польше, после которых президент в изгнании Рышард Качоровский передал все символы государства и президентской власти избранному в Польше президенту Леху Валенсе.

Около мегаломана – Obok megalomana – Przekrój (Kraków), 1954, № 473, S. 13.

Шутка. Или эпиграмма прозой, или пародия на себя самого (на собственное произведение). В еженедельнике «Przekrój» в 1953–1954 гг. в №№ 454–489 публиковалась сокращенная версия романа «Магелланово облако». И вот в одном из номеров журнала (№ 473) в середине романа вместо заглавия «OBŁOK MAGELLANA» было напечатано «ОВОК МЕГАЛОМАНА» (сразу и не заметишь разницы, ибо напечатано было таким же шрифтом, с обычной иллюстрацией, описываемые события происходят в подобной обстановке, на том же космическом корабле «Гея», но участвуют совершенно иные персонажи) – такое шуточное отступление от повествования романа, отступление о мегаломане, то есть о страдающем манией величия. Шутку, выходящую за рамки романа, читатель мог распознать по самым первым словам: «С момента, когда... мы превысили скорость света...». В книжном издании романа этому отступлению места не нашлось.

В настоящем послесловии из опубликованного Станиславом Лемом по 1956 год включительно упомянуты все романы, рассказы, стихи и интервью, а также около половины статей.

Сложилась определенная традиция называть сборник по одному из содержащихся в нем рассказов. Чаще всего так поступал и сам Станислав Лем: «Сезам» (1954, 1955), «Вторжение с Альдебарана» (1959), «Охота» (1965), «Спасем космос!» (1966), «Маска» (1976), «Повторение» (1979), «Провокация» (1984), «Темнота и плесень» (1988), «О выгодности

дракона» (1993), «Загадка» (1996, 2003), «Слоеный пирог» (2000).

Хрустальный шар издавна считается символом чего-то таинственного и могучего, используется для колдовства и лечения. В таком же виде он представлен и в произведениях Станислава Лема: от содержащихся в настоящем сборнике рассказов «Сад тьмы», где хрустальный шар выступает в качестве окна в другие миры и одновременно запретного плода, и «Конец света в восемь часов», где появляется пресс-папье с набалдашником в виде хрустального шара (который символически разбивается), через собственно «Хрустальный шар» с двумя вставными новеллами и до «Фиаско» – последнего романа, написанного писателем, в котором эти две новеллы из «Хрустального шара» были «экранизированы».

Список цитируемой литературы

1. Книги

Лем С. Высокий замок. – М.: Молодая гвардия, 1969.

Лем С. Диалоги. – М.: АСТ, 2005.

Лем С. Маска. Не только фантастика. – М.: Наука, 1990 (статьи: Нечто вроде кредо; Моя жизнь).

Лем С. Мой взгляд на литературу. – М.: АСТ, 2009 (статьи: Маркиз в графе; Сильвические размышления XXXII: Мой роман с футурологией; Книги детства).

Лем С. Молох. – М.: АСТ, 2004 (статья: Заклятие превидизма).

Лем С. Приключения Ийона Тихого. – М.: ООО АСТ, 2002 (Предисловие и Путешествие четырнадцатое).

Так говорил... Лем. – М.: АСТ, 2006.

Lem S. Astronauci. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 1972 (статья: Słowo wstępne).

Szczepański J.J. Dziennik. Tom I: 1945–1956. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 2009.

Świat na krawędzi. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski. – Kraków: Wydawnictwo literackie, 2000.

Письма С. Лема американскому переводчику М. Канделю – готовятся к печати в Польше.

2. Статьи и интервью С. Лемма в периодических изданиях

- Вопросы литературы (М.), 1970, № 9.
Неделя (М.), 1973, № 37.
Общая газета (М.), 2000, № 3.
Человек (М.), 2000, № 1.
Dookoła Świata (Warszawa), 1961, № 41.
Dziennik Polski (Kraków), 1954.
Echo Krakowa (Kraków), 1956, № 483.
Gazeta wyborcza (Warszawa), 12.10.2008.
Kalendarz Górno-Śląski na rok 1955.
Kwartalnik Artystyczny (Warszawa), № 3, 1998.
Nowa Fantastyka (Warszawa), 1991, № 1.
Nowa Kultura (Warszawa), 1952, № 19, № 39, № 41; 1954, № 36; 1956, № 9.
Nowa ResPublica (Warszawa), 2001, № 1.
Odra (Wrocław), 1992, № 5; 1994, № 3.
Pismo (Kraków), 1981, № 2.
Polityka (Warszawa), 1997, № 31.
Prostu (Warszawa), 1954, № 5.
Problemy (Warszawa), 1951, № 9; 1952, № 1; 1953, № 10.
Przekrój (Kraków), 1954, № 491.
Słowo Polskie (Wrocław), 1956.
Tygodnik powszechny (Kraków), 2001, № 49.
Wysokie obcasy (Warszawa), 2000, № 6.
Życie Literackie (Kraków), 1953, № 7; 1955, № 26; № 36.
Życie Nauki (Kraków), 1946, № 11/12; № 23/24; 1947, № 15/16; 1948, № 27/28; № 33/34; № 35/36; 1949, № 40/42; № 43/48.
Życie Nauki (Warszawa), 1950, № 1/2.

СНОСКИ

Настоящее предисловие предваряло изданный в Германии в 1989 г. сборник «Лем С. Блуждающий» («Stanislaw Lem. Irrläufer». – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1989, 242 s.), в который вошли рассказы «Сад тьмы», «Чужой», «Exodus», «Человек из Хиросимы», «День Д», «Атомный город» и «План “Анти-Фау”». Это было первое книжное издание ранних произведений Станислава Лема; подобное в Польше вышло только в 2005 г. В равной степени предисловие соответствует и настоящему сборнику. – *Примеч. сост.*

От 31 августа 1946 г. – *Здесь и далее примеч. пер.*

3

Название Польши в период фашистской оккупации.

Ранняя молодость (*лат.*).

Роман «Человек с Марса» впервые был опубликован в 1946 г. отрывками в журнале «Nowy Świat Przygryd» (Катовице), №№ 1—31. В 1985 г. в Польше был издан неофициально в книжном виде. Первые официальные издания: на немецком языке – в 1989 г., на польском – в 1994 г., на русском – в 1998 г.

Это было предметом моих желаний (*лат.*) – Гораций, «Сатиры».

Перевод Андрея Денисова.

Послание к римлянам, гл. 9, ст. 18: Итак, кого хочет, [Бог] милует, кого хочет, ожесточает.

Открывайте (нем.).

Ах, ты одна... (нем.)

Господа, настоящая икра! Где вы ее достали? (нем.)

Досл.: «Все колеса должны катиться к победе» (нем.); лозунг военной пропаганды гитлеровской Германии.

Это военная тайна! (нем.)

Войдите! (нем.)

Так точно! Что? Что?! Что?! (нем.)

И что... Таннхойзер, почему вы не сообщили мне об этом раньше?! Ну да, я не мог, я не мог! Что за вонючая история! (нем.)

Господин директор... что... что-то плохое?.. (нем.)

Ну, я думаю, что начался вывоз евреев! (нем.)

Ерунда (*нем.*).

Немка Рейха! (нем.)

Хорошо, хорошо! (*нем.*)

Дорожный охранник (нем.).

Что вы делаете, доктор? (нем.)

Мне стало жарко (*нем.*).

Что за история! (нем.)

Минуточку! (нем.)

Что это значит? Что это? (нем.)

Это запрещено! (нем.)

Все немедленно по вагонам! Все! Все! Отправляйте! (нем.)

Но штурмбаннфюрер Таннхойзер... (нем.)

Здесь приказываю я! (*нем.*)

Только для немцев (нем.).

Пункт сбора сырья (нем.).

Давай... давай... пошли, быстро! (нем.)

Документы! (нем.)

Ха, ха, хорошенькую ты себе подыскал фамилию! (нем.)

Что... что? (нем.)

Разве так выглядят врачи? Еврейский пес! (нем.)

Вы не имеете права!.. Я ариец... мои документы!! (нем.)

Здесь твои документы (*нем.*).

Значит, не еврей, да? Прекрасно (*нем.*).

Сколько теперь? (нем.)

Сорок два человека (*нем.*).

Особей. – ... – Ну... достаточно. Едем «домой» (нем.).

Господин полицейский, извините, пожалуйста... (нем.)

Где я возьму людей? (нем.)

О, проклятье! (нем.)

Как я могу работать с такими идиотами? (нем.)

Исключено! У меня больше нет грузовиков! (нем.)

Ну и банда подобралась, срань господня! (нем.)

Финдер, дай мне сигарету (*нем.*).

Но, но, сволочь, молчи... (нем.)

Что, у тебя нет денег? Ну, тогда ты точно не еврей (*нем.*).

Да, да, это так (*нем.*).

Тааак... Значит, вы не еврей (*нем.*).

Аусвайс у тебя забрал шуповец? Да, да. Конечно. Я тебе верю. Да!
(нем.)

Финдер, начинайте (нем.).

А теперь проверка пениса (*нем.*).

Что? (нем.)

Боже, что вы со мной делаете! (нем.)

Где Таннхойзер? (нем.)

Хайль! (нем.)

Господин штурмбаннфюрер отсутствует. Я его замещаю. Что вы хотели, господин директор? (нем.)

Убирайся с ним (нем.).

К сожалению, я не могу этого сделать, мой господин... (нем.)

Но вы ведь видели бумаги и... все... (нем.)

Да, но я не получил формального приказа от господина гауптштурмфюрера (нем.).

Ну-ну, надо еще немножко подождать... (нем.)

Мой мальчик, сделайте это быстро... прусским ударом, а? (нем.)

Ибо все колеса должны катиться к победе! (нем.)

Так точно, господин группенфюрер! (нем.)

Господин генерал, я ар... (нем.)

Убрать его! (нем.)

Вперед! Сдавайте часы, кольца, золото! Все сдавайте, быстро! (нем.)

Ты, и ты, и ты, дальше, дальше... давай! (нем.)

Мастерские моторизованной армейской техники (НКР).

Кто работает в НКР? Ты? Ты? Кто из НКР?! (нем.)

Где ты работаешь? Где ты работаешь? (нем.)

Я не ев... (нем.)

Прочь! (*нем.*)

Дурачок (*идиш*).

Выходи! Выходи! Выходи! (нем.)

Смирно! (нем.)

Вы находитесь в рабочем лагере! Кто будет хорошо работать, с тем ничего не случится. Сейчас вы пойдете в баню, потом в бараки. Каждый из вас получит рубашку, брюки, 350 граммов хлеба и два раза в день суп. А теперь поспешите! (нем.)

Женщины направо! Давай!! (нем.)

Помещения для помывки и ингаляции (нем.).

Что ты замолчал? Ты не еврей, да? (нем.)

Хорошо, хорошо. Но почему я должен тебе верить? Ты не врешь?
(нем.)

Даю вам слово чести! (нем.)

Так! Если ты еврей, то у тебя нет чести, но если ты не еврей, то у тебя есть честь. Ну-ну, и что ты скажешь на это? (*нем.*)

Этого оставить! (нем.)

Иди! (нем.)

Жди здесь (нем.).

Работа делает свободным... даже в случае смерти (*нем.*).

Так точно! (нем.)

Наконец-то! (нем.)

Увести! (нем.)

Ну... прекрасно, не так ли? *(нем.)*

Заткнись! (нем.)

СС – Охранные отряды (*нем.* Schutz-Staffeln) Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП, *нем.* Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei); СА – Штурмовые отряды (*нем.* Sturm-Abteilungen) НСДАП; СД – Служба государственной безопасности (*нем.* Sicherheitsdienst) при СС; ОКВ – Верховное главнокомандование вооруженных сил (*нем.* Oberkommando der Wehrmacht).

Немецкая кораблестроительная фирма, основана в 1877 г. (нем. Blohm + Voss).

Британский бомбардировщик (*англ.* Vickers Wellington).

Облава (нем.).

Английский гидросамолет (*англ.* Sunderland).

Союз немецких девушек (*нем.* Bund Deutscher Madels).

Сила через радость (*нем.* Kraft durch Freude), также название нацистского спортивного общества.

Ты хочешь быть танкистом? (*нем.*)

Заграничная организация (*нем.* Auslandsorganisation).

«Фау» – от начальной буквы слова «Vergeltung» – возмездие.

D-Day, то есть день высадки англо-американских войск во Франции 6 июня 1944 г., стал апофеозом доблести технической мысли союзников. Операция была тщательнейшим образом продумана и осуществлена в идеальном стиле в тот момент, когда основная работа по уничтожению противника уже была выполнена Красной армией. Откладывать высадку не имело смысла, поскольку это означало бы потерю политических плодов общей победы. – *Примеч. авт.*

Класс артиллерийских бронированных надводных кораблей с небольшой осадкой преимущественно прибрежного действия (по наименованию первого такого корабля, построенного в США в 1861–1862 гг.) (*англ.* Monitor).

Американский тяжелый бомбардировщик.

Американский тяжелый истребитель.

Английский истребитель.

Американский средний танк.

Военный корреспондент (*англ.*).

Американский армейский автомобиль повышенной проходимости.

Немецкий фотоаппарат.

Немецкий танк.

«Оружие возмездия» (нем.); первая буква дала название ракетам V1 («Фау-1») и V2 («Фау-2»).

Только в ночь на 17 июня 1944 г. в Лондоне разорвалось 73 ракеты «Фау-1».

Самолеты-снаряды (*англ.*).

123

Американский истребитель.

Дух веет где хочет (лат.).

125

Стой! (*нем.*)

Переведете? Итак, где находятся резервы? (нем.)

Еще жив, [...] Эти русские – ну и бестии – да, да, здесь я уже часто это видел – здесь, в России (*нем.*).

«Великая Германия» (нем.).

Да, да (нем.).

Не поляки, а евреи... только евреи... да... (нем.)

Нет! Нет! Пощадите! (*нем.*)

Ты, убийца (*нем.*).

Немецкое название ныне польского города Колобжег.

Нижненемецкий и фламандский диалекты (нем.).

Что вы могли бы сказать о нынешней военной ситуации на фронтах?
(нем.)

Так называемый «языковой выверт», немецкий аналог сложной для выговора скороговорки.

Исходя из последствий (*лат.*).

Экономическая война (*англ.*).

Оставь надежду всяк сюда входящий (*ит.*).

Как вас зовут? Отвечайте, немедленно! (нем.)

Солдатское радио (*нем.*).

Говорит... (яп.)

143

Прежнее название острова Хоккайдо.

Второе, ныне малоупотребимое название острова Хонсю.

Медицинская служба (*англ.*).

Балетные па (*фр.*).

Соответствие (*фр.*).

Краткое изложение какого-либо пространного текста (*фр.*).

Его величество Джордж (*англ.*).

Город в Люблинском воеводстве, в котором во время немецкой оккупации было гетто, куда свозили евреев из окрестных городов. В 1942 г. гетто было ликвидировано.

Армия Крайова.

Культурный народ (*нем.*).

Абшпервентиль – запорный вентиль (*нем.*).

Тюрьма на ул. Лонцкого (ныне – ул. Степана Бандеры) во Львове.

Лычаков – историческая местность во Львове.

Клепаров – бывший пригород Львова.

Штайер, штайерок – польский народный танец, род вальса.

UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration –
Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и
восстановления (до 1947 г.).

Befehl – приказ (*нем.*).

Так в Польше звали солдат Красной армии.

Перевод Аркадия Штыпеля.

162

Седалищный нерв? (*лат.*)

Чтобы больному казалось, будто для него что-то делают (*лат.*).

Перевод Аркадия Штыпеля.

Они умерли, чтобы мы жили свободными (*лат.*).

Кончается жизнь, но не любовь (*лат.*).

Ни возлюбленной нет у меня, ни приюта, ни отчего края. Я на вещи себя расточаю; приглядишь, в каждой вещи – я.

Райнер Мария Рильке. Поэт (Перевод с немецкого Владимира Летучего.)

Перевод Аркадия Штыпеля.

Элитные часы известной фабрики IWC Schaffhausen, расположенной в швейцарском городе Шaffхаузен.

См. роман С. Лема «Больница Преображения».

См. рассказ «Операция “Рейнгард”» в настоящем сборнике.

Блоха человеческая (*лат.*).

Термит, белый муравей (*лат.*).

Дело доходит до триариев (*лат.*); триарии – отборные воины римской армии, вступавшие в бой в самую трудную минуту.

Грустный вальс (*фр.*).

Весело, с огоньком (*ит.*).

22 ноября 1942 г. местоблюстителем патриаршего престола Русской православной церкви митрополитом Московским и Коломенским Сергием (Страгородским И.Н.) и митрополитом Киевским и Галицким, экзархом Украины Николаем (Ярушевичем Б.Д.) было подписано обращение «К солдатам румынской армии» (а румынской зоной оккупации являлся юг Украины и Приднестровье), в котором говорилось, что «христианский долг – немедленно оставить немецкие ряды и перейти на сторону русских, чтобы искупить великий грех соучастия в преступлении немцев и содействовать священному делу поражения врага человечества». С этого времени такие обращения иерархов Церкви к христианам воюющей Европы (с одобрения и при поддержке руководства Коммунистической партии) становятся неотъемлемой частью внешней политики СССР в борьбе с фашизмом; тем самым началось сотрудничество руководства страны и партии с руководством Церкви.

Здесь игра слов: по-польски «korzeniem» – «низкопоклонством» и «корнем», поэтому вначале Мичуренко подумал, что Этонесоветидзе ему сказал: «Ваш дядя запятнал себя корнем», – поэтому и переспросил: «Что? Корнем? Кактуса?», но далее, разобравшись, уже переспросил иначе: «Что? Низкопоклонством?»

Глава крупного административного округа в современной Польше.

Случайные величины (*англ.*).

Краткий философский словарь. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1954, 4-е изд. Но к моменту первого издания «Магелланова облака» на русском языке кибернетика в СССР уже была реабилитирована, опубликована книга Норберта Винера «Кибернетика» (М.: Сов. радио, 1958), поэтому с самого первого издания книги на русском языке «mechanurystyka» уже переводилась просто как «кибернетика».

1) Лем С. Эсид – машина по проверке лояльности. – Смена, 1955, № 10. 2) Лем С. Звездные дневники Ийона Тихого. – Юность, 1955, № 2 (Содерж.: Предисловие; Путешествие двадцать второе). 3) Лем С. Звезда Земли. – Польша (Варшава), 1955, № 12 (Глава из «Астронавтов»).

1) Шевченко В. Фантастика польских писателей [В том числе об «Астронавтах» Лема]. – Сталинская молодежь (Минск), 16.11.1955. 2) «Непотерянное время» [Польская критика о трилогии Лема]. – М.: Иностранная литература, 1956, № 6.

- 1) Лем С. Небольшая импровизация. – Вопросы литературы, 1964, № 8. 2) Лем С. Предисловие. – В кн.: «Жулавский Е. На серебряной планете: Рукопись с Луны». – М.: Мир, 1969. С. 5—11.

В кн. Лем С. Рассказы о пилоте Пирске. Фиаско. – М.: АСТ, 2003 (с/с Лем). С. 449–455 (начало главы «Совет», новелла о золотых пещерах и кристаллах горного хрусталя). С. 490–498 (конец главы «Найденыш», новелла о «Сердце муравьиного народа»).

Перевод Аркадия Штыпеля.